Д. РЯЗАНОВ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ МАРКСИЗМА

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
МОСКВА—1923

ВОЛГОГРАДСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОФСОЮЗОВ

Напечатано в типографии
имени тов. Воровского
при ГПУ (Б. Лубянка, 18)
в количестве 10.000 экз.
Главлит № 139. Москва.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом томе мною собраны работы, в которых я ставил себе целью исследовать мало известные или совсем неизвестные стороны практической и теоретической деятельности обоих основоположников научного социализма — Маркса и Энгельса. Огромное большинство этих очерков и исследований напечатано было за период 1908—1917 г.г. в немецких журналах «Neue Zeit», «Kampf» и «Архиве по истории социализма и рабочего движения», который издается проф. К. Грюнбергом. Остальные были напечатаны впервые на русском языке—отдельно, как «Две правды», или в журналах и газетах («Просвещение», «Правда», «Современный Мир»).

Работы эти можно разделить на несколько групп. В первую из них вошли статьи, которые дают новые материалы для биографии Маркса и Энгельса. Во второй—я собрал те свои исследования по истории Первого Интернационала, в которых рассматриваются эпизоды, специально связанные с именами Маркса и Энгельса или характеризующие их взгляды на узловые события в истории рабочего движения шестидесятых годов. Другие работы по истории Интернационала войдут в особый том.

Третья группа составилась из статей, которые исследуют вопрос о взаимоотношениях между Марксом и Энгельсом и «русскими людьми сороковых годов», а также вопрос о судьбах марксизма в России.

В последнюю группу вошли работы, в которых я исследовал развитие взглядов Маркса и Энгельса на различные вопросы внешней политики.

Выводы, к которым я пришел в результате моих исследований, основаны не только на критическом пересмотре имевшегося уже печатного материала, ускользнувшего, однако, от внимания различных марксоведов, но и на огромном архивном материале, разработанном мною впервые. Во многих пунктах мне пришлось резко разойтись не только с историками-немарксистами, но и с такими авторитетными представителями историографии марксизма, как покойный Меринг, с которым мне пришлось вступить даже в полемику.

На последнем эпизоде я вынужден остановиться. Читателям, которые незнакомы с немецким языком, полемика эта была до сих пор

известна только по весьма свирепым, но очень мало убедительным примечаниям, которыми Меринг снабдил свою биографию Маркса. Если в предисловии к своей книге Меринг еще изображает меня только сионским стражем марксизма, ревниво оберегающим неприкосновенность различных партийных легенд, то в примечаниях он меня уже превращает в злодея, который учинил покушение на убийство его книги, когда она находилась еще в зародышевом состоянии.

Мне нечего уверять читателей, что мне и в голову не приходило совершить такое ужасное злодейство. Речь шла только о различной оценке отношений Маркса к Бакунину. Меринг, под сильным впечатлением никчемной компиляции Брупбахера, принял почти целиком старую анархистскую легенду о злодее Марксе и «невинно убиенном» Бакунине. Именно против этой попытки покрыть марксистским флагом плохонький анархистский товар я и выступил в ряде статей, напечатанных в «Neue Zeit». И когда Меринг отрицает за марксистом право выступить в защиту партийной чести Маркса, когда он называет это попыткой превратить Маркса в «скучного примерного мальчика», то он только забывает следующие слова, в которых он об'яснял, почему ему приходится посвятить не мало места защите Маркса от обвинений Руге.

— «Маркс обыкновенно проходил мимо таких нападений на его личный характер с презрительным молчанием, если они только не вредили защищаемому им делу. И это было, конечно, е г о право. Но н а ш е право, право тех, которые чтут в нем своего учителя,—счищать с его блестящего щита грязь, которою в него бросают люди, не имеющие никакого понятия о том, что собою представляет Маркс, как историческая личность».

А обвинения Руге сущие пустяки в сравнении с той грязью, которою забрасывали Маркса анархисты и такие невежественные подголоски их, как Брупбахер и ему подобные.

Если можно и должно относиться критически к Марксу и Энгельсу,—и я показал это в нескольких работах, которые Меринг удостоил самых лестных похвал; если можно опровергать легенды, созданные с легкой руки Маркса и Энгельса,—то не менее святое право имеет марксист разрушать и легенды, созданные анархистами. И мне удалось показать, что ряд глупейших инсинуаций и грязнейших клевет, которыми старались запачкать партийную честь Маркса, которые приняты были на веру Бернштейном и Рингом,—были просто высосаны из пальца.

Октябрьская революция извлекла теперь из недр старых жандармских архивов много нового материала, который показывает, как наивно превращать Бакунина в, правда, очень путаного, но зато уже несомненно «святого» революционера. А вместе с этим, возникает ряд вопросов, на которые очень трудно ответить с точки зрения анархистов и Меринга.

Во всяком случае, решение их требует еще внимательного исследования и критического рассмотрения, не останавливающегося ни перед какими легендами—как марксистскими, так и антимарксистскими.

Более того. Пора, и очень пора, пересмотреть критически не только биографию Маркса и Энгельса, в области которой пришлось и придется еще не мало поработать и после Меринга,—необходимо также критически пересмотреть и всю историю рабочего движения и социализма в различных странах. В первую очередь придется подвергнуть критике не оффициозную, как часто ее называли, но все же слишком оффициальную, несмотря на все старания автора быть самостоятельным, «Историю германской социал-демократии» Меринга. Достаточно сколько-нибудь внимательно прочитать переписку Маркса и Энгельса, чтобы убедиться сейчас же, в какой большой переработке нуждается работа Меринга даже в тех ее частях, где он, как в вопросе о Швейцере, расходится с Либкнехтом и Бебелем. И неудивительно: все главные работы Меринга в области истории марксизма закончены были чуть ли не четверть века назад. Даже в изданной им в 1918 г. биографии Маркса он лишь в очень недостаточной степени использовал новые, открытые мною и Густавом Майером, материалы. Вполне прав, поэтому, И. И. Степанов, когда, в своем предисловии к новому русскому изданию «Истории германской социал-демократии», указывает на необходимость основательной переработки многих отделов труда Меринга.

Дополнением к издаваемым мною теперь очеркам могут служить мои лекции о Марксе и Энгельсе, читающиеся на курсах по марксизму при Социалистической Академии [1]). Я остановился в своих лекциях более подробно на тех моментах, которые, по моему мнению, недостаточно разработаны или неверно освещены у Меринга.

Считаю нужным заметить, что собранные в этом томе очерки печатаются почти без всяких изменений. К некоторым темам, которые разработаны мною в этих исследованиях, я надеюсь вернуться еще в другой связи.

Д. РЯЗАНОВ.

---

[1]) Д. Рязанов.—«Маркс и Энгельс».—«Московский Рабочий». 1923.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ МАРКСИЗМА

I

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ
МАРКСА и ЭНГЕЛЬСА

II

МАРКС и ЭНГЕЛЬС
В ЭПОХУ ПЕРВОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

III

ИЗ ИСТОРИИ МАРКСИЗМА В РОССИИ

IV

ВЗГЛЯДЫ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА
НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ

I

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ МАРКСА и ЭНГЕЛЬСА

1

МАРКС И ЭНГЕЛЬС В ИХ ПЕРЕПИСКЕ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

2

ЮНОШЕСКИЕ РАБОТЫ ЭНГЕЛЬСА

3

СТРАНИЧКА ИЗ ЖИЗНИ МАРКСА

4

МАРКС И «НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ТРИБУНА»

5

МАРКС И ВЕНСКАЯ «ПРЕССА»

6

«ИСПОВЕДЬ» МАРКСА

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС

В ИХ ПЕРЕПИСКЕ

ДО РЕВОЛЮЦИИ 1848 ГОДА

Вступление.

I.

Исторический процесс несомненно представляет собою естественно-необходимый процесс. Люди, выступающие всегда в определенном, групповом и классовом одеянии, не могут изменить или направлять его по своему произволу, но все же он остается процессом самих людей, на который оказывают известное влияние так называемые исторические личности.

Правда, можно отвлечься от этой исторической конкретности, можно сказать,—и с теоретической точки зрения это будет правильно,—что этот исторический процесс или определенная часть его, та или иная перемена в жизни народов, произошли бы и без содействия данной исторической личности. Или, выражаясь иначе, можно сказать, что если бы выполнителями этого процесса не выступили личности А. и Б., то нашлись бы другие личности В. и Г., которые сделали бы то же самое. Но, тем не менее, данный исторический процесс во всем его своеобразии, в той форме, как он выступает уже в комплексе данных, имевших место, отношений и событий, может быть вполне понят и об'яснен нами лишь в том случае, если мы в состоянии правильно понять и его персональные факторы. Это значит, что мы должны понять деятельность людей, бывших активными участниками определенной эпохи, и об'яснить ее из их среды, как общеисторической, так и индивидуальной. Правда, эти люди выступали при условиях, которые они нашли, данных независимо от их воли, но они поняли их определенным образом и сознательно пытались изменить их в определенном направлении.

В отличие от так называемой «культурной» истории, материалистическое понимание истории нисколько не отрицает значения в национальной и международной жизни великих политических поворотных моментов; и, точно также, оно не отрицает значения исторических личностей. Конечно, даже сильная, выдающаяся личность не может изменить направление общественного развития, она может определять его форму и способ проявления лишь в ограниченных пределах, но, тем не менее, она может оказывать влияние на историческое развитие, накладывая на него

печать своей индивидуальности, самостоятельно создавая в той или иной идеологической форме—хотя при исторически определенных условиях—«сознание», в котором отражается или проявляется «бытие» определенной эпохи.

Правда, и для осуществления этих идей, для их воплощения в действительность, для распространения их в определенной общественной среде, необходим целый ряд факторов, которые не зависят от воли указанных личностей и одни только превращают эти идеи в творческие силы; но, вместе с тем, не подлежит сомнению, что именно своими идеями эти исторические личности влияют даже на последующие поколения.

Уже с одной этой точки зрения, биографический элемент сохраняет большое значение для материалистического понимания истории, не только в качестве показателя великих исторических перемен. И одним из интереснейших явлений мировой истории является тот факт, что эта «творческая сила» идей и решающая роль исторических личностей нигде не проявилась так полно, как в жизни обоих основателей материалистического понимания истории, якобы совершенно отрицающего роль «суб'ективного» элемента в мировой истории. Никто не оказал такого сильного влияния, как Маркс и Энгельс, на величайшее в мировой истории массовое движение, а именно на международное рабочее движение; никто не оплодотворял с такою силою своими идеями сознания нескольких поколений в различных странах, как оба эти великих мыслителя, которых и после их смерти неоднократно уничтожали, но которые всегда возрождались к новой жизни.

С этой точки зрения, одною из важнейших и интереснейших задач современной истории является научная биография Маркса и Энгельса, которая исчерпывающим образом показала бы всю их деятельность—теоретическую и практическую, которая об'яснила бы нам их личности как из их индивидуальных особенностей, так и из воздействия исторической среды—понимая под последнею самые различные ее ступени, начиная с непосредственной и кончая всемирно-исторической,—которая нарисовала бы развитие во всех фазах их миросозерцания, одновременно сделавшегося господствующей теорией международного рабочего движения.

Но до последнего времени отсутствовали два главных условия для такой работы: не было, во-первых, научного издания всех сочинений Маркса и Энгельса и, во-вторых, издания всей их переписки.

Если значение Маркса и Энгельса заключается в их миросозерцании, в сумме идей, брошенных ими в исторический процесс,

то проследить с точностью возникновение и развитие этого миросозерцания мы сможем только тогда, когда перед нами будет вся картина их интеллектуальной деятельности, когда будут выяснены не только все составные элементы великого творения Маркса и Энгельса, но и все результаты их научной, политической, организаторской повседневной работы, которая шла об руку с самою интенсивною теоретической работой.

Правда, в последнее десятилетие в этом направлении сделано немало. Литературное наследство Маркса и Энгельса, изданное Мерингом, бросило новый свет на время до 1850 г. Но, как много остается еще сделать в этом отношении, даже в хронологических рамках работы Меринга, показывают изыскания Майера, раскрывшие совершенно неизвестные до сих пор стороны в развитии Энгельса [1]).

Много также пробелов обнаруживает еще до сих пор время первого пребывания Энгельса в Манчестере и брюссельский период 1845—1848 годов, т.-е. время подготовки и создания Коммунистического Манифеста [2]).

Еще хуже обстояло дело с периодом после 1851 г. Нам была известна только незначительная часть литературных работ обоих друзей в европейских и особенно американских журналах; а между тем, это был период, когда научный социализм мог впервые более интенсивно применять в различнейших областях основные положения и методы, выработанные им еще до 1848 г. Правда, в настоящее время, благодаря Каутскому, нам известны, в форме «Истории теорий прибавочной стоимости», рукописи, которые Маркс подготовлял, как 4-й том «Капитала». Но до сих пор нам остались еще неизвестными «статьи о замечательных экономических событиях в Англии и на континенте», о которых Маркс говорит в предисловии к «Критике политической экономии», а также работы его и Энгельса в «областях науки, казалось бы, совершенно посторонних», каковы их статьи для американской энциклопедии [3]).

---

[1]) Ср. G. Mayer, Die Anfänge eines politischen Radikalismus im vormärzlichen Preussen. Zeitschrift für Politik. Ein Pseudonym von F. Engels. Grünbergs Archiv für die Geschichte des Socialismus. F. Engels Jugendbriefe. Neue Deutsche Rundschau, 1913.

[2]) Моя статья о «Юношеских работах Энгельса»—«Kampf», 1914.

[3]) Уже в 1909 г. я предпринял попытку собрать эти статьи. Из американских журналов были мною просмотрены: «Reform», «New York Tribune», «Putnam's Review»; из английских: «Notes to the People», «Peoples Paper», «Free Press», «Manchester Guardian», «Workman's Advocate», «Commonwealth»; из немецких: «Neue Oder Zeitung» и лондонский: «Volk». Большая

Едва была закончена первая редакция «Капитала», как для Маркса, впервые после нового возрождения европейского рабочего движения, открылась опять возможность принять практическое участие в современной борьбе.

С 1864 по 1873 г.г. его энергия была в большой мере поглощена деятельностью по руководству «Международным Товариществом Рабочих». Только опубликование протоколов Генерального Совета покажет нам, какую разнообразную и интенсивную деятельность Маркс развил в различнейших областях рабочего движения с 1864 по 1870 г.г.; начиная с 1870 г. часть этой работы падала также на Энгельса [1]).

Достаточно сказать, что первый том «Капитала» никогда не получил бы известную нам форму, что некоторые существенные части были включены в него под непосредственным влиянием этой деятельности и контакта с наиболее передовыми элементами всего интернационального пролетариата, что еще в большей мере, чем то было в Союзе Коммунистов, Маркс немедленно делился результатами своей теоретической работы—когда они еще не были известны ученому миру—со своими коллегами по Генеральному Совету и делал их основою своей практической деятельности.—достаточно указать на все это, чтобы понять, как важно для нас изучить деятельность, которую Маркс и Энгельс развили в рамках Интернационала.

В еще более распыленном состоянии находилась другая часть литературного наследства Маркса-Энгельса, которая также имеет кардинальное значение для того, чтобы представить себе общую картину их теоретической и практической деятельности. Это бесчисленные письма, написанные ими их друзьям и единомышленникам и вообще всем тем, которые обращались к ним за советом со всех концов земного шара. Уже в период 1845—1852 г.г. эта переписка была обширна, но после основания Интернационала она приняла такие размеры, что вряд ли можно найти какую-нибудь область интернационального рабочего движения, в которую оба друга не вмешивались бы непосредственно. Не менее богата та часть переписки, которая касается чисто теоретических вопросов.

И все же эти письма собираются только теперь. Конечно, су-

часть статей, особенно в New York Tribune» и в «Putnam's Review» появилась анонимно. Только незначительная часть их была опубликована супругами Эвелинг. Избранные статьи будут изданы в четырех томах у Дица в Штуттарте. (Два тома вышли в 1917 г.). Полная библиография будет издана мною отдельно.

[1]) Эти протоколы, как и все составленные Марксом адреса и документы, будут мною напечатаны в «Летописях Интернационала».

шественная часть этой незаметной, но колоссальной работы потеряна навсегда. Особенно относится это к письмам, адресованным в периоды 1845—1852 г.г. и 1864—1882 г.г. лицам, стоявшим во главе революционного рабочего движения.

Но еще важнее была возможность ознакомиться с перепиской, которую Маркс и Энгельс вели друг с другом от 1844 до 1870 г.г. Без ознакомления с нею ни одна биография их не могла считаться полною. Лишь эта переписка могла заполнить ряд пробелов в их биографии, лишь в ней могли мы надеяться найти также новые материалы, которые показали бы нам, как складывались их воззрения. Ведь оба друга были всегда очень сдержанными и никогда не занимали общественного мнения своими «я».

Теперь, благодаря Бебелю и Бернштейну, мы имеем эту переписку в 4-х больших томах. Но прежде, чем перейти к оценке ее содержания, мы должны сказать несколько слов о самом издании.

II.

Это была смелая мысль—издать интимные письма Маркса и Энгельса в настоящее время, тридцать лет после смерти первого и менее двадцати лет после смерти второго,—в настоящее время, когда живы еще многие лица, упоминаемые в их переписке, когда вокруг имени обоих основателей международной партии пролетариата кипит еще ожесточенная политическая борьба: не значило ли это открыть доступ в тайную лабораторию, где Маркс и Энгельс ковали свои планы, где они плели сеть своих дьявольских интриг, где они подготовляли свою подпольную деятельность? Можно было с уверенностью ожидать, что противники, как буржуазные, так и анархистские, будут жадно выискивать всякое место, чтобы уличить обоих ненавистных покойников в каком-нибудь новом неблаговидном поступке, чтобы открыть новое доказательство их испорченности.

Ведь, не только из писем, но даже из речей и сочинений, очень легко выхватить или вырвать отдельные места, которые сами по себе дают совершенно ложные и превратные представления о взглядах автора. Сюда присоединяется еще одно обстоятельство. Мнения, возникающие под влиянием крайне односторонней информации, мысли, которые являются только поспешным рефлексом на только что дошедшие до сведения факты и которые в устной передаче кажутся именно такими проявлениями настроения, принимаются за прочные убеждения, когда они изложены в письмах, никогда не предназначавшихся для печати, а теперь выпед-

ших в свет. Задача редактора еще труднее, когда ему приходится иметь дело с людьми страстного, горячего темперамента, которые никогда не стеснялись, презирали «хороший тон» и всякую вещь называли своим именем. Разумеется, приличный человек постыдится использовать все то, что он узнал в качестве невольного свидетеля обмена мыслей между двумя интимными друзьями; но многие сделают это с величайшим удовольствием и в полном сознании своей добропорядочности, если только появление в свет интимной переписки даст им возможность сделать это безнаказанно.

Конечно, именно эти соображения вынудили обоих редакторов опустить, как говорится в предисловии, «все несущественные и интимные места, не представляющие никакого интереса для более широкого круга читателей». Или, как говорит Бернштейн:

«Пропуски казались нам допустимыми только там, где затрагиваются особенно интимные отношения, не представляющие никакого общего интереса, где рассказываются безразличные вещи о совершенно безразличных лицах».

Старая традиция печатать письма только по истечении 50-ти лет после смерти автора—имеет свое оправдание: хотят по возможности щадить находящихся еще в живых людей, о которых автор писал под влиянием минутного настроения, или отзывался слишком резко. Но она имеет и большой недостаток: она лишает заинтересованных лиц, которые могли бы дать раз'яснения по поводу того или другого события, по возможности сделать это.

Поэтому мы предпочли бы, чтобы, раз уже решаются рвать с обычною традицией, переписка была напечатана без всяких сокращений.

Не из-за опасения, что найдутся охотники болтать о том, что издание «фальсифицировано» в пользу Маркса и Энгельса. На чужой роток не накинешь платок!

Маркс и Энгельс не были ангелами и не нуждаются в подделке под таковых. Не нуждаются они и в пощаде. К ним еще с большим правом применимы слова Герцена в его воспоминаниях о Мадзини: «Таких людей не надо щадить!» Они выносят самую неприкрытую истину, самую беспощадную критику. Сказать то, что есть,—это обязанность науки.

Но, как уже сказано, мы вполне понимаем мотивы, побудившие редакторов выбросить все места, где затрагиваются «особенно интимные» отношения или где встречаются «неблагоприятные замечания о третьих лицах». С одним только мы не можем согласиться.

По словам Бернштейна, были пропущены также те места, где «рассказываются безразличные вещи о совершенно безразличных людях».

Конечно, даже самая заядлая архивная крыса согласится, что при опубликовании какого-нибудь документа или письма могут быть опущены совершенно безразличные замечания, встречающиеся во всяком документе. Но совсем другое дело— ф а к т ы, о которых сообщается в письмах. То, что одному исследователю или читателю покажется «безразличной вещью» или совершенно «безразличным лицом», даст другому исследователю или читателю новый факт, новое указание, новое сведение. Можно проследить дальше этот новый факт, можно проверить новое указание при помощи старых, можно из нового сведения почерпнуть новое освещение события, казалось бы, уже прочно установленного.

И, с этой точки зрения, в высшей степени важно опубликование документа в том виде, как он есть, без всяких сокращений.

Лучшее доказательство сказанного представляет сама переписка. Большая часть писем периода 1844—1845 г.г. была уже опубликована Мерингом. Но только теперь, когда мы имели перед собой эти письма со всеми их безразличными вещами и совершенно безразличными лицами, какими они казались Мерингу— при чем он был вполне прав со своей точки зрения и принимая во внимание то состояние, в каком находились научные исследования о Марксе в начале XX века, — мы видим, как осторожно следует обходиться с такими историческими документами. Лучше подвергнуться опасности включить дюжину, повидимому, «безразличных мест», чем выбросить один действительно существенный след. Нередко́, как мы это покажем в дальнейших статьях, подобное «безразличное» место дает также лучшую точку опоры для критического разбора позднейших показаний Маркса и Энгельса. Ибо и по отношению к творцам материалистического понимания истории необходимо отличать между действительным движением, как оно фактически происходило, и между идейными формами, в которых оно отражалось в их сознании, спустя 30 или 20 лет. В противном случае мы рискуем не только повторить без критики их суждения об исторических событиях и лицах, но и дать неправильную картину целых отделов истории рабочего движения в их изображении, особенно тогда, когда речь идет о «безразличных» для нас вещах или о «совершенно безразличных лицах».

Но и в той форме, в какой переписка теперь издана, она представляет неисчерпаемый источник новых сведений. Она не только

бросает новый свет на взаимные отношения обоих друзей, но и вводит нас в лабораторию мощной работы их мысли. Мы видим, как из конфликтов их внутренней жизни, из соприкосновения с новыми фактами, у них рождаются новые идеи, как из результатов, к которым они приходят под первым впечатлением, через выводы и умозаключения, возникающие благодаря новой критике, кристаллизуются ясные и прочные линии нового научного воззрения. Кругозор обоих друзей имеет универсальный характер, и, наряду с отражением всех важнейших событий современной истории, мы находим интереснейшие экскурсии во все области теоретического мышления. Особенно богаты содержанием письма периода с 1850 до 1870 г.г., когда друзья проводили вместе только несколько недель в году.

Читатель, который надеется найти в этой переписке какие-нибудь следы самоанализа или душевных излияний, будет разочарован. К 1844 году, когда переписка начинается, оба друга давно уже оставили за собой романтический период неопределенных желаний и надежд. При всем различии темпераментов и—несмотря на тождество мировоззрения—теоретических склонностей, оба они уже давно освободились от всех сомнений в самих себе, в своих силах. Посвятив свою жизнь одному и тому же делу, они отдали все свои силы на служение этой жизненной задаче. Поэтому они не копаются в своей собственной душе, не занимаются «самоанализом» и крайне редко изображают свои чисто личные настроения. Но тем более сильное впечатление производят те письма, в которых, сквозь внешнюю холодность и усвоенный «цинизм», проглядывают душевные страдания—как у более общительного Энгельса, так и у более сдержанного, но и более бурного, Маркса.

Впервые перед нами раскрывается завеса, скрывавшая до сих пор не только от врагов, но и от друзей личную жизнь Маркса. Все, что Марке так тщательно замалчивал, что он скрывал даже от своих ближайших единомышленников.—долгие годы горькой нужды, политического одиночества, самоотверженного труда, и мучительный путь беспощадных маленьких ударов судьбы, вся обстановка, где было создано одно из высших творений человеческого гения, — эта трагическая картина впервые открывается теперь взору изумленного читателя.

Правда, мы уже знали.—из предисловия Элеоноры Марке к английскому изданию «Революции и контр-революции в Германии» из писем к Кугельману, из писем к Вейдемейеру, изданных Мерингом.—какую страшную борьбу с материальною нуждою Марксу приходилось вести. Но лишь теперь мы видим воочию эту несокру-

шимую, истинно-прометеевскую гордость, эту непоколебимую волю, огромную, титаническую работоспособность, благодаря которым Маркс мог преодолеть страшную нужду. Страшна смерть на виселице, страшны муки тюрьмы и каторги, и перед лицом таких условий только дух героя может сохранить верность своим убеждениям; но не менее геройский дух необходим, чтобы, голодая в течение ряда лет, при виде голодающей семьи и умирающих детей сохранить спокойную настойчивость, при виде врагов сохранить непреклонную решимость, постоянно выдерживать страшные испытания и не уклоняться ни на один шаг от предначертанного себе самому пути!

В жизни гениальнейшего глашатая исторической миссии пролетариата лучше всего отразилось геройское мужество класса, которое не выставляется напоказ, презирает громкие слова и театральную позу и гордо обращено внутрь себя. И если в истории человеческого духа характер и гений часто плохо соединяются, то в жизни Маркса они соединены так неразрывно, что вряд ли мы можем сказать, что больше восхищает нас в нем — его железная энергия и непоколебимое мужество или же его всеоб'емлющий гений.

А рядом с ним, как живое воплощение другой стороны пролетарской классовой борьбы, солидарности и верности, стоит его самоотверженный друг Энгельс, всегда готовый оказать помощь, борющийся за общее дело, плечо к плечу со своим другом.

С правом говорит незабвенный мастер пролетарской классовой борьбы Бебель, что в переписке читатель найдет пример дружбы, быть может, единственной в истории человечества,—и, во всяком случае, непревзойденной.

Приходится только сожалеть, что размеры этой переписки— четыре тома, всего 1.386 писем,—делают ее мало доступною для рабочих масс. Лишь теперь пролетариат получил возможность узнать своих учителей, как людей. И настоятельно необходимо издать переписку в сокращенном виде, с комментариями, что сделало бы ее столь же доступною массам, как и появившееся теперь народное издание «Капитала». Нельзя представить себе лучшего памятника обоим основателям современного научного социализма. Ведь, вся жизнь обоих друзей была целиком отдана освободительной борьбе пролетариата!

I. От классической немецкой философии к коммунизму.

(1844—1845).

I.

Переписка открывается письмом Энгельса. Оно относится к сентябрю 1844 г. и писано из Бармена.

Является ли оно действительно первым? Мы считаем это мало вероятным. Если вспомнить, что Маркс и Энгельс, после мимолетной и несколько холодной встречи в редакции «Рейнской Газеты», в сущности познакомились ближе только в том же сентябре 1844 г., то приходится удивляться, как быстро это знакомство превратилось в такую тесную и серьезную дружбу. Ведь Энгельс, возвращавшийся из Манчестера на родину, провел в Париже у Маркса, бывшего тогда «соломенным вдовцом»—жена его в это время гостила у своей матери—всего десять дней и за это время так быстро сошелся с ним, что успел даже написать несколько листов для задуманной ими сообща критики братьев Бауэров.

Правда, это быстрое сближение можно об'яснить «сродством душ», полным согласием по всем основным взглядам. Но ему несомненно предшествовало тесное идейное общение, деятельный обмен мыслей. Мы имеем указание Маркса, что переписка между ним и Энгельсом началась уже в конце 1843 года и что повод к ней дало сотрудничество Энгельса в «Немецко-Французских Летописях». Таким образом, десятидневное пребывание в Париже только скрепило и оформило идейное согласие, установившееся уже раньше. Каким образом оно развивалось?

Как ни велики различия между Германией и Россией того времени, все же в развитии немецкой интеллигенции того времени можно заметить, наряду со многими другими признаками сходства с развитием русской интеллигенции, и следующий очень характерный: немецкие люди сороковых годов, в начальной фазе их

эволюции, представляют такое же солидарное целое, как и русские люди сороковых годов. Их, правда, после разделили разногласия—еще в большей степени, чем русских людей сороковых годов—но в начале они были связаны лично, образуя, как мы сейчас увидим, одну духовную общину, говорили на одном и том же литературном жаргоне. В 1841 году эта группа, центр которой большей частью находился в Берлине, потеряла некоторых своих членов,—в том числе Маркса,—взамен их приобрела новых,—в том числе Энгельса,—но известная идейная солидарность сохранялась между всеми ними. Только в конце 1842 года начинается раскол, приводящий уже в 1845 г. к полному распадению старого кружка, а за этим следует дальнейшее расщепление или размежевание различных частей когда-то однородного целого.

К этой группе принадлежали учитель и друг Маркса—Бруно Бауэр, историк Кёппен, Рутенберг, будущий редактор «Рейнской Газеты», Мейен, уже тогда известный публицист, сам Маркс, Науверк, Теодор Альтгауз, известный по мемуарам Мальвиды Мейзенбуг. А с конца 1841 г., уже после того, как Маркс уехал из Берлина, в ней начали играть выдающуюся роль младший брат Бруно Бауэра—Эдгар Бауэр, Людвиг Буль и Каспар Шмидт, более известный под именем Макса Штирнера.

Все они были младо-гегельянцами и в большей или меньшей степени принимали участие в борьбе как против религиозной ортодоксии, так и против правого гегельянства. Хотя Арнольд Руге не принадлежал, как и Фейербах, лично к кружку, но он находился с ними в тесном идейном общении, и большинство названных состояли позже такими же деятельными сотрудниками его «Галлэских», а после и «Немецких Летописей», тогда главного органа радикальных гегельянцев, как и «Рейнской Газеты».

Начатая Штраусом критика евангельских преданий нашла в лице Бруно Бауэра еще более радикального продолжателя, и в начале сороковых годов именно он стоит в центре борьбы, являясь в значительной степени лидером молодых гегельянцев в борьбе с консервативной реакцией. Кульминационным пунктом этой борьбы является протест против лишения Бруно Бауэра кафедры за «Критику евангельской истории синоптиков», в которой он отвергает мифологическую теорию Штрауса, но с тем, чтобы еще резче выступить против традиционного взгляда на происхождение евангелий [1]).

---

[1]) Прекрасное изложение всей этой контраверзы читатель найдет в примечаниях Г. Плеханова к его переводу энгельсовского очерка о Фейербахе.

В юмористической форме весь этот эпизод рассказан в большой поэме, напечатанной в 1842 г. в Цюрихе и носящей следующее заглавие:

«Библии чудесное избавление от дерзкого покушения или торжество веры, сиречь ужасная, но правдивая и поучительная повесть о покойном лиценциате Бруно Бауэре, иже, диаволом соблазненный, от чистой веры отпавший, князем тьмы ставший, наконец, был уволен в отставку. Христианская героическая поэма в четырех песнях».

Мы не будем подробно излагать содержание этого крайне редкого памфлета. В первой песне—пародия на пролог к «Фаусту»—бог дает чорту позволение соблазнить Бауэра, во второй описывается его полемика с теологами и его деятельность в Бонне, в третьей описывается поход всех «свободных», созываемых манифестом Руге, при чем каждый из них характеризуется в нескольких словах. Вот, вслед за Бауэром,—«худой злодей, в зеленом сюртуке»,—мчится Маркс, «какой-то черный парень из Трира, настоящее чудовище!.. Как бешеный, бросается он на всех и вытягивает свои лапы вверх, точно хочет схватить далекое небо и стащить его на землю». Тут и Штирнер, один из отцов анархии, мнительная осторожность которого известна была его товарищам, хотя она не мешала ему там, где другие провозглашали: «долой королей!»—добавлять: «долой также и законы!» [1]).

Только один из этих атеистов, отправившихся в поход против благочестивых, оставался до последнего времени неизвестным. Это некий Освальд, которого поэма описывает в следующих выражениях:

А тот, кто там, на левом фланге, бешено дрыгает своими длинными ногами, это—Освальд, в сером сюртуке и в перечного цвета штанах, весь пропыленный насквозь. Освальд Монтаньяр, архирадикал до мозга костей. Он играет только на одном инструменте: это—гильотина, и всегда разыгрывает на ней только одну каватину. Всегда гремит его адская песнь, и громко ревет он ее припев: Formez vos bataillons! Aux armes, citoyens!».

Уже в «Dokumente des Sozialismus» Паппенгейм, впервые обративший внимание на этот памфлет, высказал предположение, что автором его является сам Освальд, но хотя описание наруж-

---

[1]) «Смотрите на Штирнера, смотрите на этого осторожного ненавистника всех обуз. Только что он цедил пиво, а сейчас готов пить кровь, как воду. И когда другие кричат: «долой королей!»—он сейчас же прибавляет: «долой также и законы!»—В другом месте Штирнер протестует против всяких уставов.—«Вы связываете волю и осмеливаетесь называть себя свободными... Долой устав, долой закон!»

ности совпало с известным описанием наружности Энгельса [1]), хотя в литературе уже имелось случайное указание, что Освальд— это Энгельс, хотя этот Освальд бесследно исчез, автор статьи об этом памфлете не решался делать вывод, что Освальд есть только псевдоним Энгельса. Это слишком мало соответствовало тому, что до сих пор знали об Энгельсе, да и противоречило известному факту, что Энгельс жил в Берлине, когда Маркс уже уехал оттуда, и мог разве только по наслышке так метко характеризовать его отличительные черты.

Теперь, благодаря Густаву Мейеру, мы знаем, что Освальд был действительно псевдонимом Энгельса в течение нескольких лет. Таким образом, вероятие, что Энгельс был автором нашего памфлета, становилось сильнее, а недавно мне удалось найти указание, которое устраняет и последнее сомнение. Поэма является коллективным произведением, и уже в 1845 году было известно, что авторами ее являются Фридрих Освальд и Эдгар Бауэр, хорошо знавший Маркса и в Берлине и в Бонне.

Одновременно с вопросом об авторстве этого памфлета, решается и вопрос об авторстве другого памфлета—на этот раз философского,—имеющего значение и в истории русской идеологии. Речь идет о брошюре, высоко ценившейся левыми гегельянцами и до сих пор, с легкой руки Драгоманова и Неттлау, опиравшихся на письмо Руге, приписываемой Бакунину. В действительности же эта блестящая критика последней фазы в развитии философии Шеллинга принадлежит Энгельсу [2]).

Мы еще вернемся к этой брошюре. Пока мы констатируем, что старое представление об Энгельсе, как молодом любознательном купце, который только в Манчестере заинтересовался социальным вопросом и, в противоположность Марксу, начавшему философией и кончившему экономией, перешел, наоборот, от экономии к философии,—что это представление не соответствует действительности. В 1842 г. их занимали уже одни и те же духовные интересы, и если в ноябре этого года, встретившись в первый раз лично, они, так сказать, прошли мимо друг друга, то по совершенно дру-

---

[1]) Так описывает его Анненков в своих воспоминаниях о замечательном десятилетии.

[2]) Ср. Корнилов А.—«Бакунин», в четвертом томе Энциклопедического Словаря Брокгауза и биографию Бакунина на немецком языке, написанную Ю. М. Стекловым. А между тем, уже в 1902 г. названный в тексте Паппенгейм неопровержимо доказал, что брошюра, вышедшая анонимно, принадлежит тому же загадочному Освальду.

гим причинам. Но у обоих друзей были еще иные точки соприкосновения, хотя индивидуальное развитие каждого из них шло особенным путем.

II.

Уже Каутский указал в своей биографии Энгельса на благоприятные условия, в которые поставлена была Рейнская провинция, родина одинаково как Маркса (родился в Трире, 5 мая 1818), так и Энгельса (родился 28 ноября 1820 в Бармене).

«Рейнская Пруссия,—говорит Энгельс в статьях «Кампания в защиту имперской конституции»,—уже с 1815 года считалась одной из наиболее прогрессивных областей Германии, и она действительно имела право на это название. Она соединяла в себе два преимущества, которые в совокупности не встречаются ни в одной другой части Германии. Вместе с Люксембургом, Рейнским Гессеном и Пфальцем, Рейнская Пруссия имеет то преимущество, что, начиная с 1795 г., она испытывала на себе непосредственное влияние французской революции и воспользовалась той социальной, административной и законодательной консолидацией ее результатов, которая совершалась при Наполеоне... Но Рейнская Пруссия—и это представляет ее главное преимущество в сравнении с остальными областями левобережного Рейна—обладает еще самою развитою и разнообразною промышленностью в Германии. В трех округах—Аахенском, Дюссельдорфском и Кельнском—представлены почти все отрасли промышленности... Следствием этой —развившейся также под влиянием господства французской революции—промышленности и связанной с ней торговли явилось в Рейнской Пруссии развитие промышленной и торговой буржуазии и, в антагонизме к ней, многочисленного промышленного пролетариата.—двух классов, которые в остальной Германии существуют только спорадически и в эмбриональном состоянии, но которые почти исключительно определяют особенное политическое развитие Рейнской провинции».

Понятно, что воссоединение с Пруссией должно было создать в ней такое же сильное оппозиционное настроение, как и в Пфальце, который, в начале тридцатых годов, явился главным очагом революционного движения в Южной Германии.

Ненависть к Пруссии в Рейнской провинции была так же сильна, как в Пфальце ненависть к баварцам, которые так же грубо, как пруссаки, реставрировали в присоединенных провинциях феодальные порядки,—правда, с большим успехом, чем прус-

саки. имевшие дело с более развитой в промышленном отношении страной, чем Пфальц—с его мелким крестьянством и господством ремесла.

На этой ненависти к пруссакам воспитались одинаково и Маркс и Энгельс, как после Либкнехт и Бебель. Из того же источника об'ясняется и тяготение к Франции, симпатии к великой французской революции.

Но общность социально-политической атмосферы не исключает разницы в той обстановке, в которой протекает жизнь данных индивидуумов в детстве и отрочестве. И трудно себе представить две более различные среды, чем социальная и семейная обстановка, в которой протекала жизнь Маркса и Энгельса до 18 лет. Крупный исторический конфликт, под влиянием которого складывалась социальная и политическая жизнь Рейнской провинции, дополнялся рядом конфликтов в их индивидуальной жизни.

Маркс родился в еврейской семье, и, хотя ему не пришлось лично переживать трагедию отказа от старых верований ни во имя «бюджета», ни во имя избавления от культурного «гетто» или черты оседлости, он имел достаточно случаев наблюдать, какие гнусные формы принимает стремление господствующей нации обеспечить за собой господство или показать свое «национальное лицо».

Дедом Маркса был раввин, носивший еще двойную фамилию Маркс-Леви [1]). Старший сын, Самуил, был тоже раввином в Трире и сменил на этом посту отца. Младший сын, отец Карла Маркса, Гиршель, пошел по другой дороге. На него (он родился в 1782 г.), по всей вероятности, оказала сильное влияние французская культура. Когда в 1815 г. Рейнская провинция опять была присоединена к Пруссии и, вместо торжественно обещанной конституции, началось господство прусского капрала, то первой жертвой явились евреи. Отец Маркса, давно уже порвавший с традиционной еврейской религией, предпочел вместе со своей семьей перейти в протестантизм. Но брат его, да и другие родственники, остались правоверными евреями. Маркс было уже одиннадцать лет, когда умер его дядя, раввин еврейской общины в Трире. Что связи его с этой средой не порывались и позже, что ему приходилось много думать о положении своих сородичей, показывает не только

---

[1]) В одном из писем к Марксу я нашел указание на дело о введении в наследство (во Франкфурте), в котором принимали участие все его родственники. С помощью г. Паппенгейма удалось получить все нотариальное делопроизводство. Но родословная Маркса прослежена не так тщательно, как это сделано родными Энгельса.

его будущая полемика с Бруно Бауэром по еврейскому вопросу, но и обращение старшины кельнской еврейской общины с просьбой составить для них петицию к ландтагу [1]).

Трир, вместе с Кельном, был одним из центров католицизма, стоявшего в антагонизме к протестантской Пруссии. Конфликты между католическим духовенством и прусским чиновничеством необходимо учащались и обострялись при всяком усилении пиэтистской реакции в Берлине. Вероятно, воспоминаниями детства объясняется у Маркса крайне характерное для него несравненно более мягкое отношение к католицизму, чем к той религии, в которой он был воспитан, т. е. к протестантизму. К этому влиянию присоединяется новое, проявляющееся уже после смерти отца, индифферентно относившегося к формальной стороне религии. Свободная от всякого религиозного гнета семейная атмосфера, к которой Маркс привык и в доме Вестфаленов, с дочерью которых он так рано связал свою судьбу, сменяется после смерти отца совершенно чуждым для него протестантским ханжеством, жертвой которого становится, под влиянием новых людей, его родная мать. Этот конфликт в родной семье, в котором сторону матери берет его самая любимая сестра София, все больше отчуждает его от нее и, наконец, заканчивается полным разрывом.

Когда Маркс окончил трирскую гимназию, ему пришлось представить две письменные работы. Характерно, что первая из них на тему из евангелия, не удалась; зато во второй, на тему «Размышление юноши перед выбором профессии», учитель, указав на богатство мыслей и планомерное распределение материала, считает нужным отметить следующее «интересное место»:

«Мы не всегда в состоянии выбрать ту профессию, к которой мы чувствуем призвание; наше положение в обществе до известной степени уже начинает устанавливаться прежде, чем мы в состоянии начать на него влиять».

---

[1]) «Только что у меня был старшина здешней еврейской общины и просил меня написать петицию к ландтагу в защиту евреев. Я сделал это. Как ни антипатична мне еврейская религия, взгляд Бауэра кажется мне чересчур абстрактным. Необходимо пробить как можно больше брешей в христианском государстве и сделать его, поскольку это в наших силах, более рациональным. По крайней мере, надо сделать попытку,—а озлобление растет с каждой петицией, которую резко отвергают». (Из письма Маркса к Руге, 13 марта 1843 г.).— Критику взглядов Бауэра Маркс дал через год в «Немецко-Французских Летописях». Названный мною Паппенгейм старался найти петицию Маркса, но ее в архиве кельнской общины не оказалось.

В этом тезисе слышится явственный отзвук французского материализма [1]).

Во всяком случае, когда Маркс в сентябре 1835 г. получил аттестат зрелости, он менее всего был религиозным человеком. Отказ от верований детства ему дался, вероятно, легко, и когда он попадает, наконец, в университет, он всю свою энергию посвящает выработке определенного миросозерцания. После нескольких лет напряженной работы мысли, мучительных колебаний от одной системы к другой, он, наконец, временно успокаивается на гегелевской философии, поскольку она давала ему новый метод отыскивать идеи в самой действительности, понимать вещи в их саморазвитии.

Попав в университет в эпоху самой свирепой политической реакции, которая едва только успела справиться с влиянием новой, июльской, французской революции и беспощадно задушила все «интеллигентские» организации, причастные к политическому движению, Маркс остается и в области политической оппозиции «теоретиком» и мечтает, вместе с другом своим, Бруно Бауэром, об университетской кафедре. Наступившая, после смерти Фридриха-Вильгельма III, в 1840 г. кратковременная политическая весна способствовала быстрому росту «бессмысленных мечтаний», но уже в начале 1842 г. удаление Бруно Бауэра из бонского университета заставляет Маркса отказаться от ученой карьеры. Он становится сотрудником только что основанной «Рейнской Газеты», чтобы уже через несколько месяцев стать ее руководителем.

Новые работы—профессора Ганзена о Мефиссене, принимавшем участие в основании «Рейнской Газеты», и Густава Майера—показали, как мало эта газета, сыгравшая такую огромную роль в истории немецкой прессы и культуры, была органом крупной буржуазии. Основанная, действительно, на деньги кельнских фабрикантов и купцов, она сравнительно легко получила санкцию прусского правительства, потому что в ней желали создать противовес «Кельнской Газете», державшей во время конфликта между прусской короной и католической церковью сторону последней. Во главе нового предприятия стояли Юнг и Оппенгейм, находившиеся под сильным влиянием Гесса и в то же время тесно связанные с берлинским кружком Бруно Бауэра и Маркса, который им рекомендовал, как редактора, своего старого приятеля Ру-

---

[1]) Ср. классическую главу о французском материализме в «Святом семействе», в которой Маркс указывает на необходимую связь, существующую между материалистическим учением о влиянии внешних обстоятельств и коммунизмом.

теберга. Таким образом, младо-гегельянцы получали совершенно неожиданно в свое распоряжение крупную газету, в которой они принимают еще более деятельное участие, чем в «Немецких Летописях». С 15 октября 1842 г. редактором газеты становится Маркс, до тех пор посылавший в нее статьи из Бонна и Трира, статьи, которые своей критикой прений в рейнском провинциальном ландтаге обратили на себя всеобщее внимание. Но уже в ноябре происходит формальный разрыв между Марксом и его старыми друзьями в Берлине, теми самыми «свободными», среди которых мы нашли Энгельса.

В редакции «Рейнской Газеты» и произошла первая встреча между ним и Марксом.

III.

Хотя Энгельс родился в той же Рейнской провинции, что и Маркс, он все же вырос в совершенно другой обстановке. Отец его принадлежал к истинно-немецкой семье, насчитывавшей среди своих предков не менее фабрикантов, чем семья Маркса раввинов.

Уже в конце XVI столетия в тщательно прослеженной родословной отмечается почтенный сапожник Иоанн Энгельс. Правда, существует предание, что родоначальником семьи является французский гугенот d'Ange, эмигрировавший около 1560 г. в Германию и основавший там суконную фабрику. Но семья отвергает это предание, настаивая на своем чисто немецком происхождении [1]).

Будущий провозвестник классовой борьбы носит в своем фамильном гербе образ ангела, несущего ветку мира. Отец его принадлежал к старшей линии и был одним из самых богатых фабрикантов города Бармена. Предприимчивый и энергичный, он, кроме большой бумагопрядильной фабрики в Германии, вместе с Эрменом в 1837 г. основал еще фабрику в Манчестере. Ему же приписывают настойчивую борьбу с господствовавшим тогда еще в немецкой промышленности принципом: «не обманешь—не продашь» и введение усовершенствованных, англизированных методов эксплоатации и реализации прибавочной стоимости.

Со строго пуританской складкой в характере, Энгельс-отец и в семье высоко держал знамя религии и порядка. В проти-

---

[1]) Только что (в 1913 г.) вышел в генеалогической серии «Deutsches Geschlechterbuch (Geneologisches Handbuch Bürgerlicher Familien, herausgegeben von D-r B. Koerner)» 24-ый том, посвященный родовитой буржуазии городов Бармен-Эльберфельда. Из него видно, какое почетное место занимала в Бармене семья Энгельса. В этом же издании помещены два до сих пор неизвестных портрета Энгельса, из которых первый относится к тридцатым годам, а второй—к шестидесятым.

воположность чиновничьему и католическому Триру, более богатому памятниками римской старины, чем фабриками, с окрестным населением из мелких владельцев-крестьян, Бармен был уже и тогда не только центральным пунктом бумагопрядильной промышленности, но и одним из центров немецкого пиэтизма, воинствующим представителем которого являлся знаменитый проповедник Круммахер. В городе царили религия и «гешефт», и в семье Энгельса страсть к накоплению еще не приходила в конфликт с жаждой наслаждений. Правда, та стадия, когда капиталист живет, как скряга, собиратель сокровищ, была уже превзойдена, но культ накопления господствовал в семье нераздельно. Только мать Энгельса, добродушная и жизнерадостная голландка, вносила некоторый диссонанс и смягчала, поскольку это было в ее силах, пуританский строй жизни. Вероятно, она же, дочь ректора гимназии, хотя и робко, но все же боролась с тем подозрительным отношением к безбожной науке, которое отличало отца Энгельса. Этим об'ясняется, почему, в противоположность Марксу, который сохранил о своем отце-друге хорошие воспоминания, а с матерью, вопреки установившемуся преданию, был всегда в холодных отношениях, превратившихся в открытую вражду, у Энгельса, наоборот, мы замечаем нежную любовь к матери и очень недружелюбные отношения к отцу.

Всего за год до окончания реальной гимназии, его, против его желания, засадили за конторку, и после того, как он изучил в 1837—1838 торговое дело дома, отправили в купеческую контору консула Лейпольда в Бремене, где он провел почти три года (1838—1841).

Так за Барменом последовал Бремен, другой центр тогдашнего пиэтизма, и молодой Энгельс, рвавшийся в университет, должен был вести торговую корреспонденцию на английском и испанском языках. К счастью, он избавился от деспотического надзора, от которого он так сильно страдал в Бармене. Мечты о поэтической карьере—как и Маркс [1]), Энгельс также писал стихи и тоже мечтал о большом драматическом произведении—он скоро отбросил, но все свободные часы он посвящает литературе, и уже в 19 лет становится сотрудником «Телеграфа», журнала, редактором которого был главный представитель «Молодой Германии», Карл Гуцков, автор «Уриэля Акосты». Свою литературную деятельность он

[1]) В четвертом номере берлинского «Атенеума» (23 января 1841), редактором которого был один из приятелей Маркса—Ридель, помещены его «Неистовые песни».

начал письмами о Вуппертале, т.-е. о своих родных палестинах [1]), а затем перешел к литературной критике.

Из опубликованных Густавом Майером писем молодого Энгельса видно, как он, уже освободившись из-под влияния пиэтизма, становится сначала рационалистом [2]), чтобы, наконец, под влиянием книги Штрауса «Жизнь Иисуса Христа», окончательно освободиться от традиционного уважения к культу и стать гегельянцем, конечно, левым.

Эта метаморфоза давалась ему не легко и стоила мучительной душевной борьбы.

«Я молюсь ежедневно; почти целый день молюсь, чтобы мне дана была истина,—пишет он, 27 июля 1839 г., своим старым приятелям.—Я делал это всегда с тех пор, как мною овладели сомнения, и все же не могу вернуться к нашей вере... Со слезами на глазах пишу я эти строки, мне трудно справиться со своим волнением, но все же я чувствую, что не погибну, что я найду Бога, к которому стремлюсь всем сердцем. И это тоже свидетельство святого духа, я уверен в этом, хотя бы в Библии десять тысяч раз сказано было другое».

А на ряду с оппозицией в религиозной области растет и оппозиция в других областях. В письмах и статьях все сильнее пробивается влияние «социальных» поэтов Гейне и Бека и, в особенности, Берне, которого он, как «человеком дела», ставит на ряду с Гегелем, как «человеком мысли», чтобы определить задачу времени, как «синтез Гегеля и Берне», «синтез мысли и дела».

Оппозиционное настроение сменяется революционным, и уже в январе 1840 г. наш Освальд, которого мы в 1842 г. встречаем ярым якобинцем, пишет своему приятелю:

«Нет эпохи, которая была бы более богата преступлениями королей, чем время от 1815 до 1830 г. Почти каждый государь, царствовавший тогда, заслуживал смертной казни. Благочестивый Карл X, коварный Фердинанд VII испанский, Франц австрийский, эта машина, способная только подписывать смертные приговоры и думать о карбонариях, дон Мигуэль, который большая стерва, чем все герои французской революции, вместе взятые, и которого, однако, признали с радостью Пруссия, Россия и Австрия, когда он выкупался в крови лучших португальцев,—отцеубийца Алек-

---

[1]) Вуппер приток Рейна. В долине Вуппер (Вупперталь) расположены Бармен, Эльберфельд и другие фабричные города.

[2]) Немецкий рационализм, как известно, старался, вместо отрицания Библии, «рационализировать» ее, привести ее в соответствие с духом времени, а это немыслимо было без своего рода «талмудических» истолкований.

сандр русский и его достойный братец Николай, о чудовищных злодеяниях которого лишне и говорить,—о, я мог бы тебе рассказать интересные истории на тему о любви государей к их подданным. Я жду чего-либо хорошего только от того государя, вокруг головы которого свистят пощечины его народа и во дворце которого революцией выбиты стекла».

Давнишнюю свою мечту—поездку в философский Берлин—Энгельсу удалось осуществить только в 1841 г. Предлогом явилась необходимость отбывать воинскую повинность, и, поступив вольноопределяющимся, он, как сын очень состоятельных родителей, прослужил свой год в артиллерийской гвардии в Берлине. Как видно, он пользовался значительной свободой и очень скоро сошелся с берлинскими «свободными», которым он уже хорошо был знаком, как Освальд. В то же время он усердно посещал университетские лекции.

Как раз в ноябре 1841 г. в Берлин был приглашен читать лекции по философии старый Шеллинг. На него возложена была миссия бороться с оказавшейся не ко двору философией Гегеля, которая в истолковании молодых его учеников отрицала личного бога и личное бессмертие. Новая положительная, позитивная философия Шеллинга должна была уничтожить гидру атеизма и восстановить в его правах старый теизм.

Правда, молодые гегельянцы, не решались еще открыто признать себя атеистами, и сам Бруно Бауэр в этом же ноябре 1841 г. выпустил, анонимно и под маской религиозного ортодокса, брошюрку «Страшный суд над Гегелем, атеистом и антихристом», в которой ловко подобранными цитатами доказывалось, что Гегель был атеистом [1]).

Ответ Шеллингу написал Энгельс. Именно против этой попытки поставить на место мышления, науки, интуицию, веру, против этого нового похода реакции, направлена была нашумевшая тогда брошюра «Шеллинг и откровение. Критика новейшего реакционного покушения на свободную философию», которую, как мы выше указали, до последнего времени приписывали Бакунину [2]).

Сам Энгельс, еще в 1843 г., в одной, недавно мною вновь опубликованной статье, в следующих словах характеризует ее зна-

---

[1]) Бауэр собирался сделать то же самое с эстетическими, юридическими и др. взглядами Гегеля, чтобы показать, что не старо-гегельянцы, а именно они, младо-гегелянцы, являются верными последователями Гегеля. Маркс должен был принять участие в этом предприятии, но оно расстроилось.

[2]) Schelling und die Offenbarung. Kritik des neuesten Reactionsversuchs gegen die freie Philosophie. Leipzig. 1842.

чение. Указав сначала, что немецкий коммунизм, в отличие от французского и английского, носит чисто идеологический характер и ведет свое происхождение от немецкой философии, он переходит к характеристике системы Гегеля.

«Политическая революция во Франции сопровождалась в Германии философской революцией. Кант явился первым: он свергнул старую ситему метафизики Лейбница, которая в конце восемнадцатого столетия господствовала во всех континентальных университетах, Фихте и Шеллинг начали постройку новой системы, Гегель завершил ее. Никогда еще, с того времени, как люди начали мыслить, не было такой всеобъемлющей философии, как система Гегеля. Логика, метафизика, натурфилософия, феноменология духа, философия права, религии, истории—все было объединено в одну систему, все было сведено к одному основному принципу. Извне она казалась совершенно неприступной, да оно и в действительности так было. Только изнутри она могла быть разрушена и только теми, которые сами были гегельянцами... Развитие немецкой философии от Канта до Гегеля было до такой степени последовательным, логическим, необходимым, если позволено употреблять это выражение, что рядом с названными системами ни одна другая не могла удержаться... Но Гегель, несмотря на свои колоссальные знания и глубокие идеи, был так поглощен абстрактными вопросами, что он не успел освободиться от предрассудков своего времени, которое вновь обратилось к старым политическим и религиозным системам. Но ученики его имели совершенно другие взгляды на эти предметы. Гегель умер в 1832 г., а уже в 1835 появилась «Жизнь Христа» Штрауса, первое сочинение, которое представляет шаг вперед по отношению к ортодоксальному гегельянству. За ним последовали другие, а в 1837 г. выступили против этих ново-гегельянцев представители ортодоксии и, окрестив их атеистами, апеллировали к правительству [1]). Но последнее не вмешалось, и спор продолжался дальше. В это время ново или младо-гегельянцы еще так мало отдавали себе ясный отчет в том, какие выводы вытекают из этих идей, что они отвергали обвинение в атеизме и называли себя христианами и протестантами, хотя они отрицали существование сверхчеловеческого бога и историю евангелий сводили к чистой мифологии. Только в прошлом году автор этих строк признал упрек в атеизме совершенно правильным» [2]).

---

[1]) Энгельс имеет в виду проф. Лео и его поход против «гегелингов».

[2]) Статья Энгельса была написана для журнала «New Moral World», органа английских оуэнистов.

Именно Энгельс «осмелился открыто сделать все выводы» и из учения, которое хотело остаться «эзотерической системой школы» и сохранить свою тайну от народа, сделал «всеобщее» достояние. Характерно и его отношение к Фейербаху, в критике христианства которого он видит только дополнение критики Штрауса. Если Энгельс писал 44 года спустя, что книга Фейербаха «без всяких оговорок провозгласила торжество материализма», если именно этой книге он приписывает свое обращение в «реального гуманиста», то ему и на этот раз изменила память [1]). Против него свидетельствует его же книга. Читатель не посетует на нас за следующую длинную цитату из этой мало знакомой брошюры. В восторженном гимне, приписываемом Бакунину, читатель найдет знакомые ему вариации любимых мыслей наших отечественных младо-гегельянцев.

«Наше спасение, наше будущее лежит в другом месте. Гегель есть тот человек, который открыл нам новую эру сознания, потому что он завершил старую. Характерно, что он подвергся теперь нападению с двух сторон: со стороны своего предшественника Шеллинга и со стороны своего младшего преемника Фейербаха. Если последний упрекает Гегеля, что он еще глубоко сидит в прошлом, то он должен был бы принять во внимание, что осознание старого уже есть новое, что старое потому и отходит в область истории, что оно было вполне осознано. Таким образом, Гегель есть новое, как старое, и старое, как новое. А фейербаховская критика христианства есть не что иное, как необходимое дополнение к основанному Гегелем спекулятивному учению о религии. Последнее достигло своего завершения в Штраусе, и догма, исследованная в ее собственной истории, о б ' е к т и в н о растворяется в философской мысли. А в то же время Фейербах сводит все религиозные определения к с у б ' е к т и в н ы м человеческим отношениям, но при этом не только не уничтожает выводов Штрауса, а, наоборот, укрепляет их, так как оба они одинаково признают, что тайной теологии является антропология.

«Занимается новая заря, всемирно-историческая заря, подобная той, когда из сумерек Востока выявилось светлое, свободное эллинское сознание. Взошло солнце, и его со всех горных вершин приветствовали жертвеные огни, и пришествие его возвещено было веселыми трубными звуками. Человечество с тоской ждало его света. Мы проснулись от долгого сна, кошмар, который давил нашу грудь, рассеялся, мы раскрыли глаза и с удивлением осмотрелись

---

[1]) «Кто не пережил освободительного влияния этой книги, тот не может и представить его себе. Мы все были в восторге, и все мы стали на время фейербахистами».

кругом. Все изменилось. Мир, который был нам до сих пор так чужд, природа, скрытые силы которой пугали нас, как страшные привидения,—как родственны, как близки стали они нам теперь! Мир, казавшийся тюрьмой, явился нам теперь в истинном свете, как великолепный дворец, доступный для всех, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. Природа раскрывается перед нами и кричит нам: не бегите от меня, я не отвержена, я не отреклась от истины, придите и смотрите, ведь именно ваша внутренняя сущность дает мне жизнерадостность и юношескую красоту! Небо спустилось на землю, сокровища его рассеяны, как камни на дороге, и нам стоит только нагнуться, чтобы их поднять [1]). Дисгармония, страх, раздвоение исчезли. Мир опять стал целым, самостоятельным и свободным, он разбил запоры мрачного монастыря, сбросил с себя покаянную одежду и выбрал себе жилищем свободный, чистый эфир. Ему уже не нужно оправдываться перед тупоумием, которое не могло постичь его; его роскошь и великолепие, его полнота и сила, его жизнь сами служат ему оправданием. И прав был тот, который восемнадцать веков назад, смутно подозревая, что мир, космос, его когда-нибудь вытеснит, заповедал своим ученикам отречься от этого мира.

«И самое любимое дитя природы, человек, возвратившись после долгой борьбы в юношеском возрасте, к своей матери, как свободный муж, и защищая ее против привидений врагов, побежденных в борьбе, превозмог также свое собственное раздвоение, раздор с самим собой. После томительно долгой борьбы над ним взошел светлый день самосознания. Свободный и сильный, уверенный в себе и гордый, ибо он прошел через битву битв, он победил себя и надел себе на голову венок свободы. Все ему раскрылось, и ничто теперь не имеет силы закрыть ему доступ. Только теперь познал он истинную жизнь. Того, к чему он прежде только смутно стремился, он теперь достигает вполне свободно и сознательно. То, что, казалось, лежало вне его, он находит в себе, как свою плоть и кровь.

«И эта вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины, эта твердая уверенность, что она никогда не поколеблется, никогда не сойдет со своей дороги, хотя бы весь мир обратился про-

---

[1]) «Сколько принял скорбного, страдал, унывал, лил слез и крови дух человечества, пока отрешил мышление от всего временного и одностороннего и начал понимать себя сознательною сущностью мира! Величественную и огромную эпопею истории надобно было прожить человечеству, чтобы великий поэт, опередивший свою эпоху и предузнавший нашу, мог спросить: **Ist nicht der Kern der Natur, Menschen im Herzen?**» Дилетантизм в науке. Та же мысль и в «Письмах об изучении природы». Герцен, А. Сочинения, том 4, стр. 79.

тив нее,—вот основы настоящей положительной философии, философии всемирной истории. Именно она есть высшее откровение, откровение человека человеку, в котором всякое отрицание критики является положительным. Эта вечная борьба и движение народов и героев, над которыми в вечном мире витает идея, чтобы спуститься в самую гущу этой борьбы и стать ее настоящей, живой, себя сознающей душой, — вот источник всякого спасения и искупления, вот царство, в котором каждый из нас должен бороться и действовать на своем посту. Идея, самосознание человечества и есть тот чудесный феникс, который устраивает себе костер из драгоценнейшего, что есть в этом мире, и, вновь помолодевший, опять восстает из пламени, уничтожившего старину.

«Понесем же на костер этот все, что нам было дорого, все, что было нами любимо, все, что было свято и велико для нас, прежде чем мы стали свободными! Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы отказались бы принести в жертву идее—она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его гневные глаза и сражаться до последнего издыхания! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершине гор? Как сверкают мечи товарищей, как играют лучи на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор—при звуках песен и музыки. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!»

Да, да! Энгельс и Маркс были сухие доктринеры, ибо они были немцы [1]). Мы видим, однако, что «немецкий дух» Энгельса прекрасно понимал, что «философия Гегеля—алгебра революции», что «она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя». Мы видели также, что и «натура» Энгельса, что касается «живости», могла поспорить с «нашей». И все же в течение каких-нибудь пяти лет Маркс и Энгельс, с одной стороны, Бакунин и Герцен—с другой, еще в 1842 году говорившие на одном и том же идейном языке, радикальнейшим образом разошлись и перестали понимать друг друга. О причинах этого явления можно спорить, их нужно искать, но, конечно, не в разнице «духов» и «натур».

---

[1]) **«Исключительно умозрительное направление совершенно противоположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как русский дух переработал гегелево учение и как наша живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое». Герцен, Былое и думы. Сочинения. Том второй, сс. 310—311.**

Энгельс пробыл в Берлине всего один год и, по окончании службы, вернулся не в Берлин, а уехал в Манчестер, чтобы работать в тамошнем отделении фабрики его отца. Именно по дороге в Англию он заезжал в Кельн, где и встретился впервые с Марксом. Мы уже знаем, что встреча эта была холодная, вернее, оффициальная. Не потому, как это рассказывает в своих воспоминаниях о Марксе М. Ковалевский, что Энгельс—был шеллингианцем, а Маркс—гегельянцем [1]). Причины были другие.

Став душой «Рейнской Газеты», Маркс скоро вынужден был вступить в конфликт со «свободными». Пока главным редактором был Рутенберг, берлинский кружок «свободных» пользовался неограниченной свободой и заполнял столбцы газеты своими статьями, в особенности Мейен, мало стесняясь цензурными условиями. Когда же правительство, убедившись, что «Рейнская Газета» в сущности гораздо опаснее, чем все-же благонамеренная «Кельнская Газета», усилило цензурный надзор и, в ошибочном предположении, что Рутенберг является главным злом, настояло на его удалении, положение изменилось. К статьям, которые вычеркивал присланный из Берлина новый цензор, кстати, тоже состоявший в сношениях со «свободными» (Сеи Поль), прибавились статьи, отвергавшиеся Марксом. Лучше всего на характер разногласий указывает следующее письмо Маркса к Руге (30 ноября 1842 г.).

«Несколько дней тому назад я получил письмо от маленького Мейена, которого любимой категорией является д о л г. В своем письме он меня допрашивает по следующим пунктам: 1) мое отношение к Гервегу и вам [2]), 2) мое отношение к «свободным», 3) мой новый редакционный принцип и отношение к правительству. Я сейчас же ответил и откровенно высказал им свое мнение об их статьях, которые находят свободу больше в распущенной, сапожлотской и притом удобной форме, чем в с в о б о д н о м, т.-е. самостоятельном и глубоком содержании. Я требую от них, чтобы они давали поменьше неопределенных рассуждений, громких фраз, самодовольного самолюбования и побольше проявляли определенности, знакомства с конкретными условиями, знания дела. Я заявил, что считаю недопустимой и даже безнравственной контра-

---

[1]) Наш маститый социолог был хорошо знаком и с Энгельсом. Возможно, что последний, даже Бернштейну и Каутскому не рассказавший о своих философских увлечениях, в беседах с М. Ковалевским, по какому-нибудь поводу, вспомнил о своей брошюре. Никаких других указаний на шеллингианство Энгельса нет, и М. Ковалевский, вероятно, уже после, забыв, в чем дело, но продолжая связывать Энгельса и Шеллинга, сконструировал свое об'яснение.

[2]) Речь идет о конфликте с теми же «свободными», в котором Маркс (как и Бакунин) стал на сторону Гервега.

банду коммунистических и социалистических догм, т.-е. нового миросозерцания, в случайных театральных рецензиях и требую, раз уже приходится говорить о коммунизме, совершенно другого и более основательного трактования его. Я выразил дальше пожелание, чтобы больше подвергали критике религию в критике политических учреждений, чем, наоборот, политические учреждения в религии: потому, во-первых, что это больше соответствует задачам газеты и уровню образования публики, да и потому, что и религия, сама по себе бессодержательная, живет не небом, а землей, и, вместе с разложением извращенной действительности, т е о р и е й которой она является, сама собою падает. Наконец, я хотел, чтобы в случае, если будут говорить о философии, меньше забавлялись ф и р м о й: «атеизм» (что похоже на детей, которые уверяют всех, что они не боятся больше домового) и больше старались о том, чтобы распространить в народе его содержание. Voilà tout».

Что у Маркса в данном случае говорили не только «оппортунистические» соображения, показывает его дальнейшая жизнь: он никогда не выдвигал на первый план непосредственную борьбу с религией. Вероятно потому, что для него лично это был уже давно überwundener Standpunct. Наоборот, у Энгельса, который с таким трудом освободился от страха перед «домовым», эта демонстративная борьба, выдвигание ф и р м ы, была естественной реакцией против сковывавшего его прежде гнета. Влиянием той же реакции можно об'яснить у Энгельса и другие черты, в особенности легкое отношение к женщинам, следы которого мы встречаем еще в его ранних письмах [1]). Этими особенностями Энгельса об'ясняется и то обстоятельство, что его в молодости считали «легкомысленным» и «распущенным». Немецкие ремесленники, с которыми он столкнулся после в Париже, часто бывали недовольны его поведением, что в свою очередь вызывало и с его стороны нападки на этих «заскорузлых филистеров» или Straubinger'ов, как он их называет в письмах.

Но до 1843 г. ни Маркс, ни Энгельс не приходили в соприкосновение с пролетариатом. Первый знал «народ» только в лице крестьян трирского округа, интересы которых он так горячо защищал на страницах «Рейнской Газеты», второй—в лице бого-

---

[1]) Указание на это мы находим в воспоминаниях Борна, вообще настроенного враждебно по отношению к Энгельсу. Маркс относился к «грехам» Энгельса так же снисходительно, как и к грехам других своих друзей, но жена Маркса не так легко мирилась с этим и долго не могла привыкнуть к быстрой смене «привязанностей» у Энгельса.

боязненных пролетариев Бармена и приказчиков Бремена. В «массе», «народе» они одинаково видели только страдающий элемент, без инициативы, нуждающийся, поэтому, в заступничестве и руководительстве интеллигенции.

«Устремление» к коммунизму заметно уже у обоих, хотя ни один из них не был еще таким решительным коммунистом, каким М. Гесс, также принимавший деятельное участие в «Рейнской Газете», был уже в 1842 г.

Поворотным пунктом для обоих является 1843 год. Энгельс в Манчестере приходит в соприкосновение с английским пролетариатом. В высшей степени характерно, что он в этот первый приезд вступает в непосредственные сношения только с английскими коммунистами, т.-е. оуэнистами [1]). Уже с ноября 1843 года он становится сотрудником их журнала «New Moral World» («Новый Нравственный Мир») и, в двух статьях о развитии коммунизма на континенте, выступает в качестве убежденного коммуниста. К старым влияниям присоединяется влияние Прудона и Оуэна, он знает теперь также и Вейтлинга, арест которого в Цюрихе (июнь 1843) впервые разоблачил существование немецкого коммунизма и его успехи среди немецких рабочих в Швейцарии и Франции. Но Энгельс относится еще отрицательно ко всяким тайным обществам. На первом плане стоит для него пропаганда коммунистического идеала и практическое осуществление его путем всяких коммунистических экспериментов. Что же касается Германии, то, выражая надежду, что и в ней рабочие скоро усвоят учение Вейтлинга, он все же придает большее значение «философскому коммунизму», который для него является «необходимым следствием младо-гегельянской философии». Крайне любопытно, что к представителям этого коммунизма он, кроме Гесса, которого он называет «первым коммунистом в партии», причисляет также Маркса. Доказательство, что он и в течение 1843 года находился в тесном общении со своими товарищами в Германии.

Каким убежденным «народником» Энгельс является еще в этой первой его коммунистической статье, показывает следующая цитата, в которой, несмотря на ее семидесятилетнюю давность, читатель узнает сейчас же свое родное:

«Ни в одной стране, кроме Германии, нет более благоприятных условий для образования коммунистической партии среди интеллигенции. Немцы народ в высшей степени идеалистический, и, если их интересы вступают в конфликт с принципом, они все-

---

[1]) См. мою статью о «Юношеских работах Энгельса» в этом же сборнике.

гда охотно приносят их в жертву принципу... Англичанам может показаться странным, что партия, которая ставит себе целью отмену частной собственности, составляется, главным образом, из лиц, которые сами являются собственниками, но в Германии это действительно так. Мы можем приобретать членов только из таких классов, которые имеют достаточное образование, т. е. из интеллигенции и торговых слоев. И нигде мы не наталкивались на значительные затруднения» [1]).

Правда, коммунистические увлечения немецкой интеллигенции быстро остыли, но мы еще встретим в письмах Энгельса, относящихся к 1844 и 1845 годам, тот же «чисто русский» оптимизм. Пока отметим, что даже в конце 1843 г. Энгельс меньше всего был «марксистом», и обратимся опять к Марксу.

IV.

Уже в январе 1843 г. ясно стало, что дни «Рейнской Газеты» сочтены. Издатели хотели спасти ее, умерив тон. Но Маркс не мог на это согласиться. «Даже во имя свободы не гоже брать на себя обязанности раба, не гоже сражаться иголкой вместо дубины. Я не могу уже выносить больше это лицемерие, эту глупость, мне противна эта необходимость извиваться, гнуться, кланяться, скрывая свои мысли». Он выходит из состава редакции «Рейнской Газеты» и собирается переехать в Цюрих, чтобы принять участие в журнале, который проектировался Гервегом. Но в это время закрыты были также «Немецкие Летописи» Руге, и последний предлагает Марксу издавать с ним совместно их продолжение за границей.

Так возник еще в марте 1843 года план издавать «Немецко-Французские Летописи», название которых предложено Марксом:

---

[1]) «New Moral World», ноябрь. Мы видим, что Энгельс тогда еще целиком разделял взгляды «истинных социалистов». Бельтов, поэтому ошибается, **противопоставляя** взгляды Энгельса взглядам Гесса. Достаточно сравнить опубликованную мною теперь статью с передовицей, на которую ссылается Бельтов, чтобы заметить не только тождество взглядов, но и выражений. Более того. Журнал был основан Гессом и Энгельсом, и первые книги его редактировались ими сообща. Признано, что и редакционная передовица является **общей** работой. Именно потому, что Маркс **никогда** не разделял увлечений «истинного социализма», у него и редакция против первой стадии этого **миросозерцания** не принимала таких резких форм, как у Энгельса. В борьбе же против Грюна, классического представителя «пережившего» себя «истинного социализма» с его декламациями против либерализма, Маркс, Энгельс и Гесс были солидарны, хотя последний только в 1846 окончательно перешел на сторону Маркса—правда, чтобы после опять пережить новую метаморфозу.

«это было бы принципом, крупным событием, чреватым последствиями, предприятием, которое вызвало бы энтузиазм».

Но прошел еще год прежде, чем вышла первая и последняя книга нового журнала. Много времени отняли хлопоты по организации нового дела. Вмешались также и личные дела Маркса, который к тому времени окончательно порвал все связи с семьей и потерял права на свое личное имущество. Одним из поводов была его женитьба на Женни Вестфален. В письме от 13 марта 1843 г. он пишет Руге:

«Без всякой романтики я могу вас уверить, что всей душой люблю свою невесту. Мы обручены уже больше семи лет, и невеста моя вынесла из-за меня жестокую борьбу, почти подточившую ее здоровье, частью со своими пиэтистически-аристократическими родственниками, для которых «господь в небе» и «господин в Берлине» одинаково являются об'ектом культа, частью с моей собственной семьей, в которую вкрались всякие попы и другие мои враги. Я и невеста моя пережили, поэтому, в течение нескольких лет больше всяких ненужных и тяжелых конфликтов, чем многие другие, которые втрое старше нас и постоянно говорят о своем опыте жизни

К сожалению, так же мало, как эта полоса в жизни Маркса, известен нам и период от оставления им «Рейнской Газеты» до его переезда в Париж. Большую часть этого времени он провел в Крейцнахе, где жила мать его невесты [1]). В Париж они попали только в ноябре 1843 г., и, если принять во внимание, что «Немецко-Французские Летописи» вышли в свет в конце февраля 1844 г., то само собой напрашивается предположение, что статьи Маркса «К критике философии права Гегеля» и «К еврейскому вопросу», если не были уже написаны в Крейцнахе, то во всяком случае в Париже получили только последнюю обработку.

К счастью, сохранились от этого времени многие записные тетради Маркса, из которых видно, что его интенсивные занятия по французской истории, глубокие следы которых мы видим в его работах, начались еще в Крейцнахе [2]). Наряду с этими занятиями он продолжает занятия по государственному праву и философии.

Можно только гипотетически указать на те события и умственные импульсы, которые дали новый толчок выработке мировоззрения Маркса. Что именно борьба за интересы мозельских крестьян, необходимость внимательного анализа причин их разорения— падение цен и уменьшение сбыта вина, влияние нового таможен-

---

[1]) Маркс женился 19 июня 1843 г.

[2]) Анализ и описание этих тетрадей я дам в другом месте.

ного законодательства, постоянные неурожаи, неравномерное распределение налогов—натолкнули его на изучение экономических отношений [1]),—об этом Маркс нам рассказал еще в предисловии к «Критике политической экономии».

Новый умственный импульс был дан Фейербахом. Уже Меринг совершенно верно отметил, что, хотя «Сущность христианства» вышла еще в 1841 г., в работах Маркса до статей в «Немецко-Французских Летописях» трудно заметить особенное влияние Фейербаха. Мы это видели также на примере Энгельса, который, в своей критике Шеллинга, также упоминает имя Фейербаха без особенного энтузиазма. Только в «Немецко-Французских Летописях» оба они являются «фейербахистами» и уже начинают отмежевываться от «философии самосознания» Бруно Бауэра, в особенности Маркс.

И Меринг опять-таки совершенно прав, когда указывает, что, в промежутке между этими датами, лежит опубликование новой работы Фейербаха, в которой он делает последние выводы из своей философии и развертывает во всей своей полноте «антропологический принцип в философии» [2]). Это знаменитые «Предварительные тезисы для реформы философии», напечатанные в тех самых «Anekdota», в которых появилась большая статья Маркса о свободе печати [3]).

Резкая критика спекулятивной философии Гегеля, которая содержится в тезисах Фейербаха, произвела большое впечатление на Маркса, хотя он уже при первом чтении указал в ней крупный недостаток. «Афоризмы Фейербаха»,—пишет он Руге в уже цитированном нами письме от 13 марта 1843 г.,—«не удовлетворяют меня только в том отношении, что он чересчур много обращает внимания на природу и слишком мало на политику. А это единственный союз, путем которого современная философия может стать истиной».

Мы знаем, что, в своей критике философии права Гегеля, Маркс пошел дальше. Он свел «политику» к «экономике», и, подвергнув анализу все классы современного буржуазного общества, в «анатомии» которого он искал об'яснения «политики», государства, пришел к заключению, что коренной причиной об-

---

[1]) К сожалению, Меринг в своем издании статей Маркса из «Рейнской Газеты» без достаточных оснований пропустил его статью о мозельских крестьянах.

[2]) В том же году выходит второе издание «Сущности христианства», исправленное и дополненное резкой критикой Шеллинга.

[3]) Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie, SS. 62—86. Anekdota zur neuesten deutschen Philosophie und Publicistik. Zürich, 1843.

щественных условий, которые делают из человека угнетенное, порабощенное существо, является частная собственность, что классом, который осуществит социалистический строй, является пролетариат, что, следовательно, «философия» может стать истиной, воплотиться в действительность, если «сердцем» всего освободительного движения станет именно этот пролетариат, который не может освободиться, не уничтожив общественных условий, обесчеловечивающих человека.

Но не только в области «политики» Маркс уже в 1844 г. оставляет за собой Фейербаха. Достаточно сравнить определение «человека» в тезисах Фейербаха с определением, которое дает Маркс уже в «Немецко-Французских Летописях», чтобы узнать в последних исходный пункт того миросозерцания, которое Маркс формулировал в 1845 г. в своих тезисах о Фейербахе.

Если мы сравним статьи Маркса в «Немецко-Французских Летописях» со статьями Энгельса не только в «Новом Нравственном Мире», но и с теми, которые появились одновременно в тех же «Летописях», то мы сразу заметим огромное различие. Мы поймем тогда, почему Энгельс всегда утверждал, что основная мысль научного социализма принадлежит «единственно и исключительно» Марксу, который *первый* развил *пролетарскую* точку зрения и показал, что коммунизм не может быть осуществлен для пролетариата, но только *через* пролетариат, достигший классового самосознания. Внимательное сравнение первых английских статей Энгельса и его статьи о Карлейле в Летописях с одной стороны, и его «Положения рабочего класса в Англии», с другой, показывает нам, что без Маркса книга Энгельса носила бы еще более «идеалистический» характер. Достаточно указать на его отношение к чартизму в 1843 и в 1845 гг. Читатель сейчас увидит из писем Энгельса к Марксу с каким трудом он освобождался от своих старых иллюзий на счет преимуществ «философского коммунизма».

Мы не будем подробно останавливаться на причинах прекращения «Немецко-Французских Летописей». Главной из них является раскол Руге с Марксом. Решающую роль играло все-же принципиальное расхождение. Маркс продолжал свои занятия по истории французской революции и коммунизма, но рядом с ними он уже занимался также усердно историей политических и экономических учений.

Когда Энгельс приехал в сентябре 1844 г. в Париж — мы сказали выше, что этой встрече по всей вероятности предшествовал обмен письмами—Маркс уже носился с планом написать *кри-*

гическую историю политических и экономических учений [1]).

В течение десяти дней, которые они провели вместе, Маркс и Энгельс успели о многом перетолковать. Вполне естественно, что оба они, уже прежде идейно связанные через посредство Бруно Бауэра, не могли не коснуться новой фазы в развитии берлинских «свободных».

Оба друга были еще слишком тесно связаны идейно с Бруно Бауэром, чтобы обрушиться на него только за его «философию самосознания». Правда, в «Немецко-Французских Летописях» Маркс разошелся с Бруно Бауэром в понимании еврейского вопроса, и уже в критике абстрактных построений своего старого друга он намечает основные пункты разногласия. Но Энгельс в тех же «Летописях» в своей критике Карлейля еще противопоставляет ему одинаково Бруно Бауэра и Фейербаха.

Почему же Маркс и Энгельс вдруг так решительно обратились против братьев Бауэров? По той простой причине, что их друзья уже в конце 1843 г. повернули на новую дорогу, а во «Всеобщей Литературной Газете», которую они начали издавать, новая фаза в развитии Бауэра и его друзей приняла совершенно определенные формы.

Дело в том, что если Маркс и Энгельс, после крушения иллюзий 1842 года, решили обратиться к «массе», к «народу», то братья Бауэры, наоборот, усмотрели причину этого краха именно в том, что философия—в том же 1842—«вышла из своего резерва и апеллировала к массе», которая—и это доказывалось равнодушием последней при запрещении «Рейнской Газеты» и «Немецких Летописей»—«позорным образом изменила своим вождям». Поэтому и популярное у нас сравнение братьев Бауэров с «суб'ективистами» семидесятых годов основано на недоразумении. Маркс и Энгельс негодовали на своих бывших друзей за то, что, никогда в сущности не апеллировав еще к «массе» и имея до тех пор дело только с массовидными литераторами из берлинского кафе Штегели (нечто в роде нашей «Вены»), они, после первого поражения в борьбе с прусским государством, не нашли ничего лучшего, как доказывать, что «мы» были побеждены, потому что «о н и», эта «масса», заинтересовались нашими идеями. Именно против этого сваливания с больной головы на здоровую, именно против этих «веховских» настроений, указывавших на готовность укрыться

---

[1]) А не «Капитал», как это думает Меринг. Именно переписка Маркса с Энгельсом показывает, что и «Капитал» имеет свою «диалектическую» историю.

под сень прусского жандарма от «массы», восстали с такой горячностью Маркс и Энгельс [1]).

Поэтому наши друзья решили выступить сейчас же с критикой этой реакционной идеологии, которая видела свое превосходство над «массой» не в том, что «критическая мысль» дает ей возможность внести «сознание», «голову» в движение «массы», в «сердце» этой философии, «критической мысли», а, наоборот, в том, что их критика «абсолютна», что она может подвергать «критике» решительно в с е, не останавливаясь даже пред самообожествованием в лице «суверенной», «абсолютной» личности, car tel est notre plaisir!

Энгельс успел еще написать с Марксом предисловие и листа полтора. Мы сейчас увидим, что, благодаря «основательному» Марксу, брошюра выросла в целую книгу.

Совершенно случайно я нашел маленькое письмецо Энгельса, посланное им в «Новый Нравственный Мир», которое дает новое указание на их отношения с русскими людьми сороковых годов [2]). Он пишет, что «в Париже, по дороге на родину, посетил один коммунистический клуб. Меня ввел туда русский, который прекрасно говорит по-французски и по-немецки и очень искусно развивал взгляды Фейербаха».

Не подлежит никакому сомнению, что этот русский—Бакунин [3]). Но не только он один причисляется в этом письме к коммунистам. Энгельс пишет дальше: «Мы делаем большие успехи среди живущих в Париже русских. Тут имеется трое или четверо русских дворян и помещиков, которые являются радикальными коммунистами и атеистами» [4]). Кто они?

Нам остается еще сказать несколько слов о Марксе. После от'езда Энгельса, он пишет критику Бауэров. Едва он успел ее окончить, как, по настоянию прусского правительства, был вы-

---

[1]) Аналогический метод в общественной науке влечет за собой такие же опасности, как и «теория заимствований» в истории литературы. Блестящая характеристика Бруно Бауэра, данная Бельтовым, страдает тем, что вырывает его из специфических условий данного исторического момента и просматривает коренную разницу между Бауэром до 1842 года и Бауэром с 1843 г. Поэтому нуждается в исправлении и параллель между Бауэрами, с одной стороны, и Лавровым-Михайловским, с другой. К вопросу о родстве взглядов Бакунина со взглядами братьев Бауэров и Штирнера мы еще вернемся.

[2]) Оно было неизвестно, когда я писал свои статьи о «Карле Марксе и русских людях сороковых годов». См. «Современный Мир», 1912. Август, октябрь, ноябрь, декабрь. (Перепечатаны в этом томе).

[3]) Известно, что он в октябре 1844 работал над статьей «Изложение развития идей Фейербаха». Нетлау говорит, что она не была напечатана.

[4]) «New Moral World», 5 Oktober 1844.

слан из Парижа и должен был переехать в Брюссель. В газете «Vorwärts», за сотрудничество в которой он пострадал, он написал всего одну статью, еще до приезда Энгельса в Париж. И в этой статье мы можем опять видеть, как Маркс против Руге защищает рабочее движение, хотя его бывший соредактор в своем скептицизме руководился совершенно другими соображениями, чем братья Бауэры. Во всяком случае, рабочее движение, наличность пролетариата, как нового класса, которая до тех пор отрицалась для Германии, со времени восстания силезских ткачей стала и для страны философов злобой дня. И в далекой России Герцен, на которого отчет об успехах Вейтлинга среди немецких рабочих произвел сильное впечатление, отмечает в своем дневнике:

«В Силезии бунтуют работники, ломают машины, бросают изделия etc. etc. Семья вырабатывает там в неделю 16 Gute Groschen, из которых в последнее время уменьшили еще 2! И после этого фурьеристы неправы, что обличили меркантилизм и современную индустриальность, как сифилитический шанкер, заражающий кровь и кость общества! Купец сказал просившим прибавки работникам: если хлеб дорог, ешьте сено! Месть бунтовавших очевидна, они жгли векселя, выбрасывали бумаги, деньги, портили товар и не крали» [1]).

I. Энгельс—Марксу.

Бармен. Начало октября, 1844.

Дорогой Маркс!

Ты наверно удивлен, что я до сих пор не написал еще ни строчки, и ты совершенно прав. Однако, я и теперь не могу сказать определенно, когда приеду. Вот уже три недели, как я в Бармене, и наслаждаюсь, поскольку это возможно, обществом немногих друзей и многочисленной семьи, среди которой, к счастью, имеется несколько милых дам. О серьезной работе здесь нельзя думать, тем менее, что сестра моя обручилась с лондонским коммунистом Эмилем Бланком [2]) (Эвербек [3]) с ним знаком) и у нас по-

---

[1]) Писано 17 июня 1844. Интересно сравнить с этим отзывом слова Маркса в его ответе Руге, писанном в июле 1844.

[2]) Умер в 1893 году. Один из многочисленных «отставших».

[3]) Эвербек, Август Герман. Один из лидеров «Союза Справедливых». После стал членом «Союза Коммунистов», но никогда не был «марксистом». В литературе играл роль, как посредник между Францией и Германией, знакомя французов с немецкой философией и немцев с французским коммунизмом. Автор большой книги «L'Allemagne et les Allemands». Paris. 1851.

этому в доме большая беготня и суета. Впрочем, я хорошо понимаю, что моему возвращению в Париж будут мешать значительные препятствия и что мне, вероятно, придется еще пробыть в Германии полгода, а то и целый год. Я, конечно, пущу в ход все, чтобы избежать этого, но ты не имеешь никакого представления о том, какие мелочные соображения и суеверные страхи выдвигают тут против меня.

В Кёльне я провел три дня и был поражен при виде невероятных успехов, которые там делала наша пропаганда. Наши люди там очень деятельны, но чувствуется недостаток в надлежащей опоре. Пока наши принципы не будут развиты—в двух, трех книгах—и не будут выведены, политически и исторически, из предшествующего мировоззрения и предшествующей истории, как их необходимое продолжение, вся эта работа остается половинчатой, и большинство наших будет блуждать, как в темноте.

Затем я был в Дюссельдорфе, где мы тоже имеем дельных людей. Больше всего, однако, нравятся мне мои эльберфельдцы, у которых гуманистическое мировоззрение действительно вошло в плоть и кровь. Они серьезно взялись за революционизирование своих семей и читают своим родителям проповеди, если те осмеливаются обращаться с прислугой или рабочими, как аристократы. А это в нашем патриархальном Эльберфельде много значит. Кроме этой группы, имеется еще одна, которая недурна, но недостаточно еще определилась. В Бармене сам полицейский комиссар считает себя коммунистом. Третьего дня был у меня старый школьный товарищ, который теперь учитель гимназии: он тоже сильно заражен, хотя не встречался с коммунистами. Если бы можно было воздействовать непосредственно на народ, то мы скоро заняли бы господствующее положение. Но это невозможно, так как мы, литераторы, должны держать себя тихо, чтобы не попасть сейчас в кутузку. Впрочем, тут пока совершенно безопасно, на нас мало обращают внимания, пока мы сидим тихо, и я думаю, что Гесс с его опасениями видит лишь призраки. По крайней мере, меня нисколько не беспокоят, и только прокурор раз справлялся обо мне у родных. Это все, что мне до сих пор известно стало.

В здешней газете было сообщено, что прусское правительство потребовало, чтобы Бернайс [1]) явился к суду. Напиши мне, правда

---

[1]) Бернайс, Фердинанд Целестин, он же Лазарус, он же Карл Людвиг. Редактор «Маннгеймской Вечерней Газеты», вел остроумную борьбу с цензурой. Эмигрировал за границу и в Париже принимал деятельное участие в редакции «Vorwärts». Один из сотрудников «Немецко-Французских Летописей». После уехал в Америку и порвал все связи с коммунистами.

ли это, и в каком положении брошюра [1]): она, вероятно, уже готова. О Бауэрах тут ничего не слышно, никто о них ничего не знает. Напротив, на «Летописи» до сих пор большой спрос. Моя статья о Карлейле имеет большой успех у «массы»—курьез!—тогда как статьи о политической экономии читали только немногие. Да это и понятно.

И в Эльберфельде господа пасторы обрушились на нас в своих проповедях, но пока, повторяя Круммахера [2]), свирепствуют только против атеизма молодых людей. Я надеюсь, что за этим скоро последует филиппика против коммунизма. Прошлым летом весь Эльберфельд говорил об этих безбожниках. Вообще тут происходит замечательное движение. С тех пор, как я уехал, Вупперталь проделал во всех отношениях больший прогресс, чем в течение пятидесяти лет. Весь тон общественной жизни стал гораздо цивилизованнее, участие в политике и оппозиционное настроение охватывают все слои населения, промышленность сделала огромные успехи, построены новые кварталы, вырублены целые леса, вся область теперь стоит скорее выше среднего уровня немецкой цивилизации, тогда как еще четыре года назад она стояла ниже этого уровня,—одним словом, тут вырабатывается прекрасная почва для наших принципов, и если нам удастся вовлечь в движение наших диких, горячих красильщиков и белильщиков, то наш Вупперталь тебя еще удивит. Рабочие года два уже как достигли последней ступени старой цивилизации и протестуют против старого общественного строя путем быстрого роста преступлений, грабежей и убийств. Улицы вечером небезопасны, буржуазию колотят, подкалывают и грабят, и если здешние пролетарии будут развиваться по тому же закону, что и английские, то они скоро поймут, что этот способ индивидуального протеста против старого общества, путем насилий, бесполезен, и будут протестовать против него, как люди, путем коммунизма. Если бы только можно было указать им путь! Но именно это невозможно.

Брат мой теперь солдатом в Кельне, и, пока он вне подозрений, можно пользоваться его адресом для писем Гессу и К°. Однако, я сам не знаю его адреса и не могу тебе послать его.

---

[1]) Против Бауэров.

[2]) Известная пасторская семья. Круммахер, Готфрид, 1774—1837. С 1816 г. пастор в Эльберфельде. Его брат, Фридрих Адольф, 1768—1845, тоже известный проповедник и еще более известный дидактический писатель. Сын последнего—Фридрих Вильгельм Круммахер (1796—1868), знаменитый проповедник, был в описываемое время лидером пиэтистов в Вуппертале.

С тех пор, как я написал предыдущие строки, я был опять в Эльберфельде и вновь натолкнулся на некоторых, прежде мне совершенно неизвестных, коммунистов. Куда ни кинь, куда ни повернись, всюду натыкаешься на коммуниста. Через два месяца направляется в Париж пылкий коммунист, карикатурист и будущий историк-живописец Вессель; я дам ему ваши адреса. Парень вам всем понравится как своим энтузиазмом, так и талантом, и вы можете его использовать, как хорошего карикатуриста. Возможно, что к тому времени я и сам приеду к вам, но это все же сомнительно.

«Vorwärts» получается здесь в нескольких экземплярах, я позаботился, чтобы и другие подписались. Пошли пробные номера (следуют адреса.—Д. Р.) в закрытых конвертах через посредство коммунистического книгоиздательства Бедекера [1]). Когда эти парни увидят, что газета доходит, они станут постоянными абонентами.

Постарайся только, чтобы собранные тобой материалы скорее увидели свет. Давно уже пора сделать это. Я тоже возьмусь, как следует, за работу. Сегодня начинаю. Немцы имеют еще очень неясные представления о практической осуществимости коммунизма. Чтобы устранить это препятствие, я напишу маленькую брошюру, чтобы показать, что коммунизм осуществим, и изложу популярно его практику в Англии и Америке. Эту работу я сделаю в три дня. Она окажет большую помощь нашим людям. Я уже видел это из моих бесед с ними.

Итак, прилежно работать и сейчас же печатать. Поклонись Эвербеку, Бакунину, Герье и другим, а также и твоей жене, и напиши мне скорее обо всем. Пиши, если это письмо придет нераспечатанным, по адресу: Г. В. Штрюккер и К°, Эльберфельд, по возможности коммерческим почерком на конверте, если же нет, по одному из других адресов, оставленных мною Эвербеку. Мне очень хочется знать, обманет ли почтовых ищеек чисто дамская внешность моего письма.

Ну, будь здоров, мой дорогой, и пиши сейчас же. С того времени, как мы расстались, я не был еще ни разу в таком хорошем настроении и не чувствовал себя в такой степени человеком, как в течение тех десяти дней, что я провел у тебя.

Что касается затеваемого предприятия, то я не имел еще случая сделать в этом направлении какие-нибудь шаги.

---

[1]) Издатель «Зеркала Общества», выходившего после под редакцией Энгельса и Гесса.

2. Энгельс—Марксу.

Бармен, 19 ноября 1844.

Дорогой Маркс!

Дней четырнадцать назад я получил от тебя и Бернайса несколько строк, датированных 8 октября и с почтовым штемпелем: Брюссель, 27 октября. Почти в то самое время, когда ты писал мне, я послал тебе письмо, адресованное на имя твоей жены. Надеюсь, что ты получил его. Чтобы впредь быть на этот счет спокойным; я предлагаю наши письма нумеровать. Мое теперешнее письмо—второе, и когда ты будешь мне писать, отмечай, до какого номера ты получил и не хватает ли какого-нибудь письма.

Несколько дней назад я был в Кельне и Бонне. В Кельне все идет хорошо. Грюн [1]) наверное рассказал тебе о тамошней работе. Гесс тоже собирается через две или три недели переехать в Париж, если он получит необходимые для этого деньги. Бюргерса [2]) вы тоже имеете там, таким образом у вас настоящий консилиум. Тем меньше вы нуждаетесь во мне, и тем более нужен я здесь. Что я теперь не могу приехать—понятно, иначе я должен буду поссориться со своей семьей. Кроме того, у меня тут роман, с которым я должен покончить. Да один из нас во всяком случае должен быть здесь, так как наши люди нуждаются в руководстве, чтобы заниматься надлежащей деятельностью и не делать ошибок. Так, например, Юнг [3]) и многие другие не хотят понять, что между нами и Руге существуют принципиальные разногласия, и все еще думают, что это только личные дрязги. Когда им говорят, что Руге вовсе не коммунист, то они этому не верят и думают, что мы поступаем опрометчиво, отталкивая от себя такой «литературный авторитет», как Руге! Что прикажешь с ними делать? Приходится ждать, пока Руге опять разрешится какой-нибудь колоссальной глупостью, которую можно будет этим людям демонстрировать ad oculos. Мне кажется, что на Юнга надежда плоха: он недостаточно репителен.

---

[1]) Грюн Карл. Немецкий публицист. Один из типичных представителей «истинного социализма». 1817—1887.

[2]) Бюргерс Генрих, член «Союза Коммунистов», сотрудник «Neue Rheinische Zeitung», перешел в шестидесятых годах в лагерь прогрессистов.

[3]) Юнг Георг, один из редакторов «Рейнской Газеты», кончил свою карьеру в рядах национал-либералов.

Мы устраиваем теперь повсюду собрания, чтобы основать союзы для улучшения положения рабочего класса. Это вносит большое оживление в ряды германцев и привлекает внимание филистеров к социальным вопросам. Собрания созываются без оповещения полиции. В Кельне комитет для составления устава наполовину избрали из наших людей, в Эльберфельде в комитете тоже сидел наш человек, и, с помощью рационалистов, мы в двух собраниях нанесли поражение пиэтистам; огромным большинством нам удалось выкинуть из уставов все христианское. Особенно радовало меня, как основательно садились в лужу эти рационалисты с их теоретическим христианством и критическим атеизмом. В принципе они вполне признавали христианскую религию, на практике, однако, это христианство, которое, по их же словам, составляло основу союза, не должно было быть упомянуто в уставах: последние должны были все содержать, только не основной принцип союза! Они так упорно держались на своей смешной позиции, что мое вмешательство оказалось совершенно ненужным. Мы получили такие уставы, лучше которых, при настоящих условиях, трудно желать. В ближайшее воскресенье опять назначено собрание, но я не смогу присутствовать на нем, так как завтра уезжаю в Вестфалию.

Я влез с головой в английские газеты и книги, из которых составляю свою книгу о положении английских пролетариев. К середине или концу февраля я надеюсь кончить ее, так как с наиболее трудной работой, с приведением в порядок материала, я уже около двух недель как справился. Я составлю господам англичанам славный перечень их грехов. Перед лицом всего мира я обвиняю английскую буржуазию в массовых убийствах, грабежах и других преступлениях. Я пишу особое английское предисловие к книге, которое напечатаю отдельно и разошлю английским партийным лидерам, литераторам и членам парламента. Пусть они помнят обо мне. Впрочем, само собой разумеется, что я хотя и бью по мешку, но имею в виду осла (den Sack schlage und den Esel meine [1]), а именно немецкую буржуазию, которой я достаточно ясно говорю, что она так же плоха, как английская, но далеко не так смела, последовательна и искусна в области живодерства. Как только я кончу с этой книгой, я возьмусь за историю социального развития англичан, которая будет стоить мне еще меньше труда, так как материал для нее у меня уже готов и в голове приведен в порядок, да и предмет мне вполне ясен. В промежутке я напишу еще не-

---

[1]) Кошку бьют, а невестке навстки дают.

сколько брошюр, а именно против Листа, как только найду свободное время [1]).

Ты, вероятно, уже слышал о книге Штирнера «Der Einzige und Sein Eigentum [2]), а, может быть, даже имеешь ее. Виганд [3]) прислал мне корректурные листы. Я взял их с собою в Кельн и оставил у Гесса. Принцип благородного Штирнера—ты помнишь берлинца Шмидта, который в сборнике Буля [4]) писал о «Парижских тайнах», — это тот же эгоизм Бентама, в одном отношении проведенный более последовательно, в другом—менее. Последовательнее, потому что Штирнер, как атеист, ставит личность выше бога или, вернее, видит в ней наиболее крайнее звено, тогда как Бентам оставляет над ней в туманной дали бога, одним словом, потому что Штирнер стоит на плечах немецкого идеализма, является идеалистом, обращенным в материалиста и эмпирика, тогда как Бентам — простой эмпирик. Менее последователен Штирнер потому, что он желал бы, но не может избежать реконструкции разложенного на отдельные атомы общества, операции, которую Бентам производит. Этот эгоизм есть только осознавшая себя сущность современного общества и современного человека, последнее, что современное общество может сказать против нас, кульминационный пункт всякой теории внутри существующей глупости.

Поэтому, теория (Штирнера) имеет гораздо большее значение, чем думает Гесс. Мы не должны отбросить ее в сторону, а, наоборот, использовать, как современное выражение существующей глупости и, п е р е в е р н у в е е, строить на ней дальше. Этот эгоизм доведен до такой крайности, до того нелеп и в то же время самонадеян, что, в своей односторонности, он не может удержаться ни одного мгновения и должен сейчас же превратиться в коммунизм. Во-первых, нет ничего легче доказать Штирнеру, что его эгоистические люди уже из одного эгоизма должны стать коммунистами.

---

[1]) Книги о социальном развитии Англии Энгельс не написал, хотя уже в парижском «Vorwärts» поместил несколько статей на эту тему. Брошюра против Листа тоже не увидела света, но против отца немецкого протекционизма Энгельс высказался в большой речи, которая в дополненном виде была после напечатана.

[2]) Переведена теперь на русский под названием «Единственный и его собственность». Штирнер, Макс (Каспар Шмидт), 1806—1856.

[3]) Виганд, Отто—известный немецкий издатель, прозванный «Блюхером младо-гегельянства». Издал между прочим и книгу Энгельса о «Положении рабочего класса в Англии». После разошелся с Марксом и Энгельсом.

[4]) Речь идет о «Berliner Monatsschrift», Mannheim 1843. Буль после высказался против «политики», но по другим соображениям, чем «истинные социалисты». Ср. Бельтов—«К вопросу» и т. д., стр. 269—272.

Это необходимо ему доказать. Во-вторых, нужно ему сказать, что человеческое сердце, прежде всего, непосредственно, является именно в своем эгоизме неэгоистичным и способным на жертвы и что он, таким образом, возвращается к тому, на что он нападает. Этими общими местами можно опровергнуть его односторонность. Но мы должны воспринять то, что в этом принципе является истиной. А верно в нем во всяком случае то, что если мы хотим сделать что-нибудь для какого-нибудь дела, то мы это дело должны превратить в свое собственное, в эгоистическое дело,—что мы в этом смысле, даже помимо каких-либо материальных ожиданий, просто в силу эгоизма, являемся коммунистами и именно из эгоизма хотим быть людьми, а не только индивидуумами. Или, чтобы иначе выразиться: Штирнер прав, когда он отвергает «человека» Фейербаха, по крайней мере, человека из «Сущности христианства». Фейербаховский «человек» есть производное от бога, и потому его «человек» еще увенчан теологическим сиянием абстракции. Настоящий же путь, которым мы можем притти к «человеку»,—путь совершенно обратный. Мы должны исходить из я, из эмпирического, телесного индивидуума, но не для того, чтобы застрять на нем, как Штирнер, а чтобы от него подняться к «человеку». Этот «человек» всегда остается фантастическим призраком, если он не имеет своей основы в эмпирическом человеке. Одним словом, мы должны исходить из эмпиризма или материализма, если мы хотим, чтобы наши идеи и, в особенности, наш «человек» были чем-нибудь реальным, мы должны всеобщее выводить из единичного, а не из себя или из воздуха, как Гегель [1]).

Все это общие места, которые сами собою разумеются и которые уже сказаны были Фейербахом. Я не повторил бы их, если бы Гесс—как мне кажется, в силу своей старой привязанности к идеализму—не подверг такой жестокой критике эмпиризма, в особенности Фейербаха, а теперь Штирнера. Во многом, что он говорит о Фейербахе, Гесс прав, но, с другой стороны, он сохранил еще некоторые идеалистические повадки—когда он начинает говорить о теоретических вещах, то он выражается категориями.

---

[1]) Как логически вытекала эта критика штирнеровского эгоизма из фейербаховской этики, видно и из аналогичных взглядов Добролюбова и Чернышевского. Ср. Добролюбов в статье о Станкевиче, «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» и др. и Чернышевский—«Антропологический принцип в философии». Из следующего письма Энгельса мы увидим, как, под впечатлением письма Маркса, он отказывается от этой, по существу, не менее «отвлеченной» этики, игнорирующей те социальные условия, которые об'ясняют диалектический процесс превращения «эгоизма» в фейербаховский «туизм» или контовский «альтруизм».

Поэтому он не умет писать популярно, он для этого чересчур абстрактен. По той же причине он ненавидит также всякий и всяческий эгоизм и проповедует любовь к людям и т. д., что опять сводится к христианскому самопожертвованию. Но если телесный индивидуум представляет истинную основу, истинный исходный пункт для наших «людей», то, само собой разумеется, эгоизм—конечно, не о д и н т о л ь к о штирнеровский рассудочный эгоизм, но и э г о и з м с е р д ц а—должен быть также исходным пунктом для нашей любви к людям, иначе последняя висела бы в воздухе. Так как Гесс к вам скоро приедет, то ты можешь с ним сам побеседовать на эту тему. Впрочем, вся эта теоретическая болтовня мне с каждым днем все больше надоедает, и всякое слово, которое приходится сказать о «человеке», всякая строка, которую приходится писать или читать против теологии и абстракции, а равно и против грубого материализма, раздражают меня. Совсем другое дело, когда, вместо всех других призраков,—ведь и нереализовавшийся еще человек остается до своей реализации таким призраком,—занимаешься действительными, живыми предметами, историческим развитием и его результатами. Это, по крайней мере, лучшее, что нам остается, пока мы вынуждены пользоваться еще пером и не можем воплощать наши идеи в действительность непосредственно руками или, если это необходимо, кулаками.

Книга Штирнера показывает опять, как глубоко лежит в берлинском характере абстракция. Из всех «свободных» Штирнер несомненно, наиболее талантливый, самостоятельный и прилежный. Несмотря на все это, он перескакивает только из идеалистической абстракции в материалистическую и, таким образом, не приходит ни к чему. Мы слышим об успехах социализма во всех частях Германии, только в Берлине ни следа. Эти сверхумные берлинцы устроят себе еще «мирную демократию» (democratie pacifique [1]), когда вся Германия уже отменит собственность—дальше они, наверное, не пойдут. Вот увидишь, скоро среди них восстанет новый мессия, который переделает Фурье на гегелевский лад, сконструирует фаланстеры из вечных категорий и докажет, в форме вечного закона к себе вернувшейся идеи, что капитал, талант и труд должны получать определенную долю дохода. Это

---

[1]) «Domocratie Pacifique».—Так назывался выходивший с 1843 орган фурьеристов под редакцией Консидерана. Главной целью он ставил себе доказать практическую осуществимость фурьеризма. Отсюда старание приспособиться к вкусам буржуазии и настойчивое подчеркивание, что фурьеризм не преследует никаких «разрушительных» задач и ничего не имеет общего с грубым коммунизмом. Энгельс всегда отделяет «мирную демократию» от Фурье, к которому относился с большим уважением.

станет новым заветом гегельянства, старый Гегель станет ветхим заветом, «государство», закон станет «смотрителем за Христом», и фаланстер, в котором отхожие места будут размещены в порядке логической необходимости, станет «новым небом», «новой землей», новым Иерусалимом, который спускается с неба. А когда все это будет закончено, тогда придет критическая критика, заявит, что она все во всем, что она об'единяет в своей голове капитал, талант и труд, что все, что произведено, существует через нее, а не через бессильную массу—и захватит все для себя. Там будет конец берлинской «мирной демократии».

Если «Критическая критика» готова, то пришли мне несколько экземпляров...

Пиши мне скорее—вот уже два месяца, как я ничего не слышу о тебе. Что поделывает «Vorwärts»? Кланяйся всем.

3. Энгельс—Марксу.

Бармен, 20 января 1845.

Дорогой Маркс!

Если я не ответил тебе раньше, то главным образом потому, что ждал обещанных тобою номеров «Vorwärts». Но так как их до сих пор нет, то я перестал их ждать, а также «Критический критики», о которой я ничего больше не слышу. Что касается Штирнера, то я с тобою совершенно согласен. Когда я писал тебе о нем, я находился еще слишком сильно под непосредственным впечатлением книги, а с тех пор, как я отложил ее и больше обдумал, я прихожу к тем же выводам, что и ты. Гесс, который все еще тут и с которым я говорил две недели назад в Бонне, после некоторых колебаний, пришел к тому же заключению, что и ты. Он прочитал мне свою статью о книге, которую он скоро опубликует и в которой он, еще до ознакомления с твоим письмом, говорит то же самое. Я оставил ему твое письмо, потому что он хотел из него кое-что использовать, и поэтому отвечаю тебе на память [1]).

Что касается моего приезда, то не подлежит никакому сомнению, что через два года я буду у вас и, во всяком случае, ближай-

---

[1]) Критика Гесса появилась в форме отдельной брошюры под названием «Последние философы» (Die lezten Philosophen von M. Hess. Darmstadt 1845). Как ошибался Энгельс, отожествляя взгляды Маркса и Гесса на Штирнера, показывает сравнение этой брошюры с известной нам теперь критикой «Святого Макса», в которой после принимал участие и Гесс. Эти статьи переведены теперь по-русски. Маркс и Энгельс—«Критика учения Штирнера». Изд. «Степи», Одесса. 1913.

шей осенью приеду на четыре-шесть недель. Если полиция лишит меня возможности работать, то я наверное приеду, а при теперешнем положении дел эти негодяи могут каждый день нас потревожить. Мы увидим на примере журнала Пюттмана [1]), как далеко можно зайти, без риска быть арестованными или прихлопнутыми.—Мой роман закончился печально. Избавь меня от скучных об'яснений, теперь ничем не поможешь, да мне эта история и без того уже много огорчений причинила. Я рад, что могу, по крайней мере, опять работать, и если бы я тебе опять обо всем написал, то я испортил бы себе весь вечер.

Последняя новость: начиная с 1 апреля, я и Гесс будем издавать у Тиме и Буца в Гагене журнал «Зеркало Общества», в котором мы будем давать картины социальной нищеты и буржуазного режима. Проспект и т. д.—в ближайшем времени. А пока будет хорошо, если поэтический «Ремесленник» даст себе труд прислать нам несколько картин т а м о ш н е й нищеты. В особенности, отдельные случаи, так как это подходит для филистера, которого еще только нужно подготовлять к восприятию коммунизма. Редактирование журнала отнимает не много времени, материал, чтобы заполнить ежемесячно четыре листа, сотрудники легко доставят; таким образом, у нас мало работы и большое поле действия. Кроме того, Пюттман будет издавать у Леске трехмесячник «Рейнские Летописи», во внецензурном формате, посвященный специально коммунизму. Ты мог бы также принять в нем участие. Да и без того было бы невредно, если бы мы часть наших работ публиковали два раза.—Сначала в журнале, а после отдельно и вместе: запрещенные книги обращаются менее свободно, и мы имеем, таким образом, двойной шанс, чтобы воздействовать на читателей. Ты видишь, мы имеем тут в Германии достаточно работы, чтобы заполнить все эти журналы и еще, кроме того, подготовлять более крупные труды. Но приходится корпеть, если хочешь что-нибудь путное сделать, и хорошо, что тебя условия сами запрягают. Моя книга об английских рабочих будет через две-три недели готова, затем я недели четыре посвящу мелким вещам, а после примусь за работу об историческом развитии Англии и английского социализма.

Что мне доставляет особенное удовольствие, так это вторжение коммунистической литературы в Германию, которое теперь представляет fait accompli. Всего только год, как она начала завоевывать себе место вне Германии, в Париже, и, в сущности, только

---

[1]) Пюттман, Герман, публицист и поэт на социальные темы. Речь идет о журнале «Deutsches Bürgerbuch».

возникла, а теперь она даже немецкому Михелю села на шею. Газеты, еженедельники, ежемесячники и трехмесячники, надвигающаяся тяжелая артиллерия—все как следует. Чертовски быстро все это развивалось! Подпольная пропаганда тоже принесла свои плоды — всякий раз, когда я попадаю в Кельн, или здесь в наш кабачок,—новые успехи, новые прозелиты. Кельнское собрание произвело чудеса—мало-по-малу открываются отдельные коммунистические группы, которые развились втихомолку и без нашего прямого содействия.

«Общеполезный Еженедельник», который прежде издавался вместе с «Рейнской Газетой», теперь также в наших руках. Д'Эстер [1]) взял его в свои руки и уже постарается сделать из него наш орган. Что теперь нам более всего нужно, так это несколько крупных работ, которые создали бы опорный пункт для всех полузнаек, охотно желавших бы, но не умеющих справиться с задачей. Постарайся скорее кончить свою книгу по политической экономии, хотя бы ты ею был не совсем удовлетворен. Все равно, головы уже созрели, и надо ковать железо, пока оно горячо. Мои английские вещи, конечно, тоже произведут свое действие, факты говорят слишком красноречиво, но все же я хотел бы иметь более свободные руки, чтобы сделать нечто, что в настоящий момент и для немецкой буржуазии было бы действительнее и убедительнее. Мы, теоретические немцы,—хотя и смешно, но это знамение времени и разложения национальной мерзости,—не можем приняться за развитие теории, мы все еще не могли даже опубликовать критику нелепости. Но теперь пора сделать это. Постарайся поэтому, чтобы ты был готов до апреля. Делай, как я. Назначь себе срок, к которому ты обязательно должен быть готов, и позаботься, чтобы это было скорее напечатано. Если ты не сможешь сделать это там, то печатай в Маннгейме, Дармштадте или другом месте. Но появиться оно должно поскорее.

Что ты растянул «Критическую критику» на двадцать листов, меня, конечно, не мало удивило. Но это очень хорошо, так как кое-что появляется на свете, что иначе еще долго лежало бы в твоем письменном ящике. Но если ты оставил мое имя на книге, то это не малый курьез, так как я едва полтора листа в ней написал. Как я уже сказал, я ничего не слышал о Левентале, а также о выходе книги, которой, конечно, жду с большим нетерпением.

Вчера я получил «Vorwärts», которого не видел со времени моего от'езда. Некоторые шутки Бернайса доставили мне большое

---

[1]) Карл Людвиг. Врач в Кельне. 1811—1858. Один из лидеров демократии. Умер в изгнании.

удовольствие, этот парень умеет вызывать смех, что со мной редко случается при чтении. В общем же, газета плоха и недостаточно интересна и поучительна, чтобы многие немцы хотели иметь ее постоянно. Каково ее положение, и правда ли, что, как я слышал в Кельне, ее собираются превратить в ежемесячник? Мы тут так завалены работой, что от нас можно надеяться только на случайные статьи. Вам придется тоже понатужиться. Пиши раз в четыре шесть недель статью, и не поддавайся твоему «настроению». Почему не пишет ничего Бакунин, и почему нельзя заставить Эвербека писать хотя бы тривиально? Бедный Бернайс сидит теперь наверное в кутузке, поклонись ему от меня и скажи ему, чтобы он не принимал этого слишком близко к сердцу [1]). Два месяца пройдут скоро, хотя это изрядно скучно. Что вообще поделывают наши ребята? Ты ничего не пишешь об этом. Приехал ли опять Герье. пишет ли Бакунин по-французски? Чем занимается теперь вся банда, которая в августе каждый вечер посещала Quai Voltaire? Что собираешься ты сделать? Каково твое положение? Живет ли еще под тобою Fouine? [2]). Он недавно опять разразился статьей в «Телеграфе». Само собою разумеется, опять о патриотизме. Курьезно, как усердно он выезжает на этом коньке: ему на все плевать, если ему только удастся уничтожить патриотизм. Вероятно, это была та статья, которую он не хотел дать Фребелю [3]). Немецкие газеты недавно сообщили, что Fouine возвращается в Германию. Если это правда, я поздравляю его, но это слишком невероятно. иначе ему пришлось бы опять приобрести себе омнибус с кабинетом, а это невозможно.

Я говорил недавно с одним человеком, приехавшим из Берлина. Разложение остатков кружка «свободных», повидимому, вполне закончено. Кроме Бауэров, с ними прекратил, кажется, сношения и Штирнер. Только Meißen и Рутенберг с товарищами продолжают, ничто же сумняшеся, как и шесть лет назад, ходить ежедневно в два часа после обеда к Штегели и переливать из пустого в порожнее. Теперь они добрались до «организации труда» и на этом застрянут. Повидимому, даже Науверк осмелился сделать этот шаг, так как он усердно выступает на собраниях. Я ведь уже писал тебе, что они все еще станут «мирными демократами». Впро-

---

[1]) За нарушение законов о печати, как редактор «Vorwärts», Бернайс получил два месяца тюрьмы.

[2]) Под этим насмешливым прозвищем подразумевается Руге. Значит «трус».

[3]) Фребель, Юлий. 1805—1893. Сначала профессор минералогии, после издатель и публицист. В 1848 член национального собрания. Кончил карьеру немецким генеральным консулом в Алжире.

чем, все они «признают» ясность и т. д. наших статей в «Летописях». Если меня скоро опять бес укусит, то я завяжу корреспонденцию с маленьким Мейеном, ибо если нельзя иметь с ними удовольствия, то, может быть, можно получить удовольствие от них. А то здесь нет случая с кем-нибудь как следует поругаться. Я веду ту жизнь, какую может пожелать самый отчаянный филистер, тихую и спокойную жизнь, благочестивую и почтенную, сижу в комнате и работаю, почти не выхожу, стал солиден, как немец. Если это будет так продолжаться, то я даже боюсь, что господь простит мне мои писания и пустит на небо. Уверяю тебя, я тут. в Бармене, начинаю пользоваться хорошей репутацией. Но я не выдержу дальше и на пасху хочу уехать отсюда, вероятно, в Бонн. Уступая настояниям моего зятя и не желая огорчать моих стариков, я опять попытался взяться за коммерцию, и вот уже две недели захаживаю в контору. Отчасти меня побудил к этому и мой роман. Но это мне надоело раньше, чем я начал, как следует. работать. Коммерция противна. Бармен противен, трата времени противна, и в особенности противно оставаться не только буржуем. но и фабрикантом, активно выступающим против пролетариата буржуем. Несколько дней на фабрике моего старика опять показали мне воочию всю эту противность. Я, конечно, расчитывал остаться в деле, пока мне это удобно будет, а там написать что-нибудь про-тиво-полицейское, чтобы мало-мальски прилично перебраться за границу, но я не выдержу так долго. Если бы я не был вынужден ежедневно регистрировать в моей книге отвратительнейшие картины из жизни Англии, я, вероятно, уже успел бы проквасить, но именно эта работа давала новую пищу моему бешенству. Если еще можно, будучи коммунистом, оставаться, по своему внешнему положению, буржуа и делцом, если не пишешь, — то заниматься одновременно коммунистической пропагандой и фабрикантством вовсе негоже. Баста, на пасху я уезжаю. Ко всему этому усыпляющая жизнь в христианско-прусской семье—вести ее дальше нельзя, ибо, в конце концов, я стану немецким филистером и внесу еще это филистерство в коммунизм.—Не заставляй меня так долго ждать твоего письма, как я тебя. Привет твоей жене, хотя я с нею все еще незнаком, и всем, кто этого заслуживает. Пока пиши еще сюда: если я уеду, мне твои письма перешлют.

Твой Ф. Энгельс.

4. Энгельс—Марксу.

Бармен, 22 февраля 1845.

Дорогой Марке!

Наконец, после долгой переписки с Кельном, я получил твой адрес и сейчас же сажусь тебе писать. Как только пришло известие о твоей высылке, я счел необходимым открыть сейчас же подписку, чтобы коммунистически распределить между нами все причиненные тебе лишние расходы. Она пошла хорошо, и недели три назад я послал 50 слишком талеров Юнгу; я написал также дюссельдорфцам, которые собрали столько же, а в Вестфалии я поручил агитировать Гессу. Подписка там еще не закончена, живописец Кеттген затянул дело, и я еще не имею всех денег. Я надеюсь, однако, через несколько дней получить все деньги, и тогда я тебе вышлю в Брюссель вексель. Так как я не знаю, хватит ли этого, чтобы ты мог устроиться в Брюсселе, то, само собой разумеется, мой гонорар за первую английскую статью, который я скоро получу хотя бы частью и без которого я могу обойтись, так как займу у отца, я предоставляю с величайшим удовольствием в твое распоряжение. Эти собаки не должны, по крайней мере, радоваться, что поставили тебя в затруднительное денежное положение. Верх мерзости, что тебя заставили еще заплатить за квартиру вперед. Боюсь, впрочем, что тебя не оставят в покое и в Бельгии и что тебе придется, в конце концов, переехать в Англию.

Но довольно об этой подлой истории. Кригe [1]) наверное уже был у тебя. Он великолепный агитатор. Он расскажет тебе много о Фейербахе. На другой день после его от'езда я получил письмо от Фейербаха, которому мы писали. Он говорит, что должен сначала основательно покончить с религией, прежде чем сможет настолько заняться коммунизмом, чтобы представлять его в литературе. Кроме того, он в Баварии находится чересчур далеко от всей жизни, чтобы взяться за это. Впрочем, он коммунист, и его занимает лишь вопрос, как осуществить коммунизм. Если возможно, он летом приедет на Рейн, и тогда он должен поехать в Брюссель. Мы уже поможем ему.

Тут, в Эльберфельде, происходят чудеса. Вчера мы устроили в самой большой зале и первом ресторане всего города наше третье коммунистическое собрание. На первом присутствовало 40, на вто-

---

[1]) Тогда известный коммунист. В Америке издавал «Народный Трибун», в котором проповедовал коммунизм «любви», жестоко раскритикованный после Марксом.

ром—130, на третьем, по меньшей мере,—200 человек. Весь Эльберфельд и Бармен, от денежной аристократии до лавочников, за исключением лишь пролетариата, был там представлен. Гесс читал реферат. Читали стихотворения Мюллера, Пюттмана и отрывки из Шелли, а также статью о существующих коммунистических колониях, опубликованную в «Bürgerbuch» [1]). Потом дискутировали до часу. Успех колоссальный. Коммунизм является главной темой разговоров, и каждый день приносит нам новых приверженцев. Вуппертальский коммунизм представляет уже факт и почти силу. Ты не имеешь никакого представления, насколько здесь благоприятна для этого почва. Самые глупые, беззаботные, проникнутые филистерством люди, ничем в мире неинтересовавшиеся, начинают увлекаться коммунизмом. Как долго нас оставят в покое, я не знаю. Полиция во всяком случае в большом затруднении: она не знает, что ей делать, а главная скотина, ландрат, как раз теперь в Берлине. Но, если наши собрания запретят, мы обойдем это, а если не удастся, то мы уже настолько всех расшевелили, что все литературные произведения в нашем духе здесь читаются нарасхват. Так как я на пасху уезжаю, то тем лучше, что Гесс думает здесь поселиться и издавать у Бедекера в Эльберфельде ежемесячник, проспект которого, мне кажется, имеется уже у Криге. Я, как писал, переезжаю во всяком случае в Бонн. Мое предполагавшееся путешествие в Париж отпадает, так как мне теперь там нечего делать, зато я наверное приеду в Брюссель, тем более, что мать моя и обе сестры летом поедут в Остенде. Кроме того, я должен еще раз посетить коммунистов в Билефельде и, если Фейербах не приедет, заехать к нему, а после, если буду иметь время и деньги, я хочу еще раз с'ездить в Англию. Ты видишь, планов у меня много. Бергенрот говорил мне, что он, вероятно, через несколько дней будет в Брюсселе. Вместе с другими дюссельдорфцами он был на нашем втором собрании и говорил. Это совсем другое дело—стоять перед живыми, настоящими людьми и проповедовать им непосредственно, физически, открыто, чем заниматься проклятым абстрактным писательством, имея перед «умственным взором» такую же абстрактную публику.

Я должен опять от имени Гесса—и от моего также—просить тебя послать что-нибудь Пюттману для его трехмесячника. Мы должны все вместе появиться уже в первом выпуске, чтобы журнал получил определенный характер. Да и все равно без нас он лопнет.

---

[1]) Эта статья написана Энгельсом.

25 февраля. Вчера пришло известие, что наше ближайшее собрание будет разогнано при помощи жандармов и что ораторы будут арестованы.

26 февраля. Вчера утром обер-бургомистр запретил госпоже Обермейер отдавать ее помещение для собраний, а мне было официально передано, что если, несмотря на это запрещение, собрание будет устроено, то последует арест и суд. Мы, конечно, не обратили на это внимания и должны ждать, привлекут ли нас, что, впрочем, мало вероятно, так как мы были настолько умны, чтобы не давать им для этого никакого повода, и вся история кончилась бы только большим позором для правительства. На сонии, ведь, были прокуроры и члены суда, а обер-прокурор принимал участие в прениях.

7 марта. С того времени, как я писал предыдущие строки, я провел неделю в Бонне и Кельне. Кельнцы могут устраивать собрания благодаря союзу. По нашему делу пришел указ из Дюссельдорфа, которым запрещаются дальнейшие собрания. Гесс и Кеттен протестовали. Это, конечно, не поможет, но правительство из тона протеста увидит, что оно с нами ничего не может поделать. Гесс опять в очень сангвиническом настроении, так как все удачно идет, и наши успехи действительно огромны: добры малый всегда строит воздушные замки.

Наше «Зеркало Общества» будет великолепно, первый лист уже цензурован, и все прошло. Статей масса. Гесс живет в Бармене в гостинице «Город Лион». Бергенрот, по всей вероятности, к вам не так скоро подаст, зато приедет другой, которого я не хочу назвать, так как это письмо наверное будет вскрыто. Если возможно, то я в апреле приеду. Денежный вопрос для меня теперь наиболее важный, так как я, вследствие собрания, имел семейную склоку, и старик заявил мне, что он готов давать мне деньги для моих «научных занятий», но не на какие-либо коммунистические цели.

Я написал бы тебе еще о многом, если бы имел безопасный адрес в Брюсселе. Ты должен мне достать такой. Многое, что здесь случилось, могло бы повредить кое-кому, если бы письмо было прочтено в черном кабинете. Я остаюсь еще четыре недели и в начале апреля еду в Бонн. Напиши мне еще раз сюда, чтобы мы знали, как твои дела. Деньги почти уже все собраны, не знаю, сколько, но сейчас же будут отосланы. Мой манускрипт будет отослан на днях.

«Критическая критика» все еще не получена. Новое название: «Святое семейство» меня еще больше поссорит с

моим благочестивым и без того уже сильно раздраженным стариком. Ты, конечно, не мог этого знать. Как видно из об'явления, ты мое имя поставил первым. Почему? Я ведь почти ничего не написал, и твой стиль ведь все узнают.

Пиши мне сейчас, нужны ли тебе еще деньги. Виганд недели через две должен выслать мне кое-что, и тогда ты можешь располагать ими. Я боюсь, что по подписке получится всего 120—150 франков.

A propos. Мы собираемся перевести Фурье и, если возможно, вообще издавать «Библиотеку выдающихся заграничных социалистов». Лучше всего будет начать с Фурье. Переводчиков мы уже нашли. Гесс сообщил мне о вышедшем во Франции словаре к произведениям Фурье, составленном каким-то фурьеристом. Ты наверное знаешь эту книгу. Напиши мне о ней и, если возможно, пошли мне один экземпляр по почте. Рекомендуй также сочинения французов, которые, по твоему мнению, годятся для библиотеки. Поскорее, так как нужно торопиться, ибо мы уже ведем переговоры с одним издателем. Как подвигается твоя книга? Я должен взяться теперь за мой манускрипт. Будь, потому, здоров и отвечай сейчас же по всем пунктам.

Кланяйся Кригe и Бюргерсу. Где Бернайс?

Твой Фридрих Энгельс.

5. Энгельс—Марксу.

Бармен, 17 марта 1845.

Дорогой Маркс!

Вчера Гесс передал мне твое письмо. Что касается переводов, то они еще совсем неорганизованы. В Бонне я хотел дать тамошним знакомым Фурье для перевода под моим надзором и руководством, конечно — с пропуском космогонической нелепицы, и, если издатель был бы согласен, выпустить эту вещь, как первую часть библиотеки. Я говорил об этом с Буцем, издателем «Зеркала Общества», и он, повидимому, был не прочь взяться за это, но для большой библиотеки у него нет достаточно средств. Если мы издадим ее в этом виде, то лучше обратиться к Леске или кому-нибудь другому, кто имеет достаточно средств. Взять на себя лично перевод я в это лето не могу, так как должен спешить с английскими вещами. Первая работа отправлена на этой неделе Виганду, и так как я с ним договорился, что, при получении манускрипта, он должен выслать мне 100 талеров, то дней через 8—12

я надеюсь получить деньги и послать тебе. Пока для тебя имеется 122,22 франка.

С этим письмом ты получишь остаток собранных денег. Если бы эльберфельдцы не затянули так сильно все дело, а они могли бы собрать еще среди их буржуазных друзей двадцать талеров, то ты получил бы деньги и раньше, и в большем количестве.

Возвращаюсь к библиотеке. Не знаю, будет ли исторический порядок наилучшим. Так как французы и англичане должны сменяться, то историческая последовательность все равно будет нарушаться. Кроме того, я думаю, что лучше было бы пожертвовать теоретическим интересом практическим соображениям и начать теми вещами, которые дадут немцам больше всего материала и которые ближе всего к нашим принципам. Следовательно, лучшие вещи Фурье, Оуэна, сенсимонистов и т. д. Морелли можно было бы дать раньше. Очерк исторического развития можно было бы дать во введении к библиотеке, так что читатель мог бы легко ориентироваться. Это введение мы могли бы сделать вместе—ты взял бы Францию, я—Англию. Это не трудно будет сделать, если я, как предполагаю, приеду к вам на три недели. Во всяком случае, мы могли бы обсудить этот план. Но необходимо начать с таких вещей, которые имели бы практическое, назидательное значение для немцев и избавили бы нас от необходимости еще раз повторять то, что другие сказали до нас. Если бы мы хотели дать собрание источников по истории социализма или, скорее, историю социализма в документах и по источникам, то мы, боюсь, не скоро справились бы с этой работой, да и наскучили бы читателю. Поэтому я за то, чтобы мы давали только такие вещи, которые, по своему содержанию, и теперь еще имеют положительный интерес. «Политическая Справедливость» Годвина могла бы тогда, как критика политики с политической и гражданско-социальной точки зрения, несмотря на многие прекрасные вещи, в которых Годвин граничит с коммунизмом, совершенно отпасть, так как ты ведь дашь полную критику политики. Тем больше, что Годвин в заключение приходит к результату, что человек по возможности должен эмансипироваться от общества и пользоваться им лишь, как предметом роскоши («Political Justice», II, книга 8, приложение к 8 главе), да и вообще в своих выводах решительно антисоциален. Впрочем, я книгу эту читал уже давно, когда мне самому многое было неясно, и должен ее еще раз прочитать. Возможно, что она дает больше, чем я тогда нашел. Если мы включим Годвина, то мы не можем не дать его дополнения, Бентама, хотя последний крайне скучен и теоретичен.—Напиши мне

об этом, и мы увидим, что можно сделать. Так как эта идея нам обоим пришла в голову, то ее нужно осуществить — я подразумеваю библиотеку. Гесс наверное примет в ней участие с удовольствием, я—тоже, как только найду время. У Гесса времени достаточно, так как он теперь, кроме редакции «Зеркала», ничем не занят. Если мы сойдемся в главном, то мы сможем после, когда я приеду к вам,—а я теперь еще больше об этом буду хлопотать,—выработать весь план в деталях и приступить к делу.

«Критическая критика»—я, кажется, уже писал тебе, что она получена здесь,—просто великолепна. Твои рассуждения об еврейском вопросе, истории материализма и «тайнах» [1]) превосходны и произведут большое впечатление. Но, при всем том, книга слишком велика. Суверенное презрение, с которым мы оба выступаем против «Литературной Газеты», очень мало гармонирует с 22 листами, которые мы ей посвящаем. Кроме того, значительная часть критики спекуляции и абстрактного существа вообще останется непонятной большой публике и не всех будет интересовать. Но вообще вся книга прекрасно написана и заставляет читателя смеяться до упаду. Бауэры не смогут ничего ответить. Бюргерс мог бы, если он напишет о книге в первом выпуске журнала Пюттмана, упомянуть причину, по которой я написал так мало и обработал только те части, которые не требовали особого труда,—мое короткое, всего лишь десятидневное пребывание в Париже. И без того производит комическое впечатление, что я написал едва полтора листа, а ты больше двадцати. Абзац о «проституции» ты лучше мог бы выпустить. Слишком мало, да и не имеет значения.

Удивительно, что, кроме библиотеки, я сошелся с тобой еще в другом плане. Я тоже хотел написать для Пюттмана критику Листа—к счастью, он мне во-время об этом сообщил. Так как я хотел заняться Листом практически, развить практические последствия его системы, то одну из моих эльберфельдских речей (отчет будет напечатан в журнале Пюттмана), в которой я сделал это вкратце, я разработаю подробнее. Кроме того, я предполагаю—на основании письма Бюргерса к Гессу, да и зная твои личные наклонности,—что ты обратишь большее внимание на его теоретические предпосылки, чем на результаты.

Я веду тут поистине собачью жизнь. История с собраниями и «легкомыслие» некоторых здешних коммунистов, с которыми я встречаюсь, опять разбудили весь религиозный фанатизм моего старика. Мое заявление, что я окончательно отказываюсь от гешефт-

---

[1]) Речь идет о «Парижских тайнах» Эжена Сю.

махерства, его еще более рассердило, а мое открытое выступление в качестве коммуниста развило в нем к тому же и настоящий буржуазный фанатизм. Ты можешь себе представить теперь мое положение. Так как недели через две я уезжаю, то не хочу начинать скандала и все покорно сношу. Они к этому не привыкли и потому становятся храбрее. Когда я получаю письмо, то его обнюхивают со всех сторон прежде, чем передают мне. А так как они знают, что все эти письма от коммунистов, то они при этом строят такие печальные физиономии, что хоть с ума сходи. Выхожу я, все та же физиономия. Сижу я у себя в комнате и работаю—конечно, над коммунизмом, это прекрасно знают—все та же физиономия. Я не могу ни есть, ни пить, ни спать без того, чтобы предо мною не стояла все та же плачевно-жалобная физиономия. Остаюсь ли я дома, ухожу ли, молчу ли я или говорю, читаю ли я или пишу, смеюсь или нет,—отец мой строит все то же уныло-скорбное лицо. К тому же старик мой так плохо разбирается во всем, что считает одинаково «революционным» коммунизм и либерализм и, несмотря на все мои возражения, делает меня ответственным за все гнусности английской буржуазии в парламенте. А тут еще у нас в доме царит пора благочестия. Восемь дней назад были у конфирмации брат и сестра, сегодня вся родня собирается к ужину —и лица моих стариков еще более печальны, чем всегда.

А, к довершению несчастия, вчера вечером я был вместе с Гессом в Эльберфельде, где мы до двух часов проповедовали коммунизм. Сегодня, конечно, опять вытянувшиеся физиономии, намеки, догадки. Наконец, они собрались с мужеством, чтобы спросить, где я был.—«У Гесса».—«У Гесса! О, боже!»—Большая пауза, христианское отчаяние на лице.—«Что за общество ты выбираешь себе?!»—Вздохи и т. д. Просто с ума сойти можно. Ты не имеешь никакого представления, сколько коварства в этой христианской охоте на мою «душу». А если мой отец еще откроет, что существует «Критическая критика», то он в состоянии выбросить меня из дому. Кроме того, постоянное раздражение при виде своей полной беспомощности. Ведь, они находят наслаждение в том, что терзают себя и мучат всякими фантазиями об аде, и в то же время им нельзя об'яснить даже самые элементарные принципы справедливости.

Если бы не мать,—она воистину прекрасный человек и только по отношению к отцу несамостоятельна,—которую я действительно люблю, то я никогда бы не сделал моему фанатическому и деспотическому отцу ни малейшей уступки. А теперь мать моя каждый раз огорчается до болезни и из-за меня страдает жестокими

головными болями. Я не могу больше этого выдержать, я должен уехать и с трудом представляю, как я еще выдержу здесь две недели. Но, так или иначе, я уже устроюсь.

Что касается всего прочего, то нового ничего нет. Буржуазия политизирует и ходит в церковь, а что делает пролетариат—мы не знаем, да и вряд ли можем знать. Адрес, по которому вы отправили последнее письмо, пока еще надежен. Сегодня вечером я надеюсь получить деньги, и только что Кеттген уверял меня, что он через пару дней достанет еще. Я ему, однако, неособенно верю: Кеттген только там под рукой, где он может фигурировать на первом плане, иначе же он никуда не годится и ничего не делает. Addio!

Твой Энгельс.

II. Маркс и Энгельс в Брюсселе.—Размежевание с «истинными социалистами».—Основание Союза Коммунистов.

(1846—1847).

Маркс попал в Брюссель в феврале 1845 г., а Энгельс в апреле. Последний только что отправил издателю рукопись своей книги о «Положении рабочего класса в Англии», а первый, отказавшись от намерения писать историю Конвента, принимается теперь вплотную за критическую историю политических и экономических учений.

К сожалению, мы слишком мало знаем об этом периоде. Между последним письмом Энгельса из Бармена от 17 марта 1845 до первого опубликованного за 1846 г. письма (19 августа 1846 г.) прошло полтора года. Видно, что Энгельс за это время пережил очень много, что его миросозерцание в коренных пунктах изменилось. От старого энтузиазма, возлагавшего такие надежды на мирное распространение коммунизма под эгидой прусских прокуроров, не осталось и следа. В одном из писем он жестоко смеется над Гессом, который в не менее восторженных письмах, чем прежде сам Энгельс, описывает новые успехи коммунистов в Кельне, где им, в ряде собраний, удалось провести программу, по своему радикализму, мол, нисколько не уступающую программе английских и французских коммунистов.

Мы уже видели, что Энгельс еще в начале 1845 г., не совсем освободился от иллюзий немецкого социализма. Следующая цитата из оставшейся до сих пор неизвестной статьи Энгельса покажет нам, как наивен был его коммунизм, как много родственного в нем с тем социализмом, который дебатировался в русских революционных кружках самообразования еще в восьмидесятых годах:

«Когда бы вступаете в беседу о социализме или коммунизме, то вам приходится часто наблюдать, что многие люди готовы согласиться с вами по существу и об'явить коммунизм прекрасным

делом. «Но—прибавляют они—нет никакой возможности осуществить его на практике». Это возражение встречается так часто, что пишущий эти строки считает необходимым и полезным ответить на него изложением фактов, которые в Германии слишком мало известны и которые, по его мнению, совершенно уничтожают это возражение. Коммунизм, социальная жизнь на основе общности имущества, не только возможен, но уже осуществлен во многих общинах в Америке и в одном месте в Англии и, как мы сейчас увидим, с блестящим успехом.

«Если мы внимательно рассмотрим указанное возражение, то мы увидим, что оно распадается на два. Во-первых, нельзя будет найти рабочих для унизительных и неприятных родов труда, во-вторых, при одинаковом праве на общее владение, участники будут ссориться из-за него, и коммунистическая община неизбежно распадется. Первое возражение устраняется очень просто: раз они выполняются для общины, все эти работы перестают быть унизительными, и, кроме того, посредством улучшенных методов, машин и т. д., они легко могут быть сведены на нет. Так, в Нью-Йорке, в одном большом отеле, сапоги чистят при помощи пара, а в коммунистическом поселении «Гармония» в Англии отхожие места не только очищаются автоматически, но, при посредстве особых труб, нечистоты отводятся непосредственно в большой резервуар для хранения удобрительных веществ. Что же касается второго возражения, то до сих пор все коммунистические колонии после десятипятнадцати лет достигали такого богатства, что имеют все необходимое в избытке, и поэтому им нет никакого повода ссориться» [1]).

Как не вспомнить при этом жаркие дебаты о чистке сапогов и отхожих мест,—вопросы, которые всегда сильно занимали социалистов из «буржуазной интеллигенции», когда обсуждались подробности устройства «будущего общества»?

А между тем цитируемая мною статья и есть тот самый доклад, который Энгельс читал на одном из собраний в Эльберфельде, так восторженно описываемых им в своих письмах к Марксу.

Как велика была разница между взглядами обоих друзей, насколько интенсивна была работа Маркса в деле создания основ их общего мировоззрения, настолько решающей являлась критика.

---

[1]) См. «Beschreibung der in neuerer Zeit entstandenen und noch bestehenden communistischen Ansiedlungen» в сборнике «Deutsches Bürgerbuch für 1845». Herausgegeben von H. Püttmann. Darmstadt, 1845. Как видно из корреспонденций Энгельса в «New Moral World», этот сборник вышел в начале 1845 г.

которой Маркс подверг братьев Бауэров, лучше всего показывает «Святое семейство».

Когда Энгельс расстался в Париже с Марксом, речь шла о маленьком памфлете против Бруно Бауэра и его последователей. В действительности же получился большой трактат, в котором Маркс не только развил более подробно взгляды, уже высказанные им в «Немецко-Французских Летописях», но затронул и совершенно новые области. Коммунизм, еврейский вопрос, французская революция, история материализма, критика спекулятивной философии, сатира на все буржуазные рецепты по части облагодетельствования «низших» классов, под видом критики «Парижских тайн» Эжена Сю,—по каждому из этих вопросов Маркс высказывает ряд мыслей, которые после органически входят в систему научного коммунизма. Когда Энгельс приехал в Брюссель, Маркс уже успел сделать шаг дальше.

Вслед за «идеей рабочего сословия», которая, по общему признанию всех современников, принадлежит исключительно ему, он уже весной 1845 г. формулирует основные положения материалистического понимания истории. Если уже в «Немецко-Французских Летописях» и в «Святом семействе» он фактически оставляет за собой Фейербаха, то в ряде тезисов, направленных им против последнего и формулированных впервые в Брюсселе, он теперь так же решительно сосчитывается с материализмом Фейербаха, как прежде с «философией самосознания» Бруно Бауэра.

В том виде, как они напечатаны сорок лет спустя Энгельсом, они представляют некоторые отступления от оригинала. Так, третий тезис гласит:

«Материалистическое учение об изменении обстоятельств и воспитании забывает, что обстоятельства изменяются людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно, поэтому, должно делить общество на две части, из которых одна стоит над обществом. Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности или самоизменение может быть постигнуто и правильно понято только, как революционная практика» [1]).

---

[1]) Тезисы найдены мною в одной из записных книжек Маркса. Хотя Энгельс пишет, что они формулированы весной 1845, хотя это предположение весьма вероятно, однако, в самой записной книжке трудно найти какие-либо точные указания. Во всяком случае, из других заметок видно, что огромное большинство их относится к первому году пребывания Маркса в Брюсселе. Обращаю внимание русских исследователей истории деятелей 40-х годов, что в этой же книжке имеется адрес некоего «Mr. Egoroff, Rue de Canette 13, au 1 ét.». Действительно ли это какой-нибудь Егоров, или только «инкогнито»? Не Огарев ли это?

Кроме мелких изменений и вставок, Энгельс прибавляет: «напр., у Роберта Оуэна». Эта прибавка лишний раз указывает, как даже фейербаховский материализм логически приводил к тем же выводам, что и материализм XVIII века в его французской форме или в том его видоизменении, которое он получил у Оуэна. В статьях Добролюбова и Чернышевского легко найти целый ряд мест, устанавливающих близкое идейное родство их миросозерцания с тем «реальным гуманизмом», на почве которого стоял Маркс еще в конце 1844. И для них промежуточным звеном между Фейербахом и коммунизмом служили Фурье и Оуэн, точно так же, как можно отметить сходство и в том отношении, что Сен-Симон и Леру, оказавшие большое влияние на умственное развитие многих людей сороковых годов, сыграли в духовной жизни Чернышевского и Добролюбова такую же незначительную роль, как и в умственной эволюции Маркса и Энгельса.

Можно было бы указать на одного коммунистического мыслителя, сочинения которого Маркс изучал очень внимательно—в «Святом семействе» он его причисляет к «научным коммунистам — но которого он уже в 1845 г. так же далеко оставляет за собой, как Вейтлинга и Прудона. Это—теперь совершенно забытый Теодор Дезами. Крайний коммунист, высоко ценивший Морелли, Мабли и Буонароти, он, как и Вейтлинг, обращается непосредственно к пролетариям, но, в отличие от немецкого коммуниста, он является последовательным материалистом. С утопистами его роднили стремление выдвинуть на первый план особый проект коммунистического устройства будущего общества, разработанный им так же детально, как у Оуэна и Фурье, и убеждение, которое, как мы видели, разделял еще в 1844—45 г. и Энгельс, что путем пропаганды этого проекта можно подготовить все необходимые условия для перевода современного общества в высший класс. коммунистический. Но его критика буржуазного общества, в которую вошли и некоторые элементы фурьеризма и оуэнизма, несомненно, оказала известное влияние на Маркса: отголосок ее мы находим в критике буржуазного общества, данной в «Коммунистическом Манифесте». Надо прибавить, что Дезами и его последователям удалось привлечь на свою сторону многих рабочих, и «коммунисты-материалисты» с их различными разветвлениями играли большую роль в подпольном движении, предшествовавшем революции 1848 года. Из этих элементов организовалась во время второй республики и второй империи партия бланкистов[1]).

---

[1]) Кроме мелких полемических сочинений против Ламеннэ и Кабэ, Дезами принадлежат два крупных сочинения: «Code de la Communauté», Paris

Но, чем детальнее мы изучаем все эти влияния, тем более выявляется для нас то новое, то оригинальное, что Маркс внес в коммунизм в течение своего пребывания в Брюсселе. Начав свою публицистическую карьеру «политиком», радикалом, натолкнувшись уже в 1843 году на противоречие между «политической» и «социальной» революцией, он теперь, наконец, находит решение вопроса о соотношениях между социализмом и политикой. То, что прежде было сектой, у него превращается в партию. Между «современностью» и «будущим» строится мост в виде сознательного участия партии «будущего» во всех битвах современности. Вместе с этим на очередь ставился вопрос об организации коммунистов в особую партию и об отношениях этой партии к различным демократическим организациям.

Мы считаем в высшей степени вероятным, что Энгельс, при правке корректур своей книги о «Положении рабочего класса в Англии», уже пользовался указаниями своего друга. Только таким путем можно объяснить, что в самой книге мы не находим почти никаких следов того умонастроения, какое отмечено нами в письмах, написаных в период подготовления этой книги к печати.

К этому времени—лето 1845 г.—относится поездка Маркса и Энгельса в Англию, где они пробыли—главным образом, в Манчестере—шесть недель. Маркс собирал материалы для своей истории экономических и политических учений, Энгельс—для истории социального движения в Англии. Весьма вероятно, что именно во время этой поездки Маркс и Энгельс—который уже и прежде, в 1843—44 г., имел случай встречаться с немецкими и английскими революционными деятелями—завязали более тесные сношения не только с бывшими членами «Союза Справедливых», жившими в Лондоне, но и с теми чартистами, которые, как Гарни, тогда уже один из редакторов центрального органа чартистов — «Полярной Звезды», склонялись к коммунизму. В силу условий, на изложении которых мы не можем теперь остановиться подробнее, между оуэнистами, относившимися совершенно отрицательно к политической

1843, и Le jésuitisme vaincu et anéanti par le socialisme ou les constitutions des jésuites et leurs instructions secrètes en parallèle avec un projet d'organisation du travail». Paris, 1845. Им же был издан специально для рабочих «Almanach de la Communauté, 1843». Лезами и его группе мы предполагаем посвятить особую статью. Вопрос этот представляет для русских читателей особый интерес, ибо уже среди петрашевцев (Тимковский и Спешнев) можно заметить следы влияния этого наиболее крайнего из французских коммунистических учений. Ср. богатые новыми данными статьи В. И. Семевского о М. В. Буташевиче-Петрашевском. Необходимо отметить, что Лезами был известен также Чернышевскому и Добролюбову.

борьбе, и некоторыми чартистами в 1844—45 г.г. произошло сближение. Одним из поводов послужило чествование немецкого коммуниста Вейтлинга, приехавшего, после долгих мытарств по швейцарским и прусским тюрьмам и этапам, в конце лета 1844 г. в Лондон.

Со стороны немцев деятельное участие в организации этого торжества принял Шаппер, старый член «Союза Справедливых», замешанный в неудавшейся попытке восстания 12 мая 1839 (Бланки и его друзья) и вынужденный вследствие этого оставить Францию. В Лондоне он, в феврале 1840 г., основал общество самообразования для рабочих, существующее и до сих пор и более известное под именем «коммунистического рабочего клуба». Около него скоро сгруппировался кружок выдающихся рабочих—Экариус, Бауэр. Молль, Иффендер, — которые вели коммунистическую пропаганду среди многочисленной немецкой рабочей эмиграции.

По инициативе Шаппера, уже в октябре 1844 г. было организовано интернациональное общество под названием «Демократические друзья всех народов» («Democratic friends of all Nations»), ставившее себе целью сближение между революционерами всех национальностей, укрепление братства между различными народами, завоевание политических и социальных прав.

По возвращении в Брюссель, Маркс и Энгельс продолжали свои теоретические работы. План, о котором Энгельс писал еще в письме из Бармена,—критический разбор протекционизма Листа,—остался невыполненным, хотя Энгельс, как видно из одного неопубликованного его письма к издателю Камне, обращался еще в октябре 1845 г. с определенным предложением по этому поводу. В области проектов остался и план «Библиотеки социалистических писателей».

Не удалось обоим друзьям опубликовать и крупный труд, посвященный немецкой идеологии. Не только вся послегегелевская философия—Бауэр, Фейербах, Штирнер—но и различные оттенки немецкого «истинного» социализма были подвергнуты резкой критике. Только отдельные главы этой работы увидели свет отчасти еще в сороковых годах, отчасти в наше время.

Это была последняя работа, в которой Маркс и Энгельс сводили счеты со своим философским прошлым, в которой они решительно порывали связь со всеми старыми друзьями. Начиная с 1846 года, оба они посвящают себя другой работе, которая до сих пор оставалась малоизвестной, хотя совершенно изменила характер и направление их литературной деятельности.

В специальной работе, посвященной этому периоду в жизни Маркса и Энгельса, закончившемуся организацией «Союза Коммунистов» и «Коммунистическим Манифестом», мы покажем, какая сеть легенд сплелась вокруг истории этой первой «марксистской» организации. Если не считать полицейской истории немецкого социализма до 1848 г., написанной Штибером и Вермутом, то единственным источником до сих пор являлось введение, написанное Энгельсом почти сорок лет спустя после основания Союза, к брошюре Маркса о кельнском процессе коммунистов. Детальный критический анализ этого введения и сопоставление этих воспоминаний Энгельса с более ранними данными, приведенными Марксом в его книге «Господин Фохт», привели нас к заключению, что вся история «Союза Коммунистов» до 1848 г., как она повторяется со слов Энгельса, представляет не что иное, как дидактический рассказ, написанный в поучение немецким социал-демократам, которые попали в восьмидесятых годах в положение, сходное с положением немецких коммунистов в 1846—48 г.г., т.-е. вынуждены были опять перейти на «нелегальное положение». Под влиянием той же дидактической тенденции, Энгельс совершенно неверно изображает позицию, которую он занимал вместе с Марксом.

Если верить Энгельсу, то он и Маркс, чуть не до 1847 г., стояли совершенно в стороне от рабочего движения и являлись по отношению к «Союзу Справедливых» чем-то в роде «посторонних зрителей», пока, наконец, лидеры этого союза, убедившись в превосходстве взглядов Маркса и Энгельса, не обратились к ним с предложением вступить в союз и внести теоретическую ясность и стройность туда, где прежде господствовали путаница и эклектизм.

В действительности дело происходило совершенно иначе. Маркс и Энгельс очень рано выступили в качестве «практиков», но до 1846 г. деятельность их проходила главным образом в среде «буржуазной интеллигенции». Организационная работа в среде рабочего класса была им еще почти совершенно чужда.

Мы уже видели, что в Лондоне была крупная коммунистическая организация, в которой преобладали рабочие. В Париже, где немецкая колония была еще многочисленнее, среди рабочих—вернее, квалифицированных ремесленников—было также не мало коммунистических групп, находившихся под влиянием Вейтлинга и позже Кабэ (через посредство уже знакомого нам Эвербека). Еще более многочисленны были группы в Швейцарии, где лидерами являлись Вейтлинг и Август Беккер.

На основании все того же рассказа Энгельса, дело изображается так, как будто после краха восстания 12 мая 1839 г. в Париже, вместе с переселением Шаппера и его товарищей в Лондон, и центральная организация «Союза Справедливых» была перенесена в Лондон. В действительности же, после 1839 г., мы не находим никаких следов существования этой организации. Верно только то, что бывшие члены «Союза Справедливых», разъехавшись из Парижа, продолжали как в Англии, так и в Швейцарии свою революционную пропаганду.

Но между этими отдельными группами не было никаких регулярных сношений, как не было никакого общего органа. Не в лучшем положении находились и коммунистические одиночки или кружки из среды «буржуазной интеллигенции», рассеянные в Германии (главным образом, в Вестфалии, Рейнской провинции, Силезии и в Берлине). Правда, эти «литераторы», «интеллигенты», в противоположность рабочим, имели в своем распоряжении ряд литературных органов, в которых велась коммунистическая пропаганда. Но, пока последняя сводилась к развитым философским упражнениям на социалистические темы, пока она обращалась исключительно к «образованным классам» и чуралась всякой политической деятельности, не чувствовалось никакой потребности ни в общей организации, ни в устройстве тесных сношений с уже существовавшими в разных местах рабочими группами.

Иначе сложились обстоятельства, когда Маркс, который никогда не отрицал значения политической деятельности, и вслед за ним Энгельс, разделявший вместе с «истинными социалистами» их предрассудки против «политики», нашли, наконец, синтез между последней и социализмом и, вместе с тем, и ответ на вопрос, как слить рабочее движение и социализм, до того времени шедшие разными дорогами. Оказалось, что социализм или коммунизм есть высшая форма рабочего движения, что коммунизм предполагает самую совершенную демократию, что коммунизм может быть осуществлен только рабочим движением, что единственный класс, который может и должен, по своему положению, взять на себя осуществление коммунизма—это пролетариат. Отсюда сама собою вытекала задача—внесение в классовую борьбу пролетариата света сознания ее целей и организация пролетариата в особую политическую партию. Не отчуждение от задач современности, не стремление уйти в сектантскую келью, а вмешательство во все явления общественной жизни, внимательное изучение действительности и активное участие во всех сферах современной жизни!

Понятно, что всякая попытка соединить «интеллигентские» и

«рабочие» коммунистические группы не могла не натолкнуться на ряд препятствий. С одной стороны, приходилось вступить в борьбу со староверами «истинного социализма», с другой—пришлось считаться с предрассудками рабочих и их недоверием к «литераторам».

Необходимо было, поэтому, создать организационный центр, который, преследуя сначала чисто пропагандистские задачи, постепенно подготовлял бы условия для более тесной организации. Более легкой и выполнимой казалась задача об'единения немецких коммунистических групп, находившихся тогда в положении, очень сходном—в организационном отношении—с положением русских социал-демократических групп до 1898 года.

Необходимость созвать с'езд представителей всех коммунистических групп обсуждалась уже в конце 1845 и начале 1846 г. Мне удалось найти циркуляр, в котором мотивируется значение этого с'езда и, как наиболее удобный пункт для делегатов из Германии, указывается Верьве, где тогда жил Гесс, и наиболее подходящий для Маркса и Вейтлинга, присутствие которых считается безусловно необходимым.

К сожалению, нет никакой возможности точно установить, состоялся ли этот с'езд, предполагавшийся летом 1846 г. По всей вероятности, план этот расстроился, так как попытка соглашения между Марксом и Вейтлингом кончилась неудачей. (На одном из этих заседаний присутствовал Анненков). И еще более резко выступили Маркс и его друзья в мае 1846 г. против Криге, одного из влиятельнейших представителей немецкого «истинного» социализма.

К этому времени относится план Маркса и Энгельса организовать особые группы из тех коммунистов, которые разделяли их взгляды. В Брюсселе вокруг них сгруппировалась значительная община, в которую входили Вильгельм Вольф,—ему Маркс после посвятил первый том «Капитала»,—Себастиан Зейлер, Иосиф Вейдемейер, Филипп Жиго, бельгиец, позже Тедеско, тоже бельгиец, несколько рабочих. Гесс, после некоторых колебаний, присоединился к Марксу.

Брюссельская группа должна была служить главным ядром новой коммунистической организации, которая с самого начала должна была быть интернациональной. Маркс и Энгельс надеялись привлечь на свою сторону Прудона и выдающихся английских чартистов. Исходя из убеждения, что Европа стоит накануне новой революции, которая доставит всюду власть буржуазии, но в то же время подготовит условия для организации политической партии пролетариата, они приглашали

Прудона присоединиться к ним, чтобы подготовиться к тому времени, когда наступит «момент действия», т.-е. революция. Напечатанное в корреспонденции Прудона письмо его к Марксу, толковавшееся до сих пор вкривь и вкось, приобретает совершенно другой смысл, если перестать считать его ответом на предложение Маркса принимать участие в каком-то чисто литературном предприятии.

Если Прудон ответил отказом, то Гарни отнесся только скептически к новому плану, но из'явил согласие, если в организацию будут посвящены его лондонские друзья из немецкой эмиграции, главным образом, Шапер.

Трудно сказать, почему Маркс и Энгельс для своей новой организации приняли название «Kommunistisches Korrespondenz Komitee», т. е. коммунистический комитет сношений. Быть может, тут играли роль реминисценции из истории французской революции или из истории старых английских революционных обществ (французские Comités de correspondances или английские Corresponding societies). Но, на ряду с брюссельским, очень скоро возник такой же комитет в Лондоне, в который вошли наиболее выдающиеся члены «коммунистического рабочего клуба» и Гарни. А осенью 1846 г. Энгельс переезжает из Брюсселя в Париж, чтобы и там организовать такой же комитет, что ему удается при помощи Юнге, наборщика, жившего прежде в Брюсселе. Ему пришлось при этом встретиться с сильной оппозицией, часть которой находилась под сильным влиянием учений Прудона, в той их форме, в которой их «германизировал» Карл Грюн, другая же— под влиянием Кабэ.

К лету 1847 года новые организации настолько уже окрепли, что явилось возможным созвать предварительный с'езд всех этих комитетов в Лондоне. На этом с'езде решено было об'единиться в «Союз Коммунистов». Принят был временный организационный устав, который решено было предложить на обсуждение отдельным комитетам, с тем, чтобы на следующем с'езде принять его с необходимыми поправками в окончательной форме. К этому же с'езду должен был быть представлен проект коммунистического «Исповедания веры».

Что борьба внутри комитетов и после первого конгресса продолжалась, видно особенно ясно из писем Энгельса. И не только в парижской общине, в которой сильны были старые традиции. Лондонцам тоже пришлось бороться не только с приверженцами Кабэ, отстаивавшими план эмиграции в Америку, но и с приверженцами Гейнцена, который, в качестве буржуазного демократа, вел жестокую войну с коммунистами.

Некоторый свет на эту внутреннюю борьбу проливает изданный лондонскими членами «Союз Коммунистов» пробный номер первого рабочего марксистского журнала. Он назывался «Коммунистический Журнал» и вышел в свет в сентябре 1847. Под заголовком — за шесть месяцев до появления «Коммунистического Манифеста»—мы читаем: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Все статьи анонимны. Программная статья, написанная, вероятно, коллективно, кончается призывом к «пролетариям всех стран» об'единиться—«открыто там, где это разрешается законом, ибо наши действия не боятся света, тайно там, где произвол тиранов вынуждает нас к этому».

Вторая статья подробно разбирает и отвергает эмиграционный план Кабэ. Третья статья, написанная, по всей вероятности, Энгельсом, дает характеристику Пруссии. Журнал заканчивается «Политическим и социальным обозрением», в котором нетрудно узнать манеру Вильгельма Вольфа.

Второй с'езд, как известно, состоялся в ноябре—декабре 1847 г. После долгих дебатов принят был новый устав, и решено было вместо предполагавшегося «исповедания веры», по предложению Энгельса, опубликовать от имени союза «Манифест коммунистической партии». Составление этой программы поручено было конгрессом Марксу, хотя с'езду были представлены и другие проекты «исповедания веры», в том числе один—Энгельсом. Само собою разумеется, что Маркс, при составлении Манифеста, пользовался помощью своего друга, но сравнение этого документа с тем проектом, который принадлежит Энгельсу и в 1913 г. опубликован Бернштейном, показывает нам, почему Энгельс, в предисловии к вышедшему после смерти Маркса изданию «Манифеста», категорически утверждает, что главные идеи этого Манифеста принадлежат исключительно Марксу.

Едва только манифест был написан—понадобилось не одно напоминание со стороны центрального комитета в Лондоне, чтобы Маркс отказался от дальнейшей обработки [1]) — и отправлен в

---

[1]) «Центральный комитет областному комитету в Брюсселе. Лондон, 26 января 1848. Резолюция, принятая 24 января 1848.

Центральный комитет поручает сим областному комитету в Брюсселе сообщить гражданину Марксу, что если Манифест коммунистической партии, составление которого он взял на себя на последнем конгрессе, не будет доставлен в Лондон до вторника, 1 февраля сего года, то против него будут приняты дальнейшие меры. В случае, ежели гражданин Маркс не исполнит работы, центральный комитет требует немедленной отсылки предоставленных в распоряжение Маркса документов.

От имени и по поручению центрального комитета: Шаппер, Бауэр, Молль».

Лондон, чтобы быть напечатанным, как уже послышались раскаты приближающейся исторической грозы. Манифест еще брошюровался, когда в Париже началась февральская революция. В Германию первые экземпляры его попали уже после мартовской революции. Ему предшествовали «требования коммунистической партии», формулированные новым центральным комитетом. Как только началась революция, лондонский комитет, который, по уставу, выполнял функции центрального комитета, передал свои полномочия брюссельскому. Но главные члены последнего вынуждены были переехать в Париж, чтобы оттуда, после крупного конфликта с немецкой демократической эмиграцией, замышлявшей вооруженное вторжение в Германию, направиться на родину.

Только при свете этих фактов нам становится вполне понятна литературная деятельность обоих друзей в 1846—1847 г. Каждое выступление вызывается или об'ясняется потребностями пропаганды или размежевания с группами, которые старались «вовлечь возникавшие в различных концах Западной Европы коммунистические организации в русло той или иной доктрины. Эту цель преследовала полемика с Кригe, с Грюном, с Гейнценом. Так как основанная ими организация с самого начала носила интернациональный характер, то им пришлось считаться не только с чисто немецкими течениями, но и с чужеземными, тем более, что они, как, напр., учение Прудона, оказывали сильное влияние и на немецких рабочих. Отсюда и стремление завязать сношения со всеми демократическими и социалистическими органами во Франции и Англии, чтобы иметь возможность литературным путем влиять на читателей этих органов. Эта работа выпадала, главным образом, на долю Энгельса, который, начиная с 1845 г., пишет в главном органе чартистов—«Полярной Звезде», как он прежде работал в органе оуэнистов «Новом Нравственном Мире», а с 1847 работает во французской «Réforme» и «Atelier».

Вся эта кипучая деятельность нашла себе, правда, слабое отражение в письмах 1846—1847 годов. К сожалению, мы не можем дать полный перевод всех этих писем, так как многие из них носят слишком специальный характер и изобилуют мелочами, требующими очень подробного комментария. Мы выбрали только наиболее характерные для Энгельса и той эпохи.

1. Энгельс—брюссельскому комитету.

Париж, 21 августа 1846.

Carissimi!

Наше предприятие пойдет здесь прекрасно. Эвербек в восторге от него и желает только, чтобы мы не торопились с оффициальной организацией комитета, так как в ближайшем будущем предстоит раскол. Остаток вейтлингианцев, маленькая группа портных, будет, вероятно, скоро вышвырнута из организации, и Эвербек считает более удобным подождать, пока это будет сделано. Он, однако, думает, что вряд ли можно будет привлечь к «корреспонденции» [1]) более четырех или пяти человек, но этого вполне достаточно. Надеюсь, что, в ближайшем письме, я уже извещу вас о ее конституировании.

Эти портные, право, удивительные парни. Недавно они серьезно дискутировали вопрос о том, не удобнее ли прикреплять ножи и вилки к столам посредством цепочек. Их, однако, немного. На последнее, очень грубое письмо, которое мы ему переслали, Вейтлинг не ответил. Он потребовал, чтобы ему выслали 300 франков для его экспериментов, но прибавлял, что вряд ли из этого выйдет что-либо. Вы можете себе представить, как они ему ответили.

Зато столяры и кожевники, должно быть, славные парни. Я их не видел еще, так как Эвербек ведет свое дело с известной вам осторожностью...

Париж глубоко пал. Дантон продает на бульваре Бурдон дрова, Барбару продает на улице St.-Honoré ситцы, «Реформа» не имеет уже достаточно сил, чтобы требовать для Франции Рейна, оппозиция ищет способных людей, но не находит их, господа буржуи ложатся так рано спать, что к двенадцати часам все должно быть закрыто, и молодая Франция мирится с этим спокойно.

2. Энгельс—брюссельскому комитету.

Париж, 19 сентября 1846.

Дорогие друзья!

Ваши сообщения о Бельгии, Лондоне и Бреславле были очень интересны. Я рассказал обо всем Эвербеку и Бернайсу. Держите меня au courant всего, что касается успеха нашего дела и более или менее усердного участия различных мест, чтобы я мог сооб-

---

[1]) Сокращенное название организованных в Лондоне и Париже «коммунистических комитетов сношений» («Kommunistisches Korrespondenz Komitee»).

щить кое-что здешним рабочим. Что поделывают кельнцы? Отсюда я могу доложить следующее:

1) Со здешними рабочими, т.-е. столярами из Сен-Антуанского предместья, я уже несколько раз имел собеседования. Они организованы очень своеобразно. Если не считать прежнего союза, который, вследствие больших разногласий с вейтлинговскими портными, почти расстроился, то они—от двенадцати до двадцати человек—собираются раз в неделю для дискуссий. Так как, в силу вполне понятных причин, материал скоро иссяк, то Эвербек был вынужден читать им лекции по немецкой истории—ab ovo — и преподавать им в высшей степени путаную политическую экономию, которую он позаимствовал из «Немецко-Французских Летописей». Затем появился я. Чтобы поддержать с ними связи, я им изложил в двух беседах историю Германии со времени французской революции, взяв за исходный пункт экономические условия. Все, что они получают на этих еженедельных собраниях, они по воскресеньям пускают в ход на собраниях, которые происходят на окраине города и в которых принимают участие самые разнообразные элементы. На них, отбросив в сторону всякие политические материи, дискутируют, главным образом, социальный вопрос. Эти собрания очень полезны, чтобы втянуть новых людей, так как они вполне открыты. Недели две назад нагрянула полиция, хотела наложить свое veto, но, в конце концов, дала себя утихомирить. Часто собирается свыше 200 человек.

Но дальше в таком положении дело оставаться не может. Среди рабочих замечается известная апатия, вызванная тем, что им наскучили дискуссии. Все, что они могут противопоставить портняжному коммунизму, в сущности, сводится к фразам Грюна о «человеке» и к гроинцованному Прудону, которых им преподносят сам Грюн и его последователь Эйзерман, старый напыщенный столяр, а частью и наш друг Эвербек. Все это им скоро надоело. Начались вечные повторения, и, чтобы удержать их от з а с ы п а н и я (буквально, так как эта эпидемия начала свирепствовать на собраниях), Эвербек терзал их разными схоластическими рассуждениями об «истинной стоимости» (которая отчасти и на моей совести лежит) и наводил на них тоску германскими первобытными лесами, херусками и старо-немецкой грамматической ерундой по Аделунгу.

Впрочем, действительным лидером этих рабочих является не Эвербек, а Юнге, который жил прежде в Брюсселе и хорошо понимает, что следовало бы изменить. Он мог бы многое сделать, так

как он всех держит в своих руках и в десять раз умнее всей клики. Но он чересчур непостоянен и каждый раз выдумывает новые проекты. Если до сих пор так мало сделано, то только потому, что я в течение трех недель не могу его никак поймать...

2) Теперь нечто забавное. В своей новой, ненапечатанной еще книге, которую Грюн переводит теперь на немецкий, Прудон выдумал способ делать деньги из ничего и сделать рабочих счастливыми. Никто не знал, в чем дело. Грюн тщательно хранил эту тайну, но всюду хвастался, что ему известен новый философский камень. Всеобщее напряженное ожидание. Наконец, на прошлой неделе к столярам, у которых я был, является Эйзерман и наивно выбалтывает великую тайну. Грюн сообщил ему весь план. И что же оказалось? Ни больше, ни меньше, как уже давно известные в Англии «базары труда», не раз уже обанкротившиеся, ассоциации разнородных ремесленников, большой склад, все продукты, доставленные членами ассоциаций, оцениваются по стоимости сырого материала и затраченного на них труда и оплачиваются другими продуктами, оцениваемыми таким же способом. Все количество продуктов, превышающее потребность в них ассоциации, продается на всемирном рынке, и выручка идет в пользу производителей. Таким образом, думает хитрый Прудон, можно отменить прибыль, которую получает торговый посредник. Что он таким путем отменяет и прибыль на ассоциационный капитал, что этот капитал и эта прибыль должны быть точно так же велики, как капитал и прибыль вытесненных посредников, что он, следовательно, правой рукой отдает то, что получает левой — обо всем этом наш мудрец не догадывается. Что его рабочие никогда не в состоянии будут достать необходимый капитал, так как они в этом случае могли бы устроиться самостоятельно, что всякие сбережения в издержках, достигаемые посредством ассоциации, уйдут на покрытие всяких рисков, что вся история сводится к желанию убрать из этого мира контрабандой прибыль, что все это—мещанская идиллия, с самого начала исключающая всю крупную промышленность, строительных рабочих, сельское хозяйство, и то, что на их долю придутся только у б ы т к и буржуев—все это и другие возражения, навязывающиеся сами собой, он, увлеченный своими иллюзиями, совершенно забывает. Преуморительная история!.. Но Прудон навсегда скомпрометирует себя и французских социалистов перед буржуазными экономистами, если выступит публично с этим планом. Потому он и полемизирует против революции, что нашел, как ему кажется, мирное средство. Прудон похож на Джона

Уотта [1]). Этот видит свое призвание в том, чтобы, несмотря на свой респектабельный атеизм и социализм, оставаться для буржуазии респектабельным человеком; Прудон изо всех сил хлопочет, чтобы, несмотря на свою полемику против экономистов, стать признанным великим экономистом. Таковы все сектанты. И к тому же такая старая история!

3) А теперь еще одна в высшей степени любопытная история. «Augsburger Allgemeine Zeitung» (21 июля 1846 г.) в корреспонденции из Парижа от 16 июля, пишет о русском посольстве в Париже:

«Это — оффициальное посольство; но вне его или, скорее, над ним стоит некий Толстой: он не занимает определенной должности, но известен, как доверенное лицо двора. Прежде чиновник в министерстве народного просвещения, он явился в Париж с литературной миссией, написал здесь несколько мемуаров для своего министерства и доставил несколько обзоров французской прессы. Затем он перестал писать, но тем больше делал. Он живет на широкую ногу, встречается со всеми, принимает всех, занимается всем, все знает и очень многое устраивает. Мне кажется, что именно он является действительным русским посланником в Париже... Его заступничество производит чудеса (все поляки, которые просили помилования, обращались к нему), в посольстве все склоняется перед ним, и в Петербурге он пользуется большим влиянием».

Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, навравший нам, что он хочет продать в России свои имения. Кроме квартиры, в которой он нас принимал, он имел еще блестящее помещение на rue Mathurin, где он принимал дипломатов. Поляки и многие французы давно уже знали это, только немецкие радикалы, среди которых он считал более удобным играть роль радикала, ничего не знали. Цитируемая мною статья написана одним поляком, которого знает Бернайс, и сейчас же была перепечатана в «Corsaire Satan» и «National». Когда Толстой прочитал статью, он рассмеялся и пошутил над тем, что он, наконец, открыт. Он теперь в Лондоне и, так как роль его тут сыграна, попытает свое счастье там. Жаль, что он не вернется, иначе я сыграл бы с ним шутку да представил бы свою визитную кар-

[1]) John Watts, 1818—1887. В «Капитале» Маркс цитирует одну его брошюру и прибавляет: «Я цитирую это сочиненьице, потому что оно представляет собою настоящую сточную канаву всяких давно прогнивших апологетических общих мест. Прежде этот господин увлекался оуэнизмом и в 1842 г. опубликовал другое сочиненьице—«Факты и выдумки политической экономии», в котором он, между прочим, называет собственность грабежом. Но с того времени уже много воды утекло

точку в rue Mathurin. Что после всего этого рекомендованный им Анненков—тоже русский шпион, c'est clair. Даже Бакунин, который должен был знать всю историю, как другие русские знали ее, тоже очень подозрителен. Я, конечно, не дам ему этого заметить, но постараюсь отплатить русским. Как ни мало опасны для нас эти шпионы, им, однако, не следует ничего спускать. Они очень удобны для того, чтобы производить над ними эксперименты по части интриги in corpore vili. На это они годятся [1]).

Так как я уже расписался, то я в заключение еще сообщу вам, что Гейне опять здесь и что третьего дня я был у него вместе с Эвербеком. Бедный парень ужасно осунулся. Он худ, как скелет. Размягчение мозга распространяется дальше, паралич лица также. Эвербек говорит, что Гейне может внезапно умереть от паралича легких или удара, но может также протянуть еще года три или четыре. Он, конечно, немного в угнетенном состоянии и, что всего замечательнее, очень мягок (и всерьез) в своих приговорах.—Только по поводу Мейрера [2]), он непрерывно острит. В общем, он сохранил всю свою духовную энергию, но физиономия его—седая бородка, которую он запустил, потому что не может бриться, придает ему еще более курьезный вид—способна привести в уныние всякого, кто его видит. Страшно жалко наблюдать, как такой славный малый отмирает кусок за куском.

Отвечайте скорей!

Ваш Энгельс.

3. Энгельс—Марксу.

Париж, 18 сентября 1846.

Дорогой Маркс!

Масса вещей, о которых я тебе хотел писать отдельно, попали в деловое письмо, которое я написал сначала. На этот раз не имеет никакого значения, если другие тоже прочтут всю эту чепуху.—Я все еще не мог собраться с духом, чтобы сделать для тебя извлечения из Фейербаха. Здесь, в Париже, эта материя кажется очень скучной. Но я имею теперь эту книгу дома и скоро возьмусь за работу...

В деловом письме я был крайне несправедлив по отношению к Прудону. Я должен, поэтому, внести в свое изложение поправку.

---

[1]) Эта часть письма уже цитирована мною в статьях «К. Маркс и русские люди сороковых годов».

[2]) Мейрер, Герман,—второстепенный немецкий поэт. Был вынужден оставить в тридцатых годах Германию и жил сначала в Швейцарии, после в Париже. Сотрудничал в «Vorwärts» и в 1848 издавал свой журнал «Hoген».

Я было думал, что он выдумал маленькую нелепость, нелепость в пределах смысла. Вчера, однако, опять дискутировали этот план, и я узнал, что эта новая нелепость действительно совершенно беспредельная нелепость. Представь себе только: пролетарии должны на сбережения обзавестись маленькими акциями. На эти деньги (конечно, таких рабочих будет не меньше 100000 или 200000) устраивается одна или несколько мастерских в одном или нескольких ремеслах, часть акционеров работает на них, и продукты продаются по цене сырого материала, плюс работа, акционерам (которые, таким образом, не платят прибыли), что же касается возможного избытка, то он продается по рыночным ценам на всемирном рынке. По мере того, как капитал ассоциации, при помощи взносов вновь поступающих членов или новых сбережений старых членов, увеличивается, он идет на устройство новых мастерских и фабрик и т. д. и т. д. пока—все пролетарии найдут в них занятия и все в стране находящиеся производительные силы будут выкуплены. Таким образом, принадлежащие буржуазии капиталы потеряют присущую им способность командовать над трудом и приносить прибыль. Эти милые люди замышляют не более, не менее, как скупить на пролетарские сбережения,—отказавшись к тому же от прибыли и процентов на свой капитал,—сначала всю Францию, а после, пожалуй, и весь мир. Придуман ли был еще когда-нибудь более хитрый план, и не было бы гораздо короче, раз уже хотят выкинуть tour de force, чеканить пятифранковики прямо из серебряного сияния луны? И глупые рабочие—я говорю о немцах—верят в этот план: они, которые с трудом могут найти шесть су, чтобы вечером собраться в кабачке, хотят на свои сбережения скупить всю Францию. Ротшильд и его компаньоны—настоящие крохоборы в сравнении с этими гигантскими скупщиками. Право, лопнуть можно от досады. Самая бессмысленная фраза имеет для них больше смысла, чем простой факт, использованный в экономической аргументации. Не позор ли это, что еще приходится выступать против такой варварской нелепицы.

Но надо вооружиться терпением. Я не брошу их, пока мне не удастся прогнать Грюна и очистить им их засоренные головы.

Единственная ясная голова, которая понимала всю нелепость этого плана, это—наш Юнге, который был в Брюсселе...

Вопрос: не сообщить ли историю с Толстым, которая в полне верна, лондонцам? Немцы могли бы еще, если он у них будет продолжать играть свою роль, скомпрометировать каких-нибудь поляков. А вдруг он еще на тебя сошлется.

Твой Энгельс.

4. Энгельс—Марксу.

Париж, 26 октября 1847.

Дорогой Варфоломей!

Я могу тебе написать только сегодня, потому что только сегодня—после жестокой борьбы с консьержкой—мне удалось поймать Луи Блана [1]). Результат моих долгих переговоров с ним сводится к тому, что маленький человек теперь на все готов. Он был сама вежливость и дружба и, повидимому, ничего не желает так сильно, как вступить с нами в близкие отношения. В нем не видно никакой склонности к национально-французскому желанию покровительствовать. Я писал ему, что я являюсь к нему с мандатом от лондонской, брюссельской и рейнской демократии, что я, кроме того, чартистский аген. Он расспрашивал меня подробно обо всем; я изобразил ему положение нашей партии, как блестящее, говорил о Швейцарии, Якоби [2]), баденцах, как о союзниках и т. д.—Ты являешься шефом: «Вы можете рассматривать Маркса, как шефа нашей партии (т.-е. наиболее передовой части немецкой демократии), и его недавнюю книгу против Прудона, как нашу программу». Все это он отметил себе. В заключение, он обещал высказаться о твоей книге [3]) в «Réforme». Он рассказал мне много всячины о подпольном движении, которое развивается теперь у рабочих: они выпустили в 3000 экземплярах дешевое издание его «Организации труда» и уже через две недели понадобилось новое издание в таком же количестве экземпляров. Он говорит, что рабочие в более революционном настроении, чем когда-либо, но что они, мол, научились выжидать более благоприятного момента, не устраивать никаких бунтов, а наносить решительные удары с расчетом на успех и т. д. Он, повидимому, отучился от желания покровительствовать и по отношению к рабочим. «Когда я читаю такие вещи, как новая программа Ламартина,—сказал он,—я только смеюсь. Чтобы верно судить о современном положении французского общества, нужно иметь возможность встречаться со всеми: утром—с министром, после обеда—с дело-

---

[1]) Луи Блан (1813—1882), тогда уже известный автор «Организации труда» и «Истории десяти лет», только что приступил к изданию своей «Истории французской революции». Он был одним из влиятельнейших сотрудников «социал-демократической», вернее, радикал-социалистической «Реформы».

[2]) Иоанн Якоби (1805—1877), знаменитый германский демократ, опубликовавший в 1841 г. брошюру «Четыре вопроса», навлекшую на него судебный процесс. Во время революции 1848—1849 и в шестидесятых годах лидер немецких демократов. В 1872 перешел в ряды социал-демократии.

[3]) Речь идет о «Нищете философии».

выми людьми, вечером — с рабочими. «Грядущая революция будет совершенно другой и гораздо более радикальна, чем ее предшественницы. Нужна большая глупость, чтобы все время декламировать против королей», и т. д. Вообще, он был очень мил и любезен. Ты видишь, что с ним можно иметь дело, у него лучшие намерения. О тебе он говорил с большим сочувствием: ему жаль, что вы немного холодно расстались друг с другом, и т. д. Он и теперь еще симпатизирует идее издания в Париже немецко-французского журнала. Авось, в будущем можно использовать.—На счет Руге, о котором он меня спросил, я ехидно прошелся. «Он стал панегиристом прусского ландтага, и это после того, как он разошелся без всяких результатов».—«Значит, он сделал шаг назад?»—«Да».—С папашей Флоконом [1]) у меня также прекрасно идут дела. С ним я говорил сначала, как англичанин, и спросил от имени Гарни, почему он игнорирует «Звезду». «Да,—сказал он,—мне это очень жаль, он бы поместил что-нибудь о нем, но в редакции нет ни одного человека, который понимал бы по-английски!» Я предложил ему доставлять каждую неделю статью. Принял мое предложение с большой охотой. Когда я ему сказал, что я корреспондент «Звезды», он был очень тронут. Если все будет идти дальше так же хорошо, то в четыре недели мы будем все это направление иметь на своей стороне. Флокон хочет иметь от меня статью о чартизме, о котором он не имеет ни малейшего представления. Я скоро опять к нему пойду, чтобы еще больше запутать его в наши сети. Я скажу ему, что издатели «Atelier» [2]) предлагают мне сотрудничать (сегодня вечером я иду к ним) и что я откажусь от этого предложения, если он поведет себя прилично. Это тронет его честное сердце.—Когда я покончу с ним и научусь лучше писать по-французски, я поведу атаку на «Révue Indépendante»... [3])

---

[1]) Флокон, один из главных редакторов «Réforme». После февральской революции член временного правительства, от имени которого он пригласил Маркса вернуться в Париж: «Вас изгнала тирания; свободная Франция открывает вам вновь ворота, вам и всем, кто борется за святое дело, за дело братства всех народов». Флокон умер в изгнании в 1865 году.

[2]) «Atelier» («Мастерская»)—орган рабочих, последователей Бюше, пропагандировал производительные ассоциации и полемизировал с атеизмом коммунистов-материалистов. Наиболее выдающимися из них являлись Леневе, во время второй империи много работавший для народного просвещения, и Корбон, кончивший сенатором.

[3]) Издавался Пьером Леру (1797—1871) вместе с Жорж Занд, на которую он имел большое влияние. Известно, что Петр Рыжий, как его у нас называли, пользовался в России в сороковых годах большой популярностью. Один из са-

Ты видишь, все тут так хорошо расположены, что трудно желать чего-нибудь лучшего. Я с ними теперь нахожусь в несравненно лучших отношениях, чем когда-либо находился с ними Эверbек. Ему я безусловно запрещу писать в «Réforme»...

Впрочем, мне не пришлось делать никаких уступок всем им. Луи Блану я сказал, что мы с ними соглашаемся во всех практических и злободневных вопросах и что в вопросах чисто теоретических мы идем к одной и той же цели, что принципы, развитые им в первом томе, во многих пунктах совпадают с нашими и что в твоей книге он найдет более полное изложение остальных. Что касается религиозного вопроса, то мы смотрим на него, как на совершенно подчиненный, как на вопрос, который никогда не должен служить поводом к расколу среди членов одной и той же партии. При всем этом дружественная дискуссия по теоретическим вопросам вполне возможна и даже желательна, с чем он совершенно согласен...

У наших филистеров невероятная путаница. За несколько дней до моего приезда были вышвырнуты последние гронианцы, целая община, из которой половина, однако, вернулась назад. Нас теперь всего-на-всего 30 человек. Я сейчас же организовал пропагандистский кружок, бегаю целый день и накачиваю. В районный комитет я был выбран сейчас же и назначен секретарем. Мы имеем около 20—30 кандидатов, ждущих приема. Мы скоро будем еще сильнее. Мозесу (Гессу) я,—пусть это остается между нами,—устроил большую пакость. Ему удалось провести исправленное «Исповедание веры». В прошлую пятницу я в районе разобрал его пункт за пунктом и не успел еще добраться до половины, как все со мной согласились. Мне предложили составить другое исповедание веры, которое будет дискутироваться в ближайшую пятницу и отправлено будет непосредственно в Лондон помимо здешних общин. Об этом, конечно, не должен знать никто, иначе нас всех сместят, и выйдет страшный скандал.

Борн заедет к вам в Брюссель, он направляется в Лондон. Возможно, что он будет у вас еще раньше этого письма. Он настолько безрассуден, что хочет ехать по Рейну, через Пруссию, как бы его только не поймали. Накачай его, когда он приедет. Из всех здешних он лучше всего усваивает наши взгляды и окажет

мых талантливых представителей этического социализма. После революции 1848 г. издавал в Jersey журнал «Espérance» (1858—59). Для будущих биографов Энгельсонов интересно отметить, что он был с ними хорошо знаком и что жена Энгельсона оказывала Леру большую помощь при издании «Espérance».

также в Лондоне большие услуги, если его еще немного обработать [1]).

Ах, мой бог! Чуть было не забыл о той грязной лавине, которую на меня спустил с альпийских высот великий Гейнцен. Просто счастье, что все это напечатано в одном номере. Никто не одолеет этого за один раз, я сам должен был несколько раз отдыхать. Такая скотина! Если прежде я утверждал, что он не умеет писать, то теперь должен прибавить, что он и читать не умеет... Ты уже ответишь ему, как следует. Хорошо, что ты ответишь ему коротко. Я лично не мог бы ответить на такое нападение, это абсолютно невозможно—разве только пощечинами [2]).

5. Энгельс—Марксу.

Париж, 15 ноября 1847.

Дорогой Маркс!

...По дороге в Лондон я не смогу заехать в Брюссель. Слишком мало денег. Нам придется назначить свидание в Остенде—27-го (суббота) вечером и переехать канал в воскресенье, чтобы можно было начать работу в понедельник. Возможно, что в понедельник будут праздновать годовщину польского восстания, возможно также, что «братские демократы» устроят какое-нибудь собрание, на котором мы должны будем выступить. Это было бы нам вполне на руку. Ты произнес бы в Лондоне французскую речь, и мы сейчас же поместили бы в «Реформе». Немцы безусловно должны что-нибудь сделать, чтобы импонировать французам. Одна такая речь поможет больше, чем десять статей и сто визитов.

Ты, наверное, читал в «Полярной Звезде» (2 октября) предложение Гарни и «братских демократов» созвать международный демократический конгресс. Поддержи это предложение. Я поддержу его у французов. Его можно было бы устроить в будущем

---

[1]) Борн, Стефан. По профессии наборщик. Один из наиболее выдающихся членов «Союза Коммунистов». Уже в 1847 г. написал брошюру против Гейнцена. Во время революции 1848—1849 г. играл большую роль. Кончил жизнь профессором базельского университета. Как показал уже Меринг, в своей оценке Борна Энгельс был не совсем беспристрастен.

[2]) Карл Гейнцен (1809—1880) типичный представитель вульгарной демократии, прославившийся своей полемикой с коммунистами. Смешав Маркса и Энгельса с «истинными социалистами», он на них обрушился с полемикой, которая била мимо цели и делала его поэтому смешной фигурой. Но его слепая ненависть к коммунизму не мешала ему быть честным демократом и в Америке, куда он эмигрировал после революции, принимать деятельное участие в борьбе против рабства.

году в Лондоне, одновременно с нашим. Если это удастся, то произведет спасительное действие на французов и собьет у них немного спеси. Не удастся, то виноваты будут французы, и они, по крайней мере, вынуждены будут об'ясниться. Если бы удалось устроить с'езд в Брюсселе, то еще лучше; в Лондоне О'Коннор мог бы учинить какую-нибудь глупость [1]).

6. Энгельс—Марксу.

Париж, 24 ноября 1847.

Дорогой Маркс!

...Вторник вечером. Обдумай немного «Исповедание веры», Мне кажется, что было бы лучше отбросить форму катехизиса и назвать эту вещь: «Коммунистический Манифест». Так как в нем придется, более или менее, коснуться истории, то теперешняя форма не годится. Я привезу то, что написал тут. Форма повествовательная, но скверно редактировано, так как наспех написано. Я начинаю: «Что такое коммунизм?» Затем следует пролетариат—история его возникновения, отличие от прежних рабочих, развитие антагонизма между пролетариатом и буржуазией, кризисы, следствия. Кроме того, всякие второстепенные вещи, и в заключение—партийная политика коммунистов, поскольку о ней можно говорить публично. Моя работа еще не подвергалась обсуждению, но я надеюсь провести ее хотя бы с маленькими изменениями, но так, чтобы там не было ничего, противоречащего нашим взглядам.

---

[1]) Фергюс О'Коннор, самый блестящий оратор и агитатор чартистского движения. Был сначала исключительным «политиком», после увлекся планом «аграрной реформы». Умер в 1855 г. в доме для сумасшедших.

ЮНОШЕСКИЕ РАБОТЫ ЭНГЕЛЬСА

До недавнего времени первыми литературными работами Энгельса считались его «Очерки критики политической экономии» и «Положение рабочего класса в Англии». Могло, поэтому, казаться, что, в отличие от Маркса, дебютировавшего философскими работами, у Энгельса преобладал и его занятия направлял интерес к практической и теоретической экономии. Но уже из маленькой биографии Энгельса, напечатанной Карлом Каутским в «Австрийском рабочем календаре. 1888», мы знали, что параллельно с этими социально-экономическими работами Энгельс усиленно занимался и философией.

Георг Адлер, ссылаясь на одну заметку в «Berliner Volksblat» (теперешний «Vorwärts»), уже указывал на другие работы Энгельса [1]). Обратимся поэтому к первоисточнику, к юбилейному номеру «Барменской Газеты». Он сообщает нам следующее [2]):

«Когда Фрейлиграт жил в Бармене, Энгельс служил в одном торговом доме в Бремене. Впервые он обратил на себя внимание своими «Письмами из Вупперталя», анонимно напечатанными в «Телеграфе» Гуцкова и беспощадно бичевавшими язвы Вупперталя и отдельных лиц (а именно духовных). После этого Энгельс отдался со всем пылом изучению философии Гегеля и, во время своей военной службы в Берлине, в должности вольноопределяющегося, опубликовал брошюру против Шеллинга: «Шеллинг и откровение, критика новейшего реакционного покушения на свободную философию». Также приписывается ему сатирическое стихотворение в стиле XVII века, высмеивающее боннских профессоров теологии, которые добились удаления Бруно Бауэра. Эта книжка имела своеобразное заглавие: «Библии чудесное избавление или торжество веры»... и т. д.

---

[1]) Adler, G.—Geschichte der ersten socialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland, 1885, стр. 141. Заметка, на которую он ссылается, напечатана в номере не от 1 апреля, а от 4 июля 1884. Она дает извлечение из юбилейного номера «Барменской Газеты».

[2]) Копия этой статьи сделана была для меня Артуром Молькенбуром.

Эта заметка «Барменской Газеты» содержит немало ошибочных сведений; но факт тот, что, уже за несколько лет до появления в «Немецко-Французских Летописях» статьи Очерки критики политической экономии», Энгельс выступал на литературном поприще и был, действительно, автором брошюры против Шеллинга, которая до сих пор, на основании неправильного указания А. Руге, приписывалась Бакунину; этот факт неопровержимо установлен известным биографом Швейцера—Густавом Майером, раскрывшим также псевдоним, под которым Энгельс печатал свои первые литературные работы: Фридрих Освальд.

В настоящее время мы знаем, что, так сказать, историческому Энгельсу предшествует «доисторический», духовное развитие которого станет нам понятным только тогда, когда мы поставим его в связь с эволюцией германской литературы и философии, с образованием буржуазной интеллигенции, приходившей к определенным коммунистическим и республиканским взглядам преимущественно из идеологических соображений.

На ряду с молодыми годами Энгельса, до сих пор нам не был известен и переходный период, когда он сделался коммунистом. Не подлежит никакому сомнению, что уже в Германии он имел возможность ознакомиться с учениями французского социализма из гораздо более чистых источников, чем появившаяся в 1842 г. книга Лоренца Штейна. Эта книга салонного, с политической точки зрения—по меньшей мере—«подозрительного», ученого послужила для тогдашней радикальной интеллигенции только поводом к критическому обсуждению учений и более широкому их распространению. Все элементы «истинного социализма» были готовы уже к 1842 г., и под их сильным влиянием находился Энгельс,—более сильным, чем Маркс.

Не случайно поэтому, что не чартисты, но оуэнисты интересовали Энгельса в первое его пребывание в Манчестере на фабрике, где отец его был компанионом, и что сперва он вступил в более тесные сношения именно с оуэнистами, — вероятно, через Уотса. Таким образом, он стал сотрудником главного тогда органа оуэнистов «New Moral World» («Новый Нравственный Мир»).

Уже 4-го и 18 ноября 1843 г. Энгельс напечатал там две большие статьи о развитии социализма на континенте. Они были вызваны тем, что большинство английских социалистов, с которыми встречался Энгельс, очень мало были знакомы с социальным движением, происходившим в различных частях континента. В этих статьях Энгельс выступает последовательным коммунистом, для которого решительная революция, основывающаяся на общности

имущества, представляет неотложную и непредотвратимую необходимость. Коммунизм для него—не следствие каких-нибудь специфических английских или других национальных отношений, но необходимый результат всех явлений, созданных современной цивилизацией.

Подобно Гессу, Энгельс подчеркивает важность соглашения между тремя величайшими культурными нациями Европы: Англией, Францией и Германией; он рисует различное происхождение коммунистического учения в этих трех странах: у англичан его источник преимущественно практический, у французов—политический, у немцев—философский.

Энгельс начинает с истории социализма во Франции, так как на долю этой страны выпала задача проделать все формы политического развития, чтобы в конце концов пристать туда, куда должны притти различными путями все народы: а именно, к коммунизму.

За очерком коммунизма Бабефа, еще «очень неразработанного и поверхностного», следует критика уже «ныне забытого Сен-Симона». Гораздо благоприятнее отзыв о Фурье, система которого, в качестве социальной философии,—по мнению Энгельса,—стоит выше системы Сен-Симона,—этой, в лучшем случае, «социальной поэзии»; но и система Фурье страдает внутренними противоречиями, а именно тем, что она не думает об уничтожении частной собственности.

Далее Энгельс рассказывает об успехах коммунистической пропаганды — особенно под влиянием уроков июльской революции—среди рабочих фабричных городов Франции.

Как глубоко Энгельс был еще заражен предрассудками немецкого «истинного социализма», совершенно не понимавшего значения политической борьбы в процессе освобождения пролетариата, показывает конец первой главы:

«Но французским коммунистам можно было бы сделать другой упрек, а именно, что они хотят силою свергнуть теперешнее правительство своей страны и подтверждают это своей неустанной организацией тайных обществ. Это верно. Даже икарийцы, которые, в своих изданиях, отвергают физические революции и тайные общества,—даже они имеют такие же общества и с радостью ухватились бы за всякую возможность насильственным путем установить республику. В этом их будут упрекать и, по-моему, основательно, ибо тайные общества являются, во всяком случае, преступлением против здравого человеческого смысла, подвергая партии ненужным преследованиям со стороны закона.

Я нисколько не склонен защищать подобную политику, но ее необходимо об'яснить и понять; а для этого достаточно обратить внимание на различия в национальном характере и в правительстве у французов и у англичан. Английская конституция вот уже приблизительно 150 лет непрерывно представляет закон страны; всякое изменение ее совершалось законным путем, в формах конституции. Отсюда глубокое уважение англичан к своим законам. Во Франции же в течение последних 50-ти лет одна насильственная перемена следовала за другою. Все конституции, от радикальной демократии до неприкрытого деспотизма, все виды законов были на глазах одного поколения уничтожены и заменены другими. Какое же уважение может народ питать к своим законам? И результатом всех этих конвульсий, как он запечатлен теперь в конституциях и законах Франции, является угнетение бедных богатыми, поддерживаемое силою,—можно ли ожидать, чтобы угнетенные любили свои государственные учреждения, чтобы они не прибегли опять к старым средствам 1792 года? Они знают: если они значат что-нибудь, то только в прямой борьбе; а так как они не имеют в настоящее время никакого другого оружия, почему же им медлить с его применением хотя бы один момент?

«Далее могут сказать: почему же коммунисты не основывают общин, подобно английским? Я отвечаю: потому что они не осмеливаются делать это. Первая же попытка была бы сокрушена при помощи солдат. И если бы даже им позволили сделать это, это не принесло бы им никакой пользы. Я сам всегда приводил в виде примера поселение «Гармония» только для того, чтобы доказать осуществимость планов г. Оуэна и дружественно расположить общественное мнение к социалистическим идеям, которые стремятся к устранению всеобщей нищеты. А если так, то подобный эксперимент не имел бы во Франции никакого значения. Не доказывайте французам, что ваши планы практичны, это оставит их холодными и равнодушными. Но докажите им, что ваша община не подчинит человечество «бронированному деспотизму», как заявил недавно чартист м-р Берстов в полемике с м-ром Уотсом. Докажите, что действительная свобода и равенство возможны только при коммунистических учреждениях, что с п р а в е д л и в о с т ь требует этих учреждений,—и все они будут на вашей стороне.

«Вернемся обратно к социальным учениям икарийских коммунистов. Их «священный завет», это «Voyage en Icarie» («Путешествие в Икарию») батюшки Кабэ, который раньше, впрочем, был генеральным прокурором и членом палаты депутатов. Общие учреждения икарийской общины почти такие же, как у г. Оуэна.

Они приняли в свои планы то, что нашли разумного у Сен-Симона и Фурье, и благодаря этому значительно превосходят старых французских коммунистов. К браку они относятся совершенно так же, как англичане. О свободе индивидуума они всячески заботятся. Наказания отменены; место их занимают воспитание молодежи и планомерное культурное воздействие на взрослых.

«Вообще замечательно следующее. В то время, как английские социалисты в общем враждебны христианству и вынуждены переносить все религиозные предрассудки истинно-христианского народа, французские коммунисты, члены нации, знаменитой своим неверием, сами лично считают себя христианами. Одно из их любимых словечек гласит: «le christianisme est communisme», и они пытаются доказать это при помощи библии, на примере коммунизма первых христиан. Но все это доказывает, что эти добрые люди не совсем хорошие христиане, ибо иначе они лучше знали бы библию и увидели бы, что хотя некоторые места библии могут быть истолкованы в пользу коммунизма, но общий дух ее учений совершенно чужд ему, как и вообще всякому рационалистическому воззрению.

«Самые выдающиеся умы Франции приветствовали рост коммунизма. Метафизик Пьер Леру; смелая защитница прав женщин—Жорж Занд; автор «Речей Верующего» аббат Ламменэ и многие другие более или менее склоняются к коммунистическим учениям. Конечно, наиболее выдающимся писателем этого направления является—Прудон, молодой человек, напечатавший года два-три тому назад свое сочинение «Что такое собственность?» («Qu'est ce que la proprieté») и давший следующий ответ: «La proprieté c'est le vol» («собственность это кража»). Это самое глубокое философское произведение, написанное коммунистом на французском языке; и я желал бы видеть переведенною на английский язык прежде всего именно эту книгу. Право частной собственности, следствия этого учреждения: конкурренция, безнравственность, нищета—изображены здесь с таким душевным под'емом и истинно-научным методом, соединения которых я не встречал в какой-нибудь другой книге. Кроме того, интересны его замечания о государственном строе; доказав, что все правительства одинаково негодны, безразлично—аристократия, демократия или монархия, ибо все они господствуют при помощи насилия, и что, в лучшем случае, сильное большинство подавляет слабое меньшинство, он приходит к выводу: «nous voulons l'anarchie». «Нам нужна анархия!» Никаких законов, ответственность каждого перед самим собою.

«Об этом мне придется еще подробнее говорить, когда я перейду к немецким коммунистам. Здесь я хочу только прибавить, что икарийских коммунистов насчитывают около полумиллиона.— не считая женщин и детей. Великолепная армия, не правда ли? Батюшка Кабэ издает ежемесячник «Populaire», а Пьер Леру— «Révue Indépendante», защищающее с философской точки зрения основы коммунизма».

Высокую оценку Прудона мы находим и в позднейшем совместном труде Маркса и Энгельса, в «Святом семействе», где пролетарская точка зрения выступает вполне ясно. В этой статье еще заметна в Энгельсе «анархическая жилка», неразрывно связанная в «истинном социализме» с ложною оценкою политической борьбы в рамках современного государства.

Вторая статья «Германия и Швейцария» излагает успехи коммунизма в этих двух странах. В ней прежде всего бросается в глаза резкое различие, проводимое Энгельсом между коммунизмом рабочего класса и философским коммунизмом буржуазной интеллигенции в Германии. Он, правда, называет Вейтлинга «создателем германского коммунизма» но видно, что этому движению, которое вербует своих сторонников только среди ремесленников, он придает небольшое значение, так как «в Германии фабричная промышленность сравнительно мала». Тенденция выводить коммунизм из христианства является в глазах Энгельса доказательством теоретической слабости учения Вейтлинга, подобно таким же тенденциям во французском коммунизме.

Гораздо подробнее останавливается Энгельс на философском коммунизме. Он доказывает, что этот коммунизм есть логическое следствие всего развития немецкой философии, в той форме, которая была ей придана Кантом, Фихте и особенно Гегелем. В связи с этим он отмечает также значение своего памфлета против Шеллинга, в котором он, делая все выводы из нового молодого гегельянства, смело порывает всякую связь с христианством, чтобы открыто заявить себя атеистом [1]).

---

[1]) «Но пока еще не осмеливались делать все выводы. Это поколение гегельянцев, уже после Штрауса, считало себя еще стоящим внутри христианства и даже чванилось своим христианством перед евреями. Вопросы личности бога и индивидуального бессмертия самому ему были еще недостаточно ясны, чтобы оно могло откровенно высказаться по поводу их. Больше того, когда представители этого поколения почувствовали, что неизбежные выводы скоро будут сделаны, у них возникло «сомнение в том, не должно ли новое учение остаться эксотерической собственностью школы и тайной для жизни». Schelling und die Offenbarung, 1842, стр. 6—9.

Мы видим также, что Энгельс в начальной стадии своего коммунизма гораздо более находился под влиянием Гесса, этого «первого коммуниста» в партии, чем Маркс, обращение которого к коммунизму было тогда Энгельсу уже известно.

Это доказывается иллюзией Энгельса, что «в Германии, более, чем где-либо, можно надеяться на учреждение коммунистической партии среди образованных классов», и особенно теоретическим обоснованием этой иллюзии».

Сравнив эту статью с почти одновременно написанною статьею Маркса о философии Гегеля, мы поймем, почему Энгельс утверждал всегда, что основная идея научного социализма принадлежит «единственно и исключительно» Марксу; последний впервые развил в «Немецко-Французских Летописях», а потом подробнее в «Святом семействе», пролетарскую точку зрения, согласно которой борьба эксплоатируемых против эксплоатации не может вестись, как думал философский коммунизм,—в союзе с «образованными» эксплоататорами, но представляет борьбу против самих эксплоататоров, классовую борьбу, уже достигшую ныне той ступени, когда эксплоатируемый и угнетенный класс, пролетариат, не может освободиться от эксплоатирующего и угнетающего класса, буржуазии, не уничтожая одновременно всех условий существования этого эксплоатирующего класса.

Только эта основная идея, эта «фанатическая догма», впервые провела резкую разграничительную черту между буржуазною и пролетарскую демократию, вырыла непроходимую пропасть между немецким пролетарским коммунизмом и буржуазной идеологией, в которой он вырос и из которой черпал свое духовное оружие.

Немецкий коммунизм «денационализировался» только под прямым влиянием французских и английских уроков.

Это сделало из него первую сознательную идеологию интернационального рабочего движения.

Но если Маркс находился до 1845 г. под более сильным влиянием французской истории и практики, то Энгельс, напротив, подвергался более сильному влиянию английского опыта.

Полный синтез совершился позже, в Брюсселе, а после путешествия обоих друзей в Англию летом 1845 г. наступает также новый поворот в их отношениях к английским социалистам.

На место оуэнистов, для которых Энгельс еще в 1844—1845 г. писал из Германии корреспонденции, подчеркивавшие «стремительный успех» коммунизма среди образованных классов

Германии [1]), выступают теперь чартисты, особенно их крайнее левое крыло, во главе с Харни и Джонсон, приближавшееся к континентальному социализму. Решающую роль в этой новой фазе играл Энгельс, ставший усердным сотрудником чартистского органа «Northern Star» («Полярная Звезда»). Из этой деятельности возникло первое интернациональное об'единение рабочих, а именно—Союз Коммунистов.

---

[1]) Кроме ответа на перепечатанную из «Таймса» статью о немецком коммунизме—в номере от 20 января 1844 г.,—мне удалось установить принадлежность Энгельсу следующих заметок и корреспонденций в «New Moral World»: 3-го февраля 1844 г. (отчет об успехе «Парижских тайн» Евгения Сю и о «Немецко-Французских Летописях»); 5 октября 1844 г. (выдержка из письма Энгельса об успехах коммунизма в Париже и об его русских знакомствах); 13 декабря 1844 г. (об успехах коммунизма в Германии). Эти статьи подписаны. В 1845 г.—подробная корреспонденция из Бармена, датированная 2-го февраля 1845 г., в № 37, от 8-го марта, и еще более подробная—в № от 10 мая, в которых Энгельс сообщает ряд интересных подробностей о немецком коммунизме.

СТРАНИЧКА ИЗ ЖИЗНИ МАРКСА

Смешно делать из Маркса кабинетного мыслителя или ученого анахорета. Вся жизнь его была целиком посвящена делу революции, он знал одной лишь думы власть—мысли об освобождении пролетариата от ига капиталистического рабства. Но все же жизнь его нельзя сравнить с жизнью таких революционеров, как Иоанн Филипп Беккер или Огюст Бланки. Маркс не был, подобно им, революционным бойцом, и в жизни его мы не найдем событий, которые могли бы послужить благодарным материалом для романиста или драматурга.

Но мы хорошо знаем,—и каждый день с того времени, когда открылись архивы старого прусского режима, когда становятся доступными для исследования прежде скрытые материалы, приносит нам новые доказательства,—что Маркс до последней капли испил всю горечь, которую буржуазное общество так щедро припасает для своих классовых врагов, что, не будучи никогда ожесточенным фанатиком, он с удивительным стоицизмом переносил самые жестокие удары судьбы—долгие годы изгнания, тяжелую, временами невыносимую нужду, преждевременную смерть своих детей.

Мы знаем также, что Маркс—и он это великолепно показал в годы революции—обладал непоколебимым мужеством, бесстрашием капитана, спокойно стоящего на своем посту на борту корабля и уверенно ведущего борьбу с бушующим ураганом, чтобы вывести его из опасности, а если это невозможно, то последним покинуть свой корабль или погибнуть вместе с ним.

Не мало, однако, было в жизни Маркса и тех преследований, которым правящие классы подвергают своих врагов,—преследований, которые не убивают своей жертвы, но гоняют ее с места на место, как затравленное животное, не давая ей ни отдыха, ни срока.

Сам он никогда не рассказывал об этих «мелких деталях», хотя ему и часто представлялся случай напомнить о них тем, которые так любили нападать на «мирного» теоретика. Маркс не выносил никакой рекламы и еще больше той кричащей саморекламы, которую так охотно пускают в ход революционные мата-

доры, рядящиеся в красные перья, точно они боятся, что без этой рекламной шумихи история о них так же скоро забудет, как она забыла о многих революционных героях на час. С презрительным молчанием перенося все направленные лично против него нападки, он никогда не распространялся по поводу преследований, мишенью которых он являлся со стороны буржуазных правительств, и по поводу лишений, которые он терпел из-за них. Всякая попытка задрапироваться в плащ политического мученичества казалась ему недостойной, всякая поза казалась ему всегда заслуживающей лишь презрения.

Выдающаяся роль Маркса, как самого деятельного и талантливого редактора «Рейнской Газеты» (1842—43), в которой он последовательно и решительно разоблачал всю несостоятельность абсолютного режима, охраняемого прусскими Плеве того времени и ограждаемого бюрократией, саблей и кадилом,—эта роль сосредоточила на нем пристальное внимание всех прусских полицейских ищеек. Они не оставляли Маркса своим вниманием даже тогда, когда он уехал в Париж.

Сейчас же после появления «Немецко-Французских Летописей», в которых Маркс впервые формулировал историческую миссию пролетариата вообще и немецкого в особенности, был издан приказ об его аресте. И, хотя сотрудничество Маркса в немецкой газете «Вперед», которая выходила в Париже, было только случайным, прусское правительство бомбардировало министерство Гизо своими доносами и просьбами, пока ему не удалось добиться изгнания Маркса из Франции.

«Прием, оказанный изгнанному Марксу Бельгией, был очень суров,—пишет Меринг.—Когда он приехал в Брюссель, он должен был подписать в департаменте полиции обязательство не печатать в Бельгии ничего по вопросам текущей политики, или, точнее, не принимать участия в общественной жизни Бельгии и не входить в нее открыто».

Власть тогда находилась в руках смешанного католико-либерального министерства, которое должно было считаться с сильной радикальной оппозицией.

Но обстоятельства изменились, когда, после июньских выборов 1847 года, король был вынужден уже в августе передать управление делами министерству, составленному исключительно из либералов. Во главе нового кабинета стал Шарль Рожье, который недавно кокетничал с фурьеристами и хотел теперь доказать, что либералы тоже способны создать «сильную» власть и быстро справиться с радикалами.

Маркс, который в 1845 и 1846 году сосредоточил все свои силы на выработке нового мировоззрения и со второй половины 1846 года развернул, совместно с Энгельсом, интенсивную организационную деятельность, чтобы об'единить коммунистов в международной организации, использовал политическую обстановку, которая казалась тогда благоприятной, и основал в Брюсселе две открытых демократических ассоциации: одну—немецкую. состоявшую из рабочих, другую,—интернациональную, названную «Демократическим обществом», в которой членами были бельгийцы, французы, поляки, швейцарцы и немцы.

«Если ты остановишься здесь на один день,—писал Маркс Гервегу 26-го октября 1847 года,—ты убедишься, что в маленькой Бельгии можно сделать гораздо больше для непосредственной пропаганды, чем в большой Франции. Впрочем, я думаю, что общественная деятельность, как бы минимальна она ни была, производит на человека бесконечно укрепляющее влияние».

Но, несмотря на это оптимистическое настроение, Маркс не мог скрыть своих предубеждений против нового министерства Рожье.

«Возможно, что именно теперь, когда государством правит либеральное министерство, нам грозит ряд полицейских каверз, ибо либералы никогда не откажутся от своих излюбленных приемов. Но мы с ними справимся. Здесь не так, как в Париже, где иностранцы не находят никакой защиты перед правительством».

Маркс ошибся только в последнем пункте. Либералы действительно не отказались от своих приемов, и он же явился первой их жертвой.

Министерство надеялось удовлетворить демократическую оппозицию кое-какими крохами реформ. Но внезапно приходит известие, что в Париже разразилась революция и что там провозглашена республика. Тот самый тесть Леопольда I, короля Бельгии, храбрый Луи-Филипп, который несколько месяцев тому назад советовал своему зятю сохранить старое министерство и раздавить демократов, с трудом успел спастись в Англию, переодевшись в дамский салоп.

Ненужно было быть «сверхлукавым» Кобургом,—как говорит Стефан Борн в своих «Воспоминаниях»,—чтобы верно понять положение. Министры короля, с Шарлем Рожье во главе, не были настолько глупы, что ему нужно было бы еще накачивать их, чтобы грубо и неожиданно обрушиться на демократические элементы бельгийской столицы.

Боязнь, что Французская республика снова, как в 1792—94 г.г. напишет на своих знаменах принципы революционной пропаганды, сразу об'единила всех имевшихся в Бельгии «друзей порядка»—от клерикалов до либералов—вокруг министерства Рожье спасителя общества и порядка.

А тут еще в Брюсселе имелась организация, где все демократические элементы больших городов встречались с «иностранцами».

Так вот эта самая организация уже 28 февраля послала французскому временному правительству адрес, подписанный, между прочим, и Марксом в качестве вице-президента,—адрес, в котором выражалось убеждение, что «страны, которые окружают непосредственно Францию, будут первыми, которые последуют за ней по новому пути».

Министерство Рожье поспешило составить новую программу, в которой фигурировали ряд реформ, об'явленных за несколько недель пред этим чем-то в роде конечной цели, осуществимой только после основательной разработки и не менее основательной подготовки всей страны. Теперь эти реформы внезапно оказались совершенно практичными и сейчас же осуществимыми.

А в заседании палат 1-го марта министр иностранных дел мог прочитать телеграмму Ламартина, в которой временное правительство новой республики принимало на себя торжественное обязательство оставаться безусловно «лойяльным».

После «исторического заседания» парламента для Маркса и его друзей стало ясно, что уже не могло быть больше речи о продолжении их деятельности в Брюсселе.

Принять необходимые меры было для них тем более неотложным что центральный комитет Союза Коммунистов, находившийся в Лондоне, сейчас же после получения известия о февральской революции, передал свои полномочия брюссельскому окружному комитету.

3-го марта состоялось заседание нового центрального комитета в Брюсселе.

Учитывая создавшееся положение, когда члены комитета были уже высланы бельгийским правительством, или арестованы, как Вильгельм Вольф, или могли с часу на час ожидать высылки или ареста,—комитет решил распуститься и передать «временно центральное руководство всеми делами Союза» Карлу Марксу, которому в то же время поручалось организовать новый центральный комитет в Париже.

Маркс уже собирался переехать в Париж, куда приглашал его Флокон, старый редактор «Реформы», теперь член временного правительства, следующим письмом:

«Французская республика.
Свобода. Равенство. Братство.
Временное правительство.
Именем французского народа.

«Смелый и честный Маркс.

«Почва Французской республики является убежищем для всех друзей Свободы. Тирания вас изгнала, Свободная Франция открывает двери вам и всем, кто сражается за священное братское дело всех народов. Все агенты французского правительства должны истолковывать свою миссию именно в этом смысле.

«С братским приветом

Фердинанд Флокон.

Член временного правительства».

Но Маркс расчитывал без хозяина, без Рожье. В тот же день к 5-ти часам он получил приказ покинуть Бельгию в течение 24 часов. Не удовлетворившись этим, полиция ночью нагрянула на его квартиру и об'явила его арестованным.

Что произошло дальше, расскажет сам Маркс. Он это сделал в письме, адресованном редакции газеты «Реформа», которое мы нашли в комплекте этой газеты (№ от 8-го марта 1848 года):

«Господин редактор!

«В этот момент бельгийское правительство целиком перешло на сторону политики Священного союза. Его реакционные неистовства падают с неслыханной жестокостью на немецких демократов. Если бы мы не были так возмущены преследованиями, специальным об'ектом которых мы являемся, мы весело рассмеялись бы над глупостями, которые выделывает министерство Рожье, обвиняя нескольких немцев в желании учредить в Бельгии республику, вопреки желанию бельгийского населения. Но при тех особенных обстоятельствах, о которых мы говорим, гнусное берет верх над смешным.

«Прежде всего, господин редактор, необходимо знать, что все брюссельские газеты редактируются французами, которые в своем большинстве спаслись из Франции, чтобы избежать позорного наказания. угрожавшего им на родине. Эти французы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы защищать независимость Бельгии, которую они предали в 1833 году. Король, министры и их приближенные пользуются подобного рода листками, чтобы

создать впечатление, что бельгийская революция в республиканском смысле будет полной противоположностью «Francequillerie» [1]) и что вся демократическая агитация, которая наблюдается сейчас в Бельгии, провоцируется только экзальтированными немцами.

«Немцы абсолютно не отрицают, что они открыто об'единены с бельгийскими демократами, но они это сделали безо всякой экзальтации. В глазах королевского прокурора это, однако, было возбуждением рабочих против буржуа, это было выражением недоверия немцев королю бельгийцев, которого они так любят. это было открытием дверей Бельгии для французского завоевания.

«После того, как я получил 4-го марта, в пять часов вечера, приказ покинуть Бельгийское королевство в 24 часа, я в ту же ночь занялся приготовлениями к от'езду, как вдруг комиссар полиции, сопровождаемый десятком муниципальных гвардейцев, проник в мою квартиру, обыскал весь дом и закончил моим арестом под предлогом, что я не имею документов. Не говоря уже о находившихся в полном порядке документах, которые г. Дюшатель мне вручил, высылая меня из Франции, я держал в руке паспорт для выезда, предоставленный мне Бельгией всего только несколько часов тому назад.

«Я не стал бы вам говорить о моем аресте и о грубостях, которым я подвергся, если бы они не были связаны с обстоятельством, которое с трудом можно понять даже в Австрии.

«Непосредственно после моего ареста жена моя отправилась к г. Жотрану, председателю Бельгийского демократического союза, чтобы попросить его принять необходимые меры. Вернувшись домой, она встретила у своей двери муниципального сержанта, который ей сказал с изысканной вежливостью, что если она хочет говорить с г. Марксом, то может следовать за ним. Моя жена охотно приняла это предложение. Ее провели в полицейское бюро, и комиссар об'явил ей прежде всего, что Маркса здесь не было; после он грубо спросил ее, кто она, что она собиралась делать у г. Жотрана и имеет ли она с собой документы. Бельгийский демократ Жиго, который провожал мою жену в полицейское бюро вместе с муниципальным сержантом, возмущаясь глупыми и грубыми вопросами этого комиссара, был вынужден к молчанию гвардейцами, которые схватили его и бросили в тюрьму. Под предлогом бродяжничества моя жена была уведена в тюрьму «Hôtel de ville» и заперта вместе с проститутками в темной комнате. В

[1]) Это слово означает на фламандском жаргоне французов.

11 часов утра она была переведена среди белого дня под конвоем жандармов в камеру судебного следователя. В течение 2-х часов она была заключена в карцере, несмотря на настоятельные протесты, которые раздавались со всех сторон. Она оставалась там, терпя суровый холод и, кроме того, возмутительнейшее обращение жандармов.

«Наконец, она была отведена к следователю, который был очень удивлен, что полиция в своем усердии не арестовала также и маленьких детей. Допрос был только формальным. Вся вина моей жены состояла лишь в том, что, хотя и принадлежа к прусской аристократии, она разделяет демократические убеждения своего мужа.

«Я не вхожу в детали этого возмутительного дела. Скажу только, что когда мы были выпущены на свободу, 24-часовой срок уже кончился, и мы были вынуждены уехать, не забрав самых необходимых вещей.

Карл Маркс.

Вице-президент Брюссельской демократической ассоциации».

Достаточно сравнить это письмо с рассказом Борна в его «Воспоминаниях», чтобы еще раз убедиться, как сдержан Маркс в описании этого случая. И, однако, рассказ Борна, в живых красках рисующий нам отчаяние г-жи Маркс, подтверждается во всех существенных пунктах тогдашними газетами.

В бельгийской палате специальный запрос по этому делу был сделан Брикуром. Он произнес очень резкую речь и требовал судебного преследования против всех виновных.

Министр юстиции Госси и, после него, Рожье оправдывали высылку Маркса. Ответственность за все грубости против него и его жены министры свалили на муниципальную полицию и обещали произвести расследование по этому делу.

31 марта адвокат Маркса Виктор Фэдер подал в палату соответствующее заявление, и Брикур доказал, что полиция в своем докладе извратила факты. Напрасный труд: дело было положено под сукно.

Маркс имел на руках более важное дело, чем ведение малой войны против бельгийской юстиции. Как только мартовская революция открыла ему доступ в Германию, он уехал на родину и основал в Кельне «Новую Рейнскую Газету», которая в продолжение всей революции служила знаменем пролетарской демократии.

К. МАРКС и «НЬЮ-ИОРКСКАЯ ТРИБУНА»

I.

С прекращением «политико-экономического обозрения», которое Маркс и Энгельс, поселившись, после долгих странствий, осенью 1849 года в Лондоне,—основали под старым названием: «Новая Рейнская Газета», для обоих друзей надолго исчезла возможность развивать свои взгляды в собственном органе. Невозможною оказалась и всякая другая литературная деятельность для Германии. Все попытки побудить немецких издателей издать более крупные работы Маркса и Энгельса остались безуспешными. Не было также ни одной газеты, для которой Маркс и Энгельс могли бы работать в качестве корреспондентов. Даже немецкая пресса в Америке была для них закрыта.

При таких обстоятельствах Энгельс уже в конце 1850 г. был вынужден вернуться к «собачьей коммерции» и вступить в качестве доверенного в филиальное отделение фабрики отца в Манчестере.

Маркс остался в Лондоне. А так как в первое время Энгельс мог оказывать ему лишь очень незначительную поддержку, то ему пришлось испытать все муки эмигрантской нищеты, влезая в неоплатные долги и голодая вместе со своей семьею.

Но даже величайшая личная нужда не могла отвлечь его от научных работ. Много времени отнимала у него еще партийная работа, ложившаяся всей своей тяжестью на него одного.

В «Союзе Коммунистов» произошел раскол, и борьба фракций между собой, как и борьба со всеми другими направлениями эмиграции, приняла крайне резкие формы.

Вскоре, в мае и июне 1851 г., произошли аресты коммунистов в Германии, и старания Маркса спасти по возможности остатки организации и прийти на помощь своим партийным друзьям—ухудшили еще больше его материальное положение. Как раз в это время, летом 1851 г., он совершенно неожиданно получил приглашение написать несколько статей для одной англо-американской газеты.

«Нью-Йоркская Трибуна»,—писал Маркс Энгельсу 8 августа 1851 г.—«пригласила меня и Фрейлиграта сотрудничать за определенный гонорар. Это самая распространенная газета в Северной Америке. Если бы ты мог доставить мне к пятнице утром. 15 августа, написанную по-английски статью о положении дел в Германии—это было бы отличное начало».

Как состоялось это приглашение? Элеонора Маркс-Эвелинг высказала предположение, что это произошло через посредство Фрейлиграта; но неправильность этого предположения обнаружилась уже после опубликования писем Маркса к Вейдемейеру. Из них стало ясно, что Маркс еще в Германии познакомился с одним из редакторов «Нью-Йоркской Трибуны»—Чарльзом Андерсоном Дана.

Газета была основана в апреле 1841 г. Горасом Грили, наборщиком, который поднялся до ранга журналиста и политика, очень известного в Северной Америке. Начало газеты было весьма скромным. В политическом отношении она поддержала левое крыло американских вигов, боролась против дальнейшего распространения рабства и выступала в защиту таможенных пошлин, как единственного средства развить в Северной Америке промышленность.

«Трибуна» завоевала себе среди американских газет своеобразное положение после того, как Грили примкнул к Альберту Брисбену, апостолу фурьеризма в Соединенных Штатах, и с марта 1842 г. предоставил свою газету в распоряжение фурьеристов. «Трибуна» сделалась любимою газетою буржуазной интеллигенции, которая сочувствовала страданиям трудящихся масс и видела в устройстве коммунистических колоний, по планам Фурье, панацею для устранения нужды на земле. В газете принял участие целый ряд талантливейших писателей, увлеченных новым движением.

Вскоре газета приобрела известность также в Европе, особенно в социалистических кругах, как наиболее прогрессивный орган в Америке. Известные представители фурьеристской школы были привлечены в качестве корреспондентов.

Но настоящим центром теоретической и практической пропаганды фурьеризма была колония Брук-Фарм, недалеко от Бостона.

Она была основана в 1841 г. группою идеалистически настроенных интеллигентов; все они были сторонниками так называемого трансцендентализма, видевшего свою цель в освобождении индивидуума от всех оков традиции. Многие из них принадлежали к талантливейшим представителям американской литера-

туры (Чаннинг, Эмерсон, Маргарита Фуллер, Натанаил Хоуторн); под влиянием Джорджа Рипли они с 1844 г. об'явили себя сторонниками фурьеризма. Члены колонии, по большей части—тоже сотрудники «Нью-Иоркской Трибуны», издавали журнал «Harbinger» и организовали в различных городах фурьеристские курсы. Одним из наиболее ревностных и знающих пропагандистов общины был Чарльз А. Дана, подвизавшийся одинаково усердно как в качестве писателя, так и в качестве странствующего проповедника. В этой колонии он подружился с Д. Рипли и познакомился с А. Брисбеном и Г. Грили, которые часто посещали Брук-Фарм в качестве гостей. Вероятно, уже там пробудился в нем постоянно отличавший его интерес к немецкой культуре; тут, несомненно, сказалось влияние Маргариты Фуллер и Д. Рипли, которые более всех других американских писателей содействовали ознакомлению янки с сокровищами немецкой литературы.

После большого пожара, который в 1846 г. почти совершенно разрушил колонию и повлек за собою финансовые затруднения, с которыми она не могла справиться, некоторые ее члены переселились в Нью-Иорк и вступили в редакционный штаб «Трибуны», в том числе Д. Рипли, в качестве критика, и Чарльз А. Дана, получивший должность редактора местного отдела с еженедельным жалованием в 10 долларов.

Хотя Грили вступил в компанию с Томасом Мак-Эльратом, настоящим купцом, обладавшим всеми качествами, недоставшими основателю газеты, тем не менее, «Трибуна» еще долгое время являлась не особенно доходным предприятием. Конкурренция была велика, а фурьеристские традиции еще очень сильны, и издателям для того, чтобы продержаться, приходилось нагонять величайшую экономию. Так, Грили, главный редактор и вдохновитель газеты, получал не более 15 долларов в неделю.

Когда революция 1848 года, мощно воздействовав на умы и в Америке, вызвала сильную потребность в подробной информации о революционных событиях, увеличился и тираж «Трибуны», которая, еще до революции, больше всех других американских газет заботилась о хороших корреспонденциях из Европы. Как раз в это время Дана решил предпринять путешествие в Европу. Но «Трибуна» не была в состоянии гарантировать ему более 10 долларов в неделю. Договор с другими газетами дал ему еще 25 долларов. Обеспеченный этой суммой, он отправился в Европу. Как Дана сам сообщает с гордостью истого янки, он не только провел там около восьми месяцев, повидав множество революций, не только покрыл свои собственные расходы и расходы своей семьи

в Нью-Йорке, но сверх того привез еще обратно домой 63 доллара в качестве чистого дохода от всего этого путешествия [1]).

Свое первое письмо из Парижа он послал 29 июня 1848 г., то-есть, сейчас же после июньского поражения парижского пролетариата.

Он пробыл в Париже три месяца и в октябре поехал дальше в Берлин. Здесь ему оказал содействие его старый учитель—А. Брисбен, который раньше изучал в Берлине философию, был хорошо знаком с младо-гегельянцами и еще летом 1848 г. совершил путешествие по Германии. Возможно, что это он посоветовал Дана съездить в Кельн, где Брисбен в свое время тоже познакомился с Марксом.

Из Берлина Дана поехал во Франкфурт, оттуда в Кельн, где посетил Маркса. Это было, вероятно, в ноябре 1848 г. Энгельс незадолго до этого был вынужден оставить Кельн и тосковал в Швейцарии; Фрейлиграт, с которым Дана познакомился в доме Маркса, переселился в Кельн лишь 21 октября 1848 г., немедленно после своего вступления в редакцию «Новой Рейнской Газеты».

В начале декабря мы находим Дана опять в Париже, а в марте 1849 г. он возвратился обратно в Нью-Йорк.

О самом визите его к Марксу мы имеем только сообщение Дана. Летом 1850 г. он написал Марксу, прося его переслать письмо Фрейлиграту. Этим случаем он пользуется для того, чтобы напомнить Марксу о своем визите [2]):

«С тех пор, как мы встретились в Кельне, свет во многом переменился, в результате этого процесса многие из наших друзей унесены с поверхности мира. Но, слава богу, игра еще не окончена, и тем, которые сегодня вынуждены выжидать, сложа руки, завтра, быть может, придется еще выполнить большую работу. Хотя в продолжение этого времени я не имел счастья получать известия непосредственно от вас, но, тем не менее, я все время был хорошо информирован о вашей жизни и, поскольку то было возможно, также о перспективах революции, как вы их предвидели еще раньше при помощи вашего метода; но я лично ожидал другого конца для более радикальных из моих друзей. Побеждать всегда лучше, чем быть побежденным—voilà mon opinion (таково

---

[1]) J. H. Wilson, The life of Charles A. Dana, New-York, 1907, 62—3. До сих пор нет ни одной истории «Нью-Йоркской Трибуны». Источником нам служила сама газета и биографии Дана, Грили и Рипли, а также история колонии Брук-Фарм, написанная Линдсей Свифтом.

[2]) Письма Дана мы нашли среди бумаг Лафарга. К сожалению, некоторые из них пропали.

мое мнение). Правда, я не думаю, что взрыв вулкана произойдет в близком будущем. Предварительно должна быть проделана изрядная агитационная работа, и лишь тогда из хаоса возникнет новый мир. Нельзя ли надеяться приветствовать вас здесь, в Америке? Я охотно повторил бы восхитительный вечер, который мы провели вместе в Дейтце» (в окрестностях Кельна).

Хотя для Дана Франция была воплощением революционной демократии, а Россия—абсолютизма, и хотя вся современная история казалась ему, как и европейской буржуазной демократии, борьбою между революцией и абсолютизмом, тем не менее, он ожидал—и развивал этот взгляд в своих письмах,—что главнейший вопрос девятнадцатого века, вопрос социальный, найдет свое разрешение в Германии. (The Question of thes age, Ibegin to think, must be decided in Germany.—Письмо из Берлина, 10 октября 1848 г.).

Когда он вернулся в Нью-Йорк, в Соединенных Штатах, несмотря на усиление реакции, еще не улегся интерес к революционным движениям в Европе. Попытки американского правительства вмешаться в европейские дела в пользу Венгрии, боровшейся за свою независимость, вызванный этим резкий дипломатический конфликт с Австрией, поддержка, которая оказывалась венгерским и польским эмигрантам в Турции—все это еще долго волновало умы в Северной Америке. И в продолжение этого периода самую выдающуюся роль играла «Нью-Йоркская Трибуна», как газета, наиболее осведомленная во всех этих злободневных вопросах, находившаяся в постоянных сношениях с европейской эмиграцией и горячо отстаивавшая независимость Венгрии. Но, что сильно отличало «Трибуну» от всех других газет и сообщало ей особый характер, так это то место, которое она отводила на своих столбцах Германии. Инициатива этого принадлежала Дана, который, по своем возвращении, принял на себя иностранный отдел. Это принесло газете и материальный успех, обеспечив «Трибуне» большой круг читателей из рядов немецкой эмиграции, усилившейся после революции 1848 г. (за годы 1851—1860 эмигрировали 951.667 человек, за годы 1852—1854 более 500.000). Обратно, этот успех среди немецкой эмиграции побуждал уделять еще большее внимание запросам этого круга читателей [1]).

Но, как ни влиятельно было положение Дана в «Трибуне» после 1849 г., он, во всяком случае, не был главным редактором. Роль последнего исполнял по-прежнему Грили, почти диктаторски определявший позицию газеты во всех вопросах внутренней поли-

---

[1]) A. B. Faust, The german element in the United States. New-York. 1909.

тики, в которой он принимал и практическое участие в качестве агитатора и политика. Не меньше должен был Дана считаться с влиянием второго владельца газеты—Мак-Эльрата. Правда, последний очень мало беспокоился о политике и литературе, но тем более заботился он о том, чтобы Дана и его коллеги не обременяли газеты «бесполезным балластом», увеличивающим издержки, и не сделали ее слишком серьезною; он заботился, чтобы «Трибуна» не уступала другим газетам также в удовлетворении запросов тех читателей, которые ищут «сенсаций». Не только такие события, как выборы президента и другие происшествия внутренней политики, но даже всякий скандал в мире верхних десяти тысяч или всякий сенсационный судебный процесс—автоматически урезывали именно тот отдел газеты, который посвящен был иностранным делам и литературе; вследствие этого он подчас сокращался до минимума. Так, «Нью-Йоркская Трибуна» еще в лучшее свое время указывала с гордостью на то, что однажды она посвятила какому-то сенсационному убийству в Нью-Йорке не менее 150 столбцов, больше всех своих конкуррентов. И в конце 1855 г. контора газеты могла заявить, что во всем мире нет такой газеты, которая имела бы большой тираж. По числу объявлений «Трибуна» заняла тогда первое место.

Грили и Мак-Эльрат оставались собственниками газеты. Правда, была сделана попытка — слабая дань фурьеристскому прошлому—внести в предприятие принцип товарищества. Грили и Мак-Эльрат, в качестве капиталистов, добровольно передали некоторое количество паев представителям труда и таланта, но подавляющее большинство их они оставили в своих руках; благодаря этому, они, и после «реформы», сохранили за собой решающий голос в вопросах хозяйственного характера...

Но не только в вопросах хозяйственного характера,—даже в редакционных делах Дана ничего не мог предпринять на свой страх и риск без разрешения обоих владельцев газеты. Его положение отличалось от положения других редакторов только тем, что во время частых путешествий Грили Дана постоянно замещал его в должности главного редактора. Будучи столь же убежденным протекционистом, как и Грили, он был гораздо радикальнее его в борьбе против рабства. Но ему никогда не удавалось преодолеть поссибилистскую тактику своего главного редактора, который, подобно его прообразу—Генри Клею, герою компромисса, из страха перед отделением рабовладельческих штатов гораздо энергичнее выступал против расширения рабства, чем за его отмену. Внести свою собственную ноту Дана удалось только в борьбу, которую «Трибуна» действительно очень энергично вела против истинно-

американской партии, так называемой партии «незнаек», ратовавшей против иностранцев.

Вообще же «Трибуна» в продолжение 50-х годов по-прежнему оставалась органом левого крыла американских вигов, а с 1856 года стала органом новообразовавшейся республиканской партии, программа которой включала протекционизм, развитие торгового оборота и запрещение рабства на новых территориях.

Гораздо самостоятельнее был Дана в отделе иностранной политики, который находился в его исключительном ведении. Но и в нем он был сильно связан изменениями, наступившими в отношениях между Соединенными Штатами и европейскими державами. Со времени крымской войны в Америке самым радикальным образом изменились принципы иностранной политики, поскольку они отстаивались различными партиями — преимущественно демократическою, которая защищала рабство, и республиканскою, которая боролась против рабства.

Ни Грили, ни Мак-Эльрат не позволили бы «Трибуне» занять в этих вопросах позицию, которая могла бы повредить их положению в партии и оттолкнуть главный контингент их американских читателей.

Вообще, Дана никогда не был «хозяином» в «Трибуне». В продолжение всего периода его участия в газете (1847—1862 г.г.), он, хотя и получал к концу более высокое жалованье, но всегда оставался только служащим, не имеющим никаких прав. Его собственное жалованье—а, по всем известным нам данным, он был наиболее прилежным работником в редакции—лишь постепенно повышалось до 25, 40 и, наконец, 50 долларов в неделю. Необходимо также иметь в виду очень умеренное в то время в Соединенных Штатах вознаграждение «квалифицированного» литературного труда. Его коллега и друг Д. Рипли получал еще в 1861 году, когда «Трибуна» была уже богатою газетою, только 25 долларов в неделю. В своих письмах к Марксу Дана мог подчас разыгрывать из себя «хозяина в доме». Но на самом деле он, несмотря на оказанные им газете услуги, был только наемным сотрудником, которого Грили и Мак-Эльрат, в результате конфликта по вопросу о борьбе против рабства, буквально выбросили из редакции в марте 1862 года.

Обстоятельства, при которых Дана оставил редакцию, роль одного из наиболее верных и энергичных сотрудников Линкольна, которую он играл во время американской гражданской войны [1]),

---

[1]) В своих «Recollections of the civil war» (New-York, 1898) он рассказывает о причинах своего конфликта с Грили, который стоял за мир с Южными Штатами. Дана же, в качестве младшего секретаря военного министра, был решительным сторонником войны.

показывают, что он еще не был тогда тем ловким купцом и циничным скептиком, каким изображает его историк колонии Брук-Фарм —Линдсей Свифт. Лишь позднее он становится издателем самой обыкновенной капиталистической газеты, без всяких литературных претензий, и в своих лекциях об «Искусстве издавать газету» провозглашает высшим заветом редактора: «Давать сведения. все сведения, ничего, кроме сведений».

В «Нью-Иоркской Трибуне» он еще боролся против этого принципа, защищавшегося Мак-Эльратом. Дана настаивал на том, что газета должна не только сообщать одни сведения, но обязана действовать в качестве органа пропагандирующего и поучающего. Если, благодаря его коллеге Джорджу Рипли, «Трибуна» пользовалась в Америке репутацией первой газеты в области литературы и критики, то самому Дана газета была обязана тем, что, вопреки Мак-Эльрату, она все-таки стояла на гораздо более высоком интеллектуальном уровне, чем другие американские газеты, и, вопреки Грили, посвящала так много места иностранным событиям. В качестве образца ему служили тогда лучшие немецкие газеты, которые Дана впоследствии находил слишком «серьезными»: многочисленные немецкие сотрудники, которых мы встречаем на столбцах «Трибуны» в продолжение пятидесятых годов, были все приглашены им. При этом Дана не руководился определенными политическими симпатиями к одному из направлений немецкой революционной эмиграции; это видно уже из того, что он старался привлечь к газете все известные имена немецкой левой партии: Руге, Людвига фон-Симона, Фребеля, Бруно Бауэра, Фрейлиграта.

К Марксу Дана обратился лишь позднее. Поэтому в письме, уже цитированном нами, нет еще ни одного слова о сотрудничестве в «Трибуне». Возможно, что он вообще сомневался, будет ли его предложение принято Марксом, радикальные взгляды которого были ему известны. Возможно, что Дана решился пригласить Маркса в сотрудники только после того, как в 1851 году узнал от его друзей, что бывший главный редактор «Новой Рейнской Газеты»,— которого он, по выражению госпожи Маркс в письме к Вейдемейеру, знал в Кельне «в совершенно другом положении»,—не откажется даже от такого мизерного источника доходов, каким являлась «Трибуна» для своих заграничных сотрудников. Открытым остается вопрос, играло ли при этом какую-либо роль его желание оказать гостеприимство Марксу, отвергнутому всеми немецкими издателями и газетами. Во всяком случае, своим приглашением сотрудничать в «Трибуне», Маркс был обязан доброжелательной инициативе одного только Дана, и опять-таки только последний, в

продолжение десяти лет, защищал интересы Маркса, хотя и не всегда так, как последнему хотелось бы, против Грили и Мак-Элрата.

Но вначале никто из них не предполагал, что они будут связаны друг с другом так долго и, в конце концов, оставят «Трибуну» одновременно. Приглашая Маркса написать несколько статей, Дана преследовал определенную цель. Он хотел лишь, чтобы сам Маркс подробно изложил читателям «Трибуны» свои взгляды на германские события, которые он развивал ему в Кельне и которые произвели на него сильное впечатление. Эта тема имела для Америки злободневный интерес уже благодаря тому шуму, который был поднят вокруг Кошута. Отпущенный Турцией на свободу, вождь венгерский революции 11 ноября 1851 года приехал в Америку, как триумфатор, и оставался там до июля 1852 г. Тогда очень горячо обсуждались шансы нового революционного взрыва в Европе, и не только Кошут, но и представители немецкой эмиграции, как Гейнцен и Кинкель, делали попытки привлечь великую республику на свою сторону и даже заключить в Соединенных Штатах заем за счет будущей революции. Правда, государственный переворот 2 декабря 1851 года, ознаменовавший окончательное поражение революции в Европе, нанес и в Америке смертельный удар энтузиазму, который вызывали там Кошут и европейская революция. Но еще в продолжение многих месяцев общественное мнение Соединенных Штатов занималось вопросами, связанными с этою революциею.

II.

Этим можно об'яснить, почему Дана предложил Марксу избрать в качестве первой темы—революцию и контр-революцию. «Что же касается «Нью-Йоркской Трибуны»,—писал Маркс Энгельсу 14 августа 1851 года,—то теперь, когда я по горло занят политическою экономиею, ты должен притти мне на помощь. Напиши ряд статей о Германии 1848 года. Живо и непринужденно. В иностранном отделе эти господа очень либеральны».

Мы теперь знаем, что Энгельс блестящим образом справился с этою задачею. Все статьи, хотя и подписаны Марксом, написаны Энгельсом. Но в основном они представляют их совместный труд. Единственным источником Энгельсу служила «Новая Рейнская Газета». Кроме того, Маркс доставлял ему заметки, которые Энгельс использовал для своих статей. Поэтому он сам говорит о

«наших статьях»; поэтому же все их друзья в Северной Америке были убеждены, что статьи написаны самим Марксом [1]).

21 августа Энгельс доставил первое место, которое Маркс отослал в неизмененном виде. В «Трибуне» оно появилось через два месяца, в номере от 25 октября 1851 г., в виде первой статьи серии под общим заглавием: Germany. Revolution aud Counterrevolution» («Германия, революция и контр-революция»). Последняя статья, девятнадцатая, была напечатана 25 октября 1852 года, то-есть через год [2]). Один раз печатание статей было прервано из-за президентских выборов, а несколько раз оно прерывалось потому, что Энгельс не всегда находил время писать [3]).

Сам Маркс до августа 1852 года не написал для «Трибуны» ни одной строчки. Поскольку он не работал над своим большим сочинением, которое он хотел издать в виде критической истории политико-экономических теорий, он очень много времени посвящал партийной деятельности. Когда Вейдемейер переселился в Нью-Йорк, для Маркса и его друзей снова блеснула надежда основать на этот раз в Америке свой партийный орган. Бо́льшую часть работы для этого проектировавшегося журнала выполнил Маркс. Но в свет вышел всего на всего один номер журнала, и статьи Маркса о государственном перевороте 2 декабря 1851 г. появились в мае 1852 г. в виде первой книжки «непериодического журнала»: «Революция». За эту работу Маркс не получил ни гроша.

Как раз в это время материальная нужда Маркса достигла наибольшей остроты. Потерпели крушение и в Германии послед-

---

[1]) То обстоятельство, что Энгельс, при изображении австрийской революции, воспользовался венскими корреспонденциями «Новой Рейнской Газеты», вызвало в американской прессе оживленную полемику. Теллеринг, который посылал корреспонденции из Вены в Кельн, утверждал, что напечатанные в «Трибуне» статьи, поскольку они касаются Австрии, представляют плагиат из его писем. В предисловии к первому изданию «18-го брюмера» Вейдемейер отвечает ему: «Даже противники Карла Маркса не отрицали того, что он далеко превосходил подавляющее большинство политических писателей как оригинальностью своих статей, результатом глубоких и обширных занятий, так и своим классическим стилем».

[2]) По-английски изданы отдельной книгой Элеонорою Маркс-Эвелинг в 1896 г. В том же году появились по-немецки в переводе Карла Каутского. Существует несколько русских переводов.

[3]) До первого перерыва редакция, т.-е. Дана, очень часто обращала внимание читателей на «очень интересные» статьи: например, в номере от 6-го ноября 1851 г. четвертая глава рекомендовалась, как «в высшей степени интересная», так как «в ней идет речь об Австрии, этом центре разложения и подлости в Германии». О пятой главе в номере от 12 ноября 1851 года Дана замечает, что она написана с необычайным остроумием.

ние надежды найти издателя для его политико-экономического сочинения. Только тогда ему стало ясно, что у него нет никаких других литературных возможностей, кроме «Трибуны». Но сотрудничество в газете, предложенное ему Дана, не могло служить достаточным источником заработка, так как для этого ему не доставало двух существенных условий: постоянства и достаточного размера гонорара. Когда Маркс, по прошествии семи месяцев, получил деньги за напечатанные статьи, оказалось, что «Трибуна» платила за каждую статью только 1 фунт стерлингов. На запрос Маркса по этому поводу Дана ответил, что это обычный гонорар за корреспонденции подобного рода и что владельцами газеты ему разрешено платить двойной гонорар, то-есть 2 фунта, или десять долларов, лишь за корреспонденции о «текущих событиях, имеющих характер интересного революционного кризиса». Такой двойной гонорар получал сам Дана за свои корреспонденции о европейской революции.

При этом не было никакой речи о приглашении Маркса в качестве постоянного корреспондента, не говоря уже—в качестве «европейского редактора». Ему было предоставлено писать на свой страх и риск, и все зависело от того, сумеет ли он сделать себя незаменимым для газеты.

Маркс имел очень много конкуррентов как в своих корреспонденциях о Германии, в том числе такого плодовитого писателя, как Бруно Бауэр, так и в своих корреспонденциях об Англии. Во-первых, для «Трибуны» писал Дохерти, старый английский фурьерист, который редко касался чистой политики, но посылал корреспонденции очень часто; во-вторых, об Англии и Франции корреспондировал и французский фурьерист Жюль Лешевалье. Но наиболее опасным конкуррентом был некто «А. П. К.». Маркс называет его однажды янки [1]), и, действительно, в сфере собственно корреспонденции он наиболее подходил к американским условиям. Своею задачею он считал доставлять сведения, как можно больше и как можно быстрее, и для этой цели широко пользовался своим положением корреспондента известной американской газеты. Он находился в дружеских отношениях не только с английскими радикалами, но и с представителями европейской эмиграции — особенно французской, итальянской, венгерской. Не вникая в текущие вопросы слишком глубоко, он прилежно списывал радикальную прессу и немедленно пересылал в Нью-Йорк все, что узнавал от своих друзей из эмигрантских кругов.

[1]) Нам не удалось выяснить его имя.

Маркс ни в малейшей степени не обладал этими качествами настоящего корреспондента. Далеко не человек общества, где обращают внимание на внешность, к тому же часто испытывая «недостаток в некоторых необходимых принадлежностях костюма и обуви», он, даже по прошествии нескольких лет жизни в Лондоне, избегал показываться где-нибудь, кроме тесного круга своих политических единомышленников. А этот круг суживался с каждым годом, по мере обострения борьбы в среде эмиграции. Что может быть характернее для Маркса того обстоятельства, что он никогда не делал попыток познакомиться со своими коллегами из «Трибуны» и вообще не завязывал никаких сношений с миром журналистов?

На пути Маркса стояли и другие затруднения. Так, в первое время он был вынужден писать свои статьи по-немецки и сначала отсылать их в Манчестер, где Энгельс переводил их на английский язык. Понятно, что этим вызывалось значительное опоздание, особенно еще благодаря тому, что в то время почта из Лондона в Нью-Йорк уходила только два раза в неделю [1]). Но уже через несколько месяцев Маркс справился с этим затруднением. С февраля 1853 г. он писал свои статьи прямо по-английски. Гораздо сильнее было другое затруднение. Если Маркс хотел писать о «текущих событиях», ему необходимо было в известном отношении приспособиться к читателям «Трибуны». У такого человека, как Маркс, не могло быть и речи об изменении или даже смягчении его точки зрения. Но, с другой стороны, «Трибуна» занимала во многих вопросах такую принципиальную позицию, с которою Маркс никак не мог согласиться. В виду этого ему приходилось выбирать такие темы, которые давали ему возможность свободно развивать свою собственную точку зрения, не вступая в конфликт с редакцией. Мы скоро увидим, что это ему не всегда удавалось.

Когда Маркс принял предложение Дана, «Трибуна» представляла для него «неведомую страну». Разумеется, он знал, что имеет дело с демократическою газетою, в европейском смысле этого слова, но он никогда не получал «Трибуны» аккуратно, а вначале и плохо следил за нею. Только из самой газеты узнал он, что в «Трибуне» фигурируют в качестве его коллег те же демократы, с которыми он в политическом отношении давно порвал. Прошел почти целый год после появления первой подписанной им статьи, когда он сделал, не слишком приятное для него открытие, что «Трибуна»

---

[1]) По вторникам и пятницам; поэтому все статьи Маркса датированы этими двумя днями.

«к великому несчастью—защищает протекционизм». Энгельс старался рассеять его сомнения, указывая на специфически американский характер этого протекционизма. Но, тем не менее, Маркс был связан различными соображениями, не существовавшими для его конкуррентов. Как ни своеобразна была форма, в которой «Трибуна» защищала протекционистскую буржуазию—сам Маркс впоследствии очень правильно определил ее, как форму сисмондистски-филантропическо-социалистического антииндустриализма, — редакция никогда не допустила бы прямой критики протекционизма.

Таким образом, Маркс подвергался опасности, — которая, действительно, постоянно существовала,—что его критика экономического состояния Англии будет понята американскими читателями, только как критика свободной торговли. При этом он долгое время не имел ни малейшего представления о действительной роли Дана в газете, и поэтому был склонен считать «Трибуну» политическим органом Дана; из его переписки видно, что Дана и «Трибуна» были для него одно и то же. Благодаря этому, он довольно долго пребывал в уверенности, что в своих письмах может совершенно свободно выбирать, по крайней мере, все политические темы, в отличие от вопросов экономических. Только опыт научил его, что и здесь дело обстоит не так, что и в этом отношении приходится считаться с местными условиями.

III.

Еще прежде, чем была закончена серия статей о Германии, Маркс сделал попытку написать на злободневную тему. Повод к этому дали ему английские выборы, происходившие в июле 1852 г. Хотя его статьи получены были с большим запозданием—его конкуррент А. П. К. послал свой отчет несколькими неделями раньше, так как Маркс дожидался общего результата выборов,—редакция приняла их немедленно. Блестящая характеристика английских партий, меткая картина избирательной борьбы, интересные исторические отступления—все это сообщало его статьям своеобразную и непреходящую ценность. Они цитировались не только в американской, но и в английской прессе.

Начало было очень удачно. Но вскоре кельнский процесс коммунистов снова оторвал Маркса от этой работы. Судебные заседания продолжались шесть недель, с 7 октября до 12 ноября 1852 года. Дни и ночи «партия Маркса» работала, чтобы оказать обвиняемым помощь в их борьбе против махинаций штиберовской полиции и прокуратуры. Немедленно после окончания

процесса, 17 ноября, Союз Коммунистов был, по предложению Маркса, распущен. Но Маркс должен был выполнить для партии еще одну ответственную работу. Он написал «Разоблачения о кельнском процессе коммунистов», с целью публично реабилитировать осужденных членов Союза и заклеймить позором прусскую полицейскую систему. Роль, которую он играл во время процесса и после него, по его собственному выражению, «окончательно отпугнула от него немецких издателей, с которыми он надеялся притти к соглашению насчет своей экономии».

Начиная с января 1853 г., Маркс мог уже гораздо интенсивнее посвящать себя работе для «Трибуны». Он сосредоточился главным образом на изображении социального состояния Англии и в своих письмах бичевал лицемерие господствовавшей олигархии. Особенную сенсацию, как в Америке, так и в Англии, вызвало его письмо о герцогине Сутерландской и рабстве.

Политика коалиционного министерства представляла очень мало «интересного» материала, и Маркс старался отмечать все симптомы приближавшегося кризиса. Наступления его он ожидал в 1853 г., ибо исходил из предположения, что промышленный цикл проходит свой кругооборот в период времени от пяти до семи лет. Его ожидание оказалось ошибочным, и, как он сам впоследствии признал, 1853-й год, несмотря на многочисленные банкротства в отдельных отраслях промышленности, был годом «конвульсивного оживления».

После марта 1853 г. наступили события, которые снова взволновали Европу, казалось, совсем успокоенную. Сильно ослабевший в Америке интерес к европейской политике пробудился с новою силою. Особенно значительное место «Трибуна» стала уделять иностранной политике, против того, как выяснилось что новое осложнение в восточном вопросе может повести к европейской войне.

И среди всех ее европейских сотрудников не было ни одного, который был бы таким мастером во всех вопросах «высокой политики», как Маркс и Энгельс. Впрочем, ни редакция в целом, ни Дана никогда не узнали, что под именем Маркса для газеты писали оба друга.

Уже в журнале «Новая Рейнская Газета» мы находим, на ряду с историческими работами, серию обзоров международной политики; в них Маркс и Энгельс рассматривали внутреннюю связь текущих событий с точки зрения материалистического понимания истории. В них они указывали, что контр-революция, превратившая Россию в третейского судью Европы, неизбежно приведет также к новому кризису в иностранной политике.

«Вследствие движений 1848—1849 годов»,—читаем мы в политическом обзоре второго номера [1]),—«Россия так глубоко вовлечена в европейскую политику, что она должна теперь возможно скорее осуществить свои старые планы относительно Турции и Константинополя, этого «ключа к своему дому», если этим планам не суждено остаться навсегда несбыточными. Успехи контр-революции и усиление с каждым днем революционной партии в Западной Европе, внутреннее положение самой России и плохое состояние ее финансов—толкают ее к быстрым действиям. Недавно мы видели дипломатическую прелюдию к этому новому восточному действию, через несколько месяцев мы переживем и самую драму.

«Война против Турции необходимо превратится в европейскую войну. Тем лучше для «святой Руси», которая, благодаря этому, получит возможность прочно водвориться в Германии, довести там до конца контр-революцию, помочь Пруссии завоевать Невшатель и, в конце концов, пойти походом на центр революции, на Париж.

«В такой европейской войне Англия не может остаться нейтральною. Она должна выступить против России. И для России Англия—наиболее опасный противник. Если сухопутные армии континентальных государств, по мере своего продвижения и проникновения вглубь России, будут все больше и больше ослабевать, если их продвижение должно будет почти совершенно приостановиться у восточных границ старой Польши, под страхом повторения 1812 года, то Англия имеет средство воздействовать на Россию с самой слабой ее стороны. Не говоря уже о том, что она может принудить Швецию к обратному завоеванию Финляндии, — для ее флота открыты Петербург и Одесса. Как известно, русский флот—самый плохой в мире, и Кронштадт и Шлиссельбург так же легко могут быть взяты, как Сен-Жан д'Акр и Сан-Хуан-де-Улоа. Но без Петербурга и Одессы, Россия—великан с отрубленными руками. Кроме того, Россия не может обходиться, хотя бы всего полгода, без сбыта своего сырья и без покупки продуктов английской промышленности; это ясно обнаружилось уже во время наполеоновской континентальской блокады, а теперь это имеет силу еще в большей степени. Отрезанная от английского рынка, Россия через несколько месяцев переживет величайшее напряжение; напротив того, Англия не только может некоторое время обходиться без русского рынка, но она сможет также получить на других рынках все

[1]) «Neue Rheinische Zeitung». Zweites Heft, Februar 1850, стр. 71—72. Этот абзац в меринговском издании «Литературного Наследства» выпущен.

русское сырье. Итак, страшная Россия совсем не так опасна. Но немецкому бюргеру она должна казаться очень страшной, ибо она непосредственно господствует над его государством, над его государями и уверена, что ее варварские орды в скором времени наводнят Германию и там сыграют в некотором роде мессианскую роль».

Но под влиянием событий, разыгравшихся в 1850—1852 годах, Маркс изменил свой взгляд. Все споры между Англией и Россией по поводу Ближнего Востока, как и вопрос о выдаче польских и венгерских эмигрантов, или так называемый вопрос о «Пацифико» [1]), в котором Пальмерстон бросил на весы всю мощь Англии против маленькой Греции,—привели только к борьбе при помощи дипломатических нот. Точно также и вопрос о «святых местах», неожиданно выдвинутый Наполеоном в мае 1850 года с целью привлечь на свою сторону клерикалов, долго оставался в неопределенном положении, и еще в начале 1853 г. можно было думать, что и он будет разрешен дипломатическим путем. И, когда «отвратительный» восточный вопрос вновь приобрел остроту, Маркс и на этот раз предполагал, что он не приведет к войне. Вынужденный писать об этом вопросе, он обратился к Энгельсу, так как «это прежде всего вопрос военный и географический, то-есть не по его специальности». Но вместе с тем он послал ему небольшую заметку с изложением своей основной точки зрения.

Редакция «Трибуны» предпослала этой статье о восточном вопросе, написанной им и Энгельсом, следующие строки («Нью-Йоркская Трибуна», 7 апреля 1853): «Господин Маркс имеет свои собственные определенные взгляды, которые мы далеко не во всем склонны разделять, но те, кто не прочтут его писем, лишат себя одного из наиболее поучительных источников осведомления о великих вопросах современной европейской политики».

Если статьи о восточном вопросе представляли общий труд Маркса и Энгельса, то обратившие на себя не меньшее внимание статьи о бюджете Гладстона, о господстве англичан в Индии, о политической карьере Пальмерстона—принадлежали исключительно перу Маркса.

Можно сказать, что в 1853 году он был одним из наиболее известных в Соединенных Штатах сотрудников «Трибуны». Всецело предоставив теперь область «настоящей газетной корреспонденции» своему конкурренту А. П. К., он, в своих письмах, осве-

---

[1]) Пацифико—еврей, британский подданный, пострадавший от погрома. Пальмерстон требовал немедленного вознаграждения, которое было вычислено с большим запросом.

щал все важнейшие вопросы—экономические, финансовые, политические, дипломатические—и, не довольствуясь одним только регистрированием их или сопоставлением материала, часто давал мастерски написанные этюды.

Таким образом, его статьи почти совершенно потеряли характер корреспонденций, и естественно, что Дана пришла в голову мысль использовать письма Маркса в качестве передовых статей. Эта практика, хотя и весьма «лестна» для Маркса, имела одну неприятную сторону. Без некоторых «манипуляций», необходимых для приспособления статей Маркса ко вкусам американской публики, без указаний на «местные условия»,—эта метаформоза была невозможна; Дана часто вставлял фразы,—не говоря уже о нескольких вступительных или заключительных словах,—с целью затереть все следы, которые могли бы возбудить в читателе подозрение, что статьи написаны не в самой редакции. Еще неприятнее было для Маркса то, что оставшуюся после этой операции часть статьи Дана нередко печатал за его подписью в виде корреспонденции.

Таким образом, лучшая и наиболее интересная часть статьи появлялась в виде редакционной передовицы, а подпись Маркса, как он жаловался, оказывалась только под «совершенно незначительными» вещами. Эта «аннексионистская политика», которая началась со статей о восточном вопросе и вначале представляла исключение, уже через несколько месяцев превратилась в постоянное правило.

Когда в октябре 1853 года началась русско-турецкая война, Маркс послал несколько писем на военные темы, написанных Энгельсом, которые редакция использовала в качестве передовых статей. При этом случилось то же, что повторилось и впоследствии, при появлении брошюры «По и Рейн» и анонимных статей Энгельса о прусско-французской войне в «Pall Mall Gazette». Живо написанные статьи привлекли общее внимание не только своим тоном, но и основательностью изложенных в них военных суждений. Публика решила, что автором является какой-либо генерал, который держится в тени; высказывали предположение—для Америки тогда наиболее вероятное,—что этот генерал—не кто иной, как Винфильд Скотт, знаменитейший американский генерал, кандидат в президенты от левых вигов в 1853 году и заведомый друг Гораса Грили. Лондонская пресса тоже часто приводила отрывки из этих статей.

Для редакции это послужило лишь новым поводом для того, чтобы печатать дальнейшие военные письма в виде передовых

статей. На протесты Маркса против этих аннексий Дана ответил, что теперь они уже не могут отказаться от этой практики, ибо в противном случае они вынуждены были бы открыть, что эти статьи присылались из-за границы, а это сильно уронило бы престиж газеты. Этим об'ясняется, что за время с 1853 до 1855 г.г. почти все письма, обсуждавшие вопросы войны с военной точки зрения, появлялись в «Трибуне» в виде передовых статей. Насколько газета гордилась этими статьями, лучше всего показывает редакционная заметка «Трибуна и война» («Нью-Иоркская Трибуна», 3 февраля 1855 г.). С гордостью редакция пишет, что, насколько ей известно, «Трибуна» единственная газета в Америке и Европе, которая регулярно дает критическое освещение военных событий с точки зрения принципов военной науки и дает читателю возможность осмыслить все эти события как с военной, так и с политической точки зрения.

В результате этого, зимою 1853—1854 г.г., по шутливому выражению Маркса в письме к Энгельсу, все редакционные статьи, обсуждавшие европейскую политику, на протяжении целых недель, доставлялись обоими друзьями. Энгельс заведывал «военным министерством», Маркс—«министерством иностранных дел и финансов». Но, чем интенсивнее становилось участие Маркса и Энгельса в «Трибуне», тем реже появлялось в ней его имя. Маркс дважды потребовал, чтобы его статьи печатались либо все за его подписью, либо все без подписи; редакция избрала последнее, и с апреля 1855 г. его имя вообще исчезает со столбцов «Трибуны».

Таким образом, Маркс был фактически европейским редактором «Трибуны», который «лишь в виде исключения занимался настоящею газетною корреспонденциею», но зато писал о важнейших вопросах международной политики и мирового хозяйства.

Однако, это не означало, что Маркс был членом редакции, на определенном жаловании. Наоборот, что касается материальной стороны, то он имел лишь все невыгоды этого положения. Правда, как писал Дана в известном письме, напечатанном в «Господине Фогте» и относившемся к тому времени, когда Маркс работал для «Трибуны» столь же интенсивно, как в 1853—1854 г.г.,—он был «не только одним из наиболее уважаемых, но и одним из наилучше оплачиваемых сотрудников», но он никогда не получал точно определенного содержания. К нему относились так, как ко всякому другому обыкновенному корреспонденту. Никогда не удавалось ему добиться договора, по которому оплачивались бы обязательно все присылаемые им статьи. Владельцы «Трибуны» платили только за напечатанные статьи, в лучшем случае, они брали на себя вре-

менное обязательство—оплачивать не менее одной статьи в неделю. Так, Маркс, в продолжение многих лет, выполнял в высшей степени интенсивную сдельную работу, не получая за нее «справедливого» сдельного вознаграждения. Сравнивая его статьи, в которые всегда было вложено так много труда—не только потому, что этот труд был высококвалифицированным, но и потому, что Маркс выполнял большую подготовительную работу для своих писем,—с корреспонденциями его коллег, нельзя не удивляться тому, что почтенные владельцы «Трибуны» ни разу не почувствовали всего неприличия такого вознаграждения, которым не удовлетворился бы даже неквалифицированный рабочий.

Поскольку речь идет о вознаграждении, его многолетнее сотрудничество в «Трибуне» уподоблялось циклу, который периодически проходил все фазы от высокого давления—впрочем, весьма умеренного—до полного затишья. Когда в Америке усиливался интерес к европейской политике,—а только войны, политический или экономический кризис в Англии или на континенте, восстание в Индии или мятеж в Италии, конфликт Соединенных Штатов с каким-нибудь европейским государством делали для американцев «интересными» европейские события,—увеличивалось и число напечатанных писем. Нужно отдать Марксу справедливость: с течением времени он приспособился к этим условиям, и, не отказываясь от своей привычки сопровождать изложение событий комментарием в форме небольших исторических или социально-экономических очерков, он часто давал именно то, что редакции было нужно. Кроме того, ни один из европейских сотрудников «Трибуны» не поддерживал с таким знанием дела и страстью ту борьбу, которую она вела — хотя не очень последовательно и подчас весьма вяло—против рабства. При всем том, эти борцы против эксплоатации несвободного труда были столь наивно-циничны, что при всякой перемене кон'юнктуры, отражавшейся на тираже «Трибуны», они немедленно переводили своих заграничных сотрудников на «пониженный рацион». Как ни горьки следующие строки, написанные Марксом, когда почтенные владельцы «Трибуны» дали ему на некоторое время «отпуск» в виду наступивших финансовых затруднений, но они представляют лишь верное изображение его положения в «Трибуне»:

«Воистину гнусно быть осужденным на то, чтобы считать счастьем, если подобные писаки берут тебя в свою ладью. Толочь кости, перемалывать их и варить из них суп, как то делают пауперы в работном доме,—такова та политическая работа, на которую я осужден в этой компании. Вместе с тем, я чувствую себя ослом

за то, что,—правда, не в последнее время, но в продолжение многих лет,—давал этим молодцам слишком много за их деньги».

Хотя вскоре наступила перемена к лучшему, но она ничего не изменила в действительном положении вещей. При ближайшей перемене кон'юнктуры, Маркс снова получил в грубой форме отказ, и на этот раз—навсегда.

IV.

Мы уже упомянули о том, что в известном отношении и самому Дана жилось не лучше. Маркс часто сердился на него, но иногда несправедливо, ибо без Дана, который отстаивал перед владельцами газеты его интересы, его сотрудничество в «Трибуне» не продлилось бы так долго. Его сношения с газетою постоянно происходили через посредство Дана, и можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все, Дана относился к Марксу корректно. Поскольку то было в его власти, он старался смягчить для Маркса горечь его положения. Он выступил из «Трибуны» одновременно с Марксом, который лишь впоследствии узнал, что для Грили и Мак-Эльрата Дана был только литературным «чернорабочим».

Но в одном отношении Маркс был вполне прав в своих жалобах на Дана. Последний, будучи редактором «иностранного отдела» в «Трибуне», с течением времени пережил процесс линяния и очень радикально изменил свою позицию в некоторых вопросах иностранной политики. Так, например, по отношению к России.

Решающее влияние оказало положение дел в самих Соединенных Штатах. Ободренные своим большим успехом на президентских выборах 1852 г., рабовладельцы сделали в 1853 г. новую попытку уничтожить еще существовавшие стеснения для распространения рабства и увеличить число рабовладельческих штатов. С помощью демократов Севера, вождем которых был сенатор Стифен Дуглас, им удалось провести так называемый билль Канзас-Небраска (30 мая 1854 г.), отменивший все географические и установленные законом ограничения для рабства. Этой внутренней политике демократов вполне соответствовала их иностранная политика, ближайшею целью которой была аннексия Кубы. Для этой завоевательной политики они, естественно, решили воспользоваться осложнениями в Европе.

Послы Соединенных Штатов в Мадриде, Париже и Лондоне (Суле, Мезон и Бьюкенен—все трое убежденные сторонники рабства) формулировали эту программу в так называемом остендском манифесте 13 октября 1854 г. Для достижения этой цели, они заигрывали как с итальянскою, французскою и венгерскою эми-

грацией, по своему обыкновению, не слишком строго относившейся к тем кругам, из которых исходили «освободительные» проекты, так и с русским правительством, которое охотно готово было пойти навстречу аннексионистским стремлениям демократов, лишь бы иметь Соединенные Штаты на своей стороне в войне против Англии. Суле, наиболее неразборчивого в средствах из всех трех послов, обвиняли даже в том, что он хотел втянуть республику в войну с Англией и Францией и ослабить западные державы, уже и без того находившиеся в затруднительном положении, еще внутренними потрясениями, чтобы после этого безо всякой помехи справиться с сопротивлением Испании. Сенатор Дуглас, со своей стороны, выступил с апологией абсолютистской России и предсказывал блестящую будущность этой стране рабов. А американское правительство, чтобы сохранить свой нейтралитет в войне западных держав с Россией, не отступало ни перед какими дипломатическими конфликтами с Англией.

Принятие билля Канзас-Небраска означало уничтожение того компромисса, который был состряпан в 1850 г. Генри Клеем и отстаивался Грили, как лучший барьер против дальнейшего распространения рабства; после этого «Трибуна» заявила, что теперь, когда демократы нарушили даже присягу, начинается борьба на жизнь и на смерть между рабством и свободою, между деспотизмом и демократией. Этим она высказалась также против иностранной политики, которую защищали Дуглас и его единомышленники. Она горячо ратовала против величайшего рабовладельца и деспота, Николая, она разоблачала сделанные Россиею Соединенным Штатам предложения территориальных уступок, она саркастически хвалила Николая и Дугласа за то, что они одновременно открыли борьбу между абсолютизмом и революцией в Европе и Америке [1]). Однако, даже в такое время «Трибуна» не могла удержаться от того, чтобы не подчеркнуть, что российское правительство,—«правительство отвратительнейшего абсолютизма, правительство в высшей степени враждебное всякой форме политической свободы»,—тем не менее является застрельщиком самой прогрессивной тарифной политики.

Смерть Николая изменила положение дел. Выставленное в «Трибуне» утверждение, что наследник русского престола—явный враг рабства и друг либеральных реформ, как будто стало оправ-

---

[1]) Ср. статью, проводившую параллель между европейскою войною и войною в Америке и кончавшуюся словами: «Царь Николай. Сенатор Дуглас. Мы выражаем вам благодарность». («The two wars», «Нью-Йоркская Трибуна», 28 января 1854).

дываться. «Трибуна» немедленно использовала это оружие против рабовладельцев в Америке. Если столь деспотическая страна, как Россия, ставит на очередь дня отмену крепостного права, то тем более должны это сделать Соединенные Штаты Америки, эта страна революции. Из врага России «Трибуна» превратилась в ее апологета, который при всяком удобном и неудобном случае ставил Россию, возрождавшуюся и—что еще важнее—протекционистскую, в пример американским демократам, сторонникам рабства и свободной торговли. Ни малейшего следа не осталось от старых идей, которые Дана развивал еще в своих прежних статьях: на одной стороне—Россия, на другой—Западная Европа; на одной стороне—абсолютизм, на другой—демократия. С весны 1855 г. «Трибуна» становится с каждым годом все более «руссофильскою».

Маркс был бессилен что-либо сделать против этого нового направления, тем более, что «Трибуна» приобрела нового сотрудника, отличнейшего знатока России, который, по всему своему мировоззрению, стоял гораздо ближе не только к Дана, но—что имело решающее значение—также к Грили. По сравнению с Дана этот сотрудник имел то преимущество, что был личным другом Грили, а по сравнению с Марксом—то, что жил в Нью-Йорке и, начиная с 1854 г., состоял постоянным членом редакционного штаба.

V.

То был «пресловутый», как однажды назвал его в своих «Парижских письмах» Г. Гейне, граф Адам Гуровский, в свое время, действительно, очень известный публицист, первый глашатай русского панславизма в Европе [1]).

Видный представитель польской аристократии, он с ранней молодости принимал участие в революционном движении. От 1820 до 1825 г.г. он учился в берлинском и других германских университетах и был одним из наиболее активных участников восстания 1830—1831 г.г.; посланный революционным правительством в Париж для переговоров с республиканцами, он остался там, когда смертный приговор сделал для него невозможным возвращение в Польшу.

---

[1]) Ныне совершенно забытый, он в политической литературе мимоходом упоминается в связи с восстанием 1831 года. О судьбе его после его ренегатства, то-есть начиная с тридцатых годов, мы ничего не находим, даже в польских сочинениях, специально посвященных польской эмиграции. А, между тем, никто не сделал больше этого польского ренегата для пропаганды в Западной Европе истинно-русского, царистского панславизма, в противоположность демократическому панславизму Бакунина или Герцена.

Через несколько лет он порвал с польскою эмиграциею. Вначале он находился в близких сношениях с сенсимонистами, потом был сторонником Фурье, с которым был также лично хорошо знаком. Но уже в 1833 году в его голове зарождается новый план, и он делает попытку вступить в сношения с Паскевичем, наместником русской Польши. Он приглашает его последовать примеру Мегмета-Али, освободившего Египет от турецкого ига, и стать во главе польского народа. Само собою разумеется, что из этого плана ничего не вышло. Но Паскевич продолжал сношения со своим парижским поклонником. В 1835 году Гуровский опубликовал книгу «La verité sur la Russie» («Правда о России»). Основные ее мысли: полный отказ от всяких революционных планов; признание того, что вся вина за последнее восстание ложится на самих поляков, и убеждение, что Польше нечего ожидать от западных держав и что для нее гораздо выгоднее полное примирение с Россией; далее—апология русского племени, как единственного славянского народа, достаточно великого и сильного, чтобы союз с ним обеспечил не только полякам, но и всем другим славянским племенам спасение от гибели, которая в противном случае неотвратима.— Эта книга побудила Николая отменить смертный приговор. Еще некоторое время Гуровский остается за границей, занимаясь составлением различных записок для русского правительства. Затем он возвращается в Россию, где поступает на государственную службу, сперва в собственную его величества канцелярию, впоследствии—в министерство народного просвещения. Сделавшись горячим почитателем русского языка и православной веры, он принял деятельное участие во всех мероприятиях, направленных к расширению преподавания на русском языке в Польше, как и во всех мероприятиях против католического духовенства [1]). В 1841 году он опубликовал новую книгу «La civilisation et la Russie», первый манифест оффициального панславизма, появившийся в Западной Европе; в своих «Pensées sur l'avenir des Polonais» («Мысли о будущем поляков»), он доказывает необходимость уничтожить обособленное положение Польши, отделенной от всей остальной России внутреннею русско-польскою таможенною линиею.

Несмотря на то, что Гуровский поддерживал хорошие отношения с вождями так называемой «русской» партии, он был вынуж-

---

[1]) «Таким образом, революционный демагог превратился в аристократа, гордого своим происхождением, и ненавистника буржуазии; республиканец—в автократа; католик—в защитника православной церкви; поляк— в русского, европеец—в панслависта». Этот отзыв о Гуровском мы находим в немецком энциклопедическом словаре Брокгауза. (Десятое издание).

ден в 1844 г. опять скрыться за границу; о причинах этого он умалчивает. Судя по его ненависти к «немецкой» бюрократии, можно думать, что он слишком сильно вмешался в борьбу и интриги придворных клик, и уже не чувствовал себя в Петербурге в полной безопасности. После нового пребывания в Берлине, Гейдельберге и Мюнхене, он отправился в Швейцарию, где в течение двух лет занимал в бернском университете кафедру политической экономии. Страшные погромы, инсценированные австрийским правительством в 1846 году в Галиции с целью подавить краковское восстание, укрепили его веру в то, что только в более тесном союзе с Россией, Польша может надеяться на лучшее будущее [1]). Незадолго до взрыва февральской революции (в январе 1848 г.), он опубликовал во Флоренции на французском языке первый том большого труда о панславизме; в нем он излагает его историю, как и его составные элементы: религиозные, социальные, философские и политические [2]). В философской и религиозной части Гуровский находится под сильным влиянием русских славянофилов, особенно Хомякова; но в обоснование панславизма он вносит свою собственную ноту. В его книге мы впервые находим ясное выражение экономических тенденций панславизма, которые, в конце концов, сделали из него политическую программу молодой российской промышленной буржуазии.

В отличие от первых славянофилов, настроенных еще крайне идеалистически, и еще более от Бакунина и Герцена, открывших в русской общине всеисцеляющее средство против западно-европейского капитала, Гуровский вполне сознательно видит главную цель в развитии промышленности в России и Польше. Основой нации он считает ее промышленные классы. При этом его декламации против «аргирократии», власти денег, против «финансового феодализма», против паразитической торговли—являются лишь отрыжкой его прежних сенсимонистских и фурьеристских увлечений. Единственным здоровым элементом, созидающим новые ценности, являются, по его мнению, представители труда. Россию он так сильно превозносит только потому, что она больше всех других славянских стран способна развить сильную промышленность. Нужно только, чтобы она последовательно применяла систему протекционизма. Свободная торговля годится только в качестве крайнего средства для тех стран, которые, подобно Англии, нуждаются в дешевом хлебе; но внешняя торговля никогда не может заменить

---

[1]) «Die letzten Ereignisse in den drei Teilen des alten Polen». München, 1846.

[2]) «Le Panslavisme, son histoire, ses véritables éléments: religieux, sociaux, philosophiques et politiques». Tome premier. Florence, 1848.

внутреннего рынка, который играет решающую роль. Россия, подобно Америке, имеет все необходимые условия—многочисленное население и громадную территорию—для осуществления своей промышленной самостоятельности. Кроме того, у нее неограниченные возможности дальнейшего распространения в Азии. Миссия России—нести цивилизацию на Восток. Но, предварительно, она должна отменить крепостное право и предоставить буржуазным классам право приобретать землю. Дворянство же будет вознаграждено ростом торговли и развитием капиталистического сельского хозяйства. А для Польши, упадок которой Гуровский об'ясняет недостаточным промышленным развитием и которая не получает никаких выгод от своего присоединения к России, откроются блестящие перспективы, как только отмена таможенной линии обеспечит польским фабрикам сбыт их продуктов на их «естественном рынке» [1]).

Но, если Россия хочет спокойно развиваться, она должна отказаться от всякой аггрессивной политики по отношению к Западу и порвать со Священным союзом. Пусть она предоставит своей участи шатающиеся европейские троны, спокойно взирая на революционный пожар в Западной Европе и заботясь только о самой себе. Книга заканчивается резким выпадом против «антирусской» дипломатии многочисленных немецких «фонов», угнетающих славянский гений.

О деятельности Гуровского в годы революции мы не имеем более подробных сведений. Политическая программа России в продолжение этого периода представляла прямую противоположность той, которую он рекомендовал в своей книге. В ноябре 1849 года он навсегда покидает Европу и переселяется в Северную Америку, где вскоре натурализуется в качестве гражданина трансатлантической республики.

Его связи с фурьеристами могут об'яснить нам, каким образом он сделался сотрудником «Трибуны». В номере от 13 мая 1852 г. редакция называет его одним из «наиболее философских и просвещенных умов, которых подарила нам славянская раса». Под псевдонимом «Панславист» и без подписи он печатает в газете большую серию статей «Russia as it is» («Россия, какова она есть»); впоследствии они вышли отдельной книгой под его именем и выдержали несколько изданий.

---

[1]) Известно, что эта отмена, последовавшая только через два года (1850 г.), действительно явилась одним из главных стимулов развития промышленности в русской Польше.

При усиливавшемся интересе к России, Гуровский был для «Трибуны» незаменим. С его помощью, она, благодаря русским «разоблачениям» и прекрасной информации из Петербурга, могла побить конкурренцию всех других газет. И, действительно, польский граф и «бывший камергер его величества» был превосходно знаком с лицами и скандальной хроникой петербургского высшего света. Он был также достаточно умен для того, чтобы не шокировать республиканских чувств новых сограждан слишком розовым изображением русского деспотизма.

Но Гуровский был для «Трибуны» не только специалистом по части России и Польши. Бывший профессор политической экономии, он писал много и по вопросам историческим, политическим и, в особенности, экономическим. Его неутомимая пропаганда протекционизма, в которой Россия постоянно служила ему в качестве иллюстрации, доставляла Грили и Дана новое оружие в их борьбе против фритредеров, сторонников рабства. Его влияние в газете еще усилилось после обострения политического положения, вызванного новым натиском рабовладельцев. Таким образом, ему удалось радикально изменить позицию «Трибуны» в восточном вопросе.

Если годом раньше редакция печатала в качестве передовых статей письма Маркса, антирусские, но отнюдь не туркофильские, то сама редакция гораздо более склонялась к мнению другого своего лондонского корреспондента А. П. К., который во всех своих корреспонденциях отражает туркофильские взгляды Уркарта. Еще в октябре 1853 года «Трибуна» заявляет, что в войне, которую Турция об'явила России, все симпатии культурного человечества находятся не на стороне христиан, а на стороне турок. И только в марте 1854 года, когда Англия стала на сторону Турции и об'явила России войну, «Трибуна» делает неожиданное открытие, что Турция — рабовладельческое государство, положение которого безнадежно; главную вину за это несет не Россия, действующая открыто, хотя и насильственно, но лицемерная Англия, разоряющая Турцию при помощи свободной торговли. В статье «Наше отношение к войне» (5 января 1855 г.), представляющий ответ на корреспонденцию долголетнего сотрудника «Трибуны», фурьериста Гуга Догерти, редакция резюмирует свои взгляды в следующих словах: «Мы уже давно об'яснили нашим читателям, почему мы считаем сомнительным, чтобы оккупация Турции укрепила могущество России в Европе... Благодаря свободной торговле, Турция приведена на край гибели, и, несмотря на это, Франция и Англия посылают свои армии, чтобы сохранить и впредь эту свободную тор-

говлю. Включение Турции в состав Российской империи имело бы своим первым следствием установление истинно цивилизаторской торговой и промышленной политики». Так как редакции приходится полемизировать с фурьеристами, которым Англия и Франция в их войне против России казались защитниками цивилизации, она прибегает к старой фурьеристской терминологии. «Ничто не представляет более яркой иллюстрации порочного круга (circulus vitiosus) и дисгармонии, характеризующих современное состояние цивилизации, чем то обстоятельство, что правительство отвратительнейшего деспотизма, враждебное всякой форме политической свободы, выступает в роли единственного защитника прогресса». Еще яснее выражается редакция через несколько недель («The regeneration of Turkey», 29 января 1855): «Протекционизм может спасти страну и развить ее производительные силы, независимо от ее формы правления; английская свободная торговля будет всегда держать народ в состоянии приниженности и слабости, несмотря на все политические и религиозные реформы».

В номере от 26 мая 1855 года «Трибуна» защищается от обвинений в руссофильстве. Она забыла все, что сама раньше писала и печатала. Оказывается, что Россия в своей внешней политике гораздо более гуманна, чем Британия. Английская свободная торговля приносит гибель всем, с кем приходит в соприкосновение; Россия же, с тех пор, как она восприняла протекционизм, удивительно развила свои промышленные силы, и теперь прогресс ее цивилизации виден всему миру. Самое лучшее для Турции—это быть аннектированной Россией. С развитием промышленности Турция станет цветущей страной. «Что касается опасности, якобы угрожающей Европе от расширения России, то мы уже дважды доказывали, что эта опасность химерична. Более того. Поскольку Соединенные Штаты вообще имеют во всем этом споре свой собственный интерес, для них важно, чтобы Франция и Англия не получили такой позиции, которая даст им возможность диктовать свою волю всему миру. Нам нужна Россия, как противовес этим державам».

5 июня 1855 года в статье «European imbroglio» редакция утверждает, что упрочение России в Константинополе скорее, чем что-либо другое, положит конец системе «дешевого труда» в Англии.

В статье «Раздел Турции» (22 июня 1855 года) редакция, иначе говоря — Гуровский, доказывает, что оккупация Турции Россией желательна в интересах всего человечества. «Это не зна-

чит, что русская политическая система непредосудительна. Нет, Россия — деспотическая держава, но в промышленном и торговом отношении она создает единственную прочную основу для свободы» [1]).

Нападки против Англии и Франции становятся с каждым днем все яростнее, а симпатии к России все сильнее [2]). «Трибуну» обвиняли в том, что она служит деспотизму. В статье «Война и свобода» (1 августа 1855 года) она доказывает, что, напротив, победа Наполеона была бы победою реакции. «Что касается тех органов, которые порицают наши «русские симпатии», «защиту России» и т. д. и сплетничают о том, будто в нашей газете пишут или пользуются влиянием русские или агенты России, то мы считаем излишним отвечать им».

И, действительно, позиция «Трибуны» об'ясняется не только влиянием Гуровского, хотя нет сомнения, что он, вместе с Грили и Кэри, создал для нее главную аргументацию [3]). Развитие внутренних партийных отношений в Соединенных Штатах сделало «демократов», защитников рабства и свободной торговли, врагами новой «либеральной» России. Кроме того, оффициальная Франция и фритредерская Англия не скрывали своих симпатий к южным штатам. Эти противоречия определили внешнюю политику ново-

---

[1]) Читатель, знакомый с «Капиталом», легко узнает в этом ходе мыслей цитированные Марксом идеи американского экономиста Кэри, также сотрудника «Трибуны». «Но вот является Кэри и обвиняет Англию, конечно, не без основания, в том, что она стремится превратить все другие страны в простые земледельческие народы, для которых фабрикантом будет Англия. Он утверждает, что Турция была таким образом разорена, ибо землевладельцам и земледельцам не дано было (Англией) возможности укрепить свое собственное положение при помощи естественного союза между плугом и ткацким станком, между молотом и бороной». («The slave trade», стр. 125). По его мнению, даже Уркарт является одним из главных агентов разорения Турции, ибо вел там в английских интересах пропаганду свободной торговли. Интереснее всего то, что Кэри, усердный холоп России, хочет, при помощи протекционизма, остановить тот процесс разделения, который он на самом деле ускоряет». («Капитал», т. I, стр. 678). Пример Кэри показывает, что холопское отношение «Трибуны» к России было тесно связано с ее пристрастием к протекционизму.

[2]) Летом 1855 г., «Трибуна» беспрестанно конфискуется в Париже, а Грили, посетивший тогда Англию и Францию, был немедленно в Париже арестован и выслан.

[3]) Его статьи о крымской войне были изданы также отдельно—под заглавием «The turkish question», 1854, и «A year of the war», New-York, 1855 г. Об Австрии он пишет: «Габсбурги—это несчастный случай в истории, а Австрия—вампир, тяготеющий над нею. Она не представляет никакого великого идеала, принципа или элемента, ни определенной расы, ни гармонического единства различных национальностей. Все в ней есть аномалия» (стр. 106). Напротив. «Россия не может погибнуть. На ее стороне гений истории, будущность расы». (Стр. 102).

образовавшейся в 1854 г. республиканской партии. Грядущая гражданская война уже бросала наперед свою тень, и «Трибуна» могла впоследствии лишь поздравлять себя с тем, что она так рано выступила против будущих врагов. И в своей программе—отмена рабства, как конечная цель, а протекционизм—движение к этой цели—она сохранила в своем роде «принципиальность» и «последовательность».

Несмотря на все старания редакции держать в секрете сотрудничество Гуровского, в литературных кругах Нью-Йорка уже в 1855 г. было известно, что он один из руководящих редакторов. Известный русский эмигрант И. Головин, посетивший тогда Северную Америку и тоже сотрудничавший в «Трибуне», пишет в своих путевых очерках об Америке следующее: «Трибуна» Грили—утопическая газета, но Дана один из наиболее ученых и любезных американцев, а граф Гуровский венчает триумвират» («Stars and Stripes or American impressions», London, 1856, стр. 28).

Все это было Марксу неизвестно, но, как ни плохо следил он за «Трибуной», статьи о России немедленно обратили на себя его внимание. Они сейчас же возбудили в нем подозрение, что их автор—русский. Так, 7 сентября 1853 г. он пишет Энгельсу:

«Эти жалкие русские, как в «Трибуне», так и в «Лондон Адвертайзер» (хотя различные лица и в различной форме)—оседлали теперь своего любимого конька, что русский народ глубоко демократичен, а оффициальная Россия (царь и бюрократия) и дворянство—это только немцы. Поэтому надо бороться с Германией в России, а не с Россией в Германии. Ты знаешь Россию лучше, чем я, и, если найдешь время, чтобы выступить против этой нелепости (они точь-в-точь похожи на наших тевтонских ослов, которые сваливают вину за деспотизм со своей головы на голову французов, как будто отставшие рабы не нуждаются в более цивилизованных рабах для того, чтобы самим стать цивилизованными), ты меня очень обяжешь. Разумеется, в «Трибуне».

Энгельс, напротив, полагал, что автор—«немец из Восточной Пруссии или наполовину поляк; у этого молодчика, видимо, много материала, поэтому надо быть осторожным, но у него достаточно слабых мест» [1]). Он обещал написать статью, но от этого наме-

---

[1]) Именно то «обстоятельство, что Гуровский был не русским, а наполовину поляком», дало «Трибуне» возможность на первое разоблачение в одной нью-йоркской газете дать уклончивый ответ, что ни один русский не написал для редакционного отдела газеты ни одной строчки, а равно не состоял и не состоит членом ее редакционного штаба.

рения его отвлекла необходимость продолжать статьи о военных событиях. Он и Маркс удовольствовались тем, что в своих статьях продолжали свои нападки на Россию. Только в конце 1854 г. Энгельс возвращается к своему прежнему намерению и собирается написать брошюру о «Германстве и славянстве», которая должна появиться в Германии, как ответ на памфлет Бруно Бауэра «Россия и германство». Но еще прежде, чем он выполнил этот план,—трудно было найти издателя,—«Трибуна» выступила в столь руссофильском духе, что Маркс счел безусловно необходимым ответить подробною критикою панславизма в самой газете.

18 марта 1855 года он пишет об этом Энгельсу: «Чорт побери эту «Трибуну». Разумеется, теперь совершенно необходимо, чтобы она выступила также в антипанславистском духе. В противном случае, придется, пожалуй, порвать с этой газеткой, что было бы фатально».

Энгельс принял это предложение и немедленно принялся за серию статей о панславизме.

Но первую статью из серии «Трибуна» напечатала с такими «исправлениями», что она совершенно не достигала своей цели. Возможно, что Маркс никогда не видел в глаза этого номера [1]).

В противном случае, он лишь с величайшим изумлением и досадою прочел бы следующую вставку в статью Энгельса:

«Панславизм, как политическая теория, нашел себе наиболее ясное и философское выражение в сочинениях графа Гуровского. Этот ученый и выдающийся публицист видит в России естественный центр тяжести, вокруг которого может развиваться история этой многочисленной и крепкой ветви рода человеческого: но он никогда не рассматривал панславизма, как союз против Европы и европейской цивилизации. По его мнению, законным полем развития для стремящихся к экспансии сил славянской энергии является именно Азия. В сравнении с безнадежностью старого континента, этого стоячего болота, Россия является цивилизаторскою силою, соприкосновение с которою может быть только благодетельным. Но маленькие умы, воспринявшие его основную идею, не могли понять эту смелую и заслуживающую внимания формулировку. Панславизм выступает в различных формах, и теперь мы встречаем его в новой форме,

---

[1]) Даже еще в 1855 году Маркс получал «Трибуну», выходившую ежедневно, нерегулярно и не непосредственно от редакции. 16 мая 1855 года Маркс пишет: «Получил, наконец, от Клуса несколько (номеров) «Трибуны» и пару строчек, в которых он сообщает, что напишет».

которая кажется очень эффектною: в форме угрозы войною. В этой форме он, конечно, делает честь смелости и решительности нового царя Александра II».

Если эти строки вставлены не самим Гуровским, они показывают, как сильно было его влияние на Дана и Грили.

Легко представить себе, какой вид приняли бы дальнейшие статьи Энгельса, если бы редакция «исправляла» их таким образом.

Пока, однако, продолжения статей, по различным причинам, не появлялось. Мы имеем основание предполагать, что перерыв продолжался много месяцев.

Новый оборот дел на театре военных действий снова оживил «интерес» к войне, которая становилась уже «скучною», и Энгельс был вынужден писать только о военных делах. Кроме писем для «Трибуны», он должен был вскоре принять на себя и другую работу для своего друга.

В начале июня 1855 г. Маркс получил из Америки предложение написать для одного большого американского ежемесячника «Putnam Review» («Путнэмское Обозрение») статью о европейских армиях. Он получил его не прямо из редакции, а опять-таки через посредство Дана.

Следующее место из письма последнего бросает яркий свет на своеобразное положение Маркса в «Трибуне» и на необычайную развязность почтенной редакции: «Издатель «Путнэмского Ежемесячника» просит меня заказать у вас для него тщательно обработанный очерк обо всех европейских армиях. Разумеется, он не знает, кто вы такой, и я не вижу необходимости в том, чтобы он знал это. Я ответил ему, что могу получить требуемый очерк *от автора наших военных статей... Не пишите только на тонкой бумаге* [1]), так как я не хочу вобудить в нем подозрение, что статья присылается из Европы».

Это предложение поставило Маркса в величайшее затруднение. Подобно тому, как Дана тщательно хранил тайны редакции, так и Маркс скрывал от редакции, кто был настоящим «автором наших военных статей». Отклонить предложение он не мог, но столь же мало он был в состоянии выполнить эту работу. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как передать это предложение Энгельсу. «Если отсутствие времени не позволит тебе написать ее (статью), ты должен прислать мне материал, и я напишу сам. Конечно, в последнем случае, при моем незнаком-

---

[1]) Курсив оригинала.

стве с предметом, статья выйдет весьма жалкой». Не желая компрометировать «фирму», Энгельс взялся за это дело и поэтому был вынужден прервать свою работу о панславизме [1]).

VI.

Приглядевшись поближе к участию Маркса в «Трибуне» в течение 1855 г., мы находим, что, в отличие от 1853 и 1854 г.г., оно менее интенсивно и ограничивается небольшим числом корреспонденций. В продолжение этих лет между ним и его лондонским конкуррентом само собою создалось разделение труда, налагавшее на него известные ограничения. Информация в точном смысле этого слова лежала на обязанности А. П. К. Помимо военных событий, 1855 г. не представлял почти никаких тем, которые Маркс мог бы разработать, не вступая в конфликт с А. П. К. Только в области военных вопросов ему принадлежала монополия. Вследствие этого бо́льшая часть работы для «Трибуны» и, как мы видели выше, для «Путнэмского Обозрения» была сделана Энгельсом.

Но это не значит, что в продолжение этого года Маркс занимался только своим экономическим сочинением. Не говоря уже о многонедельном перерыве в работе в марте и апреле,—время болезни и смерти его маленького сына, сильно потрясших его и его жену,—он, начиная с января 1855 г., очень много работал для «Новой Одерской Газеты» («Neue Oder Zeitung»). Здесь он имел возможность писать также в качестве настоящего корреспондента, не будучи ограничен в выборе тем, как в «Трибуне». За мизерную плату в 30 талеров в месяц—он долгое время доставлял ежемесячно три корреспонденции, в том числе немало наспех набросанных заметок, но, наряду с ними, и серьезные экономические, политические и исторические статьи. Для своих военных корреспонденций он пользовался письмами Энгельса. Начиная с октября 1855 г., он пишет значительно меньше, а с декабря его работа для «Новой Одерской Газеты» совсем прекращается.

Подробное сравнение его немецких корреспонденций со статьями, появившимися в то же время в «Трибуне», приводит к весьма поучительным выводам. Мы видим, что большое число

---

[1]) Вместо одного печатного листа, Энгельс прислал два с половиной. Его статья под заглавием «The Armies of Europe» появилась без подписи в «Putnam's Monthly Magazine of American Literature, Science and Art», август, сентябрь и декабрь 1855. Она излагает организацию и вооружение всех европейских армий. Местами она носит характер крайне сжатой статьи из энциклопедического словаря.

статей, в том числе даже не относящихся к области настоящей корреспонденции, было напечатано только в «Новой Одерской Газете»; другие работы, более значительного размера, как, например, подробная биография Росселя, были в «Трибуне» значительно сокращены, а некоторые искажены до неузнаваемости. Примером последнего рода является статья о панславизме. Одновременно посланная в обе газеты, она появилась в «Новой Одерской Газете», конечно, гораздо раньше (21 и 24 апреля, а в «Трибуне»—5 и 7 мая 1855 г.), но в какой различной форме! Из статьи о «Германии и панславизме» редакция «Трибуны» сделала две передовых статьи в одной—«Борьба в Европе»—половина была написана самим Дана или Гуровским, другая — «Слабость Австрии»—содержит, между прочим, цитированное выше место о Гуровском [1]). То обстоятельство, что и в «Новой Одерской Газете» продолжения не появлялось, подверждает наше предположение, что сам Энгельс прервал начатую им серию статей по причинам, изложенным нами выше.

Только после падения Севастополя, в сентябре, и Карса—в ноябре 1855 г., когда военные события уже не давали более интересных тем, Энгельс мог снова приняться за прерванную работу.

«Трибуна» к этому времени сделалась еще более руссофильской. В обзоре событий за год, напечатанном в номере от 1 января 1856 года, она указывает на огромные выгоды протекционизма, особенно ярко обнаружившиеся на примере России; в номере от 10 января мы находим передовую статью об отмене крепостного права, в которой подчеркиваются различные преимущества деспотизма.

Если Маркс намерен был еще раз сделать попытку выступить против этой «панславистской» позиции «Трибуны» и привлечь редакцию на свою сторону, то на этот раз это было более необходимо, чем когда бы то ни было раньше.

В виду этого, он сосредоточил свои занятия на изучении истории Швеции и придунайских княжеств. Сами события влекли его в эту новую область.

Национальные надежды, возлагавшиеся шведами на мнимую освободительную войну западных держав с русским деспотизмом, особенно усилились осенью и зимою 1855 г. Но, едва только был

---

[1]) Обе статьи включены Эвелингами в их издание. Издатели не заметили, что в статьях хозяйничала чужая рука и что вставленные в них места стоят в резком противоречии со взглядами Маркса и Энгельса. Также не подозревали они, что ряд других статей, приписанных ими Марксу, исходил от Дана или— в большинстве случаев — от Гуровского.

окончательно заключен оборонительный союз между западными державами и Швецией в ноябре 1855 г., как уже стало ясно, что бедные шведы так же обмануты, как поляки, которых заставили пожертвовать своей кровью и своим гениальнейшим поэтом, чтобы вознаградить несколькими пустыми обещаниями. На очереди стояло также создание единого румынского государства путем об'единения обоих придунайских княжеств. Все эти вопросы, тогда очень злободневные, горячо дебатировались в руссофильском и антирусском духе. Необходимо было, поэтому, путем тщательного изучения конкретных отношений и истории этих обоих стран, отдать себе ясный отчет в их положении. И если Маркс в шведском и румынском вопросах одинаково сильно бичевал и бонапартистское лицемерие и разбойничью политику России, то Энгельс прекрасно вторил ему, подробно вскрывая исторические корни русского панславизма и его опасность для Европы.

Но этот труд пропал даром. Насколько нам удалось установить, из всех этих работ в «Трибуне» не появилось абсолютно ничего.

Какую большую работу проделал Энгельс, можно видеть из того, что серия состояла из пятнадцати статей. Еще 20 ноября 1855 г. Дана писал Марксу: «Мы очень охотно будем принимать от вас еженедельно две статьи, по два фунта за каждую. Это составит 200 фунтов стерлингов, которые вам желательно иметь. Мы предоставляем вам самим решать, будут ли они касаться военных тем или каких-нибудь других». Правда, это письмо было написано еще до окончания военных действий: «Трибуна» естественно не хотела потерять свою руководящую роль в области военной информации.

Как бы то ни было, но Маркс очень скоро мог убедиться в том, что «Трибуна» не напечатала ни его статей о придунайских княжествах, ни статей Энгельса о панславизме. Более того. Даже статьи его о падении Карса не были напечатаны.

А из самой «Трибуны» он мог бы легко усмотреть, что редакция систематически развивала в своих передовых статьях взгляды, прямо противоположные его собственным. «Русское влияние» было очевидным.

Но дело об'яснялось еще и другой причиной. Маркс чересчур мало следил за американскими отношениями. Слишком сильно погруженный в европейскую политику, он не замечал, что напряженное внимание, с каким раньше в Соединенных Штатах следили за европейскими событиями, упало до нуля. Собственные внутренние события приобрели теперь для янки

гораздо больший интерес и, даже с точки зрения сенсации, давали гораздо больше интересных тем, чем европейская политика, снова ставшая «скучною».

Действительно, в 1855 — 1856 гг. между рабовладельцами и аболиционистами разгорелась в Канзасе борьба, принявшая вскоре форму жесточайшей гражданской войны, с настоящими сражениями и осадами. К этому же времени относилось и первое выступление Джона Броуна, будущего мученика борьбы против рабства. Гнусное покушение на Чарльза Сомнера, резко выступавшего в сенате против рабовладельцев [1]), покушение на самого Грили,—все это давало обильный материал и заполняло все столбцы «Трибуны». Вскоре окончательно сорганизовалась республиканская партия,—дело, в котором приняла выдающееся участие «Трибуна», т.-е., прежде всего, Грили, а потом и Дана; они подвизались в роли агитаторов не меньше, чем в роли журналистов, и были очень довольны, что нашли в лице Гуровского интеллигентного сотрудника, которому могли на время своего отсутствия доверить руководство иностранным отделом [2]). Далее последовал созыв республиканского конвента для выставления кандидатов в президенты; затем началась избирательная кампания, по своей страстности и интенсивности превзошедшая все, что имело место в этом отношении до тех пор в истории Соединенных Штатов. Можно ли удивляться, что перед лицом всех этих событий «Трибуна» и во втором полугодии 1856 г. уделяла так мало места европейской политике, которая теперь, после парижского мира, снова потекла по спокойному руслу.

Еще в июне 1856 г. Дана, возвратившись из Вашингтона к своей работе, сделал попытку об'яснить Марксу положение дел. После перерыва, продолжавшегося почти семь месяцев, он писал:

«Мой дорогой Маркс, я уже давно собирался написать вам, но в этом мне помешали мои профессиональные и политические обязанности, не оставлявшие мне свободного времени. Дело обстоит так. С окончанием войны, европейские события, и сами по себе уже достаточно монотонные, совсем вытеснены с нашего горизонта более интересными важными событиями в нашей собственной стране. Здесь определяем мы теперь ход истории, бог знает, надолго ли, и мы находимся в состоянии такого возбуждения, как никогда еще с самого начала истории американского народа. При

---

[1]) См. мою статью «Борьба за свободу речи и против рабства» в сборнике «Международный пролетариат и война». Москва, 1919.

[2]) В продолжение первого полугодия 1855 г. Дана провел не один месяц в Вашингтоне.

таких обстоятельствах я был вынужден уволить различных наших европейских корреспондентов и сотрудников, и теперь должен написать вам, дабы выяснить возможную судьбу ваших статей. В течение последних шести месяцев я мог использовать лишь очень незначительную часть присланных вами статей. Так, например, я не мог напечатать ни одной из четырнадцати или пятнадцати статей о панславизме, так как эта тема не настолько интересна для нашей публики, чтобы мы имели право выкинуть другие вещи и очистить место для нее. Статьи о «Crédit Mobilier» я напечатал, как трактующие очень [1]) важную теперь тему, но в своем письменном столе я имею около двадцати статей, которых мы не могли напечатать.

«Я, конечно, ничего не буду иметь против той или другой статьи, если она не подойдет для нас, ибо, при дальности расстояния, этого вряд ли можно избежать, но если таких статей будет очень много, то дело нешуточное и убыточное. Я никоим образом не хочу поставить вас в затруднительное положение, а потому предоставляю вам самому решить, как нам лучше всего урегулировать ваше сотрудничество, которое я очень высоко ценю».

Несмотря на дружественный тон письма Дана, Маркс, который вообще был очень чувствителен во всех вопросах, касавшихся Энгельса,—а, ведь, его друг, по его просьбе, потратил много недель на работу, которая попала в буквальном смысле слова в редакционную корзину,—был слишком сильно раздражен, чтобы принять всерьез эти уверения, в которых он усматривал только отговорку.

И вскоре после того, когда Дана отослал ему все ненапечатанные статьи (август 1856), он, как ему казалось, нашел правильное об'яснение:

«От сотрудника «Путнэма» Ольмстеда [2]) и от одного американского туриста, который был у него»,—так писал он Энгельсу 30-го октября 1856 г.—«я узнал, что некий Гуровский (поляк) приобрел большое влияние на Дана; они же рассказали мне, что этот господин регулярно получает вознаграждение от русского посольства в Вашингтоне. Этот Гуровский защищал панславизм против нас, и

---

[1]) О чем Дана молчал и что стало ясно Марксу впоследствии, когда Дана отослал ему обратно ненапечатанные статьи, так это то обстоятельство, что как раз эти статьи попали — вероятно, вследствие отсутствия Дана, — непосредственно в руки Гуровского: рукописи носили явные следы сделанных им исправлений.

[2]) Известный американский агроном и техник, сотрудник «Путнэмского Обозрения». В «Капитале» Маркс цитирует его рассуждения об отсталости производства, основанного на рабстве (стр. 151).

в нем—единственная причина того, что твоя статья была отвергнута. Господин Дана, отославши мне обратно мою рукопись о придунайских княжествах, забыл стереть пометку на полях, сделанную по-французски тем же Гуровским. А именно, к моим статистическим данным о румынском населении он делает замечание: «Tous ces chiffres sont exagérés pour faire mousser l'idée de nationalité roumaine. Ils sont démentis par les faits, l'histoire, la logique». («Все эти цифры преувеличены, с целью муссировать идею румынской национальности. Они опровергнуты фактами, историей и логикой»). Итак, мы имеем ту честь, что наши статьи просматриваются и цензуруются или, вернее, цензуровались непосредственно русским посольством. Дана все же, в конце концов, раскусил Гуровского».

Когда зимою 1856 года дело пошло еще хуже, и «Трибуна» целыми неделями не печатала ни одной статьи Маркса, он об'яснял эту перемену в «Трибуне» прямым вмешательством Гуровского, состоявшего на жаловании у русского посольства, и готовился порвать с «Трибуною».

Мы предоставляем будущему историку российской охранки, внутренней и заграничной, исследовать вопрос о том, действительно ли Гуровский действовал по поручению русского правительства.

О том, что последнее имело у себя на службе очень талантливых ренегатов, Маркс знал весьма хорошо. Таким, например, оказался его старый знакомый Толстой, с которым он и Энгельс находились в Париже в сороковых годах в дружественных отношениях [1]).

Имеющиеся в нашем распоряжении данные, не дают основания полагать, что Гуровский в пятидесятых годах, после своего второго бегства из России, был платным агентом русского правительства.

Его позиция в «Трибуне» может быть об'яснена и без этой гипотезы.

Ничего удивительного не было и в том, что после смерти Николая он помирился с новым «либеральным» правительством Александра II. Он мог это сделать вполне искренно, легче, чем многие другие, которые никогда не были ренегатами.

Вскоре Маркс убедился, что Дана не «раскусил Гуровского». Действительное положение дел в редакции оставалось ему неизвестным, несмотря на разоблачения Ольмстеда и его попутчика.

---

[1]) См. мою работу: «К. Маркс и русские люди сороковых годов». Помещена в этом сборнике.

Если Гуровский, помимо своих неоспоримых достоинств, имел, кроме того, еще в составе редакции верного друга и покровителя, то это был скорее диктатор «Трибуны» Грили, а не Дана [1]). Но и последний очень ценил Гуровского, как сотрудника. Когда Дана в 1857 г. вместе с Грили начал издавать большую американскую энциклопедию, Гуровский сделался одним из ее главных сотрудников, на ряду с Марксом, как он вместе с ним же, вернее, с Энгельсом, сотрудничал в журнале «Путнэма», ведя там свою русофильскую пропаганду столь же ревностно, как в «Трибуне». Его имя в американской литературе становилось все более известным, особенно после появления его книги «Америка и Европа». Более того. Его положение в «Трибуне» оказалось гораздо более прочным, чем положение самого Дана. Поступив при новом республиканском правительстве на государственную службу, он продолжал свое сотрудничество в «Трибуне»; когда он умер от тифа, 4-го мая 1866 г., Грили посвятил ему очень тепло написанный некролог [2]).

Кризис в отношениях Маркса к «Трибуне» достиг своего апогея зимою 1856—1857 гг. Разрыв казался неизбежным. И только случайность привела к тому, что немедленно после этого для Маркса наступил период такого же интенсивного сотрудничества в «Трибуне», как и в 1852 — 1854 гг. Роль «спасителя в нужде» сыграли Дана и новый поворот в европейской политике.

---

[1]) В 1858—1859 гг. в московском журнале «Вестник Промышленности» появилось несколько писем Гуровского об Америке. Одно из них посвящено периодической печати в Нью-Йорке. О Грили он отзывается крайне восторженно; это не мешает ему сделать выпад против Мак-Эльрата и заметить, что коммерческий дух, отличающий все американские газеты, сильнее всего развит в «Трибуне», которая хуже всех оплачивает своих сотрудников и редакторов.

[2]) «Человек глубокой и разносторонней учености, страстный политик, который больше всего любил человечество и справедливость и с яростной ненавистью боролся против всякого угнетения и лжи, он перенес в своей жизни много крупных несчастий, но никогда не могли они сломить его духа и омрачить нежность его характера, который, несмотря на свою революционную оболочку, был женственно-мягким и любвеобильным». Другие отзывы о нем, относящиеся к американскому периоду его жизни, носят такой же характер. Это доказывает, без сомнения, что Гуровский не принадлежал к обыкновенному типу продажных агентов. Вообще ему было совершенно чуждо вероломство ренегатов. В истории революционной эмиграции встречаются и другие примеры таких «психологических загадок». И не только в истории польской или русской эмиграции, как лучше всего показывает пример Бухера, у которого было что-то общее с Гуровским.

К. МАРКС И ВЕНСКАЯ „ПРЕССА“

Уже из писем Лассаля к Марксу, изданных Рингом, был известен тот факт, что в 1859 г. старая венская «Пресса» вступила через посредство Лассаля в переговоры с Марксом с целью привлечь последнего в качестве иностранного корреспондента. Эта попытка, однако, потерпела крушение по той причине, что, как утверждает Меринг, на основании одного письма тогдашнего редактора «Прессы» Макса Фридлендера, «Пресса» поставила условия, которые для Маркса были неприемлемы и в которых Меринг усматривает «отвратительную эксплоатацию и кичливость» [1]).

Мы не имеем охоты брать старую «Прессу» под свою защиту. Настоящий издатель «Прессы», Август Цанг, вел свое газетное дело на основе тех же «принципов», как и свою знаменитую булочную в Париже в 1848 году, доставившую ему большое состояние. Шла ли речь о булочках или о газете, для Цанга дело всегда оставалось делом. «Отнюдь не склонный одушевляться идеальными политическими стремлениями, он старался всегда только возможно больше повысить доходность газеты: для своей газеты он считал единственно правильною такую политику, с которою, по его выражению, он больше всего мог бы «делать деньгу». Он открыто заявлял, что его идеалом является газета, которая не содержит ни одной неоплаченной строчки, в которой даже английская королева должна была бы публиковать свою тронную речь. Его не совсем несправедливо назвали отцом продажной прессы» [2]).

Отвратительным «эксплоататором Цанг был и в своей газете. Всегда готовый усиленно расширять техническое оборудование и сбыт газеты, дабы абонент получал его газету к утреннему кофе

---

[1]) «Briefe von Ferdinand Lassalle an Karl Marx». Herausgegeben von F. Mehring. Stuttgart, 1902, S. 214—215.

[2]) L. Salomon. «Geschichte des Zeitungswesens von den ersten Anfangen bis zur Wiederaufrichtigung des deutschen Reiches». Band III, S. 643—644. Сравни также: Julius Flöbel, «Ein Lebenslauf», Stüttgart, 1891, Band II, S. 336. «Господин Цанг, тот самый, который был настолько совестлив, что отослал обратно одной из боровшихся партий взятку в 30.000 гульденов, так как он дал подкупить себя противной стороне за сумму в 50.000 гульденов». Возможно, что это была сплетня, но очень характерная для Цанга.

столь же аккуратно и в таком же свежем виде, как и любимые булочки, он не жалел никаких средств для всяких улучшений в области газетного дела; но он столь же беспощадно экономил на заработной плате и за минимальное вознаграждение эксплоатировал в газете рабочую силу своих рабочих и редакторов.

«Цанг никогда не понимал в политике других интересов, кроме коммерческих. Поощряемый успехом парижской «Прессы», руководимой ловким журналистом и бессовестным бардом парижского мещанства Эмилем де-Жирарденом, Цанг, в отличие от своего образца, вынужден был передать политическое руководство газетою другим людям. В год революции «Пресса» вела горячую борьбу с радикальною журналистикою и сделалась любимым органом умеренной либеральной буржуазии, ратовавшей против всяких «эксцессов». После того, как контр-революция победила по всей линии, и в Вене об'явлено было осадное положение, «Пресса» перекочевала в Брюнн. Когда в 1851 году Цанг получил разрешение опять издавать газету в Вене, все его радикальные конкуренты уже исчезли со сцены. На мрачном фоне политической реакции «Пресса» представляла единственный светоч оппозиции. Умелое отстаивание коммунальных и местных интересов обеспечило «Прессе» симпатии публики. С упадком оппозиционных настроений среди буржуазии, начиная с середины пятидесятых годов, «Пресса» стала радикальнее. И, когда в 1856 году Цанг привлек к своей газете двух новых редакторов. сперва Михаэля Этьена. а позднее Макса Фридлендера» [1]). «Пресса»,—по словам оффициального историка австрийской печати,—быстро заняла первое место во главе либеральной журналистики, как «самая большая газета в Австрии, наиболее значительная по содержанию, влиянию и тиражу» [2]).

Необходимо припомнить, что и в Германии в это время могли процветать только такие либеральные газеты, как, например. «Nationalzeitung» Цабеля, всегда готовая к самой низкой клевете против представителей пролетарской демократии. или прогрессивная «Berliner Volkszeitung», которая только очень вяло и нерешительно отстаивала демократические принципы.

Было еще одно обстоятельство, привлекавшее внимание Маркса и его друзей к «Прессе». В лице Макса Фридлендера, в ее редакцию вступил не только родственник Лассаля. в то время еще связанный с ним дружбою, но также один из главных редакторов

---

[1]) «Erinnerung au D-r Friedländer». Als Manuscript gedruckt. Wien. 1883. Richter H. M. «Die Wiener Presse» в «Wien 1848 bis 1888», B. II, SS. 442—444.

[2]) S. Winckler. «Die periodische Presse Oesterreichs». Wien, 1875, S. 102.

«Neue Oder Zeitung» («Новой Одерской Газеты»), которая только в конце 1855 года прекратила свое существование.

Вместе с д-ром Штейном и М. Эльснером, старым другом Вильгельма Вольфа, с именем которого Маркс связал свой «Капитал», Макс Фридлендер перенял «Новую Одерскую Газету», с целью удержать за демократическою партиею тот единственный орган, который еще сохранял традиции революционного года и играл значительную роль в борьбе с реакцией. Деньги они частью дали из собственных средств, частью достали путем займа. Как заявил Эльснер в качестве ответственного редактора от имени редакции, они сделали все, что было в их силах, для улучшения газеты, приглашения новых сотрудников, в том числе Карла Маркса в Лондоне; также заботились они об улучшении внешнего вида газеты. «Так как мы не имели никаких средств, кроме уже уплаченных, то мы решили ничего не брать для нас самих из кассы, пока не будут обеспечены прежде всего суммы для рабочего персонала, на арендную плату за необходимые помещения, за корреспонденции и бумагу» [1]).

Но все эти жертвы и усилия пропали даром. Отказ пересылать газету по почте, лишение всех правительственных и судебных об'явлений, немилость властей, судебные следствия и приговоры, штемпельный налог, запрещение продавать газету на вокзалах,—всего этого было более, чем достаточно, чтобы нанести «Новой Одерской Газете» смертельный удар.

Маркс сотрудничал в «Новой Одерской Газете» и, с перерывом в апреле, посылал еженедельно две, а очень часто три, корреспонденции [2]).

При описанных условиях оплата была далеко не блестящей. Новая редакция не могла платить ему более 30 талеров в месяц [3]). Но зато она не чинила ему никаких других затруднений, и Марко мог невозбранно подвергать беспощадной критике как хозяйничанье Бонапарта во Франции, так и мнимо-либеральную политику Пальмерстона в Англии.

Разумеется, Марксу была хорошо известна та роль, которую в редакции «Новой Одерской Газеты» играл Макс Фридлендер. Возможно, что и тогда Маркс получил приглашение сотрудничать через посредство Лассаля. Так, Лассаль писал Марксу 7-го января 1855 г.: «О моем родственнике (т.-е. Фридлендере) я ничего не слыхал с тех пор, как написал тебе последнее письмо. Но недавно я

[1]) «Neue Oder Zeitung», Breslau, 31 Dezember 1885. Letzte Nummer.

[2]) K. Marx. «Eine Massenaction im Jahre 1855». Mit Vorbemerkung von Riasanoff. «Neue Zeit» XXXI, B. I, SS. 6—16.

[3]) **Из письма Эльснера к Марксу от 4 сентября 1855 г.**

нашел в «Новой Одерской Газете» корреспонденцию из Лондона, которая и по стилю и по построению должна исходить во всяком случае, от тебя. И потому я заключаю, что все в порядке» [1]).

К сожалению, не все письма Фридлендера к Марксу сохранились. Из писем Лассаля к Марксу видно, что сделанная в 1859 г. попытка привлечь его в качестве иностранного корреспондента для «Прессы» не была первою. Так, в письмах 1858 года мы находим указания, дающие возможность заключить, что Фридлендер уже обращался однажды к Лассалю по поводу Маркса. 9-го марта 1858 года Лассаль пишет: «Моему родственнику я на-днях сообщу твое предложение», и 26-го марта он сообщает Марксу: «От моего родственника я надеюсь скоро получить ответ».

Некоторый свет на этот вопрос бросает переписка Маркса с Энгельсом. В середине декабря Маркс получил от Лассаля письмо, к которому приложено было и письмо от Фридлендера [2]). Маркс отослал оба письма Энгельсу и написал ему (22-го декабря 1857 года):

«Фридлендеру я ответил через Лассаля, что я настроен «антифранцузским образом» но не менее того «антианглийским» образом, и менее всего могу писать для «лорда Пам» [3]). Таким образом, я это дело отклонил». Он прибавил, что согласился бы сотрудничать в том случае, если бы от него требовалась только статья о состоянии рынка. «О политике в данном случае не может быть и речи».

Дело, следовательно, кончилось ничем.

В марте 1859 года Фридлендер возобновил свои попытки, и опять через Лассаля. Марксу предлагалось посылать из Лондона телеграммы.

«Мой родственник опять возвращается к своему предложению, чтобы ты посылал ему письма для «Прессы». «Пресса» имеет теперь 24.000 абонентов и представляет, по его словам, самый демократический орган в Австрии, который выступает во всех отношениях решительно враждебно против правительства и именно этому обязан своим большим успехом. В материальном отношении эта газета не останавливается ни перед какими издержками и потому охотно могла бы использовать для себя самые выдающиеся духовные силы. Содержанием твоих писем мо-

---

[1]) «Briefe von Lassalle an Marx», S. 94.

[2]) Оба письма Лассаля и Фридлендера до сих пор в литературном наследстве Маркса и Энгельса не найдены.

[3]) Пальмерстон. Вероятно, Фридлендер, которому отношение Маркса к Пальмерстону было хорошо памятно по «Новой Одерской Газете», ставил некоторые условия, неприемлемые для Маркса.

гло бы быть: бог и мир, т.-е., все, что угодно. Сегодня одно, а завтра другое. Все, что тебе кажется интересным. Твой гонорар составит всегда 24 франка за письмо, независимо от его размеров. Что касается числа писем, то, если тебе угодно, ты можешь писать ежедневно и можешь ничего не писать целый месяц. Условия, следовательно, в высшей степени выгодные».

Одновременно Фридлендер пригласил Лассаля писать корреспонденции из Берлина. Возможность подвергать прусское хозяйство, министерство палаты «какой угодно резкой и уничтожающей критике,—ибо по отношению к Пруссии «Пресса» в Австрии могла быть весьма решительною,—тем более привлекала Лассаля, что в Берлине и во всей Пруссии нельзя было найти ни одной газеты, редакция которой дала бы ему подобное разрешение. Для Лассаля было только вопросом, может ли он, в отличие от Маркса, который мог «сообщать из Лондона много фактического и информационного материала»,—вести принципиальную политику в такой газете, которая в общем не соответствует его позиции. И он просит Маркса, одно время следившего за «Прессою», сообщить ему, принимает ли он предложение Фридлендера для себя и что он советует ему, Лассалю.

Маркс предложение принял. 8-го апреля 1859 года Лассаль ему сообщает:

«В связи с твоим последним письмом относительно «Прессы», я только два дня тому назад мог написать своему родственнику... Ответ ты получишь непосредственно от него».

Этот ответ находится в следующем письме Фридлендера к Марксу:

«Глубокоуважаемый господин!

«После того, как Ф. Л. из Берлина сообщил мне о вашем согласии посылать для «Прессы» письма и телеграммы, я обращаюсь теперь опять непосредственно к вам, чтобы условиться о деле. Что касается, прежде всего, ваших корреспонденций, то мне приходится только обратить ваше внимание на очень строгие условия, налагаемые на нас здешнею обстановкою. «Пресса»—либеральная газета, но лишь постольку, поскольку это дозволено в Австрии. Этого вы не должны забывать ни на одну минуту, и я полагаю, что чтение нашей газеты, аккуратно получаемой вами, согласно вашему желанию, даст вам наилучший масштаб на этот счет, как и на счет тона, размеров и т. п. писем. Так как новостей вы писать не будете, то мы, в виде общего правила, ограничимся одним письмом от вас еженедельно, что не исключает более частых писем по особенным поводам, по вашему усмотрению. Гонорар

установлен для вас, в виде исключения, в сумме двадцать франков за письмо».

Далее следуют чисто технические указания на способ отсылки телеграмм—выбор линий, категории известий, подлежащих отправке телеграфным путем, время отсылки и т. п. В качестве гонорара за телеграмму редакция предлагает десять франков и, разумеется, возмещение телеграфных расходов. «Как только вы сообщите нам о принятии этих условий,—заканчивает Фридлендер,—«вы можете получить, по вашему желанию, аванс. Пока же просим вас незамедлительно начать вашу работу».

Но дело еще затормозилось. Маркс принял предложенные ему условия, но хотел, прежде всего, урегулировать иным образом возмещение телеграфных расходов. «Фридлендер писал мне 12 апреля, но забыл главное, а именно—указать банкирскую контору. Вместо этого он говорил об «авансе». Последнее нелепость. Еженедельно требуются на телеграммы 8—10, а часто 15 фунтов стерлингов... До сих пор никакого ответа, хотя он аккуратно присылает мне венскую «Прессу» (в настоящее время она имеет, по ее собственным словам, 26.000 подписчиков). Вчера я написал Лассалю громовое письмо. Возможно, однако, что замедление об'ясняется трудностью для Фридлендера упорядочить при теперешних треволнениях денежные дела в Вене» [1]).

Но ответа все еще не приходило. Вместо него Маркс получил от Лассаля письмо, в котором он сообщал ему о своем разрыве с Фридлендером и своем решении ни при каких условиях не вступать с ним больше в литературные сношения. Произошло это не из-за Маркса. Ибо, по словам самого Лассаля, он, еще до получения письма Маркса, написал Фридлендеру, что «в виду продолжительного неполучения «Прессы» он вынужден считать всякие сношения с нею прекращенными».

Трудно определенно сказать, по какой собственно причине Лассаль порвал с Фридлендером. Невероятно, чтобы он сделал это из-за неполучения «Прессы». И Фридлендер не был таким человеком, который безо всякого основания, и после того, как он, по словам Лассаля в его прежних письмах, так старался привлечь последнего к сотрудничеству, изменил бы свои намерения, и притом столь не «деловым» образом.

Марксу все это дело казалось тем более загадочным, что, как видно из его писем к Энгельсу, он был убежден в том, что Лассаль, еще раньше последовавшего со стороны Маркса согласия, начал посылать корреспонденции в Вену. «Лассаль не знает, что я еже-

---

[1]) Из письма к Энгельсу от 6 мая 1859 г.

дневно получаю «Прессу», некоторые выдержки из которой при сем тебе посылаю, и по этой газете узнал, что до своего письма он продолжал печатать в ней свои корреспонденции». Насчет «Прессы» он был также другого мнения. «Что касается «тенденции», за которую он,—как он пишет,—«ругал Фридлендера, то это нелепость. Для австрийской газеты в данных условиях «Венская Пресса» редактируется умело и прилично...»

И он требует, чтобы Лассаль, начавший все дело, об'яснил ему загадочное молчание Вены.

Об'яснения он не получил. Фридлендер более не отвечал. И в позднейшем письме к Энгельсу (от 1-го июня 1859 г.) Маркс следующим образом разрешает эту загадку: «Лассаль, естественно, поучал Фридлендера насчет тенденции не только от своего имени, но и от моего. Фридлендер полагает, что я составляю с Лассалем единое тело и единую душу. Поэтому, естественно, он считает невозможным, чтобы я мог в теперешних условиях писать для венской газеты. «Венская Пресса» ежедневно содержит скрытую полемику против берлинцев. Так, например, в передовой от 29-го мая читаем: «Но можно ли требовать чувства национальной чести от тех спекулятивных голов, которые в Наполеоне III усматривают карающую руку истории и в его мнимой гениальности, якобы, освобождающей народы, видят с удовольствием отражение беспощадности, педантизма и бесплодности своего собственного категоризирующего рассудка». Уже та настойчивость, с которою Лассаль убеждал меня не писать более его родственнику, доказывает, что этот малый действовал **также от моего имени**».

В настоящее время трудно установить, был ли Маркс прав в этих своих предположениях. Это могло бы быть установлено только на основании переписки между Лассалем и Фридлендером. Мы лично полагаем, что Маркс не ошибался, усматривая авторство Лассаля в некоторых берлинских корреспонденциях «Прессы» [1]). И Маркс был вполне прав, отказываясь об'яснять неожиданное решение Лассаля «бросить к чорту» Фридлендера упорным неже-

---

[1]) К таковым, вероятно, принадлежит: «Die Presse», № 62, Donnerstag den 17 März 1859: «Mobilmachung im Herrenhause»; № 72, Mittwoch den 30 März «Der Kongress, die Revolte von ihm, die Revolution nach ihm, Herrn Bismark nachgelassene Werke»; № 79, Donnerstag den 7 April 1859: «Geheime Geselschaften in Preussen»; № 82, Sonntag den 10 April 1859: «Die Universitäten in der Mause, Schönlein und seine Nachfolger»; № 88, Sonntag den 17 April 1859: «Der Krieg im Innern»; № 89, Dienstag den 19 April 1859: «Der Patriotismus der «Kreuzzeitung»; № 93, Sonnabend den 23 April: «Die preussische Manifestation»; № 94, Sonntag den 24 April: «Das preussische Ehegesetz». Некоторые из перечисленных статей написаны, несомненно, Лассалем.

ланием последнего присылать ему «Прессу». На время от марта 1859 г., когда Лассаль приглашал Маркса и сам выразил согласие писать для «Прессы», до середины мая 1859 года, когда он отзывался о своем родственнике в таких выражениях, которые Меринг опускает, как непечатные, приходится начало итальянской войны. И хотя Лассаль не был сторонником Велико-Пруссии, но для великогерманца Фридлендера программа Лассаля в его сочинении «Итальянская война и задача Пруссии» была столь же неприемлема,—хотя и по другим основаниям,—как и для Маркса и Энгельса. Следовательно, если Фридлендер полагал, что Маркс разделяет взгляды Лассаля и что Лассаль,—как он сам пишет,—«ругал его также от имени Маркса», то он мог думать, что, при изменившихся условиях, сношения с австрийскою газетою невозможны и для Маркса.

Как бы то ни было, но и вторая попытка привлечь Маркса в качестве корреспондента «Прессы» не удалось, как и первая.

Но она не была последнею.

В конце 1860 г. Маркс напечатал свой блестящий памфлет против «господина Фогта», в котором он в рамках уничтожающей критики бонапартистско-австрийской политики бывшего имперского регента развивал свои взгляды на «германский вопрос» и проводил резкую демаркационную линию между революционною пролетарскою и буржуазною демократией. В начале 1861 г. Маркс поехал в Голландию, а оттуда в Германию, где, между прочим, задержался на более долгое время в Берлине, чтобы обсудить с Лассалем вопрос об основании в Берлине большой газеты. При этом случае он познакомился с асессором Юлиусом Фридлендером, братом Макса Фридлендера. Убедился ли Маркс в том, что его прежние предположения были правильны или нет, но, во всяком случае, он заявил, что при известных условиях готов быть корреспондентом «Прессы». Юлиус Фридлендер написал своему брату, и в начале июня Маркс получил от него подробное письмо:

«Я сам в своем письме в Вену ясно указал, что вы никоим образом не позволите предписывать вам условия насчет ваших корреспонденций и лишь одно, разумеется, будете принимать во внимание, а именно, что ваши статьи, самостоятельно трактующие об Англии и американских неурядицах, предназначаются для Австрии. Надеюсь, уважаемый господин доктор, что таким образом я действовал вполне в духе ваших намерений, и с уверенностью полагаю, что завязываемые теперь вновь сношения окажутся длительными и, в частности, приятными для вас. При этом позволю себе заметить, что в настоящее

время печать пользуется в Австрии, по меньшей мере, такою же свободою, как у нас, и что политический интерес носит гораздо более живой и широкий характер, так что и в этом направлении ваша работа для венской «Прессы» (30.000 подписчиков) должна быть более благодарной» [1]).

В приложенном письме Макс Фридлендер сообщал Юлиусу, что он гарантирует Марксу «блестящий гонорар», а именно—1 фунт стерлингов за статью и 10 шиллингов за письмо. Маркс приглашается писать немедленно, по его усмотрению.

Но дело не пошло так быстро. Новое знакомство с «Прессой» возбудило у Маркса новые сомнения. То было время, когда во Франции требовали «такой же свободы, как в Австрии». По сравнению с октябрьским дипломом, февральские законы казались не очень избалованным австрийцам вполне конституционными. И «Пресса», редакторы которой были убежденными централистами, тоже разделяла энтузиазм, с которым встречено было министерство Шмерлинга.

Но этот энтузиазм продолжался не очень долго. Венской буржуазии и прессе пришлось скоро дорого заплатить за все прелести мнимого конституционализма Шмерлинга. В особенности отношение «отца конституции» к печати было менее всего либеральным. Полицейские меры и придирки сыпались, как из рога изобилия.

И «Пресса» таким образом стала опять оппозиционною [2]).

28 сентября 1861 года Маркс, которому позиция Шмерлинга в германском вопросе так же мало приходилась по вкусу, как и его мнимый конституционализм, пишет своему другу Энгельсу в Манчестер:

— «Венская «Пресса», как я вижу из вчерашней корреспонденции «Таймса», выступила, наконец, против Шмерлинга, и теперь, быть может, окажется возможным вступить в сношения с этою газетою».

После этого Маркс письмом запросил у Фридлендера более точных сведений. И в позднейшем письме (от 30-го октября 1861 года) он сообщает Энгельсу результат. «Приблизительно три недели тому назад я получил ответ, который п о л и т и ч е с к и

---

[1]) Письмо Юлиуса Фридлендера Марксу от 7-го июня 1861 года.

[2]) Ср. «Oesterreichs Politik in Deutschland» («Die Presse», 3 August 1861) против «Donau-Zeitung» и передовую (4 августа 1866 г.) о проекте закона о печати Шмерлинга. Ю. Фребель, об'ясняющий эту перемену позиции личными интересами Цанга, приписывает последнему следующие слова: «Я посадил его (Шмерлинга) на министерское кресло, я же опять его сброшу». Цит. соч., SS. 335—336. Не надо забывать, что Фребель находился на службе у Шмерлинга.

был для меня вполне достаточен. (За истекшее время газета видоизменила свою позицию по отношению к Шмерлингу). Одновременно Фридлендер (из-за своего хозяина Цанга) потребовал у меня двух пробных статей. Я доставил их и вчера утром получил ответ, 1) что статьи появились на первой странице газеты с надлежащею рекламою, 2) что с ноября я состою сотрудником с гонораром в 1 фунт стерлингов за статью и 10 шиллингов за корреспонденцию».

Так начал Маркс корреспондировать в «Прессу», но на этот раз при дурных предзнаменованиях. Первое письмо Фридлендера, упомянутое Марксом, в бумагах его не найдено, но уже один тот факт, что теперь Фридлендер, ссылаясь на своего патрона, требует от Маркса пробных статей, доказывает, что в это время он уже не чувствовал себя в «Прессе» так прочно, как раньше. Возможно, что уже намечался позднейший разрыв его с ославленным «газетным пашою» [1]).

Эта неуверенность заметна и во втором его письме. Если раньше он говорил только о «строгих условиях», налагаемых на «Прессу» политическою обстановкою», то теперь он выдвигает другие «строгие условия», имеющие совсем иной характер. «Пресса», которая была раньше «демократическою» и боролась за весь «народ», сделала, наконец, выбор между различными классами этого «народа» и стала органом буржуазии sans phrase.

«Из сегодняшнего письма вы узнаете», — пишет Фридлендер 25 октября 1861 г.,—«что мы напечатали ваше письмо без всяких изменений, на первой странице, и со специальною рекламою в пользу автора.

Не могу, однако, скрыть от вас, что принятие статей такого размера возможно для нас только в виде исключения. Насчет иностранных дел мы должны быть очень скупы, и в среднем вы должны ограничить свои письма, самое большее, четырьмя страницами вашей рукописи. Полагаю, что вам легко будет это устроить.

Кроме американских, мы желаем получить от вас гораздо больше английские отчеты в привычной вам форме, как вы посылали в свое время таковые в «Одерскую Газету». Не пошлете ли вы нам также время от времени кое-что для фельетона? Я нарочно воздерживаюсь от всяких указаний насчет вашего выбора и думаю, что на практике мы лучше всего научимся понимать друг друга.

---

[1]) Ср. L. v. Przibran, «Erinnerungen eines alten Oesterreichers». Stuttgart, 1910, SS. 106, 107, 123.

Но вы никогда не должны забывать того, что вы пишете для австрийской газеты, хотя вполне независимой, но не имеющей никакой опоры среди буржуазии; если не упускать этого из виду, то либерализм имеет у нас очень широкие рамки. Разумеется, наше австрийское подданство позволяет нам вполне решительно выступать против Наполеона III, а также не слишком церемониться с Пруссией и Россией. В иностранной политике антибонапартизм составляет наш основной характер».

Это письмо, несмотря на выгодные гонорарные условия, отнюдь не было многообещающим. Свою деятельность корреспондента Маркс открыл блестящею статьею об американской гражданской войне.

Он послал также письмо об английской хлопчато-бумажной промышленности, которая начинала уже терпеть от сократившегося подвоза хлопка,—более терпели рабочие, чем предприниматели.

Но вскоре он заметил, что часть его статей «Прессою» не печатается. Сперва он думал, что вина за это лежит на нем самом. «Конечно, я должен еще сперва привыкнуть,—писал он Энгельсу 9 декабря 1861 г.,—действовать в пределах границ германского разума». И из газеты он видел, что «Пресса» придает его корреспонденциям большое значение. Но в декабре дело ухудшилось. «Жалкая «Пресса»,—пишет он Энгельсу 27 декабря 1861 г.,—печатает едва половину моих статей. Они ослы. Мне любопытно узнать, как они будут платить, и стоит ли мне писать отдельные статьи на предмет «спекуляции» или нет».

Дело скоро об'яснилось. В начале января 1862 г. Маркс получил следующее письмо:

«Многоуважаемый господин и друг!

«При сем редакция посылает вам пятнадцать фунтов стерлингов за пятнадцать напечатанных в «Прессе» писем. Из газеты, аккуратно посылаемой вам, вы увидите, что часть ваших корреспонденций не принята. Это имело место отчасти тогда, когда письма ваши казались нам неподходящими для нашей публики, но большею частью тогда, когда вы распространялись о таких материях, которых мы, осаждаемые более интересными для нас темами, не можем дать нашим читателям (например, о мексиканских делах).

«Однако, вы делали в этом отношении промахи только в первое время, и теперь я замечаю, что вы сами нашли, что именно нам нужно. Я приглашаю вас продолжать в том же духе и при этом иметь всегда в виду австрийскую буржуазную публику, а

равно считаться с размерами нашей газеты. Не согласитесь ли вы, быть может, прислать что-нибудь для нашего фельетона? В «Кельнской Газете» вы можете прочесть полемику, в которой Л. Бухер разоблачается, как наш лондонский корреспондент, что им опровергается.

«Вена, 7-го января 1862 года.

С дружеским приветом ваш д-р Фридлендер».

Можно поверить Фридлендеру, что «статьи Маркса часто не подходили для читателей «Прессы», но не менее часто они встречали оппозицию и среди самой редакции. В знаменитой истории с «Трентом» [1]), которая, как тогда думали, могла привести к войне между Англией и Северо-Американскими Штатами, Маркс с самого начала отстаивал тот взгляд, что вся эта история представляет блефф со стороны Пальмерстона, и он оказался прав. Но редакция «Прессы», т. е. Михаэль Этьенн, главный редактор иностранного отдела, всецело шел на буксире господствующих взглядов и очень неохотно предоставил слово лондонскому корреспонденту. Также нельзя было требовать от тогдашней редакции «Прессы», чтобы она уже в 1861 г. поняла всемирно-историческое значение мексиканского вопроса, который находился в зачаточной форме и еще не сделался «интересным для нас вопросом» [2]).

Надежда Фридлендера, что теперь Маркс сам нашел то, что требуется для газеты, не оправдалась, однако, и впоследствии. Число статей, напечатанных за время от 10 января до 3 марта 1862 г., не превышало шести. Маркс, которому необходимо писать на предмет «спекуляции»,—«независимо от того, удостоит ли любезная редакция напечатать данную статью или нет»,—причиняла потерю времени и досаду, пишет поэтому Энгельсу 16-го марта 1862 г.:

«Я должен написать этим господам из «Прессы», что необходим новый договор. Мне безразлично, что лучших статей они не печатают (хотя я *всегда* пишу так, что они могут печатать). Но с денежной точки зрения недопустимо, что из четырех—пяти статей они печатают и оплачивают только одну. Благодаря этому, я получаю меньше, чем построчные репортеры».

В это время Маркс писал еще для «Нью-Иоркской Трибуны». Правда, благодаря американской гражданской войне, эта работа

---

[1]) Пакетбот «Трент», на котором отправились в Европу эмиссары рабовладельческих штатов, Mason и Slidell, был задержан американским капитаном Уилксом, а оба эмиссара забраны им в плен.

[2]) Из писем Маркса видно, что редакция не напечатала в числе прочих также статью о продвижении русских в Азии.

в 1861 г. была прервана на несколько месяцев. Но он возобновил ее почти одновременно с началом своего сотрудничества в «Прессе». Эта работа, однако, продолжалась недолго. В начале апреля 1862 г. он получил известие, что Дана вышел из редакции «Нью-Йоркской Трибуны» и что он должен прекратить посылку корреспонденций из Англии [1]). Тем самым Маркс лишился главного источника своих доходов и, как он сам писал после Кугельману, вынужден был взять на себя множество мелких работ, дабы не очутиться с семьей своей на улице.

При этих изменившихся условиях тем большую необходимость представлял новый договор с «Прессою». Вероятно, он написал в таком духе, желая раз навсегда выяснить этот вопрос. В ответ он получил от Фридлендера следующее письмо:

«Уважаемый друг! Гонорар, к сожалению, не слишком большой, будет вами получен. Надеюсь, что за эту четверть года я смогу прислать вам больше. Промышленная выставка могла бы дать такую возможность, и я предлагаю вам написать нам о ней. Правда, мы будем иметь в Лондоне также австрийских корреспондентов, а описать что-нибудь специальное, относящееся к нашему отделению, вам будет трудно, но мы очень хотели бы получить от вас общие статьи о выставке. Мы охотнее всего поместили бы их в виде фельетона, чем для вас все уже сказано. Это, однако, не исключает того, чтобы вы, если чувствуете себя призванным к тому, написали на эту тему также какую-нибудь передовую статью. Я жду вашего скорого сообщения о том, можем ли мы расчитывать на ваши корреспонденции подобного рода. Каждое такое письмо было бы оплачено суммою в 1½ фунта стерлингов. Постарайтесь, прошу вас, отослать ваше первое письмо о выставке в день открытия, дабы этим покончить с торжеством открытия. Ожидая скорого вашего ответа, остаюсь с глубоким уважением

Ваш д-р Макс Фридлендер.

«Вена, 7-го июля 1862 г.».

Добрый Фридлендер, вероятно, думал, что его предложение как нельзя более подходит. И к тому же 1½ фунта стерлингов за статью!

К сожалению, он не имел ни малейшего представления о лондонских условиях.

Знаменитая международная выставка 1862 г. должна была и в своем торжестве открытия представлять бесстыдное поклонение маммоне. Управление выставки не постеснялось потребовать даже

---

[1]) Письмо Дана к госпоже Маркс от 28 марта 1862 г.

от всех приглашенных гостей сезонного билета, ценою в пять гиней. Более того. Даже экспоненты должны были заплатить за сезонный билет, если хотели участвовать в торжестве открытия. Только угроза закрыть киоски заставила управление отказаться от этого требования. И для всех гостей был предписан обязательный парадный костюм, как для придворного бала [1]).

Когда Маркс сообщил Максу Фридлендеру о положении дел, последний видоизменил свое предложение следующим образом:

«Многоуважаемый господин и друг! Предлагая вам написать несколько статей о выставке, я не имел в виду получить, так сказать, корреспондента, а хотел только получить несколько основанных на личных впечатлениях статей на эту тему, которые, как я полагал, будут превосходно написаны вашим пером. Настоящие же корреспонденции я должен был оставить для репортеров, выезжающих отсюда. Так обстоит дело и поныне, и потому я приглашаю вас вторично написать для «Прессы» четыре—шесть статей, с гонораром в два фунта за каждую; только в отношении первой статьи я указываю вам, что желательна, выражаясь языком журналистов, статья по поводу открытия, в отношении же остальных статей вы можете действовать по своему усмотрению. Вообще же я хотел бы, во что бы то ни стало, сохранить с вами сношения. Пишите нам дважды в неделю на темы, не совсем чуждые нам, и вы можете быть уверены, что ничто не останется ненапечатанным, ибо только избыток материала часто заставляет нас оставлять некоторые ваши письма неиспользованными. Вероятно, я буду иметь честь видеть вас в продолжение этого лета. Пока расчитываю на вашу статью об открытии в день такового.

«Вена, редакция «Прессы», 22-го апреля 1862 г.

«С дружеским приветом ваш д-р Макс Фридлендер».

Но и в такой форме предложение было для Маркса неприемлемым.

Он не имел никакой охоты написать хотя бы одну, «выражаясь языком журналистов, статью по поводу открытия» и обещал только при случае, между прочим, несколько статей о выставке.

Нам неизвестно, был ли Фридлендер в Лондоне и имел ли встречу с Марксом. Несмотря на всю его добрую волю, которой нельзя отрицать, статьи Маркса в «Прессе» и в дальнейшем носили только спорадический характер. И Маркс посылал теперь,

---

[1]) L. Blanc, «Lettres sur l'Angleterre (1862)». Paris, 1866, том II, стр. 21—44.

согласно письму Фридлендера, только одну статью в неделю. Его корреспонденции становятся все реже. На их месте все чаще появляются корреспонденции Юлиуса Роденберга, несомненно, гораздо более подходящие для читателей «Прессы», чем богатые содержанием письма Маркса. Новый поход Гарибальди дает ему еще материал для нескольких статей о митингах в честь Гарибальди, происходивших в Англии. И, быть может, специфическому интересу собственника «Прессы» к успехам хлебопечения мы обязаны превосходною статьею о достижениях крупного производства в хлебопекарном деле.

Последнюю статью Маркса, которую мы могли точно установить, представляет письмо «Zur Lage in den Südstaaten» («К положению в южных штатах»), появившееся 4-го декабря 1862 года. Маркс порвал окончательно с «Прессою». Его краткое сотрудничество в этой газете было неудачно и иным быть не могло. Давно уже миновало то время, когда вождь пролетарской демократии мог сотрудничать в органе либеральной демократии.

«ИСПОВЕДЬ» КАРЛА МАРКСА

I.

«Чудище обло, озорно, стозевно и лаяй». Таким был Маркс, если верить его принципиальным противникам. Мрачный и угрюмый революционер, черная душа которого знала только ненависть и презрение, изливала только злобу и сарказм, которому чуждо было все «высокое и прекрасное». Не признавая ничего святого, он с каким-то дьявольским наслаждением копался во всех дурных сторонах человеческой души. Зомбарт уверял даже, что Маркс органически не в состоянии был замечать добро в человеческой душе. Маркс страдал, мол, переразвитием рассудочной способности, и это об'ясняет нам его «бездушие».

Наши экс-марксисты идут еще дальше. Они когда-то так усердно щеголяли, в своей борьбе с «суб'ективистами» и сентиментальными народниками, об'ективизмом и антиэтичностью марксизма, что теперь и сами на разные лады повторяют: у Маркса ни сердца, ни «грана этики».

Булгаков, у которого институтское обожание капитализма сменилось семинарским обожествлением иного земного «града», готов даже усомниться, играли ли вообще такие чувства, как любовь, непосредственное сострадание, вообще, теплая симпатия к человеческим страданиям, серьезную роль в психике Маркса. Туган-Барановский утверждает, что Маркс, по отношению к благородным движениям человеческой души, страдал какой-то умственной слепотой. Марксу «было знакомо негодование против зла, но в этом негодовании чувству симпатии к угнетенным почти не было места... Чувство любви к людям было ему мало доступно. Но зато он был чрезвычайно способен к вражде—и вражда «к угнетателям» заменяла в его душе любовь к угнетенным».

Удивительно ли, что при виде такой нравственной аномалии готово затрепетать от ужаса всякое чувствительное сердце?

Мы нисколько не сомневаемся в искренности тех теплых симпатий к человеческим страданиям, которые всегда отличали наших бывших марксистов. Наоборот, мы убеждены, что любовь к угне-

тенным давно уже успела вытеснить в их душе всякие следы вражды к угнетателям. И все же нам сдается, что образ Маркса, который они рисуют своим читателям, написан по рецепту суздальских богомазов.

Во всяком случае этот образ не свидетельствует об избытке рассудочной деятельности у его творцов. И если они, по всей вероятности, как и Зомбарт, дошли до него «своим умом», то и тут они оказались не более оригинальными, чем в других областях. Что природа отняла у Маркса сердце и оставила ему взамен только ум—об этом оповестил весь мир еще шестьдесят лет тому назад бравый офицер Техов. В каких-нибудь полтора часа—он виделся с Марксом в Лондоне—он изучил Маркса «насквозь» и пришел к тому же выводу, что и наши серьезные ученые. «Если бы Маркс имел столько же сердца, сколько ума, столько же любви, сколько ненависти!»—писал тогда своим друзьям в Швейцарию добрый Техов, у которого, несомненно, было много сердца, но мало ума.

Когда «благородный Фогт напечатал это письмо, чтобы окончательно убить во мнении всех добрых людей» такого «изверга рода человеческого», как Маркс, последний, со свойственным ему цинизмом, заметил: «Техов много хлопочет по поводу моего «сердца». Я великодушно отказываюсь следовать за ним в эту область. «Ne parlons pas morale», как выражается парижская гризетка, когда друг ее начинает говорить о политике».

Мы тоже не имеем никакого желания спасать репутацию Маркса по части «сердца». Нет никакого сомнения,—да и Маркс сам не отрицал этого,—что не все стороны человеческого сердца были ему одинаково открыты. Il y a fagot et fagot. И всякие бывают люди. А «человеческое сердце и совсем удивительная вещь, особенно когда человек носит его в кошельке». Только тонко чувствующий психолог, прошедший основательный курс австрийской школы в политической экономии, может, выражаясь модным теперь термином, «вчувствоваться» в капиталистическую душу и не проглядеть ни одной из ее хороших сторон. Без психического сродства не обойдешься и в этой области.

Правда и то, что Маркс никогда не апеллирует к «сердцу». Но нужно быть очень добрым человеком, чтобы сделать из этого вывод, что Маркс не питал чувства симпатии к угнетенным. Напротив, он сам где-то говорит, что любовь к людям является одним из источников коммунистического мировоззрения. Но этого мало. Кроме «сердца», которое «сострадает», необходимо еще теоретическое понимание исторического процесса. Маркс, поэтому, был же-

стоким противником всякого «прекраснодушия», бараньего социализма, который с такой охотой проповедует мораль волкам.

Правда и то, что Маркс самым бессердечным образом разоблачал всяких акробатов христианской и свободомыслящей любви, которые в ученых и неученых трактатах, проникнутых «жалостью» к угнетенным, но не ведающих гнева на обидящих, рекомендовали пролетариату умеренность и упование на «распределительную справедливость» капиталистов.

Трудно отрицать также, что, в своей страстной борьбе за интересы рабочего класса, Маркс нередко наносил «свирепые» удары не только своим прямым противникам, но и половинчатым союзникам. Но таким он был и в то время, когда был еще буржуазным демократом и ужасал своих товарищей в Берлине своим неистовым задором. Таким описывает его, между прочим, и автор сатирической поэмы, посвященной Бруно Бауэру и другим членам берлинского кружка «свободных»:

«Кто мчится вслед за ним, как ураган степной?—
То Трира черный сын с неистовой душой.
Он не идет,—бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод.
Сжимая кулаки, борец неутомимый
Все время мечется, как бесом одержимый!» [1])

При таком темпераменте трудно было всегда и во всем соблюдать меру и заботиться о том, чтобы удар, направленный в противника, не был слишком силен. И таким «неистовым Карлом»—вспомним нашего «неистового Виссариона»—Маркс оставался до конца дней своих.

Правда и то, что Маркс не всякому открывал свое сердце. Но если старый Сирах не совсем неправ, когда утверждает, что только глупцы держат свое сердце на распашку, то нужно быть опять-таки очень добрым человеком, чтобы говорить об отсутствии сердца там, где нет «излияний» сердца.

Госпожа Ролан рассказывает в своих мемуарах, что учитель пения часто говорил ей: она слишком мало души вкладывает в свое пение.—«Этот добрый человек,—замечает она,—не понимал, что у меня слишком много души, чтобы вкладывать ее в пение».

---

[1]) «Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel»... Zürich, 1842. Автором этой сатиры был Энгельс. К этому мнению склоняется и автор известной биографии Швейцера, Г. Майер, в своей новой работе «Die Anfänge des politischen Radikalismus im vormärzlichen Preussen». «Zeitschrift für Politik», 1913.

Маркс не любил сердечных излияний даже в письмах к своим близким и друзьям. Трудно было любить так горячо и беззаветно, как он любил жену и детей. Он едва перенес смерть своей жены, и преждевременная смерть его старшей дочери, Женни Лонгэ, нанесла ему удар, от которого он уже не в силах был оправиться. И вот, даже в письмах к этой дочери, которая, одна из всех его дочерей, уже как товарищ и помощник в работе, перенесла с ним и матерью самую тяжелую пору его лондонской жизни, Маркс остается сдержанным. Все его письма дышат любовью и нежной заботливостью, мы видим, как Маркс—в особенности в письмах последних лет—употребляет все усилия, чтобы поддержать хорошее настроение своей дочери и развеселить ее, но мы очень редко встречаем в них какую-нибудь «сентиментальную» фразу. То же самое приходится сказать и о его письмах к Энгельсу, от которого он ничего не скрывал. Он пишет о «деле», о теории, но до чрезвычайности скуп на излияния. Но сколько сердечной муки слышится в следующих строках, писанных Энгельсу из Алжира (1 марта 1882 г.), куда Маркса послали после смерти жены, чтобы оторвать от угнетавшей его лондонской обстановки:

«Ты знаешь, что мало кто с бо́льшим трудом выносит всякий показной пафос. Но я солгал бы тебе, если бы хотел отрицать, что мысли мои почти целиком поглощены воспоминаниями о жене. Ведь, с ней я провел лучшую часть своей жизни».

Именно эта нелюбовь к показному пафосу и всяким «сентиментам» затрудняет изображение внутреннего мира Маркса, его личных симпатий и антипатий. Мы вообще очень мало узнаем о нем от него самого. Если он даже позволяет себе иногда автобиографические отступления, как, например, в предисловии к «Критике политической экономии» или в памфлете «Господин Фогт», то лишь постольку, поскольку это требуется интересами «дела» или может служить для выяснения его теоретических взглядов. Точно он и о себе хочет сказать: судите меня по делам моим, а не по тому, что я сам о себе могу рассказать вам.

Вот почему всякая попытка характеризовать Маркса, как человека, на основании его собственных «высказываний», встречается с почти непреодолимыми затруднениями. Внутренний мир его спрятан от посторонних людей. Нежность сердца, чуткость, которая притягивала к нему одинаково сильно и суб'ективнейшего из лирических поэтов—Гейне, и патетического певца свободы—Фрейлиграта, безграничная готовность делиться с друзьями своими духовными богатствами, отсутствие всякого ригоризма по отношению к людским «слабостям» у других в соединении с беспощадной са-

мокритикой по отношению к самому себе—все это было скрыто на «миру» под крепкой и непроницаемой броней.

Только в воспоминаниях Лафарга и Либкнехта сделана попытка дать нам портрет Маркса, как человека. Оба они не раз имели случай испытать на себе удары «неистового» учителя. И в личных беседах, и в письмах он их часто очень жестоко «пушил», как политиков, не считаясь с их самолюбием. Им часто казалось, что он неправ, иногда он, под свежим впечатлением какого-нибудь события, сам «перебарщивал», но эти неровности быстро сглаживались. И Лафарг, и Либкнехт были слишком крупные люди, чтобы не понимать, что эти недостатки у Маркса,—которые, правда, в значительной степени были присущи и им самим,—были только «оборотной стороной медали», и не ставили Марксу каждого лыка в строку. И если, в оппозицию к суздальским портретам, нарисованным противниками Маркса, Либкнехт и Лафарг в своих воспоминаниях иногда, быть может, перегибают палку в другую сторону, то ошибка их заключается, большей частью, не в оценке Маркса, как человека, а как общественного деятеля и мыслителя. Особенно грешат в этом отношении воспоминания Либкнехта. Но тем драгоценнее они в тех частях, где он рисует Маркса, как отца, друга, товарища. Чем больше теперь раскрывается личная жизнь Маркса,—из писем его и друзей, из новых воспоминаний, из различных, до сих пор мало известных, фактов,—тем больше находит себе подтверждение рассказ Либкнехта.

Яркий свет на личную психологию Маркса бросает, между прочим, и следующий «человеческий документ», который сохранила для нас счастливая случайность.

II.

Летом 1910 года я работал в течение нескольких недель в Дравейле, у покойных Лафаргов, с величайшей готовностью предоставивших в мое распоряжение оставшиеся после Маркса бумаги и письма. Лаура Лафарг любезно отвела мне для работы свой рабочий кабинет, одним из лучших украшений которого служил портрет Маркса, теперь плохо воспроизведенный в совсем никчемной биографии его, состряпанной американским социалистом Спарго. Со стены глядел на вас, добродушно улыбаясь и слегка прищурившись, седой, как лунь, старик. Никаких следов олимпийства, ничего внушительного, импонирующего. Это был какой-то новый Маркс, не тот глубокий мыслитель, лицо которого сохранила нам известная—одна из лучших, и по словам Лауры Лафарг,—фотография. Можно было подумать, что этот добродушный старик

основательно усвоил себе только «искусство быть дедушкой». И, как живая, встала в памяти картина, которую так художественно нарисовал нам Либкнехт: творец «Капитала», которого бесцеремонно гоняет по всему дому взгромоздившийся к нему на плечи любимый внук его Джонни.

Не помню уже, по какому именно поводу, но во время одной из наших бесед о Марксе,—вероятно, я выразил сожаление, что отец ее оставил так мало «суб'ективных», чисто личных высказываний,—Лаура вдруг вспомнила, что она и ее старшая сестра предложили однажды, забавы ради, отцу целый ряд вопросов, ответы на которые должны были составить нечто вроде «исповеди». Ей удалось найти эти «Confessions», как они были названы и в оригинале. Так вот именно эту «Исповедь» Маркса в вопросах и ответах я и хочу предложить теперь вниманию русских читателей. Перевод сделан мною с копии, подаренной мне Лаурой Лафарг [1]). Ответы, как и вопросы, сделаны были на английском языке.

ИСПОВЕДЬ.

Достоинство, которое Вы больше всего цените:

„ в людях . . . . . Простота.
„ „ мужчине . . . . . Сила.
„ „ женщине . . . . . Слабость.
Ваша отличительная черта . . . . . Единство цели.
Ваше представление о счастье . . . . . Бороться.
„ „ о несчастье . . . . . Подчинение.
Недостаток, который Вы скорее всего склонны извинить. Легковерие (по отношению к людям).
Недостаток, внушающий Вам наибольшее отвращение . Угодничество.
Ваша антипатия . . . . . Мартин Тэпер.
Ваше любимое занятие . . . . . Рыться в книгах.
Ваши любимые поэты . . . . . Шекспир, Эсхил, Гете.
Ваш любимый прозаик . . . . . Дидро.
Ваш любимый герой . . . . . Спартак, Кеплер.
Ваша героиня . . . . . Гретхен.
Ваш любимый цветок . . . . . Лавр.
„ „ цвет . . . . . Красный.
Ваше любимое имя . . . . . Лаура, Женни.
Ваше любимое блюдо . . . . . Рыба.
Ваше любимое изречение . . . . . Ничто человеческое мне не чуждо.
Ваш любимый лозунг . . . . . Подвергай все сомнению.

Карл Маркс.

---

[1]) К сожалению, во время моей последней поездки в Дравейль, уже после самоубийства Лафаргов—в декабре 1912 г.,—когда я принимал от наследников бумаги Маркса, теперь перешедшие в собственность немецкой социал-демократии, мне не удалось найти ни оригинала этой «Исповеди», ни других бумаг Маркса: в них уже успели рыться посторонние люди.

В этой «Исповеди» нельзя, конечно, все принимать á la lettre. Мы, все же, имеем дело с шутливыми признаниями. Но они сделаны были самым близким людям, и мы сейчас увидим, что в этой шутке было много правды.

Сначала несколько слов о том времени, к которому относятся признания Маркса. Лаура не могла дать мне на этот счет никакого точного указания. Но уже ответ Маркса на вопрос, какое имя ему больше всего нравится, показывает, что исповедь относится к первой половине шестидесятых годов, когда третья дочь его, Элеонора, была еще ребенком и не могла принимать участия в допросе, который чинили отцу ее старшие сестры—Женни (так звали и жену Маркса) и Лаура.

Мы не будем останавливаться на ответах, которые вряд ли представляют что-нибудь большее, чем шутливый каламбур, да и вообще имеют второстепенное значение. Так, когда Маркс на вопрос о любимом блюде—по-английски d i s h—отвечает f i s h, т.-е. рыба. Правда, Лафарг—доктор медицины и знаток кулинарного искусства—считает нужным отметить, что Маркс был плохой «едок» и даже страдал отсутствием аппетита. Он видит в этом следствие чересчур напряженной мозговой деятельности, убивавшей у Маркса аппетит и заставлявшей его, поэтому, прибегать к различным острым блюдам, в том числе к рыбным консервам и пикулям. Конечно, заядлый материалист—der Mensch ist, was er isst—мог бы сделать более серьезные выводы из пристрастия Маркса к рыбе, а какой-нибудь психолог увидеть в этом такую же расовую особенность, как и колоссальная способность Маркса к абстракции.

Можно было бы «психологически» об'яснить и любовь Маркса к л а в р у, если бы и тут не сквозила шутка (по-английски Daphne, т.-е. опять-таки Лаура). Ясно также, что такой «красный» человек, как Маркс,—«красный доктор», как его называли англичане,—мог любить только к р а с н ы й цвет.

Добродушная насмешка звучит и в ответе на третий вопрос, который может шокировать всякого сторонника женского равноправия. Мужскую с и л у Маркс противопоставляет женской с л а б о с т и. Было бы несправедливо обвинять жену и дочерей Маркса в слабости. В той борьбе, которую Марксу пришлось вести в течение всей его жизни, он имел и в жене, и в дочерях верных товарищей. Тяжелые удары судьбы, смерть четырех детей, жертв той ужасной нищеты, в которой семья Маркса жила в начале пятидесятых годов,—все это жена Маркса перенесла с истинно «мужской» непоколебимостью. Либкнехт,—а этого «солдата революции»

трудно упрекнуть в слабости,—говорит, что если он в течение лондонского изгнания не «пошел ко дну», то только благодаря тому примеру, который всем им подавала жена Маркса. Но и у ней, конечно, бывали минуты «слабости». Намеки на это мы встречаем и в личных письмах Маркса, который всегда избегал говорить о своих «муках» и горестях. Он просил в этих случаях не забывать, что она женщина и мать. А положение бывало иногда до чрезвычайности тяжелым, и нужны были стойкость и сила Маркса, чтобы не изливаться в жалобах, как это делала жена Маркса в письмах к близким друзьям.

Еще сильнее отражалась на жене Маркса междоусобная борьба в эмиграции. Хотя Маркс употреблял все усилия, чтобы скрыть от нее худшее, она всегда узнавала чересчур достаточно. Особенно сильно подействовала на нее кампания Фогта, которому, действительно, удалось перещеголять всех противников Маркса по части личных клевет. Жена Маркса оказалась слишком «слаба», чтобы выдержать эти новые треволнения, и, опасно заболев, едва успела оправиться к тому времени, к которому, вероятно, относится «исповедь» Маркса.

Простота, которую Маркс выше всего ценил в людях, была основным свойством всего его характера. Ничто не презирал он так сильно, как позу, ходульность, театральность. «Маркс,—говорит Либкнехт,—один из немногих известных мне крупных, маленьких и средних людей, который не был тщеславен. Он был для этого слишком велик и могуч—да и слишком горд. Он никогда не позировал и всегда был самим собою».

Мы имеем и другое свидетельство—не друга Маркса, но и не недруга, а именно—нашего уважаемого социолога М. М. Ковалевского [1]). «По словам Реклю, Маркс, принимая членов международного общества рабочих, в том числе и самого Реклю, не выходил из задней части своей гостиной и держался по близости к бюсту Зевса Олимпийского, которым эта гостиная была украшена, как бы подчеркивая тем свою принадлежность к числу великих типов человечества. Такая ходульность совершенно несогласна с представлением о человеке, который настолько знал себе цену, что не видел надобности подчеркивать свое значение внеш-

[1]) «Мое научное и литературное скитальчество» («Русская Мысль», 1895 г., январь) и «Две жизни» («Вестник Европы», 1909 г., июль). В этих воспоминаниях много фактических ошибок, поскольку речь идет о разных событиях, достаточно засвидетельствованных историей. Но главный интерес их заключается именно в описании того впечатления, которое производил Маркс на людей, знавших его лично.

ними приемами». В памяти Ковалевского Маркс сохранился «простым и даже благодушным собеседником, неистощимым в рассказах, полным юмора, готовым подшутить над собою».

Вспомним, что наш маститый социолог был тогда, в сравнении с Марксом, совсем зеленым юнцом: их отделяла разница больше, чем в тридцать лет. Тем интереснее следующее признание М. Ковалевского: «За два года моего довольно близкого общения с автором «Капитала» я не припомню ничего, хотя бы издали напоминающего то третирование старшим младшего, какое я в равной степени испытал в моих случайных встречах и с Чичериным, и с Львом Толстым. Карл Маркс в бо́льшей степени был европейцем и, хотя, может быть, не высоко ценил своих друзей по науке («scientific friends»), предпочитая им товарищей по классовой борьбе пролетариата, но в то же время был настолько благовоспитан, чтобы не проявлять этих личных пристрастий в своем поведении».

В тесной связи с этой простотой и правдивостью Маркса находилось и полное неумение носить какую-либо «маску», которое отмечают в нем не только Либкнехт, но и Борн, писавший свои воспоминания уже после того, как он разошелся с Марксом. Своеобразное соединение колоссального умственного превосходства с ребячливостью и простодушием, которое мы встречаем и у другого гениального экономиста, у Рикардо, поражало всех знакомых Маркса. «Большим ребенком» называла его всегда жена его, и охотнее всего отдыхал он в обществе детей. Всякое притворство и «дипломатничанье» были ему ненавистны. Вот почему он так неохотно посещал «общество», в котором ему волей-неволей приходилось считаться с тем, что «принято». Комические жалобы на свою неумелость в этом отношении встречаются и в его письмах, хотя и не так часто, как у Чернышевского, который в этом отношении поразительно напоминает Маркса.

Та же простота отличала и жену Маркса. Ковалевский рассказывает, что ему редко приходилось встречать женщину, которая так радушно принимала бы гостей в своей скромной обстановке и сохраняла бы, при всей ее простоте, то, что французы называют «une grande dame».

Две недели спустя после смерти жены Маркс пишет своей старшей дочери:

«Письма с выражением соболезнования, которые я получаю с разных сторон и от людей различных национальностей и профессий и т. д., все восхваляют мамочку (Möhmchen) и проникнуты такой глубокой искренностью, такой глубокой симпатией, какие

редко встречаются в этих обыкновенно условных писаниях. Я об'ясняю это тем, что все в ней было естественно и правдиво, просто, что в ней не было ничего деланного. Поэтому и впечатление, которое она производила на людей, было чрезвычайно светлым».

Мы понимаем теперь, почему своей любимой героиней Маркс называет Гретхен. Если это и была шутка, то в ней была значительная доля правды. Немецкая литература не знает более художественного воплощения естественности, правдивости и простоты.

III.

«Единство цели» не совсем точно передает ответ Маркса на вопрос, что его сильнее всего характеризует. В этом переводе подчеркнут больше об'ективный оттенок. «Singlenes of purpose» скорее означает. сосредоточение всех помыслов и устремлений на одной цели.

В устах Маркса эти слова не были фразой. Трудно найти жизнь, в которой бы так классически проведено было это единство устремления, как в жизни Маркса. Он, действительно, знал «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». И он сам определяет в одном письме цель, которой он посвятил все свои помыслы: это—«дело». Годами работал он, денно и нощно, не отклоняясь от этой цели ни на иоту, чтобы создать прочную основу делу освобождения пролетариата, камень за камнем созидая свое великое творение, этот неисчерпаемый арсенал против буржуазного общества. Никаких следов душевного разлада, хождения на две стези в этой скованной из железной последовательности и неумолимой логики, единством проникнутой жизни! Единство цели в теории и в практике, человек и его творение—одинаково из одного куска!

Глубокая правда звучит в его ответе дочерям, когда он замечает, что счастье он видит в борьбе, а несчастье—в подчинении. Маркс был борцом и на практике, и в теории. Свою правду-истину, как и правду-справедливость, он добывал путем борьбы с установленным, с традицией. И воплощал он ее в жизнь опять-таки путем борьбы, практики. К борьбе против подчинения и порабощения во всех его формах—общественной нищеты, духовного вырождения, политической зависимости—звал он неустанно пролетариев всех стран—в Союзе Коммунистов, в Интернационале. И, как ни чужд был ему всякий показной пафос, он всегда находил поразительные по своей силе слова, чтобы сплести

для жертв этой борьбы лавровый венок или пригвоздить к позорному столбу истории их временных победителей.

Ничто не было ему так отвратительно, как **угодничество, хамство, подхалимство**—в частной жизни и в политике. Он органически не выносил того культа, который сознательно поддерживали в среде своих почитателей даже такие крупные люди, как Мадзини или Лассаль. Всякая лесть, даже в осторожной и приличной форме, заставляла его сейчас же настораживаться и будила в нем недоверие. Теперь еще не настало время опубликовать письма к Марксу некоторых достигших крупной известности лиц—и достигших ее отчасти полемикой против Маркса,—но при чтении этих писем становится понятным, почему Маркс так презрительно отнесся к их угодливой лести.

Особенно беспощадно относился он ко всякой угодливости по адресу властей предержащих. Эту угодливость он бичевал в своей резкой критике известной защитительной речи Кинкеля, ее же он резко осуждал в заигрывании Швейцера с Бисмарком. Вот почему он хвалит простой нравственный такт, который удерживал Руссо от компромиссов с предержащими властями. Вот почему он так неумолимо преследовал и ту форму угодничества, раболепства, которая проявляется в уступках так называемому общественному мнению или в еще более низкой форме прислужничества, сикофантства по отношению к господствующим классам. И, чем талантливее был такой сикофант, тем беспощаднее был Маркс. А к аплодисментам, одобрению «публики», к популярности—Маркс относился всегда с суверенным презрением.

Мартин Тёппер был для Маркса нарицательным именем той обыденнейшей пошлости, которая нередко пользуется колоссальным успехом и пожинает обильно лавры, чтобы после исчезнуть в Лете забвения. Мартин Тёппер, теперь совершенно забытый поэт, был самым популярным поэтом Англии в пятидесятых и начале шестидесятых годов. Сочинения его распространялись в миллионах экземпляров. Этот невероятный успех и теперь еще является загадкой для историков английской литературы. «Полное отсутствие какого-либо таланта, абсолютная противоположность и отрицание какого-либо поэтического гения, связанные с трогательной наивностью... Тёппер был слеп к поэзии и глух к рифмам; без искры вдохновения, без мыслей, без критики». Философия его стоит на одном уровне с философией купчихи у Островского, которую занимал вопрос, что лучше, ждать и не дождаться, или иметь и потерять? Мартин Тёппер отвечал на этот вопрос в звучных стихах: «Жало скорби и острота наслаждения одинаково

смягчаются долгим ожиданием, подобно тому, как желчь и бальзам одинаково разжижаются в воде терпения» [1]). Как говорит Маркс в «Капитале», Мартин Тёппер, который, по его мнению, среди поэтов является тем же, что Бентам среди философов, мыслим был только в Англии. Но Маркс, конечно, ошибается. Подобных поэтов рождали и Германия и... Россия. Но таким успехом он мог пользоваться только в Англии, где и теперь так сильно раболепство перед «общественным мнением».

Что любимыми поэтами Маркса были Эсхил, Шекспир и Гете, видно из всех его произведений. Об этом же свидетельствует нам и Лафарг. «Эсхила и Шекспира»,—рассказывает он,—«Маркс ценил, как двух величайших драматических гениев, которых произвело человечество. Его преклонение перед Шекспиром было безгранично. Он был предметом постоянного изучения Маркса, которому известны были все персонажи Шекспира, даже самые второстепенные. Вообще в семье Маркса Шекспир был окружен настоящим культом. Все три дочери его знали Шекспира наизусть» [2]).

В Эсхиле Маркс преклонялся перед великим поэтом, который впервые из старого мифа о Прометее создал грандиозный образ непоколебимого борца за человечество, бросающего гордый вызов земным и небесным вседержителям. Уже в предисловии к своей докторской диссертации Маркс цитирует следующие слова этого, как он его называет, «благороднейшего святого и мученика в философском календаре», с которыми тот обращается к посланнику Зевса: «Никогда, поверь мне, не соглашусь я променять мой несчастный жребий на рабство у тебя. Лучше быть прикованным к этой скале, чем быть холопом на побегушках у Зевса».

Этот прометеевский мотив звучит и в юношеских стихотворениях Маркса. И в образе скованного Прометея является нам Маркс, как редактор «Рейнской Газеты», уже на одной иллюстрации сороковых годов.

Несколько неожиданным является ответ Маркса на вопрос, кто его любимый прозаик. Даже Лафарг не называет в своих воспоминаниях имени Дидро. Но свое преклонение перед вели-

---

[1]) См. G. Kellner, «Die englische Literatur im Zeitalter der Königin Victoria», Leipzig, 1909, стр. 370, или Oliphant, «The Viktorian age of english Literature», vol. I, стр. 234. Главным творением Теппера является его «Proverbial Philosophy», переведенная и на немецкий язык.

[2]) Это не преувеличение. Знаменитый английский шекспиролог, скончавшийся в 1911 г. Фёрнивалль—был приятелем семьи Маркса. Следы глубокого изучения Шекспира заметны и в английских статьях Маркса. Некоторые из них являются шедеврами по стилю и вызывали удивление у англичан.

ким французским энциклопедистом Маркс делил с крупнейшими немецкими поэтами: Лессингом, Шиллером, Гете. Мнение это все более приобретает господство и среди современных историков французской литературы. Дидро выдержал критику времени в большей степени, чем кто-либо другой из просветителей XVIII века, не только как мыслитель, но и как писатель. Его «Племянник господина Рамо», которого несомненно имел в виду Маркс, и теперь еще является образцом французской прозы. Дидро более, чем кому-нибудь из французских просветителей, была чужда фраза [1]). Ясный, удивительно жизненный язык, которому Дидро учился в непосредственном общении с различными слоями «простонародья», брызжущая остроумием диалектика, гениальная способность ярко и отчетливо выражать наиболее характерное в различных явлениях жизни, едкий сарказм, с которым Дидро бичует устами паразита французское общество,—все это в достаточной степени об'ясняет нам предпочтение, которое не только Маркс, но и Энгельс отдавали Дидро [2]).

Своими любимыми героями Маркс называет Спартака и Кеплера, первого, очевидно, как героя дела, второго—как героя мысли. Возможно, что эти имена пришли ему в голову под свежим впечатлением только что прочитанной биографии. По крайней мере, относительно Спартака мы находим следующее указание в одном письме к Энгельсу:

«Вечером (читал), отдыха ради, историю римских гражданских войн Аппиана в греческом оригинале. Очень ценная книга. Автор по своему происхождению египтянин. Шлоссер говорит, что у него «нет души», вероятно, потому, что он старается об'яснить гражданские войны материальными условиями. Спартак является в его изображении самым славным парнем, какого только мы встречаем во всей древней истории. Крупный полководец (не Гарибальди), благородный характер, истинный представитель античного пролетариата» [3]).

---

[1]) «У человека была лишь одна идея; для ее выражения требовалась не более, как одна фраза; эта полная смысла и значения фраза была бы усвоена читателем с наслаждением, но, когда она залита целым потоком слов, она надоедает и внушает отвращение». Цитировано у Морлей, «Дидро и энциклопедисты», стр. 162.

[2]) В своем «Анти-Дюринге» Энгельс называет «Племянника господина Рамо» шедевром диалектики. Маркс цитирует Дидро в «Святой семье» и в «Капитале», когда он характеризует роль, которую играет собирание сокровищ в буржуазном обществе.

[3]) Из письма от 27 февраля 1861 г. Моммзен относится тоже очень благосклонно к противнику Рима.

Русские читатели вспомнят, что таким же героем изображает Спартака, в когда-то очень популярном у нас романе, итальянец Джиованиоли. Можно, разумеется, относиться к Спартаку иначе. Характерно только, что́ всего более ценил Маркс в этом «славном парне».

А что именно привлекало Маркса в Кеплере? Не научная ли честность, за которую он так высоко ценил и Рикардо? Или та «ясность духа», которая, по словам биографов Кеплера, позволяла ему так легко отвлекаться от земных забот и треволнений и «подниматься в чистый эфир научной спекуляции, преследующей благородные и возвышенные цели»?

Кеплер также бо́льшую часть своей жизни провел в борьбе с нуждой. В области принципов он не знал никаких компромиссов. В отличие от Тихо-де-Браге, он отказывался делать какие-либо уступки «властям предержащим». Никакое давление, никакие соблазны не могли совлечь его с предназначенного им себе пути. Напряженно и без устали работал он годами, чтобы открыть законы, управляющие движением небесного мира, а умер бедняком, далеко не закончив всех своих работ.

«So hoch war noch kein Sterblichen gestiegen,
Als Kepler stieg, und starb in Hungersnot,
Er wusste nur die Geister ru vergnügen,
Drum liessen ihn die Körper ohne Brot» [1]).

Как часто должен был вспоминать это старинное четверостишие Маркс, особенно в начале шестидесятых годов, когда американская война лишила его главного источника средств существования, постоянной работы для «Нью-Иоркской Трибуны», и мучительная болезнь не раз угрожала смертью; как часто должна была терзать его мысль, что ему не удастся довести до конца труд, в котором он открыл законы развития капиталистического мира!

Только в кажущемся противоречии с ненасытной жаждой Маркса к знанию, с его постоянным стремлением к истине, стоят слова «подвергай все сомнению», которые он цитирует, как свой лозунг. Это—не сомнение в смысле плоского скептицизма, сомнения ради сомнения. Марксовское сомнение направлено против видимости (Schein), скрывающей от нас действительность. Исходным пунктом всякого критического исследования

---

[1]) «Ни один смертный не поднялся еще так высоко, как это сумел сделать Кеплер, и все же он умер в нищете; он умел доставлять наслаждение только умам, и потому тела оставили его без хлеба».

является у Маркса сомнение в видимости — в области природы, политики, экономики. Главной задачей науки является разоблачение этой видимости. Острым ножом своего анализа она разрезает внешнюю оболочку явлений, чтобы вскрыть их действительную сущность, чтобы извлечь из них их действительное содержание. Свобода, равенство, справедливость в капиталистическом обществе—одна только видимость, которая может вводить в заблуждение лишь фетишистов буржуазного общества. Вооруженный своим сомнением, своей критикой, Маркс первым открыл великую тайну буржуазного общества, фетишизм товарного мира, превращающий человека, творца всего земного богатства, в раба своих собственных продуктов—в экономике, в политике, в идеологии.

Называя своим любимым занятием «копание в книгах», Маркс шутит над своей страстью, которая часто навлекала на него насмешки его друзей. Даже Энгельс, который тоже был изрядным книгоедом, воевал с этим «пороком» Маркса. А с каждым новым языком, который он изучал, ему открывалась новая литература, с которой он знакомился так же основательно, как и с прежними. Марксу было уже больше пятидесяти лет, когда он взялся за изучение русского языка. Сохранились еще тетради с многочисленными упражнениями, которые он прилежно проделывал, чтобы усвоить себе тайны русских склонений и, в особенности, спряжений. Надо видеть, с какой основательностью он изучал русскую статистическую и экономическую литературу [1]).

Конечно, это «книгокопание» было только оборотной стороной той добросовестности, с которой он всегда старался изучить литературу своего предмета. Нельзя читать без улыбки письма, в котором он доказывает Энгельсу, что не может выпустить первый, почти уже набранный, том «Капитала» прежде, чем он не познакомится с новым трудом Роджерса. А как он читал книги, показывают многочисленные выписки, которые он делал почти из всех читанных им книг. Более важные он конспектировал, даже когда имел их в своей библиотеке. И если Марксу не удалось окончательно обработать «Капитала» для печати,—а из писем его видно, что он приступил к печатанию первого тома только тогда, когда закончил все четыре тома, — то это об'ясняется не только бо-

---

[1]) «Николай—он и я, рассказывает Ковалевский,—посылали ему, что могли, а его жена, очень озабоченная скорейшим окончанием всего сочинения, шутя грозила мне, что перестанет давать мне баранью котлету (chop), если я своими присылками буду мешать ее мужу поставить давно ожидаемую точку». О войне, которую вели с русскими книгами жена Маркса и Энгельс, рассказывали мне также Лафарги.

лезнью, но и тем, что он не мог устоять, как он сам выражается, против «соблазна потребить теоретически» новые материалы, бросавшие свет на развитие капиталистических отношений.

Добродушная насмешка над самим собой сквозит и в ответе на вопрос, какой недостаток он всего скорее склонен извинить: «легковерие по отношению к людям» (gullibility). Маркс далеко не был человеком не от мира сего. Он принимал для этого слишком большое участие в практической деятельности. Но интенсивная научная, чисто кабинетная работа, которая фатально порождает то, что называется рассеянностью,—а Маркс был очень рассеянным человеком,—невозможность, за отсутствием времени, встречаться слишком часто с людьми и приобрести таким образом «знание людей», природная доверчивость—все это делало его не раз жертвою обыкновенных, а иногда и политических, шарлатанов. Он очень скоро убеждался в своей ошибке и вместе с другими смеялся над своей беспомощностью во всякого рода «делах». Гораздо скорее ему удавалось сорвать маску с какого-нибудь политического шарлатана, а то и просто шпиона, пытавшегося вкрасться в его доверие, но и в этой области можно насчитать несколько случаев, когда Маркс делался жертвой своего «легковерия»—Толстой, венгерский авантюрист Баниа и другие. Он мог, конечно, оправдывать себя тем, что этим шарлатанам удавалось в еще большей степени надувать других, но от этого недостатка, в особенности—по отношению к «людям дела», Маркс никогда не мог освободиться.

Ничто человеческое не чуждо мне,—скромно отвечает Маркс своим дочерям, которые, конечно, лучше всех могли знать его «слабости». И этот же ответ он мог бы дать всем своим недругам, которые с усердием, достойным лучшей участи, стараются выудить в его жизни, в его письмах, тот или другой грех. Как бы высоко ни поднимался отдельный человек над окружающим его обществом, он остается связанным с ним многочисленными нитями. Трудно, почти невозможно, совлечь с себя в полной мере «ветхого человека». Маркса тоже не миновала эта участь. Он тоже ошибался, тоже грешил—и как человек, и как политик.

Кто читал его письма к Энгельсу, Беккеру, Вейдемейеру, тот может лишь удивляться, каким образом мог еще Маркс при тех гнетущих условиях, в которых он жил годами,—только с 1869 г. Маркс не знал уже больше нужды,—сохранить свою жизнерадостность и ясность духа, которые поражали и его друзей, и его знакомых. Часто тяжелые удары судьбы вырывают у него жестокое и резкое слово, иногда он несправедлив даже по отношению к близким ему людям. Но каждый раз он сбрасывает с себя могучим

толчком власть обыденщины и, упорствуя, волнуясь и спеша, гордо продолжает свой путь, работает над делом всей своей жизни.

Когда Энгельс в одном письме—не в первый уже раз—убеждает снова своего друга отдать, наконец, в печать «Капитал», Маркс ему отвечает (31 июля 1865):

«Я не могу решиться отослать что-нибудь, пока весь труд не будет лежать передо мною готовым. Какие бы недостатки ни имели мои работы, их достоинство заключается в том, что они представляют художественное целое, и этого я достигаю тем, что никогда не печатаю их, пока они не лежат передо мной целиком».

То же самое можно сказать и о всей жизни Маркса. Каковы бы ни были его недостатки, она представляет редкое по своей красоте художественное целое, равное которому трудно найти в истории человечества.

II.

КАРЛ МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
в эпоху
ПЕРВОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

1
АНАРХИСТСКИЙ ТОВАР ПОД ФЛАГОМ МАРКСИЗМА

(МАРКС И БАКУНИН В ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ)

2
ИСТОРИЯ БЕЗ КАВЫЧЕК

(ОТВЕТ МЕРИНГУ)

3
МАРКС И ЭНГЕЛЬС КАК ШОВИНИСТЫ

4
ВАЛЬЯН И МАРКС

АНАРХИСТСКИЙ ТОВАР ПОД ФЛАГОМ МАРКСИЗМА

(МАРКС И БАКУНИН В ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ)

I.

Несколько недель тому назад в «Neue Zeit» напечатаны были две рецензии о книге Брупбахера «Marx und Bakunin» [1]). Мы не намерены писáть третью рецензию, но считаем своим долгом выступить против создания новой легенды, которая может внести новую путаницу в вопрос об отношениях между Марксом и Бакуниным. Нам теперь угрожает опасность, что под партийным флагом в марксистскую литературу будут проведены контрабандою все те обвинения, которые до сих пор раздавались против Энгельса и Маркса, Бебеля и Либкнехта с анархистской стороны,—обвинения в злостном клеветничестве, в бесстыдной лживости, в подлогах и утайках, в неслыханных извращениях нравственного чувства. А что этот флаг может прикрывать даже самый гнилой товар, видно лучше всего из рецензии Ф. Меринга. Достаточно было появиться в партийном издании некритической компиляции, опирающейся, в первую голову, на столь «об'ективное» произведение, как книга Гильома об Интернационале, чтобы такой тонкий критик, как Ф. Меринг, усмотрел в анархисте, которому чуждо всякое понимание современного рабочего движения, товарища, который «исправляет несправедливость или помогает исправить несправедливость, исправление которой должно интересовать и марксистскую литературу в более узком смысле слова»!

Если же стать на точку зрения второго рецензента—Ю. Стеклова, то можно притти к выводу, что, как ни плоха книга Брупбахера в качестве исторического сочинения, все-же ее автор, в отличие от других анархистских историков Интернационала, постарался обратить внимание и на другие причины поражения бакунизма, кроме низости Маркса.

С этой точки зрения, книга Брупбахера отличается, конечно, более высоким уровнем, чем писания его единомышленника Пьера Рамюса.

---

[1]) Речь идет о рецензиях Стеклова и Меринга.

Правда, «товарищ»—как полагает Ф. Меринг—Брупбахер пишет:

«В нем (Марксе), наряду с ученым марксистом, скрывался еще вспышкопускатель и якобинец, и эта особенность Маркса представляла дезорганизаторский или усиливающий дезорганизацию элемент в Интернационале гораздо более, чем взгляды Бакунина, которые, при некотором искусстве со стороны Маркса, могли бы, быть может, существовать внутри Интернационала» (стр. 109).

Правда, Ф. Меринг пишет в своей рецензии, что К. Цеткина «правильно отвергает нелепые росказни, будто «диктатура» Маркса погубила Международное Товарищество Рабочих». Но это нисколько не мешает ему сказать, что «товарищ» Брупбахер написал «прилежное и тщательное исследование», «полезную и заслуженную книгу»; это же не мешает ему воспринять почти все то, что Брупбахер преподносит—черная из книги Гильома. Мы скоро покажем, что, как ни плохо следовать за «марксовыми попами» и уподобляться «ханже, которая сидит за чулком и хотела бы скрыть малейшее пятнышко на своем святом», но так же плохо повторять без критики «нелепые росказни» и осыпать великих мертвецов оскорблениями, прикрашенными пошлой моралью и фарисейскими ламентациями.

Трудно представить себе больший триумф для анархистов, чем когда сами марксисты придут к выводу или начнут повторять «нелепые росказни» о том, будто их учителя, эти великие мастера, были также мастерами в области гнусной лжи и злостных клевет, которые исследователю вроде Брупбахера даже «стыдно» цитировать. Первые такие уступки анархистам начал делать Э. Бернштейн еще в 1908 году, и анархисты, прежде всего Гильом, немедленно использовали эти уступки, основанные на недостаточном знакомстве с соответствующею литературою [1]). Правда, Бернштейн говорит, что Маркс, даже с этической точки зрения, защищал правое дело: он защищал права политики, основанной на научном исследовании, против политики, которая делается диллетантским образом. Но не всякий так легко примирится с политикою, которая, при всей своей высокой и прекрасной цели, не отказывается от применения «грязных», «отвратительных»,

---

[1]) С тех пор Бернштейн имел возможность познакомиться с перепискою Энгельса-Маркса и, как видно из его введения к ней, произвел «ревизию» своих взглядов.

или—как, смягчая свои выражения, говорит Ф. Меринг—«некрасивых» средств. Не всякий решится спокойно повторять: так было—так будет, или, как говорит Меринг: «так уж всегда ведется в нашем несовершенном мире, что революции никогда не делаются при помощи розового масла». Наоборот. Он будет лишь возмущаться—и не без права,—видя, что даже историк, столь склонный к этике, как Эйснер, спокойно пишет: «Слишком строгий моральный приговор, который Брунбахер высказывает о махинациях Маркса, был бы справедлив только в том случае, если бы они—как то весьма нередко бывает во внутренней партийной борьбе — были направлены только к устранению неудобной личности». Ведь, даже в партийной литературе эта попытка прикрасить нравственную «испорченность» Маркса «давлением, сбивающим с правильного пути», была названа «иезуитскою».

«Изворачивайтесь, как вам угодно»,—скажет им всем—Бернштейну, Рерингу, Эйснеру — старый Гильом, который твердо убежден, что Маркс был нравственным уродом,—«ясно, что, с точки зрения простой человеческой этики, которая в написанных Марксом статутах Интернационала была провозглашена обязанностью каждого члена, Маркс всегда действовал по отношению к невинному Бакунину, как наглый, низкий клеветник».

Старый ненавистник Маркса, со своей точки зрения, вполне прав. Спор между Бакуниным и Марксом нельзя решать по известной формуле: «с одной стороны—с другой стороны», или по еще более нелепой формуле: «Маркс, правда, стоит выше в научном отношении, но Бакунин симпатичнее его». Как бы «об'ективно» ни изучать человеческую историю, остается тот факт, что земная история делается не отвлеченными людьми, людьми «в себе», а определенными людьми, и кто хочет исследовать определенный период этой земной, конкретной истории, тот должен подвергнуть беспощадному анализу и «суб'ективный фактор» этой истории—как «массы» и «классы», так и персональных носителей этих классовых отношений. Как ни необходима была франко-прусская война 1870 года, как ни необходимо вытекала победа пруссаков над французами из тогдашних отношений, но историк также не может уклониться от критического освещения «суб'ективной» деятельности Бисмарка: он не может, например, признать историю с эмскою депешею безразличной с «высшей точки зрения». А, что правильно по отношению к «победителю» Бисмарку, остается правильным и по отношению к Марксу.

Всякий историк старого Интернационала обязан подвергнуть тщательному анализу—и высказать свое суждение—не только об об'ективных условиях, в которых протекали—в общем виде и отдельно в каждой стране—борьба между Бакуниным и Марксом, но также о внутреннем принципиальном содержании и о «внешней» форме, в которой она велась обеими сторонами. Для рабочего движения важно не только понять историческую необходимость и обусловленность своей борьбы, но и рассмотреть также методы, средства этой борьбы и избрать только те из них, которые соответствуют ее великой цели.

К сожалению, последнее обстоятельство в марксистской литературе легко забывается. Правда, в ней считается общепризнанною «догма», согласно которой Бакунин и Маркс воплощали в себе столь резко отличные принципы, что, раньше или позже, они должны были столкнуться,—чего анархисты не понимают до сих пор,—но обыкновенно в марксистской литературе проявляется склонность искать этих принципов в области чистой теории, в области программы. Однако, как ни существенно было различие в оценке политической деятельности рабочего класса и «конечной цели»,—гораздо важнее было различие в оценке средств, которыми можно пользоваться для осуществления этой конечной цели. При этом упускают из виду, что, когда Бакунин, *наконец*, после двадцати пяти лет революционной деятельности, *впервые* решил отдать всю свою энергию рабочему движению, специфических требований которого он совершенно не понимал,—он не мог не стремиться втиснуть это новое движение в узкое одеяние конспиративной тайной кружковщины. Забывают, что Бакунин был рьяным сторонником тактики, сознательно пользовавшейся всеми средствами, которые не только не соответствуют «естественному правосознанию народа», пользуясь выражением гайнфельдской программы, но прямо оскорбляют его; что Бакунин был последовательнейшим защитником двойной морали, которая считает дозволенным по отношению к «буржуазному» миру все то, что является преступлением в узком кругу «единомышленников»; что Бакунин, так много распространявшийся о суверенной воле «народа» и «массы», считал не только дозволенными, но даже рекомендовал по отношению к этой массе все средства, действующие на «фантазию». Борьба между Бакуниным и Марксом была поэтому борьбою не только за ту или иную форму организации, за ту или иную форму будущего общества; это была, в полном смысле этого слова, также *этическая борьба*, борьба двух этических принципов. Только благодаря победе эти-

ки Маркса над этикою Бакунина, сделалось раз навсегда невозможным, чтобы рабочее движение, «подчинившее стремление» к свободе погоне за хлебом», и массы, «широкие массы» «морально неразвитого пролетариата», страдающего «недостаточным развитием воли» и т. п.—об этом можно прочесть в «полезном и заслуженном труде» «товарища» Брупбахера,—использовывались «только, как средство», даже революционерами, действующими из самых чистых побуждений. Только победа этики Маркса над этикою Бакунина сделала возможным, что постулаты индивидуальной свободы и понятие свободной солидарности — выражаясь языком «этических» анархистов — превратились в «освященный нравами закон» величайшего в истории массового движения, а не оставались только постулатами отдельных индивидуумов, претендовавших на роль «ясновидящих». Только победа этики Маркса над этикою Бакунина сделала возможным, что уже в настоящее время, несмотря на страшное давление повседневной борьбы за хлеб, «морально неразвитой» пролетариат, страдающий «недостаточным развитием воли», дал такое множество «умных, активных» людей, как это не удавалось еще ни одному революционному движению, даже под руководством таких революционных гигантов, как Бакунин.

Но, как ни превосходила бы этика Маркса этику Бакунина, никакое «давление, сбивающее с правильного пути», не могло бы оправдать методы борьбы Маркса против Бакунина, если бы они были действительно такими «бесчестными», как утверждают это анархисты вот уже много лет. Действительно, не надо вовсе быть «марксовым попом» для того, чтобы требовать для Маркса такого же права, какого требуют, со столь сильным моральным негодованием, для Бакунина.

Уже одно то обстоятельство, что Маркс—который гораздо более, чем Бакунин, заслуживает имя «наиболее оклеветанного человека» девятнадцатого столетия—лишь в очень редких случаях считал необходимым реагировать на личные нападки, должно было бы заставить даже тех писателей, которые не страдают недугами «марксовых попов», более осторожно повторять нападки сторонников Бакунина. Согласно действующим до сих пор законам исторической критики, показания всякого свидетеля, защищающего свое собственное дело—хотя бы он клятвенно уверял в своей любви к истине и, действительно, субъективно не был лжецом, — должны быть подвергнуты такому же строгому расследованию, как и показания его противника. Такая осторожность тем более уместна, что Ф. Меринг уже имел случай убе-

диться, как сильно раздуты были некоторые историки бакунистами. В последующем мы ему покажем, что многие факты, которые он считает достоверными, оказываются ложными, «в виду чего,—как он очень правильно заметил в своей блестящей критике статьи Онкена [1]),—согласно действующим до сих пор законам исторической критики, это (бакунинское) изложение оказывается несостоятельным также в тех пунктах, в которых оно не поддается или уже не поддается проверке».

II.

Анархисты, как известно, изображают дело таким образом, что, когда Бакунин неожиданно появился в Интернационале, «вероломный» Маркс, вместо того, чтобы вступить с ним в теоретическую или принципиальную борьбу, немедленно обратился к своим старым испытанным средствам, которые он столь успешно применял уже в сороковых и пятидесятых годах.

«В этой борьбе»,—говорит биограф Бакунина Неттлау,—«Маркс пользовался или злоупотреблял находившеюся в его распоряжении оффициальною властью и совершенно не препятствовал самым низким выходкам своих сторонников и друзей; он уклонялся от всякой теоретической дискуссии по основным вопросам—о свободе, авторитете, революции, политике и т. п., и интернациональных конгрессов, гласность и публичные прения которых не благоприятствовали ему, в 1870 и 1871 годах совсем не происходило, а в 1872 году имела место каррикатура конгресса» [2]).

Или, по словам вновь открытого Ф. Мерингом «товарища» Брупбахера:

«Марксу необходимо было доказать, что его противники погрешают против конституции, основных законов и святая святых Интернационала и что, кроме того, они негодяи. На этом был, очевидно, построен его военный план. Ему были ненавистны идеи Бакунина и его личность. Но по каким-то причинам Маркс не хотел вступать в борьбу именно с идеями Бакунина» [3]).

«Какими-нибудь причинами» необходимо об'яснить и эту предубежденность против Маркса, которая в своих выводах не останавливается даже перед тем, чтобы изобразить Маркса,—от-

---

[1]) F. Mehring, «Noch einige Beitäge zur Parteigeschichte». «Neue Zeit». Feuilleton № 66, S. 822.

[2]) Nettlau. «M. Bakunin». Berlin 1901. S. 30.

[3]) Brupbacher, «Marx und Bakunin». S. 129.

крыто, как Неттлау, или «стыдливо», как «товарищ» Брупбахер,— трусом, уклоняющимся от всякой дискуссии.

Причина этого очень проста. Неттлау был глубоко убежден, что Маркс был способен по чистой злобе клеветать на Бакунина и до 1868 года. Тем более должен был он проявлять эту злобу клеветника, что он якобы боролся за свое личное господство в Интернационале. Снова и снова повторяется старая история о заметке в «Новой Рейнской Газете», в которой Бакунин в 1848 г. был назван русским агентом. А, между тем, всякий серьезный историк, который не гонится за сенсациями, должен был бы давным-давно отказаться от этой истории, якобы доказывающей вероломство Маркса. Эта история была бы совершенно забыта—скоро мы увидим, что сам Бакунин считал ее ликвидированною,—если бы Герцен не выкопал ее тогда, когда он выдумал, без всяких оснований, новую клеветническую выходку, которую Маркс якобы пустил в ход в пятидесятых годах против Бакунина, сидевшего в тюрьме.

Несколько лет тому назад я привел в «Neue Zeit» доказательство, что, поскольку речь идет о Марксе, во всей этой истории нет ни одного слова правды; Герцен сделался жертвою своей забывчивости и смешения различных фактов [1]).

Опубликованная теперь переписка между Марксом и Энгельсом доставляет еще другие доказательства. Теперь мы видим, что и сам Маркс, лишь спустя несколько месяцев после этой клеветнической выходки, узнал о существовании «очень глупого сторонника Уркарта, по имени Маркса», который, действительно, ославил Бакунина русским шпионом (письмо к Энгельсу от 22 апреля 1854 г.).

Теперь мы узнаем также, что уже тогда Маркс энергично протестовал против всех «глупых друзей» Бакунина, которые—теперь не все они это делают—делали попытку использовать против него эту старую историю. «Morning Advertiser» не напечатал раз'яснения Маркса. Мы не знаем, было ли оно напечатано,—по словам Маркса, в измененной форме,—в «Peoples Paper». Но и в той форме, которую Маркс предлагал в своем письме к Энгельсу, это раз'яснение дает убедительный ответ не только на статью Головина, выступавшего заодно с Герценом, но и на все другие статьи, появившиеся с тех пор, вплоть до книги «товарища» Брупбахера.

Маркс предполагал написать в «Morning Advertiser» следующее:

---

[1]) См. статью—«По поводу одной легенды»—в этом сборнике.

«Лучше иметь дело с умным врагом, чем с глупым другом»,— воскликнул бы Бакунин, если бы он увидел когда-нибудь письмо «заграничного» Санхо Панчи, который в вашем субботнем номере разливается в общеизвестных банальных фразах...

«Когда «Новая Рейнская Газета» напечатала парижское письмо (в котором Бакунин обвинялся, что он русский шпион.—Д. Р.), Бакунин находился на свободе. Если он поступил в 1848 г. правильно, удовлетворившись публичными раз'яснениями «Новой Рейнской Газеты», то разве это не «глупый друг», который в 1853 г. находит их недостаточными? Если же он поступил неправильно, возобновив свои дружеские сношения с редактором «Новой Рейнской Газеты», то не «глупо» ли со стороны мнимого друга разоблачать перед публикою его слабость?

«Разве это не «глупый друг», который не может понять, почему консервативные газеты не о п у б л и к о в а л и клеветы, т а й н о распространявшейся против Бакунина повсюду в Германии, в то время, как революционная немецкая газета была обязана ее опубликовать?

«Разве это не «глупый друг», который не знает, что «революционное чувство», на высшей ступени своего развития, создало «законы о подозрительных» и обезглавило Дантона, Демулена, Анахарзиса Клотца?

«Разве это не «глупый друг», который не решился выступить против «Morning Advertiser» за напечатание письма Ф. М. во время заключения Бакунина в тюрьме в С.-Петербурге и который в то же время выступает против «Новой Рейнской Газеты» за напечатание подобного же письма в 1848 г., когда Бакунин находился на свободе и не подвергался достойной сожаления участи— иметь своим защитником глупого друга?» [1]).

Это не только самозащита—л и ч н о Маркс не несет никакой ответственности во всей этой истории с «Новой Рейнской Газетою», но и защита всей ее редакционной коллегии, в том числе, прежде всего, Энгельса.

Факт тот, что и впоследствии сам Бакунин считал этот эпизод с «Новою Рейнской Газетою» ликвидированным. Он уже не возвращался к нему много лет спустя, в эпоху Интернационала, когда борьба между ним и Марксом приняла самые резкие формы и опять всплыла история с клеветническими выпадами, опубликованными в английской прессе в 1853 году. Бакунин всегда отзывался об об'яснении Маркса в «Новой Рейнской Газете», как о «вполне удовлетворительном» («tout à fait satisfaisante»).

---

[1]) Письмо Маркса к Энгельсу от 2 сентября 1853 г.

Факт тот, что еще в пятидесятых годах немало «немецких эмигрантов»—и не только буржуазных—были убеждены в том, что «Бакунин русский шпион», который предавал польских революционеров, вел себя очень подозрительно также во время дрезденского восстания и, вместо того, чтобы томиться в русской Бастилии, вел роскошный образ жизни на Кавказе. В то время именно Маркс и Энгельс изображали Бакунина в «Нью-Иоркской Трибуне», как самого выдающегося вождя дрезденского восстания:

«Они (восставшие) нашли способного и хладнокровного вождя в лице русского эмигранта Михаила Бакунина» («Революция и контр-революция в Германии», стр. 123 немецк. издан.).

Можно сказать, что они переоценивают роль Бакунина, что их отзыв не совпадает с отзывами других лиц, что некоторые из числа «немцев», непосредственно участвовавших в дрезденском восстании, совсем иначе оценивают Бакунина [1]). Но верить, что Маркс был способен написать цитированные строки в октябре 1852 г., а через несколько месяцев, в августе 1853 г., ославить Бакунина русским шпионом,—верить этому в настоящее время, после опубликования в 1896 году в немецком переводе вышеуказанных статей, раньше неизвестных, мог только такой чуждый манерам «марксовых попов» исследователь, как Неттлау [2]).

III.

До сих пор мы предполагали, что Маркс и Энгельс были вероломны, Бакунин же вполне «простодушен». При этом оказалось, что, даже с самой строгой моральной точки зрения, оба они достаточно исправили свою погрешность. Мы не пытались оправдывать Маркса и Энгельса с «психологической» точки зрения. Мы даже принимали, что Бакунин не подавал обоим друзьям ни малейшего

---

[1]) Борн, например, пишет в своих воспоминаниях: «Этот русский, который абсолютно ничего не смыслил в условиях окружавшей его Германии, не оказывал, конечно, в Дрездене ни малейшего влияния на ход событий. Он ел, пил и спал в ратуше—и это все». Борн—что должно быть известно Неттлау—принадлежал к числу тех «немецких эмигрантов», которые еще в пятидесятых годах сильно подозревали Бакунина.

[2]) Как сильно вредит личная предубежденность этому историку, научная серьезность и искренность которого вне всякого сомнения, показывает то обстоятельство, что он, желая согласовать между собою все эти взаимно противоречащие факты, был вынужден изображать Маркса человеком, который хвалил Бакунина против своей воли; одною рукою Маркс, якобы, содействовал оклеветанию Бакунина автором, писавшим под инициалами Ф. М., другою—он писал свой протест в той же газете.

повода «оклеветать» его, что он «по каким-то причинам» был им обоим «несимпатичен». Правда, Меринг пишет, что еще до 1848 г. Бакунин, как показывают его письма Гервегу из Брюсселя от 1847 года, «относился весьма враждебно к Марксу», что, следовательно, Маркс и Энгельс были «несимпатичны» Бакунину. Пока ограничимся констатированием того факта, что, вопреки утверждению Бернштейна о «склонности Маркса принимать на веру всевозможные обвинения насчет политического характера Бакунина», не только Маркс, но и Энгельс защищали или, по выражению Меринга, «рыцарски защищали» Бакунина против всех этих подозрений в то время, когда он в России был лишен свободы. Даже Бернштейн, который еще в 1908 г. верил, что Маркс «считал не совсем безосновательными высказанные Ф. М. подозрения», понимает теперь свою глубокую ошибку. Также не оправдывается, по крайней мере, в данном случае, его утверждение, что «примирения Маркса с Бакунинин также никогда не были безусловными». Более того. Все, что Маркс сообщал до сих пор о своем конфликте с Бакунинын, соответствует действительности, и остается только прибавить, что, по вполне понятным причинам, он не рассказывал всего того, что вполне оправдывало лично его [1]). Следовательно, в своей беседе с Бакуниным в 1864 году он был вполне искренен.

Иначе обстоит дело с Бакуниным. Как известно, он убежал в 1861 г. из Сибири и в декабре того же года прибыл через Японию и Америку в Лондон; здесь он счел излишним посетить Маркса, хотя отлично знал о его пребывании в Лондоне. Почему? Герцен и Мадзини рассказали ему, что во время его отсутствия Маркс выставил его в «Morning Advertiser» русским шпионом, и Бакунин поверил им на слово. Сюда присоединилось еще то обстоятельство, что немедленно после того, как приезд Бакунина стал известным, в одной «небольшой английской газете» опять появились старые сплетни.

Мы считаем теперь излишним доказывать, что Маркс был в этом так же мало повинен, как и в 1853 году. То был опять пресловутый Ф. Маркс, а помогал ему Карл Блинд, друг Мадзини, но враг Герцена и Бакунина.

Как мало были предубеждены тогда против Бакунина не только Маркс, но и Энгельс, показывают следующие места из их переписки.

---

[1]) Я еще вернусь к этой истории. В найденном мною письме Маркса к Лассалю имеется также место о Бакунине, которое, однако, может быть вполне понятно только в соответствующем контексте.

27 ноября 1861 г. Энгельс пишет Марксу:

«Бегство Бакунина доставило мне большую радость. С беднягою, вероятно, ужасно обращались. Совершить, таким образом, кругосветное путешествие!»

25 февраля 1862 г. Маркс пишет Энгельсу:

«Что касается газет со статьями Уркарта, то мне не удалось до сих пор получить полного комплекта. Сообщи, начиная с какого номера, и тогда Коллет сделает, что нужно. Прилагаю при сем донос подлеца против Бакунина, с которым я не виделся. Он живет у Герцена».

Из этих строк легко видеть, что Маркс восхищался поведением Бакунина. Лаконическая прибавка, что «Бакунин живет у Герцена», представляла об'яснение, достаточно понятное и для Энгельса. Действительно, Герцен передал Бакунину всю эту историю в таком свете, в каком она была опубликована впоследствии, после его смерти, и с тех пор всеми повторялась.

Лишь в 1864 году Маркс и Бакунин имели свидание. Последний рассказывает, что Маркс разыскал его и заверил, что он никогда не высказывал против него упомянутых подозрений, а, напротив, об'явил их бесчестными. «Я должен был поверить ему»,—прибавляет Бакунин. Ясно, что в 1871 году, когда он писал об этом, он Марксу уже не верил. В другой версии, опубликованной Неттлау, он прямо заявляет, что знал, что Маркс лжет.

Но у нас есть также показание Маркса. Передаем его словами Бернштейна.

«В известном под названием «Конфиденциальное сообщение» циркуляре, который Маркс 28 марта 1870 г. передал через Л. Кугельмана видным представителям дружественного ему крыла германской социал-демократии, он сам возвращается к этой беседе. По его словам, вскоре после основания Интернационала, между ними произошло тогда, во всяком случае, нечто вроде заключения мира, и когда-нибудь, быть может, удастся узнать, кто был при этом посредником. Но этот мир не был продолжительным. В указанном циркуляре Маркс далее говорит, что Бакунин, уехавший тогда в Италию, прислал ему оттуда «восторженное» письмо по поводу посланных ему статута и вступительного адреса Интернационала; но вместе с тем он «ничего не делал» и не давал о себе знать, пока через несколько лет не появился опять в Швейцарии и, вместо того, чтобы вступить в Интернационал, вступил в «лигу мира и свободы». Последнее, разумеется, верно».

Так говорит Бернштейн. Сейчас мы увидим, что, «разумеется, верно» не только последнее и что для Маркса можно найти го-

раздо более уважительные оправдания, чем то об'яснение, которое Бернштейн, повторяя слова Неттлау, дает поведению Бакунина.

Действительно, Бакунин, после своей второй поездки в Швецию, прибыл в Лондон в октябре 1864 г., т.-е. после основания Интернационала.

Мне удалось открыть, кто был таинственным посредником между Марксом и Бакуниным. То был старый добрый Ф. Лесснер, по своей профессии портной; поводом послужил новый костюм, который Лесснер, бывший в то же время доброжелательным «кредитором» Маркса, шил для Бакунина. Среди писем Лесснера к Марксу имеется следующее письмо, приобретающее теперь в известном смысле историческое значение:

«Дорогой Маркс! Мы шьем теперь костюм для великана Бакунина, который, по моим сведениям, останется здесь лишь короткое время. Если тебе нужен его адрес, я достану его.

«В случае желания получить адрес, черкни мне о том пару слов.

«Лондон, 26 октября 1864 г.

Твой друг Фред. Лесснер».

Нам неизвестно, кто это «мы». Возможно, что также Эккариус. Весьма вероятно, что увлекающийся Лесснер воспользовался этим случаем для того, чтобы в восторженных тонах рассказать Бакунину подробности о новооснованном Интернационале и о роли, которую играл при этом Маркс. Эккариус мог также рассказать Бакунину, что Маркс не принимал никакого участия в обоих клеветнических выпадах против него. Этим, быть может, об'ясняется дружественный тон, которым проникнуто следующее письмо Бакунина к Марксу [1]):

«Дорогой Маркс! Я с большим удовольствием повидаюсь со старым знакомым. До часу дня я постоянно дома.—Я помню хорошо, что два года назад встретил некоего доктора Роде, раза два или три, но не могу припомнить, чтобы сказал ему что-нибудь, кроме общих мест. Итак, до свидания.

«27 октября 1864 г.

Твой М. Бакунин».

Письмо Маркса нам неизвестно, и мы не можем понять, какую роль играл в этой истории д-р Роде. Но теперь мы имеем новый отчет о последовавшем свидании, исходящий от Маркса и имеющий уже то преимущество—помимо всех других,—что он написан через несколько дней после свидания, и притом написан Энгельсу, следовательно «без задних мыслей» и без «вероломства» (письмо от 4 ноября 1864 г.):

[1]) Найдено в бумагах Маркса. Написано по-немецки.

«Бакунин кланяется тебе. Он уехал сегодня в Италию, где живет (во Флоренции). Я вчера опять увидел его, впервые после шестнадцати лет. Должен сказать, что он мне понравился и лучше прежнего. О польском движении он сказал следующее: русскому правительству это движение нужно было для того, чтобы держать в спокойствии самое Россию, но оно никоим образом не расчитывало на восемнадцатимесячную борьбу. Поэтому оно провоцировало эту историю в Польше. Польшу погубили две вещи: во-первых, влияние Бонапарта и, во-вторых, нежелание польской аристократии провозгласить с самого начала открыто и недвусмысленно крестьянский социализм. Теперь, после крушения польского дела, он (Бакунин) будет участвовать только в социалистическом движении. В общем, он один из немногих людей, которого я, по прошествии шестнадцати лет, нашел ушедшим не назад, а вперед. Мы поговорили с ним также о доносах сторонников Уркарта... Он очень осведомлялся о тебе и о Лупусе. Когда я сообщил ему о смерти последнего, он сказал, что движение потеряло незаменимого человека».

Так писал «вероломный» Маркс, которого, по глубокому психологическому замечанию Неттлау, к этому свиданию побудила «лишь гордыня: он хотел показать доставшуюся ему в Интернационале власть своему прежнему товарищу, который шел своим собственным путем!» Вообще, анархистам очень везет в их психологических экскурсах. Так, «товарищ» Брупбахер, который, по словам Меринга, «умело пользуется своим психологическим зондом», делает замечательное открытие, что Маркс мыслил рассудком, Бакунин же всем своим организмом. Тем не менее, уверяет нас Брупбахер, «Бакунин не имел всяких задних мыслей».

Мы не знаем, доказал ли Маркс Бакунину также документально, что во всем рассказе Герцена не было ни слова правды и что он представлял собою недоразумение. Мы предпочитаем—в интересах Бакунина—думать, что он лишь рассказал Бакунину всю эту историю.

Как бы то ни было, но Маркс немедленно послал в Италию «учредительный адрес» и статуты Интернационала [1]). Какое значение придавал он содействию Бакунина, видно из того, что, не дожидаясь выхода адреса в форме брошюры, он послал ему оттиск из «Beehive» [2]). Бакунин обещал позаботиться о переводе

[1]) Неттлау сомневается в этом, как и в других показаниях Маркса, относящихся к этому свиданию. В другом месте я покажу, что и здесь с ним приключилось такое же несчастье, как и в истории с «Morning Advertiser».

[2]) Это именно обстоятельство подало Неттлау повод утверждать о существовании нового, до сих пор неизвестного, издания адреса.

на итальянский язык. Правда, он сам не говорит об этом ни одного слова ни в своем ответе Мадзини (1871 г.), где он пишет, что должен был поверить Марксу, ни в часто цитируемой Нетлау рукописи (около 1871 года), где он говорит, что определенно знал, что Маркс лжет. Но мы имеем отличное показание, которое опять-таки доказывает, как слаба была в определенных пунктах память Бакунина—черточка, которая была прекрасно известна всем его личным друзьям, в особенности, русским. К сожалению, не Нетлау!

Показание исходит от самого Бакунина. 7 февраля 1865 г. он написал Марксу из Флоренции следующее письмо, на этот раз по-французски:

«7 февраля 1865 г.—Флоренция.

«13, via dei Rucci, 2 piano.

«Carissimmo (Милейший)!—Формально ты имеешь право сердиться на меня, так как я оставил без ответа твое второе письмо и до сих пор не ответил еще на третье.

«Вот причина моего молчания: согласно твоему желанию, я послал Гарибальди один экземпляр адреса интернационального комитета и до сих пор ожидаю его ответа. Кроме того, я жду, пока будет решено печатание итальянского перевода, чтобы послать его тебе.

«Ты вряд ли сумеешь представить себе, как медлительны и нерешительны люди в этой стране. Отсутствие денег, эта основная и первичная, впрочем, весьма естественная, болезнь всех демократических организаций в Европе, задерживает всякую активную работу. Более того, деморализованным,—вследствие полного фиаско и ошибок демократической партии — централистской, политической, унитарной, — большинством в Италии овладели теперь в сильнейшей степени скептицизм и пресыщенность. Только социалистическая пропаганда — последовательная, энергическая и страстная — может еще вернуть этой стране жизнь и волю. Но для всего этого необходимо время, ибо все тут приходится начинать сначала.

«В Англии вы, повидимому, идете вперед на всех парусах, что же касается нас, то мы едва осмеливаемся их poco à poco (понемногу) развернуть.

«Я посылаю тебе стихотворение флорентийского производства. Надеюсь, оно тебе понравится.

«К сожалению, организация представляет более трудное дело, чем стихи. Она, правда, тоже подвигается, но очень медленно. Ее

успехи замедляются скептическим индифферентизмом, взаимным недоверием, невежеством и неспособностью так называемых шефов, так называемой демократии, деморализованной и сбившейся с пути. В Италии должна сорганизоваться новая демократия, основанная на абсолютном праве и едином культе труда. Элементы для этого имеются — Италия кишит ими. Поэтому не следует приходить в отчаяние. Но терпение! — как тут любят говорить. И этого терпения нужно много.

«Мадзини сильно ошибается, продолжая думать, что инициатива нового движения придет из Италии. Англия, Франция, быть может, Германия, если говорить только о Европе, и эта великолепная Северная Америка — вот настоящий интеллектуальный и действительный центр человечества. Остальные пойдут на буксире.

«А теперь, carrissimo amico, прости меня за долгое молчание, которое больше не повторится, и поцелуй почтительно от моего имени прекрасные руки твоей жены и твоей дочери.

Преданный тебе М. Бакунин.

«P. S.—Как я только получил фотографии моей жены и свою собственную, я пошлю их вам, но взамен я попрошу у вас фотографию всей «святейшей семьи» (la sanctissima famiglia)» [1]).

Э. Бернштейн может теперь убедиться, что весь р а с с к а з Маркса «разумеется, верен». А Неттлау, Гильом, как и без всякой критики повторяющий их слова, только что открытый Мерингом «товарищ» Брупбахер, которые хотят уверить нас, что Бакунин был «человеком без задних мыслей» и что все, написанное им в его письмах верно также о б ' е к т и в н о,—могут удостовериться, как следует быть осторожным тогда, когда из у м о л ч а н и я Бакунина хотят сделать вывод, что Маркс л г а л. Вообще, конструировать доказательства и з у м о л ч а н и я источников—очень опасный метод, не менее опасный, чем считать достоверными факты, о которых известные «источники» неоднократно р а з г л а г о л ь с т в у ю т.

Подобное нарушение — по первому замечанию Меринга — «действующих до сих пор законов исторической критики» никогда не проходит безнаказанно.

После того, как все, до единого, факты, сообщенные о Марксе Неттлау, Гильомом и «товарищем» Брупбахером, при проверке их другими несомненными фактами, оказались ложными, изложение всех наших «точных» источников, согласно «действующим до сих

---

[1]) Письмо это мною напечатано в оригинале в «Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung» Грюнберга.

пор законам исторической критики», является несостоятельным также и «в тех пунктах, которые не поддаются или уже не поддаются проверке». Не правда ли, тов. Меринг?

В следующей главе мы покажем, что изложение «товарища» Брупбахера оказывается несостоятельным также там, где его легко мог бы проверить сам Меринг.

IV.

Мы видели, в своем отчете об отношениях к Бакунину Маркс вполне точно констатирует те факты, сообщение о которых до сих пор склонны были считать если не «ложью»—как то делают анархисты,—«lapsus memoriae» Маркса [1]).

Дело обстоит как раз наоборот.

Вся конструкция, с таким трудом воздвигнутая Неттлау в его обширной биографии и недавно повтореная им в его большой статье о Бакунине в Италии [2]), сразу падает.

Если бы мы хотели последовать его примеру, и всякий раз, когда в письмах, циркулярах или конфиденциальных сообщениях Бакунина встречается какая-нибудь ошибка или погрешность, стали бы немедленно подозревать ложь, утайку, вероломство,—бедному Бакунину пришлось бы очень плохо. Покажем это на одном примере.

Мы уже упоминали, что от Бакунина остались две версии о встрече его с Марксом в Лондоне. Одна из них была опубликована уже в конце 1871 г. Но в ней ничего не говорится о том, что последовало после этой встречи. Из нее лишь видно, что в 1871 г. Бакунин был опять глубоко уверен в том, что именно Маркс и его друзья оклеветали его в 1853 г. русским шпионом [3]).

Гораздо подробнее говорит он об этом в своей, цитируемой у Неттлау, рукописи «Мои личные отношения к Марксу» (около 1871 года):

---

[1]) Сюда присоединялось еще утверждение в «Neue Zeit », XIX Band.—«Ein Brief Bakunins an Marx»,—что это письмо (от 22 декабря 1868 г.), «насколько нам известно, единственное письмо Бакунина, имеющееся в бумагах Маркса».

[2]) Nettlau, «M. Bakunin und die Internationale in Italien bis zum Herbst 1872».—«Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung», Zweiter Jahrgang, 1912.

[3]) «Но в 1864 г., когда я опять приехал в Лондон, он (Маркс) посетил меня и заверял, что никогда не принимал ни прямого, ни косвенного участия во всех этих клеветнических выпадах, которые он назвал бесчестными. Я должен был поверить ему». M. Bakunin, «La theorie politique de Mazzini et l'Internationale». Neuchâtel, 1871, p. 46.

«В октябре 1864 г. я опять приехал в Лондон. Я получил тогда от Маркса письмо, которое еще сохраняю и в котором он запрашивал, может ли он посетить меня на следующий день. Я ответил утвердительно, и он пришел ко мне. Мы об'яснились, он клятвенно уверял, что ничего не говорил и не делал против меня, а, напротив, всегда сохранял по отношению ко мне искреннюю дружбу и большое уважение. Я знал, что все сказанное им неверно, но я, действительно, уже давно простил ему эту. Вообще, возобновление знакомства с ним очень интересовало меня с другой точки зрения. Я знал, что он принимал выдающееся участие в основании Интернационала. Я уже прочел манифест, составленный им от имени генерального совета, манифест, который, как все, что выходит из-под его пера,—если только это не личная полемика,—был замечателен, серьезен и глубок. С внешней стороны мы расстались лучшими друзьями; однако, ответного визита я ему не нанес... Я обменялся с Марксом несколькими письмами. Потом мы потеряли друг друга из виду» [1]).

Если бы мы хотели характеризовать ставшее нам теперь известным поведение Бакунина словами Неттлау, Гильома и открытого Мерингом «товарища» Брупбахера, то мы легко могли бы говорить о «наглой лжи», содержащейся в показаниях Бакунина, о «вероломстве» этого «человека без задних мыслей», который был способен написать Марксу такое письмо, как цитированное нами. Всякий человек бывает в своей жизни подчас вынужден говорить не всю правду—в том числе и в письмах,—и никто, действительно, не обязан грубо преподносить каждому свое мнение. Но если бы Бакунин думал, что Маркс «и формально и по существу лгал», то все его поведение представляло бы новую «психологическую загадку»... если бы Бакунин на самом деле не забыл к 1871 г. действительного хода событий и если бы он был действительно тем лукавым Макиавелли, каким изображает его Неттлау:

«Бакунин отлично знал, что дело необходимо идет к борьбе между авторитарным и свободным направлениями, и своею многолетнею частною деятельностью он мощно подготовлял будущую победу свободного направления». Или, как Неттлау говорит в своей новой статье: «Этим об'ясняется, почему Бакунин, который при иных условиях приветствовал бы Интернационал с радостью, много лет стоял в стороне от него; это произошло именно потому, что Маркс, лойяльности которого он никогда не доверял, горячо рекомендовал ему Интернационал, а не вопреки советам Маркса» [2]).

---

[1]) M. Nettlau, ук. соч., стр. 282.

[2]) M. Nettlau, «Bakunin»..., глава XXXI, стр. 199, и «Archiv»..., стр. 284.

Теперь отлично зная, что Маркс не «наклеветал» на Бакунина, Неттлау не считает нужным исправить в своем новом изложении ошибку Бакунина.

Сейчас Неттлау узнает, что, наоборот, Бакунин «лгал», упорно всегда «утаивая» свое вступление в Интернационал и свое обещание работать для него.

В своем «Конфиденциальном сообщении» 1870 года Маркс писал:

«Русский Бакунин,... вскоре после основания Интернационала, имел в Лондоне свидание с Марксом. Последний принял его в Товарищество, для которого Бакунин обещал работать по мере сил. Бакунин уехал в Италию, получил там от Маркса временные статуты и «Адрес к рабочему классу», ответил, «очень восторженно», но ничего не сделал».

Достаточно сравнить этот лаконический рассказ Маркса с рассказом Бакунина, чтобы убедиться в бесспорном преимуществе сухого мышления при помощи рассудка над сочным мышлением, в котором принимает участие весь организм.

Но и Маркс о чем-то «умолчал». Возможно, что он «стыдился» еще ярче обнаружить свое «легковерие». Ведь, в апреле 1865 г. он надеялся «заложить во Флоренции через Бакунина контр-мины[1]) против Мадзини». И, когда продолжался спор с итальянскими делегатами в генеральном совете, он, еще в мае 1865 г., надеялся, что Бакунин позаботится доставить других итальянцев. Прошло еще несколько месяцев, а итальянский перевод учредительного адреса, якобы сданный уже в печать, все еще не появлялся.

Бакунин молчал. Конечно, по «каким-то причинам». Но, быть может, он работал для Интернационала иным образом? Нет, генеральный совет, или, если угодно, Маркс, никогда ничего не узнал об этом. Что делал он до сентября 1867 г., для нас теперь неважно. Для Интернационала он ничего не делал. Правда, в настоящее время, много лет спустя после смерти Маркса, мы, благодаря неутомимому усердию Неттлау и появившимся в печати письмам, знаем, что Бакунин «делал» в течение этих трех лет; теперь мы понимаем, почему в течение этих трех лет ни женевский, ни лозаннский конгрессы Интернационала не могли вызвать его из Италии. Но то обстоятельство, что Бакунин, отсутствовавший на тех конгрессах, при первом же известии о конгрессе буржуазной «лиги мира и свободы» в Женеве, поспешил на этот конгресс,

---

[1]) «Слушайте! Слушайте!» — восклицает Гильом: — «В этом слове весь Маркс!».

должно было поразить даже «легковерного» Маркса, который помнил, как еще в 1864 г. Бакунин уверял его, что теперь, после неудачи польского восстания, он будет участвовать только в социалистическом движении, и повторил снова это обещание в своем письме от февраля 1865 г.

«По прошествии нескольких лет, в течение которых о нем ничего не было слышно, он появляется опять в Швейцарии»,—пишет далее Маркс.—«Но он примыкает не к Интернационалу, а к лиге мира и свободы».

Маркс опять о чем-то «умалчивает». Он не хочет обнаружить перед немецкими «практиками» свое неисправимое легковерие. Ведь, Бакунин был одним из немногих людей, которых—«я по прошествии шестнадцати лет нашел ушедшими не назад, а вперед». Но что поделаешь с русским? Может быть, его еще удастся, несмотря ни на что, привлечь к «делу».

Маркс, только-что опубликовавший «Капитал», обратился — через свою жену—к Беккеру с просьбою узнать адрес Бакунина.

«Я убеждена»,—пишет госпожа Маркс,—«что вы легко узнаете его в Женеве, может быть, через Герцена. Он (Маркс) хочет послать ему книгу и написать о других делах» [1]).

Мы не знаем, действительно ли написал Маркс письмо. Но установлено, что он послал Бакунину «Капитал». Это подтверждает и Бакунин.

Прошли опять три месяца. Бакунин опять молчит. К этому времени относится следующее место из другого письма госпожи Маркс к Беккеру. Это письмо уже напечатано в «Neue Zeit», к сожалению, не без ошибок [2]).

«Не знаете ли чего-нибудь о Бакунине? Мой муж послал [3]) ему, как старому гегельянцу, свою книгу—от него ни ответа, ни привета. Получил ли он ее? [4]). На русских, ведь, нельзя особенно полагаться; если они не держатся «царя-батюшки» в России, то держатся батюшки-Герцена, или он их держит, а в конце концов, это приводит к одному и тому же. Это одно и то же».

Неттлау возмущается этим местом. Какой тон! Он саркастически замечает, что это письмо написано «в стиле, который со стороны образованной дамы поистине поражает». «Образованная дама», которая не соблюдает в письме всех правил хорошего тона

---

[1]) Из напечатанного письма к И. Ф. Беккеру. Письмо написано в октябре 1867 года.

[2]) R. Ruge. «Aus Briefen an I. F. Becker».—«Neue Zeit», 1888, S. 507.

[3]) В «Neue Zeit» напечатано: «Schenkte», вместо: «Schickte».

[4]) В Neue Zeit» напечатано: «Hat was bekommen?»—вместо: «Hat er's bekommen?»

и подчас употребляет слова, какие «благовоспитанная» английская мисс может найти «шокирующими»! Вообще, во всей исторической литературе, не исключая и придворной историографии, трудно найти историков, которые своим «хорошим тоном» могли бы поспорить с биографами Бакунина. Так, например, «товарищ» Брупбахер не хочет повторить в своей книге ругательств, которыми Утин и компания осыпали «юрцев», так как, по его словам, они «не могут быть воспроизведены в приличной книге». Ниже мы будем иметь еще случай познакомиться со стилистическими красотами и ругательствами «юрцев», которые обнаруживают весьма своеобразный хороший тон. «Товарищ» Брупбахер замалчивает их, чтобы таким дешевым способом сделать свою книгу более «приличною».

Но одно ясно из письма госпожи Маркс. И она, и Маркс могли об'яснить себе странное молчание Бакунина только влиянием Герцена. Поведение Бакунина, действительно, не могло укрепить веру в надежность «русских».

Но и после этого Бакунин молчал. Теперь, однако, дела обстояли иначе, чем раньше. Деятельность Бакунина в Лиге мира и свободы не могла остаться неизвестною Марксу. Даже Гильом и «товарищ» Брупбахер признают, что «иллюзии Бакунина по отношению к буржуазным демократам еще не исчезли». Кроме того, Бакунин попал теперь опять в такую среду, где серьезно принимали на веру и повторяли писания «благородного» Фогта о Марксе, где меньше сомневались в существовании «шайки поджигателей», руководимой Марксом, чем в честности принца Наполеона.

Новые иллюзии Бакунина скоро рассеялись. Сделанная, по его инициативе, попытка превратить Интернационал в придаток лиги была почти единогласно отвергнута на брюссельском конгрессе Интернационала. Это было полным поражением. Ничто не характерно так для Бакунина, как манера, с которою он, в письме к Густаву Фогту, защищает себя и одновременно об'ясняет свое поражение интригами невидимого главы «шайки поджигателей», столь хорошо известной его адресату. Ничто не помогло. На бернском конгрессе лиги дело дошло до разрыва с «буржуа».

Что же делает после этого Бакунин?—Вместо того, чтобы работать в рамках Интернационала, он основывает новое общество, которое, повидимому, преследует ту же цель, что Интернационал, но, тем не менее, хочет остаться самостоятельною организацией, со своими собственными конгрессами. Новооснованный «альянс» обратился к генеральному совету с просьбою принять его в Интернационал. Ответ, как известно, был отрицательный.

Мы считаем излишним раз'яснить здесь Бернштейну и Мерингу, что уже с этого времени конфликт стал неизбежным. Они отлично знают, что все разглагольствования «товарища» Брупбахера о «простодушии» Бакунина и о «дезорганизаторской» деятельности Маркса представляют лишь «нелепые росказни». Не будем мы также заниматься здесь вопросом о том, не скрывалось ли с самого начала за оффициальным «альянсом», основанным Бакуниным, тайное общество [1]). Для нас важно только констатировать, что до сих пор мы не нашли у Маркса ни малейшего следа «склонности принимать на веру всевозможные подозрения насчет политического характера Бакунина».

Правда, наши «точные» историки и глубокомысленные психологи имеют в своем распоряжении еще один факт, который должен об'яснить «личную неприязнь» Маркса к Бакунину.—Маркс послал Бакунину авторский экземпляр «Капитала», но не получил никакого ответа. Этого «мстительный» Маркс никогда не мог забыть Бакунину!

Хотя эти росказни еще абсурднее, чем порицаемые Мерингом росказни «товарища» Брупбахера, тем не менее, даже это «психологическое об'яснение», столь характерное для всего уровня бакунистской литературы, было воспринято... Бернштейном и Мерингом.

«Правда, Маркс через дружественно расположенного к нему Иоганна Филиппа Беккера послал Бакунину в Женеву экземпляр «Капитала», но его недоверие к Бакунину тем более укрепилось, что последний,—как он утверждает, по забывчивости,—не написал Марксу ни одной строчки об этой книге» [2]).

Меринг также нисколько не сомневается в том, что Маркса это должно было очень рассердить: «Но Бакунин, как он сам показывает»,—о показаниях Маркса Меринг забывает,—«не ответил на визит, а также ничего не написал, когда Маркс в 1867 г. послал ему в Швейцарию авторский экземпляр «Капитала».

А Маркс, как «показывает сам» Бакунин, был «мстителен, как его бог Иегова». «Но,—пишет далее Меринг, защищая Бакуни-

---

[1]) В письме в редакцию «Berliner Volkstribune», по поводу статьи «Юрская федерация и М. Бакунин», Энгельс писал: «Автор, точно невинный младенец,—или притворяясь таковым,—во всем верит на слово бедной оклеветанной анархистской овечке. То, о чем эти господа считали нужным не говорить, ему совершенно неизвестно; поэтому ему неизвестно и то, что скрывалось за всем спором». Гильом и Неттлау отрицают это.

[2]) См. Bernstein, «Marx und Bakunin».—«Archiv für Sozialwissenhaft und Sozialpolitik». XXX Band, S. 15.

на:—«Хотя последний ни одним словом не уведомил о получении книги, но спустя год, в декабре 1868 г., он подробно написал Марксу».

Что же Бакунин написал?

Меринг, надеемся, не посетует на нас, если мы будем цитировать письмо Бакунина несколько подробнее, чем он это делает, ибо в его передаче оно не совсем понятно:

«Серно сообщил мне ту часть твоего письма, которая относится ко мне. Ты спрашиваешь его, продолжаю ли я оставаться твоим другом. Да, более, чем когда-либо, дорогой Маркс, ибо лучше, чем когда-либо прежде, я понимаю теперь, как был ты прав, выбрав,—и нас приглашая за тобой следовать,—большую дорогу экономической революции и осмеивая тех из нас, которые блуждали по тропинкам национальных или чисто политических предприятий. Я делаю теперь то дело, которое ты начал более двадцати лет назад. Со времени торжественного и публичного прости, которое я сказал буржуа на бернском конгрессе, я не знаю теперь другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. — Моим отечеством будет теперь Интернационал, одним из главных основателей которого ты являешься. Ты видишь, следовательно, дорогой друг, что я — твой ученик, и я горжусь этим. — Вот все, что я считаю необходимым сказать, чтобы об'яснить тебе мои личные чувства и отношения [1]).

Продолжение читатель может найти в «Neue Zeit». Далее Бакунин пишет об отвергаемом Марксом «уравнении классов» и, как бы желая ответить на подозрение, высказанное в письме госпожи Маркс к Беккеру,—подозрение, что он опять солидарен с Герценом,—он уверяет Маркса, что теперь между Герценом и им прерваны даже личные отношения [2]).

На это письмо Бакунин не получил никакого ответа.—Почему? Мы не считаем нужным заниматься психологией. Но достаточно сравнить письмо от февраля 1865 с письмом от декабря 1868 г., достаточно вспомнить, что еще до последнего письма Маркс имел в своих руках программу «альянса», содержавшую то самое требование уравнения классов, формулировка которого, как пишет Бакунин в первом письме, была навязана ему и его друзьям, в предложенной ими лиги революции, глупостью буржуазной публики. Это писал тот же Бакунин, который заявлял, что отныне

---

[1]) «Neue Zeit», XIX Band, S. 6.

[2]) Беккер, дружественно расположенный тогда к Бакунину, вероятно, сообщил ему содержание письма госпожи Маркс, а также ее вопрос, получил ли он «Капитал».

он не будет знать другого общества, кроме мира рабочих! И этому миру рабочих он хотел теперь преподнести в статутах «альянса», как новую истину, то самое требование, которое, по его же словам, было навязано ему глупостью буржуазной публики!

Вспомнив это, можно легко понять Маркса, не делая из него мстительного злодея.

Меринг ищет об'яснения в «социологическом факторе», который, правда, не об'ясняет истории народов и классов, но играет роль во многих «историях» отдельных индивидуумов: а именно—в нашептываниях. В одном отношении Меринг, однако, отличается от Гильома и Неттлау. Последние видели до сих пор в Марксе «ябедника», нашептывающего Гессу, Боркгейму, Либкнехту, Бебелю все те клеветы, которыми они осыпали бедного Бакунина; Меринг же открывает теперь дьявольского «ябедника», который так сильно восстановил Маркса против Бакунина, проникнутого глубоким дружеским чувством. —Кто же был этим гением клеветы, который провел «хитрого и холодного»,—ведь, Штибер пользовался своим психологическим зондом не хуже «товарища» Брупбахера,—Маркса, как одряхлевшего, слабоумного Полония?—Об этом пусть расскажет нам сам Меринг:

«Нет ни малейшего основания предполагать»,—пишет Меринг: —«что Бакунин был в этом письме неискренен и хотел обмануть Маркса. Если он обманывал кого-нибудь, то только самого себя. Но Маркс отнесся к письму не без недоверия. Мы можем оставить здесь в стороне вопрос о том, насколько играли при этом роль личные нашептывания; что они играли роль, этого, к сожалению, нельзя отрицать. Главным виновником этого был некий Утин,—Брупбахер называет его сыном водочного откупщика,— который, по каким-то личным причинам, ненавидел Бакунина и преследовал его ядовитыми клеветами».

«Согласно действующим до сих пор законам исторический критики»,... всякое изложение оказывается несостоятельным во всех пунктах, где его утверждения основываются лишь на вопиющем анахронизме или обнаруживают слепое доверие к «нелепым росказням».

Если даже Утин был очень плох [1]), и Маркс доверял ему не меньше, чем Меринг—«товарищу» Брупбахеру, тем не менее, вся

---

[1]) «Приличие» не мешает Брупбахеру подчеркивать, что Утин был рантье-еврей. Для этого «товарища» крещение так же мало значит, как для русских погромщиков, требующих, чтобы даже дети крещеных евреев не уравнивались в правах с христианами.—«Товарищу» Брупбахеру мало того, что Утин пользовался благами христианства с первого дня своего рождения!

эта страшная история, которая должна об'яснять недоверие Маркса уже в декабре 1868 г., ни на чем не основана. Мы сошлемся не на «какие-то причины», а на одну очень простую причину: Маркс не имел тогда об Утине ни малейшего представления. Как мало влияния мог Утин оказывать на Маркса и Энгельса еще в 1870 г., показывает следующее место из одного письма Энгельса к Марксу.—Последнее должно быть хорошо известно Мерингу, как и другие места из переписки Маркса с Энгельсом, которые также—даже без найденного мною письма Бакунина к Марксу—достаточно выясняют, как осторожно надо относиться к «собственным показаниям» Бакунина. Еще бо́льшая осторожность требуется, когда имеешь дело с «точным» историком, вроде «товарища» Брупбахера.—Энгельс писал:

«Святая Русь будет ежегодно выплевывать некоторое число этих «безработных» русских; под предлогом principe international, они повсюду будут втираться в среду рабочих, они будут добиваться роли вожаков, они внесут в секции неизбежные у русских личные интриги и дрязги, и тогда генеральному совету придется с этим достаточно возиться. Мне сейчас же бросилось в глаза, что Утин сумел уже создать себе положение у женевцев. И эти русские еще жалуются, что у них дома все места заняты немцами!»

Так писал Энгельс 29 апреля 1870 г., после того, как он узнал от Маркса, что Утин и его друзья, разорвав с Бакуниным, основали русскую секцию Интернационала и просили Маркса быть ее представителем в генеральном совете. Письмо, написанное тогда (12 марта 1870 г.) Утиным по этому поводу, было вообще первым письмом, которое он послал Марксу.

Бакунин «сам показывает», что Утин начал свою клеветническую кампанию лишь после октября 1869 г. Что же касается разногласий между Бакуниным и Утиным, то даже Нетлау пишет, что они «не имели никакого отношения к Марксу и Интернационалу, а об'яснялись личною.... антипатиею».

Вся эта психологическая и хронологическая неразбериха взята Мерингом из «полезного и заслуженного труда» открытого им «товарища» Брупбахера, хотя, в качестве одного из редакторов переписки Маркса с Энгельсом, он, наверное уже усердно читал эту переписку.

«Утин приехал в Женеву с прямым намерением выступить против Бакунина и собрать для Маркса материал, которым последний мог бы воспользоваться против Бакунина» (Брупбахер, стр. 71).

Откуда Утин приехал?—Из Лондона?—В 1867 году, или в 1868, или в 1869 г.?—Все эти вопросы остаются без ответа. Брупбахер лишь знает досконально,—его психологический зонд не имеет никаких хронологических границ и географических расстояний, — что Маркс «прямо поручил Утину помочь ему в собирании материалов для уничтожения Бакунина». И Меринг, убежденный, что «товарищ» Брупбахер—«в сущности, доказал свои положения, хотя о некоторых частностях с ним можно спорить»,—дополняет эту историю об «уничтожении» Бакунина из «каких-то» источников, которых он, к сожалению, не называет и которые до сих пор всем историкам остаются неизвестными.

Пример «товарища» Брупбахера оказался заразительным. Если «товарищ» Брупбахер открыл, что Маркс «по каким-то причинам» уклонялся от теоретической дискуссии со страшным Бакуниным, который мыслил всем своим организмом,—то Меринг открывает теперь, что Утин «по каким-то причинам» преследовал клеветами безобидного Бакунина.

Во имя науки, во имя исторической критики:—сообщите нам, наконец, все эти таинственные причины!

V.

Но у Меринга имеются еще «какие-то» другие обвинения против Маркса. Правда, он сам вынужден признать, что, несмотря на все нашептывания злокозненного Утина, якобы ославившего Бакунина подкупленным агентом царизма,—Маркс «никогда не верил этим обвинениям», хотя «не возражал, когда они распространялись столь близкими ему политиками, как Боркгейм и Либкнехт».

Мы не намерены спорить с Рерингом о том, насколько «близок» был Боркгейм Марксу в качестве политика и насколько можно возлагать на Маркса ответственность за все статьи Боркгейма и поступки Либкнехта. Ведь, именно Меринг доказал, что Маркса никоим образом нельзя считать ответственным за все то, что Либкнехт делал в 1866—1870 годах.

Мы не будем доказывать всю смехотворность обвинения, требующего от Маркса, чтобы он, немедленно же после появления каждой из бесчисленных статей, в которых его ложно истолковывали или от его имени «позволяли себе безобразия», писал в соответствующую редакцию опровержение. Ниже мы увидим, что и в этом отношении Маркс делал больше, чем это было в человеческих силах, хотя ко времени Интернационала положение было совсем другим, чем в пятидесятых годах, когда, по словам самого же Меринга, Маркс рыцарски защищал Бакунина в ан-

глийской прессе против подозрения, что он царский агент. Теперь Бакунин уже не томился в русских тюрьмах, он был на свободе; что он не был слабым, беззащитным существом, видно из его ответа пресловутому Марксу,— не Карлу Марксу, а Френсису Марксу,—когда последний, сейчас же за возвращением Бакунина из Сибири, поднял старое обвинение: Бакунин немедленно заявил в другой английской «небольшой газете», что на подобные обвинения отвечают «не с пером в руке, а рукою без пера». Более того. У Бакунина было много гораздо более интимных друзей, чем Маркс, и все же, когда Боркгейм летом 1865 г. якобы назвал Бакунина в одной буржуазной газете русским агентом,—н и к т о и з н и х не счел нужным выступить в его защиту. Далее, мы увидим, почему они действовали так «подло».

Несмотря на сказанное, мы можем все-таки стать на ригористическую точку зрения анархистов и Меринга. — Предположим, что, если бы Бакунин и в шестидесятых годах, действительно, подвергался обвинению, что он подкупленный агент русского царизма, Маркс был бы нравственно обязан немедленно сделать то, чего не сделали самые интимные друзья русского революционера. Но, — при всем уважении к ригоризму анархистов, «товарища» Брупбахера и Меринга, — мы не забываем того, что, кроме «законов этики», существуют «действующие еще до сих пор законы исторической критики». Поистине, не надо страдать болезнью «марксовых попов»,—открыто сознаемся, что мы не так застрахованы от опасности этой заразы, как Меринг, — чтобы спросить: верно ли, что Боркгейм и Либкнехт повсюду распространяли, что Бакунин—русский агент, и—что Маркс не опровергал этого?—Кто утверждает это?—На каких фактах, сообщениях, статьях основывается это обвинение?—Были ли все подобные предположения сопоставлены с фактами, как то требуется «действующими до сих пор законами исторической критики»?

Теперь дело принимает скверный для Маркса оборот. Ведь, речь идет о фактах, касающихся Либкнехта, Бебеля и германской социал-демократии. Тем хуже для Маркса, что Эйснер—талантливый биограф «Солдата революции», Меринг—автор классической истории германской социал-демократии, основанной на несравненном знании всей соответствующей литературы, Бернштейн—автор подробной «Истории рабочего движения в Берлине» и биографии Игнатия Ауэта, — что все эти товарищи не только не опровергают, но даже подтверждают эту страшную историю, оскорбляющую тонкое нравственное чувство не одного только «товарища» Брупбахера. Даже слепой почитатель Маркса мог бы притти к за-

ключению, что—как говорит автор «заслуженного и полезного труда» о Бакунине и Марксе—«на всем земном шаре не найдется ни одного человека, кроме нескольких фанатиков», который не признал бы поведения Маркса «позорным пятном на его характере, пятном, которое никогда не будет смыто и, в лучшем случае, сможет быть об'яснено психологически».

Правда, Меринг, в качестве старого ментора, проливает немного елея на возмущенное серьезное нравственное чувство нового швейцарского ригориста:

«Так уже всегда ведется в нашем несовершенном мире, что революции никогда не делаются при помощи розового масла. Не думайте только, что всякий, кто не является «образцом катоновской строгости нравов», уже заслуживает подозрения, что он от'явленный негодяй. Осторожнее, товарищ Брупбахер!»

Возможно, что с годами «товарищ» Брупбахер также смягчит свою строгость к бедному Марксу. Но теперь он может с полным правом ссылаться на то, что не только «виднейший представитель германской социал-демократии», как Бернштейн, но и самый выдающийся, талантливый и блестящий ее историк—признали правильным все факты, «усердно и тщательно» списанные им из «самой точной» истории Интернационала!

Мне жаль, что я должен несколько испортить эту радость. Вопреки Мерингу, Бернштейну и Эйснеру, я покажу, что и эти истории, при первом же сопоставлении их с реальными фактами, рассеиваются, как дым, что,—в лучшем случае,—их можно об'яснить, с психиатрической точки зрения, как результат невменяемости, вызванной манией преследования,—как результат полнейшей неспособности передать самые простые факты, не то, что «об'ективно»,—это невозможно,—но хотя бы приблизительно верно. Но мы должны просить читателя запастись небольшим терпением. Мы имеем теперь против себя не только авторитет несведущего компилятора, но и авторитет Меринга. Поэтому мы должны строить наши доказательства с «немецкою основательностью». Меринг не откажется признать, что «реабилитация» Бебеля, Либкнехта, Маркса или Энгельса не менее важна, чем «реабилитация» Швейцера. Этот эпизод заслуживает подробного анализа и по другой причине: он представляет настоящий исходный пункт «личной» борьбы между бедною овечкою-Бакуниным и его безобидным стадом, с одной стороны, и вельзевулом-Марксом и его шайкою поджигателей, с другой. Именно поэтому наиболее добросовестный из биографов Бакунина—Неттлау—говорит о «начале интриг Маркса» только в связи с этою историей.

VI.

Что же, собственно, преступного распространяли Либкнехт и Бебель, и что Маркс оставлял без опровержения?

Послушаем первого свидетеля, «товарища» Брупбахера:

«Вообще незадолго до (базельского) конгресса распространились опять слухи, что Бакунин полицейский шпион. Повидимому, уже в это время в определенных кругах Бакуниным были не совсем довольны. Бакунин узнал, что его подозревают в том, что он полицейский шпион. Либкнехт в кругу друзей, в полупубличном собрании, сказал, что Бакунин, несомненно, очень опасный агент русского правительства, и что он, Либкнехт, имеет в своих руках все доказательства этого; основанием «альянса» Бакунин хочет разрушить Интернационал; он лукав и дипломатичен, как все русские, благодаря чему ему удалось обмануть старого Филиппа Беккера. Кроме того, Либкнехт утверждал, что русское правительство содействало бегству Бакунина из Сибири. Бебель тоже написал Беккеру, что Бакунин, вероятно, полицейский шпион и, вероятно, действует заодно со Швейцером, агентом Бисмарка. Бакунин, считая Либкнехта автором клеветнических слухов, потребовал от него пред'явления доказательств на базельском конгрессе. В Базеле был устроен по этому поводу суд чести, который решил: Либкнехт действовал с преступным легкомыслием, распространяя подобные клеветы на основании статьи буржуазной газеты. Это решение было выдано Бакунину в письменной форме, Либкнехт протянул ему руку. Бакунин сжег это решение в присутствии всего суда. Вскоре после этой истории Либкнехт напечатал в своей газете ту же клевету».

Так пишет автор «полезного и заслуженного труда», изданного «мюнхенским партийным издательством, за что—следует прибавить—оно заслуживает признательности» [1]).—Мы знаем, что—в глазах Меринга—Либкнехт и Бебель весьма подозрительны. Считали же они «полицейским шпионом» Швейцера, почему им не считать шпионом русского Бакунина?—Возможно, что по этой причине он находит излишним сверять это обвинение с фактами. Тем более, что вся эта история уже подтверждена Бернштейном, вычитавшим ее из книги, на которую «товарищ» Брупбахер «опирается в первую голову».

---

[1]) В этом пункте мы согласны с Мерингом. Мюнхенское партийное издательство раз навсегда покончило с анархистскою легендою, гласящею, что германская социал-демократия нетерпима. Пусть укажут нам хоть одно анархистское издательство во всем мире, которое с такою готовностью издало бы книгу, содержащую самую низкую клевету против лучших умов анархизма.

Бернштейн рассказывал эту историю еще в 1908 и в 1910 годах, в первый раз—русским читателям, во второй раз—немецким.

«Взаимное недоверие все более усиливалось. Вильгельм Либкнехт в Лейпциге, которого считали тогда р у п о р о м Маркса, заявлял в то время различным лицам, что он имеет в своих руках доказательства того, что Бакунин агент русского правительства. На базельском конгрессе суд чести, которого потребовал Бакунин и перед которым предстали Бакунин и Либкнехт, решил, по словам Бакунина, единогласно, что факты, на которые Либкнехт ссылался, не оправдывали никаких подозрений, и Либкнехт отказался в Базеле от своего обвинения. Но так как (!!) он был по-прежнему (?!?) убежден в правильности своего обвинения, то он уклонился от публичного извинения перед Бакуниным. С. Л. Боркгейм также вел подобную же обвинительную кампанию против Бакунина в демократической газете «Zukunft» и в «Volksstaat», редактируемом Либкнехтом органе недавно основанной социал-демократической рабочей партии эйзенахского направления» [1]).

Отнюдь не надо быть ригористом и приверженцем кантовой этики, чтобы удивиться тому невозмутимому спокойствию, с которым Бернштейн рассказывает о возмутительных фактах, не сопровождая рассказа ни одним словом негодования. Либкнехт об'являет Бакунина шпионом, вследствие угроз Бакунина—отказывается в Базеле от своего обвинения, но «так как он был по-прежнему убежден в правильности своего обвинения», то начинает ту же кампанию сначала!

Нет! Что касается нас, то, при виде подобного появления, мы должны повторить слова, сказанные Бернштейном в той же статье о Марксе и Бакунине: «С чисто человеческой точки зрения, Бакунин выступает в этой борьбе в гораздо более благоприятном свете, чем его противник»!

Мы вполне понимаем Гильома, который, рассказав в 1873 г. эту историю вероломства и трусости, написал следующие слова, где сильное моральное возмущение этим неслыханным моральным падением обрушивается, точно гром, на голову трусливого «солдата революции»:

«Неужели Либкнехт действовал бы с таким же вероломством в том случае, если бы он был господином своей воли и своих чувств? Это невозможно. Единственно возможная причина, единственно возможное об'яснение заключается в том, что, по возвращении Либкнехта в Лейпциг, диктатор убедил его в том, что его

---

[1]) Bernstein, I, SS. 20 21.

поведение в Базеле и его обещание Бакунину—сентиментальная слабость, и запретил ему сдержать свое обещание».

Если принять во внимание, что эти громовые раскаты исходят от,—как говорит «товарищ» Брупбахер,—замечательно чистого человека, который по ошибке попал в политику», от человека, который «ни в ком, с кем он ни говорил, не предполагал ни малейшего следа низких инстинктов»,—то нам, поистине, становится страшно за Маркса, Энгельса, Либкнехта и Бебеля.

Сдержим, однако, на минуту наше моральное негодование. Допустим, что Гильом «замечательно чистый человек», что Бакунин—«человек без задних мыслей», и, как всегда, предположим, что оба они рассказывают суб'ективно чистейшую правду. Но, ведь, и самая невинная овечка, с каким бы нравственным возмущением она ни блеяла, не всегда дает шерсть безукоризненного качества.

Меринг опирается, в первую голову, на «товарища» Брупбахера, который, со своей стороны, опирается, в первую голову, на Гильома и, во-вторых, на Бернштейна; последний, в свою очередь, опирается—в первую голову—на Гильома и, во-вторых, на Неттлау. Но, в последнем счете, все они опираются на Бакунина. Хотя Гильом был делегатом на базельском конгрессе, но и он опирается, в первом и последнем счете, на Бакунина. То, что он сам добавляет, относится к событиям, происходившим после конгресса. К сожалению, мы не имеем ни одного слова от Либкнехта, Бебеля и Беккера, которое могло бы об'яснить нам эту историю. Мы вынуждены поэтому анализировать ее при помощи показаний одной только стороны.

Итак, послушаем Бакунина. Уже Неттлау в своей большой биографии Бакунина напечатал письмо его к Беккеру, где он обвиняет Либкнехта и Бебеля. Это—то же самое письмо, которое Гильом напечатал впоследствии во французском переводе в своей «Истории Интернационала» и которое, повидимому, произвело на Бернштейна сильное впечатление. Неттлау имел в своем распоряжении копию этого письма. Мы воспроизводим письмо по оригиналу, найденному нами в бумагах Беккера:

«4 августа 1869 г. Женева, 123. Montbrillant.

«Мой дорогой Беккер. Наш друг Вертгейм сказал мне, и еще вчера вечером подтвердил в твоем присутствии, что господину Либкнехту, немецкому социал-демократу и честному человеку, угодно самым низким образом клеветать на меня. Он публично, в присутствии Вертгейма, утверждал:

«1) что я русский агент; он якобы имеет неопровержимые доказательства этого;

«2) что русское правительство благоприятствовало моему бегству из Сибири;

«3) что основанием Альянса я со злым умыслом вбил клин в Международное Товарищество Рабочих;

«4) что о д р я х л е в ш и й Беккер дал лукавому Бакунину себя провести.

«Я опускаю прочие м е л о ч и, из которых каждая, однако, заслуживает пощечины.

«С другой стороны, тот же друг Верттейм показал мне обращенное к тебе письмо господина Бебеля, где господин Бебель ясно высказывает предположение, что я, в е р о я т н о, агент России и, в е р о я т н о, действую заодно с господином Ю. Швейцером, как агентом Бисмарка.

«Я имею, конечно, полное право привлечь к ответу и господина Бебеля, ибо ни один честный человек не должен позволять себе легкомысленным образом, по одним только слухам, распространять позорящие вещи о другом человеке, ему совершенно незнакомом. Но так как я имею основание предполагать, что духовным отцом всех этих низостей является также совершенно незнакомый мне господин Либкнехт, то на этот раз я хочу ограничиться им.

«Я прошу тебя, дорогой Беккер, как друга и партийного товарища, я требую от тебя, как от брата нашего Альянса, в основании которого ты принимал столь живое участие,—чтобы ты заявил от моего имени господину Либкнехту, что я вправе, по крайней мере, ожидать от него, что, если он почему-нибудь находит удовольствие в том, чтобы оклеветать другого, то он должен иметь также мужество отвечать за это, и что прежде всего всякий обязан подтвердить свои слова достоверными доказательствами.

«Теперь я даю ему месяц сроку, чтобы собрать против меня все возможные доказательства. На базельском конгрессе он—либо должен будет публично доказать мою низость, либо же я, в присутствии всех, об'явлю его бесчестным каналъей или, выражаясь по-немецки, низким негодяем.

Твой друг М. Б а к у н и н.

«NB. Я настаиваю, дорогой друг, чтобы это письмо было сообщено не только господам Либкнехту и Бебелю, но и всем участникам эйзенахского конгресса, и, по возможности, было прочитано в публичном заседании конгресса».

Копия, напечатанная у Неттлау, сходится с подлинником слово в слово; французский перевод, сделанный Гильомом, отли-

чается буквальною точностью, свойственною лишь старым профессорам филологии. В этом отношении оба наших историка заслуживают величайшей похвалы, с точки зрения «всех действующих до сих пор законов исторической критики».

Но всякий документ, при всей своей подлинности, имеет, кроме филологической оболочки, также и содержание, и точность его передачи нисколько не гарантирует правильности сообщаемых им фактов.

Мы не намерены заниматься психологией. Выше мы уже видели, что Бакунин имел очень «слабую память», что он не замечал вопиющих противоречий в письме. И в настоящем письме—он негодует, что Либкнехт оклеветал его «по одним только слухам», и не замечает, что и он сам «по одним только слухам» готов назвать Либкнехта «низким негодяем». Его единственый источник—это рассказ Вертгейма. А, насколько Вертгейм был ненадежным свидетелем [1]), он узнал в тот же самый день.

Мы не знаем, что происходило раньше, какие переговоры имел Бакунин со старым Беккером,—с «одрехлевшим Беккером» как Бакунин, с особенною деликатностью и, конечно, безо всяких задних мыслей, счел нужным сообщить ему, «по одним только слухам». Старый щеточник Беккер, хоть и настоящий немец [2]), имел с Бакуниным не только то общее, что и его «ревность пропагандиста подчас увлекала за пределы здравого смысла». Подобно Бакунину, он носил «дьявола в своем теле» и, кроме того, доказал гораздо основательнее, чем Бакунин, что он одинаково готов манипулировать как рукою без пера, так и с пером в руке. Вероятно также, что оба старика—физически они не уступали друг другу—долго спорили и препирались. Очень вероятно также, что «папаша Беккер»,—быть может, благодаря тому, что он мыслил только здравым рассудком,—указывал Бакунину на удивительное противоречие в его письме, незамеченное Бернштейном в 1908 г.: Либкнехт якобы категорически об'явил Бакунина *заведомым* агентом России, чему он имел в своих руках все дока-

---

[1]) К письму Бакунина к Беккеру было приложено письмо Вертгейма, датированное также 4 августа 1869 г.

[2]) «Маркс был великим психологом западных европейцев; лучше всего знал он немцев своего времени, а последние не представляли для революционера ничего утешительного». Таково одно из тонких психологических замечаний «товарища» Брупбахера. К сожалению, мы не знаем, показалось ли оно Мерингу столь же «поучительным», как и другие столь же глубокие и тонкие «открытия» нового психолога.

зательства. Каким же образом мог тот же Либкнехт быть «духовным отцом» «клеветнических выпадов» Бебеля, которые, ведь, говорили лишь о «вероятном» агенте? [1]).

Как бы то ни было, Бакунин был вынужден написать новое письмо. Последнее датировано «Le 5 Août 1869», т.-е. следующим днем.

Здесь излишне перепечатывать его. Оно идентично с первым почти во всех частях, за одним только исключением. Все, касающееся Бебеля, в этом письме опущено [2]). Это письмо, как и первая версия, написано на случай возможного «публичного» оглашения, но не в том смысле, как понимает это слово Бакунин в первом письме. Там он отождествляет «публичность» с «присутствием Вертгейма». Даже, «товарищ» Брупбахер чувствует это и осторожно говорит: Либкнехт обвинял Бакунина в кругу друзей, на «полупубличном собрании», которое, конечно, происходило «где-то и когда-то». К сожалению, даже Неттлау не «указал» до сих пор протокола этого собрания, не говоря уже о его месте и времени. Бернштейн превратил друзей в «различных лиц», а Меринг смело пишет: Либкнехт распространял! На этот раз «товарищу» Брупбахеру с его психологическим зондом больше повезло.

Исполнил ли Беккер желание Бакунина?—Мы не знаем этого, но очень вероятно, что он не показал письма Либкнехту. Публично оно в Эйзенахе не было прочитано.

Нельзя было оказать Бакунину лучшей услуги.

Либкнехт был избран делегатом на базельский конгресс, и через несколько недель ему предстояло лично встретиться с Бакуниным в Базеле.

Итак, сам Бакунин перестал считать Бебеля «клеветником». В дальнейшем его имя уже не упоминается.

Мы надеемся, что в новом издании своего большого труда Неттлау откажется от своих любезных замечаний о Бебеле, сделанных им по этому поводу. Вряд ли можем мы ожидать того же от Гильома и от «товарища» Брупбахера.

Перейдем теперь к «реабилитации» Либкнехта.

---

[1]) К другим вероятным предположениям я еще вернусь ниже. Пока необходимо отметить, что до сих пор я нашел только одно письмо Бебеля к Беккеру шестидесятых годов.

[2]) Начиная со слов: «с другой стороны, тот же друг» и кончая словами: «ограничиться им». Остальные различия представляют лишь стилистические изменения, не имеющие никакого значения.

VII.

Базельский конгресс происходил, как известно, с 5 по 11 сентября 1869 г. К этому времени относится суд чести по делу Бакунина—Либкнехта. Но с самого начала мы должны отметить одно новое недоразумение, жертвою которого сделался Бернштейн.

Суд чести, о котором он говорит, был не судом чести базельского конгресса, а просто судом чести в Базеле. Это не придирка к словам. Далекому от практической жизни ученому, вроде Нетлау, позволительно смешивать обе эти вещи, но всякий политик, который хоть немного разбирается и в организационных вопросах, легко поймет важность этого различия. Поэтому Гильом никогда не говорит о суде чести базельского конгресса, и «товарищ» Брупбахер, списывающий у Гильома, говорит на этот раз вполне правильно: «суд чести в Базеле». Этим об'ясняется, почему мы не находим в подробном протоколе конгресса ни одного слова об этом суде чести.

Вся эта история известна нам исключительно со слов самого Бакунина. На него опирался Гильом, впервые опубликовавший ее в 1873 г. Либкнехт сидел тогда в тюрьме. Гильом, подобно Нетлау, не находил достаточно резких слов для порицания поведения Маркса в 1853 г., когда он якобы бесстыдно поднял против Бакунина тяжелые обвинения, хотя тот сидел в тюрьме. Гильом, конечно, не поступил бы таким же образом по отношению к Либкнехту, если бы не имел в своих руках всех доказательств против него.

В 1904 г. Гильом рассказывает ту же историю, сопровождая ее столь же сильным моральным негодованием. Но на этот раз он излагает ее с одним существенным изменением, которое еще усугубляет моральную неразборчивость «солдата революции».

В 1873 г. Гильом сообщал, что Либкнехт якобы не напечатал статьи Бакунина, а немедленно после этого напечатал вместо нее корреспонденции из Парижа М. Гесса, в которых были повторены те же клеветы, об'явленные судом чести бесчестными. В 1904 г. Гильом рассказывает, что Либкнехт был так вероломен, что скрыл от своих читателей решение суда чести. Конечно, он это сделал «по каким-то причинам».

Согласно «действующим до сих пор законам исторической критики», из двух показаний одного и того же свидетеля об одном и том же событии то показание, которое сделано через четыре года после события, является «более правдоподобным», чем другое, сделанное спустя 35 лет. Само собою разумеется,—caeteris pa-

ribus [1]). Если свидетель изменил за это время свои взгляды, было бы в высшей степени несправедливо уличать его на основании его прежних показаний. Но, в данном случае это не имеет места. В 1904 г. Гильом так же страстно ненавидит Маркса и Энгельса, как и в 1873 г. Кроме того, его главный источник остался тем же самым.

Этим источником является по-прежнему одно только показание Бакунина. К счастью, мы имеем теперь, благодаря неутомимому усердию Неттлау, аутентический рассказ самого Бакунина.

Рассказ этот, очень подробный, имеет большое преимущество уже потому, что написан в первой половине октября 1869 г., т.-е. спустя один месяц после базельского конгресса.

2 октября 1869 г. во французской газете «Réveil», редактировавшейся Делеклюзом, впоследствии участником Коммуны [2]), появилась статья М. Гесса: «Коммунисты и коллективисты на базельском конгрессе», направленная против Бакунина и Швейцера.

Вне себя от ярости, Бакунин написал в редакцию длинное письмо... о махинациях евреев, вообще, и немецких евреев—в частности:

— «Я отлично знаю, что, открыто высказывая свои интимные мысли о евреях, я подвергаюсь величайшим опасностям. Многие разделяют мое мнение, но немногие достаточно смелы для того, чтобы публично высказывать его, ибо секта гораздо более опасная, чем секта католических и протестантских иезуитов, представляет ныне в Европе настоящую державу.

«Она деспотически господствует в торговле и банковском деле, она командует тремя четвертями немецкой журналистики и очень значительною частью журналистики других стран. Горе тому, кто имеет несчастье не угодить ей».

---

[1]) «Товарищ» Брупбахер усмотрит в этом недостаток. «Маркс изолировал абстрагированные (!) элементы жизни и говорил: «caeteris paribus».—Это одно из многочисленных замечаний, которые, по уверению Меринга, «всегда поучительны».

[2]) «Он (Делеклюз) жил только для одной правды, она была его талантом, его наукой, путеводной звездой его жизни. Ее он призывал, ее он исповедовал 30 лет, во время изгнания, тюрем, оскорблений, с презрением встречая преследования, которые разбили его тело. Его наградою было умереть за нее свободным, под прощальными лучами солнца, во-время, неоскорбленным в последнюю минуту видом палача». (Лиссагарэ, «История Коммуны 1871 г.», русский перев., изд. Глаголева, стр. 296—7).

Но Бакунин так смел, что выступает и против этой державы. Правда, он делает исключение для Иисуса, для апостола Павла и еще для двух еврейских гигантов (Juifs géants), Маркса и Лассаля. Но тем хуже достается еврейским пигмеям (Juifs pigmées), Гессу и Боркгейму. Он снова рассказывает историю с клеветническими обвинениями в английских газетах—о «Новой Рейнской Газете» он не говорит здесь ни слова [1])—и уверяет редакцию, что во всем виноваты немецкие евреи. Он идет еще дальше. Им же приписывает он также то, что и во время его пребывания в Италии его изображали шпионом и фальшивомонетчиком. «Его друзья верили и верят еще, что все эти клеветники подкуплены русскою дипломатиею. В этом нет ничего невозможного». Однако, он настолько милостив, что не предполагает того же о Боркгейме и Гессе. «Их инспирирует только их вероломство и глупость, voilà tout!».

Письмо продолжается дальше в том же «стиле, который со стороны образованного человека поистине поражает», как сказала бы благовоспитанная мисс или даже «ограниченный марксист», если бы он отличался хорошим тоном «товарища» Брупбахера [2]).

Но я чувствую, что Меринга начинает охватывать—и вполне справедливо—нетерпение.

«Какое отношение имеет ко всему этому Маркс! На каком основании можно возлагать на него ответственность за статью Гесса во французской газете? Разве эти господа не имеют никакого представления об отношениях между ними? Разве они никогда не читали «Социал-Демократа», издававшегося в шестидесятых годах одним из наиболее талантливых немецких журналистов—Швейцером? Разве они не знают, что Гесс сохранял верность этому человеку еще тогда, когда все остальные—не только переметная сума в роде Рейше, но и Маркс, Энгельс, Гервег, Иоганн Филипп Беккер—давно уже от него отступились? Разве они не знают, что в своих корреспонденциях из Парижа Гесс нападал всегда на Интернационал и особенно на Маркса? Разве они не знают, что Гесс порвал со Швейцером только в конце 1868 г.? На каком же основании они изображают Гесса верным учеником Маркса, пишущим свои статьи по его приказам из Лондона или представляющим их ему до напечатания? Это нелепые росказни!».

---

[1]) Мы подчеркиваем это еще раз. Бакунин никогда—даже в минуты сильнейшего озлобления — не прибегал к этой истории, которую давно считал ликвидированной. Он предоставил это своим «глупым друзьям».

[2]) Старик Гильом восхищается этим письмом. Бакунин «рассердился— на что имел полное право — и взялся за перо, чтобы написать один из лучших своих ответов».

Нам понятно негодование Меринга, этого, несомненно, лучшего знатока «Социал-Демократа» Швейцера. Но, в оправдание Гильома, Неттлау и автора «прилежного и тщательного труда»—«товарища» Брупбахера, мы должны указать на смягчающие вину обстоятельства: подобно младенцам, они не ведают, что говорят, или говорят только то, что им известно. Конечно, это происходит «по каким-то причинам»!

Как бы то ни было, но Герцен, которому Бакунин прислал свое письмо, был не мало поражен—хотя достаточно знал Бакунина,—прочитав это его новейшее, «лучшее» произведение. Он категорически отказался передать письмо в этой форме в редакцию «Réveil». Во-первых, он никак не мог понять, какое отношение имеет еврейский вопрос ко всей этой истории. (Неттлау, быть может об'яснит это: Герцен-де был вульгарным филосемитом). Во-вторых, он был тогда еще твердо убежден в том, что Маркс духовный отец всего этого зла, а Гесс—его послушное орудие,—ему казалось странным, что Бакунин оставляет в покое главного виновника, этого еврейского гиганта, и нападает лишь на еврейских пигмеев, играющих роль стрелочников.

Нам очень жаль, что мы не можем воспроизвести здесь полностью ответ Бакунина и должны ограничиниться отдельными выдержками из него. Мы только просим читателя запомнить, что он был написан 28 октября 1869 года.

«На счет Маркса вот мой ответ: я—знаю так же хорошо, как и ты, что Маркс точно так же виноват против нас, как и все другие, и даже,—что он был зачинщиком и подстрекателем всех гадостей, взводимых на нас».

Бернштейн может теперь видеть, с чьей стороны примирение было не вполне безусловным—со стороны ли Маркса, или Бакунина.

22 декабря 1868 г. Бакунин писал Марксу о Герцене:

«Но прошу тебя поверить мне, что между им и мною нет абсолютно никакой солидарности. С 1863 г. между нами порваны все политические отношения, а теперь даже личные».

Конечно, Бакунин был «человеком без задних мыслей». А в справедливости он не уступал Соломону, несмотря на то, или именно потому, что не был евреем:

«Почему же я его пощадил и даже похвалил, назвал великаном? По двум причинам, Герцен. Первая причина — справедливость».

Маркс верно, умно и энергично служит делу социализма вот уже двадцать пять лет и является одним из главных основателей,

если не главным основателем, Интернационала,—так говорит Бакунин. Гильом, Неттлау, «товарищ» Брупбахер, а равно Бернштейн и Меринг,—видят в этих словах доказательство свойственного Бакунину чувства справедливости, которое не могла затемнить никакая личная предубежденность. Верно и то, что Маркс был глух ко всем этим «комплиментам». Разумеется, если не по злобе, то — «по каким-то причинам»!

«Вторая же причина,—пишет дальше Бакунин,—п о л и т и к а и, по-моему, совершенно верная т а к т и к а. Ты меня считаешь, я знаю, весьма плохим политиком».

Далее следует доказательство того, что это неверно. Как ни интересны эти признания для характеристики Бакунина, в особенности для его теории двойной морали, мы проходим мимо них. Мы не даем здесь портрета великого революционера.

«Я признал и превознес его (Маркса) также из тактики, из личной политики. Как же ты не видишь, что все эти господа вместе? Наши враги составляют фалангу, которую нужно прежде раз'единить, раздробить, чтобы легче ее разбить. Ты ученее меня и потому лучше меня знаешь, кто первый сказал: divide et impera. Если бы я пошел теперь открытой войною против Маркса, три четверти интернационального мира обратились бы против меня, и я был бы в наклоне, потерял бы единственную почву, на которой хочу стоять. Начавши войну нападением на его сволочь, я буду иметь за себя большинство, да и сам Маркс, в котором, как тебе известно, злостной радости, Shcadenfreude,—тьма тьмущая, будет очень доволен, что я задел и отделал его друзей. Ну, а когда я ошибусь в расчете, и он за них вступится, то, ведь, он первый начнет открытую войну,—ну, тогда и я покачусь назад et j'aurai le beau rôle» [1]).

Мы не знаем, читал ли это письмо так рано умерший Иекк. Если он принял слова Бакунина всерьез, то он, действительно, мог открыть в нем «чудовищную политически-преступную натуру».

Но дело не так страшно.

Правда, все это можно только, «в лучшем случае, об'яснить психологически», и «на всем земном шаре не найдется, кроме нескольких фанатиков, ни одного человека»,—за исключением быть может, нескольких глупых друзей,—который после всего изложенного продолжал бы утверждать, что Бакунин был «человеком без задних мыслей».

«Поэтому мы нисколько не обижаем Маркса, утверждая, что он начал выступать против Бакунина в с к о р е п о с л е б а з е л ь-

[1]) «Письма Бакунина к Герцену и Огареву», Женева, 1896 г.

ского конгресса. Но мы можем только сожалеть, что это не происходило открыто и не в области идей». (Brupbacher. «Marx und Bakunin», S. 71).

А когда, именно, Бакунин начал «выступать» против Маркса, почтеннейший «товарищ» Брупбахер? Обижаем ли мы Бакунина, констатируя — тоже с сожалением, — что «это не происходило открыто и не в области идей»?—«Человека предают только его собственные друзья»,—заметил как-то насмешливо «товарищ» Брупбахер. Это сказано в слишком общей форме. Правда, это бывает, но, в виде правила,—была бы верна только следующая формулировка:

— Человека предают только его «глупые друзья».

Мы должны взять Бакунина под свою защиту против этих поклонников. Если его тактика представляла настоящий макиавеллизм, то весьма безобидно. Хотя бы потому, что основывалась на полнейшем непонимании места и времени, которое, соединяясь с навязчивыми представлениями, может иной раз иметь очень опасные последствия, но никогда не может быть вменено данному лицу в качестве моральной вины.

К сожалению, не все друзья Бакунина были так разумны, как Герцен, который, по мере всех своих сил, старался помешать опубликованию этого письма.

Можно легко представить себе, какое впечатление оно произвело бы в то время—в конце 1869 г.!

К счастью для Бакунина, письмо тогда не появилось. Герцен нашел слишком резким даже короткое письмо, в котором Бакунин выражался несколько мягче и ограничивался уведомлением о предстоящем выходе брошюры о немецких евреях [1]); Герцен написал для Бакунина письмо, появившееся в «Réveil». Конечно, с примечанием от редакции. Что же писала редакция? Извинялась ли она? Ни одним словом—и по очень простой причине. Как ни слаба была, с нашей точки зрения, статья Гесса, но в ней нет ни одного слова о Бакунине, как об агенте или шпионе русского правительства. Она обвиняет Бакунина и Швейцера в том, что первый работает в пользу панславизма, а второй—в пользу пангерманизма. Кроме того, она содержит некоторые критические замечания о взглядах Бакунина и о его тактике на конгрессе. Как бы ни неосновательны были все эти обвинения, но нет ничего неожиданнее того вывода, который делает из них Бакунин. По его

---

[1]) Под заглавием, которое даже Гильом находит «весьма странным»: «Символ веры русского социал-демократа, с приложением очерка о немецких евреях».

словам, они означают и могут означать только следующее: Бакунин —agent-provocateur русского правительства, шпион [1]). А, между тем, Гесс, который только что имел в Базеле возможность убедиться, как чувствителен был Бакунин в этом пункте, даже подчеркивает, что ни в малейшей степени не сомневается «в революционной честности» Бакунина,—чего не говорит о Швейцере.

Теперь нам понятно, почему Делеклюз подумал, что он имеет дело с ненормальными людьми. Чтобы отвязаться от них, он напечатал, наконец, письмо Герцена, снабдив его примечанием, что редакция так же мало, как и Гесс, сомневается в политической честности Бакунина, хотя она борется и будет в дальнейшем бороться с его политическими взглядами. Да не подумает читатель, что Бакунин остался недоволен этим заявлением. Напротив, он нашел его вполне лояльным!

Но причем тут Либкнехт? Может быть, он имел к статье Гесса такое же отношение, как и Маркс?

Во всем этом письме Либкнехт ни разу не назван по имени. Он фигурирует только в качестве одного из вождей новой германской социал-демократической партии.

Вся история с так называемым судом чести рассказана Бакуниным не для того, чтобы задеть Либкнехта,—с ним Бакунин вполне помирился и считал его благородным противником,—а для того, чтобы показать редакции «Réveil» всю моральную нечистоплотность «маленького немецкого еврея» М. Гесса, который был, якобы, одним из членов суда чести.

Правда, сам Бакунин говорит: «я не вполне точно помню, был ли М. Гесс одним из них, но мне кажется, что был».

И далее он говорит еще раз:

«Я не могу точно сказать, был ли М. Гесс членом суда чести. но я, во всяком случае, почти уверен и знаю наверное, что ему было известно все то, что я вам рассказываю. Теперь вы можете судить о морали этого человека».

Теперь мы знаем, что если Гесс в чем-нибудь провинился, так это только в критике «русского коммунизма» Бакунина.

Мы имеем сейчас новое доказательство того, какою слабою памятью отличался Бакунин.

Несмотря на это, предположим, что в деле с Либкнехтом он вполне точно излагал факты.

Правда, Бакунин говорит теперь, что Либкнехт обвинял его не публично, а в «полупубличном собрании своих друзей». Правда, он говорит, что Либкнехт отрицал этот факт. Но он утверждает, что, не-

[1]) Ср. M. Bakunin, «Oeuvres», V. Paris. 1911 г. P.p. 263—265.

смотря на это отрицание, суд чести, в котором было пять друзей Либкнехта, решил е д и н о г л а с н о, что Либкнехт действовал легкомысленно, обвиняя Бакунина—на основании нескольких статей буржуазной газеты — в том, что он агент русского правительства. Как ни кажется невероятною эта история, примем, что она происходила именно таким образом.

«Это решение»,—пишет далее Бакунин,—«было выдано мне в письменной форме. Я должен, однако, сказать, что противник мой был т а к б л а г о р о д е н, что перед лицом судей заявил, что он был введен в заблуждение относительно меня. Он протянул мне руку, и я сжег решение, написанное и подписанное судом чести».

После этого примирения он дал Либкнехту копию своей речи на конгресс лиги свободы и мира, а также своих итальянских статей, в которых он будто бы писал против панславизма в 1867 году. Два дня спустя Либкнехт пришел к нему и сказал:

«Я вижу, что имел о вас совершенно ложное представление. Вы прудонист, ибо хотите уничтожить государство. Я буду бороться с вами в своей газете, так как мои взгляды совершенно противоположны вашим. Но я прошу вас оставить мне ваши статьи. Я их опубликую, это мой долг по отношению к вам» [1]).

И Бакунин прибавляет:—«я поверил этому обещанию и жду еще по сей день».

Теперь мы знаем, в чем состояла вина Либкнехта. Бакунин не требовал, чтобы его противник напечатал в своей газете решение суда.

Он не был так «глуп», как некоторые его друзья. Ведь, он сам сжег это решение в присутствии суда чести,—его друзья еще теперь восхищаются этим «красивым жестом»,—не сняв с него предварительно копии.

---

[1]) Гильом, который еще на конгрессе в ла-Шо-де-Фон (апрель 1870 г.) имел неосторожность назвать имя Либкнехта, — он был тогда еще очень молодым и увлекающимся человеком,—цитирует эту речь в своих знаменитых воспоминаниях следующим образом: «Я з а б л у ж д а л с я, с к а з а л о н, я н е п о н и м а л, ч т о в ы—п р у д о н и с т. Я с о д е й с т в о в а л р а с п р о с т р а н е н и ю п р о т и в в а с к л е в е т н и ч е с к и х о б в и н е н и й, я д о л ж е н д а т ь в а м у д о в л е т в о р е н и е».—Мы не станем негодующе кричать, что это наглая фальсификация и т. п. Человеку свойственно ошибаться, но нехорошо, если, убедившись в своей ошибке, он все-таки упорствует в ней. Не забудем, что, по словам Неттлау, воспоминания Гильома представляют «в а ж н е й ш и й и с т о р и ч е с к и й в к л а д в и с т о р и ю И н т е р н а ц и о н а л а, э т о—о б р а з е ц с п о к о й н о г о, д е л о в о г о и з л о ж е н и я»!—Наоборот,—рассказывает нам тот же Неттлау,—известная брошюра о бакунинском «альянсе» «совершенно лжива в самом своем существе и кишит неправильностями и фальсификациями в частностях; ни одну цитату нельзя взять из нее без проверки».—А, ведь, Неттлау, несомненно, почтенный человек!

Последнее обстоятельство видно из того, что Нетлау до сих пор не нашел этой копии. При всех его усилиях, ему удалось только установить,—Кропоткин слышал об этом от Элизэ Реклю, а последний от самого Бакунина,—что Бакунин не просто сжег это решение, но зажег им папироску [1]). Это ауто-да-фэ вызывает в нас сожаление, ибо благодаря ему мы никогда не узнаем,—если только нам не поможет счастливый случай,—в чем, собственно, Либкнехт провинился и что, собственно, суд чести констатировал.

Одно только подозрительно: в 1873 г. Гильом ни одним словом не обвинил Либкнехта за то, что он не напечатал уже несуществовавшего решения, которое Бакунин великодушно уничтожил в знак полного примирения со своим благородным противником. Нетлау, который выдвигает немало обвинений против Либкнехта, также ничего не говорит об этом «нарушении слова» [2]). Впервые Гильом открыл его в 1904 г. Конечно, он опирался при этом на «какие-то» источники, известные только ему одному.

Даже «товарищ» Брупбахер, при всем своем уважении к Гильому, чувствует, что здесь что-то неладно, и «замалчивает» это первое нарушение слова, допущенное Либкнехтом. Только Бернштейн не заметил этого и осудил своего старого товарища по борьбе, и без того подвергавшегося тяжелым обвинениям, за то, что он не напечатал навсегда уничтоженного решения суда чести.

Прежде, чем перейти к разбору других преступлений вероломного и трусливого «солдата революции», мы приглашаем читателя слегка ознакомиться с тем миром, где бесчестные клеветы против Бакунина принимались за чистую монету и опубликовывались в печати.

Если Либкнехт действовал с «преступным легкомыслием», «распространяя»—как выражается Меринг—эти клеветы, то люди, печатавшие их, действовали, конечно, с еще более преступным вероломством.

Но кто же были все эти суб'екты, лишенные всякой морали, кто были все эти бессовестные Яго, оклеветавшие Бакунина, эту невинную Дездемону?

Что это была за шантажная «буржуазная газета», столь бесчестная и подлая?

---

[1]) «Когда Бакунину было передано решение, он не думал опубликовывать его, а протянул Либкнехту руку и, сжигая документ, закурил от него папиросу. Известно, как отплатил ему Либкнехт за это великодушие: оно только усилило его ненависть к Бакунину».—Какая черная душа!

[2]) См. большое сочинение Нетлау, примечание № 1882.

VIII.

«Товарищ» Брупбахер, отличающийся таким хорошим тоном, «стыдится» назвать «буржуазную газету», которая положила начало «оклеветанию» Бакунина, хотя ему, наверное, неизвестно, что в числе этой банды преступников находился и его благожелательный критик—вернее сказать, тот, кто открыл его [1]),—Ф. Меринг. Как ни кажется невероятным этот факт, но он так же установлен, как и различные другие факты, удостоверенные «согласно всем действующим до сих пор законам исторической критики».

Яркую картину деятельности этой банды преступников, столь же бессовестной, как и ославленная «банда поджигателей», дает нам не кто иной, как Август Бебель. Это одно из немногих мест, где великий мастер классовой борьбы выступает в роли полного юмора и непритязательного рассказчика и рисует хорошую жанровую картину из богатого запаса своих личных воспоминаний:

«В Берлине тогда существовала довольно значительная группа, большею частью, состоятельных людей, которые видели свой идеал в Иоганне Якоби и симпатизировали нам. Они группировались вокруг доктора Гвидо Вейса, редактора большой демократической газеты «Будущее», основанной в 1867 г. богатыми «якобитами»,—как мы тогда называли приверженцев Якоби,—но прекратившейся уже весной 1871 г., так как она требовала слишком больших финансовых жертв... К ним же принадлежал, тогда еще очень молодой, Франц Меринг, с которым меня познакомил Роберт Швейхель. Если Либкнехт и я оставались в Берлине на воскресенье, то мы со многими из названных,—среди которых часто бывал и Пауль Зингер,—встречались обязательно в ресторане, где беседовали за стаканом дешевого мозельского вина. Нередко наша беседа продолжалась еще в какой-нибудь пивной. Я лично не умел много пить, но Швейхель, Либкнехт, Гвидо Вейс, Меринг могли постоять за троих. И очень часто мы возвращались, все еще крепко держась на ногах, домой, когда солнце уже давно сияло на небе» [2]).

Насколько нам известно, Меринг, который весьма критически относится к Бебелю, как историку, никогда не высказывал сомне-

---

[1]) До сих пор «товарищ» Брупбахер был известен немецким товарищам, только, как автор брошюры «Kindersegen und kein Ende». Теперь, с легкой руки Меринга, он — светило исторической науки, одна из лучших надежд не «окостеневшего» марксизма!

[2]) A. Bebel.—«Aus meinem Leben», II Teil, SS. 241—242. Цитировано по русскому переводу: А. Бебель,—«Мемуары», перев. Д. Рязанова, ч. II. вып. 2, 1912 г., стр. 45—46.

ний насчет этого рассказа. Кроме того, он сам рассказывет нам кое-что обо всей этой компании и о «Zukunft».

«Якоби не имел за собою ничего, кроме кучки буржуазных идеологов, располагавшей собственным органом в виде вновь основанной «Zukunft» («Будущность») Гвидо Вейса,—самой честной и остроумной, но в то же время и наименее читавшейся газеты либеральной прессы» [1]).

Но, быть может, Якоби—тоже еврейский гигант—был так же вероломен, как его соплеменник Маркс?

«У Якоби, как у всякого цельного человека, все его сильные стороны и все его слабости вытекали из одного принципа»,—пишет Меринг:—«он представлял собою воплощенную этику Канта, которой следовал в жизни еще чище и строже, чем тому учил сам учитель. Якоби никогда не пытался доказывать всеми правдами и неправдами, что учитель может проповедовать с кафедры учение, в которое он не верит. Таков истинный смысл жизни Якоби, и этому смыслу никто... не откажет в своем признании и восхищении» [2]).

Но, быть может, фактический редактор «Zukunft» Гвидо Вейс, этот, подобно Боркгейму, «маленький немецкий еврей», был способен подло оклеветать старого революционера?

Правда, Меринг считает Вейса лучшим политиком, чем Якоби, но утверждает, что Вейс был человеком такого же нравственного закала, как «добродетельный и мудрый» прусский демократ:

«Вообще, все некрологи периодической печати правильно указывают, что Вейс не имел ни одного личного врага. Это высокая и заслуженная, хотя для борющегося политика отчасти сомнительная, похвала» [3]).

Несколько труднее обстоит дело с «тогда еще очень молодым Францом Рерингом». Мы не знаем, как велико было его влияние в газете. Он сам рассказывает, что вступил в редакцию «молодым парнем» [4]). Если припомнить еще, что, по его собственным словам, «первое, что он прочитал о Лассале», была статья в «Wanderer», появившаяся летом 1869 года, то вряд ли можно предполагать,

---

[1]) F. Mehring.—«Geschichte der deutschen Sozialdemocratie». Zweite Auflage, III Band, S. 312. Цитировано по русскому изданию: Ф. Меринг.—«История германской социал-демократии», перев. М. Ландау, том III, 1906 г., стр. 328.

[2]) F. Mehring.—«Iohann Jacoby».—«Neue Zeit», XXIII, 2. S. 171. Насколько нам известно, Меринг с тех пор не изменил этого мнения.

[3]) F. Mehring.—«Zwei Nachrufe», «Neue Zeit», XVII, 1, S. 546. Нам неизвестно, чтобы Меринг изменил с тех пор свое мнение.

[4]) F. Mehring.—«Iohann Jacoby und die wissenschaftlichen Sozialisten». —«Archiv für die Geschichte des Sozialismus» usw. 1911. S. 454.

что этот молодой парень, 23 лет, пользовался большим влиянием в редакции газеты, которая больше всех других буржуазных газет посвящала места социализму и рабочему движению. Он мог быть только доволен, что ему суждено было заслужить свои литературные шпоры в школе такого превосходного журналиста и стилиста, как Гвидо Вейс, «последним учеником» которого его с полным правом называют.

В виду этого мы склонны предполагать, что «тогда еще очень молодой» Франц Меринг ничем не виноват во всей клеветнической кампании «Zukunft» против Бакунина. В революционную эпоху, когда волны рабочего движения уже высоко поднимались, когда Лассаль был известен даже любой благовоспитанной девице, хотя бы из романа Шпильгагена, Меринг был, по его собственным словам, еще так оторван от жизни и наивен, что первою статьею, прочитанною им о Лассале, была глупая статья в одной клерикальной газете. Даже беспощадный в своем мальтузианском ригоризме Брупбахер поймет, что такой зеленый юноша не в состоянии был протестовать, когда его коллеги по редакции клеветали на бедного Бакунина.

Но мы опасаемся, что Гильом и Неттлау, которые отличаются необычайным остроумием, когда приходится проверять показания Маркса и его учеников [1]), скажут, что это только «жалкая уловка» со стороны Меринга, что у него не хватает духу открыто сознаться в своем преступлении. Вместе пойманы—вместе и повешены!

Возвратимся, однако, к Якоби. Если припомнить, что он был старым другом Бакунина, что они имели целый ряд общих друзей, что еще в апреле 1868 г. Бакунин писал Якоби [2]) такое же лестное письмо, как в декабре 1868 г. Марксу, то поведение редакции «Zukunft» и Якоби становится, действительно, непонятным.

Человек, которому Бакунин пишет, что он в течение двадцати лет «убежденно, твердо и непоколебимо стоит на своем посту», что человек, подобный Якоби, «стоит иной раз целой армии»,—этот самый человек принимает в свою газету статьи, где черным по белому написано: Бакунин русский шпион. Чем об'яснить такое неслыханное «моральное извращение»,—этого, пользуясь словами «товарища» Брупбахера о Гильоме, которые гораздо больше под-

---

[1]) Гильом по сей день еще убежден, что ученики так же невежественны, как их учитель; Неттлау убежден в том, что все марксисты «ограничены», а «товарищ» Брупбахер — в том, что только анархисты имеют царя в голове.

[2]) «Briefe von A. Herzen und M. Bakunin an I. Iacobu».—«Archiv für die Geschichte des Sozialismus» usw. Leipzig. 1911. Эти письма сообщены известным биографом Швейцера—Густавом Майером

ходят к Якоби, — «замечательно чистого человека, по ошибке попавшего в политику»?

Бакунин, который, по словам Неттлау, уже в 1864 г. точно знал, что в 1869 г. дело дойдет до борьбы между ним и Марксом, а,—по словам «товарища» Брупбахера,—обладал «художническим или инстинктивным зрением» и «созерцал мир одновременно глазами, руками и мыслями»,—легко разрешил и эту психологическую загадку:

«Обрати внимание, что все эти враги, все эти шавки, выступающие против нас, евреи: Маркс, Гесс, Боркгейм, Либкнехт, Якоби, Вейс, Кон, Утин и многие другие — евреи. Все они принадлежат к этой предприимчивой, интриганской, эксплоататорской, насквозь буржуазной нации, отчасти по традиции, отчасти по инстинкту».

Это, поистине, сущее счастье, что «тогда еще очень молодой Франц Меринг» остался неизвестен Бакунину. В противном случае, он с таким же правом, как Либкнехт [1]), попал бы в группу «маленьких немецких евреев». А так как немало людей еще твердо верят, подобно Мерингу, всему тому, что «показывает сам» Бакунин, то мне пришлось бы «реабилитировать» Меринга не только от участия в безбожной банде, но и от обвинения, что он «маленький немецкий еврей». Вместе пойманы — вместе и повешены! Поистине, порядочный человек может попасть в отвратительное положение, если он водится с людьми, которые, подобно «товарищу» Брупбахеру, не могут по сей день простить Утину его еврейское происхождение.

Когда же написал Бакунин это письмо, отличающееся «действительно поражающим стилем»?—1 апреля 1870 г. Мы покорнейше просим Меринга запомнить эту дату.

Читатель уже знаком с юдофобством Бакунина. Он видит, что это — не минутное настроение, а твердое убеждение. Здесь не место психологически об'яснять эту особенность великого русского интернационалиста, мало известную европейским читателям. Достаточно сказать, что «по каким-то причинам» Бакунин встретил в этом пункте сочувствие у юрцев, что впоследствии он перещеголял самого себя и в 1873 г. в длинном послании к юрцам разразился памфлетом против евреев, который вызвал бы крокодиловы слезы восторга всех Дрюмонов, немецких антисемистов и русских

[1]) Я очень рад констатировать, что Неттлау не во всем верит Бакунину на слово. «Бедный Либкнехт»,—говорит он,—«попал в плохую категорию евреев не без своей собственной вины, но все же неправильно». Среди немцев или славян не существует, как известно, никаких «плохих категорий».

черносотенцев [1]). А что Бакунин создал целую школу,—доказывают лучше всего Гильом [2]) и антисемитское течение во французском синдикализме.

Но, при всем нашем преклонении перед «художническим зрением» Бакунина, мы вынуждены, тем не менее, искать другого об'яснения для поведения берлинской банды преступников. Уже то обстоятельство, что к этой банде принадлежали арийцы, которые легко выдержали бы перекрестный допрос не только «товарища» Брупбахера, но даже киевского прокурора Виппера, выступавшего в деле Бейлиса, — каковы Швейхель, Либкнехт, Бебель, не говоря уже о «тогда еще очень молодом Франце Мерингe»,—заставляет нас отбросить гипотезу или, как сказал бы Меринг, «нелепые росказни» Бакунина.

Но, быть может, мы найдем об'яснение в «нашептывателях»? Нельзя ли думать, что Маркс, через свое послушное орудие, Либкнехта, навязал инспирированную им статью Боркгейма редакции «Zukunft»? Не случилось ли этого в такой час, когда даже эти люди, умевшие в пивной «постоять за троих», шли домой нетвердо, чертя по земле мысле?

К сожалению, и эта гипотеза не выдерживает критики, что должно быть хорошо известно Мерингу, как редактору переписки Маркса—Энгельса. Так как нас подозревают в чрезмерном поклонении Марксу, то мы предоставляем слово Бернштейну. В своем введении к четвертому тому переписки он говорит:

«Что касается Бакунина, то еще в ноябре 1868 г. Маркс и Энгельс отклонил попытку С. Л. Боркгейма снова использовать против Бакунина статьи Энгельса в «Новой Рейнской Газете» по поводу славянского манифеста Бакунина от 1848 г. (письмо от 6 и 7 ноября 1868 [3]). Лишь после того, как сделалась известною по-

---

[1]) Наиболее яркое доказательство научной добросовестности Неттлау я получил тогда, когда прочел это послание в его большом труде, к сожалению, так мало доступном. «Я так подробно привел эти слова Бакунина о евреях, дабы они не были когда-нибудь открыты и использованы противниками» (стр. 374). Напрасно только Неттлау думает, что доказательство приходится искать в «тайной» бакунинской литературе. В русских сочинениях Бакунина их можно найти в изобилии.

[2]) Так, в своих знаменитых мемуарах он пишет: «Эта хорошо образованная особа—была госпожа Дмитриева, приятельница Утина, русская и—прибавим, ибо это характерная деталь,—еврейка, подобно ему, Марксу, Боркгейму, Моисею Гессу, Гепнеру, редактору «Volksstaat», Франкелю, члену Парижской Коммуны». Конечно! Что за странных людей находим мы иногда среди интернационалистов!

[3]) Несмотря на то, что Бакунин не счел нужным поблагодарить Маркса за авторский экземпляр «Капитала». И случилось это за месяц до получения письма Бакунина, в котором он, после почти четырехлетнего молчания, неожиданно об'явил себя учеником и верным другом Маркса.

пытка Бакунина ввести свой «социал-демократический альянс» в качестве организации в Интернационал, тон, в котором о нем говорят, изменяется к худшему... Что они для этой цели (т. е. для защиты жизненных интересов великого движения против разлагающего вмешательства) пустили в ход все свое влияние, может быть тем менее поставлено им в упрек, что они всегда старались вести борьбу на почве статутов Интернационала. Это доказывается с неопровержимою убедительностью этими письмами. Борьба по существу носила вполне принципиальный характер, она сделалась озлобленной лишь благодаря привнесению других моментов, как местное и национальное соперничество, личные сплетни и тому подобное. И, как ни резко высказывались с тех пор Маркс и Энгельс о Бакунине,—они, правда, упрекали его в панславистских тенденциях, которые могли встречаться даже у решительного противника царизма,—но они никогда не позволяли себе заподозревать его политическую независимость. Это необходимо подчеркнуть, ибо бакунисты возлагают на Маркса и Энгельса ответственность за обвинения, распространявшиеся тогда С. Л. Боркгеймом и — вероятно, на основании его писем — Либкнехтом.

«Для неразрешенного още спора об отношении Маркса и Энгельса к Бакунину и наоборот, настоящая переписка заключает материал, который не только освещает дело, но и вносит примиряющую струю. Почти все, кто писал до сих пор об этом, должны будут исправить свои взгляды».

Итак, благодаря переписке, Бернштейн пересмотрел свои прежние взгляды «влево». Зато Меринг, под гипнотизирующим впечатлением «усердного и тщательного труда» «товарища» Брупбахера, готов пойти вправо или даже назад. Бернштейн правильно передает впечатление от переписки Маркса — Энгельса, но и на этот раз он ошибается в двух существенных пунктах.

Во-первых, неверно, что в 1864—1869 годах Маркс и Энгельс ставили Бакунину в упрек его «панславистские тенденции». Наоборот, весь спор между Марксом и храбрым, но упрямым канониром баденского восстания, действительным вождем прославленной «шайки поджигателей», «маленьким немецким евреем» С. Л. Боркгеймом — весь этот спор, так ярко выступающий в переписке, об'ясняется именно тем, что Маркс питал слишком много доверия к Бакунину и слишком мало доверия к Боркгейму.

Мы видели, как «легковерный» Маркс был восхищен Бакуниным. Ведь, последний был «одним из немногих людей», кого Маркс «по прошествии шестнадцати лет нашел ушедшим не назад,

а вперед». Конечно, легковерие Маркса подвергалось тяжелому испытанию. Но ему трудно было понять, как можно так быстро и так часто менять свои взгляды, точно перчатки [1]). Ведь, в политическом отношении Бакунин порвал с Герценом с 1863 г., а Маркс нисколько не сомневался в том, что Герцен — «панславист». Для этого ему не нужно было изучать русский язык. Что касается Бакунина, то, кроме его старых вещей, Маркс знал о нем только с его собственных слов, литературная же деятельность Бакунина в годы 1862—1863 осталась ему тогда совершенно неизвестною. Что Бакунин не был другом русского правительства, Маркс мог видеть из итальянской газеты «Liberta e Giustizia», где была помещена статья против Мадзини, автором которой Маркс считал Бакунина [2]).

Дело происходило в сентябре 1867 г. К этому времени относится первая встреча между «маленьким немецким евреем» и великим русским. Боркгейм, подобно Бакунину, был делегатом на конгрессе лиги свободы и мира в Женеве и держал громовую речь против России, этого столпа европейской реакции.

Мы не намерены останавливаться на этой речи. Из писем Маркса к Кугельману известно, что Маркс был не очень доволен выступлением Боркгейма [3]). По возвращении Боркгейма в Лондон, между ними разгорелся горячий спор, ясные следы которого мы находим в переписке Маркса—Энгельса. Как ни покажется странным всем друзьям Бакунина наше утверждение, но в действительности Маркс, в своем пристрастии к Бакунину, заходил так далеко, что не хотел верить Боркгейму, даже тогда, когда тот был безусловно прав и основывался на более близком знакомстве с обстоятельствами дела.

Боркгейм имел тогда большое преимущество перед обоими друзьями. Хотя Энгельс в начале пятидесятых годов приступил к изучению русского языка, — очевидно, с «вероломным» намере-

---

[1]) «Товарищ» Брупбахер, который может в этом отношении смело выдержать конкуренцию с Фреголи, говорит, что Маркс относился к своим идеям, как к своим живым детям: «если кто-нибудь нападал на них, он начинал нервничать, как любящая своих котят кошка, если кто-нибудь обижает их» Брупбахеру, конечно, симпатичнее лукавая кукушка, которая с легким сердцем кладет свои яйца в чужие гнезда.

[2]) Этим отчасти об'ясняется также, почему Маркс, несмотря на непонятное молчание Бакунина, послал ему «Капитал» и старался узнать его адрес. Интересы «дела» всегда стояли для него выше мелких личных соображений.

[3]) «Neue Zeit», XX, 2. SS. 93—96. Каутский правильно замечает: «Формально эта речь в некоторых своих оборотах обнаруживает претензию на остроумие и смелость, но не заслуживает строгого приговора, произнесенного Марксом».

нием использовать знание его против Бакунина во время ближайшей возможной революции, — но впоследствии он забросил эти занятия. Напротив, Боркгейм во время крымской войны, когда он поставлял различные предметы для английской армии, имел возможность еще более углубить свое знание русского языка, которым он, быть может, обязан был своему другу из «банды поджигателей» [1]). Впоследствии он взялся за изучение русского языка со всею страстью, которая была ему свойственна и трогательную картину которой Маркс дает нам в своих письмах к Энгельсу.

Но он имел перед обоими друзьями и другое преимущество. В Женеве он встретился с «настоящим русским», от которого он узнал, что в России существуют также «республиканцы и социалисты», которые не только не имеют ничего общего с Герценом, но являются даже его противниками. От него услышал он впервые имена Чернышевского, Добролюбова и одного из их учеников — Серно-Соловьевича. После этого он нашел брошюру последнего против Герцена и немедленно же решил перевести ее на немецкий язык. Эту брошюру он еще в рукописи прочитал Марксу. Несмотря на все это, его друг не хотел понять, почему нападки против славянофильства Герцена направлены также и против Бакунина. Не помогло и то, что Боркгейм сообщил Марксу письмо Серно, в котором тот передавал слова Бакунина, что Серно за свою брошюру должен быть избит палками.

Ничто не помогло Боркгейму. В 1868 г. он напечатал в редактировавшемся Либкнехтом «Демократическом Еженедельнике» («Demokratisches Wochenblatt») некоторые статьи против Герцена [2]). Но они произвели так мало впечатления на Маркса, Энгельса и Беккера, что все трое продолжали «интриговать» против Боркгейма и «подкапываться» под него. Чем больше упорствовал Боркгейм, чем больше разоблачал он панславизм Бакунина, тем меньше веры находил он у Маркса и Энгельса. Возможно, что это было недоверием «литераторов» к «практику», которого они считали неспособным правильно понять и оценить русские произведения Бакунина. Так же мало доверия питали они к Серно, совершенно неизвестному им русскому, хотя в своих письмах к Боркгейму он решительно выступал п р о т и в Бакунина. Более того, Маркс и Энгельс не только категорически воспротивились использованию Боркгеймом их старых статей против Бакунина, — так твердо были

---

[1]) То был немец Эдуард Розенблюм, уроженец Одессы, один из повстанцев. Весьма подозрителен,—понеже был, кажется, немецким евреем!

[2]) «Russische politiche Flüchtlinge in Westeuropa» S. B. «Demokratisches Wochenblatt», Nr 5, 6, 17, 20. Февраль, апрель, май 1868 г.

они убеждены в том, что Бакунин теперь уже не панславист и не имеет с Герценом ничего общего, — но делали все возможное для того, чтобы помешать появлению статей против Бакунина. Этим об'ясняется о т с у т с т в и е п р о д о л ж е н и я статей Боркгейма в «Демократическом Еженедельнике», этим же об'ясняется и отказ Беккера напечатать статьи Боркгейма в «Предвестнике» («Vorboten» [1]). Но справиться с упрямым канониром было не легко. Если для него закрывали «Демократический Еженедельник» и «Предвестник», то он находил дорогу в «Будущее» («Zukunft»). Что он имел там хорошие связи помимо Либкнехта, известно Мерингу лучше, чем мне.

Но прежде, чем перейти к этим статьям, мы должны сказать, что в основном вопросе оказался правым «практик», а не «литераторы Маркс и Энгельс. О «нашептываниях» здесь не может быть и речи. Источником Боркгейму служили писания Бакунина 1862—1863 годов и сообщения Серно.

Я отлично знаю, что раз навсегда подрываю добрую репутацию Серно у всех друзей Бакунина. Достаточно почитать все похвальные отзывы о нем у Гильома и Неттлау. Нам очень приятно, что в этом пункте мы сходимся с упомянутыми историками. Серно был, действительно, одним из наиболее талантливых и деятельных представителей молодой русской эмиграции, и даже «тварищ» Брупбахер не открыл бы в нем ни одной капли еврейской крови. Несмотря на это, он выступал против Бакунина. Почему? Разумеется, по «каким-то причинам».

В своем пристрастии к Бакунину, Маркс и Энгельс были очень несправедливы к молодому Серно. Лишь впоследствии они узнали, что прошли почти безучастно мимо одного из лучших представителей русской революционной интеллигенции и что этот — по ироническому выражению Маркса — открытый Боркгеймом русский, вполне заслуживал их доверия [2]).

Но Боркгейм был прав и в другом пункте. Бакунин был, если угодно, революционным панславистом не только в 1848—1849 гг., но и в 1862—1863 гг. Если бы Маркс имел хотя бы слабое представление о том, что Бакунин писал в эти годы, он питал бы к нему менее доверия и никогда не возлагал бы на него таких надежд. Он избежал бы также последующего разочарования, с его естественною реакцией.

---

[1]) В бумагах Беккера я нашел статью Энгельса против Бакунина, переписанную Боркгеймом, с его же вступлением. Как негодовал последний на поведение Беккера, видно из письма Маркса от 24 октября 1868 г.

[2]) Серно покончил самоубийством осенью 1869 г.

Но мы должны предостеречь против того, чтобы видеть в Серно виновника всех несчастий, начиная с 1868 г. Наоборот. Именно то обстоятельство, что информатором Боркгейма был Серно, должно вызвать сомнение в том, чтобы Боркгейм обвинял когда-нибудь Бакунина в шпионстве. Против этого говорит также поведение Маркса и Энгельса. К сожалению, Бернштейн все еще ищет виновника по близости от Маркса, и, убедившись, что Маркс и Энгельс свободны от всяких подозрений, он сваливает всю вину на Боркгейма и Либкнехта:

«Это необходимо подчеркнуть»,—продолжает он в своем введении,—«ибо бакунисты возлагают на Маркса и Энгельса ответственность за обвинения, распространявшиеся тогда С. Л. Боркгеймом и, — вероятно, на основании его писем, — Либкнехтом».

Одно только обстоятельство может говорить в пользу этой гипотезы. Как видно из переписки Маркса—Энгельса, Боркгейм, в отличие от обоих друзей, не был такого высокого мнения о Бакунине, как революционере. Но и это он узнал от Серно, который, подобно своему великому учителю Чернышевскому, никогда не мог помириться с методами политической деятельности и поведением Бакунина в Сибири. Впоследствии оба друга узнали, что они были неправы, и это опять-таки повело у обоих к слишком сильной реакции.

Но одно дело—доказывать, что Бакунин не был образцом революционной добродетели, и совсем другое дело—низкая клевета, что он был агентом русского правительства. Если бы Бернштейн и Меринг внимательнее прочитали переписку Маркса—Энгельса, они должны были бы спросить себя:—как это могло случиться, что Маркс и Энгельс, при всем своем влиянии на Либкнехта, не могли убедить его в том, что, как теперь неопровержимо доказано, было их глубочайшим убеждением, в таком вопросе, который не имел отношения к германским делам, а затрагивал честь старого революционера? А Меринг мог бы поставить себе еще один вопрос:—мыслимо ли, чтобы старые друзья Бакунина Иоган Якоби и Гвидо Вейс приняли в свою газету такое бесчестное обвинение?

Если поставить вопрос таким образом,—а все действующие до сих пор законы исторической критики требуют, чтобы мы проверяли всякий факт со всех сторон, — и если дать на него гипотетический ответ:—нет, это невероятно, — ведь, речь идет о таких людях, как Маркс, Энгельс, Либкнехт, Якоби, Гвидо Вейс, не говоря уже о Меринге, — тогда останется одна только гипотеза.

Не является ли вся эта история вымышленною, хотя бы без всякого злого умысла? Не есть ли она продукт болезненной фантазии, который никогда не подвергался серьезной проверке и, как бы передаваясь от одного больного к другому, захватил, наконец, и совершенно здоровых людей? Не есть ли это массовый психоз, заразивший, однако, не суеверных средневековых крестьян и мелких буржуа, а образованных людей, отлично знакомых со всеми до сих пор действующими законами исторической критики?

Ведь, вопрос разрешается очень просто. Достаточно для этого пойти в берлинскую королевскую библиотеку или в библиотеку партийного архива (германской социал-демократической партии), где любезный библиотекарь немедленно предоставит в ваше распоряжение экземпляр «Zukunft».

Мы берем толстый том in folio за 1869 год, ищем, как Нетлау, при помощи Бакунина, все бесчестные статьи «маленького немецкого еврея», находим их, наконец, и, как ни тяжело теперь перечитывать эти сильно устаревшие статьи в стиле барокко, так хорошо охарактеризованном у Маркса, — мы читаем их, строчку за строчкою.

В первом же письме мы находим ссылку на статью Энгельса. Итак, Марксу, Энгельсу и Беккеру не удалось переубедить упрямого канонира, который был твердо уверен в том, что Бакунин панславист. Мы читаем дальше, наталкиваемся на восьмой абзац и тут-то видим страшное слово, правда, не агент (Spitzel), а шпион (Spion).

Это ужасно. Последняя надежда потеряна. Но, овладев собою, мы, с замирающим сердцем, прочитываем весь абзац, слово за словом:

«Как видим, сам Бакунин выставлял себя защитником панславизма. Лишь непонимание славянских дел и ненависть ко всякому движению могли и могли бы считать его русским «шпионом», состоящим на жалованьи у петербургского правительства».

Одно слово меняет весь смысл. Мы протираем себе глаза: итак, все было ложью и вымыслом.

Но продолжим чтение дальше. Быть может, Боркгейм «оплевывает» поведение Бакунина во время дрезденского восстания и трактует его так, как Борн.

«Если даже предположить, что на суде строители саксонских баррикад выдвигали русского на передний план, дабы прикрыться за его спиною, то все-таки нельзя сомневаться ни в физическом, ни в моральном мужестве Бакунина».

Теперь Меринг поймет, почему Маркс «не опровергал», когда близкие ему политики, как Боркгейм и Либкнехт, «распространяли» обвинение, что Бакунин — подкупленный агент русского правительства. Маркс поступал так не «по каким-то причинам», а по очень простой причине: потому, что он действительно читал статьи Боркгейма [1]). И это отличает Маркса не только от Меринга, но и от Неттлау, как мы сейчас увидим.

Во всех трех упоминаемых Бакуниным статьях имеется только критика — подчас очень резкая — панславизма и иллюзий, приписывающих русской земельной общине чудодейственную силу. Аргументы Боркгейма не всегда удачны, но в споре с Марксом он вполне прав, считая Бакунина, на основании всех его писаний, в том числе вышедших после его возвращения из Сибири, панславистом; отрицать это может только тот, кто не имеет ни малейшего представления об этом вопросе и готов усматривать в такой квалификации «наглую клевету».

Я только что сказал: во всех трех упоминаемых Бакуниным статьях. Теперь читатель не удивится, что сам Бакунин мог вычитать из этих статей то, чего в них не было. Но странно, что это же мог вычитать Неттлау. Если не предполагать, что он не знает немецкого языка или знает его не лучше русского, то остается только одно об'яснение: он настолько верит словам Бакунина, что счел излишним читать эти статьи.

Более того. Он никогда не видал их. Как он сам говорит в примечании № 1869 своего монументального труда, ему знакомы «лишь выдержки из них в лассальянском «Социал-Демократе» от 4 августа 1869 г., который в приличной форме отвергает эти низкие обвинения» [2]).

---

[1]) В бумагах Маркса и Энгельса я нашел первую статью Боркгейма в виде отдельного оттиска, вторую и третью статьи — в виде вырезок. Они снабжены поправками Боркгейма. Кроме того, одно зачеркнутое место доказывает, что редакция очень внимательно прочитывала статьи. Но вышущенные слова не имеют никакого отношения к Бакунину. Я намерен опубликовать вскоре статьи Боркгейма, с его исправлениями, дабы дать любому читателю возможность контролировать меня. Но для этого требуется время.

[2]) К сведению Меринга: он может убедиться, что взаимные симпатии друг к другу швейцарианцев и бакунистов проявляются еще до базельского конгресса. Ничего не может быть интереснее этого союза между крайними прусскими централистами и аморфными автономистами. Мы еще вернемся к этому явлению, бросающему свет на судьбы Интернационала в Германии.

К счастью для Неттлау, Бакунин правильно указывает номера «Zukunft». Из «Социал-Демократа» же Неттлау известно, что статьи появились летом. Вот и все, что дало возможность этому, несомненно, «лучшему немецкому знатоку Бакунина» сообщить нам об этих статьях и что дало ему право написать о Боркгейме следующее:

«Бесчестные обвинения против Бакунина исходили от некого С. Л. Боркгейма, который, благодаря своей интимной близости к кругам, группировавшимся вокруг Маркса, не может быть предан вполне заслуженному им забвению.... Свою деятельность он продолжал в берлинской «Zukunft», органе прусской демократии, основанном И. Якоби. №№ 167, 187, 189 за 1869 г.» [1]).

Можно только удивляться этому «образцу спокойного и делового изложения» и «преступному легкомыслию», с каким столь суровый приговор произносится на основании непрочитанных статей.

Мы, как любезно называет нас Неттлау, «ограниченные марксисты», отличаемся бо́льшим недоверием даже по отношению к нашим учителям, которые, по словам «самого» Гильома, столь же невежественны, как мы. Правда, мы нашли в их бумагах все три статьи: правда, на третьей статье (№ 189) написано: «к о н е ц», но нам кажется, что и третья статья обрывается неожиданно. И нам приходит в голову мысль:—не существует ли еще одной статьи, не напечатал ли все-таки Боркгейм своих «бесчестных обвинений» где-нибудь после базельского конгресса [2])? В «Демократическом Еженедельнике» мы не находим никаких следов этого. В настоящее время мы знаем, что Маркс делал все возможное для того, чтобы помешать появлению этих статей в газете Либкнехта [3]). В «Vorboten» также не находим ни малейшего следа. Таким образом, нам не остается ничего другого, как продолжать наши поиски в «Zukunft».

Мы долго ничего не находим. Последняя или третья статья появилась 15 августа 1869 г. Мы перелистываем дальше. В сен-

---

[1]) M. Nettlau, цит. соч., S. 360.

[2]) «После базельского конгресса Маркс был очень сердит на Бакунина. И, быть может, это не случайность, что из-под пера друзей Маркса появились самые клеветнические статьи против Бакунина». Так говорит «товарищ» Брупбахер (на стр. 71), «точность» которого произвела на Меринга такое огромное впечатление.

[3]) Неттлау никогда не видал и «Демократического Еженедельника». Но это не мешает ему утверждать, что в этом органе имеются в 1869 г. «позорные статьи» опороченного Боркгейма, где автор «оффициозным образом» клевещет на Бакунина. Это тоже нечто в роде пророческого зрения.

тябре ничего не находим, также — в октябре. Лишь в № 256, от 2 ноября 1869 г., мы «открыли» еще одну статью о Бакунине. На этот раз мы приступили к чтению ее более спокойно. Мы знали, что вряд ли найдем что-либо худшее, чем те три статьи, за «легкомысленное распространение» которых Либкнехт подвергся на базельском конгрессе такому тяжелому наказанию.

Но мы можем заверить Неттлау, который будет нам, наверное, благодарен за наше открытие, что и в этой статье нет ни одного слова о Бакунине, как о шпионе. Правда, теперь, после базельского конгресса, тон статьи более резок — Боркгейм никогда не был таким «образцом спокойного и делового изложения», как Неттлау и Гильом, — правда, помимо панславизма Бакунина, в статье «оплевываются» также его неожиданное превращение из ученика Прудона в «коллективиста», равно как его трансформация из друга Герцена в его врага и обратно; но и в этой статье наш фанатический враг России нигде не позволяет себе заподозревать политическую честность Бакунина. Конечно, еще одна черта отличает эту статью от прежних статей. Боркгейм пишет теперь более уверенно и, как бы желая подчеркнуть свою победу над обоими «литераторами»—Марксом и Энгельсом,—так долго верившими, что Бакунин, действительно, «один из немногих людей, которые за шестнадцать лет ушли не назад, а вперед», он читает лекцию генеральному совету или, если угодно, Марксу:

«Как только «Интернациональная Ассоциация Труда» займется прямыми, чисто-политическими интернациональными отношениями и оффициально признает это одной из своих важнейших работ, — *что она должна сделать, если захочет продолжать жить*, — цели панславистской пропаганды, дружественно расположенной к рабочим, яснее выступят наружу. Наблюдать за нею — есть, прежде всего, из соображений самой простой стратегии, долг немцев».

Как видим, «маленький немецкий еврей», несмотря на свои антирусские чудачества и несмотря на то, что он никогда не был «марксистом», не был так глуп, как хотят изобразить его, на основании никогда непрочитанных ими статей, Бакунин и его друзья.

Боркгейм не только не «оплевывал» *всех* русских революционеров, но ему мы обязаны признательностью за то, что он обратил внимание Маркса на «великого русского ученого и критика», Чернышевского; он же побудил Маркса заняться зимою 1869 г. изучением русского языка, дабы составить себе самостоятельное суждение о Бакунине и о его русских противниках.

Теперь нам остается сделать некоторые выводы. Прежде всего, мы можем снять обвинение с тогдашних друзей Бакунина. Теперь мы понимаем, почему никто из них, и прежде всего Герцен, не заявил протеста против «бесчестных обвинений», на которые жаловался Бакунин. Как бы резко ни относиться к критике Боркгейма, направленной против бакунистского панславизма, но ничего другого не оставалось, как написать возражение на нее, а это, конечно, должен был сделать сам Бакунин. Почему же он предпочел и в этом случае выдвинуть вперед Герцена? Лучший ответ на это дает опубликованное Густавом Майером письмо Бакунина к Якоби, в котором он «отныне» рекомендует себя противником панславизма [1]).

И если Герцен отказался протестовать против статей Боркгейма, то он сделает это не только потому, что видел в них, — теперь мы знаем, было ли это правильно, — «старые махинации Маркса», но также потому, что, как опытный журналист, не столь болезненно чувствительный ко всякой критике, как Бакунин, он не хотел оскандалиться перед Якоби.

Во-вторых, мы очень рады констатировать, что вся берлинская банда преступников так же невинна, как открытая Фогтом «банда поджигателей». И больше всего рады мы тому, что нам удалось вполне «реабилитировать» «тогда еще очень молодого Франца Меринга» от подозрения в том, что он был укрывателем и соучастником, хотя бы несколько наивным, этой «бесчестной клеветнической кампании» против Бакунина. Ведь, он последний могикан этой старой демократической гвардии [2])!

В-третьих, мы можем теперь смело сказать, что вся история с мнимым судом чести в Базеле происходила, вероятно, совсем иначе, чем изображает ее Бакунин.

---

[1]) Очень жаль, что такой серьезный исследователь, как Густав Майер, тоже без критики считает установленными фактами все то, что сообщил ему Неттлау. Теперь он увидит, что все указания «лучшего немецкого знатока Бакунина», поскольку они опираются на показания Бакунина, совершенно беспочвенны. Он увидит также, что его гипотеза, будто Якоби не читал этих статей до их напечатания, совершенно излишня.

[2]) Откровенно говоря, мне с трудом верится, что Меринг действительно так поздно познакомился с Лассалем, как он «сам показывает». Я предполагаю здесь lapsus memoriae, который может случиться не только с Бебелем. Я готов даже сделать следующее предположение: статья в «Wanderer», появившаяся летом 1869 г., произвела на Меринга такое сильное впечатление не потому, что в ней он впервые прочитал о Лассале, а потому, что первою статьею, написанною им, тогда еще «молодым парнем», в «Zukunft», был отчет об этой статье в «Wanderer». Перечитайте ее, тов. Меринг. Вы найдете ее в номере 145, от 25 июня 1869 г.

Что Вертгейм был вздорным сплетником, видно уже из письма его к Беккеру. Статьи Боркгейма обратили на себя внимание и служили предметом разговоров в партийных кругах. Когда-нибудь удастся, быть может, установить, где именно происходило это «полупубличное собрание друзей», на котором Либкнехт якобы назвал Бакунина шпионом, — в Берлине или в Вене. Первая статья Боркгейма появилась 21 июля, а вторая—23 июля 1869 г., а Либкнехт был тогда в Вене, где он выступал на собрании: поэтому, очень вероятно, что свое «преступление» он совершил в Вене, и Вертгейм, приехавший немедленно после этого в Женеву, рассказал там всю эту историю.

Но Бакунин хотел, во что бы то ни стало, примерно наказать Либкнехта. Суд чести приступил к разбору дела. Нетрудно представить себе, что, вероятно, сказал Либкнехт членам суда чести, в числе которых было пять его друзей, не считая Беккера, который тоже присутствовал. Он мог сказать приблизительно следующее:

«Вертгейм неисправимый идиот и дурак, который неспособен даже придать сплетне видимость правдоподобия. Никогда я и мой друг Боркгейм не называли Бакунина шпионом. Но я был того мнения, что Бакунин панславист. Если это не так, для него остается всегда открытым путь литературной борьбы. Верно также и то, что я считаю основание «альянса» вредным для Интернационала».

Пусть читатель прочтет в письме Бакунина его собственные слова о речи Либкнехта на суде чести [1]), и он убедится, что я сделал лишь ничтожные изменения. Нельзя же быть, подобно Бакунину и Гильому, столь наивными, чтобы думать, что Либкнехт, желая спасти себя, в присутствии Беккера приписывал Боркгейму то, чего не было в его статьях.

Этим об'ясняется также и то, почему Бакунин так легко помирился с Либкнехтом. Только глупые друзья могут думать, что Бакунин требовал, чтобы суд чести удостоверил, что он не шпион русского правительства. В результате всех переговоров дело было, вероятно, ликвидировано в виде резолюции, и Бакунин был настолько умен, — в данном случае, где ему ничего было прощать, говорить о благородстве не приходится, — что сжег ее. Тот факт, что Бакунин зажег папиросу о решение суда, — факт, установленный Неттлау после нескольких лет старательных изысканий, — имеет, конечно, большое значение для этого биографа, еще более добросовестного, чем известный биограф Гете-Дюнцер.

---

[1]) M. Bakounine,—«Oeuvres». Tome V, p. 274.

Мы, со своей стороны, охотно готовы признать, что этот факт установлен по всем действующим до сих пор законам исторической критики. Аминь!

Но по какому случаю такой шум из-за одной папиросы?

Как и Маркс, Шекспир тоже имел своих предшественников, которые подготовили его появление. В их числе был Мессингер. Последний создал образ сэра Overrlach (Попадай-мимо), который, чтобы доказать свое утверждение, вытаскивает из кармана важный документ. Этот «документ» оказывается, однако, куском пергамента без текста и печати.

— «Что за чудо!»—восклицает он с негодованием,—«я безмерно удивлен. Какой вероломный дух стер письма?!»

Пусть после этого говорят, что не следует верить в чудеса!

IX.

Рассмотрим теперь поведение Либкнехта после базельского конгресса. В том же письме в редакцию «Réveil», из которого Гильом и Неттлау взяли фантастический рассказ о так называемом суде чести, Бакунин пишет — 1 октября 1869 г., — что Либкнехт обещал опубликовать его статьи.

Как же поступил Либкнехт? «Я не имел возможности поискать в «Volksstaat»,—рассказывает нам Неттлау,—«но ответ дает «Мемуар» (т.-е. Гильом.—Д. Р.): Что же сделал Либкнехт? Он не напечатал статей Бакунина, а вместо них напечатал корреспонденции из Парижа М. Гесса, где повторяются те же обвинения, которые базельский суд чести признал бесчестными и клеветническими».

Итак, Неттлау никогда не видал в глаза «Zukunft», и до 1898 г. он не имел еще в своих руках «Volksstaat», но... если бы это была неправда, мог ли бы Гильом так категорически утверждать!

Но факт тот, что вся эта история не имеет никаких оснований!

Мы знаем уже, что в «Réveil» нельзя найти ни одного «бесчестного» слова о Бакунине. Также не найдем мы ни малейшего следа «подобных же клевет» в корреспонденциях Гессе в «Volksstaat». Это не удалось даже Неттлау. Более того. Так как первый номер «Volksstaat» вышел лишь 2 октября 1869 г., то не исключена была возможность, что Либкнехт еще в своем прежнем органе, «Демократическом Еженедельнике», напечатал статью Гесса, содержавшую «подобные же клеветы». Но и там мы не нашли ничего подобного, а то, что мы нашли, доказывает лишь, что Либ-

кнехт поступил по отношению к Бакунину действительно благородно. Первая корреспонденция была напечатана в «Демократическом Еженедельнике» 25 сентября 1869 г.; в ней нет ничего, интересующего нас теперь. Лишь во второй корреспонденции, появившейся в последнем номере, Гесс делает попытку рассказать «подобную же историю» базельского конгресса. При этом он ссылается на Эккариуса, который был впоследствии большим другом Гильома и состоял также членом суда чести. Между прочим, он сообщает, что на конгрессе среди большинства, голосовавшего за известную резолюцию, было также незначительное меньшинство—бакунистское, которое можно назвать «коммунистическим в грубом смысле слова».

Но на этом «клевета» и кончается. Все то, что Гесс рассказывал в своей статье в «Réveil», зачеркнуто здесь редакционным карандашом Либкнехта. Пробел заполнен следующими словами редакции, в круглых скобках:

—«Наш корреспондент дает здесь некоторые детали, которых мы не печатаем из партийных соображений».

Но нам не нужен лучший свидетель, чем сам Бакунин. В цитированном нами уже письме от 1 апреля 1870 г. мы читаем:

«Господин Либкнехт продолжает самым вероломным образом выступать против меня и вообще против всех русских революционеров. Правда, он напечатал мое воззвание к русской молодежи и письмо Нечаева, но одновременно опубликовывает против меня статью, столь же нелепую, как и бесчестную. Статью, написанную неким суб'ектом, по имени Боркгейм, маленьким евреем, орудием Маркса... Я начал ряд писем, в ответ всем этим еврейским и немецким шавкам. Скоро я думаю их закончить, первое письмо уже готово и переводится на немецкий язык. Оно будет послано в «Volksstaat», орган социал-демократии германских рабочих, издаваемый Либкнехтом».

Читатель, быть может, удивится, что Бакунин, констатировав все вероломство Либкнехта по отношению к русским революционерам, все же считал возможным обратиться к редакции «Volksstaat».

И, однако, это невозможное стало фактом. Мы берем «Volksstaat» и находим там—представьте себе—статью, в виде больших писем, Михаила Бакунина: «Briefe über die revolutionäre Bewegung in Russland. An die Redaktion des Volksstaat». Датирована: «Женева, 8 апреля 1870 г.» [1]).

---

[1]) «Der Volksstaat», 1870, № 31, от 16 апреля, и № 32, от 20 апреля.

И о чем же пишет «простодушный» Бакунин «вероломному» Либкнехту? Он жалуется, наверное, на вновь причиненную ему тяжкую обиду и на оплевывание русского революционного движения?

Нет. Не желчью—медом дышат слова Бакунина:

«Гражданин редактор! Прежде всего примите мою благодарность за напечатание воззвания к русской молодежи и письма моего соотечественника Нечаева, а еще более за вашу сочувственную оценку происходящего ныне в России революционного движения. Это признание со стороны Германии представляется нам новым событием».

Это—то самое письмо, которое Энгельс в письме к Марксу от 29 апреля 1870 г. находит «действительно очень наивным», при чем Энгельс не порицает самого ф а к т а опубликования этого письма.

Почитаем теперь статью Боркгейма. Она называется «Der Brief Netschajeffs» и направлена против Нечаева. О Бакунине мы находим только следующие строки:

«Герцен мертв [1]); в Германии с Бакунинным покончили в берлинской «Zukunft»; и тем самым его влияние во Франции и Англии сведено к нулю. Его интриги в Италии и Испании не имеют значения».

И что же пишет Боркгейм дальше? Он ставит Нечаеву несколько вопросов, обращаясь к нему с покорнейшею просьбою выяснить некоторые неясные пункты в его письме, и кончает следующим протестом, который мы цитируем дословно, так как здесь упоминается и Бакунин:

— Мы протестуем, наконец, против обозначения господином Нечаевым русского правительства, как «татаро-немецкого» [2]). Это обозначение имеет целью ввести в обман, и мы повторяем господину Нечаеву то, что мы уже сказали господину Бакунину в «Zukunft» от 13 августа 1869 г.: «Привычка ставить русскую ка-

---

[1]) Он умер незадолго до этого, 21 января 1870 г.

[2]) В том, что статьи Боркгейма были написаны не только против Бакунина, как представителя России, но и против Маркса, как представителя Англии, легко может убедиться всякий, кто прочтет исследования Маркса в области русской истории. Эти исследования были подвергнуты мною критике еще в в 1908 г. Ср. «Karl Marx über der Ursprung der Vorherrschaft Russlands in Europa», глава 5: «Das Tataronjoch und der Absolutismus in Russland», Ergänsungshefte zur «Neuen Zeit» № 5. (Напечатано в настоящем сборнике). Что Маркс еще в шестидесятых годах сильно переоценивал татарское влияние, видно теперь из его писем к Энгельсу в 1867 г.

торжную жизнь в вину немцам не только подогревает взаимную «расовую любовь» славян, но и щекочет их самолюбие по отношению к западным нациям. Петербургское правительство не татарское, не немецкое и не татаро-немецкое,—оно р у с с к о е».

Мы повторяем, что маленький немецкий еврей далеко не был так «глуп», как «показывает сам» Бакунин.

Но почему был так возмущен Бакунин, почему Неттлау, читавший, повидимому, эту статью Боркгейма, тоже говорит, что она содержит низкую клевету против Бакунина?

Причина этого очень проста. Ее, быть может, знал и лукавый Боркгейм. В м а р т е 1870 г. Бакунин и Нечаев составляли, если не одно тело, то, во всяком случае, одну душу. Так называемое «письмо Нечаева» было на самом деле письмом Б а к у н и н а, и всякий выпад против Нечаева означал нападение на Бакунина.

Кто был Нечаев, мы сейчас увидим. Но, что Либкнехт, даже спустя шесть месяцев после «лекции», отнюдь не давал Боркгейму полной «свободы действий», видно уже из того, что он предоставлял страницы «Volksstaat» к услугам всех противников Боркгейма и друзей Бакунина и Нечаева.

Приведем только несколько выдержек из ответа Нечаева, который является вместе с тем и ответом Бакунина:

«Я н е м о г у с к р ы т ь, г р а ж д а н и н р е д а к т о р, что я б ы л о ч е н ь н е п р и я т н о п о р а ж е н, в с т р е т и в в в а ш е й у в а ж а е м о й г а з е т е и в в а ш е й п а р т и и п о д о б н о г о д у р а к а и л и с о ф и с т а. Я д а л с е б е т р у д п р о ч е с т ь э т и «Р у с с к и е п и с ь м а», и в с е, ч т о я м о г у с к а з а т ь о н и х,—э т о, ч т о о н и с т о л ь ж е п е л е н ы, к а к о т в р а т и т е л ь н ы, п о л н ы к л е в е т, л ж и, н е л е п о с т е й, и в к а ж д о й с т р о ч к е о б н а р у ж и в а ю т б о л ь ш о е н е в е ж е с т в о и б е с с и л ь н у ю з л о б у».

Так писал в «Volksstaat» Нечаев против Боркгейма. А Неттлау называет это «давать Боркгейму полную свободу действий!

— Да,—скажет, может быть, Неттлау,—но в номере о т 16 и ю л я Либкнехт открыто принимает сторону Боркгейма, он пишет, что все, рассказанное Боркгеймом о Нечаеве, было ему «подтверждено с самой компетентной и заслуживающей доверия стороны и что Боркгейм оказал демократии большую услугу, раскрыв это скандальное надувательство».

Но кто же был на этот раз самым компетентным и заслуживающим доверия свидетелем? Не еврей ли опять, немецкий или русский, маленький или большой, подобно Боркгейму или Утину?

Нет, то был даже не купец или сын водочного откупщика, а, подобно Бакунину, дворянин [1]).

Теперь это был Лопатин, приехавший к Марксу с рекомендательным письмом от Лафарга и вскоре же ставший членом генерального совета. Этот свидетель тем важнее для нас, что все—Маркс, Энгельс, Лафарг, Гильом, Бернштейн—отзываются о нем с большим уважением [2]).

Читатель, наверное, не посетует на нас за то, что мы несколько подробнее будем цитировать сообщение Лопатина. 5 июля 1870 г. Маркс писал своему другу Энгельсу следующее:

«Лафарг известил меня, что молодой русский Лопатин привезет рекомендательное письмо от него...

«Он еще очень молод, два года провел в тюрьме, а потом восемь месяцев в крепости на Кавказе, откуда убежал. Он сын бедного дворянина и, будучи студентом петербургского университета, зарабатывал себе на жизнь уроками. Теперь он живет, очень нуждаясь, переводами на русский язык...

«У него очень живой, критический ум, веселый характер, стоический, как у русского крестьянина, который довольствуется тем, что имеет. Его слабый пункт: Польша. О ней он говорит точь-в-точь, как англичанин,—вернее, как английский чартист старой школы,—об Ирландии.

«Он рассказал мне, что вся история о Нечаеве (23 лет)—наглая ложь. Нечаев никогда не сидел в русских тюрьмах, русское правительство никогда не устраивало покушения на него и т. д.

«Дело было так: Нечаев (один из немногих агентов Бакунина в России) принадлежал к одному тайному обществу. Другой молодой человек Х., богатый и увлекающийся, оказывал этому обществу денежную поддержку, через Нечаева. В один прекрасный день Х. заявил Нечаеву, что не даст больше ни одной копейки, так как он не знает, куда деньги деваются. После этого господин Нечаев (может быть, потому, что он не мог представить отчет в

---

[1]) Читатель уже знаком с хорошим тоном Гильома, Неттлау и «товарища» Брупбахера. Они вообще очень аристократичны. Так, например, говоря об Утине они никогда не забывают прибавить: «сын еврея—водочного откупщика». Меринг «утаивает» слово «еврей», но придает значение тому, что Утин, видимо, по испорченности характера, избрал себе в отцы водочного откупщика. Не считает ли он доказательством возвышенного образа мыслей Бакунина, что он был сыном русского рабовладельца, безжалостно эксплоатировавшего и мучившего своих крестьян?

[2]) О нем см.—P. L. Lawroff,—«Hermann Alexandrowitsch Lopatin»,—«Neue Zeit», 1889. Русская революция 1905 года освободила его после более чем 20-летнего заключения.

деньгах) предложил своим сотоварищам по тайному обществу убить Х., ибо он может в будущем изменить свои убеждения и стать предателем. Он действительно убил его. Русское правительство преследовало его, как простого убийцу.

«В Женеве Лопатин прежде всего потребовал об'яснений лично у Нечаева (по поводу его лживых росказней); тот оправдывался тем, что эти политические сенсации полезны для так называемого дела. Потом Лопатин рассказал эту историю Бакунину, который сказал ему, что он, «добродушный старик», всему этому поверил. Бакунин потребовал от Лопатина повторить это в присутствии Нечаева. Лопатин немедленно отправился вместе с Бакуниным к Нечаеву, где повторилась та же сцена, Нечаев молчал. Пока Лопатин оставался в Женеве, Нечаев держался очень скромно, точно воды в рот набрал.

Но, едва, только Лопатин уехал в Париж, как снова началась эта безобразная комедия.

Вскоре после этого Лопатин получил от Бакунина оскорбительное письмо по поводу этого дела.

Он ответил ему в еще более оскорбительном тоне.

Результат: Бакунин написал «Pater, peccavi»—письмо (оно здесь, в руках у Лопатина), но—il est un bon vieillard crédule (он легковерный, добродушный, старик)».

Послушаем теперь другого свидетеля. В мае Нечаев отправился в Лондон, с теплым рекомендательным письмом Бакунина к Таландье.

24 июля тот же Бакунин писал тому же Таландье:

«Он (Нечаев) пришел к убеждению, что необходимо основать серьезное и несокрушимое общество, взять за основу политику Макиавелли и принять без всяких оговорок систему иезуитов: для тела—одно насилие, для души—ложь. Если вы представите его вашему другу, он немедленно постарается посеять между вами раздоры, сплетни и интриги,—словом, рассорить вас. Если ваш друг имеет жену или дочь, он постарается прежде всего соблазнить ее и добиться того, чтобы она родила ребенка, с целью вырвать ее из круга оффициальной морали и толкнуть на революционный протест против общества... Его последнею попыткою было не что иное, как основание в Швейцарии банды воров и разбойников, разумеется, для того, чтобы достать деньги для революционных целей».

Так пишет Бакунин о том самом человеке, с которым он в течение более года действовал во всем заодно, несмотря на все

предостережения с различных сторон, и для которого он еще за несколько месяцев до этого—как не без оснований полагает и Гильом—редактировал и послал Либкнехту цитированное выше и полное лжи письмо от 8 апреля, которое Нечаев оправдывал тем, что политические сенсации полезны для дела.

Между прочим: Нечаев отнюдь не был отбросом рода человеческого.

Свою несокрушимую смелость и силу убеждений он достаточно доказал во время своего процесса и заключения в тюрьме.

Мы не будем теперь заниматься вопросом, насколько Бакунин несет ответственность за «нечаевщину». Достаточно констатировать, что молодой Нечаев, при всей своей сверхчеловеческой энергии, никогда не мог бы играть такую роль, если бы за ним не стоял Бакунин, в качестве агента которого он действовал. В умственном отношении он не представлял ничего особенно выдающегося.

Бакунин порвал с Нечаевым не из-за принципиальных разногласий, не из-за проектированной Нечаевым революционной экспроприации [1]), а потому, что, как он убедился, этот «юноша»—как называл он Нечаева—не хотел служить его орудием, а, наоборот, хотел использовать его же в качестве орудия. Повод к разрыву дал так называемый революционный фонд Бахметьева, игравший в русском революционном движении подобную же роль, как революционный фонд Кинкеля, находившийся в распоряжении Ладендорфа. Бакунин употребил все средства для того, чтобы Огарев, заведывавший этим фондом вместе с сыном Герцена, передал деньги Нечаеву. Через несколько дней после этого произошел разрыв между Бакуниным и Нечаевым.

Но Бакунину, который публично так полно отождествил себя с Нечаевым, трудно было публично порвать с ним. В том же письме к Таландье, в котором он предостерегает его против Не-

---

[1]) Так, на упрек одного из членов тайного «альянса» Бакунину, что он впал в противоречие с самим собою, препятствуя Нечаеву осуществить его план, Бакунин отвечает следующим образом: «Что касается его последнего предприятия в Швейцарии, то ты, мой дорогой Мрук, ошибаешься, полагая, что я впал в противоречие с принципами и планами, которые некогда я сам защищал против Моншаля. Я никогда не отказывался от них и скоро представлю этому достаточные доказательства. Но важно, чтобы все это было проделано, во-первых, с самой полной солидарностью, во-вторых, со знанием места, обстоятельств, людей и с величайшим благоразумием. Нечаев же хотел действовать за нашею спиною, при чем он пользовался нашими людьми, как, напр., Анри, и действовал так глупо, что эта история покрыла бы нас всех позором и погубила бы. Именно потому препятствовал я его плану».—Это написано 19 августа 1870 г.

чаева, он настоятельно просит его не давать этого заметить Нечаеву [1]). В дальнейшем Бакунин также предпочитал молчать об этом. «Украденные» Нечаевым бумаги он и друзья его получили только после того, как Нечаев был выдан русскому правительству.

Теперь остается только удивляться доброму Нетлау—и всем столь же добрым господам, которые, в первом и последнем счете, опираются на него же, когда он со всем пафосом глубочайшего морального возмущения обрушивается на бедного Либкнехта за то, что он якобы предоставил Боркгейму полную «свободу действий» для «оплевывания» всех (?!) русских революционеров, в том числе Нечаева!

Дело обстоит как раз наоборот. Если Либкнехт встречал часто с недоверием русских революционеров следующего поколения и в каждом из них подозревал маленького Нечаева, то это было только вполне естественною, подчас очень сильною, реакциею против того большого доверия, которое он питал раньше к Бакунину и Нечаеву. Последние сами **вызвали** в Либкнехте недоверие к русским, а не нашли его в **готовом** виде.

Так обстоит дело, в свете исторической критики, со всеми «такими же клеветами», которые Либкнехт будто бы «вновь опубликовал» «**вскоре**» после базельского конгресса.

Дабы «товарищ» Брупбахер не мог сказать, что я «утаил» самое «точное» из приведенных им доказательств, удостоверяющих низость Маркса и Либкнехта, я приведу читателю из его «заслуженного и полезного труда» конец рассказа о «некрасивых» и «непривлекательных» махинациях Бебеля, Либкнехта и Маркса.

«Они (т.-е. уже известные нам «такие же клеветы») **появились также в одной американской газете. Когда друзья Бакунина протестовали против этого, редактор заявил: «я получил эту информацию от моего друга Карла Маркса, сообщившего мне ее из Лондона»; он обещал напечатать опровержение, которое, однако, не появилось**».

Может ли быть более «точное» доказательство? В «какой-то» газете, «какие-то друзья», «какой-то» редактор, «какие-то» клеветы!

---

[1]) «По многим причинам нам нежелательно, чтобы они (Нечаев и его друг) **теперь** узнали, что мы ведем против них войну по всем пунктам. Необходимо, чтобы они думали, что эти предостережения исходят из лагеря моих противников, что, впрочем, будет, соответствовать истине, ибо, как мне известно, о них написали в очень энергичном тоне в Лондон, генеральному совету. Не разоблачайте нас преждевременно в их глазах. Они украли у нас бумаги, и их-то мы должны сперва получить обратно!»—Разумеется, Бакунин был «человеком без задних мыслей»!

«Cacatum est, non pictum», — сказал по «какому-то» поводу на готском конгрессе в 1896 г. старый грубовато-резкий «солдат революции».—«Cacatum est, non scriptum»,—сказал бы он об этом «образце спокойного и делового обсуждения».

Разные Штиберы и Фогты нередко забрасывали наших великих мертвецов грязью. Но последних это ничуть не трогало. «Кто шествует по пути истории»,—повторил однажды Маркс слова Чернышевского, которому также приходилось достаточно терпеть от русских Штиберов и Фогтов,—«не должен пугаться грязи».

Но, поистине, наши великие мертвецы не заслужили того, чтобы любой «сентиментальный осел»,—как выразился бы Бакунин,—безнаказанно оскорблял их память, да еще под защитою партийного флага!

X.

— Но,—скажут нам,—вы забываете знаменитое «Конфиденциальное сообщение», которое Маркс послал своим немецким сторонникам 28 марта 1870 г. и где он, бесстыдно злоупотребляя именем генерального совета, предательски оклеветал Бакунина.

Это—то самое «Конфиденциальное сообщение», которое «товарищ» Брупбахер перепечатал, для того, чтобы «лучше осветить всю степень простодушия Бакунина», и которое он признает позорным пятном на характере Маркса; по его мнению, это пятно «никогда не будет смыто и, в лучшем случае, сможет быть об'яснено психологически».

Вот уже сорок лет это «Конфиденциальное сообщение» выдвигается против Маркса. Правда, в течение т р и д ц а т и лет авторы этого обвинения не имели ни малейшего представления о содержании этого сообщения; они упорно повторяли слово «конфиденциальное», а ведь известно, что повторение является самою сильною риторическою фигурою, огромною гипнотизирующею силою.

Indignatio facit poëtam. И в данном случае нарисовали себе яркую картину, которая действует на читателя гораздо сильнее, чем самое убедительное логическое доказательство.

Согласно этой картине, в Лондоне сидел вероломный Маркс и рассылал свое «Конфиденциальное сообщение», если не всему миру, то, во всяком случае, Либкнехту и компании; в Локарно же сидел простодушный Бакунин и, ничего не подозревая, корпел над переводом приведшего его в восхищение «Капитала», этого сочинения высоко ценимого им учителя, с которым он горячо желал жить в полном согласии.

Подобным же образом, в Берлине сидел оклеветанный Швейцер и писал свою блестящую статью о «Капитале», а в Лейпциге сидел агент Маркса Либкнехт и об'являл его агентом Бисмарка.

Эта картина была слишком соблазнительна, чтобы Меринг мог устоять против нее. Он писал:

«В марте 1870 г., когда Маркс отправил из Лондона свой первый циркуляр (т. е. «Конфиденциальное сообещние») против «крайне опасного интригана», Бакунин потел в Локарно над попыткою перевести «Капитал» на русский язык».

Как известно, Меринг—принципиальный враг кавычек. Но на этот раз он делает исключение,—дабы еще сильнее оттенить привлекательность простодушного Бакунина.

Мы видели, что писал Бакунин о малых и великих немецких евреях в октябре 1869 г.; теперь мы знаем, почему он в то время «щадил» и «любил» Маркса; теперь мы знаем его хитрый план кампании против Маркса, сообщенный им Герцену вскоре после базельского конгресса.

К этому времени относится его попытка перевести «Капитал». Уже из статьи Бернштейна читатель мог узнать, что Бакунин предпринял эту работу не «из уважения к научной ценности» «Капитала». Лишь в декабре приступил он к этой работе. Верно только то, что он над нею «потел». И уже в феврале 1870 г. он ее прервал.

Мы оставляем в стороне вопрос о том, почему это произошло. 3 марта 1870 г. лицо, доставившее эту работу Бакунину (то был один русский), получило знаменитый «аутентический документ», при помощи которого Маркс будто бы хотел на гаагском конгрессе «доказать мошенничество Бакунина» на том основании, что Бакунин «не вернул своему издателю аванса». До того времени было лишь известно, что Нечаев, по поручению Бакунина, будто бы сообщил, что последний от работы отказывается.

Меринг рассказывает нам, что этот документ опубликован Бернштейном, но что он нисколько не порочит чести Бакунина. Возможно, что это так. Но мы убеждены, что не только Гильом, Нетлау и все находящиеся еще в живых друзья Бакунина, но и Бернштейн, якобы опубликовавший этот документ, были бы весьма признательны Рерингу, если бы он указал, в каком именно журнале и когда именно опубликован этот «аутентический документ», о котором он говорит столь категорически.

Пока же мне остается предположить, что Меринг взял свои новые сведения из тех же «каких-то» источников, из которых он

узнал также, что Бакунин не закончил перевода потому, что «вскоре вспыхнула франко-прусская война; она и последствия ее увлекли Бакунина в водоворот страстной агитации».

Тов. Меринг может успокоиться. Каким злобным характером ни отличался Маркс, но никогда не делал он попытки «лишить Бакунина его честного имени» на том основании, что «он не вернул своему издателю аванса в 300 рублей». И это по очень простой причине. Маркс был тоже «литератором» и отлично знал, что «немало писателей», и в том числе знаменитейшие имена, «нередко не возвращали аванса своим издателям». Филистером и мещанином Маркс никоим образом не был. Но он был не только «литератором», а также духовным вождем и советником, если не самой многочисленной, то самой разветвленной и развитой из существовавших тогда рабочих организаций. И он отличался высоким чувством моральной ответственности перед рабочим классом и перед историей!

Но если и новое утверждение Меринга также не выдерживает соприкосновения с суровыми фактами, то оно все же имеет бесспорное преимущество. Оно не является «плагиатом». Честь об'яснения гаагского инцидента филистерскими и мещанскими мотивами принадлежит исключительно Мерингу!

XI.

Посмотрим теперь на другую половину картины, вернемся к Марксу, который «украл и скрыл прекрасную корону».

Немногие, оставшиеся еще в живых, старые партийные товарищи, современники той исторической эпохи,—в их числе, может быть, и Меринг,—помнят, что «Конфиденциальное сообщение» уже сыграло однажды роковую роль в истории германской социал-демократии. Оно послужило тем дальнобойным орудием, которое прокуратура выдвинула, чтобы доказать «подпольные действия» Интернационала и солидарной с ним германской социал-демократии (разумеется, только «эйзенахцев»). Один раз это прокуратуре не удалось, а второй раз удалось как нельзя лучше.

Начнем с последнего, с так называемого процесса по обвинению в государственной измене.

В отчете о шестом дне заседаний суда (16 марта 1872 г.), напечатанном в «Volksstaat» (№ 23, от 20 марта 1872 г.), мы читаем следующее:

«Далее следует чтение «Конфиденциального сообщения» генерального совета Интернационала из Лондона от 28 марта 1870 г. относительно русского Бакунина и происков его внутри Интерна-

ционала. К этому документу, составленному на немецком языке, присоединен другой, французский документ, перевод которого также оглашается...

«Из указанного сообщения генерального совета председатель извлекает, как особо существенные, следующие три пункта: 1) в нем говорится, что «генеральный совет держит непосредственно в своих руках великий рычаг пролетарской революции», откуда господин председатель заключает, что генеральный совет рассматривает самого себя, как верховный революционный комитет, а подчиненные ему организации—как подчиненные революционные комитеты; 2) во французском документе идет речь о «серьезной подпольной деятельности» генерального совета, т.-е., как полагает председатель, о такой деятельности, которая имеет все основания прятаться от лица закона; 3) в документе сказано: «эйзенахская социал-демократическая партия принадлежит к Интернационалу, партия Швейцера не принадлежит»,—откуда председатель опять-таки делает вывод об официальной принадлежности этой партии к Интернационалу, как его группы».

Со стороны председателя—господина Мюке, хорошо известного теперь всем по воспоминаниям Бебеля,—это был ловкий удар, подготовленный при помощи какого-нибудь Штибера или прокурора. Правда, обвиняемые знали, что «Конфиденциальное сообщение» попало в руки полиции еще 9 сентября 1870 г. при обыске у Шпира, члена брауншвейгского комитета; они знали, что оно, вместе с другими письмами, приобщено к огромному обвинительному материалу; но, по причинам, которые мы после узнаем, они считали этот вопрос ликвидированным.

Лишь это обстоятельство объясняет нам, почему—как видно из ответа Либкнехта—эти вопросы были неприятны для обвиняемых. Наиболее неприятным был вопрос второй. Либкнехт, очень умело показав нелепость первого вопроса, продолжал:

«Далее: выражение «серьезная подпольная деятельность», как то видно из его буквального смысла, употребляется в противоположность шарлатанской поверхностной рекламе и означает серьезное воздействие на базисе экономических отношений, в отличие от напыщенных фраз Бакунина, которые недавно подверглись осуждению. Итак, я понимаю слово «подпольный», в соответствии с самым строгим смыслом этого слова, как противоположностью слову «поверхностный». Если бы слово «подпольный» было равнозначуще «тайному»,—а я должен признать, что само по себе это выражение может быть понимаемо таким образом,—то гене-

ральный совет допустил бы нарушение статутов Интернационала, согласно которым он должен действовать лишь публично. Вообще, я не могу верить, что «Конфиденциальное сообщение» исходит от Маркса. Маркс—секретарь для Германии, а не для Швейцарии; между тем, нет сомнения, что секретарь для Швейцарии должен был составить документ, предназначенный прежде всего для Швейцарии. Во всяком случае, никто не имеет права подсовывать Марксу заговорщические тенденции, так как он был всегда противником заговоров и часто самым резким образом заявлял это».

«Оттоворки» Либкнехта нисколько не помогли ему. Прокурор Гофман заявил:

«В то время, как раньше коммунисты действовали тайным образом, Интернационал изменил программу в том смысле, что проповедовал публичность. Но этой открыто выражаемой тенденции к публичности противоречит факт, указанный самим генеральным советом в «Конфиденциальном сообщении»: его деятельность подпольная — он держит в своих руках рычаг революции: — генеральный совет выступит в решающей роли в случае возможных революций».

Но «на далеком юге», в Швейцарии, сидел гораздо более опасный обвинитель, столь же молодой, сентиментальный и беспощадный, как Сен-Жюст: то был Гильом.

В своем «Мемуаре» он писал:

«Председатель суда присяжных говорит, что в «Конфиденциальном сообщении генерального совета сказано о «серьезной подпольной деятельности» генерального совета, и спрашивает Либкнехта, что следует понимать под этим выражением.—Что же ответил Либкнехт?»

Далее у Гильома следует «уничтожающий» анализ всех отговорок Либкнехта. Они разбиваются, рассеиваются, уничтожаются, слово за словом. Гильом доказывает, как дважды два—четыре, что председатель и прокурор имели полное право говорить о серьезной подпольной деятельности генерального совета. Да, Маркс был конспиратор, занимавшийся «подпольной деятельностью». Но председатель и прокурор неправильно поняли эти слова. В этом таинственном «Конфиденциальном сообщении» идет речь не о «подпольной деятельности» против буржуазного общества, — ведь, «мы, анархисты, также смертельные враги этого общества, и гораздо более радикальные», — а о «подпольной деятельности» марксовой клики, направленной против всего Интернационала.

«Тайная, безличная и диктаторская организация, руководимая исключительно своекорыстными интересами, извращающая моральное чувство тех, кто служит ей в качестве орудия, беспощадно сокрушающая все, что стоит на ее пути; такая организация способна на все, и все бесчестные действия, которые возмущали бы нас, если бы их совершал человек, взгляды и дела которого свободны, не удивляют нас со стороны этой иезуитской организации».

«Первое вещественное и неопровержимое доказательство подпольной деятельности марксовой котерии» этой новой Сен-Жюст—последний так же быстро открыл за спиною Дантона лондонского Питта — нашел в двух словах председателя лейпцигского суда [1]).

Это не мистификация, и мы не в доме сумасшедших. Но если это безумие, то в нем есть своя система.

Подобно Гильому, Неттлау также не имел ни малейшего представления о содержании «Конфиденциального сообщения». Правда, в свет вышло отдельное издание «Процесса по обвинению в государственной измене», но Либкнехт и Бебель были так вероломны, что все еще скрывали упомянутое сообщение...

«Нам не удалось нигде достать копию «Конфиденциального сообщения»,—пишет Неттлау,—а судебная копия была бы слишком дорога».

В виду этого, Неттлау не оставалось ничего другого, как строить «гипотезу». Опираясь на «какие-то» источники, он «установил», что весь собранный Утиным для Маркса материал о Бакунине и Нечаеве «содержался в так называемом «Конфиденциальном сообщении», оставшемся до сих пор неизвестным».

К счастью, существует еще правда на земле. Маркс был разоблачен одним из его же окостеневших учеников. 7 января 1899 г. Неттлау выразил горячее пожелание, чтобы какой-нибудь «случай раскрыл» «глубокую тайну» «Конфиденциального сообщения», и через три года, 12 июля 1902 года, эта «глубокая тайна» была раскрыта Каутским, который извлек «Конфиденциальное сообщение» на свет божий.

И что же оказалось?—Оказалось, что таинственное «Конфиденциальное сообщение» есть не что иное, как циркуляр от 16 января: «Communication privée», — по-немецки «Konfidentielle

---

[1]) «Mémoire de la Fédération Jurassienne», Sonvillier, 1873, pp. 82, 83, 241—244.

Mitteilung», — который Неттлау собственною рукою поместил в своем монументальном труде в тот же день 7 января 1899 г., когда выражал страстное желание, чтобы тайна была раскрыта: это «страстное желание» выражено на странице 379, а «Communication privée» напечатана на страницах 375—377!

И где же нашел Неттлау этот таинственный документ?—В бумагах интимного друга Бакунина, русского Жуковского, который вместе с Гильомом, был делегирован бакунистами на гаагский конгресс.

Что же сказал после этого Гильом? Узнал ли он в «Конфиденциальном сообщении», напечатанном в «Neue Zeit», тот самый циркуляр, который он читал у Неттлау в 1900 г. и которого он до того времени будто бы не видел?

Конечно, да. Достаточно почитать следующий рассказ. Нельзя представить себе более уничтожающую критику этого «образца спокойного и делового изложения», как называет Неттлау «Мемуар» Гильома. Этот рассказ, как самокритика, заслуживал бы величайшей похвалы, если бы автор его не настаивал на всех своих выводах, хотя он мог убедиться в том, что его факты ни на чем не основаны[1]):

«На лейпцигском процессе (заседание 16 марта 1872 г.) председатель суда говорил о «Конфиденциальном сообщении» генерального совета, датированном 28 марта 1870 г. и редактированном частью на немецком, частью на французском языке. Во французской части (представлявшей не что иное, как «Конфиденциальное сообщение» от 1 января 1870 г.), по словам председателя, шла речь о «серьезной подпольной работе» генерального совета. В то время весь контекст был мне неизвестен, и я полагал, что это выхваченное из текста выражение о «подпольной работе» относится к тайной и диктаторской организации, посредством которой котерия Маркса пыталась руководить Интернационалом; в таком смысле я комментировал это выражение в своем Мемуаре» [2]).

Читатель видит, что я его не мистифицировал. Если мог ошибаться такой гигант, как Маркс, почему не ошибиться и Гильому?

---

[1]) Во избежание недоразумений, заметим следующее: смешно было бы видеть в «Мемуаре» значительный исторический вклад в историю Интернационала, но нет сомнения, что это один из важнейших документов этой истории. Подобно всякому другому документу, он должен быть использован и подвергнут критическому рассмотрению.

[2]) Guillaume, «L'Internationale». Tome premier, p.p. 265—266.

Но дело в том, что этот «образец спокойного и делового изложения» составляет еще по сей день тот источник, из которого все немарксисты и даже все марксисты, не страдающие манерами «марксовых попов», черпают, прямо или косвенно, свои сведения по истории Интернационала.

XII.

Но как же происходила вся эта история в действительности? Носило ли «Конфиденциальное сообщение», действительно, столь «конфиденциальный» характер, как хотят нас уверить Гильом и Нетлау?

Дело гораздо проще. «Вскоре» после базельского конгресса газета «Egalité», руководимая в то время бакунистами, открыла поход против генерального совета. Это произошло, как думали, под влиянием Бакунина. Так думали в Женеве, так же думали и в Лондоне. Даже Гильом вынужден сказать, что генеральный совет имел основание так думать, и теперь находит весьма резкие слова для редакции, испортившей дело несвоевременным усердием.

От генерального совета требовали, между прочим, чтобы он оффициально и публично высказался о деле Либкнехта — Швейцера; порицали генеральный совет за превышение им полномочий в резолюциях об арестованных фенiях, так как он не должен был заниматься политическими вопросами местного характера; требовали, чтобы он отказался от непосредственного контроля над Англией и учредил, рядом с собою, особый центральный комитет для Англии.

«Egalité» была органом романской федерации. Если генеральный совет мог игнорировать нападки газеты «Progrès» в Локле, — выходивший «под редакцией фанатического приверженца Бакунина — Гильома», — то он не мог сделать того же по отношению к центральному органу швейцарских членов Интернационала, говорившихся на французском языке.

Все эти вопросы подверглись обсуждению уже в заседании генерального совета 14 декабря [1]). Решено было ответить на вопросы в ряде резолюций, которые — как то имело место почти всегда — составлялись подкомиссией из всех секретарей для отдельных стран или, если угодно, Марксом. Так как генеральный совет—или, если угодно, Маркс—держался того мнения, что ответы на эти вопросы не подлежат опубликованию, а должны быть со-

---

[1]) Согласно неопубликованным протоколам генерального совета.

общены лишь секциям Интернационала, то решено было — это был первый случай — послать ответ «генерального совета федеральному совету романской Швейцарии в Женеве» в форме «communication privée» (по-немецки «konfidentielle Mitteilung»), т. е. как сообщение, которое, подобно всем сообщениям генерального совета, предназначается для всех секций Интернационала, но не подлежит опубликованию.

Юнг послал указанное сообщение Швейцарским комитетам, Дюпон — секретарь для Франции — французским, Маркс же, в качестве секретаря для Германии, «отправил» «Конфиденциальное сообщение» брауншвейгскому комитету. Но он находился в гораздо более затруднительном положении, чем его коллеги, секретари для Швейцарии, Бельгии и Франции. Как открыто заявил Либкнехт на процессе по обвинению в государственной измене, эйзенахцы принадлежали к Интернационалу «идейно и фактически, но неоффициально и формально». До тех пор они могли узнавать все постановления генерального совета из газет. Но теперь дело обстояло иначе. Впервые генеральный совет, как таковой, был вынужден послать сообщение, непредназначенное для печати. Маркс избрал, поэтому, следующий путь: он допустил «фальсификацию», превратив сообщение генерального совета в частное сообщение, писал в нем о себе в третьем лице, «утаил» все оффициальные формулы, как, например, фразу: «Подлежит сообщению только всем комитетам Международного Товарищества Рабочих», а также не подписался под ним в качестве секретаря для Германии. Документу он предпослал некоторые об'яснения, как то делали все секретари, и добавил в конце кое-какие новые факты, которые стали ему известны недавно.

Маркс, считавший себя очень ловким заговорщиком, полагал, что даже прусская полиция не сможет теперь сделать из «Конфиденциального сообщения» улику против эйзенахцев.

Хотя Маркс не принимал в своих расчетах во внимание франко-прусской войны и Фогеля фон-Фалькенштейна, тем не менее, мог убедиться, что он и Кугельман, который был адресатом, действовали очень благоразумно. Сделанная Кугельманом копия не носила ни малейших следов происхождения от генерального совета. И, когда она была забрана полицией у Шпира (9 сентября 1870 г.), она не оказала никакого влияния на процесс брауншвейгского комитета, происходивший в ноябре 1871 г. [1]).

Достаточно прочесть следующие строки из отчета о процессе:

---

[1]) W. Bracke,—«Der Braunschweiger Ausschuss der sozialdemokratischen Partei in Lötzen und vor dem Gericht».—Braunschweig, 1872, SS. 155—156.

«Далее пред'является найденная у Шпира копия «Конфиденциального сообщения о русском Бакунине», датированного: Лондон, 28 марта 1870 г.

«Прокурор замечает по этому поводу, что сообщение о Бакунине исходит, повидимому, от Шпира. Шпир говорит, что получил это сообщение для прочтения через Браке и больше ничего о нем не знает. На предположение прокурора, что сообщение исходит от «Egalité», Шпир возражает, что, ведь, «Egalité» есть орган Бакунина».

«Конфиденциальное сообщение» было «сфальсифицировано» так умело, что прокурор даже не заподозрил его происхождения от генерального совета.

Незадолго до падения второй империи во Франции, именно—в Лионе и Париже, были предприняты массовые аресты, направленные против Интернационала. Среди забранных полицией бумаг находились также несколько экземпляров «Communication privée», т. е. «Конфиденциального сообщения», из которых видно было, что генеральный совет рассылал также частные конфиденциальные циркуляры. Кто мог бы поручиться, что этот циркуляр первый или единственный? Одновременно были найдены многочисленные документы бакунинского «альянса». Французские прокуроры валили все это в одну кучу. Правда, генеральный совет протестовал в публичном заявлении против попытки изображать Интернационал обществом заговорщиков. Но это нисколько не помогло.

Пользуясь всеми забранными полицией бумагами, Тестю написал свое известное клеветническое сочинение об Интернационале. Напечатанное уже в мае 1870 г., оно предназначалось для прокуроров и полицейских комиссаров и оказало также «ценные услуги» во время третьего процесса Интернационала в Париже. Но лишь в 1871 г. это полицейское произведение приобрело европейскую известность.

Я предполагаю, что здесь кроется об'яснение того загадочного факта, что прокурор Гофман догадался о происхождении «Конфиденциального сообщения» от генерального совета. Достаточно только обратить внимание на его радость, когда он в выдержках из «частного сообщения» генерального совета опознал то самое «Конфиденциальное сообщение», мимо которого беззаботно прошел легковерный прокурор Кох. А у Тестю он нашел все то, что ему нужно было: рычаг пролетарской революции, серьезную подпольную деятельность и прочие революционные жупелы. Достаточно сравнить «выдержки из «Конфиденциального сообщения, адресованного

генеральным советом Интернационала в Лондоне федеральному совету романской Швейцарии» (резолюции, принятые в заседании генерального совета 1 января 1870 г.)»,—с выдержками, напечатанными уже в первом издании «Процесса по обвинению в государственной измене»,—последние представляют собою лишь перевод первых,—чтобы сразу узнать источник, из которого черпали свою премудрость как прокурор Гофман, так и Гильом, хотя они использовали эти сведения самым различным образом [1]).

Уже на третьем процессе Интернационала в Париже была доказана правильность предположения Либкнехта, что слово «подпольная» исходит не от Маркса, что перевод «Конфиденциального сообщения» сделан французом,—ведь, с января по март 1870 г. Маркс был опасно и почти смертельно болен [2]); на указанном процессе обнаружилось из письма секретаря для Франции, что переводчиком был Дюпон. А из текста сообщения можно было легко увидеть, как мало страшного содержал он в себе, несмотря на слово «подпольная», произведшее такое большое впечатление на все полицейские умы, а также на Гильома. Именно поэтому Каутский, который к тому времени совершенно, повидимому, забыл, что «Конфиденциальное сообщение» играло такую важную роль в процессе по обвинению в государственной измене [3]), перевел соответствующее место следующим образом:

Каутский.	**Оффициальный перевод.**
— Если бы мы предпочитали на место серьезной и незаметной работы поставить шумную рекламу, мы, может быть, допустили бы ошибку и дали публичный ответ на вопрос «Egalité» о том, почему «генеральный совет допускает столь обременительное совмещение функций?»	— Если бы генеральный совет имел желание на место серьезной и подпольной деятельности поставить шумиху рекламы, он, быть может, допустил бы ошибку и дал бы публичный ответ на вопрос «Egalité», почему генеральный совет терпит такое совмещение своих функций.

---

[1]) Testut,—«L'Internationale», 1-ое издание, стр. 260—262, или 3-е издание, также 1871 г., стр. 237—238, и «Hochverzatsprozess», Leipzig, 1872, стр. 226—228. Гильом доставляет себе теперь удовольствие, переводя «Konfidentielle Mitteilung» словами «Communication confidentielle», с целью провести хоть некоторое различие от «Communication privée». Было бы жестоко с нашей стороны лишить его этого невинного развлечения.

[2]) За время с 4 января по 15 марта 1870 г. он из-за болезни отсутствовал на заседаниях. Этим об'ясняется также, почему он с таким опозданием выполнил свои обязанности секретаря для Германии.

[3]) «Это верно. Я читал брошюру о процессе по обвинению в государственной измене в 1875 г. и с тех пор пользовался ею лишь для справок».—Примечание Каутского, сделанное им к моей статье в «Neue Zeit».

Теперь надо представить себе тогдашнее политическое положение: Парижскую Коммуну с ее «позорными деяниями», травлю против Интернационала, который постоянно смешивали—не всегда, быть может, умышленно—с «альянсом», инсценированный русским правительством осенью 1871 г. так называемый нечаевский процесс, которому был придан нарочито-публичный характер. Припомнив все это, легко понять, почему германская полиция и юстиция думали,—как выразился следственный судья при допросе Гепнера,—что эйзенахская программа есть лишь м н и м а я п р о г р а м м а, а партийная организация—лишь м н и м а я о р г а н и з а ц и я. Ведь, Тесту неопровержимо доказал, что за спиною оффициальной организации Интернационала скрывается т а й н а я, п о д п о л ь н а я. Правда, он ставил в вину генеральному совету все послания «альянса», но, ведь, он нашел также «Конфиденциальное сообщение» г е н е р а л ь н о г о с о в е т а,—и это особенно «важное» доказательство они имели теперь в своих руках, как Гильом имел в своих руках это «первое вещественное и неопровержимое доказательство» существования п о д п о л ь н о й марксистской организации.

Итак, Либкнехту и Бебелю приходилось отдуваться, между прочим, и за дела бакунинского «альянса».

Никто не станет оспаривать того, что Маркс имел такое же право писать «конфиденциально» о Бакунине, как и Бакунин о нем. Против этого может спорить разве только «товарищ» Брупбахер, установивший с «точностью», что Бакунин никогда не писал ни одного оскорбительного слова о Марксе без того, чтобы не послать ему заранее копию в Лондон.

Но здесь появляется Гильом и, со свойственною только ему «фатальною основательностью», исправляет мои неправильные указания. Он торжественно указывает мне на слова:—«International Working Mens Association. Central Council. London»,—помещенные в «Neue Zeit» в начале «Конфиденциального сообщения»: разве это не доказывает, что Маркс посылал свои сообщения о Бакунине под фирмою генерального совета?

Да, здесь, действительно, было злоупотребление... почтовыми бланками генерального совета. Это злоупотребление—а, быть может, и другие—допускали все секретари генерального совета: Кремер, Эккариус, Юнг, Дюпон, Лафарг, Маркс и даже «богатый фабрикант» Энгельс!—Как мало значения придавали этому даже суды, видно из того, что они никогда не пытались доказывать более близкое отношение некоторых документов к генеральному совету

на том основании, что они написаны на бумаге с его печатью. Такой глупости не обнаруживали даже прокуроры!

Что касается специально интересующего нас сейчас случая, то Кугельман отлично знал, что письмо Маркса к нему отнюдь еще не было письмом генерального совета; поэтому, сделав копию для Браке, он «утаил» эту излишнюю надпись.

К сожалению, Каутский этого не заметил.

Некоторые другие письма к Кугельману также писаны на бланках генерального совета. Например, письмо от 12 декабря 1868 г., на котором Каутский «утаил» надпись.

Но, что письма Маркса отнюдь не становились письмами генерального совета благодаря тому, что он употребил бумагу с «оффициальным» штемпелем,—видно из письма госпожи Маркс к Беккеру, также написанного на оффициальном бланке.

Теперь мы намерены, для разнообразия, показать читателю нижеследующее «Конфиденциальное сообщение»—однако, не Маркса о Бакунине, а—Бакунина о Марксе. До сих пор оно оставалось «неизвестным», даже Марксу и тем лицам, которых оно касалось; но мы не совершим никакого акта предательства, если сообщим его теперь широкой публике.

«Но вообще следует сказать, в интимном кругу Маркса можно заметить страшно мало братского чистосердечия. Напротив, там широко распространены скрытность и дипломатическое лукавство; между различными эгоизмами существует нечто вроде тайной борьбы и немого компромисса. А где вмешивается тщеславие, там для братства не остается уже никакого места. Всякий настороже, ибо, в противном случае, он опасается быть принесенным в жертву и подавленным.

«Весь круг Маркса состоит из взаимного согласования образующих его различных тщеславий. Марксу, как верховному вождю, приходится раздавать почетные должности, но одновременно он ведет травлю — всегда низким и тайным образом, никогда открыто и честно—против всех тех, которые имели несчастье проявить к нему меньше почтительности, чем он привык встречать со стороны других.

«Если он только начал против кого-нибудь травлю, она уже ни перед чем не остановится, даже перед низостью и подлостью. Сам еврей, он собирает вокруг себя в Лондоне и во Франции, особенно в Германии, кучу маленьких еврейчиков, более или менее интеллигентных, проворных, интригующих и спекулирующих, какими евреи являются повсюду,—торговых и банковских служащих, беллетристов, политиков, газетных репортеров всех направлений и

всех цветов, словом, как литературных, так и биржевых маклеров. Одною ногою они стоят в банке, другою в социалистическом движении, а задом сидят в немецкой периодической прессе. Все газеты в их руках, и легко представить себе, как тошнит от литературы, возникающей таким образом.

«Итак, весь этот еврейский мир,—эта эксплоататорская секта, этот парод-кровопийца, эти жадные, тощие паразиты, сплоченная и крепкая организация которых преодолевает не только все государственные границы, но даже все противоположности политических верований,—этот еврейский мир в большей своей части находится в настоящее время, с одной стороны, в руках Маркса, а с другой стороны—в руках Ротшильда. Я глубоко убежден, что Ротшильд высоко ценит заслуги Маркса, а Маркс, с другой стороны, питает инстинктивное влечение и глубокое уважение к Ротшильду.

«Это может показаться странным. Что общего между коммунизмом и высшим финансовым миром?—А вот что. Коммунизм Маркса стремится к мощной централизации государства, а всюду, где идет речь о централизации государства, в настоящее время необходимо должен существовать центральный государственный банк, а, где существует подобный банк, там всегда найдет себе средства существования и паразитический еврейский народ, спекулирующий на народном труде.

«Но, как бы то ни было, факт тот, что бо́льшая часть этого еврейства в руках Маркса, особенно в Германии. Достаточно ему только начать против кого-нибудь травлю, как немедленно против последнего поднимется целая буря оскорблений, самых низких подозрений, смехотворства и подлых клевет—во всех социалистических и несоциалистических, республиканских и монархических газетах».

Читатель видит теперь, кому действительно принадлежит честь открытия подпольной деятельности Маркса. Незадолго до описанных событий молодой и талантливый ученый Брентано разрушил все здание «Капитала», представив «первое вещественное и неопровержимое доказательство» того, что вся ученость Маркса—лишь пыль, которую он пускает в глаза. Подобно этому, молодой и талантливый ученик Бакунина Гильом—представил «первое вещественное и неопровержимое доказательство» того, что Интернацио-

нал Маркса служил только ширмою, за которою скрывалась безбожная банда бессовестных и морально неразборчивых иезуитов. И оба они разглашали свое открытие на весь мир, и оба с одинаковым успехом!

Теперь послушаем «товарища» Брупбахера:

«В отзывах Маркса о Бакунине и бакунистах мы найдем всякого рода ругательные выражения и инсинуации, но не встретим никаких аргументов по существу насчет федерализма. Маркс слишком презирал не только ненавистного ему Бакунина, но и публику вообще, чтобы—метать бисер перед свиньями».

И к такой-то грязи, от которой,—по выражению Неттлау,—«тошнит», доверчиво отнесся блестящий историк германской социал-демократии, редактор литературного наследства Маркса и Энгельса! Одно, правда, верно: «товарищ» Брупбахер — «рядовой фанатик» и питает к «Марксистским формулам» не большее почтение, чем известный персонаж крыловской басни, подрывающий корни того дуба, жолудями которого сам же питается!

ИСТОРИЯ БЕЗ КАВЫЧЕК

(ОТВЕТ МЕРИНГУ)

I.

Меринг заявляет, что он не читал моих статей. Во всяком случае, он не делает ни малейшей попытки ослабить или опровергнуть мои доводы. Он удовлетворился тем, что выругал меня «от'явленным спорщиком», автором многочисленных «самых рискованных искажений и извращений» и заподозрил мои мотивы.

Его ругательства, которых он не пытается обосновать ни единым словом и которые лишь свидетельствуют о бессильной ярости, так же мало трогают меня, как похвалы, которыми он еще раньше удостоил меня в своем фельетоне и удостаивает теперь, одновременно со своими ругательствами, в другом журнале. И если он приписывает мне мотивы, исходящие «не из существа дела», то я укажу ему «Вademекум для господина пастора Ланге» Лессинга, где он найдет классический ответ на подобные полемические приемы.

Если Меринг полагает, что только реабилитацию Швейцера, но не реабилитацию Маркса, Энгельса, Либкнехта и Бебеля, можно об'яснять не личными мотивами, то я не понимаю, какими мотивами по существу дела можно было бы оправдать такое различие.

Но всем этим Меринг так же мало может устранить свои исторические несообразности, как блаженной памяти пастор Ланге не мог устранить свои филологические промахи. Чтобы заставить забыть их, он хватается за испытанное полемическое оружие, которым охотно пользуется буржуазная журналистика в надежде на то, что память читателя коротка, еще короче, чем искрящиеся статьи восхищающих его блестящих стилистов.

В одном из своих «Стихотворений в прозе» Тургенев дал классическую формулировку этого полемического правила.

«Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику,—говорил мне один старый пройдоха,—то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете.—Негодуйте... и упрекайте!

«Во-первых—это заставит других думать, что у вас этого порока нет.

«Во-вторых—негодование ваше может даже быть искренним. Вы можете воспользоваться укорами собственной совести.

«Если вы, например, ренегат—упрекайте противника в том, что у него нет убеждений.

«Если вы сами лакей в душе—говорите ему с укоризной, что он лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма!

«— Можно даже сказать: лакей безлакейства!—заметил я.

«— И это можно,—подхватил пройдоха».

По этому рецепту действует Меринг, когда бросает мне упрек, что вся моя работа по исследованию отношений между Бакуниным и нашими учителями представляет собою лишь «литературную грызню».

Но при этом он действует, как неопытный новичок в этом деле. Какой-нибудь Эдмунд Борк, Анри Рошфор или Максимилиан Гарден—мы берем трех блестящих стилистов, умело владеющих искусством излагать в очень коротеньких статьях результаты трудолюбивых исследований других авторов—никогда не дали бы своим статьям, например, таких заглавий:

—, «Новое ренегатство»—Э. Борка, или:

— «Новая метаморфоза»—А. Рошфора», или:

— «Новое сальтомортале»—М. Гардена.

Меринг же, спотыкающийся теперь на каждом шагу в костюме, ставшем для него совершенно чужим, смело пишет: «Новая литературная грызня.—Франца Меринга». Он не подозревает, что всякий, даже благосклонный к нему, читатель с трудом удержит улыбку при чтении такого заглавия. Ведь, это заглавие исходит от того самого Меринга, которого ежеминутно упрекают, что он затевает новую литературную грызню, того самого Меринга, который только что оригинальнейшим образом свел всю трагедию гаагского конгресса к весьма важному для всякого литератора вопросу о том, отработал ли Бакунин свой аванс.

Мне было бы очень легко воспользоваться его же оружием и стать в позу практика, к которому неожиданно апеллирует теперь оробевший Меринг,—практика, который поневоле занимается писанием истории, так как не может творить историю и не хочет впутываться в «истории». Но я охотно предоставляю это Мерингу, а постараюсь лучше об'яснить ему, почему вопрос о Бакунине, как и вопрос о Швейцере,—не литературная грызня, а «партийный»—да, вдобавок, еще не только немецкий (как вопрос о Швейцере), но и интернациональный,—«вопрос», ставший в последнее время опять одним из самых жгучих для рабочего движения всех стран, кроме Германии.

II.

Оффициальной кончине старого Интернационала предшествовала страстная борьба двух направлений, которые связываются обыкновенно с именами Маркса и Бакунина. История, казалось, давно уже ответила на вопрос, кто из них вышел победителем из этой борьбы. Огромное большинство международного пролетариата высказалось в пользу Маркса.

Анархистам не оставалось ничего другого, как обвинять победителей в недобросовестности и доказывать, что Бакунин и его друзья потерпели поражение только потому, что Маркс был дьяволом в образе человека, Бакунин же—ангелом во плоти. Если бы Маркс и Энгельс — необходимо раз навсегда подчеркнуть, что в этом вопросе их нельзя отделять друг от друга—были немного более «приличными» и «честными», если бы они несколько обуздывали свои диктаторские стремления, если бы они никогда не прибегали к подлым или,—как выражается Меринг,—«некрасивым» средствам, в старом Интернационале дело, наверное, никогда не дошло бы до раскола.

Наиболее типичным и основательным представителем такого взгляда был до недавнего времени Неттлау, автор монументальной биографии Бакунина в трех больших томах. Нет ни одного, хотя бы самого бессмысленного обвинения — против Маркса, Энгельса, Либкнехта, Бебеля, Лафарга,—которого он тщательно не занес бы на страницы свой книги. Зато Бакунина он превращает в идеального героя, в светлый образ Зигфрида, который терпит поражение в борьбе потому, что ему противостоят коварные темные силы в лице вероломного Гагена. Сочинение появилось вскоре после окончательного поражения анархистов в новом Интернационале на лондонском международном конгрессе 1896 г. Этому предшествовали менее решительные поражения их на парижском (1889 г.), брюссельском (1891 г.) и цюрихском (1893 г.) конгрессах. В труде Неттлау анархисты усмотрели убедительное доказательство того, что банкротство бакунизма вызвано не столько об'ективными причинами, сколько интригами марксистской «клики». Недаром в борьбе, которая велась против них в девяностых годах, вождями были те же Энгельс, Лафарг, Либкнехт, Бебель, которые еще в шестидесятых и семидесятых годах не гнушались никакими подлыми средствами в борьбе против Бакунина.

В последнее десятилетие неожиданный расцвет синдикализма во Франции и Италии вновь оживил анархистскую историю. В лице «Confédération générale du travail» чествовали восста-

новление старого бакунинского Интернационала. Культ Бакунина усилился еще больше прежнего. Бакунина и его сотрудников начали считать отцами революционного синдикализма, издавали и еще издают все его сочинения, чествуют его, как величайшего агитатора и величайшего мыслителя. Теперь против Маркса выступали и выступают уже не только анархисты, но все молодые «теоретики» революционного синдикализма, которые, пользуясь своеобразным положением французской, итальянской и швейцарской социал-демократии, выступают также в качестве членов социал-демократических партий и доказывают, что поражение бакунизма надо приписать клеветам и фальсификациям Маркса.

Вождем нового направления является не наивный и далекий от жизни Неттлау, а старый член Интернационала, ревностный ученик Бакунина и исключенный вместе с ним на гаагском конгрессе из Интернационала—Джемс Гильом. По смерти Интернационала, в течение 25 лет, в стороне от политической жизни, он занимался историческими работами, давшими ему очень почтенное имя и в буржуазной науке. Старый педагог и филолог, он издал в шести больших томах все документы, развертывающие перед нами картину разнообразной деятельности великой французской революции во всех областях просвещения.

Уже в начале семидесятых годов Гильом обнаружил большее понимание профессионального движения, чем Бакунин; понятно поэтому, что в лице нового синдикализма он приветствовал возрождение покойной юрской федерации. С энергией, которую можно еще найти только у революционеров старой школы, он вновь бросается в борьбу и становится одним из самых усердных и влиятельных сотрудников синдикалистской прессы. Приятно читать, как он атакует всех своих старых врагов и расправляется с ними. Своих старых врагов—и тех, в ком он видит их новых друзей. То он обрушивается на покойного Лафарга, то—и немедленно вслед за этим—стирает с лица земли не подозревающего о том Меринга.

Можно представить себе, какая радость охватила всех анархистов и синдикалистов, когда они узнали, что Гильом, почтенный историк французской революции, собирается написать большую историю Интернационала. Со всех сторон посыпались к нему журналы, документы, письма. Неттлау предоставил в его распоряжение огромный материал, собранный им в течение почти двадцати лет. Таким образом, смелому публицисту старой юрской федерации, уже написавшему, однажды, ее историю, удалось издать в течение 6-ти лет 4-томный труд об Интернационале (Париж, 1904—1910 г.г.).

Здесь не место для критики этого труда. Мы сделали это в другом месте [1]) и еще вернемся к нему. Факт тот, что не только невежественные люди, вроде «товарища» Брупбахера, но и такие основательные историки, как Жорж Бурген, считают этот труд руководящим по истории Интернационала. Он задает тон во всей буржуазной науке, поскольку она занимается историей рабочего движения. Длинный ряд маленьких и больших сочинений, опирающихся в первом и последнем счете на книгу Гильома, растет с каждым днем, ибо, по мере распространения синдикализма, усиливается интерес к истории Интернационала, особенно в романских странах.

Правда, теоретический уровень этой литературы не повысился. Уже господствующая в ней историческая точка зрения делает невозможным строго научное исследование вопроса. На первый план выдвигается, по-прежнему, борьба между Марксом и Бакуниным. Авторы стараются подчеркнуть,—особенно в последнее время,—что они, собственно, ничего не имеют против экономического учения Маркса. Но тем сильнее нападают они на него, как на «политика», «тактика», представителя особой формы организации рабочего движения, как на человека. Ведь, молодежь легче всего привлечь к себе, если доказать ей с «документами в руках», что Маркс и его друзья, во всей своей политической деятельности, были только низкими клеветниками и отъявленными фальсификаторами, которые боролись всегда «некрасивыми» средствами. Молодежь всегда останется молодежью и нелегко примирится с премудростью Меринга, который является верным и убежденным марксистом даже после того, как убедился в моральной испорченности Маркса и Энгельса.

«Конечно,—говорит Меринг в своей «Литературной грызне»,—если бы вопрос о Бакунине был только вопросом приличия и честности, то тем хуже было бы для марксистов, что они не в состоянии дать правильный ответ на этот вопрос».

И Меринг доказывает свою способность правильно ответить на этот вопрос тем, что он во всем верит на-слово какому-нибудь Брупбахеру и самым некритическим образом повторяет все обвинения против Маркса, Энгельса, Либкнехта и Бебеля.

Однако, в защиту Меринга можно привести два смягчающих вину обстоятельства. Во-первых, поверхностное знакомство с вопросом и полное незнакомство с соответствующею литературою, поскольку ее не имеется на немецком языке. Во-вторых, угрызе-

---

[1]) В серии статей «Ein exakter Historiker der Internationale».—«Fränkische Tagespost», сентябрь и октябрь 1913 г.

ния совести за то, что он был единственным представителем марксистской литературы, который даже по истечении тридцати лет после борьбы в Интернационале хуже отзывался о Бакунине, чем прямые противники последнего—в самый разгар горячей борьбы. В этом отношении Иекк—лишь верный ученик Меринга, написавший свою книгу при «ближайшем участии» учителя. Последний еще в настоящее время пишет:

«Часто утверждали, что Бакунин был агентом русского правительства, но доказано этого никогда не было; факты, которые на первый взгляд говорят в пользу такого предположения, очень хорошо об'ясняются панславистскими тенденциями Бакунина, из-за которых против него, уже в революционные годы, боролись его старые приятели Маркс и Энгельс... Но нельзя отрицать, что личное честолюбие и личная зависть к Марксу играли некоторую роль в попытках Бакунина приобрести господство над Интернационалом, расшатать для этой цели организацию последнего и отбросить европейское рабочее движение назад, к давно пройденной ступени его исторического развития» [1]).

III.

Так Меринг, опираясь всегда на «какие-то» источники, качается взад и вперед между «честолюбивым» и «завистливым» Бакуниным и столь же «честолюбивым» и «завистливым» Марксом, каким изображает его «товарищ» Брупбахер.

По сей день ему остался еще неизвестным настоящий пункт спора между Марксом и Бакуниным, хотя это в практическом отношении гораздо важнее чисто принципиального различия и об'ясняет, почему Маркс, отличавшийся в пределах Интернационала такою исключительною терпимостью ко всем инакомыслящим элементам, необходимо должен был вести борьбу против Бакунина самым решительным образом.

Об этом пункте спора Меринг мог бы лучше всего узнать у своего старого учителя Фридриха Энгельса, которого он теперь с таким легким сердцем выдает головою в «вопросе приличия и честности». Повод к статье Энгельса подал Эритье, имевший большие заслуги перед швейцарским рабочим движением. В ряде статей в «Berliner Volkstribune» он предпринял первую попытку реабилитировать Бакунина—за счет Маркса, хотя и в гораздо более при-

---

[1]) Меринг,—«История германской социал-демократии». Русский перевод М. Ландау, издание Граната, т. IV, 1907 г., стр. 55—56. Немецкое издание 1913 г., Stuttgart,—S. 52.

личной форме, чем то сделал «товарищ» Брупбахер. Энгельс ответил в несколько резкой форме—конечно, из «личных» мотивов—и закончил статью следующими словами:

«Довольно. Автор, точно невинный младенец,—или притворяясь таковым,—во всем верит на-слово бедной оклеветанной анархистской овечке. То, о чем эти господа считали нужным не говорить, ему совершенно неизвестно; поэтому ему неизвестно и то, что скрывалось за всем спором. За публичным, основанным Бакуниным «альянсом социал-демократии» скрывался тайный «альянс», имевший целью передать в руки анархистов господство над всем Интернационалом. Этот тайный «альянс» был очень распространен в Юре, в Италии и Испании. Доказательства этого генеральный совет получил прежде всего из Испании, а потом он получил из Женевы статуты и многочисленные другие документы этого невинного заговора против европейского рабочего движения. Эти именно документы были приняты во внимание гаагским конгрессом 1872 г., когда он исключил Бакунина и Гильома из Интернационала» [1]).

А Мерииг, точно «невинный марксистский младенец», повествует и теперь немецким товарищам, что на гаагском конгрессе Энгельс и Маркс пытались обесчестить Бакунина на том основании, что он остался должен своему издателю за аванс в 300 рублей. А кто же эта «бедная анархистская овечка», которой он верит на слово? «Подробности этой некрасивой истории можно прочесть у Брупбахера!»

Да, «вопрос о Бакунине—это только вопрос приличия и честности». Но разве приличие и честность, прежде всего — научная честность, не требуют, чтобы мы, марксисты, не повторяли, точно попугаи, всего того, что скажет нам первый прохожий о наших учителях, которых Мерииг уже чествовал в сотне статей?

Такова причина, заставившая меня выступить уже теперь против этой «приличной» и еще более «честной» манеры. До сих пор новейшее развитие анархо-синдикалистской истории было немецким читателям неизвестно. Теперь положение дел изменилось. «Товарищ» Брупбахер сделал попытку контрабандою, под флагом партийного издательства, провезти в Германию тот самый товар, который он уже много лет отпускает маленькими дозами в различных, чужих и собственных, анархистских и синдикалистских журналах. В «Neue Zeit»,—который является не местным немецким журналом, а единственным научным органом всего

[1]) «Berliner Volkstribüne», 19 November, 1892 г.

международного марксизма,—Меринг сделал попытку превратить «литератора, как нельзя более чуждого марксизму»,—в признанного представителя «марксизма»—конечно, не «окостеневшего», а размягченного до мозга костей,—которому предстоит выполнить важную марксистскую миссию!

Я не имел возможности подвергнуть анализу все цветочки этой «точной» истории. На нескольких страницах можно наплести такую массу лжи, которую трудно будет вскрыть даже в шести томах. За коротенькую, на 6-ти страницах, заметкою Меринга—о книге Брупбахера торчит, без малейшего ведома о том Меринга,—Гильом, со своими приблизительно двумя тысячами страниц, и Нетглау,—с таким же количеством страниц и еще бо́льшим количеством примечаний. С ними и прходилось считаться!

Если Меринг все еще полагает, что столь счастливо открытый им «товарищ» Брупбахер «в существенном доказал свои положения», то он обязан отложить в сторону свой страх перед кавычками и цитатами и доказать читателям «Neue Zeit», что все мои доказательства так же негодны, как негодны, с моей точки зрения, его утверждения, списанные им—по обыкновению, без кавычек—у Брупбахера. Но подайте сюда источники и соображения! Не ссылайтесь на «какие-то» соображения или источники, известные только вам, тов. Меринг! Дайте нам имена, даты, факты!

Свое возражение Меринг заканчивает анекдотом из истории Германии. Я хочу привести другой анекдот.

Благосостояние старых городов Балтийского побережья основывалось, между прочим, на их торговле «маленькими солеными морскими рыбками». Но селедка тоже поддается настроениям; раньше она бесконечными стаями проникала в Балтийское море, а в один прекрасный день она, неожиданно, по «каким-то причинам»—тогда говорили, что «по причинам, известным только ей»—повернула, не входя в Зунд. Своим тонко стилизованным хвостиком она помахала налево и направо и навсегда скрылась из виду. С тех пор роль Балтийского моря, как рыбного резервуара для Европы, сыграна, и весь блеск старого Висмара отошел в прошлое. Селедке удалось по сей день скрыть «причины, известные только ей», и историческая наука все еще беспомощна перед этою загадкою!

Мы надеемся, что Меринг окажется менее жестоким и не будет держать в секрете свои причины. Ведь пословица гласит: Quod licet bovi, non licet jovi. Или, в переводе: того, что подобает какому-нибудь жалкому компилятору, не подобает литературному душеприказчику Маркса и Энгельса,—не подобает Рингу!

К. МАРКС и Ф. ЭНГЕЛЬС
КАК ШОВИНИСТЫ
(НОВОЕ ОТКРЫТИЕ Ю. ГАРДЕНИНА)

I.

Интернационализм немецкой социал-демократии не выдержал испытания. Она оказалась в плену у национальной идеологии. Ее упрекают в измене Интернационалу, ее обвиняют в забвении принципов Маркса и Энгельса. В этом сходятся одинаково Плеханов и Вальян, которые, каждый на свой лад, доказывают, что немецкие социал-демократы забыли основные положения «Коммунистического Манифеста», забыли клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Правда, ни один из обвинителей не вспомнил, что, стремясь к победе Франции, Англии и России, он тем самым желает поражения Германии и Австрии, что русский или французский пролетариат может в этой войне выиграть только за счет немецкого или австрийского пролетариата; что ни одна часть Интернационала не имеет права считать себя избранной частью или всем Интернационалом; что интернационалист в этой войне,—если еще может итти речь о другом желании, кроме желания, чтобы эта международная резня как можно скорее прекратилась,—может желать победы только всему международному пролетариату против всего международного капитала.

Правда, каждый из обвинителей доказывал при этом, что для него «Коммунистический Манифест» оказался забытой книгой.

Но никто из всех нападавших на немецкую социал-демократию до сих пор не догадался искать корней ее «измены» в самом «Коммунистическом Манифесте», никому до сих пор не пришло в голову искать виноватого в авторе «Гражданской войны во Франции».

Наоборот, все противопоставляют поведение Маркса и Энгельса, Бебеля и Либкнехта—поведению их современных приверженцев.

И вот, против этого «установившегося мнения» выступает в «Мысли» Ю. Гарденин. Он «посмотрел в корень» и пришел к вы-

воду, что «разыгравшееся на наших глазах полное банкротство интернационализма немецких учеников не стоит изолировано, что оно своими корнями уходит во взгляды их «учителей» [1]).

Доказательство он нашел в недавно изданной переписке Маркса и Энгельса, особенно в той части ее, которая касается франко-прусской войны. Так как выставленные Ю. Гарденинным положения не только на первый взгляд являются «совершенно невероятными»—Ю. Гарденин сам опасается, что их могут об'явить «злостной клеветой на первооснователей научного социализма»,—то мы формулируем тезисы Ю. Гарденина его собственными словами:

«Первое, что нам приходится установить,—это тот факт, что в этой войне Маркс и Энгельс занимали позицию, которая менее всего может быть названа беспристрастной. А именно:

«1) вопреки истинному положению вещей, они упорно считали виновницей войны и нападающей стороной Францию, а не Германию:

«2) они совершенно определенно желали победы Германии;

«3) они охотно обосновывали теоретически желательность этой победы «под углом зрения пролетариата»;

«4) менее всего брали они в дальнейшем столкновении сторону Французской республики, которую они совершенно не хотели брать всерьез и третировали en canaille;

«5) оппозиция их отторжению Эльзас-Лотарингии была в бо́льшей степени платонической и спокойной, а отнюдь не «ожесточенной»;

«и, наконец, 6) к самым проектам провозглашения Парижской Коммуны и т. п. революционным методам выступлений они относились в высшей степени отрицательно,—пока они не воплотились в жизни и не вписали в историю одну из самых блестящих страниц классовой борьбы пролетариата».

И почему все эти преступления Маркса и Энгельса до сих пор оставались неизвестными? Да просто потому, что «в своих опубликованных сочинениях Маркс и Энгельс не высказывались так же откровенно, как в таившейся под спудом частной переписке». Хуже того. «Они находили нужным прямо скрывать некоторые из своих мнений». К счастью, Бебель и Бернштейн, в своей простоте, не заметили, что они выдают своих «учителей» головою, и теперь Ю. Гарденин может их всенародно уличить, не рискуя оказаться «злостным клеветником», как многие из его предшественников в деле посрамления Маркса и Энгельса.

---

[1]) Гарденин, Ю.—«Неожиданное откровение»—«Мысль», № 13.

II.

Прежде, чем мы перейдем к изложению действительных взглядов Маркса и Энгельса на франко-прусскую войну и их отношения к Коммуне, мы должны посвятить несколько слов приемам Ю. Гарденина.

Его метод давно известен. Выдернуть несколько цитат из контекста, не обращая ни малейшего внимания на «обстоятельства времени и места», в которых данное мнение было высказано, не останавливаясь перед искажением или «исправлением» текста,—и начать жонглировать этими цитатами перед глазами читателя с такой быстротой, что даже друг-читатель, ослепленный этим калейдоскопом, в конце концов скажет:—не все же тут ловкость рук и обман!

Можно себе представить, какое раздолье открывается для такого цитатокопателя, когда он попадает на частную переписку двух близких друзей, сообщающих друг другу все свои заветные мысли, привыкших делиться друг с другом всеми соображениями и идеями, приходившими в голову под первым впечатлением свалившихся неожиданно событий. С каким торжеством выуживает этот, с позволения сказать, исследователь в частной переписке великого мыслителя идеи, на которых заметны еще свежие следы неотстоявшейся жизни, которые не были еще переработаны в горниле беспощадной самокритики.

При таких благоприятных условиях можно было бы ожидать, что, хоть на этот раз, Ю. Гарденин откажется от соблазна corriger la fortune. Но, как увидим дальше, привычка—вторая натура.

В статье «Интернационализм на ущербе» [1]) Ю. Гарденин так цитирует Энгельса:

«Хочу надеяться, что люды опамятуются, очнувшись от первого удара, ибо иначе будет чертовски трудно иметь с ними какое-нибудь интернациональное общение! Вся эта республика, как и ее безбоевое происхождение, доселе — чистейший фарс. Эти господа из временного правительства и парижские буржуа, повидимому, великолепно понимают и то, что «продолжение войны» есть не более, как фразистый оборот речи... Не очень вероятной кажется мне и партизанская война, которая вынудила бы прусские войска к массовым расстрелам, но которая кое-где под первым впечатлением революции, может проявиться».

---

[1]) «Мысль», № 50.

Эта цитата должна показать, что Маркс и Энгельс совершенно не хотели брать всерьез Французскую республику и третировали ее en canaille. Но как она скомпанована! За словами: «чистейший фарс»—(курсив принадлежит Ю. Гарденину)—следует еще несколько строк, которые мы восстанавливаем:

«Вся эта республика, как и ее мирное происхождение, до сих пор чистый фарс. Как я уже две недели назад, и еще раньше, ожидал,—орлеанисты хотят республики на время, которая заключила бы позорный мир так, чтобы эта тягота не пала на подлежащих позднее реставрации Орлеанов. Орлеанисты имеют в своих руках действительную власть: Трошю—военное командование, и Кератри—полицию, господа левые получили лишь посты, на которых можно заниматься только болтовней (Schwatzposten). Так как Орлеаны теперь единственно возможная династия, то они могут спокойно ждать до более удобного времени, пока они действительно не доберутся до власти».

Итак, республика, которую Энгельс третирует en canaille. временное правительство, которого он не хотел брать всерьез, была той самой республикой, против которой поднял знамя восстания Бланки, против которой после восстал и парижский пролетариат! А Ю. Гарденин, выдернувший цитату из письма, писанного 7 сентября, ловким движением рук скрыл от читателя те слова Энгельса, которые дают цитате совершенно другой смысл. Единственным оправданием для него может служить только полное незнание истории третьей Французской республики!

Но Ю. Гарденин не только французскую историю плохо знает. он, несмотря на усердное чтение протоколов немецких конгрессов, до сих пор плохо знаком и с немецким языком! Чтобы взвести на Маркса и Энгельса облыжное обвинение, что они считали войну 1870 г. в такой же степени своей, в какой немецкие социал-демократы считают текущую войну,—Гарденин опять цитирует или «поправляет».—«Конечно, есть одна» «досадная подробность», а именно:—«всегда нас будет несколько бламировать то обстоятельство, что мы ведем войну под знаменем Вильгельма».

В действительности же Энгельс пишет—и пишет 31 июля 1870 г., когда французы вели войну под знаменем Наполеона:—«Во всяком случае, нас все больше бламирует то обстоятельство, что мы ведем войну под знаменем Вильгельма. Хорошо, однако. что он себя делает страшно смешным со своей божественной миссией и своим Штибером [1]), без которого, как видно, и немецкое об'единение не будет готово».

---

[1]) Начальник тайной полиции.

И Ю. Гарденин прибавляет с торжеством:

«Маркс и Энгельс, «по-своему и сами того не желая», работали «pour le roi de Prusse», явились игрушками и служили видам—Бисмарка!»

Но Ю. Гарденин может еще лучше. У него одна и та же цитата две службы служит,—в разных переводах! Чтобы доказать, что Маркс и Энгельс старались примирить французских рабочих с отторжением Эльзас-Лотарингии, он цитирует письмо Энгельса, писанное 12 сентября 1870 г., уже после того, как Интернационал, а, следовательно, и Маркс и немецкие социал-демократы, самым решительным образом протестовали против предполагавшегося отторжения Эльзас-Лотарингии. Энгельс, который, как мы после увидим, более скептически, чем Маркс, смотрел на возможность успешной волонтерской войны во Франции, пишет: «Если рабочие победят теперь, — на службе делу национальной обороны, — то они вступят в наследство Бонапарта и теперешней буржуазной республики, будут безо всякой пользы побиты немецкой армией и отброшены опять на двадцать лет. При выжидании же сами они ничего не теряют. Возможное перераспределение границ и без того носит только преходящий характер».

Теперь пусть читатель сравнит, что делает с этой цитатой Ю. Гарденин сначала в статье «Интернационализм на ущербе», а затем в статье «Прямые и кривые пути» [1]).

Ю. Гарденин негодует на Маркса, который собирался помешать «французской секции Интернационала» в Лондоне, стремившейся в Париж—«делать там всякие глупости» от имени Интернационала. Следует цитата, которая должна показать, что Маркс «тормозил все живые начинания и вставлял палки в колеса всякой смелой революционной инициативе».

Но знает ли Ю. Гарденин, какую роль играла эта секция? Знает ли он, что собой представлял Феликс Пиа, которого она собиралась назначить французским посланником в Лондоне? Рекомендуем ему прочесть любую—не полицейскую—историю Коммуны. Чтобы облегчить ему эту работу, напоминаю ему об истории Коммуны П. Лаврова, в которой он найдет следующие строки:

«Феликс Пиа, шатаясь между верной идеей и своей литературной эпилепсией, становился практичным лишь тогда, когда дело шло о собственной безопасности».—И в примечании Лавров прибавляет цитату из Лиссагерэ:—«Он предлагал почетное ружье тому, кто убьет короля прусского, и поддерживал изобретение греческого огня, который должен был изжарить немецкую армию» [2]).

---

[1]) «Мысль», №№ 50 и 53.

[2]) Лавров, П.—«18 марта 1871 г.», стр. 47.

На языке Ю. Гарденина это называется «живым начинанием» и «смелой революционной инициативой»!.

Козьма Прутков, которого так любит цитировать Ю. Гарденин, в своих «Плодах раздумья», справедливо замечает:

«Рассуждай токмо о том, о чем понятия тебе сие дозволяют. Так: не зная законов языка ирокезского, можешь ли ты делать такое суждение по сему предмету, которое не было бы неосновательно и глупо?».

Не имея ни малейшего понятия об истории Интернационала, Коммуны, Франции, Германии и т. д.,—можно ли выступать с суждениями о Марксе и Энгельсе, да еще с нарочитою целью доказать, что они делали дело Гогенцоллернов и Бисмарка?

Можно ли до такой степени компрометировать или бламировать «этический» социализм?

III.

«До сих пор думали,—пишет Маркс,—что христианское мифотворчество могло процветать в эпоху Римской империи только потому, что тогда не было изобретено еще книгопечатание.—Как раз наоборот».

Современная война лишний раз показала, во сколько раз интенсивнее процесс мифотворчества, когда к услугам современных мифотворцев явились печать и телеграф.

Не успел еще Гарденин закончить свои «исторические изыскания», как за ним уже ковыляет Камков и уверяет тех же все выносящих читателей «Мысли», что Маркс и Энгельс так же патриотически «приняли войну 1870—71 г.г., как Плеханов и Ропшин, — или как Рубанович на лондонской конференции, — современную войну. А сам Гарденин, взобравшись на вершины исторической теологии, теперь считает уже «неопровержимо доказанным»—c'est mon opinion, et je la partage,—что именно Маркс и Энгельс повинны в том «первородном грехе», откуда есть-пошли все прегрешения теперешней немецкой социал-демократии. С каждым новым открытием он приходит во все больший раж и теперь уже заявляет, что Либкнехт собирался даже бежать в Америку, — так сильно преследовали его Маркс и Энгельс за протест против франко-прусской войны [1]).

Мы уже показали в первой главе, каким методом пользуется Гарденин и как основательны его познания в области немецкого языка. Не имея ни возможности, ни желания разобрать критиче-

---

[1]) Гарденин, Ю.—«Первородный грех». «Мысль», № 55.

ски все исторические упражнения нашего русского Фогта, мы решили его «мифам» противопоставить, на основании той же переписки и других всем доступных материалов, изложение «того, что было». Но прежде, чем мы перейдем к выполнению этой задачи, мы считаем нужным представить нашим читателям новый образчик гарденинской «проницательности».

В письме от 12 августа 1870 г. Маркс пишет Энгельсу: «Вместе с этим письмом посылаю тебе массу вздора (Masse Zeug), который ты, по прочтении, пришлешь мне с т в о и м и замечаниями и мнением». И уже в письме от 15 августа Энгельс ему отвечает: «Когда у человека три дня сильно брюхо болит и его к тому еще трясет лихорадка, то, даже на пути к улучшению, ему вряд ли может доставить большое удовольствие подробно распространяться о политике Вильгельма. Но так как ты должен иметь назад этот хлам (den Kram), то да будет» [1]).

Гарденин «переводит» это место так:

«Распространяться о политике Вильгельма—удовольствие небольшое, но так как ты должен иметь дело с этой чепухой, то делать нечего!».

Чтобы показать, что он в области исторической критики так же силен, как в области немецкого языка, он прибавляет дальше: «Энгельс, видимо, отвечает на какое-то несохранившееся письмо Маркса».

А ларчик просто открывается!—Как секретарь генерального совета для Германии, Маркс получил от Браке и Бонгорста («некоего» Бонгорста,—говорит Гарденин,—которому остался неизвестным факт, что именно Бонгорст и Браке были «политическими друзьями» между собою и «политическими противниками» Либкнехта) письма по поводу конфликта между ними и Лебкнехтом. Желая знать мнение Энгельса, он посылает ему всю эту «массу вздора», и Энгельс, по прочтении, отсылает ему назад весь этот Kram (хлам, ерунда).

Удивительно ли, что Гарденин так легко делает новые открытия! И еще легче творит новые легенды!

Несколько предварительных замечаний для обыкновенного читателя, которые, впрочем, небесполезно будет знать и Ю. Гарденину.

Когда вспыхнула франко-прусская война, Энгельс жил еще в Манчестере. В политической жизни он не принимал никакого активного участия.

---

[1]) Энгельс писал свои письма, мало заботясь о «приличиях».

В описываемое время он был поглощен ликвидацией своих дел и приготовлением к переезду в Лондон, куда и прибыл после 16 сентября. Членом генерального совета Интернационала он был выбран всего лишь 4 октября, через несколько недель после избрания Лопатина. Напротив, Маркс был уже несколько лет влиятельнейшим членом генерального совета и его секретарем для Германии. Уже одно это обстоятельство обусловливало разницу в осведомленности.

Надо принять во внимание также и то обстоятельство, что Маркс и Энгельс *не всегда во всем были согласны*, и, в том случае, когда выступали *сообща публично*, их *общее мнение* являлось иногда результатом согласования различных концепций. Переписка Маркса и Энгельса, даже в том неудовлетворительном виде, в каком она издана, потому и представляет такой интерес, что дает возможность проследить на целом ряде вопросов, как, несмотря на солидарность в основной точке зрения, расходились часто взгляды Маркса и Энгельса и как часто, только в результате продолжительного обмена мыслей, выкристаллизовывалось то, что нам теперь известно, как *общее мнение* Маркса и Энгельса.

Не надо забывать и того, на что я указывал уже в первой главе и что так упорно забывают всякие Цитовичи: мы имеем дело *с частной* перепиской, в которой близкие друзья делятся своими впечатлениями под влиянием «текущего момента», в которой не приходится искать, поэтому, окончательно установившегося *мнения или убеждения* по какому-либо вопросу. В особенности это относится к Энгельсу. Тем комичнее является Ю. Гарденин, который то и дело заставляет Энгельса обращаться к французским пролетариям, чтобы сейчас же с торжеством указать, как мало убедительна логика Энгельса для этих французских пролетариев!

Чтобы судить о действительных взглядах Маркса и Энгельса, поскольку они являются *политическими актами*, за которые должно нести «перед судом истории» политическую ответственность, — необходимо обращаться к их *публичным заявлениям или письмам*, которые они писали с целью оказать *определенное политическое воздействие на других*. Правда, и в этом случае нужно принять во внимание то, что сам Маркс называет «die brutale Sprache von Briefen». Это уже испокон веку так ведется, что страстные люди,—а их среди революционеров больше, чем среди правительственных и литературных прокуроров,—в своих письмах выражаются чересс-

чур «брутально», до такой степени «брутально», что не только всякие тряпичные душонки возмущаются, но и сами авторы этих писем после сожалеют о таковой своей «брутальности». Наш легкомысленный Ю. Гарденин мог бы узнать у своего приятеля Чернова, как «ловко» использовал некий прокурор письма социалистов-революционеров, в которых они друг о друге отзывались, как это только могут делать люди, всей душой преданные делу, но забывающие, что их письма могут попасть к какому-нибудь охранному историку.

Вполне понятно, что мы и в письмах Энгельса и Маркса найдем раздражительные отзывы о Либкнехте. Правда и то, что оба друга не были особенно высокого мнения о многих его политических выступлениях и часто расходились с ним очень резко. Но оба они чрезвычайно высоко ценили Либкнехта, как политического деятеля, и мы могли бы привести из их частной переписки многочисленные свидетельства, убедительные даже для Ю. Гарденина.

Наоборот, чтобы иметь возможность разобраться в тех немногих письмах,—от 20 июля до 16 сентября 1870 г.,—в которых Маркс и Энгельс обменялись своими впечатлениями по поводу первой фазы франко-прусской войны [1]), надо знать, что Маркс и Энгельс были оба сильнейшим образом настроены против Либкнехта, который, начиная с базельского конгресса Интернационала (сентябрь 1869), совершил, по их мнению, ряд грубейших ошибок. Так, в угоду южно-немецким демократам, он занял, в вопросе о коллективной земельной собственности, весьма двусмысленную позицию; в своем увлечении чисто политической борьбой, он, в вопросе о парламентаризме, стал на точку зрения анархистов; в своей подчас слепой вражде к Швейцеру и ненависти к Бисмарку, он ударялся в совершенно неприемлемые крайности. Если бы Ю. Гарденин не ленился чаще обращаться к немецко-русскому словарю и внимательнее прочитал бы письма Маркса и Энгельса, хотя бы за 1867—79 гг., он нашел бы в этом смысле для себя много интересного и понял бы, почему Маркс и Энгельс так неодобрительно относились к тому, что они называли у Либкнехта «Prinzipienreiterei» и что заставляло его зачастую жертвовать интересами социальной политики в угоду требованиям политической агитации. Но Маркс и Энгельс ограничились только критикой в частных письмах к Либкнехту, а это приводило к тому, что не только вне Германии, но и в самой Германии создавалось впечатление, что Либкнехт действует солидарно с Марксом.

---

[1]) О чем Ю. Гарденин, мимоходом сказать, упорно забывает.

В таком же положении находились и те лассальянцы, которые, за несколько месяцев до франко-прусской войны, откололись от Швейцера и образовали, вместе с группой Либкнехта и Бебеля, эйзенахскую партию. Со Швейцером они разошлись, главным образом, по вопросу об организации партии и вошли в новую партию не только с определенным credo, сильно отличавшимся от credo Либкнехта с его австрофильскими симпатиями, но и с определенными социально-политическими тенденциями. О тех разногласиях, которые существовали среди «марксистов»—между Либкнехтом и Бебелем, а также между Либкнехтом, с одной стороны, и Энгельсом и Марксом, с другой,—они не имели почти никакого представления. Во всяком случае ясно, что такой крупный исторический кризис, как франко-прусская война, вновь поставивший на очередь вопрос о методах немецкого об'единения, разделявший германскую демократию, не мог не вызвать крупного конфликта между бывшими лассальянцами и Либкнехтом.

15 июля французское правительство об'явило Пруссии войну. На другой же день брауншвейгцы (так мы будем называть членов центрального комитета эйзенахцев) созвали собрание и, в принятой этим собранием резолюции, всю ответственность и «позор» взвалили на Бонапарта и депутатов французского народа, с преступным легкомыслием нарушивших мир Европы, и первой обязанностью немецкого народа—«поруганного, подвергшегося нападению»—провозгласили оборонительную войну.

Согласен ли был Маркс с этим взглядом, который, с самого начала, отказывался от всякой критики по отношению к правительству своей страны?—Ответ на это вопрос дает письмо Маркса от 20 июля 1870 г.:

«Вместе с этим письмом посылаю письмо Кугельмана. Он прав в своей критике воззвания брауншвейгского собрания».

А что отвечает Энгельс?

«Браво Кугельман! Видно, что он недаром прошел через свою школу. Гипотеза совершенно в духе актеров и об'ясняет все. Но если она в действительности справедлива, то она уже переросла Бисмарку через голову. Этим господам удалось вызвать в Германии настоящую национальную войну».

Будем надеяться, что Рязанову или другой «архивной крысе» удастся найти это письмо Кугельмана, и мы тогда с достоверностью узнаем, в чем критика Кугельмана была, по мнению Маркса, права. Во всяком случае, Маркс и Энгельс уже с самого начала не стояли на политически наивной точке зрения брауншвейгцев.

Но в том же письме Маркс указывает нам на другой источник: «Генеральный совет поручил мне вчера написать воззвание». Вчера—это 19 июля, воззвание подписано 23 июля.

Оно начинается цитатой из учредительного адреса Интернационала, в которой осуждается «внешняя политика, играющая на национальных предрассудках, преследующая преступные планы и растрачивающая кровь и достояние народа в разбойнических войнах», и внешняя политика Интернационала определяется, как политика, которая хочет, чтобы верховной нормой в отношениях между народами служили те же простые законы нравственности и справедливости, которые регулируют отношения между частными лицами.

Далее следует обвинительный акт против Наполеона. Маркс дает сжатую картину его борьбы с Интернационалом, которая еще более усилилась после того, как французские секции Интернационала повели ожесточенную агитацию против нового плебисцита. Он кончает филиппику против Бонапарта следующим пророчеством:

— Как бы ни окончилась война Бонапарта с Пруссией, смертный час второй империи в Париже уже прозвонил. Она кончится, как и началась, «пародией».

Следует ли из этого, что виновен один только Наполеон?— Нисколько:

«Не забудем, что именно правительства и господствующие классы Европы помогали Бонапарту в течение 18 лет разыгрывать позорный фарс реставрированной империи».

В первую голову идет Германия:

«С немецкой стороны война является оборонительной. Но кто поставил Германию в необходимость обороняться? Кто вызвал в Бонапарте искушение напасть на Германию? Пруссия. Разве не с этим самым Бонапартом она конспирировала, чтобы у себя дома победить популярную оппозицию и аннектировать Германию к династии Гогенцоллернов? Если бы сражение при Садовой было проиграно, а не выиграно, то французские батальоны наводнили бы Германию, как союзники Пруссии. После победы думала ли Пруссия, хоть на одно мгновение, противопоставить порабощенной Франции свободную Германию? Совершенно напротив. В то время, как она тщательно сохранила все прирожденные прелести своего старого режима,—она, в то же время, привила ему все характерные черты второй империи: ее действительный деспотизм и ее псевдодемократизм, ее политические уловки и ее финансовые мошенничества, ее пустозвонные фразы и низкое фокусничество. Бонапартистский режим, который, до того времени, процветал лишь

на одном берегу Рейна, получил теперь свой pendant на его другом берегу. Может ли что-нибудь другое быть следствием таких условий, кроме войны?»

А Ю. Гарденин хочет уверить нас, что Маркс, вопреки истинному положению вещей, упорно считал виновницей войны и нападающей стороной только Францию, а не Германию!

Конечно, мы теперь многое знаем, чего Марксу и Энгельсу не было известно. Но, именно, в отличие от «брауншвейгцев» и лассальянцев, Маркс и Энгельс уже тогда прекрасно понимали, что виновником войны является не только Наполеон, но и Бисмарк, дипломатическое искусство которого в том и состояло, что войну, которой он хотел не менее усердно, чем военная партия по ту сторону Рейна, он заставил об'явить себе и, таким образом, наступательную войну Пруссии превратил в оборонительную войну Германии.

«Маркс и Энгельс настойчиво утверждали, что война 1870—71 г.г. была со стороны Пруссии чисто оборонительной войной. Маркс даже отказался подписать один адрес против войны, пока в него не будет вставлена фраза, которая, хотя бы в самой сдержанной и дипломатической форме, подчеркивала оборонительный характер со стороны немцев».

Ю. Гарденин осторожен. Он не имеет ни малейшего представления, о каком адресе идет речь, он даже не знает толком, кто является его автором. Но—привычка вторая натура—он и тут не мог удержаться, чтобы не поправить цитату.

Маркс пишет в действительности: «Я прочитал этот вздор—слабо, фразисто и, из любезности по отношению к французам, которые с ним ведут это дело, никакого даже намека на оборонительный характер войны со стороны немцев (я не говорю—«Пруссии»).

Конечно, для Гардиана—что немец, что прусс—все едино. Марксовская диалектика для него всегда была книгой за семью печатями, и на этот раз он, вероятно, утаил конец цитаты, просто потому, что, в своей метафизической слепоте, не заметил его.

Мы считаем нужным все же успокоить Гарденина.—Маркс подписал тот адрес, но, так как он не мог подписать адреса, который говорил бы прямо противоположное тому, что он писал в адресе Интернационала, он настоял на том, чтобы к его имени сделано было примечание: «поскольку взгляды, развитые в этом протеста, совпадают с адресом Интернационала». И представьте себе, о проницательный Гарденин!—на таком же условии согласился его подписать и француз Talandier, большой приятель

Герцена. Да и вообще адрес этот имел значение лишь постольку, поскольку он являлся общим протестом французов и немцев против войны.

Конечно, если бы Маркс был так же смел, как хотя бы Рубанович, он, без всяких оговорок, подмахнул бы свое имя под адресом, который всю вину за преступную войну возлагал бы только на одну сторону. Но он, как известно, не дорос еще до понимания высоких этических идеалов, с точки зрения которых редакция «Мысли» нам так авторитетно заявляет:

«Можно—и нужно—предпочитать победу тройственного согласия победе двойственного союза. Можно при этом мириться с фактом, что участником этой победы будет царская Россия. Положение крайне сложно, и из двух зол приходится выбирать меньшее. Но дойти до того, чтобы эту победу выдать за фактор, который сам по себе оздоровит нашу внутреннюю жизнь... это уже слишком.—Надо же и стыд знать» [1]).

Надо же и стыд знать,—скажем и мы Гарденину.

Положение было крайне сложно, а для немцев—и еще сложнее, и в 1870 г. Мы видели, как решил вопрос о том, кто прав и кто виноват, Маркс. Французская революционная демократия решала его большей частью так, как и Либкнехт, который еще до 19 июля 1870 г. был убежден, что войны хотел Наполеон и что Бисмарк, сняв кандидатуру Гогенцоллерна, самым позорным образом струсил. Именно в этом обстоятельстве Либкнехт и видел решительное осуждение всей политики Бисмарка, разорвавшей Германию на две части. А так как он преувеличивал оппозицию южно-немецких государств, то опасался новой междоусобной войны в Германии, которая послужила бы на пользу только Франции и России. И о том, что Бисмарк отступил перед угрозами Наполеона, Либкнехт писал в своей газете еще 16 июля 1870 г. Лучшее доказательство,—как ослепляла его ненависть к Бисмарку. Статья производит впечатление, как будто Либкнехт хочет провоцировать Бисмарка на войну.

Такая точка зрения вызвала конфликт с Бебелем, который, не отрицая исторической вины Бисмарка, как автора войны 1871 г., все же был уверен, что Бисмарк и теперь, в 1870 г., далеко не так боится этой войны, как думал Либкнехт, а, наоборот, желает ее. По словам Бебеля, этот конфликт был улажен только при помощи Гейба, председателя контрольной комиссии, и с 20 июля «Volksstaat» занял другую позицию.

---

[1]) «Мысль», № 45.

В передовице этого номера Либкнехт нападает на Наполеона не менее резко, чем «брауншвейгцы»:—«Наши интересы требуют уничтожения Бонапарта. И наши интересы находятся в гармонии с интересами французского народа». Но он не ограничивается этим. Как Маркс в адресе Интернационала, он устанавливает и вину Пруссии и вину Бисмарка, правда, при помощи других аргументов.

Поэтому, Либкнехт, еще накануне тогдашнего исторического заседания рейхстага, полагал, что они должны вотировать против кредитов, так как обе стороны одинаково виновны. Но Бебель настоял на воздержании, ибо он опасался, что в Германии—а она тогда далеко еще не совпадала с Северо-Немецким союзом, в котором распоряжалась Пруссия—их вотум против займа будет понят, как вотум в пользу Наполеона.

Как отнесся Маркс к этому акту? Неодобрительно?

Наоборот. В заседании генерального совета (26 июля) он перевел декларацию Либкнехта и Бебеля, и «Volksstaat» мог уже через неделю сообщить с торжеством, что декларация встретила чрезвычайно одобрительный прием в генеральном совете.

Зато «брауншвейгцы» были возмущены и сейчас же ответили новым воззванием. В отличие от Либкнехта и Бебеля, они идеализировали войну и выражали надежду, что им удастся, путем содействия ей, помочь рождению нового «социал-демократического народного государства», что эта война принесет им то, что «народу следует von Gottes und Rechtes wegen».

Только тогда конфликт между ними и Либкнехтом-Бебелем принял еще более резкие формы. Из мемуаров Бебеля видно, что как раз после этого Либкнехт писал о своем желании эмигрировать в Америку, пока этот «национальный пароксизм», захвативший и «брауншвейгцев», не пройдет.

Именно в это время последние обратились к Марксу, которому и пришлось взять на себя роль судьи. Что точка зрения «брауншвейгцев» для него была неприемлема, об этом нечего и говорить. Но он так же мало мог согласиться и со всеми теми аргументами, которыми Либкнехт защищал свою тактику после того, как выяснился ряд обстоятельств, остававшихся неизвестными до 21 июля 1870 г. Оказалось, что война, об'явленная Пруссии, после присоединения всех южно-немецких государств, превратилась в общегерманскую (за исключением, конечно, Австрии). Опубликование Бисмарком целого ряда документов, свидетельствовавших о притязании Наполеона на немецкие земли, вызвало взрыв «национального пароксизма» как раз в южно-немецких государствах. Сам

Либкнехт, в «Volksstaat'e», еще больше усилил свои нападки на Наполеона, но упорно продолжал подчеркивать различие между немецко-национальными интересами и династическими интересами Гогенцоллернов. И также упорно отказывался разделять оптимистические надежды, которые «брауншвейгцы» возлагали на победу над бонапартизмом.

Так вот, если мы обратимся теперь к письму Энгельса (15 августа 1870), в котором он сообщает Марксу, по просьбе последнего, свой мотивированный ответ на письмо «брауншвейгцев», мы увидим, что шесть тезисов, в которых он резюмирует свое мнение, по существу совпадают—с одним только исключением—со взглядами Либкнехта и Бебеля.

«Я думаю, что они (товарищи в Германии) могут:

«1) Примкнуть к национальному движению, пока и поскольку оно ограничивается обороной Германии (что не исключает при известных условиях, до заключения мира, и наступления).

«2) Подчеркивать при этом различие между немецко-национальными интересами и династически-прусскими.

«3) Противодействовать аннексии Эльзаса и Лотарингии...

«4) Как только в Париже у руля правления очутится республиканское правительство, а не чиновническое, настаивать на заключении почетного мира.

«5) Все время выдвигать единство интересов немецких и французских рабочих, которые войны не желали и которые ее также не ведут.

«6) Россия—как в интернациональном адресе» [1]).

Маркс выражает свое согласие с этими тезисами по существу и отвечает Энгельсу, что именно в этом духе он ответил «брауншвейгцам». К сожалению, и этот ответ остается нам неизвестным.

Но, когда «брауншвейгцы» его получили, вторая империя уже пала. А, вместе с провозглашением республики, исчезли и разногласия между «брауншвейгцами» и Либкнехтом и Бебелем. Всякая видимость «оборонительной» войны исчезла, и первая же попытка «брауншвейгцев» подчеркнуть это обстоятельство и приветствовать республику кончилась, как известно, для них очень печально.

К истории этого «манифеста» мы обратимся в следующей главе. Мы увидим тогда, в чем Маркс продолжал расходиться с Либкнехтом, не переставая в то же время одобрять его мужественный протест против войны.

---

[1]) В адресе от 23 июля Маркс указал и на роль России во франко-прусской войне. Об этом после.

IV.

Только в одном пункте Маркс не согласен с Либкнехтом. Но это разногласие, как мы уже указали прежде,—старое, в достаточной степени выявившееся еще в период от 1866 до 1870 г.г. И характерно для «брауншвейгцев», что, в своем манифесте, для которого основой им служило письмо Маркса, они могли против Либкнехта использовать один выпад, который так и цитируют целиком:

«Настоящая война,—пишет нам товарищ.—открывает собой всемирно историческую эпоху именно потому, что Германия доказала, что, даже с исключением Немецкой Австрии, она способна, независимо от «заграницы», итти своим собственным путем. Что она сначала обрела свое единство в прусской казарме, для нее является наказанием, которое она в полной мере заслужила. Но и в этом случае непосредственно достигается определенный результат. Мелкие пакости, как, например, конфликт между национально-либеральными северо-германцами и демократическими южно-германцами, не будут уже больше, без всякой пользы, заграждать дорогу. Условия будут развиваться в большем масштабе и упростятся. Если немецкий рабочий класс не будет при этом играть выпавшую ему на долю роль, то это будет его вина. Эта война перенесла центр тяжести континентального рабочего движения из Франции в Германию. А вместе с этим на немецкий рабочий класс ложится более великая ответственность».

Из переписки Маркса мы знаем теперь, что он был возмущен дословной перепечаткой целого ряда мест из его частного письма. Почему?

Во-первых, наивные «брауншвейгцы» забыли разницу между частным письмом и оффициальным партийным документом,—разницу, которую в состоянии будет понять даже Гарденин, если он сравнит свои частные письма со своими публичными статьями.

Во-вторых, брауншвейгцы забыли «обстоятельства времени и места» и указали в своем манифесте на его действительного автора,—как выражается Маркс,—«вилами». А ежели Гарденин даст себе труд припомнить, какую роль в процессе Либкнехта и Бебеля играло обвинение их в том, что они действовали под влиянием «заграничной агитации», что они были орудием в руках «Интернационалки» и ее злого духа Маркса, то, вероятно, даже он сообразит, почему Маркс был так недоволен тем обстоятельством, что брауш-

швейцы, вместо того, чтобы литературно обработать данные им указания, предпочли их опубликовать на «брутальном языке» частного письма.

А наивный Гарденин даже не понимает, почему Маркс был в особенности недоволен тем, что брауншвейгцы в свой манифест включили его мысли о вероятном перемещении, в результате войны, центра тяжести рабочего движения из Франции в Германию! Единственное об'яснение, которое находит наш пропитанный этикою революционный социалист, «как нельзя более просто»: Маркс и Энгельс,—видите ли,—«находили нужным прямо скрывать некоторые из своих мнений!»

Бедный Гарденин, поменьше этики, побольше нравственной чуткости,—и вы найдете другое об'яснение!

Если вы знаете, какое место Маркс занимал уже тогда в международном рабочем движении, если вы вспомните, что война разразилась как раз тогда, когда в Интернационале уже назревал раскол между «романо-славянскими» и «германскими» элементами,—вы поймете, что Маркс считал крайне нетактичным в такой момент констатировать публично даже не пожелание, а только предположение, что центр тяжести европейского рабочего движения переместится из Франции в Германию. Тем более, что, как он пишет Энгельсу, он писал об этом брауншвейгцам, чтобы их одушевить, чтобы, указанием на их большую историческую ответственность, побудить их сейчас же начать агитацию за почетный мир с Французской республикой и против отторжения Эльзас-Лотарингии. Он, ведь, знал, что имел дело с людьми, которые были увлечены потоком «национального пароксизма», и боялся, что, за требованиями «защиты отечества», они забудут свои интернациональные обязанности.

Правда, опасения его не оправдались. Как ни были чувствительны к вопросам «национальной» обороны французские члены Интернационала, только что пригласившие немцев убраться к себе, но за Рейн[1]), среди них не нашлось ни одного умника, даже среди тех, которые по-немецки понимали лучше, чем Ю. Гарденин, чтобы в мнении Маркса о вероятных последствиях этой войны для судеб европейского рабочего движения найти «состав преступления». Опасения Маркса оказались напрасными. Честь этого «нежданного откровения» досталась на долю Ю. Гарденина!

---

[1]) Авось, Ю. Гарденин хоть в этом случае поймет, как «шовинистически» звучало в устах французских членов Интернационала это требование. А оно было подписано Вальяном!

Зато оправдались его надежды на «воодушевляющее» действие его письма на брауншвейгцев. Мы советуем Ю. Гарденину прочитать в отчете о процессе Либкнехта-Бебеля следующее место из показаний Браке, автора брауншвейгского манифеста:

«Лейпцигцы (Либкнехт и Бебель) имели в последней войне, которую мы ошибочно (faelschlich) считали оборонительной войной, другое мнение. Это вызвало конфликт, и, чтобы уладить его, мы считали себя в праве апеллировать к приговору человека, которого мы все ценили. Этот человек был Маркс. Его ответ пришел накануне падения Седана и убедил меня вполне».

В чем убедил? В том, что война со стороны Пруссии была, по меньшей мере, столь же наступательной, как и со стороны Франции — Франции Наполеона, а не республиканской Франции.

Именно благодаря этому письму Маркса, брауншвейгцы помирились с Либкнехтом и начали ожесточенную агитацию против отторжения Эльзас-Лотарингии и за немедленный почетный мир с Французской республикой. Правда, они не свергли Гогенцоллернов, как этого требовали от них некоторые члены французской секции Интернационала в Лондоне, но ведь и французы «свергли» Наполеона только после того, как он очутился в плену у Гогенцоллернов!

Безграничное невежество Ю. Гарденина можно оценить, только прочитав второй манифест Интернационала по поводу войны, датированный 9 сентября. Все, что он с таким торжеством выкопал «в таившейся под спудом частной переписке», пропечатано черным по белому в документе, который сейчас же был переведен и на французский язык.

Для русских читателей интересно будет узнать, что, в отличие от первого манифеста, второй подписан Марксом не только в качестве секретаря генерального совета для Германии, но и для России. В заседании 6 сентября Марксом был предложен в члены генерального совета Лопатин.

Уже в первом манифесте Маркс сказал, что смертный час второй империи пробил, что она кончится, как началась,—пародией. Ссылкой на это пророчество начинается второй манифест.

«Если мы не обманывались на счет жизнеспособности второй империи, то было ли неосновательно наше опасение, что немецкая война потеряет строго оборонительный характер и выродится в войну против французского народа? В действительности, оборонительная война закончилась с самовыдачей Наполеона, капитуляцией Седана и об'явлением республики в Париже. Но еще задолго до этих

событий, с того момента, как выявилось невероятное гниение бонапартовской армии, прусская военная камарилья высказалась за политику завоевания».

Мы пропускаем критику немецкого либерализма, мы пропускаем также критику «материальных гарантий» прочного мира, сводившихся к необходимости расчленения Французской республики. Только Гарденины могут требовать от Маркса и Энгельса, чтобы они начали свою ожесточенную борьбу против отторжения Эльзас-Лотарингии еще до франко-прусской войны. «Таившаяся под спудом частная переписка» показывает, однако, что эту борьбу они начали задолго до об'явления Французской республики и раньше, чем кто-либо в Германии!

«Читатель видит, что на деле было обратное: Маркс и Энгельс, «по своему и сами того не желая», работали pour le roi de Prusse, явились игрушками и служили видам Бисмарка».

Сие «утверждает» и считает «неопровержимо доказанным» наш Ю. Гарденин. Пусть же он прочтет, что писал «немецкий шовинист» Маркс.

«Но,—скажут нам глашатаи тевтонского патриотизма,—не следует смешивать немцев с французами. Чего мы требуем, так это не славы, но безопасности. Немцы по натуре народ миролюбивый. Под их трезвой охраной само завоевание превращается из условия будущей войны в залог вечного мира. Конечно, не немцы запятнали свои руки покорением Италии, угнетением Венгрии, разделом Польши! Их современная военная система, которая делит все мужское население, способное носить оружие, на две категории—постоянную армию «на действительной службе» и другую постоянную армию—«в отпуску», обе присягой обязанные пассивно подчиняться воле монарха божьею милостью,—такая военная система, конечно, является прочнейшей гарантией мирной политики и высшим воплощением цивилизующих тенденций!»

И, вслед за этой отповедью Бисмарку и выпущенной им своре купленных или добровольных лакеев Гогенцоллернов, Маркс набрасывает следующий гениальный прогноз европейской истории:

«Как в 1865 г. произошел обмен обещаний между Наполеоном и Бисмарком, так в 1870 г. между Бисмарком и Горчаковым. Как Бонапарт льстил себя надеждой, что война 1866 г., вследствие взаимного истощения Австрии и Пруссии, сделает его диктатором Германия, так Александр надеялся, что война 1870 г., приведя к взаимному истощению Франции и Германии, сделает его диктатором западного континента. Как вторая империя считала существование Северо-Германского союза не-

совместимым со своим собственным существованием. Так самодержавная Россия должна будет считать, что Немецкая империя под прусским главенством грозит ей опасностью. Таков закон старой политической системы. В ее пределах выигрыш одного государства является потерей другого. Господствующее влияние царя в Европе коренится в традиционной опоре, которую он находит в Германии. И в такой момент, когда в самой России вулканические социальные силы грозят подкопать основу самодержавия, может ли царь помириться с таким ущербом его внешнего престижа? Московские газеты повторяют уже слова бонапартистских газет после войны 1866 г. Думают ли тевтонские патриоты всерьез, что они свободу и мир Германии «гарантируют» тем, что бросают Францию в об'ятия России? Есть счастье немецкого оружия, опьянение успехом и династическая интрига приведут к территориальному ограблению Франции, тогда для Германии остаются открытыми две дороги. Она рискует превратиться в сознательное орудие русских завоевательных планов,—политика, которая находится в согласии с традициями Гогенцоллернов,—или должна, по истечении короткого времени, опять готовиться к новой «оборонительной» войне, но не какой-нибудь новомодной «локализованной» войне, а к войне рас, к войне с союзными славянами и романцами. Это и есть тот мир, который «гарантируют» Германии скорбные главою (hirnkranken) патриоты буржуазии» [1]).

А Ю. Гарденин «утверждает» и «неопровержимо доказывает», что Маркс и Энгельс работали pour le roi de Prusse и служили видам Бисмарка!

Во второй части манифеста Маркс формулирует практические задачи, которые диктуются создавшимся историческим положением рабочему классу. В первую голову он обращается к немецким рабочим и требует от них, чтобы они, в свою очередь, выставили требования действительных гарантий прочного мира и свободы. Такими гарантиями являются почетный мир с Францией и признание Французской республики.

Гораздо сложнее и труднее задачи французского пролетариата.

«Вместе с немецкими рабочими, мы приветствуем республику во Франции, но нас смущают опасения, которые, мы надеемся, окажутся неосновательными. Республика не свергла трона, но заняла его место, очищенное прусскими

[1]) В английском оригинале слово «оборонительный» тоже заключено в кавычки. Последняя фраза о скорбных главою немецких патриотах имеется только в немецкой редакции.

штыками. Она была об'явлена не как социальное завоевание, а как мера национальной обороны. Она находится в руках временного правительства, которое состоит частью из заведомых орлеанистов, частью из буржуазных республиканцев, между прочим, и таких, на которых июльское восстание 1848 г. наложило неизгладимое пятно. Разделение труда между ними внушает подозрение. Орлеанисты захватили центры правительственной власти, республиканцы удовлетворились говорильными постами (Schwatzposten). Некоторые акты их показывают, что они от предшественников унаследовали не только руины, но и страх перед рабочим классом. Если в диких фразах от имени республики обещаются невозможные вещи, то не делается ли это для того, чтобы подготовить агитацию в пользу «возможного» правительства? Не должна ли послужить эта республика, согласно плану некоторых ее буржуазных антрепренеров, просто затычкой и мостом для орлеанистской реставрации?»

Бедный Ю. Гарденин! Сколько времени ухлопал он, чтобы, «наморщивши чело» и походя перебирая плохо понятый текст, отыскать в «таившейся под спудом частной переписке» якобы скрываемые Марксом и Энгельсом мнения о Французской республике и вывести их на свет божий, чтобы посрамить этих тайных пособников Бисмарка!

И что же оказывается? Маркс ни чуточки не постыдился все это высказать еще 9 сентября 1870 г. и в манифесте, обращенном к французским рабочим! Более того. У него хватило «бесстыдства» в этом же манифесте выступить публично со следующими советами французским рабочим:

«Французский рабочий класс поэтому находится в чрезвычайно затруднительных условиях. Всякая попытка свергнуть существующее правительство, в разгаре страшного кризиса, когда неприятель стучится уже почти у ворот Парижа, была бы отчаянной глупостью. Французские рабочие должны выполнять свой гражданский долг, и они делают это, но они не должны дать себя ослепить национальными традициями 1792 г., как французские крестьяне дали себя ослепить национальными традициями первой империи. Они должны не рекапитулировать прошлое, а строить новое будущее. Они должны использовать республиканские свободы, чтобы быстро развить свою классовую организацию, которая даст им геркулесовскую силу для возрождения Франции и нашего общего дела, освобождения труда. От их энергии и мудрости зависит судьба республики!»

А мудрый Ю. Гарденин пишет: «Переписка Маркса и Энгельса впервые показывает нам с достаточной полнотой, что тогдашние

агенты Маркса во Франции—Серрайэ и Дюпон, тормозившие все живые начинания и вставлявшие палки в колеса всякой революционной инициативы,—делали это не просто по личной неспособности, но,—увы!—творя волю пославшего».

В действительности, переписка дает нам теперь возможность проследить, как вырабатывались у Маркса и Энгельса взгляды, которые нашли свое классическое выражение в обоих манифестах Интернационала по поводу франко-прусской войны. Можно «утверждать», что они ошибались в оценке тогдашнего положения, что советы, которые они давали французскому пролетариату 9 сентября, неудовлетворительны, но возводить на них «злостную клевету», «утверждать», что они с к р ы л и эти взгляды,—для этого нужна еще вся «этическая» развязность Ю. Гарденина.

Но, чтобы оценить во всей полноте его «утверждение», что «менее всего брали Маркс и Энгельс в дальнейшем столкновении сторону Французской республики, которую они совершенно не хотели брать всерьез и третировали en canaille»,—нужно обратиться к другим показаниям. Читатель должен помнить, что переписка Маркса и Энгельса в 1870 г. прекращается сейчас же по провозглашении Французской республики. В нашей заключительной главе мы проследим их деятельность во время второй фазы франко-прусской войны, а также во время Коммуны.

V.

Мы видели, что в споре, который разгорелся между брауншвейгцами и Либкнехтом, Маркс по существу стал на сторону последнего. Более того. Именно ему удалось переубедить Браке и товарищей. И, сейчас же после провозглашения республики, немецкая социал-демократия начинает вести энергичную агитацию за почетный мир с Францией и признание республики.

Положение, однако, было очень неблагоприятным. Преимущество немецкой армии над французской было подавляющим. Победы продолжали следовать одна за другой. Между 15 и 19 сентября был окружен Париж. 23 сентября пал Туль, а 27 капитулировал Страсбург. Базэн со 150-тысячной армией был охвачен железным кольцом под Мецом.

А временное правительство,—правительство, перед которым теперь идолопоклонствует Гарденин,—с гораздо большей энергией организовало поход против «внутреннего врага». Неудивительно, поэтому, что Энгельс очень пессимистически оценивал военные шансы республики. Так, еще в письме от 12 сентября 1870 г. он пишет Марксу:

«Хуже всего то, что в Париже так редки люди, которые, при настоящем положении дел, в состоянии видеть вещи в их истинном свете. Где тот человек в Париже, который осмелился бы только п о д у м а т ь, что активная сила сопротивления Франции в этой войне уже сломлена, и что нет никакой надежды на изгнание вторгнувшейся армии путем революции».

Но дальнейшие события изменили его настроение. А Маркс, который, в отличие от Энгельса, всегда п е р е о ц е н и в а в ш е г о значение военного фактора—а во время первой фазы 1870—71 гг. в особенности—придавал,—как и во время северо-американской гражданской войны, когда он с самого начала, вопреки авторитету Энгельса и несмотря на первые поражения северных штатов, был убежден в победе последних,—гораздо большее значение внутренним силам нации,—еще до провозглашения республики не терял надежды, что Франция избавлена будет от окончательного поражения. Его оптимизм укрепляется еще больше после 4 сентября, несмотря на опасения, которые ему внушал состав временного правительства.

Решающее значение имело изменение международного политического положения. С провозглашением республики, Франция освобождалась от всех невыгод политической изоляции, пустоты, созданной вокруг нее с несомненным дипломатическим искусством тем самым Бисмарком, который теперь, к своему великому огорчению, очутился лицом к лицу с совершенно новым противником.

В Англии, в которой «общественное мнение» было возмущено против Наполеона,—с неподражаемым цинизмом Бисмарк опубликовал проект договора Наполеона с Пруссией, направленного против Бельгии,—настроение сразу изменилось.

«Эта республика—одна только фраза—повернула все дело в другую сторону»—пишет Маркс Энгельсу 14 сентября.

А тут на сцену явилась еще русская дипломатия. Если не формальным договором, то иным путем, Бисмарк купил нейтралитет России указанием на компенсации, которые она может получить на Ближнем Востоке. Весьма вероятно, что этот мастер политической лжи, только что так ловко опять надувший Бонапарта, надеялся, что ему удастся так же легко провести русских дипломатов. Во всяком случае, ни он, ни его патрон не думали, что Россия поспешит раскрыть карты и выложить на стол свои козыри. А всякий выигрыш России на Ближнем Востоке был тогда проигрышем для Англии. Но Россия предпочла не ждать окончания войны.

20 октября, за семь дней до капитуляции Меца, Горчаков заявил английскому министру иностранных дел, что Россия не счи-

тает более для себя обязательными постановления парижского трактата 1856 г., запрещавшие ей содержать военный флот на Черном море. Таким образом, опять был поставлен на очередь дня, и в полном об'еме, восточный вопрос, как совершенно неожиданное последствие прусских побед, и «мрачная фигура России», которая, по выражению Маркса в первом манифесте по поводу войны, до тех пор скрывалась за кулисами, одним скачком очутилась опять на авансцене европейской политической жизни. Вместо того, чтобы получить вознаграждение из рук Бисмарка, Россия предпочла создать «un fait accompli», и теперь, с добычей в кармане, она уже собиралась играть роль великодушного покровителя несчастной Франции и восстановителя европейского равновесия!

Если бы во главе Французской республики не стояли тогда такие дельцы, как Жюль Фавр и Троню, если бы действительная власть не принадлежала,—по выражению Лаврова,—«злейшим врагам» народа, если бы, вместо того, чтобы сеять раздор между регулярной армией и национальной гвардией, эти горе-республиканцы об'единили все силы сопротивления, Франция могла бы избавиться от пятимиллиардной контрибуции и потери Эльзас-Лотарингии. Только беззастенчивая политика Бисмарка, пред'явившего даже для этих господ неприемлемые требования, да страх перед угрожающим положением, которое заняло население Парижа, заставляли их пока отказаться от заключения мира и нехотя продолжать войну. Это же положение дало на время Гамбетте возможность показать, что даже буржуазная республика имеет в себе достаточно сил, чтобы оказать сопротивление победоносному врагу. Ведь, война против империи, приведшая к капитуляции Седана, длилась каких-нибудь пять недель, а новой пока не предвиделось конца! Энгельс, который до самого конца войны критически регистрировал все ее события в ряде статей, написанных им для английской газеты «Pall Mall Gazette» от июля 1870 г. до февраля 1871 г., очень скоро переменил свое мнение и возлагал большие надежды на хорошо организованное народное сопротивление. Более того. Не только Вальян, но и Лафарг, в своих воспоминаниях об Энгельсе, пишет, что у последнего были тогда одно желание и одна надежда: торжество Французской республики [1]). И то же самое приходится сказать о Марксе.

Конечно, Гарденин имеет готовый ответ: «Все это не более, как благочестивая легенда. В переписке Маркса и Энгельса нет и следов ее подтверждения». Но вольно же ему chercher le midi à

---

[1]) «Neue Zeit» XXIII, 2, S. 561.

quatorze heures! В переписке, которая заканчивается письмом от 14 сентября и запиской от 16 сентября, мудрено найти указания на то, что случилось после 16 сентября!

К счастью, мы имеем другой источник, который Гарденину должен быть так же хорошо известен, как и мне. Это—письма Маркса к Кугельману. Возьмем письмо от 13 декабря 1870 г., в котором Маркс резюмирует новое положение:

«Здесь, в Англии, общественное мнение в начале войны было ультра-прусским, теперь оно превратилось в свою противоположность. В кафэ-шантанах немецких певцов с их «Die Wacht am Rhein» освистывают, тогда как французским, поющим «Марсельезу», подпевают хором. Кроме решительных симпатий народных масс к республике и негодования буржуазии на теперь всем ясный союз между Пруссией и Россией и бесстыдный тон прусской дипломатии со времени военных успехов, всеобщее возмущение вызывает также и способ ведения войны—система реквизиций, сжигание деревень, расстрелы франктиреров, взятие заложников и тому подобные позаимствования из практики тридцатилетней войны. Конечно, англичане все это проделывали сами в Индии, на Ямайке и т. д., но французы все же не индусы, не китайцы, не негры, и пруссаки не «небеснорожденные» англичане. Это—чисто гогенцоллернская идея, что народ совершает преступление, если он продолжает оказывать сопротивление, когда его постоянная армия уничтожена... Впрочем, мы еще посмотрим, чем дело кончится. Война во Франции может принять еще очень «пакостный» оборот. Сопротивление луарской армии явилось совершенно неожиданным, а теперешнее рассеяние немецких сил направо и налево должно только страх нагнать, в сущности же, вызывает лишь к жизни новые оборонительные силы во всех пунктах и ослабляет наступление. Таким же трюком является и возвещенная бомбардировка Парижа. На самый город она, по всем правилам теории вероятности, не может произвести никакого серьезного впечатления».

В своих военных рассуждениях Маркс опирается на статьи Энгельса. Что этот оптимизм в декабре 1870 г. имел за собою достаточные основания, что военное положение Франции было тогда далеко не безнадежно, показали воочию все дальнейшие разоблачения. В то самое время, когда Энгельс писал в своих статьях, что все зависит от энергии народного сопротивления и партизанской войны,—«элемент, который имеют пруссаки особый дар вызывать всюду, где они появляются»,—что Франция нуждается только во времени и резервах,—настроение в прусском генеральном штабе было далеко не розовым.

«Даже такой уверенный и смелый стратег, как Блюменталь,— пишет историк франко-прусской войны Даниельс,—временами сомневался в счастливом исходе кампании, когда он наблюдал упадок духа в главном штабе. Там говорили о мире во что бы то ни стало, об отказе от Эльзас-Лотарингии».

И в своем дневнике Блюменталь писал:

«Последний ополченец должен быть призван к оружию, чтобы сражаться против Франции, а вместе с тем и революции. Позорный мир и революция в Германии тесно связаны друг с другом».

Нет, не благочестивая легенда—цитируемые Гарденинным слова Вальяна, что Маркс и Энгельс, едва только 4 сентября была она провозглашена, горячо желали победы Французской республики.

Не важно, действительно ли,—как уверяет Вальян,—свое горячее желание победы Энгельс тогда простер до того, что «написал правительству национальной обороны, предлагая в его распоряжение свои военные советы». Это утверждали всегда и другие друзья Энгельса.

Мы лично думаем, что выраженное Энгельсом желание относится к более позднему времени. Во всяком случае, советы, которые он давал в своих статьях, привлекавших к себе тогда всеобщее внимание, шли в том же направлении, что и меры, предпринимаемые Гамбеттой и его товарищами, и дышали искренним желанием победы Франции. А эта «победа» означала тогда изгнание немцев из Франции.

Когда Бисмарк, 9 января 1871 г., в циркулярной депеше к представителям Северо-Германского союза при нейтральных державах, возмущался против диктатуры правительства, которое требует у народа денег, чтобы продолжать войну, и распинался за свободу прессы и слова, Маркс ответил открытым письмом в редакцию «Daily News». Оно появилось под заглавием: «Свобода печати и слова в Германии».

Мы не будем приводить все это письмо [1]), где Маркс бичует свирепствовавший тогда в Пруссии произвол, который, правда, может показаться раем в сравнении с режимом печати в современных воюющих — «культурных» и «варварских» — странах. Свое письмо Маркс заканчивает следующими словами:

«Франция—и ее дело, к счастью, далеко еще не безнадежно—сражается в настоящее время не только за свою национальную независимость, но и за свободу Германии и Европы».

---

[1]) Немецкий перевод помещен в «Neue Zeit», XX, 2, S. 607.

А наш дон-Базилио—Гарденин хочет нас уверить, что Энгельс упрямо не желал принимать республику всерьез, и планы поднять всю страну против прусского нашествия упорно—вопреки очевидности—называл неискренним и парадным фразерством. «Мы не только это утверждаем. Мы теперь имеем право считать это неопровержимо доказанным».

Не скажет ли нам сосед Гарденина по газете—Камков, сколько раз надо с апломбом повторить одну и ту же неправду, чтобы она сошла за правду?

Даже после капитуляции Парижа, Маркс—повторяем, что в этом отношении его взгляды разделял вполне и Энгельс—не теряет еще надежды. Его письмо к Кугельману, написанное 14 февраля 1871 г., и потому еще представляет огромный интерес, что вводит нас в историю возникновения Коммуны.

«Тебе известно мое отношение к героям буржуазии. Но Жюль Фавр и К° (известный еще своей деятельностью во временном правительстве и при Кавеньяке) превзошли все мои ожидания. Сначала они дозволили Трошю, этой «правоверной сабле» или «военному кретину», как его верно характеризовал Бланки, выполнить его «план». А план этот состоял в том, чтобы продолжать пассивное сопротивление Парижа до крайности, т. е. до истощения, а активную оборону свести к «платоническим вылазкам», к парадии на маневры. Я говорю это не на основании «догадок». Мне известно содержание письма, которое Жюль Фавр писал Гамбетте и в котором он жалуется, что он и другие члены оставшейся в Париже части правительства тщетно побуждали Трошю перейти к более серьезным наступательным действиям. Трошю на это каждый раз отвечал, что таким образом парижская демагогия получит перевес. Гамбетта ответил ему: «Vous avez prononcé votre propre condamnation!» Трошю считал более важным, при помощи своей бретонской лейб-гвардии, которая оказывала ему те же услуги, что корсиканцы Наполеону, сдерживать красных в Париже, чем сражаться с пруссаками. Именно это и является действительной причиной поражений не только в Париже, но и всюду во Франции, где буржуазия, в согласии с большинством местных властей, действовала согласно тому же принципу».

Маркс надеялся, что несоразмерные требования, которые Бисмарк сначала выставил, вынудят французскую буржуазию к дальнейшему сопротивлению.

«Я надеюсь, что Бисмарк будет настаивать на своих мирных условиях! 400 миллионов фунтов стерлингов военной контрибуции—половина английского государственного долга! Это поймут

и французские буржуа! Они, быть может, поймут, наконец, что, продолжая войну, они, в худшем случае, могут только выиграть».

И он прибавляет дальше:

«Несмотря на то, что положение пруссаков кажется благоприятным, оно, в действительности, далеко не так хорошо. Если Франция выдержит, если она использует перемирие для реорганизации своей армии и придаст, наконец, войне действительно революционный характер,—а хитроумный Бисмарк со своей стороны делает все возможное для этого,—то новорожденная прусская империя может получить еще совершенно неожиданное палочное крещение».

Но Маркс и Энгельс, не только в прессе, не только путем непосредственного воздействия на немецкое рабочее движение, действовали в пользу Французской республики. Оба они, в особенности, первый, не менее энергично работали и в Англии, чтобы побудить рабочих вести борьбу за признание республики Англией. Генеральный совет, который тогда выполнял, кроме своих интернациональных функций, еще и роль одного из центров английского рабочего движения, сейчас же взялся за организацию ряда митингов, чтобы повлиять на правительство, во главе которого стоял тогда Гладстон, всегда лицемерно облекавший в красивые фразы неприглядную внешнюю политику английской олигархии. Так и теперь он увиливал от признания республики, ссылаясь на различные формальности, с которыми, однако, нисколько не считался Пальмерстон, когда на другой же день после государственного переворота 2 декабря 1851 г. приветствовал спасителя «порядка». Правда, и само правительство национальной обороны, то самое, которое Маркс и Энгельс третировали en canaille и которому Гарденин еще и теперь почтительно бьет челом, не особенно настаивало на этом признании, да и Бисмарк еще не отказался от надежды восстановить на троне Наполеона, который, по уверению самого же Бисмарка, был главным виновником этой войны [1]).

Мы не будем останавливаться на перипетиях той борьбы, которую Маркс и Энгельс вели в Англии за признание республики во Франции, хотя они знали, что во главе ее стоят люди, которым это признание было не особенно желательно. Когда Жюль Фавр, этот прообраз государственных людей третьей Французской республики, после поражения Коммуны, 6 июня 1871 г. обратился с пред-

---

[1]) «Чем провинился Наполеон, — писал орган Бисмарка, — что в момент крайней опасности свергают правительство, которое, во всяком случае, имело то преимущество, что ему, как существующему, повиновались, тогда как новое должно еще заслужить это повиновение».

ложением ко всем европейским державам начать охоту на Интернационал, Маркс ему, между прочим, ответил и следующим разоблачением:

«Известно, что генеральный совет Международного Общества Рабочих в своих двух манифестах (июльском и сентябрьском) по поводу недавней войны разоблачил завоевательные планы Пруссии. Несколько времени спустя, Рейтлингер, частный секретарь Жюля Фавра, обратился к некоторым членам генерального совета, конечно, безуспешно, с просьбой инсценировать через посредство генерального совета демонстрацию против Бисмарка в пользу «правительства национальной обороны». Но этих членов нарочито просили республики не упоминать».

Рост революционного движения в Париже изменил все планы. Он, во-первых, заставил Бисмарка отказаться от надежды навязать Франции опять Наполеона и уменьшить свои требования. Во-вторых, он сконцентрировал все силы буржуазной Франции в борьбе с парижским пролетариатом и даже для монархической буржуазии сделал республику неизбежным, но все же меньшим злом.

Начиналась героическая эпопея Коммуны. Даже Гарденин знает, что Маркс «возвеличил дело Парижской Коммуны красноречивее, чем кто-либо». Но—и это шестое и последнее обвинение, которое он выдвигает против Маркса и Энгльса—к самым проектам провозглашения Коммуны они относились в высшей степени отрицательно.

Мы уже знаем, как расправляется Гарденин с фактами и хронологией. Мы уже знаем, что и теперь, сорок пять лет спустя после Коммуны, он еще не научился отличать действительных ее героев от таких «литературных эпилептиков» и героев революционной фразы, как Феликс Пиа.

Пусть Гарденин прочтет следующие письма Маркса, писанные не после поражения Коммуны, а при известии о первых ее шагах. Даже он, надеемся, поймет, какое единство настроения и понимания связывает эти частные письма со знаменитым манифестом Интернационала по поводу гражданской войны во Франции. Оба письма адресованы Кугельману. В первом (от 12 апреля 1871 г.) мы читаем:

«Если ты дашь себе труд заглянуть в последнюю главу моего «18-го брюмера», то ты найдешь что я там выставляю, как ближайшую попытку французской революции, не переход бюрократически-милитарного механизма из одних рук в другие, но слом (уничтожение) его. Это—предварительное условие всякой действи-

тельно народной революции на континента. В этом заключается и попытка наших героических парижских товарищей. Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность к самопожертвованию лежит в этих парижанах! После шестимесячного голодания и истощения—вследствие внутренней измены еще более, чем от внешнего врага—они восстают под прусскими штыками, как будто не было никакой войны между Францией и Германией и враг вовсе не стоит у ворот Парижа! История не знает еще другого примера подобного героизма! И если они падут, то виновно будет в этом только их «добродушие». Нужно было сейчас же итти на Версаль, после того как Винуа, а затем реакционные части парижской национальной гвардии сами очистили поле. Настоящий момент был упущен благодаря излишней скрупулезности (versaeumt aus Gewissensskrupel). Не хотели начать гражданскую войну, как будто этот злобный выродок Тьер не начал уже сам этой войны своей попыткой обезоружить Париж. Вторая ошибка: центральный комитет слишком рано отказался от власти, чтобы уступить ее Коммуне. Опять-таки в силу той же «благородной» скрупулезности! Как бы то ни было, теперешнее восстание Парижа—если оно даже будет подавлено волками, свиньями и погаными псами старого общества—представляет самое славное дело нашей партии со времени июньского восстания. Стоит только сравнить с этими небоборцами Парижа неборабов немецко-прусской священной римской империи, с ее посмертными маскарадами, пахнущими казармой, церковью, капустным юнкерством и больше всего филистерством!»

И пять дней спустя—17 апреля—в ответ на письмо Кугельмана:

«Твое письмо пришло аккуратно. У меня теперь по горло работы. Поэтому только несколько слов. Мне абсолютно непонятно, как ты можешь сравнивать мелкобуржуазную демонстрацию à la 13 июня 1849 г. с теперешней борьбой в Париже.

«Конечно, творить всемирную историю было бы очень легко, если бы приходилось начинать борьбу только под условием безошибочно благоприятных шансов. История, с другой стороны, носила бы совершенно мистический характер, если бы «случайности» не играли в ней никакой роли. Эти случайности входят, разумеется, в общий ход развития и, в свою очередь, уравновешиваются другими случайностями. Но ускорение и замедление весьма зависят от таких «случайностей», среди которых фигурирует и такая «случайность», как характер людей, которые становятся сначала во главе движения.

«Имеющую теперь наиболее решающее значение «случайность» приходится искать не в общих условиях французского общества, а в присутствии во Франции пруссаков, стоящих под самым Парижем. Это хорошо было известно и буржуазной сволочи в Версале. Именно поэтому они и поставили парижан перед альтернативой: принять борьбу или подчиниться без борьбы. Деморализация рабочего класса в последнем случае была бы гораздо большим несчастием, чем гибель любого числа «вождей». Борьба рабочего класса с классом капиталистов и их государством вступила теперь, вследствие парижского восстания, в новую фазу. Как бы она ни кончилась, теперь завоеван новый исходный пункт всемирно-исторического значения».

И знаете ли вы, citoyen Felix Pyat—Гарденин, чем был занят Маркс в это время? Ответ вы найдете в деятельности Варлена и его ближайших друзей. Кое-что вы можете узнать и у Вальяна.

Наша задача окончена. Все шесть пунктов, в которых Гарденин резюмировал свои обвинения против Маркса и Энгельса, превратились в свою прямую противоположность. А именно, вопреки его утверждениям, 1) Маркс и Энгельс считали виновницей войны и нападающей стороной не только Францию; 2) они совершенно определенно не желали в течение первой фазы войны поражения ни той, ни другой стороне, а во время второй фазы совершенно определенно желали поражения Германии; 3) по тому самому, они не имели намерения теоретически обосновывать желательность победы Германии, да еще «под углом зрения пролетариата»; 4) в дальнейшем столкновении они взяли «сторону Французской республики», хотя третировали en canaille ее буржуазных вождей—и с полным основанием; 5) оппозиция их отторжению Эльзас-Лотарингии была именно ожесточенной, и, более того, они являлись ее главными инициаторами в самой Германии, и 6) к Парижской Коммуне они отнеслись не только не отрицательно, но, с самого начала, разгадали ее крупное всемирно-историческое значение и, в меру сил своих, способствовали ее развитию и созданию вокруг нее благоприятной обстановки путем энергичного воздействия, в первую голову, на немецкий, а затем и на международный пролетариат.

Значит ли это, что Гарденин—злостный клеветник, что его тезисы действительно заслуживают той квалификации, которую он сам им дал на тот случай, если ему докажут, что они так же далеки от истины, как его окрошечный социализм от науки?

Нет, Гарденин—не «злостный клеветник». Нет, он сам лишь злостная клевета на революционный социализм.

Он просто не устоял против соблазна использовать это подлое время, когда всякие хамы справляют свой дикий танец по поводу последнего поражения пролетариата, чтобы нанести из-за угла новый удар первооснователям научного социализма. С аффектированной наивностью восьмилетнего ребенка он протягивает русским марксистам руку примирения. И со свойственным ему литературным благородством будет «нравственно» возмущаться, когда его протянутая рука повиснет в воздухе.

ВАЛЬЯН и МАРКС

I.

Вместе с Лафаргом прошедший через школу Прудона, Вальян точно так же, как и первый, отвергает после легализм и мютюэлизм автора «Философии нищеты», чтобы стать последовательным коммунистом и революционером. Но в то время, как Лафарг переезжает (в 1866 г.) в Лондон, под личным влиянием Маркса быстро проходит те фазы умственной эволюции, через которые прошел и Маркс, претворив и переработав прудонизм и реальный гуманизм Фейербаха; в то время, как Лафарг уже с 1866 г., как член генерального совета Интернационала, попадает в самую гущу международного рабочего движения,—Вальян, наоборот, проводит всю вторую половину шестидесятых годов в Германии, изучает там естественные науки и философию, вступает в близкие сношения с Фейербахом, чтобы только после близкого контакта с немецким и австрийским рабочим движением сделал дальнейшие выводы из ситемы Фейербаха,—выводы, которые Маркс и Энгельс сделали еще за 25 лет перед этим. Так, 25 декабря 1869 г. Вальян писал Фейербаху [1]), спеша поделиться с ним впечатлениями, вынесенными из последнего пребывания на родине:

«Я возвращаюсь из Франции, где имел возможность убедиться, что все мои надежды готовы осуществиться, что революция близка и что если она еще не вспыхнула, то только потому, что цель ее, более великая, чем когда-либо, требует большей подготовки и согласованности в действиях, чем когда-либо... Рабочий класс находится теперь по отношению к буржуазии в таком же положении, в каком она сама в 1789 г. находилась по отношению к дворянству и духовенству. Завоевав равенство, низший общественный слой, современный пролетариат, создаст раз навсегда республику. Вы показали ему пример. Вы низвергли богов христианства и теизма; пролетариат следует за вами и разрушает последнее воплощение зла: бога—Капитал. Кроме того, я надеюсь, что эта революция, столь же радикально-политическая, сколько и социальная, не

[1]) Во втором томе переписки Фейербаха имеются и другие письма Вальяна. Самое раннее из них относятся к маю 1864 г.

встретит вражды соседних народов, а, напротив, революционное соревнование, которого до сих пор не хватало и отсутствие которого, изолируя французское движение, лишало его успеха. В тот же день, когда вспыхнет во Франции революция, республика обеспечена в Италии, Испании, Бельгии. Я питаю большие надежды на движение в Германии: мне кажется, что с тех пор, как вы начали свою проповедь, ваши мысли должны были проникнуть в массы и научить их, что пора освободиться от символов и обратиться к действительности».

В июне 1870 г. Вальян присутствует в Штутгарте на конгрессе эйзенахцев и приветствует их от имени французских социалистов. Об'явление франко-прусской войны захватило его в Тюбингене. Сначала он думал остаться в этом городе, но шовинистическое настроение тамошних университетских кругов заставляет его уехать в Швейцарию, а оттуда в Париж. Сейчас же после провозглашения республики он, вместе с членами парижской секции Интернационала, выпускает прокламацию к немецкому народу, написанную в духе якобинских традиций 1792 г., и, вместе с Бланки, принимает самое деятельное участие в попытках заменить трусливое и блудливое правительство национальной обороны более надежным революционным и становится, после неудачи этих попыток, одним из наиболее репительных членов Коммуны [1]). Ему удалось спастись от преследований версальцев, и уже в июле 1871 г. мы находим его опять в Лондоне, где, вместе с другими бланкистами, он становится немедленно членом генерального совета Интернационала.

Свои мотивы Вальян об'ясняет нам в одном документе, изданном после гаагского конгресса. Вспомним, что, во время второй империи, бланкисты относились очень отрицательно к деятельности французской секции Интернационала и только незадолго до войны начали сближаться с интернационалистами. Больше всего привлекла их решительная и последовательная тактика генерального совета в 1870—71 г.г.

«С самаго начала войны 1870 г., генеральный совет нападал на политику грабежа и завоеваний, для которой вооружалась Пруссия, и указывал на опасность установления на развалинах бонапартистской империи не менее гнусной, но более молодой империи, поддерживаемой менее истаскавшейся буржуазией, луч-

[1]) Собственно к краткому периоду между 4 сентября 1870 г. и началом марта 1871 г. относится его совместная работа с Бланки. Как известно, последнему не пришлось принимать участия в Коммуне, а когда Вальян вернулся после амнистии 1880 г., Бланки уже доживал последние дни: он умер 1 января 1881 г

ше вооруженной против революции и представляющей самое крупное препятствие на пути к последней: Прусской империи.

«В то время, когда социальная революция была разбита в Париже, в то время, когда Парижская Коммуна пала под ударами свирепой буржуазии, которая хотела отомстить представителям пролетарского дела столь же кровавыми, сколько и безумными репрессиями за весь тот страх, который она испытала при виде опасности, грозившей ее социальным привиллегиям,—генеральный совет опубликовал свой манифест о гражданской войне, в котором, заявляя от имени Интернационала свою солидарность со всеми актами Коммуны, он об'яснял, с самой возвышенной точки зрения, смысл и величие революции 18 марта».

Так судил француз и горячий патриот Вальян о деятельности генерального совета во время франко-прусской войны, а всякие Ласкины всех наций и языков хотят нас уверить, что Маркс того времени был «пангерманистом» и немецким шовинистом!

Наоборот, ни в ком не нашел «пангерманист» Маркс такого верного союзника по борьбе с «романско-славянским» анархизмом, по борьбе с Гильомом и Бакуниным, как именно в Вальяне. На лондонской конференции (16—23 сентября 1871 г.) именно бланкисты—в особенности, Вальян—являются главными застрельщиками при проведении той резолюции, в которой старый Интернационал впервые формулировал не только необходимость для рабочего класса вести политическую борьбу, но и конституироваться в особую политическую партию с целью добиться торжества социальной революции.

На гаагском конгрессе (2—7 сентября 1872 г.), на котором произошел решительный бой с бакунистами, кончившийся исключением Гильома и Бакунина, именно Вальян энергичнее всего отстаивал те предложения, в которых, по словам бакунистов, особенно ярко выразился обуревавший Маркса дух «бисмаркизма» и «пангерманизма». Предложение внести резолюцию, принятую на лондонской конференции,—резолюцию, которая именно довела до последней крайности борьбу между Марксом и Бакуниным, в у с т а в Интернационала—это предложение было обосновано Вальяном. Оно гласит:

«В своей борьбе против коллективной власти имущих классов пролетариат может действовать, как класс, только конституировавшись, в свою очередь, как обособленная политическая партия, принципиально противоположная всем старым партиям, которые были образованы имущими классами. Это конституирование пролетариата в политическую партию необходимо для того, чтобы обес-

печить торжество социальной революции и ее конечной цели: уничтожения классов. Об'единение рабочих сил, уже достигнутое путем экономической борьбы, должно послужить в руках рабочего класса рычагом в его борьбе против политической власти его эксплоататоров. Так как владельцы земли и капитала всегда пользуются своими политическими привиллегиями, чтобы защищать и увековечивать свои экономические монополии и порабощать труд, то завоевание политической власти превращается в главную обязанность пролетариата».

Это предложение принято было 29 голосами против 5, при 8 воздержавшихся. После присоединили свои подписи и некоторые (6) из делегатов, которые были заняты в комиссиях и не могли принимать участия в голосовании, в том числе Маркс.

И из этих 35, при 11 немцах, на долю французов приходится 16 голосов, и среди них такие «пангерманисты», как Дерэр, Лафарг, Лонгэ, Курнэ, Раннье и сам Вальян.

II.

Но на том же гаагском конгрессе между Вальяном, с одной стороны, Марксом и Энгельсом, с другой, вспыхнул конфликт по совсем иному поводу. В силу целого ряда соображений, на которых мы теперь не будем останавливаться, Энгельс внес предложение перенести генеральный совет в Нью-Иорк, и это предложение прошло, несмотря на энергичный протест Вальяна и его ближайших товарищей. Теперь вопрос о том, кто был прав, имеет только исторический интерес. Во всяком случае, перевод генерального совета в Нью-Иорк, в страну, которая находилась вне арены наиболее развитого рабочего движения, означал более или менее близкую смерть Интернационала. Действительно, через четыре года последний и оффициально прекратил свое существование.

Вальян и его товарищи протестовали против этого решения в особой брошюре «Интернационал и революция», которую мы выше уже цитировали. Но они не ограничились одним лишь протестом: они заявили также о своем выходе из Интернационала, и, таким образом, в той борьбе, в которой проходит последний период существования Интернационала в Европе и в которой они—в течение 1870—1872 г.г.—стояли на стороне Маркса, они не принимали больше никакого участия, стараясь создать новую, именно национальную организацию, Commune Révolutionnaire, которая должна была действовать во Франции,—этой, как они выражаются в том же документе, стране par excellence вооруженной революции.

Но, разойдясь с Марксом политически, Вальян нисколько не изменил своих личных отношений к тому, кого Гильом и теперь еще, стараясь использовать благоприятную политическую конъюнктуру, изображает, как агент Бисмарка,—рецепт прекрасно усвоенный и русскими подражателями «старца с Юрской горы».

Лучше всего свидетельствует об этом следующее письмо Вальяна к Марксу, до сих пор неопубликованное. Оно писано 10 октября 1872 г.

«Дорогой гражданин! Я настолько опоздал со своим ответом, что даже не знаю, как мне извиниться, хотя я неповинен ни в индифферентности, ни в халатности. Я до такой степени был поглощен личными делами, что, со времени моего возвращения, не мог найти ни одной свободной минуты. Все это усложнилось переездом на новую квартиру и новым устройством, до сих пор еще незаконченным, так что я и теперь еще не знаю, когда смогу зайти к вам. В ожидании я горячо благодарю вас за присылку первого выпуска вашего труда и сожалею, что не мог этого сделать сейчас же устно. Но что мне в особенности хочется вам высказать, так это то, что я не хотел быть, чтобы вы думали, что события на гаагском конгрессе оставили малейший след в моей душе с точки зрения личной. Что бы ни случилось, я никогда не забуду ни вашего благожелательства, ни благожелательства вашей семьи по отношению ко мне и прошу вас быть уверенным в уважении и искренней привязанности совершенно вам преданного Эд. Вальяна.

«Передайте мой горячий привет вашей жене и дочерям. Сердечно жму руку Лонгэ».

Отношения эти и позже продолжали быть хорошими. Оставаясь формально в Commune Révolutionnaire, Вальян все больше втягивался в круг влияния идей марксизма. Вот почему Энгельс, подвергая всесторонней критике выпущенное бланкистами в 1874 г. воззвание, прибавляет:

«Это—первый манифест, в котором французские рабочие присоединяются к учениям современного немецкого коммунизма. И к тому же еще рабочие, которые считают французов избранным народом революции, а Париж революционным Иерусалимом. Эта заслуга принадлежит бесспорно Вальяну, одному из авторов этого воззвания и, как известно, основательному знатоку немецкого языка и немецкой социалистической литературы».

Вальян и дальше продолжал эволюционировать в сторону марксизма, но, и до конца дней своих, он оставался верен старому убеждению, что Франция—избранная страна революции. И, ко-

гда безжалостная история поставила опять на карту существование его отечества, старый революционер пошел, как ему казалось, по следам своего любимого учителя, великого «узника». Но история не повторяется. Если борьба, которую Бланки вел под лозунгом «отечество в опасности», могла еще питаться иллюзиями великой французской революции; если убеждение, что, не будь французская буржуазия до такой степени трусливой и подлой, Франция могла бы так же, как в 1792 г., прогнать les cohortes étrangères, дало французскому пролетариату возможность возместить недостаточную организованность силой революционной страсти, классовой ненависти к Тьерам и Трошю,—то новая борьба под тем же лозунгом велась и ведется в совершенно другой исторической обстановке, поглощая все силы и затрачивая всю энергию, накопленную французским пролетариатом со времени Коммуны. Великая «прекрасная Франция»,—которая в конце XVIII столетия,—с Вандеей в тылу, с «гражданской войной» между буржуазией и феодальной аристократией внутри страны,—справилась почти со всей Европой,—теперь, несмотря на «union sacrée», едва справляется с делом обороны. И тот самый Вальян, который служил для Второго Интернационала живым олицетворением революционной Коммуны, который на амстердамском конгрессе заявил, в полемике с Жоресом, что он никогда не откажется от классовой борьбы, чтобы соединиться с буржуазией, теперь со всей энергией отчаяния зовет на помощь товарищей по Интернационалу, с которыми он хотел перестроить мир, и, не находя «отклика», разражается проклятиями по адресу тех, кто не спешит выручать страну, подарившую миру Коммуну.

«Как мало нужно иметь критического отношения к Коммуне,—писал Энгельс по поводу бланкистской программы,—чтобы канонизировать ее, чтобы об'явить ее непогрешимой, чтобы утверждать, что каждый дом, который был сожжен, каждый заложник, который был расстрелян, заслужили вполне свою участь?».

Так Вальян хотел и в 1915 г., чтобы его товарищи по Интернационалу канонизировали его отечество, забывая, что время избранных народов прошло безвозвратно, забывая, что необходимой предпосылкой union sacrée между пролетариатами всех стран является «священная война» внутри каждой отдельной страны.... забывая, что национальный лозунг:—«мир своим дворцам и война чужим»—является только каррикатурой на боевой клич великой французской революции:—война в с е м дворцам и мир в с е м хижинам.

III

ИЗ ИСТОРИИ МАРКСИЗМА В РОССИИ

1
ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

(ГЕРЦЕН ПРОТИВ МАРКСА)

2
КАРЛ МАРКС И РУССКИЕ ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

3
ДВЕ ПРАВДЫ

4
МАРКС И Р. К. П.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

(ГЕРЦЕН ПРОТИВ МАРКСА)

I.

В своей статье «Karl Marx und Michael Bakunin» [1]) Эдуард Бернштейн вновь поднимает вопрос об их личных отношениях. Он указывает на причины, в силу которых Бакунин был уже в годы, предшествовавшие революции 1848 г., несимпатичен Марксу. Именно этой глубокой антипатией, которую Маркс питал к Бакунину, об'ясняется, по его мнению, и то обстоятельство, что в 1848 г. Бакунин мог быть об'явлен русским шпионом в органе Маркса и Энгельса «Neue Rheinische Zeitung».

«Ясно, что если кто-либо подхватывает столь тяжкое обвинение против лично известного ему человека и публикует его без предварительной проверки, то это одно указывает на очень сильное нерасположение или неуважение к этому человеку».

Мы не будем теперь подробно рабирать историю заметки в «Новой Рейнской Газете», в которой против Бакунина было выдвинуто обвинение, что он является агентом русского правительства. Как это видно будет из письма Маркса, которое мы дальше печатаем, он лично во всей этой истории совершенно неповинен, да и вина Энгельса, на которого, как и на остальных членов редакции, падает ответственность за помещение этой заметки, сводится к минимальным размерам: слух этот дошел до редакции из совершенно различных источников, и она сейчас же поспешила поправить свою оплошность.

Даже у Неттлау сомнение в искренности соответственного заявления Маркса основано только на уверенности, что именно Маркс является главным автором тех обвинений и клевет, которые с 1853 г. систематически направляются против Бакунина. Тому, кто не стеснялся самым циническим образом взводить на Бакунина обвинение в шпионстве тогда, когда последний изнывал и томился в казематах Шлиссельбурга,—тому, конечно, нельзя верить, несмотря на все его уверения, того остается только заклеймить, как клеветника и лицемера. И этот вывод делают и Неттлау, и Гильом, и Виктор Дав.

---

[1]) «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik». 1910.

Разница между ними и Бернштейном заключается только в следующем: что для названных анархистов является несомненным, вполне установленным фактом, то у Бернштейна превращается в весьма вероятный факт, для которого он старается подыскать психологическое об'яснение. Он не дает себе даже труда проверить инцидент в 1848 г., он принимает за данное личную вину именно Маркса, в котором указанные им выше психологические причины развили «склонность принимать на веру всякие подозрения, касавшихся политического характера Бакунина».

Поэтому, Бернштейн принимает без всякой критики и самое злостное обвинение, выдвигаемое против Маркса биографом Бакунина Неттлау. Но предоставим слово самому Бернштейну:

«Эта склонность не ослабела, повидимому, и за то время, пока Бакунин пребывал политическим узником в России. В своей полемической брошюре «Политическая теология Мадзини»,—Женева. 1871 г.,—Бакунин рассказывает, что когда он в 1862 г. впервые явился в Лондон после своего побега из Сибири, то Герцен и Мадзини сообщили ему о клеветнических подозрениях, распускавшихся там на его счет, в числе прочих и Марксом, вследствие чего он воздержался от посещения Маркса. Но когда он в 1864 г. вторично приехал в Лондон, то, по его словам, Маркс сам пришел к нему и уверял его, что он никогда не высказывал про него таких подозрений и даже прямо называл их гнусными. Мы должны поэтому принять, что все, рассказанное Бакунину Герценом и Мадзини, было дутой историей. Отпираться от сделанного когда-либо было не в характере Маркса. Из этого, впрочем, вовсе не следует, что эти слухи были нахватаны просто с ветру. Биограф Бакунина Неттлау, говоря о лондонском периоде его жизни, упоминает о «клеветах клики Уркарта, который стоял также близко к Марксу». Поэтому, дело было, по всей вероятности, так, что хотя Маркс и не повторял прямо подозрения Уркарта, но заявлял, что оно не совсем лишено всякого основания».

Итак, с одной стороны, нельзя не признать, но, с другой, все же должно сознаться, что Маркс был «склонен» клеветать на Бакунина. Так как, Бернштейн, немного иначе, но все же повторяет обвинение, формулированное Неттлау, то мы предпочитаем обратиться к первоисточнику, чтобы убедиться, действительно ли Маркс не стеснялся направлять против Бакунина другие клеветы и за то время, пока последний пребывал политическим узником в России.

Нетлау останавливается очень подробно на этом эпизоде в 20-й главе первого тома своей монументальной биографии Бакунина «Русские тюрьмы 1851—1857»:

«В течение этих лет тяжкого тюремного заключения, в Лондоне развертывалась форменная клеветническая кампания против Бакунина. Она продолжалась от 23 августа до 3 октября 1853 г. и началась статьей, подписанной инициалами Ф. М.,—«Русский агент Бакунин» в «Morning Advertiser» от 23 августа 1853 г. На другой день появился протест, подписанный Герценом, Головиным и Ворцеллем. 29 августа к этому протесту присоединился Мадзини. Маркс оказался вынужденным рассказать историю с «Новой Рейнской Газетой» и счел целесообразным заявить претензию на дружбу Бакунина. Указав на похвалы по адресу последнего, напечатанные им в «Нью-Йоркской Трибуне», он выставил себя до известной степени ангелом-хранителем Бакунина. Он говорил даже о своей «тесной дружбе» с Бакуниным, что, вероятно, далось ему не без большого труда» [1]).

Нетлау ненавидит Маркса так же страстно, как любит Бакунина. И эта страсть иногда совершенно ослепляет его. С поразительным, поистине, пчелиным прилежанием собирает он все сплетни против Маркса, чтобы изобразить его во всей его моральной испорченности. Чем гнуснее сплетня, чем менее она вероятна, тем более она пригодна для достижния главной цели. Характерно, что Нетлау, отвергающий всякие показания каких-нибудь свидетелей, направленные против Бакунина, как заведомо ложные, принимает за вполне достоверные показания тех же самых лиц, раз они направлены против Маркса.

Так и в этом случае. Главным источником служили для Нетлау воспоминания Герцена и Головина, которые он одинаково использует, несмотря на то, что они далеко не тождественны и не равноценны.

Головин играл в русской эмиграции сороковых и пятидесятых годов весьма жалкую роль. Бакунин в своих письмах характеризует его, как «настоящего chevalier d'industrie, escros et hâbleur de bonne maison». Приговор чересчур суровый. Только с большим трудом можно отыскать зерно истины в тех сплетнях, бессознательной, а иногда и заведомой лжи, которыми наполнены все статьи и воспоминания этой несчастной жертвы гнусного николаевского режима.

---

[1]) M. Nettlau, Band I, S. 128.

Герцен, наоборот, даже тогда, когда он пишет о ненавистных ему «немцах в эмиграции», остается на свой манер искренним летописцем. Он просто органически не в состоянии разобраться в тех фракционных разногласиях, которые раздирали немецкую эмиграцию в пятидесятых годах. Трагически окончившийся роман его жены с немецким поэтом Гервегом, который сыграл в этом случае далеко не завидную роль, определил отношения Герцена к тем, кого он считал солидарными с Гервегом, т.-е. к «марксидам». А затем личные отношения к семье Фогтов, в свою очередь, усиливали его антипатии к Марксу. Неудивительно, что глава из «Былого и дум», напечатанная его наследниками в «Сборнике посмертных статей» и написанная после конфликта между Марксом и Фогтом (в середине шестидесятых годов), не говоря уже о явной несправедливости по отношению к немецкой эмиграции, изобилует массой ошибок.

«Через год после моего приезда в Лондон шайка (термин, заимствованный у Фогта.—Д. Р.) еще раз возвратилась к гнусной клевете против Бакунина, тогда погребенного в Алексеевском равелине».

Человеком, с помощью которого был предпринят этот поход, был Давид Уркарт. Герцен дает характеристику этого «оригинала» и продолжает:

«Человек, думавший и открыто говоривший, что, от Гизо и Дерби до Эспартеро, Кобдена и Мадзини, все—русские агенты, был клад для шайки непризнанных немецких государственных людей, окружавших неузнанного гения первой величины Маркса. Они из своего неудачного патриотизма и страшных притязаний сделали какую-то Hochschule клеветы и заподозревания всех людей, выступавших на сцену с бо́льшим успехом, чем они сами. Им недоставало честного имени (!). Уркарт его дал. С Уркартом и публикой питейных домов вошли в «Morning Advertiser» марксиды и их друзья. Где пиво, там и немцы.—Одним добрым утром «Morning Advertiser» вдруг поднял вопрос: «Был ли Бакунин русский агент или нет?» Само собой разумеется, отвечал на него положительно. Поступок этот был до того гнусен, что возмутил даже таких людей, которые не принимали особенного участия в Бакунине.—Оставить это дело так было невозможно. Как ни досадно было, что приходилось подписать коллективную протестацию с Головиным, но выбора не было. Я пригласил Ворцелля и Мадзини присоединиться к нашему протесту. Они тотчас согласились. Казалось бы, что после свидетельства председателя польской демократической централизации и такого человека, как Мад-

зини, все кончено. Но немцы не остановились на этом.—Они затянули скучнейшую полемику с Головиным, который, со своей стороны, поддерживал ее для того, чтоб собою занимать публику лондонских кабаков».

Все это весьма сильно компрометирует «шайку Маркса», но, при ближайшем рассмотрении, все, что сказано здесь так категорически Герценом о Марксе, оказывается сплошным qui pro quo. Ни Маркс, ни «марксиды» не имели в это время никакого отношения к «Morning Advertiser».

Сам Маркс познакомился с Уркартом только в 1854 г. В «Morning Advertiser» он до того времени поместил—30 октября 1852 г.—только протест против отношения «Times'a» к кельнским коммунистам, вместе с Энгельсом, Фрейлигратом и Вольфом. Герцен к середине 60-х годов успел забыть, какую роль играл «Morning Advertiser» в 50-х годах, как самая радикальная и оппозиционная из ежедневных газет, дававшая гостеприимство всем континентальным эмигрантам для их заявлений. Именно поэтому ее не было «ни в клубах, ни у больших стэшионеров, ни на столе у порядочных людей», как довольно неожиданно прибавляет Герцен. Зато ее можно было встретить в демократических трактирах. Герцен забыл даже, что сам делал попытку поместить в ней свои статьи.

Из русских эмигрантов больше всего был связан с газетой Головин. Ни Уркарт, ни его последователи не пользовались в газете монопольным положением. Сама редакция, как мы еще увидим, во всем этом инциденте держалась вполне нейтрально и предоставила свои столбцы обеим сторонам в интересах выяснения истины.

Мало того, весь сыр-бор загорелся из-за статьи Головина, который в номере от 19 августа 1853 г., в статье, посвященной императору Николаю, упомянул об одной его жертве—о Бакунине.

В ответ на эту статью, 23 августа 1853 г. в «Morning Advertiser» появилось письмо к редактору: «The russian agent Bakunin». Мы приводим это письмо целиком.

«Уважаемый сэр!

«Одно обстоятельство, о котором упоминает ваш корреспондент «Русский в Лондоне» в вашей газете от 19 августа, заставляет меня усомниться в точности сведений, приводимых в этой статье. Автор говорит, «теперь Николай удовлетворяет свою месть на Бакунине, которого он обязался перед Австрией держать в тюрьме». Так вот, я вообще имею основание думать, что Бакунин вовсе не сидит в тюрьме; он скорее служит в армии на Кавказе или на-

ходится на царской службе в турецких провинциях. Он слишком ценное орудие, чтобы держать его в тюрьме. Царю стоило больших усилий спасти его от заслуженной казни, еще большего труда освободить сначала из саксонской, а после из богемской крепости.

«20 августа 1853 года.

«Ваш покорный слуга Ф. М.».

На следующий день появился, как уже выше было упомянуто, протест, подписанный Головиным и Герценом, к которому присоединился и Станислав Ворцелль от имени центрального польского демократического комитета. Уже в этом письме сквозит убеждение, что Ф. М.—немец. Авторы указывают, что клевета Ф. М. не является новостью, что она уже раньше появилась в одной немецкой газете, сославшейся на Жорж Занд. В заключение они требуют, чтобы Ф. М. назвал себя.

Но аноним упорно отказывался сделать это. 27 августа, рядом с апологией Бакунина, появляется опять-таки письмо Ф. М., в ответ на протест Головина и Герцена, где аноним доказывает, что Россия, сама застрахованная от революционных идей, всюду сеет, через своих агентов, семена революции.

29 августа Головин и Герцен отвечают ему. Мадзини опять присоединился к их протесту. Между прочим, они пишут: «Защитники Бакунина называют себя; его обвинитель продолжает скрываться под инициалами, которые, возможно, даже не принадлежат ему («accuser continues to conceal himself behind initials which possibly mag not be his own»).

31 августа помещен был протест Арнольда Руге, а 2-го сентября появилось следующее письмо Маркса.

«Издателю «Morning Advertiser».

«Уважаемый сэр!

«Господа Герцен и Головин впутали в полемику, завязавшуюся между ними и Ф. М. по поводу личности Бакунина, издававшуюся мною в 1848—49 г.г. «Новую Рейнскую Газету». Они рассказывают английской публике, что клевета против Бакунина имеет своим исходным пунктом эту газету, которая даже «осмелилась» сослаться на свидетельство Жорж Занд. Я не придаю никакого значения инсинуациям Герцена и Головина. Но так как это может послужить к выяснению вопроса о личности Бакунина, то вы позволите мне изложить здесь действительные факты.

«5-го июля 1848 г. «Новая Рейнская Газета» получила два письма из Парижа. Одно письмо—литографированная корреспонденция агентства Гавраса, другое—частное сообщение одного польского эмигранта, не имевшего ничего общего с первым источником.

Оба утверждали, что Жорж Занд имела в своем владении бумаги, которые доказывали, что Бакунин недавно вступил в сношения с русским правительством. «Новая Рейнская Газета» опубликовала 6-го июля письмо своего парижского корреспондента.

«Бакунин, со своей стороны, заявил в «Новой Одерской Газете», что еще до появления парижской корреспонденции в «Новой Рейнской Газете» такие слухи тайно циркулировали в Бреславле, что они шли из русского посольства и что он лучше всего может ответить на них, апеллируя к Жорж Занд.

«Его письмо к последней было опубликовано одновременно с его заявлением. «Как одно, так и другое были сейчас же опубликованы в «Новой Рейнской Газете» («Neue Rheinische Zeitung», Juli 1848 г.).

«3 августа 1848 г. «Новая Рейнская Газета» получила через посредство Косциельского от Бакунина письмо Жорж Занд, адресованное редакции, которое было напечатано в тот же день со следующими сопроводительными замечаниями:

— «В № 36 нашей газеты мы сообщили циркулировавший в Париже слух, согласно которому Жорж Занд имеет в своем распоряжении бумаги, разоблачающие русского эмигранта Бакунина, как агента императора Николая. Мы опубликовали это сообщение, так как получили его одновременно от двух независимых друг от друга корреспондентов. Мы выполнили таким образом долг политической печати, которая обязана зорко следить за общественными деятелями, и дали таким образом повод Бакунину опровергнуть подозрение, которое поднято было против него в известных парижских кругах. Мы также перепечатали из «Новой Одерской Газеты» заявление Бакунина и его письмо к Жорж Занд, не ожидая с его стороны просьбы об этом. Ниже мы приводим буквальный перевод письма, адресованного Жорж Занд редактору «Новой Рейнской Газеты». Это письмо вполне улаживает все это дело» («Neue Rheinische Zeitung», 3 августа 1848 г.).

«В конце августа я был проездом в Берлине, встретился там с Бакуниным и возобновил тесную дружбу с ним, которая нас связывала до взрыва февральской революции.

«В № от 13 октября 1848 г. «Новая Рейнская Газета» напала на прусское министерство за то, что оно изгнало Бакунина и пригрозило ему выдачей России, если он осмелится еще раз вернуться в Пруссию.

«В № от 14 февраля 1848 г. «Новая Рейнская Газета» поместила передовую статью о брошюре Бакунина «Воззвание к славянам».

«Статья эта начиналась следующими словами: «Бакунин наш друг, но это не доложно нас удержать от того, чтобы подвергнуть его брошюру строгой критике».

«В моих письмах в «Нью-Иоркскую Трибуну» о «Революции и контр-революции в Германии» я, насколько мне известно, был первым немецким писателем, который воздал Бакунину должную справедливость за его участие в нашей революции и в особенности в дрезденском восстании. Вместе с тем я выразил свое негодование и против немецкой прессы и против немецкого народа за тот крайне трусливый способ, каким они выдали Бакунина его и своим врагам.

«Так как Ф. М. одержим навязчивой идеей, что революции на континенте способствуют успеху тайных планов России, то он должен, если только он претендует на какую-нибудь логическую последовательность, об'явить не только Бакунина, но и всякого континентального революционера русским агентом. В его глазах сама революция есть русский агент; почему же не Бакунин?

«Преданный вам Карл Маркс.

«Лондон, 31 августа 1853 г.».

Утверждать после этого письма, что Маркс был инициатором клеветнической кампании против Бакунина, можно только в том случае, если мы примем, что Ф. М. был сам Маркс, как это предполагает Герцен и как это категорически заявляет Виктор Дав,— или его фактотум, за которым скрывался Маркс, как это думает Неттлау.

«Маркс, следовательно, выступает, как это вытекает из этих документов, не непосредственно, как клеветник против Бакунина».

И, со всей проницательностью белоснежной голубицы Неттлау, прибавляет:

«Основываясь на его позднейшем образе действий, я вижу причину этого, главным образом, в том, что Маркс был слишком умен, чтобы так себя компрометировать».

Трудно найти более характерное доказательство той научной беспомощности и отсутствия всякой критики, с которыми Неттлау составил из собранных им отовсюду неизданных статей, писем и воспоминаний Бакунина свой колоссальный труд.

Ф. М. есть Карл Маркс или его фактотум! Действительно, нужно быть очень «умным», чтобы анонимно пустить в обращение клевету, публично ее опровергнуть и затем дальше продолжать свою клеветническую кампанию! Разве не ясно после этого, что бедный Бакунин был жертвой этого мастера клеветы и вероломства?

Мы сейчас увидим, кто был этот загадочный Ф. М., а пока вернемся к полемике на столбцах «Morning Advertiser». 24 сентября 1853 г. в этой газете появилась статья «Russian agency and intrigues in cabinets and clubs», которая несомненно принадлежит Уркарту.

Здесь вопрос ставится на принципиальную почву. Именно страх перед революцией укрепляет зависимость всех континентальных государств от России. Таким образом, революция является главным орудием России, которая для этой цели содержит всюду своих агентов. Поэтому возражение, что Бакунин не агент, потому что он революционер, не выдерживает никакой критики. Он не может быть русским агентом, потому что он революционер,—а, между тем, именно это и утверждает противная сторона: он русский агент, потому что он революционер».

Эта статья вызвала негодующий ответ со стороны Альфреда Б. Ричардса [1]): «Михаил Бакунин и его обвинитель». Несмотря на то,—пишет он, между прочим,—что «Арнольд Руге, Карл Маркс, Ворцелль, Герцен, Иван Головин засвидетельствовали не только честность, но и тюремное мученичество Бакунина», аноним продолжает упорно стоять на своем и отказывается раскрыть свои инициалы.

Читатель видит, что для Ричардса Карл Маркс и Герцен одинаково являются защитниками чести Бакунина.

Таинственный Ф. М., однако, ограничился только повторением, что Бакунин сидит не в тюрьме, а наслаждается горным воздухом на Кавказе, на возражение же Маркса, что Бакунин принял деятельное участие в дрезденском восстании,—победоносно ответил, что именно дрезденское восстание нанесло смертельный удар германской свободе и, быть может, навсегда скрепило узы, в которых Россия держит Германию.

Неттлау пропустил этот ответ, иначе бы он, не находящий достаточно резких негодующих слов по адресу редакции «Morning Advertiser», заметил бы следующую редакционную заметку:

«Мы вынуждены закрыть наши столбцы для дальнейших писем на эту тему. Лично мы совершенно незнакомы с тем, кто является предметом этого спора, но все презумпции—мы должны это признать—говорят в его пользу, если столько лиц, без всякого предварительного соглашения, сходятся в его защите» [2]).

---

[1]) Известный писатель по военным вопросам, с 1870 г. ставший редактором «Morning Advertiser», вместо Джемса Гранта, редактировавшего газету и в 1853 г.

[2]) «But the presumptions, we must say, are in his favour, when so many persons, without concert come forward in his vindication».

Так кончилась клеветническая кампания, затеянная Марксом против Бакунина в «Morning Advertiser». Мы видим, что кампанию против Бакунина вели во всяком случае не немцы, как утверждает Герцен, что Маркс так же энергично протестовал против Ф. М., как и другие авторы писем в «Morning Advertiser».

III.

Но чем же об'ясняется в таком случае убеждение Герцена и других, что за инициалами «Ф. М.» скрывался Маркс?

Дело в том, что за инициалами «Ф. М.» скрывался действительно Маркс, но только не Карл. Поистине, Федот, да не тот. Через посредство Головина, тесно связанного с редакцией «Morning Advertiser», Герцен, вероятно, после узнал, что за «Ф. М.» скрывался тоже какой-то Маркс, и к середине 60-х годов, когда он писал свои воспоминания, под впечатлением «клеветнической кампании» главаря шайки марксидов против К. Фогта, он совершенно забыл, что за «Ф. М.» скрывался, действительно, Маркс, но другой. Наоборот, Головин, который в своей книге «Русский нигилизм и мои отношения к Герцену и Бакунину» рассказывает об этом инциденте, нисколько не смешивая этих двух Марксов, хотя тоже совершенно забыл, кто был второй Маркс. Именно это обстоятельство дает Неттлау возможность подвергнуть сомнению показание Головина и сделать свое глубокомысленное предположение.

«Кто был этот Ф. М.,—пишет он,—из «Morning Advertiser'а» —установить нельзя. Головин в «Русском нигилизме» говорит, что это был лошадиный барышник Ф. Маркс; в своих «Записках», однако, он уже пишет о «Ф. Марксе, а не Карле» там, где речь должна итти тоже о Ф. Марксе, иначе его замечание «не Карл» не имеет никакого смысла» [1]).

Бедный Неттлау! Его мозг настолько находится во власти все той же навязчивой идеи, что ему даже не приходит в голову мысли, что во втором случае у Головина назван Макс а не Маркс просто потому, что вмешалась всесильная «опечатка». Мы можем теперь сообщить ему точно, кто был этот таинственный Ф. М.

Это был действительно Маркс, но не немец, а чистокровный англичанин, занесенный даже в дворянскую родословную книгу. Это был Francis Joseph Peter Marx, Esquire of Arle Bury. Френсис Джосиф Питер Маркс, сквайр из Эрль Бюри.—состоятель-

[1]) Nettlau, Band I, Kapitel 20 примечание: № 825.

ный землевладелец, следовательно—имевший несомненно лошадей, родившийся в 1816 г. и умерший в 1876 г. [1]). Не подлежит сомнению, что Маркс (Френсис, не Карл) вращался и очень хорошо себя чувствовал в кружке Уркарта. Как показывает его некролог в органе Уркарта «Diplomatic Review» (1877, January), он, в течение более сорока лет был одним из ближайших сотрудников Уркарта и принадлежал к числу самых близких друзей его и его семьи. Имеется указание, что он доставлял часть средств на издание тех органов, в которых Уркарт вел свою полемику против Пальмерстона и России. Но он был и литератором. Ему принадлежат, между прочим, памфлеты, направленные против России, как, например, «Тихий океан и Амур», Лондон, 1861 г., и «Крепостной и казак». («Очерк положения русского народа»), Лондон, 1854 г. (по Гакстгаузену). Он же перевел на английский язык известный памфлет Фишеля—«Деспоты, как революционеры»,—который приписывали тогда герцогу Кобургскому.

Что Маркс (Френсис, а не Карл) находился в близких сношениях и с немцами, тоже не подлежит сомнению. С весны 1853 г. начинается тесное сближение Лотара Бухера, будущего друга и душеприказчика Лассаля, а затем агента Бисмарка, с кружком Уркарта, и очень скоро автор книги «Парламентаризм, как он есть», в которой заметно такое сильное влияние идей Уркарта, становится к последнему в такие же близкие отношения, как и Маркс (Френсис, а не Карл [2]).

Что в кружке Уркарта еще в 1859 г. были твердо убеждены, что Бакунин не сидел в тюрьме, что русское правительство распространяло этот слух для отвода глаз, что на самом деле Бакунин наслаждался жизнью на Кавказе,—видно из воспоминаний Юлия Фребеля [3]), который хвастливо рассказывает, как ему удалось в Лондоне у подвыпивших Герцена и Огарева выведать, что Бакунин проделал только фиктивное тюремное заключение.

Если бы Неттлау дал себе труд более внимательно просмотреть «Free Press» и «Diplomatic Review» он нашел бы там «Письма об Интернационале («Diplomatic Review», January 1872 г.), из которых он увидел бы, что Уркарт и в 1872 г. был так же твердо убежден, что Бакунин—русский агент, как и в 1853 г. Правда,

---

[1]) Bernard Burke.—«A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain and Ireland», London, 1886. Том II, стр. 1238.

[2]) Ср. «Note on Lothar Bucher». «Diplomatic Review», October 1873.

[3]) Julius Fröbel.—«Ein Lebenslauf», Band II, SS. 140—141. Когда-то большой радикал, приятель Гервега, издатель демократических газет и поставщик нелегальной литературы для Германии, Ю. Фребель закончил свою карьеру вполне «образумившимся» человеком (1805—1893).

для него и весь Интернационал, как и чартизм 30-х и 40-х годов, был делом рук тех же русских агентов. А так как в его безумии был метод, то он вполне последовательно считал тогда русским агентом и столь ненавистного нашему Неттлау Утина, главного противника Бакунина!

Правда, если бы Неттлау знал все это, он все же задумался бы немного прежде, чем повторить слова Герцена, который так безбожно перепутал все факты. В подтверждение слов Герцена, что Маркс (Карл, а не Френсис) был чуть не alter ego Уркарта, Неттлау приводит две цитаты.

Первое доказательство—ссылка на «Herr Vogt», именно на то примечание, в котором Маркс (Карл, а не Френсис) касается своих отношений к Уркарту:

«Сочинения Уркарта о России и против Пальмерстона заинтересовали меня, но не убедили. Чтобы составить себе определенное мнение, я подверг отчеты Ганзарда о парламентских прениях и синие книги от 1807 до 1850 г.г. внимательному анализу. Первым плодом этих занятий явился ряд передовиц в «New-York Tribune» (конец 1853 г.), в которых я доказал связь Пальмерстона с петербургским кабинетом на основании его действий по отношению к полякам, туркам, черкесам и т. д. Вскоре после того, я перепечатал эти статьи в «Peoples Paper», в органе чартистов, выходившем под редакцией Эрнста Джонса, и прибавил к ним новые главы о деятельности Пальмерстона. Тем временем «Glasgow Sentinel» перепечатал одну из этих статей («Пальмерстон и Польша»), которая привлекла внимание Д. Уркарта. После свидания, которое я имел с ним, он предложил г. Теккеру в Лондоне издать часть моих статей в форме памфлетов».

Итак, до и во время «клеветнической кампании» Маркс еще не был знаком с Уркартом. Только в 1856 и в 1857 г.г. он напечатал в «Free Press» свои статьи о дипломатической истории XIX столетия.

Но не потому, что Уркарт «убедил» его, а потому что «Free Press,—орган, посвященный изучению внешней политики,—был единственным органом, который согласен был поместить эти статьи, направленные против внешней политики английского правительства.

Второе доказательство: Энгельс восхваляет Уркарта! Следует указание на известную статью Энгельса «Внешняя политика русского царизма» в английском журнале «Time» (Лондон, 1890). Так как параграф, на который указывает Неттлау,

отсутствует в немецком тексте [1]), то мы приводим его целиком. Читатель увидит, как Энгельс восхваляет Уркарта и, вместе с тем, получит яркую характеристику и Уркарта, принадлежащую самому близкому другу Маркса.

«Нет никакой возможности писать в Англии о русской внешней политике, не упоминая при этом имени Давида Уркарта. В течение пятидесяти лет он неустанно работал над тем, чтобы познакомить своих соотечественников с целями и путями русской дипломатии. Хотя он до совершенства овладел своим предметом, он, однако, за все свои труды пожал только насмешки и приобрел репутацию невыносимо скучного человека. Так, впрочем, филистер называет всякого человека, который упрямо держится за неинтересные, хотя и очень важные, вещи. Во всяком случае, Уркарт, ненавидевший филистера, хотя он и не понимал его исторической неизбежности, должен был потерпеть неудачу. Он был торием старой школы и стоял перед лицом того очевидного факта, что в Англии до того времени одни только тории оказывали действительное сопротивление России, тогда как тактика либералов в Англии, как и за границей,—включая все революционное движение на континенте, регулярно вела к дальнейшему укреплению России. Он был убежден поэтому, что всякий, кто хочет оказать серьезное сопротивление захватнической политике России, должен прежде всего быть торием (или турком) и что каждый либерал и революционер, сознательно или нет, является орудием русской политики.

«Постоянное занятие русской дипломатией привело к тому, что он видел в ней нечто всемогущее, единственную действенную в современной истории силу, в руках которой все остальные правительства являются только пассивными орудиями. Трудно было бы поэтому понять, каким образом, если бы не было сопротивления Турции, о силах которой он имел такое же преувеличенное представление, всемогущая русская дипломатия уже давно не овладела Константинополем. Чтобы свести таким образом всю современную историю со времени французской революции к дипломатическому шахматному турниру между Россией и Турцией, в котором все остальные государства играли роль шахматных фигур в руках России, сам Уркарт должен был разыгрывать из себя что-то в роде восточного пророка, который не только сообщал простые исторические факты, но еще возвещал на таинственном, сверхдипломатическом языке свое эзотерическое учение с наме-

---

[1]) А также в русском, который был помещен в плехановском «Социал-Демократе».

ками на факты, не всем известные и даже вообще с трудом устанавливаемые, и, как безошибочное средство против превосходства русской дипломатии над английской, рекомендовал восстановление старого суда над министрами и замену кабинета министров тайным советом. Уркарт был человеком с большими заслугами и, кроме того, типичным англичанином старого образца, но русские дипломаты могли бы сказать: если бы Уркарта не было, его надо было бы изобрести!»

Так восхваляет Энгельс Уркарта!

Мы будем иметь случай более подробно коснуться отношений между Уркартом и Марксом (Карлом, а не Френсисом). Личное их знакомство было совершенно мимолетным, они слишком резко расходились во всех своих взглядах, да и трудно было бы Марксу, другу Джонса и других чартистов, сойтись с человеком, который был убежден, что весь чартизм тоже продукт деятельности русских агентов. Но как Энгельс, так и Маркс не могли из-за чудачеств Уркарта просмотреть его крупные заслуги в области разоблачения русского царизма и решительные выступления в защиту Польши, Кавказа, Ост-Индии и других стран.

Мы приходим теперь к развязке этой «комедии ошибок», автором которой с таким успехом выступил, используя данный ему Герценом сюжет, наш добросовестный, но и весьма фантастический, летописец анархизма. Мы видим, как неосторожно поступил Бернштейн, приняв на веру обвинения Нетлау и Виктора Дава. Вся история, с таким треском и шумом состряпанная «серьезными» историками анархизма, целиком нахватана с ветру. И Маркс—Карл, а не Френсис—был вполне искренен, когда в 1864 г. уверял Бакунина, что «никогда не высказывал про него таких подозрений и даже прямо называл их гнусными».

КАРЛ МАРКС и РУССКИЕ ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

I.

Вместе со всей германской демократией сороковых годов, Карл Маркс всегда был непримиримым врагом оффициальной России. Но он очень долго, до конца шестидесятых годов, относился, если не враждебно, то очень скептически и недоверчиво также и к оппозиционной России.

В основе этой глубокой, устойчивой антипатии лежало не только теоретическое предубеждение против «славян», которое Маркс, как и Энгельс, в значительной степени унаследовал от германских радикалов, хотя оба они никогда не отрицали за русскими славянами ни права, ни способности на звание «исторического» народа.

Наоборот, основатели научного социализма, несмотря на то, что взгляды их в этом пункте подвергались изменениям, все же признавали, что русские славяне призваны сыграть более крупную историческую роль, чем другие славяне, но они относили ее к более позднему будущему.

Пока же, в наличной действительности, факт несокрушимого господства «государства» над «обществом», не вызывавший, по их мнению, никаких протестов из среды масс, вычеркивал Россию из списка тех стран, в которых коммунисты, отказываясь от осуществления своих «конечных целей», могли, однако, принимать участие в оппозиционном движении, направленном против существующего политического порядка. Представители такой оппозиции в России являлись, с этой точки зрения, «продуктом чужеядного творчества», переноса задач, выдвинутых западно-европейским развитием, в совершенно чужую им среду.

И личный опыт Маркса и Энгельса, казалось им, только подтверждал это теоретическое предубеждение. Свидетельство самого Маркса показывает, что его недоверие к русским революционерам являлось результатом также личного знакомства с ними и неоднократного разочарования. Так, в одном из писем к другу своему

Кугельману, Маркс, сообщая ему, что готовится русский перевод «Капитала», вспоминает при этом свои прежние встречи с русскими в Париже:

«По какой-то иронии судьбы, именно русские, на которых я в течение 25 лет неустанно нападаю не только в немецкой, но и французской, а также английской прессе, всегда были моими доброжелателями». В 1843—44 гг., в Париже русские аристократы носили меня на руках. Мое сочинение против Прудона (1847 г.[1]), а также книга, вышедшая у Дункера (1859 г.[2]), нигде не нашли такого большого сбыта, как в России. И первая чужеземная нация, которая переводит «Капитал», это—опять-таки русские. Но этому, конечно, нельзя придавать большого значения. Русская аристократия в молодые годы учится в немецких университетах и в Париже. Она жадно набрасывается на самое крайнее, что ей в состоянии дать Запад. Для нее это—просто тонкое лакомство. Такое же явление мы встречаем и среди части французской аристократии в XVIII столетии. Как говаривал тогда Вольтер о своей просветительной деятельности: «ce n'est pas pour les tailleurs et les bottiers» («это не для портных и не для сапожников»). Все это нисколько не мешает тем же самым русским, как только они поступают на государственную службу, превращаться в негодяев»[3]).

Приговор Маркса не отличается мягкостью. Но был ли он справедлив? Не говорит ли тут только одна ненависть «немца» к «славянам», диктовавшая Марксу такие же злые строки о русских, какие писал после «славянин» Герцен о «немцах в эмиграции»?

Этот любопытный вопрос можно было бы выяснить только в том случае, если бы нам удалось установить, с какими «русскими аристократами» имел тогда дело Маркс. И в то же время решение этого частного вопроса помогло бы нам попутно выяснить и другой вопрос, а именно: существовало ли какое-нибудь непосредственное идейное воздействие взглядов Маркса на людей сороковых годов, и в какой форме оно могло проявиться или действительно проявилось?

Что Маркс не имел в виду именно Бакунина, тоже принадлежавшего тогда в Париже к «русским аристократам», видно уже из того, что он его не называет, хотя имя его само собой напрашивалось. Маркс, несомненно, не преминул бы сделать это в пись-

---

[1]) «Misère de la philosophie». Paris—Bruxelles, 1847 г.

[2]) «Zur Kritik der politische Oekonomie». Berlin. 1859 г.

[3]) Письмо от 12 октября 1868 г. «Neue Zeit», XX (1902), Band 2, стр. 2-4.

ме к Кугельману, с которым он охотно делился фактами и впечатлениями из своей деятельности в Интернационале,—если бы его суровый приговор относился именно к Бакунину или только хотя бы отчасти к нему. Ни в сороковых годах, ни после наш «апостол разрушения», при всем его почтении к учености и гению Маркса, не принадлежал к числу восторженных поклонников, о которых пишет Маркс. Несомненно, что были другие «русские аристократы», которые в своих поисках за «последним словом» европейского просвещения обращались и к известному тогда среди русских левых гегельянцев и фейербахистов соредактору Арнольда Руге по изданию «Deutsch-Frazösische Jahrbücher». Мы должны их поэтому искать среди русских эмигрантов и путешественников сороковых годов.

Следует оговориться, однако, что Маркс чересчур суживает хронологический цикл своих знакомств с «русскими аристократами». Они вовсе не относятся только к 1843—1844 гг., как это можно было бы заключить, опираясь на буквальный текст его письма к Кугельману. Напротив, эти встречи и знакомства, начавшись в 1843—44 гг., продолжались и после изгнания Маркса из Парижа и переезда его в Брюссель. Они поддерживались через посредство Энгельса, подолгу живавшего в Париже, да и вновь завязывались россиянами, проезжавшими через Брюссель.

Если для романтиков двадцатых годов главным пунктом притяжения за границей является Геттинген, если для «идеалистов тридцатых годов» им служил Берлин, то уже в начале 40-х годов, вместе с протестом против правоверного гегельянства и ослаблением «галлофобии», наиболее активные элементы русской интеллигенции начинают стремиться в Париж, в «страну Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и, в особенности, Жорж Занд». Пребывание в Берлине становится менее привлекательным и потому еще, что кратковременная «весна» начала сороковых годов в Пруссии очень скоро сменилась новым пароксизмом реакции. Не случайность, что тяга в Париж охватывает в это время с особенной силой также и немецкую интеллигенцию.

А для россиян Париж, долгое время составлявший после июльской революции запретный плод, вкусить от которого дозволялось только немногим счастливцам, получившим на то специальное разрешение от попечительного начальства, представлял сугубый интерес. На континенте это было тогда единственное место, где можно было наблюдать картину горячей парламентской борьбы в более или менее крупном масштабе; где можно было без особенных внешних помех познакомиться с богатой литературой

по социальным вопросам; где можно было не только по книгам, но и на собраниях и в непосредственном личном общении познакомиться с тогдашними корифеями французского социализма. Конечно, известную роль играло и то обстоятельство, что нигде тогда нельзя было с таким удобством соединять «полезное» с «приятным», а репутация «современного Вавилона», установившаяся за Парижем, только увеличивала тяготение к нему наших «лишних людей».

К сожалению, лишь с большим трудом можно теперь определить личный состав тогдашней русской колонии в Париже. Кое-какие указания может нам дать Анненков, оставивший в своих воспоминаниях столь часто цитируемое описание Маркса. Мы увидим ниже, что в этих воспоминаниях, несмотря на их, повидимому, фотографическую точность, встречается и немало ошибок и немало неправды. Во всяком случае, данные, приводимые Анненковым, могут послужить для нас отправным пунктом при исследовании вопроса, с какими «русскими аристократами» мог встречаться в Париже Маркс [1]).

II.

«Когда я прибыл в Париж по весне 1846 г., я уже застал там целую русскую колонию с главными и выдающимися ее членами, Б. и С—вым, занятую непрерывным искании и обсуждением бытовых, исторических, философских и всяких вопросов, какие постоянно возбуждала общественная жизнь Парижа при либеральном короле Людовике-Филиппе» [2]).

Б. — это Бакунин, С — в — Сазонов. Бакунин переселился в Париж из Швейцарии в июле 1844 г., Сазонов основался там еще раньше.

Кроме показания Анненкова, мы имеем еще свидетельство А. Я. Головачевой-Панаевой, жившей вместе со своим мужем, И. И. Панаевым, в Париже осенью 1844 г. Она дает нам возможность заглянуть в жизнь русской колонии в Париже в то время, когда там жил еще Маркс.

---

[1]) Специальная глава, посвященная проф. Emile Haumont («La culture française en Russie». Paris, 1900 г., стр. 392—403) «русским посетителям Парижа при Луи-Филиппе», не дает ни одного нового указания. В отличие от М. Неттлау, который в своей монументальной биографии Бакунина не ограничился только русскими данными и постарался использовать также французскую и немецкую литературу, Haumont не сделал даже попытки разработать современную французскую литературу и вопрос о русской эмиграции в Париже оставил совершенно в стороне.

[2]) П. В. Анненков. «Литературные воспоминания и критические статьи». Часть третья. Спб., 1881 г., стр. 154.

«Дешевый ресторан, куда мы ходили обедать, сделался сборным пунктом русских путешественников. Часто удостаивал являться туда Сазонов, уже четыре года как поселившийся в Париже. Он корчил аристократа, брюзжал на то, что невозможно обедать в таком кабаке, сердился на гарсона за то, что тот плохо ему сервирует обед, заказывал себе всегда дорогие блюда. Между Сазоновым и Бакунинным происходили горячие споры о французской политике» [1]).

Головачева называет также В. П. Боткина, который в то время был еще в очень близких отношениях с Бакуниным. Во время споров последнего с Сазоновым он, по ее словам, был мучеником. Ему всюду мерещились шпионы, в каждом посетителе, обедающем одиноко за столом, он готов был видеть шпиона и страшно сердился на спорящих. «Его воображение разыгрывалось иногда до того, что он от страха убегал из ресторана». Что Боткин действительно жил тогда в Париже и вращался не только среди русских, но и немцев, видно также из письма Арнольда Руге к Флейшеру (23 ноября 1844 г.), где, говоря об одном немце, он пишет, что последний «не хуже Боткина и лучше большинства других приятелей и собутыльников Бакунина» [2]).

Показания Головачевой и, в известной степени, также и мужа ее, Панаева, не всегда отличаются правдивостью. В них чересчур силен элемент сплетни; но, если им нельзя доверять там, где речь идет о содержании идейных разногласий, то чисто внешние черты Головачева хорошо улавливает и запоминает. Кроме названных, Головачева и Панаев [3]) указывают еще Николая Гавриловича Фролова, известного переводчика «Космоса». Но он, как и Кудрявцев, жил в Париже затворником и слишком мало интересовался всем, что лежало вне сферы его специальных научных интересов, как это видно и из его писем к Огареву, опубликованных вместе с письмами других приятелей Герцена и Огарева в «Русской Мысли».

С помощью этой переписки мы можем установить, что Н. М. Сатин жил в Париже весной 1844 г. (в письме от 3 марта 1844 г. он указывает Боткина, Сазонова, Фролова) и после опять туда приезжал из Берлина в марте 1845 г.; что Огарев, которого Головачева якобы видела осенью 1844 г. в Париже, на самом деле попал туда только осенью 1845 г. и в январе 1846 г. уже вернулся в Бер-

---

[1]) «Воспоминания А. Я. Головачевой». «Исторический Вестник». 1889 г., март, стр. 555.

[2]) Arnold Ruge's. «Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825—1880», Band I, стр. 375.

[3]) Панаев, И. И. «Литературные воспоминания». «Собрание сочинений». Том шестой. Спб., 1888 г., стр. 228—31, 233—34.

лии [1]). Если прибавить еще Мельгунова и какого-то помещика Клыкова, рассказами о похождениях которого в Париже Панаев смешил после своих московских друзей, то ими, повидимому, замыкается круг тех лиц, с которыми Маркс мог встречаться в Париже до своей высылки в январе 1845 г.

С кем же именно из этих «русских аристократов» был знаком Маркс?

Вспомним, что он приехал в Париж в ноябре 1843 года: что первый (двойной) и последний выпуск «Deutsch-Französische Jahrbücher» вышел в марте 1844 г. [2]); что уже в мае 1844 г. произошел раскол между ним и Руге: что, кроме усиленных работ по истории конвента, которую он собирался тогда написать, Маркс с головой ушел в занятия по истории социализма и осенью 1844 г. пишет свой большой памфлет против братьев Бауэров и компании [3]). Такая интенсивная работа исключала для него возможность принимать слишком деятельное участие в том деловом безделии, которое представляла тогда жизнь «русских аристократов» в Париже.

Весьма вероятно, что с русскими он познакомился у Гервега, бывшего в то время кумиром оппозиционной Германии. А с приездом Бакунина, жившего одно время в редакции «Vorwärts», в котором принимал участие и Маркс, круг этих русских знакомств мог еще больше расшириться.

Было бы бесполезно строить теперь догадки, кто из названных выше русских, кроме Анненкова и Бакунина, был знаком с Марксом. В дальнейшем нашем изложении мы будем говорить только о тех «русских аристократах», относительно которых мы имеем несомненные данные, устанавливающие их близкое знакомство с Марксом. Мы начинаем с Сазонова, несколько писем которого мы нашли в бумагах Маркса.

III.

«Сазонов, Бакунин, Париж. — имена эти, люди эти, город этот так и тянут назад... назад — в даль лет, в даль пространств, во времена юношеских конспираций, во времена философского культа и революционного идолопоклонства... С Сазоновым я де-

---

[1]) «Из переписки недавних деятелей». «Русская Мысль». 1891 г., июль и август.

[2]) Mehring, F. «Literarisch Nachl.» etc. Band. I стр. 335.

[3]) А не в Брюсселе, т.-е. в 1845 г., как это утверждает И. Берлин в своей книге: «Карл Маркс и его время», стр. 52.

лил в начале тридцатых годов наши отроческие фантазии о заговоре à la Риенци; с Бакуниным, десять лет спустя, в поте мозга завоевывал Гегеля».

Так начинается глава о «Русских тенях» в «Былом и думах». Для всех историков русской литературы и интеллигенции сороковых годов, которым приходилось упоминать о Сазонове, воспоминания Герцена служили единственным источником, из которого они черпали без всякой критической проверки свои сведения [1]). А, между тем, эта глава «Былого и дум» представляет еще в большей степени смесь Wahrheit und Dichtung, которая придает мемуарам Герцена такую своеобразную прелесть, но в то же время делает их зачастую крайне ненадежным «историческим документом».

Николай Иванович Сазонов родился в Рязани 17 июня 1815 г. и был, следовательно, моложе Герцена на три года. Они поступили почти одновременно на физико-математический факультет московского университета.

«На второй год университетского курса, то-есть, осенью 1831 г. мы встретили в числе новых товарищей в физико-математической аудитории двоих, с которыми особенно сблизились... Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым (Сазонову было тогда 16 лет.—Д. Р.) и тотчас же подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента (И. М. Сатина)».

Так сложилось ядро первого кружка русских сенсимонистов. Герцен оставил нам живую характеристику тогдашней студенческой жизни.

Сам Сазонов в 1860 году в биографическом очерке Герцена следующим образом описывает кружок, в котором он принимал деятельное участие:

«Все, начиная от наших костюмов, указывало на самую причудливую смесь: зимой мы носили черные бархатные береты à la Карл Sand и трехцветные французские шарфы. На собраниях нашего кружка мы декламировали запрещенные стихотворения Рылеева и Пушкина и распевали наполеоновские куплеты Беранже на ряду с антифранцузскими песнями Арндта, Уланда и Кернера. Наше чтение было еще более разнообразным: мы с одинаковым

---

[1]) См., напр., Венгеров, С. А. «История новейшей русской литературы». Спб., 1885 г., стр. 6. Или—биографию Сазонова в «Русском биографическом словаре», написанную Модзалевским по обычному шаблону, принятому (с немногими исключениями) в этом издании коллежских и статских советников от истории.

усердием разыскивали тогда еще очень редкие документы, относившиеся к французской революции, и сочинения Шеллинга и Окена по натурфилософии. Начиная от мистических прорицаний Якова Беме и вплоть до ямбов Барбье и «Шагреневой кожи» Бальзака—все волновало нас, все интересовало нас и вызывало в нас энтузиазм, иногда монотонный и бесплодный, но всегда искренний»[1]).

В этой характеристике чувствуется критическое и насмешливое отношение к тому восторженному тону, который, с легкой руки Огарева и Герцена, господствовал в кружке и, вероятно, вызывал протесты со стороны Сазонова. Между молодыми друзьями уже и тогда замечалось соперничество, приводившее нередко к стычкам.

«Сазонов имел редкие дарования и редкое самолюбие. Ему было лет восемнадцать, скорее меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили».

На это стремление к первенству указывает в своих воспоминаниях и Константин Аксаков.

«Замечательнее других. — пишет он, — был Сазонов, перешедший из другого отделения и принадлежавший к кружку Герцена, кружку совершенно иного склада, чем кружок Станкевича,—кружку, любившему тогда эффекты и картинность. Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер; он старался со мною сблизиться, желая сделать из меня прозелита, чего ему, однако, не удалось... Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это—другой вопрос. Сазонов, точно, был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем, преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает [2]).

Эта самонадеянность и умение «себя выставить», как видно, сильно шокировали тяжеловесного и простого отца русского славянофильства.

А как разнообразны были умственные интересы молодого Сазонова, видно из того, что он усердно занимался также и по рус-

---

[1]) N. Sasonoff. «Alexander Herzen». «Gazette du Nord», Paris, 26 мая 1860 года.

[2]) Аксаков, К. С. «Воспоминание студентства 1832—1835 годов». Спб., 1911, стр. 30—33.

ской истории и, вместе с Аксаковым, отдал дань историческому скептицизму Каченовского. Для него Сазонов написал работу об исторических трудах Миллера, которая была напечатана в «Записках» университета [1]).

В начале 1834 г. Герцен, Сазонов и Сатин составили программу нового энциклопедического журнала, который должен был «следить за человечеством в главнейших фазах его развития для сего возвращаться иногда к былому, об'яснить некоторые мгновения дивной биографии рода человеческого и из нее вывести свое собственное положение, обратить внимание на свои надежды». В план издания одинаково входили как науки гуманитарные, так и естественные. Интересно распределение между участниками литературной работы: философия истории была отведена Огареву, Сазонову и Герцену, теория литературы — Огареву, а статистическим отделом, которому они все придавали большое значение, должны были заведывать Лахтин, Герцен и Сазонов [2]).

Проект остался в области мечтаний. Тяжелая лапа московской полиции раздавила журнал в зародыше. В июле 1834 г. большинство членов кружка было арестовано. После девятимесячного тюремного заключения, приговором 31 марта 1835 г., Герцен, Огарев и другие были разосланы по разным губерниям.

«Когда нас арестовали в 1834 году,—пишет Герцен,—и посадили в тюрьму, Сазонов и Кетчер уцелели каким-то чудом. Оба они жили в Москве почти безвыездно, говорили много, но писали мало, их писем ни у кого из нас не было. Нас повезли в ссылку; Сазонову мать выхлопотала заграничный паспорт в Италию».

Отношения между Сазоновым и Герценом были уже и тогда несколько натянуты. На это намекают, между прочим, следующие слова Анненкова: «Вопрос о том, будет ли Герцен служить действительно или только числиться на службе, занимал его самого и его друзей еще при от'езде из Москвы. Один из них, любивший отличаться в среде товарищей противоречиями их вкусам, Н. И. Сазонов, пророчил Герцену, что из него выйдет лихой чиновник, но пророчество его не сбылось» [3]). Об этом же свидетельствует и цитируемое нами ниже письмо Огарева.

---

[1]) «По мнению автора, у Миллера не было критических способностей; так, он без возражения доверился летописи Нестора». Заметка Погодина. См. Барсуков Н. «Жизнь и труды М. П. Погодина». Том IV. Спб. 1891 г., стр. 218.

[2]) Лемке, М. «Очерк жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей». «Современный Мир», 1906 г., январь, стр. 67—69.

[3]) Анненков. «Идеалисты тридцатых годов». «Вестник Европы». 1883 г., март, стр. 129.

Пробыв в Италии год, Сазонов возвратился в Москву. Там «его встретил мертвый calm plat, нигде ни тени сочувствия, ни живого слова... Из старых друзей один Кетчер был налицо, человек, с которым Сазонов, **чопорный аристократ по манерам**, всего меньше мог итти рука об руку». Сазонов попробовал устроиться в Петербурге, но он и там не выдержал. Его тянуло за границу, и в начале сороковых годов, вероятно, одновременно с Сатиным и Огаревым, он оставил Россию, но на этот раз устроился в Париже.

«Но дела не нашел он и тут. Шумная, веселая праздность заменяла немую, подавленную жизнь. В России он был связан по рукам и ногам, тут — чужой всем и всему. Другой, длинный ряд годов бесцельно волнуемой, раздражаемой жизни начался для него в Париже. Сосредоточиться в себе, отдаться внутренней работе, не ожидая толчка извне, он не мог: это не лежало в его натуре. Об'ективный интерес науки не был в нем так силен. Он искал иной деятельности и был бы готов на всякий труд—но на виду, но в быстром приложении его, в практическом осуществлении, и притом—при громкой обстановке, рукоплесканиях и крике врагов: не находя такой работы, он бросился в парижский разгул».

Сазонов, действительно, жил и кутил во-всю. Особенной практичностью он никогда не отличался и скоро запутался в долгах. Когда он, в конце 1845 г., хотел вернуться вместе с Огаревым и Сатиным в Россию, он должен был остаться, потому что не имел возможности расплатиться со своими кредиторами. К этому времени относится письмо Огарева к Герцену, писанное по возвращении из Парижа в Берлин, 10 (22) января 1846 г. «Надо выручить этого человека, которого, **sauf le respect, que je vous dois** [1]), я с гордостью назову своим другом. Раз запутавшись в денежных делах, он просто вернуться не может и от этого не мог с нами уехать».

И в следующем письме Огарев опять напоминает Герцену о необходимости помочь Сазонову. Но друзья не поспешили на помощь, и Сазонов действительно попал за долги в Клиши. Так как Герцен с каким-то особенным удовольствием расписывает этот эпизод из биографии старого товарища, касаясь самых интимных сторон жизни Сазонова с грубостью, которая может быть об'яснена, но не оправдана, лишь глубокой ненавистью, то мы считаем необходимым внести некоторые поправки в рассказ Герцена.

---

[1]) «Из переписки недавних деятелей». «Русская Мысль», 1891 г., август, стр. 19. Курсив наш. Как видно, Огареву хорошо было известно, что Герцен относился к Сазонову не очень дружелюбно.

Насколько изменила в этом случае автору «Былого и дум» память, видно из того, что он превращает себя в очевидца и свидетеля событий парижской жизни, о которых он мог слышать только от друзей или знать из их писем. Сазонов попал за долги в тюрьму или, вернее, был туда посажен своим соотечественником, неким Меем, в то время, когда Герцен был еще в России. Вот что пишет Анненкову по поводу этой истории Боткин в письме из Петербурга от 26 ноября 1846 г.:

«Скверно сделал, даже больше, нежели скверно, сделал Мей, посадив Сазонова в Clichy за такую пустую сумму. Но так ли это? До меня дошли слухи, будто бы Сазонов писал в Москву к Огареву о своем положении в Clichy, куда посажен за долг в 15 тыс. франков, и просил немедленно прислать ему эти деньги, грозя застрелиться. На это письмо поехали к нему сестры его, одна вдова, другая девушка, умолять его, чтобы он приехал с ними домой. Дела его по имению будто бы очень плохи, так что, продав его, он будет иметь доходу не более двух тысяч руб. асс. Между тем, кажется, 12 тысяч ему отправлены. Ведь, подло радоваться чужому несчастью, но я вам должен признаться, в моих глазах, Clichy не несчастье, а Сазонов, делаясь простее и добрее, по мере, как карман его становится легче, сделается действительно добрым малым и отстанет от своих аристократических претензий, которых сущность состояла в том, что он мог тратить по 100 франков в день. И все-таки Мей поступил (если известие ваше верно) грубо и дурно» [1]).

Герцен в это время был в России. Когда он весною 1847 г. приехал в Париж, Сазонов был уже на свободе. В 1853 г. Герцен еще хорошо помнил, что сейчас же по приезде в Париж он «не мог остаться дома»: «Я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова», или,—как он выражается в другом месте,—с Бакуниным, которого он встретил раньше,—«пошел удивлять Сазонова своим приездом». А через десять лет Герцен в «Русских тенях» рисует с чужих слов печальную картину личного падения Сазонова и не находит для него ни одного слова извинения!

Дело в том, что воспоминания Герцена о Сазонове были писаны под свежим впечатлением начавшихся уже столкновений со всякими «желчевиками», российскими и заграничными, и, давая характеристику Сазонова, Герцен преследовал «дидактическую» цель. Герцену «ужасно хотелось спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки». Пример Сазонова и Энгельсона должен был показать, что

[1]) «П. В. Анненков и его друзья». Спб., 1892 г., стр. 524—5.

«реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживаются в остановке перед крайностями». Мы увидим еще, что, кроме этой «дидактической» тенденции, в отношении Герцена к Сазонову играло роль также поведение последнего в одном деле, очень дорогом для Герцена. И все же трудно понять, как мог глубоко чувствовавший и нравственно чуткий Герцен, чуть ли не на другой день после смерти старого друга, при известии о которой, по его собственным словам, у него «стукнуло сердце—будто раскаяньем, что я его так надолго оставил», дать такое дышащее злобой и не только несправедливое, но мало правдивое изображение всей частной жизни Сазонова, какое мы находим в «Русских тенях» [1]). Жизнь Сазонова так же мало исчерпывалась кутежами и долгами, как и жизнь другого приятеля Герцена—Бакунина. И об этом хорошо знал сам Герцен. Именно с помощью Бакунина и Сазонова он сумел так скоро войти в среду парижской эмиграции разных национальностей и местной революционной оппозиции.

Сазонов к этому времени уже успел окончательно втянуться в круг интересов международной демократии. Вместе с Бакуниным, он играл очень заметную роль в начинавшемся тогда сближении русской оппозиции с польской эмиграцией. Из переписки Гервега с женой видно, что он находился в деятельных сношениях и с немецкой эмиграцией. С самим Гервегом Сазонов был очень близок и свое восторженное отношение к певцу свободы передал Герцену, которого, вероятно, именно он познакомил с человеком, сыгравшим такую трагическую рль в жизнь обоих Герценов [2]).

---

[1]) Безвременно погибший А. Серно-Соловьевич, наиболее яркий представитель того молодого поколения, в поучение которому Герцен писал «Русские тени», был вполне прав, когда писал в своем памфлете: «Вы говорите, что ваше поколение, правда, громко ругавшееся и много пившее, оставляло, однако, «кое-что нетронутым», и этим думаете поразить молодежь, а затем сами рассказываете такие семейные сцены и подробности о своих приятелях, описание которых гадко и омерзительно читать... Называют себя вожаками общества, основателями школ... и наполняют свои непозволительные воспоминания рассказами, достойными московских просвирен, о «любовницах», «спущенных рубахах», «толстых грудях», «шампанском», о том, «как их друзья валяются в одиннадцать часов утра на полу с девками» и т. д. и т. д. А. Серно-Соловьевич. «Наши домашние дела». Vevey, 1867 г., стр. 17—18. Защищая Сазонова, Серно нисколько не скрывает от себя его недостатков.

[2]) Fleury Victor. «Le poète Georges Herwegh», Paris, 1911, стр. 132. Автор приводит следующую цитату из одного письма Сазонова к Гервегу: «Вы поймете теперь, почему я, варвар, вас ценю и люблю больше, чем ваши соотечественники; вы поймете, почему я сравнивал революцию с мартирологом первых веков христианства; вы поймете, что только там я мог найти примеры равенства, которые дают мне надежду стать когда-нибудь рядом с вами» и т. д.

Как и Бакунин, Сазонов в значительной степени успел уже освободиться от того «провинциализма», который привозили с собой в Париж из различных «дворянских гнезд» русские «аристократы». Вместе с Бакуниным, он был убежден, что грядущая революция, — а она чувствовалась в воздухе, — должна будет отразиться и на России, которая неизбежно будет выведена из ее долголетней спячки. Он и Бакунин с жадностью набрасывались на соотечественников, приезжавших из России, чтобы узнать от них, имеются ли там какие-нибудь симптомы этого назревающего переворота. И, по всей вероятности, Герцен разочаровал его так же, как и Бакунина.

«Сазонов и Бакунин были недовольны (так как впоследствии Высоцкий и члены польской централизации), что новости, мною привезенные, больше относились к литературному и университетскому миру, чем к политическим сферам. Они ждали рассказов о партиях, обществах, о министерских кризисах, об оппозиции (в 1847 г.!), а я им говорил о кафедрах, о публичных лекциях Грановского, о статьях Белинского, о настроении студентов, даже семинаристов. Они слишком разобщились с русской жизнью и слишком вошли в интересы «всемирной революции» и французских вопросов, чтобы помнить, что у нас появление «Мертвых душ» было важнее назначения двух Паскевичей фельдмаршалами. Без правильных сообщений, без русских книг и журналов, они относились к России как-то теоретически и по памяти, придающей искусственное освещение всякой дали».

Но, если этот рассказ, несмотря на «дидактическую» окраску, делающую его так похожим на письма «положительных» друзей самого Герцена, еще носит на себе печать правдоподобия и показывает только, как далек был Герцен от вопросов, занимавших «неистового Виссариона» в последние годы его жизни, то следующее за ним описание конфликта между Герценом, с одной стороны, Бакуниным и Сазоновым, с другой, опять-таки выдает желание—в лице злосчастного Сазонова—кольнуть лишний раз нокую эмиграцию, недостаточно ценившую чисто литературную работу. Вполне понятное замечание Сазонова, что Белинский, при других условиях, которые позволили бы ему не ограничиваться только литературными темами, сделал бы гораздо больше,—и никто не сознавал этого с такой горечью, как сам Белинский,—дает Герцену повод обратиться задним числом с филиппикой по адресу Бакунина и Сазонова, направленной, в сущности, против молодых и дерзких «желчевиков» шестидесятых годов [1]).

[1]) Аналогичное замечание Бакунина о Белинском приводит и Анненков.

Герцен к средине шестидесятых годов позабыл уже, в каком настроении он оставил Россию в 1847 г. и каким провинциалом явился он в Париж. Ту оргию «культа и преклонения перед французскими знаменитостями», в которой он обвиняет своих старых друзей, он сам проделал в первый период пребывания своего за границей—и был за это жестоко наказан и личным, и идейным разочарованием, наложившим такую мрачную печать на его статьи и письма после 1850 г.

Он забыл также, что, если его отношения к Сазонову в России были, как мы видели, довольно холодны, то за границей они значительно улучшились.

В июне 1848 года он просит Огарева заняться делами Сазонова: «В последнее время, я, вообще, гораздо довольно им» [1]).

В другом письме Герцен пишет: «Эмиграция очень полезна теперь, но русских дельных очень мало; я могу назвать одного Сазонова, человека даровитого и имеющего вес в европейском движении» [2]).

В первом издании своей книги «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», раз'ясняя европейское значение русской эмиграции и доказывая, что «в данный момент эмиграция есть самый крупный оппозиционный акт, который может быть совершен русским», он пишет, между прочим: «Наш друг, Николай Сазонов, изгнанный из Франции в 1849 г., был одним из наиболее энергичных защитников демократии в «Tribune des Peuples» и в «Réforme» [3]).

Герцен прав только в одном отношении. Сазонов так же мало, как и Бакунин, был заправским литератором и так же мало был склонен к упорному, систематическому труду. Талантливый дилетант, как и Бельтов, которого Герцен в значительной степени сри-

---

[1]) Пассек, Т. П. «Из дальних лет», том третий, стр. 116. Любопытна характеристика Сазонова, которую дает кузина Герцена: «Молодой человек с опухшими глазами и выразительным лицом... одно из тех эксцентрических существований, которые были бы исполнены веры, если бы их век имел верования; неспокойный демон, обитающий в их душе, ломает их и сильно клеймит печатью оригинальности». Том первый, стр. 470—71. Отзыв Н. А. Огаревой-Тучковой («Воспоминания». М., 1903 г., стр. 53) повторяет только слова кузины Герцена: «очень умный, много знающий человек, но весьма несимпатичный и очень уже офранцуженный».

[2]) М-ский, А. П. «Герцен и его корреспонденты». «Русский Вестник», 1889 г., апрель, стр. 137.

[3]) Iskander. «Du développement des idées révolutionnaires en Russie». Paris, 1851 г., стр. 171.

совал с Сазонова, с огромными запросами, с деятельной и живой натурой, гораздо больше человек дела, чем человек мысли,—он, как и Бакунин, которому он уступал в диалектических способностях, зачастую без толку тратил свои недюжинные силы на пустяки и прожитал жизнь в ожидании грядущей революции.

Наконец, она явилась.

Герцен еще осенью 1847 года уехал в Италию, где он, в Риме и Неаполе, присутствовал при пробуждении итальянского народа.

Но, как он сам рассказывает, Сазонов писал ему «в Рим письмо за письмом и звал домой, в Париж, в единую и неразделыную республику».

Когда в мае 1848 г. Герцен приехал в Париж, Сазонов уже принимал самое горячее участие в революционном движении.

Все, что рассказывает дальше об этом времени Герцен, больше смахивает на злостную карикатуру, чем на правдивый рассказ. Увлеченный Сазоновым, Бакунин уже уехал в Германию,—он сделал попытку сблизиться с голодной и бунтующей Францией, но пролетарский мир остался ему чужд: он продолжал оставаться посторонним наблюдателем, от внимания которого не ускользает ни одной смешной стороны революционного движения, но которому по той же самой причине трудно войти в него органически, целиком.

Если верить Герцену, Сазонов «завел» какой-то международный клуб, куда он привлек всяких немцев и мессианистов. За неимением членов, клуб этот скоро, мол, «лопнул».

На самом деле, это был известный тогда клуб «Fraternité des peuples» («Братство народов»), который «лопнул» только после июньского поражения французского пролетариата, как одна из первых жертв декрета, направленного против революционных клубов.

Герцен был таким же членом его, как Сазонов и Гервег. Еще в 1851 году, перечисляя европейцам заслуги Головина, с которым он был тогда еще в дружбе, он отмечает, что последний был президентом клуба «Fraternité des peuples» [1]).

---

[1]) Iscander. «Du développement» etc., стр. 171. В докладе комиссии, производившей расследование о событиях 15 мая и восстании 23 июня, президентом клуба назван Rebstock. См. «Rapport de la commission d'enquête» etc., том второй, стр. 102. Люка в своей полицейской истории клубов февральской революции тоже называет Rebstock'a. По его словам, клуб основан был в марте 1848 г. и насчитывал среди своих членов представителей всех европейских национальностей, но больше всего немцев, итальянцев и венгерцев. См. A. Lucas. «Les clubs et les clubistes». Paris, 1851 г., стр. 154.

Не более «об'ективен» и рассказ Герцена о сотрудничестве Сазонова в «Tribune des Peuples» Мицкевича. «Когда устроилась эта газета,—пишет Герцен,—Сазонов занял одно из первых мест в редакции, написал две-три очень хороших статьи... и замолк, а перед падением «Трибуны», т.-е. перед 13 июня 1849 г., был уже со всеми в ссоре. Все ему казалось мало, бедно, il se sentait dérogé. досадовал за это, ничего не оканчивал, запускал начатое и бросал вполовину сделанное».

А, между тем, в одной из предыдущих глав «Былого и дум» Герцен даст нам другую версию истории «Tribune des Peuples». которая показывает, что у Сазонова могли быть совершенно другие основания для недовольства и ухода из редакции. Во главе журнала стоял Мицкевич, и его симпатии к Наполеону-дяде ставили в очень затруднительное положение его сотрудников, которым приходилось иметь дело с Наполеоном-племянником. Как говорит сам Герцен,—и это показание его, как более раннее, заслуживает больше доверия,—«единства в редакции не могло быть; Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, usé par la gloire; другие не смели развертывать своего; стесненные им и советом, многие через месяц оставили редакцию; я не послал ни разу ни одной строчки. Если бы наполеоновская полиция была умнее, никогда «Tribune des Peuples» не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июня. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтою о вооруженной демократии, во главе которой—наполеониды, этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела».

Ясно, что Сазонов имел, во всяком случае, не меньше оснований бросить этот журнал, написав для него несколько «очень хороших статей», чем Герцен, бывший тоже членом редакции,—не написать ни одной строчки.

Мы не будем входить в детальный разбор той роли, которую сыграла «Tribune des Peuples» во время февральской революции. Она оставалась преимущественно органом польской эмиграции [1]) и именно поэтому резко подчеркивала необходимость международной революционной пропаганды. Борясь с русским панславизмом, который нашел себе талантливого представителя в лице польского ренегата, графа Адама Гуровского, газета в то же время настаивала на необходимости об'единения между русским и поль-

[1]) См. Limanowski, B. «Historya ruchu spolecznego w XIX stuleciu». Lwow, 1890 r., стр. 308—312. И его же—«Historya democracyi polskiej w epoce porozbiorowej», Zürych, 1901 r., стр. 444—48.

ским народом. Сазонов, писавший под именем Волкова,—псевдоним, под которым он выступал тогда и в литературе и на собраниях, пока не потерял своей легальности,—в статьях своих доказывал необходимость восстановления Польши [1]). Характеризуя партии, существующие в России,—консерваторы крайние (ортодоксы), консерваторы прогрессивные, революционеры и республиканцы,—он дает следующее резюмэ программы республиканцев, к которым он причисляет Воинова, Головина и Бакунина: «После того, как восточная цивилизация Владимира Великого была разрушена татарским нашествием, все идеи прогресса и свободы в России находили свой единственный источник в независимой Польше. Покорив ее, русские опять вернулись к варварству и скрепили свои собственные цепи, так как завоевательная политика только усиливает абсолютную власть. Чтобы спасти Россию, мы должны восстановить Польшу при содействии ее народа и создать две республики, которые заключили бы между собой вечный оборонительный и наступательный союз» [2]).

А в статье: «De la Russie» Сазонов старался растолковать западно-европейским демократам особенности исторического развития России, но, отстаивая общину, как основную ячейку общественного строя будущей России, он не видит в ней источника спа-

ния и для Западной Европы

Когда именно вышел Сазонов из состава редакции, можно сказать только приблизительно. Первый номер газеты вышел 15 марта 1849 года. После 13 июня газета была приостановлена до 1 сентября. Преследования, обрушившиеся на польскую эмиграцию, заставили поляков выйти из газеты (16 октября), но и новая редакция, с Карпантье во главе, не могла уже спасти газету.

Совершенно фантастический характер носит рассказ Герцена о дальнейшей литературной деятельности Сазонова.

«В 1849 году я предложил Прудону передать иностранную часть редакции «Voix du Peuple» Сазонову. С его знанием четырех языков, литературы, политики, истории всех европейских народов, с его знанием партий, он мог из этой части журнала сделать чудо для французов. Во внутренний распорядок иностранных новостей Прудон не входил: она была в моих руках, но я из Женевы ничего не мог сделать. Сазонов через месяц передал редакцию Хоецкому и расстался с журналом.—Я Прудона глубоко уважаю,—писал он мне в Женеву,—но двум таким личностям, как его и моя, нет места в одном журнале».

---

[1]) «Tribune des Peuples», 1849, 7 и 8 июня. «Opinion publique en Russie.

[2]) «Tribune des Peuples», 15 марта 1849 г.

Еще хуже, по словам Герцена, кончилось сотрудничество Сазонова в «Réforme».

«Через год Сазонов пристроился к воскрешенной тогда мадзинистами «Реформе». Главной редакцией заведывал Ламеннэ. И тут не было места двум великим людям. Сазонов поработал месяца три и бросил «Реформу». С Прудоном он, по счастью, расстался мирно, с Ламеннэ—в ссоре. Сазонов обвинял скупого старика в корыстном употреблении редакционных денег. Ламеннэ, вспомнив привычки клерикальной юности своей, прибегнул к ultima ratio на Западе и пустил на счет Сазонова вопрос, не агент ли он русского правительства».

Во всем этом рассказе о «былом» так сильно смешаны «быль» и «небылица», что его приходится подвергнуть сомнению почти во всех его частях.

Теперь, правда, очень трудно установить вполне точно хронологическую последовательность всех отдельных событий и фактов тогдашней жизни Сазонова и Герцена, но и того, что нам известно, вполне достаточно, чтобы притти к выводу, что Герцену и на этот раз память изменила самым предательским образом.

Против него свидетельствуют опять его же собственные, более ранние, показания.

После 13 июня 1849 г. Герцен,—которого Сазонов убедил принять участие в демонстрации в защиту Римской республики,—демонстрации, кончившейся полным поражением Горы,—поспешил уехать, во избежание ареста, в Женеву, но уже в декабре опять вернулся, чтобы привести в порядок свои денежные дела,—ему грозила конфискация его имущества,—и оставался в Париже до июля 1850 года.

Выше мы видели, что он сам, в начале 1851 г., указывая на заслуги Сазонова, упоминает о его сотрудничестве в «Tribune des Peuples» и «Réforme», при чем прибавляет, что Сазонов был выслан в 1849 г.

К сожалению, нет никакой возможности установить теперь точно дату, когда именно был выслан Сазонов из Парижа. После 13 июня иностранцы высылались десятками и в несколько приемов.

В начале октября 1849 г. выслан был полковник Фраполли, его близкий приятель, мадзинист и представитель Римской республики.

Мы знаем только, что в начале декабря Сазонов был еще в Париже. Всего вероятнее, что он был выслан во второй половине декабря 1849 г., за несколько дней до возвращения туда Герцена.

Первый (пробный) номер «Voix du Peuple» вышел 25 сентября 1849 г., последний—14 мая 1850 г. Ламеннэ стал во главе редакции «Réforme», как то видно из заявления в самой газете, 1-го октября 1849 г., после того, как в сентябре вынужден был бежать в Англию его предшественник по редакции Рибейроль. Весь 1850 год и большую часть 1851 г. Сазонов пробыл в Швейцарии: в числе членов комитета европейской эмиграции известный провокатор Шеню называет, вместе с Фраполли, Пиа, Буато и др., также «русского социалиста Сазонова» [1]). И его же имя мы встречаем, на ряду с Иоанном-Филиппом Беккером, Гессом, Зорге, среди швейцарских демократов-социалистов, пославших привет на лондонский банкет 24 февраля 1851 г. [2]).

Итак, Сазонов мог работать в ««Réforme» только во второй половине 1849 г.

Но и в «Voix du Peuple» он мог участвовать, как редактор, опять-таки не позже второй половины 1849 г. Дело в том, что прошло месяца три, пока возобновились закрытые сейчас же после 13 июня главные оппозиционные газеты. Быть одновременно редактором двух таких больших газет, как «Voix du Peuple»» и «Réforme», Сазонов, конечно, не мог бы даже в том случае, если бы они были тождественны по направлению.

Поэтому Герцен смутно помнивший, что Сазонов имел какое-то отношение к «Voix du Peuple», превращает его только через год в редактора «Réforme», но, избегнув прегрешения против логики и здравого смысла, он сильно грешит против хронологии и против себя, ибо в 1850 году он хорошо еще знал, что Сазонов никакого участия в редакции ««Voix du Peuple»» не принимал и не мог принимать.

В действительности же, дело происходило иначе. Когда, после закрытия прудоновской газеты «Peuple» нужно было достать залог для ее возобновления, пришлось искать, как рассказывает главный редактор «Voix du Peuple», Альфред Даримон,—Прудон сидел в тюрьме,—«добрую душу», которая согласилась бы дать 24.000 франков.

«Эта добрая душа нашлась, благодаря Шарлю Эдмону, у которого всегда была счастливая рука. Он свел Гильемэна (администратор прудоновской газеты.—Д. Р.) с одним молодым русским, который был одновременно великим революционером и великим писателем. Герцен, которому удалось спасти свое состояние,... согла-

---

[1]) Chenu, A. «Les chevaliers de la république rouge en 1851». Paris, 1851 г., стр. 139.

[2]) «Banquet des Égaux». Londres. 1851, стр. 68.

сился открыть нам свой кошелек. Гильемэн, который поехал в Женеву вести переговоры об этом займе, говорил, что никогда не видел человека, который так охотно давал бы свои деньги. Казалось, что не мы, а он чувствовал себя обязанным» [1]).

Мы видим, что участие Сазонова в этом деле Даримону осталось совершенно неизвестным. Сам Герцен рассказывает о своем вкладе на издание «Voix du Peuple» несколько иначе. Повидимому, Шарля Эдмона (псевдоним поляка Хоецкого) направил к Герцену Сазонов. 14 августа 1849 г. был подписан договор, в силу которого Герцен согласился дать 24.000 фр., но на таких условиях, от которых, по его собственным словам, Прудона «покоробило» [2]).

Никаких других отношений к «Voix du Peuple» Сазонов не имел. Иностранным отделом заведывал Эдмон. Даримон, перечисляя всех близких сотрудников и редакторов газеты, называет Герцена, но не упоминает ни одним словом о Сазонове. Вероятно, по той же причине Герцен в 1850 г. говорит о сотрудничестве Сазонова только в «Tribune des Peuple» и «Réforme».

В середине шестидесятых годов Герцен успел забыть не только это, но и то обстоятельство, что, если он не принимал деятельного участия в «Voix du Peuple», хотя и состоял в числе ее rédacteurs habitués,—как говорит Даримон,—то не потому, что он почти все это время жил в Женеве. Наоборот, из пяти с половиною месяцев, в течение которых существовала «Voix du Peuple», он прожил три месяца в Париже, но писал очень мало, потому что был поглощен устройством своих денежных дел.

Возможно, что Сазонов, помогавший Прудону приискать необходимый залог, думал после прекращения «Tribune des Peuples» устроиться в газете, но перемена, происшедшая в «Réforme», дала ему возможность стать в ней редактором иностранного отдела.

На ведение дел в этой газете начал тогда оказывать влияние названный уже нами Фраполли. Сам Герцен упоминает имя последнего в связи с «Réforme», когда рассказывает в главе XLI, писанной несколькими годами раньше, о системе залогов, введенной после июня 1849 г. и направленной против революционной прессы:

— Ледрю-Роллэн сначала, потом полковник Фраполли, как представитель мадзиниевской партии, заплатили большие деньги, но не спасли «Реформы».

---

[1]) Darimon Alfred. «A travers une révolution (1847—55)». Paris, 1884 г., стр. 180.

[2]) Гершензон, М. «Западные друзья Герцена». «Былое». 1907 г., апрель, стр. 67—69.

Мы увидим сейчас, что Сазонов в этой газете успел занять очень влиятельное положение.

Некоторый свет на деятельность его в 1849—51 гг. бросают письма его к Марксу, к которым мы теперь и обратимся.

IV.

С Марксом Сазонов мог познакомиться еще в 1844 г. у Гервегов, с которыми, как мы видели, он был очень близко знаком. Маркс, переживавший тогда кризис в своем идейном развитии, был еще в очень дружеских отношениях с поэтом молодой Германии, на которого он возлагал большие надежды, не совсем, впрочем, оправдавшиеся. Именно личный конфликт из-за Гервега, никогда не отличавшегося особенной приверженностью к «филистерской» морали, послужил для него главным поводом к окончательному разрыву с Руге, с которым Маркс, по мере превращения своего из «якобинца» в коммуниста, идейно все больше и больше расходился.

Знакомство Маркса и Сазонова в то время не шло дальше случайных встреч у Гервегов или в других местах. Между ними было несравненно меньше точек идейного соприкосновения, чем даже между Марксом и Бакуниным. Сазонов никогда не отличался большой склонностью к философским спекуляциям, и увлечение сначала Гегелем, а после Фейербахом, характерное для его друзей, прошло для него почти бесследно. Типичный просветитель, он тогда больше всего увлекался текущей политической жизнью. От старого сенсимонизма он уже успел освободиться, и в то время, как Маркс вырабатывал основы своего коммунистического мировоззрения, Сазонов оставался еще буржуазным демократом и в идейном отношении был ближе всего к группе, издававшей тогда Réforme».

Поэтому, Маркс вряд ли мог привлекать его даже в такой степени, как Гервег, и, несмотря на то, что, по некоторым внешним чертам, на которые единогласно указывают все его знакомые, Сазонов больше всего подходит к типу «русских аристократов», мы сомневаемся, чтобы он уже в период пребывания Маркса в Париже принадлежал к числу его восторженных поклонников.

Сазонов и Маркс могли еще встречаться в марте и апреле 1848 г. Весьма возможно, что так же, как и Бакунин, Сазонов отнесся сочувственно к романтической затее Гервега, собиравшего тогда легион из немецких эмигрантов, чтобы с оружием в руках внести революцию в Германию,—затея, которая, как известно, окончилась полнейшим фиаско. Маркс, наоборот, самым решительным

образом протестовал против революционной авантюры немецких демократов и именно на этой почве разошелся как с Гервегом, так и с защищавшим его Бакуниным.

И, наверное, Сазонов и Маркс опять встретились, на этот раз более дружелюбно, в мае и июне 1849 г. в Париже, куда Маркс попал после закрытия «Neue Rheinische Zeitung» и изгнания из Пруссии и где он, вместе с Сазоновым, принимал участие в демонстрации 13 июня.

Попав в одну из первых групп эмигрантов, подлежавших высылке, Маркс 19 июля получил приказ выехать из Парижа в департамент Морбиган, но предпочел уехать в Лондон.

Первое письмо Сазонова к Марксу относится к декабрю 1849 г. Оно писано на бланке газеты «Réforme» и датировано 6 декабря. Из него видно, что Сазонов считал себя тогда еще хозяином иностранного отдела.

«Мой дорогой Маркс!

«Я надеялся, что мне придется писать вам по более приятному для нас обоих поводу. Дело шло, как вам об'яснит Вольф [1]), о том, чтобы организовать демократическую корреспонденцию для немецких газет. Вольф должен был быть моим главным сотрудником, и он просил меня написать вам, чтобы узнать об этом ваше мнение и попросить вашего совета. Я думаю, что вы ничего не имели бы против его участия в таком полезном и нужном деле, но теперь об этом не может быть и речи. Граждане предполагают, а полиция располагает. Вольф, сотрудничество которого было бы для меня так драгоценно, вынужден уехать из Парижа, и я, таким образом, предоставлен собственным силам. А, так как у меня на руках весь иностранный отдел «Реформы» и, кроме того, специальная корреспонденция для департаментов, то я не в состоянии взять на себя новую работу,—тем более, что я до сих пор мало писал по-немецки. Я расчитываю поэтому, что вы соблаговолите указать мне интеллигентного сотрудника среди немецких демократов, живущих в Париже. Вы, таким образом, окажете услугу хорошему демократу, ибо корреспонденция даст ему от 100 до 150 франков в месяц. Итак, я опять надеюсь на вашу помощь.

«Я надеюсь также, что вы напишете мне о ваших работах, которые вы начали в Лондоне. Я знаю, как вы много работаете, и слишком высоко ценю вашу деятельность, чтобы думать, что за это время вы ничего не сделали. Если вы что-нибудь уже опубликовали, пришлите мне немедленно, и я дам отчет в «Реформе».

---

[1]) Фердинанд Вольф, или «красный Вольф», один из сотрудников «Neue Rheinische Zeitung».

Если у вас есть время, то напишите что-нибудь специально для нас (по германскому вопросу). Мы напечатаем вашу работу с большим удовольствием. Быть может, вы пошлете нам также статью о социализме и положении рабочих классов в Англии. Я знаю, как глубоко вы изучили этот вопрос, и я был бы счастлив, если бы мог познакомить читателей «Реформы» с английской социальной жизнью при помощи вашего пера. Вы понимаете, конечно, что, если вы захотите писать статью для «Реформы», то вам придется, поскольку это возможно, не касаться ни доктрин, ни личностей. Этого требует положение журнала.

«Если бы я хотел писать вам о здешних делах, то я вряд ли мог бы вам сообщить что-нибудь новое. Вы это видите так же хорошо, как и я, если не лучше, ибо расстояние придает предметам их настоящие размеры. Единственное, что я могу заметить, это — то, что, несмотря на весь шум, который производит Прудон и который производят вокруг его имени, число его приверженцев не увеличивается.

«Я читаю новый журнал, издаваемый Бланки и его друзьями. До настоящего времени, за исключением одной статьи Туссенеля, он был достаточно бледен, но уже одно вмешательство Бланки в журналистику представляет факт огромной важности. Поживем — увидим.

«Располагайте мною, если вам нужно будет что-нибудь в Париже, и пишите мне на адрес «Реформы».

«Братский привет. С а з о н о в».

План, задуманный Сазоновым, не осуществился, так как он скоро был выслан из Парижа, откуда направился в Женеву. Раз отдавшись журналистике, он уже не может сидеть спокойно и замышляет новое литературное предприятие.

Следующее его письмо к Марксу из Женевы (2 мая 1850 г.) дает не только новые данные для биографии этого забытого русского революционера, но и нечто в роде profession de foi первого русского «марксиста».

Уроки революции 1848—49 г.г. не прошли для него даром, и он старается теперь,—мы увидим сейчас, насколько удачно,—познакомиться с новым учением.

В отличие от Герцена, он не посыпает головы пеплом, не обрушивается с проклятиями на старый мир и не ищет спасения на «востоке».

Революционный демократ, едва только освободившийся от своей национальной «пуповины», делает шаг по направлению к социальной демократии, к пролетарскому коммунизму.

«Женева. 2 мая.

«Мой дорогой Маркс.

«Это письмо будет передано вам Форесом [1]), который, как вы уже, вероятно, знаете из газет, и очень ловко и очень удачно ушел в Люлле от жандармов. Я очень рад, что имею теперь возможность — в первый раз со времени моей высылки из Парижа—написать вам без всякой опаски. Вы знаете, что́ я собирался предпринять в Париже с помощью Рейнгарда, которого вы мне рекомендовали. Я думаю, что это предприятие, слухи о котором распространились чересчур рано, было одной из причин моей высылки из Парижа. Приехал я в Женеву раздраженный, измученный, истерзанный, но с готовностью продолжать борьбу. Прежде, чем я расскажу вам, что я делал тут, я считаю необходимым изложить вам в кратких чертах мою теперешнюю точку зрения. Мы знакомы уже давно, но мы имели очень мало случаев поделиться нашими мнениями. Вольф, вероятно, уже рассказал вам, что в последнее время я в оценке людей и событий почти во всем соглашался с ним, а, следовательно, и с вами. Внимательное изучение последнего труда Прудона [2]) и чтение его соглашательских статей в «Voix du Peuple» заставили меня сделать еще один шаг в вашем направлении, и, так как я думаю, что вы не изменили своих взглядов, то вам приятно будет узнать, что я вполне присоединяюсь во всем существенном к тому, что вы высказали в манифесте, опубликованном вами в Брюсселе. Да, мой друг, естественный прогресс, непреодолимая сила логики, любовь к свободе и любовь к порядку привели меня к убеждению, что серьезный революционер может быть только коммунистом, и я теперь коммунист. Вот главные основания, которые толкнули меня на этот путь. Я думаю, что современное общество дало все, что мог дать принцип индивидуальной свободы, положенный, в его изолированной и исключительной форме, в основу общественного порядка: что, следовательно, всякое расширение этого принципа было бы только призрачным и иллюзорным. Я думаю, что европейская цивилизация прогрессирует только в области промышленности: что во всех других отношениях ее деятельность все более атрофируется, и что она не в состоянии решить те все более сложные проблемы, которые ее собственное промышленное развитие каждый день ставит перед нею. Я вижу, что варварство, поскольку оно еще не завоевано цивилизацией, имеет свой raison d'être, и что не индивидуалистической цивилизации удастся окончатель-

---

[1]) Известный бас, эмигрировавший в Америку.

[2]) «Idée générale de la révolution au XIX siécle».

но уничтожить это варварство. Я думаю, наконец, что нет никакой возможности установить рациональное мерило стоимости и что. следовательно, всякий обмен одного индивидуального труда на другой индивидуальный труд может иметь результатом только несправедливость и эксплоатацию с одной или с другой стороны. Вот вкратце ход идей, не совсем ясных и стройных, путем которого я дошел до настоящего убеждения. Я прошу вас, дорогой учитель, обратить больше свое внимание на самую мысль и не останавливаться на форме ее выражения, которая не может не быть неполной.

«Я должен был изложить вам это profession de foi; я хочу предложить вам одно общее дело и поэтому считал необходимым установить основные принципы прежде, чем действовать сообща. С тех пор, как я в Женеве, я видел и изучил всех замечательных людей, которые собрались здесь.

«Я приехал с проектом демократического журнала, который должен был издаваться в Париже раз в четверть года. Все обещали свое содействие, но в течение четырех месяцев, которые я провел здесь, мое мнение о большинстве этих людей и пользе их сотрудничества сильно изменилось.

«Мадзини, к которому я сначала питал наибольшее доверие, оказался не только отсталым человеком, но даже ретроградом. Недавно он напечатал в своем журнале «L'Italia del Popolo» смешную статью под названием «Демократия и системы», в которой доказывает, что современный мир, несмотря на все противоположные утверждения, жаждет авторитета, власти. Вся статья написана в духе этой тезы и является ее развитием.

«Феликс Пиа, не имея ни репутации, ни влияния Мадзини, является гораздо более прогрессивным и более революционным деятелем. (Вы знаете, что в области коммунизма современное поколение во Франции признает только Кабэ и что последний не представляет собой ничего привлекательного для поэтического воображения)»...

Сазонов дальше об'ясняет, почему он остановился на трехмесячном журнале. Для ежедневного органа не хватило бы ни средств, ни людей. Еженедельник давал бы обзор событий за неделю и служил бы только интересам французской политики. Но его разочаровали вожди.

«Я признаю свое ослепление: я расчитывал, что они могут содействовать прогрессивному предприятию, но я убедился, что они враги прогресса, а, следовательно, и наши враги. Они овладели словом «социализм», как они прежде присвоили слово «рес-

публика», и оба раза для того, чтобы эскамотировать дело; поэтому я не хочу и слышать об этих вождях. На них надо смотреть, как на опасных врагов, которых следует остерегаться.

«Так мой план, оставаясь по форме тем же самым, изменился по существу. Долой дряхлых хранителей авторитета! Для нового дела нужны новые люди, необходимо, чтобы люди молодые, люди мужественные, люди серьезной науки и глубоких убеждений выступили в роли централизаторов Европы в пользу великой идеи коммунизма. Нас в настоящее время мало, мы не играем большой роли в литературе, журнализме, политике, но число наше с каждым днем растет, не считая тех партизанов, которых мы имеем среди народов, где слово «коммунизм» никогда еще не было произнесено (народов славянских и народов Центральной Азии).

«Кто знает, что он является носителем творческих идей, тот не боится остаться изолированным, в особенности, когда он знает средства реализации этих идей при помощи науки и те переходные фазы, через которые должна пройти эта реализация. И задача нашего журнала заключается в том, чтобы создать европейскую силу для реализации коммунизма и указать практические средства для его осуществления.

«Здесь нас двое, я и Фраполли (бывший поверенный по делам Ломбардии, Тосканы и Рима в Париже). Последний написал великолепный труд, положив в основу свою дипломатическую корреспонденцию 48 и 49 годов, где доказывает всю несостоятельность национальной политики и формального республиканизма. В предисловии, написанном рукою мастера, где он отрицает принцип национальности, который представляет собою только корольарий религиозного принципа, он объявляет себя социалистом-пантеистом и таким образом делает то, чего не осмелился публично сделать до сих пор еще ни один итальянец [1]).

«Что касается меня, то я составил детальный план европейской политики, где стараюсь доказать неизбежную необходимость не только союза, но и тесной федерации между тремя народами, которые в течение последних двух лет дали неоднократные доказательства их энергичного стремления к прогрессу: между Францией, Германией и Италией. Таким образом, можно будет создать колоссальную централизованную силу, чтобы осуществить почти без трудностей идеи будущего.

---

[1]) Речь идет о следующей работе: «Briefwechsel unserer Zeit von einem revolutionären Diplomaten und politische Studien über die Jahre 1848—49 in Frankreich und Italien». Basel, 1851.

«Имеется еще Герцен, брошюру которого «Vom anderen Ufer» вы, быть может, читали. Он скорее человек увлечения, чем убеждения, и человек воображения больше, чем знания, впрочем, очень преданный и очень способный.

«Вот все имеющиеся тут силы. Я не преувеличиваю их размеров. В сравнении с поставленной целью они кажутся ничтожными, но это только повидимому. Если принимать во внимание только отдельных лиц, то это немного, но, при их связях и знакомствах, влияние их распространяется очень далеко. Фраполли и я располагаем парижской прессой. Организация, которую он устроил в интересах Италии, пока он был посланником, и которую я сохранил, пока оставался в «Реформе», все еще существует и распространяется даже за пределы Франции. Герцен доставляет деньги на издание «Voix du Peuple» и тесно связан с Прудоном и прудонистами. Фраполли, в силу своей дружбы с Мадзини и услуг, оказанных им Италии, располагает всеми силами итальянской организации, которые очень велики. Кроме того, здесь (в Женеве) мы нашли неожиданную помощь, которой нельзя пренебрегать. Это француз, некто Шарпантье, мало известный, но энергичный, преданный, способный и очень прогрессивный. Он предлагает нам помощь могучей и обширной организации, центр которой находится в Лионе, но развет-
вления которой имеются в Париже и во всей Франции. Вы видите, что это довольно почтенная сила, но, дорогой мой учитель, я считал бы все это очень недостаточным, если бы не расчитывал на вас. Именно поэтому я считал необходимым писать вам так подробно, чтобы познакомить вас с моим планом, с моей точкой зрения и средствами действия. Я повторяю, что расчитываю на вас, и расчитываю самым положительным образом для немедленного осуществления. Вот что мы решили пустить в первом номере, предполагая ваше согласие. Будет общая статья, неподписанная, которая будет выражать взгляды, общие всей редакции, и ряд специальных статей с подписями. Что касается этих специальных статей, то мы имеем статью Фраполли об Италии, Герцена — о России, мою — о Венгрии и славянском вопросе, Пиа — о Франции, статью (также о Франции) Массоля, моего друга, вместе со мной редактировавшего «Реформу» (он — прудонист). Я расчитываю, что вы нам дадите статью о Германии — в том смысле, который я указал, т.-е. резюмэ какого-нибудь злободневного вопроса, в одно и то же время манифест и программу. В виде общей статьи предполагается мой план европейской политики. Само собой разумеется, что она предварительно будет отослана вам для

прочтения и одобрения. Я послал бы ее вам вместе с этим письмом, если бы я был уверен, что последнее дойдет; но, так как вы могли переменить адрес или что-нибудь может случиться в дороге, то я не хочу присоединять мой план, которым я очень дорожу. Но напишите мне сейчас же, и я пошлю его на указанный вами адрес.

«Во втором номере придется дать программную статью, т.-е. изложение системы переходных мер, которые, ведя прямо к осуществлению наших идей, соответствовали бы потребностям момента. Понятно, что т о л ь к о в ы в состоянии выполнить такую работу. Мы предполагали сделать из нее манифест партии для всей Европы, как только она получит одобрение наших друзей в Париже и Лионе. Если вы дадите себе труд сейчас же набросать основы этой программы, то мы постараемся, чтобы она сейчас же подверглута была обсуждению, и чтобы ее основные идеи были приняты. Для этой работы вам, вероятно, понадобится месяца три. Что касается вашей статьи о Германии, то я не только надеюсь, но уверен, что вы сейчас же за нее возьметесь и что в две недели она будет готова. Вы пошлете ее прямо в Париж Массолю (36. rue Neuve des Petits Champs), который будет заведывать журналом. Издатель, которого мы нашли, обязуется печатать его на свой счет и делить с нами прибыли, если они будут. Чтобы покрыть издержки, необходимо продать 600 экземпляров. Если будет продано 1.200, то останется чистых 3.000 франков, что составит 50 франков с листа. Это, конечно, мало, но, если первый номер будет иметь успех, то мы сможем издать второй за наш счет и получить в два раза больше.

«Я расчитываю не только на вас, но на всех ваших друзей. Если бы Вольф не дал мне в Париже доказательства своей неизлечимой лени, я пригласил бы его сотрудничать. Отвечайте же мне сейчас и самым подробным образом и обещайте мне написать те две статьи, о которых я прошу. Вы понимаете их значение не меньше, чем я сам... Прощайте, мой друг, я, быть может, никогда уже не буду писать вам так подробно, но я желал бы иметь возможность писать вам часто.

«С братским приветом С а з о н о в.

«P.-S. Что касается немцев, имеющихся тут, то лучший из них, это — молодой Зигель [1]), последний главнокомандующий баден-

---

[1]) Зигель в «Воспоминаниях» говорит о своем знакомстве с Сазоновым и упоминает, между прочим, о его совместном житье с Форесом, который должен был передать это письмо Марксу. «Denkwürdigkeiten des Generals F. Sigel». Herausgegeben von W. Blos. Mannheim, 1902, стр. 138—9.

ской армии. Это — человек, исполненный лучших намерений и склоняющийся к нашим взглядам. Если в вашем письме вы скажете несколько хороших слов о нем, это будет полезно. Я могу назвать еще доктора Фридмана, который тоже на хорошем пути».

Как реагировал Маркс на это письмо своего нового прозелита, нам неизвестно. Он был тогда поглощен работой по реорганизации Союза Коммунистов и только что (в марте 1850 г.), вместе с Энгельсом, составил свое «Обращение к Союзу», в котором подвергает резкой критике демократическую партию. На ряду с этой организационной работой Маркс должен был еще, вместе с Энгельсом, нести труды и заботы по части издания «Neue Rheinische Zeitung», для которой он, кроме библиографии, написал «Классовую борьбу во Франции» и другие статьи. Взять в такое время на себя новые обязательства было бы рискованно, даже в том случае, если бы Маркс с бо́льшим доверием относился к редакторским и издательским талантам Сазонова. А он, по всей вероятности, отнесся очень скептически к рвению «русского революционера», который, как это видно и из письма, несмотря на свое желание свободиться из-под власти старой идеологии, все свои расчеты строил на тесном союзе с той самой демократией, с которой Маркс так беспощадно сосчитался в последних книжках «Neue Rheinische Zeitung». Компания, которую хотел сгруппировать Сазонов, была слишком разношерстной, чтобы обещать какую-нибудь плодотворную работу. А тут, на беду, он дал Марксу лишнее доказательство своей политической наивности, рекомендуя ему горячо и прося у него нескольких хороших слов о Зигеле, против которого — вместе с другими его товарищами — направлено было второе обращение к Союзу (июнь 1850 г. [1]).

Как бы то ни было, из предприятия, задуманного Сазоновым, несмотря на то, что он, как казалось ему, предусмотрел все и вся и обставил дело самым «практическим» образом, не вышло ровно ничего. Реакция все усиливалась. Один оппозиционный журнал закрывался за другим. А для «подпольной» литературы Лондон представлял более удобный пункт, чем Женева, где французская полиция чувствовала себя, как дома. Сазонов остался в Швейцарии, принимая, как мы видели, участие в эмигрантских делах, и был также членом комитета европейской демократии, о котором так резко отзывается Маркс. Пользуясь своим старым знакомством с Джемсом Фази, он оказывал различные услуги французским и немецким эмигрантам, но именно эти близкие сношения с

---

[1]) «Karl Marx, «Enthüllungen über den Kommunisten prozess zu Köln» Zürich, 1885, стр. 83—88.

женевским диктатором навлекли на него подозрения, оказавшиеся совершенно неосновательными. Он сблизился тогда с Гессом, с которым познакомился еще в Париже, хлопотал даже об издании его «Jugement dernier du vieux monde social» — брошюры, в которой, на ряду с признанием огромных теоретических заслуг Маркса и критикой Прудона, подчеркивается, в полном согласии с противниками Маркса—Виллихом и Шаппером, его доктринерство и неспособность к «живому», «практическому» делу [1]) и, как видно из одного его письма к Гессу, писал статьи для «Populaire», органа кабэтистов, в котором играл тогда очень влиятельную роль его старый парижский приятель, польский социалист Кроликовский [2]).

«Париж, 10 сентября.

«Мой дорогой Маркс!

«Я уже давно не имею от вас никаких известий и также давно не писал вам о себе. Дело в том, что я уже давно собирался навестить вас в Лондоне, но вдруг очутился в Париже, где думаю остаться до тех пор, пока полиции не удастся накрыть меня и выслать. Париж никогда еще не был так интересен, как в настоящий момент. Старый мир находится накануне своего полного разложения. Процесс его гниения до такой степени подвинулся вперед, что составляющие его атомы отделяются друг от друга и превращаются в самостоятельные центры. Только этим можно об'яснить возникновение такого множества проектов, надежд, интриг, заговоров, исчезающих так же быстро, как они зарождаются. Это самая причудливая и забавная комедия, какую только можно себе представить. Все устраивают заговоры — легитимисты и орлеанисты, бонапатисты и, soi-disant, демократы, и все они расчитывают на армию. Бонапарт возлагает свои надежды на войска в Париже, легитимисты—в Лионе, орлеанисты—на африканских солдат, а наши красные — на всех солдат зараз. Для заговоров пускаются в ход все средства: так, лотерея золотых слитков была бонапартистской затеей, чтобы в необходимый момент вооружить пятьдесят тысяч негодяев. Этот заговор, для которого приготовили даже мундиры, якобы посланные герцогом Брауншвейгским, кончился ничем только благодаря хищности бандитов, окружающих Бонапарта и издержавших слишком скоро и чересчур много денег. А предприятие, анонсируемое в газетах под

---

[1]) В статье об отношениях между Герценом и Марксом мы еще вернемся к этой совершенно забытой, но очень любопытной брошюре.

[2]) См. Prudhommeaux Jules, «Etienne Cabet et son oeuvre», Paris, 1907.

затейливым названием: «Тридцать дней развлечений», представляет орлеанистский заговор, цель которого—пропагандировать кандидатуру герцога Жуанвильского.

«Я привожу эти детали, чтобы показать вам, как близко уже разложение старого общества. С другой стороны, народ все больше освобождается от предрассудков старого мира. Рабочие ассоциации создают людей знакомых с деловой практикой. Некоторые из этих ассоциаций гораздо более радикальны, чем это можно было бы думать на основании их статутов, которые, вообще, редактированы неособенно удачно. Недостает только ясной и точной доктрины. Я перевел на французский язык половину вашего манифеста, опубликованного в 1848 г. Дронке [1]) взял на себя перевод другой половины и издание, но он ничего не сделал: он — лентяй и легко поддается влиянию всяких буржуа.

«Вы знаете, конечно, что Кабэ, вместе с П. Леру и Луи Бланом, стараются об'единить коммунистов. Жаль, что за это дело взялся именно Кабэ. Вы знаете, насколько этот замечательный человек ограничен во всем, что касается науки и доктрины.

«Мне передавали, что вы и Энгельс хотите воспользоваться всемирной выставкой, чтобы показать буржуазии, как вся ее деятельность, даже в наиболее благородных и прогрессивных ее проявлениях, совлекает ее с традиционного пути и заставляет ее подготовлять наступление коммунизма. Это — прекрасный сюжет, достойный вашего гения, и я хотел бы, чтобы вы его разработали à fond.

«Пишите мне, дорогой учитель, и примите уверение в постоянной дружбе и преданности вашего брата С а з о н о в а.

«Письмо это будет передано вам гражданином Массолем, одним из моих друзей, а также друзей Прудона. Он вам сообщит последние новости об этом великом реформаторе, к сожалению, теперь еще более буржуазном, чем когда-либо прежде».

Маркс уже знал в это время о сближении Сазонова с Гессом. Кроме того, Дронке, не поладивший с Сазоновым [2]), успел написать Марксу, что в швейцарских эмигрантских кругах к «русскому социалисту» относятся с недоверием, так как он играет двусмысленную роль, и что даже Фраполли разошелся с ним. Сазонову, как и Бакунину, пришлось расплачиваться за подвиги русских агентов, о которых мы расскажем ниже. Маркс поэтому от-

[1]) Один из сотрудников «Neue Rheinische Zeitung», действительно, не отличавшийся большим прилежанием и стойкостью. В конце пятидесятых годов он уже порывает связи со своими старыми товарищами и возвращается в лагерь «ликующих».

[2]) Дело чуть не дошло до дуэли.

неся к письму Сазонова несколько скептически, тем более, что как раз в это время произведены были массовые аресты среди немецких эмигрантов в Париже. В своем письме к Энгельсу он выражает даже удивление по поводу неожиданного появления Сазонова в Париже. Но это непонятное для Маркса обстоятельство было скоро вполне раз'яснено, и в другом письме он уже сам старается раз'яснить Энгельсу неосновательность его подозрений против Сазонова. Дальнейшие фантастические сообщения и похождения Дронке показали, как осторожно надо было относиться к его первому письму о Сазонове.

V.

Вероятно, после государственного переворота 2 декабря 1851 г. Сазонову пришлось оставить Париж. Ему и на этот раз не удалось уехать в Лондон, и он опять направился в Женеву. Сколько времени пробыл он в Швейцарии, трудно сказать. В «Славянских письмах» Островского [1]) напечатано письмо его, помеченное 29 ноября 1853 г., но без указания места. В этом письме он горячо протестует против попытки отождествить его и его единомышленников с русским правительством.

«Как и вы,—пишет он, между прочим,—мы также христиане: эта религия, в которой нас воспитали наши матери, научила нас практике христианской свободы».

Является ли эта фраза просто литературной façon de parler или отражением мимолетного настроения?

Мы знаем только, что материальное положение Сазонова в это время было ужасно [2]). Лишенный, согласно приговору сената, прав состояния 14 декабря 1850 г., он, вероятно, перестал получать всякие денежные средства из России. С Герценом он разошелся в 1852 г. «Между нами пробежала кошка, — говорит Герцен: — Сазонов неоткровенно поступил со мной в одном деле, очень дорогом мне. Я не мог перешагнуть через это». Речь идет о трагической истории жены Герцена, пережившей тогда увлечение Гервегом. Вернувшись, разочарованная и душевно разбитая, жена Герцена умерла в мае 1852 г. Перенесший незадолго до этого смерть матери и горячо любимого сына, потонувших 16 ноября 1851 г., Герцен на время потерял душевное равновесие и не в состоянии был хладнокровно относиться ко всякой попытке так или иначе смягчить вину Гервега или оправдать его поступок. Из следующего письма

[1]) Christian Ostrowski «Lettres slaves (1833—57)». Paris. 1857.

[2]) Покойный Лафарг, со слов сына Сазонова, офицера французской армии, рассказывал, что Сазонов одно время буквально голодал. На такую же острую нужду указывают его письма к Гессу.

Герцена к Гессу видно, что́ именно послужило причиной расхождения между ними и Сазоновым [1]), которому приходилось выбирать между двумя старыми друзьями.

«29 мая 1854 г. London, 25, Eulton Square.

«Мой дорогой Гесс!

«Благодарю вас за ваше письмо. Оно показывает, что вы питаете ко мне большое доверие и даже большую уверенность в доброте моего сердца, — чем я, к сожалению, не могу похвастаться.

«Было бы слишком долго и, еще более, неприятно для меня рассказывать вам в деталях, как и почему я разошелся с Сазоновым. Я абсолютно ничего не могу сказать против него с общей точки зрения. Он ранил во мне не человека, не честь мою, а чувство дружбы. В той страшной истории, которая едва не погубила всю мою семью и оставила после себя раны, не зажившие еще до сих пор, он ровно ничего не понял сердцем.

«Презренный человек, на которого я указал Сазонову, как на труса и клеветника, писал, — и я читал это своими собственными глазами, — что Сазонов — единственный человек, который понял эту историю.

«Оставаться в близких отношениях с человеком, заслужившим эту похвалу, было для меня немыслимо тем более, что в письмах ко мне я видел очень хорошо, как поверхностно Сазонов отнесся к истории, где речь шла о жизни и смерти, чести или позоре, оправдании или осуждении женщины.

«Она умерла. Я написал Сазонову: «между нами гроб» — и просил его оставить меня в покое.

«С тех пор я имел случай оказать ему очень большую услугу. Враги его распространили о нем в Лондоне очень дурные слухи. Я заставил их замолчать [2]).

«Что касается финансовой стороны вопроса, то я думаю, что она должна быть покончена вместе с другими отношениями. Я никогда не брал на себя обязанности быть поставщиком своих друзей, и тем более странно было бы это при наших отношениях.

«Господин Сазонов тратит много, работает мало. Он мне должен около 6.000 франков. Да маленькая сумма вряд ли ему поможет. И, конечно, если бы он нуждался в таковой, то вы, при ваших средствах, не оставили бы его без помощи.

---

[1]) Письмо это найдено мною в переписке Гесса вместе с письмами Сазонова. Она принадлежит теперь архиву немецкой социал-демократической партии.

[2]) В своих воспоминаниях о Сазонове Герцен не упоминает об этом инциденте. Речь идет, вероятно, о полемике в «Morning Advertiser», где Герцен защищал, — якобы против Карла Маркса, на самом же деле, против Френсиса Маркса,—Бакунина и других русских революционеров.

«Я, между прочим, веду здесь очень активную жизнь. Я организовал русскую типографию, издал четыре брошюры и целый том, я работал в газетах — и думаю, что все это было не без пользы. Но это потребовало от меня больших расходов, так как типография от матриц до рабочих содержится за мой счет.

«Головин, — а он, наверное, не талантливее Сазонова, — продал здесь в течение последнего года на 4.000 франков различных статей и манускриптов.

«Почему вы сами не постараетесь найти какую-нибудь работу для Сазонова?

«Мне помнится, вы мне еще в Ниццу писали, что вы должны мне маленькую сумму и предложили даже выдать на вас вексель. Я предоставляю эти деньги в ваше полное распоряжение — с условием, чтобы вы не упоминали обо мне. Вообще, дорогой гражданин, это письмо предназначается только для вас.

«Весь ваш Герцен».

Явные намеки в этом письме на «средства» Гесса, который якобы не желает помочь Сазонову, безусловно несправедливы. Сын очень состоятельных родителей, Гесс давно порвал с ними и перебивался журнальной работой. Все, что было в его силах, он уже для Сазонова сделал, и это подтверждается письмами последнего. Не подлежит никакому сомнению, что он писал Герцену без ведома Сазонова. Возможно, что он сообщил Сазонову о новом предприятии Герцена и об основании русской типографии в Лондоне. Но, узнал ли Сазонов об этом другим путем, так или иначе, между Герценом и им произошло примирение, и с 1854 года начинается сотрудничество Сазонова в «Вольной русской книгопечатне».

Началась крымская война. Кроме Энгельсона, Герцен не имел никаких сотрудников, и помощь Сазонова могла быть ему только желательной. Первым опытом явилась прокламация: «Родной голос на чужбине. Русским пленным во Франции», датированная 12/24 октября 1854 г. Она несколько более удачна, чем прокламации Энгельсона с их подделкой под народную речь, хотя и снабжена религиозными иллюстрациями, производящими иногда очень странное впечатление в устах «вольтерьянца».

Сазонов обращается к офицерам и солдатам бомарзундского гарнизона, попавшим после сдачи Бомарзунда во Францию. Тоскующим и скучающим по родине пленникам он рисует контраст между «вольной Францией» и рабской Россией и рассказывает, как в 1789 г. французы добились воли для крестьян и отмены палки для солдат. Он об'ясняет дальше, почему во Франции так

сильны симпатии к полякам. «Свергнуть иго немецкого правительства», дать всем крестьянам вольность и землю и восстановить независимость поляков — вот, по его мнению, главные задачи, которые стоят перед русскими [1]).

Но участие Сазонова в изданиях Герцена не ограничилось только этой прокламацией. Уже в первой книжке «Полярной Звезды» Искандер сообщает читателям, что «нам обещана статья: «О месте России на всемирной выставке»; зная автора, мы ждем ее с нетерпением» [2]). Статья эта была напечатана во второй книжке. Сказав несколько слов о русской промышленности и месте, занимаемом ею в Европе, Сазонов набрасывает затем крупными штрихами картину исторического развития России и характеризует ее положение и роль в общем концерте всемирной цивилизации.

Современное западно-европейское общество может быть, по его мнению, характеризовано, как деспотизм безответственной собственности ограниченный лотереей. Другая черта, отличающая западную цивилизацию, это — самодовольство. Буржуазия создала по образу и подобию своему прессу, по наружности—свободную, но на самом деле—порабощенную нисколько не менее, чем в государствах деспотических, и, наконец, образовала так называемое о б щ е с т в е н н о е м н е н и е, которое, прямо или косвенно, но вполне зависит от правительства и от капиталистов. Униженнее и подлее общественного мнения в буржуазной Европе не существовало никогда ничего в мире.

Россия в области цивилизации нисколько не разнится от Западной Европы и отстала в промышленности только потому, что промышленность теперь находится в эпохе буржуазной, а в России буржуазии нет. Главными причинами этого является, прежде всего, иное устройство собственности и другие понятия о справедливости. Господство общинной собственности мешало западной юриспруденции пустить у нас корни. А без этой юриспруденции буржуазия нигде существовать не может. У нас этого ничего нет, да и быть не может, следовательно, и промышленность в современном ее развитии сделается для нас только тогда доступной, когда выйдет из буржуазной опеки.

После этих далеко не марксистских рассуждений Сазонов набрасывает очерк развития русской цивилизации. Господствую-

---

[1]) Один из пленных бомарзундских офицеров И. Г. Жуков был после деятельным членом «Земли и Воли» и поплатился многолетней каторгой. Умер 30 сентября 1911 г.

[2]) «Полярная Звезда», том первый, стр. 232.

щий ее характер — последовательность, разумная и страстная разом, в которой общественный фатализм участвовал столько же, как и личная свобода. Татарское нашествие разрывает связь русской истории с общеславянской, но в истории Москвы особенно ярко проявляется «характеристическая черта русского национального характера — упругость, которую можно сравнить с геройским постоянством европейского племени». Большую роль, по его мнению, в деле сохранения «национального лица» сыграла славянская библия, которая «была залогом нашей народности». На ряду с у п р у г о с т ь ю, Сазонов называет разумность, то-есть преобладание во всех важных случаях народной жизни рассуждения над увлечением, расчета над страстью. Эту разумность, доходящую иногда до геройства, иногда до циинческой расчетливости, он видит во всей политике Москвы и в том, что Россия выбрала себе учителем не Францию, не Англию, а Голландию.

Но за разумностью следует еще качество, на первый взгляд ей противоположное, «нестойкость», которое, в отличие от Чаадаева, «человека необыкновенно умного, но считавшего пороком то, что мы считаем добродетелью», Сазонов считает силой России, обеспечившей для нее возможность самобытной деятельности, которая исчезла бы, если бы мы усвоили себе ту или другую систему преданий из существовавших на Западе в XVII ст., то-есть, подчинились бы католическому единству или присоединились бы к протестантизму.

Из этой «движимости» русского характера в новое время вытекает другое свойство, с ней сродное, именно: возможность, желание и талант над собой самими смеяться. Вместо западного самодовольства, в России господствует самоосмеяние. В виде примера Сазонов приводит: «Недоросля» Фонвизина, «Ябеду» Капниста, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизора» Гоголя, «Свои люди — сочтемся» Островского.

Но почему же соединение таких основательных и блестящих свойств не породило оригинальных, деятельных личностей и той умственной производительности, которая могла бы завоевать себе место в истории развития европейского человечества?

На этот вопрос Сазонов отвечает, что в замечательных личностях недостатка в России нет, но они или находятся в сфере оффициальной и поглощены там огромностью однообразия и немотой правительственного организма, или проверяют дух, неприязненный правительству, и гибнут, не развившись. Остаются одни только литературные личности, которые могут в известной степени до-

стигать и действительно достигают иногда полного расцвета—Пушкин, Лермонтов, Гоголь.

Сазонов указывает и на другие причины, мешающие развитию замечательных личностей. Между прочим, он об'ясняет, почему «любовь занимает в жизни русских людей место, несравненно важнейшее и обширнейшее, нежели на Западе». «Там, вследствие долгого и многообразного исторического развития, она принимает вообще ход правильный, наперед предвидимый и как будто размеренный, ограничивает свое влияние одной молодостью и превращается почти в любезную болтовню. У нас силы души, не поглощенные ни страстною деятельностью партий, ни даже чувством долга и необходимостью труда, предаются с полным самозабвением любви, увлекаясь потоком того, что называют русской праздностью и русской ленью. Сколько прекрасных, сколько замечательных личностей гибнут в бурях страсти, навсегда теряя силу участия в какой бы то ни было деятельности, проводя жизнь в безвыходном унынии или предаваясь беспрестанно новой и вечно обманутой надежде отыскать однажды пригрезившийся им идеал» [1]).

Что Россия все же в состоянии «рождать» замечательных людей, показывает пример Чаадаева, и Сазонов дает подробную характеристику этого западника. Кончается статья следующим прогнозом:

«Все, что я говорю о России и русских, можно, пожалуй, назвать панегириком или, по крайней мере, апологией. Но я сначала об'явил, что не имею сатирического расположения. Дело не в названии. Есть ли в моей апологии истина? Вот вопрос, а в том, что я от истины не отступил, убеждает моя научная совесть.

«Мне также было бы неприятно, если бы приняли за намеренную сатиру описания некоторых частностей западного развития, которыми моя статья начинается. Я нисколько не принадлежу к ненавистникам европейского Запада. Живши долго в разных странах его, я свыкся с его нравами, уважаю и люблю великие национальности, его составляющие, особенно Францию, которую я считаю вторым отечеством.

«Франции я повторил в новом виде те укоры, которые она слыхала от любимых сынов своих; но от укоров далеко до проклятия или до приговора. Приговора я не произнесу не только Франции, матери революций, в будущности которой я уверен, но даже

---

[1]) Ср. Милюков П. «Любовь у идеалистов тридцатых годов» в сборнике: «Из истории русской интеллигенции». Спб., 1903 г.

ни Англии, эгоистической, но трудолюбивой, ни Германии, тяжелой на под'ем, но глубокой и решительной в убеждениях.

«Западу предстоит обновление так же, как и нам самим. Перерожденная Россия займет свое место в Европе преобразованной, и тогда примиренные народные массы не будут упрекать одна другую так, как упрекают теперь друг друга привиллегированные классы различных наций. Западные европейцы перестанут считать освобожденных русских варварами, а мы не будем более мечтать о скорой гибели гнющего Запада и о всемирном господстве славянского племени.

«Для всех племен, для всех идей и для всякого труда есть на земле место. Соединим наши усилия для того, чтобы не было нигде притона, пристанища для рабства, для невежества и для лжи».

Заключение статьи звучит, как скрытая полемика против Герцена, окончательно разочаровавшегося в «старом мире». Оно указывает, что между Сазоновым и Герценом продолжали существовать значительные принципиальные разногласия, и что в споре между «лишними людьми» и «желчевиками» первый скорее принял бы сторону Чернышевского, который, несмотря на свое признание спасительной роли русской общины, резко восставал против всех мечтавших «о скорой гибели гнющего Запада» и в статье: «О причинах падения Рима» подверг взгляды Герцена беспощадной критике. В отличие от Герцена, Сазонов, вместе с ним переживший годы реакции после 1848 г., не изверился в способности Запада справиться самостоятельно со всеми «проклятыми вопросами», которые ставились на очередь процессом общественной эволюции.

Возникли ли на этой почве опять какие-нибудь разногласия между Герценом и Сазоновым, убедился ли последний, все еще тесно связанный с «марксидами» [1]), что он не может работать вместе с Герценом,—мы не знаем, но статья, которую мы только что изложили, является последней статьею Сазонова, напечатанной в издании «Вольной русской книгопечатни». На этот раз они разошлись навсегда.

---

[1]) В бумагах Маркса мы нашли принадлежащий Сазонову немецкий перевод известного стихотворения: «Русский бог», напечатаннаго во второй книжке «Полярной Звезды». Но третья строфа не сходится с оригиналом даже в другом известном варианте этого стихотворения (См. Вяземский П. «Полное собрание сочинений», том третий, стр. 451). Вместо «Бог пришельцев, иноземцев, переходших наш порог, бог в особенности немцев»,—сказано в обратном переводе на русский: «Бог бездомных, бог бродяг, осаждающих наш порог, бог всех выброшенных на чужбину». Сделано ли это смягчение, чтобы пощадить «немецкий патриотизм» Маркса, или существовал еще третий вариант, нам неизвестный?

Вообще, с 1854 г. Сазонов опять начинает более усердно заниматься литературной деятельностью. Вероятно, обострение отношений между Францией и Россией дало ему возможность вернуться в Париж. Он издает анонимно книгу, посвященную Николаю: «Правда об императоре Николае», которая очень выгодно отличается от наполнявших тогда книжный рынок сочинений о России [1]). Параллель между грозным вершителем судеб Европы и Хлестаковым проведена не без таланта и оригинальности.

В 1855 г. Сазонов становится одним из редакторов лучшего тогда критического обозрения «L'Athenaeum Français», ставившего себе те же задачи, что английский «Athenaeum» [2]). Он пишет, между прочим, о «русских и немецких народных сказках», о «чешской литературе», о «русских патронимических именах» и т. д. и помещает там множество критических статей, подписанных то собственным именем, то псевдонимом К. Штахеля (K. Stachel).

С прекращением этого журнала мы опять теряем Сазонова из виду. Мы знаем только, что в 1858 г. он хлопотал о возвращении в Россию. Вероятно, это разрешение было ему выдано на таких условиях, что он предпочел не воспользоваться «милостью». Коммунист для Западной Европы, крайний «западник», Сазонов к этому времени превратился в убежденного «конституционалиста» для России. Он становится «реальным политиком» и сближается с либеральными элементами русского дворянства в Париже. В 1859 г. он является уже главным редактором международного обозрения, выходившего на французском языке,—«La Gazette du Nord», — ставившего себе целью знакомить европейцев с жизнью северо-европейских стран (России и Скандинавии). Издателем журнала является некий Gabriel de Rumine (Гавриил Рюмин).

Сазонов напечатал в этом журнале ряд статей об освобождении крестьян, в которых он подчеркивает необходимость для России избежать «пролетариата, этой зияющей язвы современных обществ», и доказывает, что, если «нам удастся организовать свободный народ, среди которого не будет пролетариев, то нам будут прощены все наши грехи» [3]). Он посвящает также подробную статью

---

[1]) «La verité sur l'empereur Nicolas. Histoire intime de sa vieet de son regne par un russe». Paris, 1854. Ее упоминает проф. Е. Тарле в статье: «Самодержавие Николая I и французское общественное мнение»; «Былое», 1906 г., октябрь, стр. 155—56. Но авторство Сазонова, на которое указывает в своих «Lettres slaves» Островский, осталось ему неизвестным. См. также Бурцев, В. «За сто лет». Второй отдел, стр. 37.

[2]) «L'Athenaeum Français. Revue universelle de la science et des beaux arts». Последний номер вышел 26 июня 1855 г.

[3]) «Gazette du Nord», 1859 г.—3, 10 и 17 декабря; 1860 г.—7, 21 и 28 янв., 18 февраля и 3 марта.

положению евреев в России и высказывается за полное равноправие их [1]). Кроме того, он написал несколько статей, в которых знакомил иностранцев с русской литературой, в том числе очень интересную статью о Герцене, цитированную нами выше.

В этом журнале, в корреспонденции из Петербурга от 25 апреля 1860 г., мы встречаем совершенно неожиданно имя Маркса [2]). Говоря о лекциях Молинари, петербургский корреспондент замечает:

«Вряд ли этот брюссельский писатель сам считает себя очень сильным в области политической экономии, науки, которая насчитывает теперь среди своих представителей таких оригинальных исследователей, как Карл Маркс, Стюарт Милль, Кэри, Прудон и другие».

Мы видим, что «Критика политической экономии» имела уже читателей в России через несколько месяцев после ее появления.

Несмотря на связи Рюмина [3]), несмотря на то, что в журнале подчеркнута была «великодушная инициатива» нового русского «Галилеянина», старому революционеру пришлось наткнуться на очень неприятное отношение к нему некоторых «русских аристократов», за которыми стояло русское посольство. Сазонов не прерывал сношений с европейской эмиграцией и, вместе с «марксидами»—Кугельманом, Гессом, Шили,—организовал, между прочим празднество по поводу столетия со дня рождения Шиллера [4]). Участие Сазонова в вечере, устроенном русской колонией, вызвало скандал. В написанной по этому поводу статье Сазонов доказывает, что он предпочитает Александра Второго Иоанну Грозному, и что, если это значит быть революционером, то он действительно революционер. Действовали ли тут какие-нибудь посторонние влияния, напугавшие Рюмина, или нет, но журнал прекратился уже к 1860 г.

К этому времени относится последнее известное нам письмо Сазонова к Марксу. В 1859 г. известный натуралист Карл Фогт выступил против «марксидов» и в особенности против их шефа Карла Маркса с целым рядом обвинений, гнусность которых могла конкурировать только с их нелепостью. Маркс ответил блестящим памфлетом: «Господин Фогт», где доказал всю никчемность

---

[1]) «Gazette du Nord», 1860 г., 7 апреля.

[2]) «Gazette du Nord», 1860 г., 5 мая.

[3]) В журнале принимал участие и Жеребцов, которому Добролюбов посвятил свою известную статью («Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым»).

[4]) «Gazette du Nord», 1859 г., 12 и 19 ноября.

обвинений взбеленившегося профессора и его тесные связи с Наполеоном. Именно в этом памфлете мы находим письмо неназванного Марксом «известного русского писателя» [1]):

«Мой дорогой Маркс!

«С крайним негодованием узнал я о клеветах, распространяемых на ваш счет и опубликованных в статье Эдуарда Симона в «Revue Contemporaine». Что меня в особенности удивило, так это то, что Фогт, которого я не считал ни дураком, ни негодяем, в состоянии был так низко пасть, как это свидетельствует его брошюра. Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть уверенным, что вы неспособны на низкие и грязные интриги, и мне было тем более неприятно читать все эти инсинуации, что как-раз в то время, когда их печатали, вы дали ученому миру первую часть прекрасного труда, который должен формировать экономическую науку и поставить ее на новые и более солидные основы...

«Мой дорогой Маркс, не обращайте внимания на все эти низости; все серьезные и честные люди за вас, но они ждут от вас чего-нибудь другого, чем эта бесплодная полемика: им хотелось бы иметь поскорее окончание вашего прекрасного труда. Ваш успех колоссален среди мыслящих людей, и, если вам приятно будет узнать, какое впечатление произвели ваши доктрины в России, то я скажу вам, что в начале этого года профессор... читал в Москве публичный курс по политической экономии, и первая лекция его была парафразом вашего последнего труда [2]). Вместе с этим письмом я посылаю вам номер «Gazette du Nord», из которого вы можете видеть, с каким уважением относятся к вам в моей стране [3]). Прощайте, дорогой Маркс, берегите свое здоровье и работайте, как и прежде, для просвещения мира, не обращая внимания на мелкие глупости и мелкие мерзости. Верьте дружбе преданного вам...»

В 1860 или 1861 г. Сазонов опять покидает Париж, на этот раз навсегда. Он переехал в Женеву, откуда, как раньше из Парижа, он корреспондировал также в русские журналы. Статьи его под именем Штахеля печатались в «Отечественных Записках» и «Петербургских Ведомостях». Известный библиограф Геннади упоминает также о корреспонденциях, которые Сазонов писал в «Наше Время» под именем Феопотала [4]).

---

[1]) Karl Marx. «Herr Vogt». London, 1860, стр. 8—9. К сожалению, нам не удалось найти в бумагах Маркса оригинал этого письма, но все его содержание показывает, что автором его является Сазонов.

[2]) Мне не удалось проверить это показание.

[3]) Сазонов говорит о выше цитированной корреспонденции из Петербурга.

[4]) Геннади, Г. «Краткие сведения о русских писателях и ученых, умерших в 1860—62 гг.». «Русский Архив», 1864 г., стр. 1099.

В Женеве Сазонов опять сблизился с Иоанном-Филиппом Беккером. В бумагах этого заслуженного ветерана европейской революции, которому пришлось еще двадцать лет спустя в той же самой Женеве познакомиться с основателями русской социал-демократии, я нашел записку, составленную Сазоновым (в апреле 1862 г.), по всей вероятности, для его немецких друзей. Она должна была выяснить значение крестьянской реформы и роль «интеллигенции», для которой Сазонов нашел подходящее имя в словаре XVIII века.

«В последнее время, — пишет Сазонов, — в России замечается моральное и материальное движение, достойное внимания всякого серьезного наблюдателя. Освобождение крестьян, которое давно уже подготовлялось и требовалось общественным мнением, но задерживалось вследствие нелепого упрямства..., в настоящее время представляет совершившийся факт. Это — полный экономический переворот в самых основах русского общества. До настоящего времени одна половина земельной площади принадлежала государству, а другая — сотне тысяч дворянских семейств. Начиная со следующего года, 40.000.000 собственников будут делить эту собственность с государством и дворянами. Вся всемирная история не знает другого примера такой колоссальной экономической революции. 1789 год оставлен совершенно в тени.

«Вполне понятно, что она повлечет за собой самые серьезные последствия, ибо история учит нас, что экономические изменения необходимо сопровождаются изменениями политическими и социальными.

«Русское дворянство в последних своих собраниях в губерниях Тверской, Московской, Петербургской проделало свою ночь 4 августа и потребовало отмены всех классовых привиллегий и созыва национального представительства, выбранного всей нацией.

«В России образовалась группа людей, число которых растет с каждым днем. Ни по своим интересам, ни по своим убеждениям они не принадлежат к определенному классу и скорее представляют и защищают со страстью и энтузиазмом общие тенденции современной цивилизации. Это то, что во Франции в XVIII веке называли die Aufklärungspartei (партией просвещения) и что теперь существует только в России.

«Будущее этой страны отныне может считаться завоеванным для прогресса, и этот прогресс ляжет огромным весом на весы судеб человечества. Можно опасаться только, чтобы будущее, о котором мы говорим, не было скомпрометировано, с одной стороны, невежеством народных масс, а с другой, легкомыслием и утопиче-

скими тенденциями дворян. Во всяком случае, раньше или позже свобода, если только ее сумеют сохранить, восстановит равновесие».

Записка эта является духовным завещанием талантливого неудачника, одного из оригинальнейших представителей русской интеллигенции. В том же 1862 году, 5 ноября, Сазонов умер.

VI.

Переходим теперь к другому «русскому аристократу», на этот раз совершенно иного калибра. В русской колонии Парижа были уже и тогда самые разнообразные элементы. Бок о бок с людьми, хотя и безалаберно подчас, но искренно искавшими ответа на всякие «проклятые вопросы», мы находим Репетиловых и Загорецких, встречаем также всякого рода «сотрудников» и «осветителей».

«Не должно думать, — пишет Анненков, — чтобы эта азартная игра со всем содержанием Парижа велась только людьми, литературно и политически развитыми: к ней примешивались часто и такие особы, которые имели совсем иные цели в жизни, — не культурные. Так, по дороге в Европу, я получил рекомендательное письмо к известному Марксу от нашего степного помещика, также известного в своем кругу за отличного певца цыганских песен, ловкого игрока и опытного охотника. Он находился, как оказалось, в самых дружеских отношениях с учителем Лассаля и будущим главой интернационального общества; он уверил Маркса, что, предавшись душой и телом его лучезарной проповеди и делу водворения экономического порядка (sic!) в Европе, он едет обратно в Россию, с намерением продать все свое имение и бросить себя и весь свой капитал в жерло предстоящей революции. Далее этого увлечения пойти не могло, но я убежден, что, когда лихой помещик давал все эти обещания, он был в ту минуту искренен. Возвратившись же на родину, сперва в свои имения, а затем в Москву, он забыл и думать о горячих словах, прозвеневших некогда так эффектно перед изумленным Марксом, и умер не так давно престарелым, но еще пылким холостяком в Москве. Не мудрено, однако же, что после подобных проделок как у самого Маркса, так и у многих других сложилось и долгое время длилось убеждение, что на всякого русского, к ним приходящего, прежде всего должно смотреть, как на подосланного шпиона, или как на бессовестного обманщика. А дело, между тем, гораздо проще об'ясняется, хотя от этого и не становится невиннее!» [1]).

---

[1]) Анненков, Н. В., «Литературные воспоминания и критические статьи». Спб. 1881 г., стр. 155—56.

Вот все, что сообщает нам Анненков о «лихом помещике», который так ловко надул доверчивого Маркса. Из всего этого повествования явствует, что, если Анненков и воспользовался рекомендательным письмом пылкого прозелита «будущего главы интернационального общества», то он все же и тогда уже очень хорошо знал, с кем имеет дело.

Конечно, воспоминания Анненкова писаны были чуть ли не тридцать лет спустя после описываемых событий, и неудивительно, что он мог легко спутать и лица, и имена.

Но уже в самом рассказе чувствуется какой-то странный скачок от «лихого помещика» к «подосланным шпионам» или «бессовестным обманщикам». И возникает вопрос, не был ли этот «лихой помещик» в «близких дружеских отношениях» и с самим Анненковым? А если это действительно так, то чем об'ясняется тенденция Анненкова валить с больной головы на здоровую? Кое какой свет на этот вопрос бросает то самое письмо, которое обеспечило Анненкову хороший прием у «учителя Лассаля». Я нашел его совершенно случайно в бумагах Маркса. Оно написано по-французски, и я даю его в русском переводе.

«Мой дорогой друг.

«Я рекомендую вам г-на Анненкова. Это—человек, который должен понравиться вам во всех отношениях. Его достаточно увидеть, чтобы полюбить («il suffit de le voir pour l'aimer»).

«Он вам сообщит новости обо мне. Я не имею теперь возможности высказать вам все, что я хотел бы, так как через несколько минут я уезжаю в Петербург.

«Будьте уверены, что дружба, которую я питаю к вам, вполне искренна. Прощайте, не забывайте вашего истинного друга

Толстого».

На письме нет ни даты, ни адреса. Но оно, несомненно, писано в начале 1846 г. В ноябре 1845 г. Анненков, как это видно из его письма к Герцену, был еще в Петербурге, хотя уже собирался в Париж [1]). А он сам рассказывает, что письмо получил по дороге в Европу.

Встретился ли он с Толстым в Берлине или в другом германском городе, теперь нет никакой возможности установить. Но из текста письма, во всяком случае, видно, какие нежные чувства питал к Анненкову наш «лихой помещик», alias Толстой.

Кто же был этот загадочный Толстой, имя которого Анненков не считал нужным назвать, хотя он уже был тогда покойником?

---

[1]) «Из переписки недавних деятелей». — «Русская Мысль», 1892 г., июль, стр. 100.

Не подлежит никакому сомнению, что это—тот самый Толстой, о котором Маркс пишет из Брюсселя Гервегу в письме от 26 октября 1847 г. [1]):

«Я хотел тебя еще просить, не можешь ли ты узнать у Бакунина, каким путем, каким образом и каким способом я могу доставить письмо Толстому?»

Издатель писем к Гервегу, со свойственной ему скоропалительностью, указывает в примечании, что это «граф Лев Толстой—известный русский романист». Но автору «Войны и Мира» было тогда едва 17 лет, и он находился в это время в Казани. В 1847 г. он «по расстроенному здоровью» оставил университет и переехал в Ясную Поляну, где и пробыл до 1851 г. За границу он в первый раз выехал в 1857 г.

Из писем Маркса вытекает, что с этим Толстым связан был тесно Бакунин. Мы имеем еще одно показание, где оба эти имени называются вместе. Карл Грюн, один из главных представителей немецкого «истинного социализма», сейчас же после смерти Бакунина опубликовал свои воспоминания о нем.

«Мы встречались,—пишет он,—неособенно часто. Это об'ясня-лось преимущественно тем, что мы вели прямо противоположный образ жизни. Бакунин и другие русские, из которых я помню еще только какого-то графа Толстого, в сущности, ничем не занимались, кроме чтения газет.

«Они обращали ночь в день, и день в ночь и вставали обыкновенно не раньше 12 часов, а обедали только в шесть. Пробыв в кафэ до 3, 4 или 5 часов утра, они отправлялись на покой, чтобы на другой день вновь начать эту адскую жизнь» [2]).

Неттлау, биограф Бакунина, со своей стороны, думает, что это—граф Д. Толстой, бывший от 1866 до 1880 г. министром народного просвещения и от 1882 до 1889 г. министром внутренних дел. Но и это предположение не выдерживает критики. Будущий министр родился в 1823 г. и в 1843 г., по окончании курса в царскосельском лицее, поступил на службу в канцелярию императрицы.

Неттлау ссылается на заметку в «Колоколе» по поводу назначения Д. Толстого министром народного просвещения, в которой якобы сказано, что он был учеником Бакунина. Но Неттлау не понял русского текста. Заметка Герцена озаглавлена «Катков и государь». В ней имеется следующий апостроф по адресу Толстого.

---

[1]) «Briefe von und an Georg Herwegh. Herausgegeben von Marcel Herwegh». München, 1896, S. 89.

[2]) Karl Grün.—«Michel Bakunin».—«Die Wage». 18 August 1876, S. 498.

«Граф Толстой, вы эксперт и знаток по этой части, это ваша специальность... Как вы насчет искренности обращения старого гегелиста, старого шеллингиста, расцветшего в зловредном обществе Берлинского и Бакунина?» [1]). Ясно, что речь идет именно о Каткове, а не о Толстом, как ученике Белинского и Бакунина. Если у Анненкова могли быть какие-нибудь основания не называть своего старого друга, рекомендовавшего его Марксу в таких восторженных выражениях, то ни Герцену, ни Бакунину не приходилось церемониться с графом Толстым. А, между тем, они нигде не упоминают о его причастности к их старому кружку.

Но был еще один граф Д. А. Толстой, он тоже занимал после крупный административный пост. «Проезжая через Париж в 1846 г.,—пишет Анненков в своих воспоминаниях о Гоголе.—я случайно узнал о прибытии туда же Николая Васильевича, остановившегося, вместе с семейством гр. Толстого (впоследствии обер-прокурора синода), в отеле улицы de la Paix» [2]).

Этот Толстой обер-прокурорствовал от 1852 до 1862 г. Но и он не мог быть нашим Толстым. В начале сороковых годов это был вполне сложившийся человек, крайний аскет, один из трех главных адресатов в переписке Гоголя с друзьями, видевший вещи «не с европейской заносчивой высоты, а прямо с русской здравой середины» [3]).

Итак, ни Лев Толстой, ни Д. Толстой, ни А. Толстой не могли писать выше приведенное письмо Марксу. Этим Толстым, по нашему предположению, мог быть только другой член тогдашней русской колонии Парижа—Яков Николаевич Толстой, друг Пушкина и Грибоедова, один из первых русских революционеров и эмигрантов, а затем один из первых русских... ренегатов и шпионов, предшественник Рачковского и Гартинга на дипломатическо-полицейской службе в Париже.

Старший из трех сыновей богатого тверского помещика, Осташковского уезда предводителя дворянства, Яков Николаевич Толстой родился в 1791 г. [4]). Воспитывался он в пажеском корпусе. Пробыв короткое время на военной службе, он вышел в отставку, но, с началом отечественной войны, опять вступил в ряды армии и принял участие в походах 1812—14 гг. В 1817 г. он был на-

[1]) «Колокол», № 225, 1 августа 1866 г., стр. 1841.

[2]) Анненков, П. В., «Литературные воспоминания». Спб. 1909, стр. 66, или «Воспоминания и критические очерки». Том первый, 1877, стр. 236.

[3]) Шенрок, В. И. «Материалы для биографии Гоголя». Том четвертый. Москва 1897, стр. 308, 457, 570, 596—611.

[4]) Модзалевский, Б., «Я. Н. Толстой». «Русская Старина», 1899 г., сентябрь, стр. 587—614, и октябрь, стр. 175—190.

значен старшим ад'ютантом к А. А. Закревскому, тогда дежурному генералу главного штаба, а после прославившемуся на посту московского генерал-губернатора своей энергичной борьбой с язвой просвещения и вольномыслия.

Вероятно, уже в 1818 г. Толстой сделался членом «Союза Благоденствия» и принимал деятельное участие в организованном членами этого союза обществе «Зеленой Лампы». Одно время он даже был его президентом. В кружке, собиравшемся у его основателя, Никиты Всеволожского, а после и у Толстого, мы встречаем Каверина, Трубецкого, Улыбышева, Энгельгардта, по другим известиям—и Гнедича. Одним из самых прилежных членов его был Пушкин, который именно тогда близко сошелся с Толстым. За бутылкой вина и вперемежку с рассказами о различных похождениях молодые люди занимались и более серьезным делом. Дебатировали вопросы дня, обменивались мыслями, делились плодами чтения. Это был, как вспоминал после в одном из своих посланий Толстому Пушкин,

«...Приют гостеприимный:
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз;
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство;
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина...»

«Наиболее ясный намек на оппозиционный элемент в собраниях «Зеленой Лампы» (хотя и не упоминая о ней),—по мнению г. В. Семевского [1]),—Пушкин делает в послании к одному из его товарищей по этому кружку — В. В. Энгельгардту; в конце послания (1819 г.) Пушкин говорит:

«С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
На счет глупца, вельможи злого,
На счет холопа записного,
На счет небесного царя,
А иногда на счет земного».

Полиция напала на след этого тайного общества после истории в Семеновском полку. Но оно уже начало распадаться в 1819 г.

---

[1]) Семевский, В. И. «Политические и общественные идеи декабристов». Спб., 1909 г., стр. 437—8.

«Минутные друзья минутной молодости» разбрелись в разные стороны. 24 октября 1819 г. Пушкин писал П. Б. Мансурову: «Tolstoy болен... «Зеленая Лампа» нагорела, кажется, гаснет, а жаль: масло есть... Но говори мне о себе, о военных поселениях, — это все мне нужно, потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм» [1]).

Толстой скоро углубился в научные занятия и начал штудировать философию. На это намекают и обращенные к нему «Стансы» Пушкина:

«Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладной укоризны.
Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета—
Златой горациев фиал.
Поверь, мой друг: она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины, забот
И бесполезных размышлений.
Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки;
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремушки.
Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье
И легкокрылую любовь
И легкокрылое похмелье!
До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен,
Мгновенью жизни будь послушен
Будь молод в юности твоей!»

В 1820 г. Толстой, вместе с князем Евг. Оболенским, образовал тайное общество в Измайловском полку. С закрытием «Зеленой Лампы», его литературные связи не только не прекращаются, но еще более крепнут и расширяются. Он рискует даже выступить на литературное поприще и дебютирует сборником стихотворений под названием: «Мое праздное время, или собрание некоторых стихотворений Якова Толстого». Образцы, приводимые г. Модзалевским, подтверждают его вывод, что «стихотворная деятельность Толстого не выходила из рядов скромной посредственности».

---

[1]) У Семевского слова «Tolstoy болен» опущены, а, между тем, они указывают, какую большую роль играл он в этом кружке.

В апреле 1823 г. Толстой уезжает за границу для излечения какой-то болезни ног. Он устроился в Париже, но не прерывал сношений с декабристами, как об этом свидетельствует адресованное ему письмо А. Бестужева (Марлинского), в котором последний сообщает целый ряд литературных и политических новостей, между прочим, и об издании «Полярной Звезды»[1]).

— В Париже наш «философ ранний» быстро сбросил с себя оковы «грусти и скуки». После 14 декабря 1825 г. ему так же, как и Николаю Тургеневу, трудно было вернуться в Россию. Имена их упоминались в откровенных показаниях некоторых декабристов. Так, Семенов показал, что именно Николай Тургенев привлек Толстого в тайное общество[2]). И вместе с И. Тургеневым он предпочел остаться за границей.

На первых порах он пытался выдержать характер, но нужда — он скоро запутался в долгах — заставила его пойти в Каноссу. Попытка оправдаться во взводимых на него обвинениях ни к чему не привела. А в ответ на просьбу о помиловании он получил суровый приказ вернуться без всяких промедлений на родину. Вполне основательно не доверяя николаевской «Фемиде», которая тогда слепо и свирепо разила правого и виноватого, он остался в Париже, но благоразумно мотивировал свой отказ невозможностью уехать от своих кредиторов. Ему нужна была не только «гарантия», но и «субсидия».

С этого времени, в течение десятилетий, терзаемый «унылыми сожалениями», Толстой старается пристроиться во французской печати «генеральным консулом по русской литературе», как назвал его старый друг его, князь П. Вяземский[3]). Он пишет ряд опровержений, направленных против авторов, писавших о России. С помощью того же Вяземского он находит работу в русских журналах.

Но литературный заработок его был слишком недостаточен. Долги росли, и Толстой,—решив добиться казенной субсидии,—из кожи лезет, чтобы доказать русскому правительству, что он—верный «патриот своего отечества» и не за страх, а за совесть.

Он берет на себя миссию защищать не русский народ, а «Россию» во французской прессе. «Как видно из его писем, он по-

---

[1]) А. Бестужев. «Письмо от 3 марта 1824». «Русская Старина». 1889 г. Ноябрь. Стр. 375—7.

[2]) «И. И. Тургенев в своем оправдании». «Русская Старина». 1901 г. Октябрь. Стр. 208.

[3]) Вяземский. Полное собрание сочинений. Том I, сс. 245—259. Статья по поводу одной французской брошюры Толстого.

сылал свои сочинения в Россию, старался распространять их среди сильных мира сего, хлопотал о том, чтобы государю стала известна его ревностная деятельность во славу России».

Его пылкая защита подвигов русской армии в 1828 г., наконец, обратила на него благосклонное внимание «сфер». Но он опять «пересолил» в одной брошюре, направленной против султана Махмуда. Он плохо уловил настроение «сфер», и в «субсидии» ему продолжали отказывать. Долги его быстро росли, и к 1830 г. он уже задолжал своим кредиторам свыше 29.000 франков. Наконец, в 1835 г. ему улыбнулась фортуна. Брат фельдмаршала Паскевича обратился к нему с просьбой написать биографию покорителя Варшавы. Работу эту он выполнил так удачно, что «отец командир» сделался отныне его покровителем. В августе 1836 г. Бенкендорф вызвал его в Петербург, при чем, по приказу Николая, ему выдали 10.000 р. в Париже на уплату долгов. В январе 1837 г. он уже был в России, а 29 января 1837 г., в тот самый день, когда друг его молодости — Пушкин — в страданиях доживал свои последние часы, граф А. Х. Бенкендорф писал С. С. Норову, бывшему в то время управляющим министерством народного просвещения, следующее письмо:

«Государь император высочайше повелеть соизволил: отставного гвардии штабс-капитана Якова Толстого назначить корреспондентом министерства народного просвещения в Париже, куда он вслед за сим должен отправиться».

Толстому назначено было жалование в размере 3.800 р. в год, при чем, — вероятно, чтобы подчеркнуть истинный характер нового подвижника на поприще народного просвещения, — деньги эти должны были пересылаться главным казначейством в третье отделение, а оттуда Толстому.

«Должность, которую занял Толстой с этого времени и на которой оставался почти до самой своей смерти, — пишет его биограф, — была крайне загадочна и неопределенна. Так, место это не считалось служебным, а между тем он своевременно получал чины и ордена; по министерству народного просвещения он не состоял на службе, однако был с ним в постоянных сношениях, и дело об его определении сохранилось в архиве этого министерства; в то же время он числился «по особым поручениям» при III отделении собственной его величества канцелярии и даже на службу был определен по «отношению» графа Бенкендорфа. По словам Якова Николаевича, место его «было единственное, не определенное никакими штатами» и создано было с целью «защищения России в журналах» и опровержения статей, противных

России. Кроме этой, так сказать, литературной стороны, на Толстом лежала еще обязанность иметь постоянные сношения как с министром народного просвещения, так и с управляющим третьим отделением, так как оба одинаково являлись его начальниками. Сверх того, он писал в Петербург, особенно в конце каждого года, оффициальные депеши и сообщения, содержание которых нам неизвестно. Бывали и еще какие-то неопределенные поручения, входившие в разряд «особых».

Почетный биограф почему-то стесняется назвать вещь ее настоящим именем и несколько наивничает в своих стараниях «с точностью определить круг обязанностей, лежавших» на Толстом. Тридцать сребреников, которые получал наш «философ ранний», были вещественной мздой за «невещественные», но в то же время довольно земные услуги.

Мы сейчас увидим, какие «особые» поручения выполнял Толстой. Да и сам чиновный биограф отмечает, что «служебные обязанности Толстого заставляли его быть постоянно среди людей самых разнообразных направлений, вслушиваться в их разговоры, наблюдать за ними и тем самым, конечно, навлекать на себя подозрения; к тому же, его служебное положение не могло не сделаться известным».

Ему, однако, долго удавалось скрыть свое настоящее положение даже от многочисленных друзей и приятелей. Тем из них, которым казалось странным совмещение должности «correspondant du ministre de l'instruction publique» с его радикальными взглядами, он сообщал, что не обязан писать ни о каких частных делах.

Характерно, что Вяземский еще в 1875 г. как будто ничего не подозревает о его настоящей роли. «Все русские, посещавшие Париж, находили в нем усердного и многосведущего путеводителя. Он во многом совершенно опарижился, но оставался русским до сердцевины, до мозга костей своих».

Но другой приятель Толстого, В. Муханов, отмечает в своем дневнике: «При встрече с кем-либо он скорее спрашивает, чем рассказывает сам».

Логика его занятий превратила его из корреспондента в доносчика, в литературного агента-провокатора. Обязанный реферировать не только о развитии французского просвещения, но и об отражении его в умах наезжавших в Париж соотечественников, Толстой, чтобы дать доказательства своей «полезности», вынужден был не только доносить о поступках русских путешественников, но и толкать их по пути «вольномыслия». И если Рачковским

и Гартингам нужно было провоцировать террористические акты, то их предшественнику достаточно было вызывать своих соотечественников на разговоры или побуждать их к литературным актам, направленным против главных устоев николаевского режима. Иные времена—иные песни. Но и в старое доброе время нужно было заслужить свои серебреники.

Когда парижский приятель Толстого, князь П. В. Долгоруков, под псевдонимом графа Almagro, напечатал в 1843 г. свою книгу о русском дворянстве [1]), наш «сотрудник» сейчас же сообщил в длинной кляузе, что «Долгоруков думает, что его книга может служить пугалом, с помощью которого он добьется всего, что только взбредет ему на ум. На замечание, что правительство, по всей вероятности, предложит ему вернуться в Россию, он ответил, что откажется выполнить такой приказ» [2]) и т. д., и т. д. В результате доноса Долгорукову приказано было немедленно выехать в Россию. По возвращении он был арестован и сослан в Вятку.

В деле с Головиным Толстой держал себя еще гнуснее.

«Перед от'ездом моим из Петербурга, — пишет Головин в своих курьезных «Записках», — брат мой просил Уварова, нельзя ли дать мне какое-нибудь занятие за границей. Министр ответил: «У меня только литературный один корреспондент в Париже, но я поищу какое-нибудь занятие». Естественно было, что, приехав в Париж, я осведомился, кто этот счастливец.—Толстой,—говорят мне; показывают его карточку, на ней преважно стоит: «Correspondant du ministre de l'instruction publique». Я к нему с визитом.

«Я,—говорит,—вам скажу откровенно, что я имею обязанностью также опровергать статьи, противные России... Он прибавил:—Я напишу Уварову, а вы, со своей стороны, попросите» [3]).

Уваров оказался плохим конспиратором. Он забыл, для чего требовалась вывеска министерства народного просвещения, а, может быть, и просто хотел избавиться от надоедливого просителя. «Ответ графа Уварова был, что Толстой не у него, а у графа Бенкендорфа под начальством и что он ему обо мне ничего не писал. Выходя раз вместе от князя Петра Долгорукова, Толстой меня спрашивает об решении Уварова. Я докладываю: не знаю, должен ли ему сказать, но, так как он одобрил, то я и бухнул. Толстой мой почернел до волос».

---

[1]) «Notice sur les principales familles de la Russie». Paris, 1843.

[2]) Лемке, М. «Князь П. В. Долгоруков в России». «Былое», 1907 г. Февраль. Стр. 145.

[3]) «Записки Ивана Головина». Лейпциг, 1859 г., сс. 76—77.

И было отчего «почернеть»: ему грозило не только разоблачение его настоящей роли, но и потеря доходного места. Толстой, однако, скоро нашел случай избавиться от опасного конкурента. Когда Головин решил издать свою книгу «Дух политической экономии» по-французски, он для личной безопасности почел долгом отнестись к г-ну Толстому». И только получив от последнего успокоительный ответ, бедный Головин напечатал свою невинную книгу.

А в это время Толстой уже строчил новый донос:

«22 января 1843 г. Толстой писал Бенкендорфу по-французски.—«Один русский, Головин, готовится издать книгу по политической экономии. Отрывки из нее он читал уже нескольким лицам, в том числе одному литератору, лично мне известному, и тот уверял меня, что это произведение заключает в себе доктрины, подрывающие наши государственные устои. Он даже привел одну фразу приблизительно такого содержания: «Государи неспособны сделать никакой уступки в интересах своих подданных, если она стоит им хоть малейшей жертвы, и, наоборот, охотно жертвуют благосостоянием тысяч своих подданных ради удовлетворения своих страстей и капризов». Этот отрывок показывает, что труд, который собирается издать Головин, в ненадлежащем духе» [1]).

Толстой знал бесконечную тупость и жестокость своих работодателей.

В третьем отделении поднялась суматоха. Бенкендорф немедленно доложил об этом деле императору Николаю, и Головину послан был приказ сейчас же вернуться в Россию. Он ответил уклончиво.

Новое, еще более грозное послание, на которое Головин ответил ироническим письмом.

«Правительство с трудом могло себе представить, — пишет Герцен,—чтобы у него лично хватило смелости отказаться, несмотря на приказ вернуться, и от состояния, и от родины. Отказ Головина до такой степени поразил императора, что он ответил... указом о паспортах» [2]).

---

[1]) М. Лемке. «Эмигрант Иван Головин». «Былое». 1907 г. Май, стр. 27. Автор, вслед за Герценом, относится беспощадно к несчастному Головину, эмигранту malgré lui, и не находит достаточно слов, чтобы посмеяться над этой жертвой николаевского режима, хотя даже у жалкого Головина было больше гражданского мужества, чем у многих других «людей сороковых годов». Мы будем еще иметь случай показать, что слова Герцена нельзя принимать и в этом случае на веру без строгой критической проверки.

[2]) Iscander, A. «Du développement des idées revolutionnaires en Russie». Paris. 1851. Стр. 167. В издании 1853 г. эти страницы были выпущены.

Мало того, 12 декабря 1844 г. Николаем утверждено было следующее мнение государственного совета: «лишив Головина чинов и дворянства, сослать его, в случае явки в Россию, в Сибирь в каторжную работу, а имение его, ежели какое-либо окажется где-либо собственно ему принадлежащим, взять, на основании законов, в секвестр».

Этот, по выражению Герцена, «невероятный, нелепый и неслыханный» приговор государственного совета не мог, конечно, не привлечь к Головину всеобщих симпатий. Только после опубликования этого приговора Сазонов поспешил познакомиться с Головиным. К этому же времени относится его знакомство с Бакуниным, разделившим его судьбу.

А Толстой? Как наивно рассказывает сам Головин, почтенный Яков Николаевич уверял его после, что «ему от Бенкендорфа был выговор, зачем он защищал мою книгу, разве не читал предисловия». Но если Головин так-таки никогда не узнал, какую роль сыграл во всей этой истории Толстой, то все же именно он способствовал, — правда, по другим причинам, — разоблачению истинного характера «просветительной» деятельности Толстого.

VII.

С Марксом Толстой, по всей вероятности, познакомился через посредство Бакунина. На это одинаково указывают и письма Маркса, и воспоминания Грюна. О своем земляке — Толстой был сыном осташковского уездного предводителя дворянства и братом губернского предводителя дворянства Тверской губернии — Бакунин мог слышать рассказы еще в своей семье, так как отец его, А. М. Бакунин, принимавший участие в составлении устава Союза Благоденствия, не мог не знать Толстого [1]). А встречаться с последним Бакунин мог либо у Николая Тургенева, или в каком-нибудь салоне Сен-Жерменского предместья. По словам Арнольда Руте, он был там своим человеком не меньше, чем в кафэ, в которых собирались революционеры и журналисты всех наций и направлений [2]). Разборчивостью в знакомствах Бакунин, правда, никогда не отличался, но настоящая роль Толстого ему, наверное, так же мало была известна, как и другим членам парижской колонии. А то обстоятельство, что Толстой был на службе, он так

---

[1]) Корнилов А. «Семейство Бакуниных». «Русская Мысль». 1909 г. Май. стр. 23—7.

[2]) A. Ruge's Briefwechsel und Tagebuchblätter». Berlin. 1886. Band I. S. 370.

же мало мог ставить ему «в вину», как и другим своим приятелям. Свою литературную деятельность, направленную на «защищение» русского правительства, Толстой мог тем легче скрыть, что свои брошюры он писал или анонимно, или под псевдонимом Яковлева. Да если эта деятельность и была известна Бакунину, он вряд ли видел в ней — как это показывает его жизнь в Сибири — что-нибудь более несовместное с «радикализмом», чем писание всяких «докладных записок» состоявшими на государственной службе его приятелями из «радикалов».

Что Толстой был не только «отличным певцом цыганских песен», что он мог пустить пыль в глаза даже Бакунину — видно из свидетельств всех его современников. Не говоря уже о репутации старого декабриста и друга Пушкина, его веселость и остроумие, готовность оказать всякие услуги своим соотечественникам, большие связи в литературных салонах могли ввести в заблуждение не только Бакунина.

Знакомство Толстого с Марксом и Энгельсом могло быть только случайным следствием знакомства с Бакуниным. Но Толстой мог преследовать еще и другие цели, поддерживая сношения с немецкой колонией и особенно стараясь проникнуть в редакцию «Vorwärts'a», который тогда напечатал ряд статей, направленных против России. Он мог узнавать интересные для третьего отделения вещи о польской эмиграции, а русское правительство интересовалось тогда ею, во всяком случае, не меньше, чем русской колонией [1]).

И точно так же, как его коллега в Германии Швейцер, на основах взаимности, пользовался услугами прусской полиции, так и Толстой, при посредстве Киселева, мог находиться в сношениях с прусским посольством в Париже и оказывать, в свою очередь, услуги «дружественной» тогда державе.

Уже тогда возникли некоторые подозрения на его счет. Что он имел отношение к русскому посольству, указывалось уже в одной статье только что упомянутого «Vorwärts'a», в котором после принимали участие Маркс и Бакунин [2]). Но как мало значения придавали этим слухам или как легко было снять Толстому

---

[1]) «Французское правительство никак не могло удовлетворить нескончаемые жалобы русского правительства по поводу пребывания польской эмиграции во Франции... Нескончаемые жалобы на покровительство и попустительство полякам, наконец, надоели французскому правительству, и оно перестало принимать их во внимание». Мартенс, Ф. «Собрание трактатов и конвенций, заключенных с иностранными державами». Том XV, стр. 201—202.

[2]) «Vorwärts», 16 März 1844. «Russiches Wesen und Unwesen».

с себя подозрение, видно уже из того, что Маркс и Бакунин не придавали им тогда никакого значения и об'ясняли их, как и Арнольд Руге в своих письмах из Парижа, старой привычкой немцев видеть всюду русских агентов.

Но «ничто не вечно под луной». Головин, которому Толстой создал пьедестал нового «Курбского», в конце 1845 г. опубликовал свое послание к грозному самодержцу всея России. Книга его «La Russie sous Nicolas I» имела большой успех и сейчас же была переведена на английский и немецкий языки. Надо принять во внимание, что это было первое изображение николаевской России, данное не иностранцем, которого, как Кюстина, можно было обвинять в поверхностном знакомстве с Россией и плохом знании русского языка, а русским «боярином», у которого хватило решимости не подчиниться азиатскому произволу. И если Бенкендорф,—которого г. Лемке для этой оказии воскресил [1]), по словам почетного исследователя «николаевских жандармов»,—сначала приказал Толстому «пренебречь» и не писать возражения, то успех книги вынудил их отказаться от тактики «величественного молчания» [2]).

У Я. Толстого могли быть еще другие соображения, и вряд ли он с особенной охотой взялся, наконец, за «литературное» опровержение книги Головина, который, в своем предисловии, с трогательной наивностью сообщает, что Толстой,—он настолько деликатен, что не называет своего защитника,—«получил от Бенкендорфа суровый выговор за защиту его книги» [3]).

Как только в «Quotidienne» появилась статья, направленная против книги Головина, последний, догадавшись, кто должен быть ее автором, ответил,—как он выражается в своих «Запис-

---

[1]) Бенкендорф умер в сентябре 1844 г., а книга Головина вышла в 1845 г. Мы констатируем этот факт только «исторической справедливости» ради: негоже умалять заслуги преемников Бенкендорфа перед отечеством.

[2]) Г. Лемке и в этом случае не находит достаточно сильных выражений, чтобы лишний раз уязвить злосчастного Головина. И книга никуда негодная, да и неизвестно, не приложил ли сам Головин, драпировавшийся в торжественную тогу политического эмигранта, руку и к этим переводам?! Мы нисколько не сомневаемся в гражданском мужестве г. Лемке, которое позволяет ему с таким великолепным презрением смотреть на Головина, но отзыв Герцена об этой книге—данный, правда, до ссоры с Головиным—должен был бы сделать его несколько более осторожным. Конечно, сшитая правительством «тога политического эмигранта» могла украшать более достойные плечи, но это обстоятельство нисколько не устраняет того факта—теперь, после статьи самого г. Лемке, вполне установленного,—что Головин сделался жертвой одной из гнуснейших провокаций и что эмигрантом он сделался не только из одного чувства «страха».

[3]) Golowine J. «La Russie sous Nicolas I». Paris, 1845, cc. 15, 20.

ках»,—Толстому «его анекдотом» и, назвав автора статьи, сообщил все, что знал об его отношениях к русскому правительству [1]).

Это разоблачение произвело огромную сенсацию в Париже. Обошедши все главные парижские газеты, оно перешло и в «Allgemeine Zeitung».

Маркс, как мы знаем, жил тогда в Брюсселе, но Энгельс, незадолго до этого переехавший в Париж, сейчас же написал ему об этой интересной новости (18 сентября 1846 г.):

«А теперь еще одна, в высшей степени любопытная история. «Augsburger Allgemeine Zeitung» (21 июля 1846 г.), в корреспонденции из Парижа от 16 июля, пишет о русском посольстве в Париже:

«Это — оффициальное посольство; но вне его или, скорее, над ним стоит некий Толстой: он не занимает определенной должности, но известен, как доверенное лицо двора. Прежде чиновник в министерстве народного просвещения, он явился в Париж с литературной миссией, написал здесь несколько мемуаров для своего министерства и доставил несколько обзоров французской прессы. Затем он перестал писать, но тем больше делал.

«Он живет на широкую ногу, встречается со всеми, принимает всех, занимается всем, все знает и очень многое устраивает. Мне кажется что именно он является действительным русским посланником в Париже... Его заступничество производит чудеса (все поляки, которые просили помилования, обращались к нему), в посольстве все склоняется перед ним, и в Петербурге он пользуется большим влиянием». — Этот Толстой и есть не кто иной, как наш Толстой, тот самый благородный рыцарь, навравший нам, что он хочет продать в России свои имения. Кроме квартиры, в которой он нас принимал, он имел еще блестящее помещение на Rue Mathurin, где он принимал дипломатов. Поляки и многие французы давно уже знали это, только немецкие радикалы, среди которых он считал более удобным играть роль радикала, ничего не знали. Цитируемая мною статья написана одним поляком, который знает Бернайса, и сейчас же была перепечатана в «Corsaire-Satan» и «National». Когда Толстой прочитал статью, он рассмеялся и пошутил над тем, что он, наконец, открыт. Он теперь в Лондоне и, так как роль его тут сыграна, попытает свое счастье там. Жаль, что он не вернется, иначе я сыграл бы с ним шутку да представил бы свою визитную карточку в Rue Mathurin. Что после все-

---

[1]) Статья Головина напечатана была в «Corsaire-Satan». К сожалению, даже в парижской Bubliothèque Nationale нет этой газеты за 1846 г., и я не мог проверить все показания Головина в его «Записках».

го этого рекомендованный им Анненков—тоже русский шпион, c'est clair. Даже Бакунин, который д о л ж е н б ы л з н а т ь всю историю, так как другие русские знали ее, тоже очень подозрителен». И в заключение Энгельс спрашивает Маркса, не следует ли обо всем этом немедленно сообщить их друзьям в Лондон, так как Толстой мог бы там ссылаться на свое знакомство с Марксом и компрометировать поляков.

И все же Толстому удалось оправдаться и среди русской, и среди немецкой эмиграции. У него было много друзей, а Головину, который за два года перед этим выступил с опровержением книги Кюстина, и, как мы видели, хлопотал сам о месте корреспондента министерства народного просвещения, не особенно доверяли. На сторону Толстого стал и Бакунин, вступивший с Головиным в полемику.

Мы увидим сейчас, что и Анненков так же горячо заступился за своего «степного помещика». Один лишь Сазонов решительно выступил в защиту Головина.

Только тем, что Толстому удалось оправдаться или свалить вину на другого Толстого, можно об'яснить, что уже в письме от 15 января 1847 г. Энгельс пишет Марксу, что Бернайс (Bernays) выдумал всю историю с Толстым или позволил себя надуть Бернштейну, который, мол, заставляет его верить всему, что угодно [1]). Тогда является понятным также и письмо Маркса к Гервегу в октябре 1847 г., цитированное выше. Бакунин продолжал быть с Толстым в хороших отношениях.

Только после февральской революции, когда в члены временного правительства попали старые друзья Маркса и Бакунина, роль Толстого окончательно была разоблачена. У него был произведен обыск, на который временное правительство могло осмелиться только потому, что он оффициально не был причислен к посольству [2]). В довершение беды, на него обрушился совершенно не-

---

[1]) Бернайс вместе с Бернштейном, корреспондентом «Allgemeine Zeitung», издавал в Париже в течение 1844 г. упомянутый уже нами «Vorwärts», в котором сотрудничали Бакунин, Маркс и Энгельс. В начале 1845 г. Бернштейн вынужден был прекратить газету, а некоторые сотрудники его, в том числе Маркс, были высланы. Возможно, что Бернштейн, после обрушившегося на него несчастия, сам заподозрел Толстого, который, вероятно, посещал Бакунина, жившего в редакции «Vorwärts'a». См. Börnstein. H. «75 Jahre inder alten und neuen Welt». Leipzig, 1884, cc. 332—338.

[2]) Об этом обыске упоминает Герцен в связи с рассказом о Головине, но, не говоря ни слова об истинной роли Толстого, он прибавляет, что именно Головин навлек на последнего этот обыск. Можно подумать, что у Головина не было для этого никакого основания.

ожиданный удар с другой стороны. Бывший наш посланник в Штутгарте и Турине, Обресков, фрондировавший против правительства за недостаточное признание его заслуг и имевший зуб против Паскевича, воспользовался революцией и в «Journal des Débats» тоже ответил биографу Паскевича «его анекдотом» [1]).

«Неопределенное» положение Толстого становилось для него опасным. Он переехал на время в Брюссель. Характерно, что он даже от себя старался скрыть действительный смысл своей деятельности.

«Что касается меня,—писал он брату из Парижа 6 (18) ноября 1848 года,—то я нахожусь в ожидании прочного места, которое мне было обещано; но, ожидая, я все стою на одной точке, при чем в глазах моих соотечественников слыву за подозрительного поверенного, а в глазах некоторых французов — даже за тайного агента. Это ложное положение составляет одно из мучений моей жизни».

Сантиментальность также характерна для шпионов, как склонность к этическим размышлениям для предателей.

Высокие покровители Толстого скоро вывели его из этого ложного положения. Как он сам подчеркивает, его депеши очень нравились, и в такое время, когда, после кровавого подавления июньского восстания, на защиту собственности, религии, семьи и общества сбежались под общее знамя «монархисты и республиканцы», «попы и свободные мыслители, молодые потаскушки и старые монахини»,—было бы безумием отказываться от человека, который обладал не только прекрасными «ушами и глазами», но и искусным пером [2]).

29 декабря 1848 года он был назначен советником посольства и оставался на этом посту почти до самой смерти, последовавшей 15 (27) февраля 1867 г.

Вот кто был, по нашему предположению, тот «степной помещик», который дал Анненкову такое теплое рекомендательное письмо к Марксу. Только таким образом можно об'яснить многое в отношениях Маркса и, в особенности, Энгельса к русским. Уже неожиданный вывод, который Анненков делает из своего рассказа о Марксе и «степном помещике», показывает, что в его памяти воспоминание о «певце цыганских песен» боролось с дру-

---

[1]) «Русские достопамятные люди». «Русская Старина». 1892, октябрь, сс. 36—37.

[2]) Профессор Мартенс расхваливает депеши Н. Д. Киселева, относящиеся к этому времени (Мартенс Ф. Цит. соч. XV, сс. 223—35). К сожалению, они напечатаны только в отрывках. Несомненно, что автором их является не бездарный брат «либерального» царедворца, а наш Толстой.

гим воспоминанием — об агенте и шпионе. Мы увидим еще ниже, когда могла завязаться тесная дружба между Толстым и Анненковым.

Уже в приведенном выше письме Энгельс сейчас же умозаключает от Толстого к Анненкову и Бакунину. Понятно, что, после окончательного разоблачения Толстого, недоверие Маркса и Энгельса к русским должно было возрасти, хотя они вовсе не видели во всяком русском «подосланного шпиона» или «бессовестного обманщика». Это, конечно, делало их более подозрительными и по отношению к старым друзьям Толстого, и это же отчасти об'ясняет сближение с Сазоновым, который так решительно выступил сразу же против Толстого, с кем он, как самый старый член русской колонии, мог столкнуться еще раньше. Можно также с немалой долей вероятности утверждать, что в распространении слухов, компрометирующих Бакунина, как после его высылки из Парижа, так и, в особенности, весной и летом 1848 г., принимал самое деятельное участие Толстой: он мог надеяться, таким образом, отвести подозрения от себя. Во всяком случае, эта гипотеза имеет за себя больше оснований, чем курьезная попытка известного анархиста, Виктора Дава взвалить на Маркса ответственность даже за высылку Бакунина из Парижа—на том основании, что Киселев был в коротких сношениях с Вестфаленом, братом жены Маркса!

VIII.

До сих пор мы говорили об Анненкове лишь постольку, поскольку в его воспоминаниях мы находили указания, с помощью которых мы могли установить круг русских «людей сороковых годов», так или иначе связанных с Марксом. Но в этих же воспоминаниях мы наталкиваемся на факты, свидетельствующие о близком знакомстве самого Анненкова с Марксом. И само собою напрашивается вопрос: не принадлежал ли и Анненков к числу тех русских идейных «сластен», восторженное «обожание» которых запечатлелось так сильно в памяти Маркса.

Мы не будем подробно останавливаться на личности скучного критика пятидесятых годов. Биография его в общих чертах известна, и репутация его теперь уже прочно установлена. Специалист по части эстетической критики в пятидесятых годах, поклонник «искусства для искусства», он, в разгар нашего Sturm und Drang периода, написал апологию «слабых людей», вызвавшую отповедь Чернышевского, расхвалил «Взбаломученное море» и понисывал благодушно в «Русском Вестнике», пока не нашел ново-

го приюта в «Вестнике Европы» первой формации. Но если его слава литературного критика совершенно померкла, если развитие научного «пушкиноведения» превратило его главные работы о Пушкине в груду материалов, требующих тщательной критической проверки, то за ним все еще прочно сохраняется репутация одного из лучших наших мемуаристов, основывающаяся, главным образом, на его «Замечательном десятилетии».

А, между тем, кто внимательно читал все мемуары Анненкова, тот не мог не заметить, как метко и правдиво схватил их основной характер Гоголь в одном из своих писем к Анненкову: «Много наблюдательности и точности, но точности дагерротипной. В письмах не видно, зачем написаны письма, как будто вы не задавали самому себе серьезного вопроса. У вас, как мне кажется, нет пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений» [1]).

Действительно, в воспоминаниях и письмах Анненкова можно найти много мелочей, интересных для историка, но и только. Его характеристики, наблюдения и впечатления выдают на каждом шагу человека, который сегодня интересуется одним, а завтра другим, так же легко отказывается от своего мнения, как его высказывает, и сегодня изливается перед Гоголем и его друзьями, чтобы завтра побежать на собрание Бакунина и его друзей. Это типичный «турист сороковых годов», «турист-эстетик», как удачно окрестил его в забытых теперь статьях П. Лавров.

«Надо быть в жизни, в мысли, в деятельности — т у р и с т о м... Они не сидни,—избави Боже! Какая отсталость—быть сиднем на какой-нибудь засиженной идее! Они смеются от всей души над этой невежественной односторонностью. Их, напротив, ничто удовлетворить не может: их природа требует передвижения с одной ноги на другую, точнее, с одного подобия маленькой идейки на другое такое же подобие. Они об'езжают весь мир, заглядывают во все классы общества, знакомятся с биржевиками и с пролетариями, с ученым мыслителем и с завсегдатаем модного кафэ на парижских бульварах, с секретарем Наполеона III и с сподвижником Гарибальди, и из всего этого изучения, из всех этих знакомств—выходят довольные, веселые, розовые, без малейших морщины на лице, без малейшей заботы в сердце, без лишнего вопроса в голове» [2]).

---

[1]) Из письма Гоголя от 12 августа 1847 г. «Анненков и его друзья» Спб., 1892, стр. 501—02.

[2]) «Турист-эстетик». «Дело», 1879 г., октябрь, стр. 2—3. См. также «Русский турист сороковых годов». «Дело», 1877 г., август. Статьи подписаны инициалами П. Э.

Не составляют исключения и воспоминания Анненкова о «Замечательном десятилетии». Строгий критический разбор вскроет в них много фальши, надуманного и просто выдуманного. Написанные под непосредственным впечатлением только что появившейся биографии Белинского, составленной Пыпиным, и воспоминаний Т. П. Пассек, они на каждом шагу выдают бессильные потуги человека, у которого никогда не было «пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений», передать нам историю идейных мук и терзаний русских и западно-европейских людей сороковых годов. Вместо откровенной исповеди, старание скрыть «ошибки молодости» и боязнь признать, даже через тридцать лет, что он когда-то увлекался «запрещенной религией польского дела». В результате — неискренняя повесть о старых знакомствах, в которой на каждом шагу просвечивает безмятежное сознание своего превосходства,—конечно, превосходства «туриста,—над такими «сиднями», как Бакунин, Герцен или Маркс.

Мы уже указывали на неожиданный вывод, сделанный Анненковым из рассказа о «степном помещике». Письмо Толстого—кто бы он ни был — показывает, что с Анненковым его связывала тесная дружба. И все же Анненков пишет о своем бывшем друге так, как будто он уже тогда насквозь видел Толстого, как будто только такой кабинетный человек, как Маркс, да к тому же и немец, мог доверчиво отнестись к нашему «отличному певцу цыганских песен».

«Я воспользовался, о д н а к о ж е, письмом моего пылкого помещика, который, отдавая мне его, находился в энтузиастическом настроении, — и был принят Марксом в Брюсселе очень дружелюбно»,—настолько дружелюбно, что Маркс пригласил Анненкова на совещание, которое должно было состояться у него на другой день вечером с Вильгельмом Вейтлингом.

Дальше следует часто цитировавшееся описание беседы между Марксом и Вейтлингом, свидетелем которой был Анненков. Она происходила, как видно из письма Вейтлинга к Гессу, 31 марта 1846 г.[1]). Уже одна попытка вложить, на манер Фукидида, в уста действующих лиц якобы действительно произнесенные речи—заставляет отнестись с большим недоверием к повествованию Анненкова. Особенно курьезен упрек со стороны Маркса Вейтлингу, что он своими коммунистическими проповедями привлек к себе столько работников, лишив их места и куска хлеба, что

---

[1]) Kaler E. «Wilhelm Weitling». Zürich, 1887, cc. 72—73.

«Вейтлинг, видимо, хотел удержать совещание на общих местах либерального разглагольствования».

«Пораженный всем виденным и слышанным», наш новый Анахарзис плохо понимал, в чем дело, и, несмотря на уверение, что он «очень хорошо помнит даже самую форму резкого вопроса Маркса, уловил только, что Маркс настаивал на необходимости «строго-научной идеи» и возмущался «пустой и бесчестной игрой в проповедника, при которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а с другой — допускаются только ослы, слушающие его, разинув рот». «Вот, — прибавил он, вдруг указывая на меня резким жестом, — между нами есть один русский. В его стране, Вейтлинг, ваша роль могла бы быть у места: там, действительно, только и могут удачно составляться и работать союзы между нелепыми пророками и нелепыми последователями». Анненкову тем легче было воспроизвести этот пункт беседы, что у Маркса был однородный конфликт с Бакуниным, которого также возмущало желание Маркса превращать рабочих в резонеров и портить их, как писал Анненкову Бакунин в письме от 28 декабря 1847 г. из Брюсселя [1]).

Анненков скоро уехал из Брюсселя, но сношения его с Марксом не прекращались и после. «Я встретил Маркса еще,—пишет он,—вместе с Энгельсом в 1848 г., в Париже, куда они оба приехали тотчас после февральской революции, намереваясь изучать движение французского социализма, очутившегося теперь на просторе. Они скоро оставили свое намерение потому, что над социализмом этим господствовали всецело чисто местные, политические вопросы, и у него была уже программа, от которой он не хотел отвлекаться — программа добиваться с оружием в руках господствующего положения в государстве для работника».

Всю эту галиматью можно об'яснить лишь тем, что Анненков забыл или вычеркнул из своей памяти решительно все, что относилось к этой новой встрече. Иначе он вспомнил бы, каким вынужденным образом попал в Париж Маркс и как немецкая колония раскололась на два лагеря, во главе одного из которых стоял Гервег и симпатизировавшие ему Герцен и Бакунин, а во главе другого—Маркс и Энгельс, скоро «оставившие» не свое «намерение», а Париж, чтобы принять участие в немецкой революции.

«Но и до этой эпохи были минуты заочной беседы с Марксом, весьма любопытные для меня: одна такая выпала на мою долю

---

[1]) «Анненков и его друзья». Спб., 1892. В «Замечательном десятилетии» Анненков относит это письмо к октябрю и, выбросив обращение к себе, превращает его в письмо к «друзьям в Париже». Мы еще вернемся к этому письму.

в 1846 г., когда по поводу известной книги Прудона «Système des contradictions économiques» Маркс написал мне по-французски пространное письмо, где излагал свой взгляд на теорию Прудона».

Именно это письмо Анненков приводит в своих воспоминаниях. К сожалению, издатели книги «Анненков и его друзья», напечатавшие письма Бакунина к Анненкову, почему-то сделали исключение для письма или, вернее, для писем Маркса, так как их было, как мы сейчас увидим, несколько. В переводе Анненкова или, вернее, в его изложении, письмо Маркса вызывает сомнения, укрепляемые напечатанными г. С. Ан—ским примечаниями Маркса к этому письму [1]). Так, по поводу отожествления критики Прудона и Фурье, которое приписывает ему Анненков, Маркс замечает, что «я писал прямо обратное тому, что он приписывает мне: ведь, именно Фурье первый осмеял идеализацию мелкой буржуазии». В остальных частях своих письмо представляет только конспект некоторых глав «Нищеты философии», над которой в то время работал Маркс. Анненков так основательно забыл об этой когда-то хорошо известной ему книге, что смешивает ее с будущим «Капиталом». Что же касается впечатления, произведенного на него критикой Маркса, то он его так резюмирует: «Признаюсь, я не поверил тогда, как и многие со мною, разоблачающему письму Маркса, будучи увлечен, вместе с большинством публики, пафосом и диалектическими качествами прудоновского творения».

Мы сейчас увидим, что «минуты заочной беседы» с Марксом не ограничивались одним письмом и что было время, когда Анненков находился в таком же «энтузиастическом настроении», как и его загадочный приятель. Уже 8 мая (1846 г.) он пишет Марксу из Парижа:

«Mon cher monsieur Marx!

---

[1]) «К характеристике Маркса». Примечания К. Маркса к «Замечательному десятилетию» П. Анненкова.—«Русская Мысль», 1903 г., август). Эти примечания найдены были мною в книжках «Вестника Европы», принадлежавших Марксу и, после смерти, переданных вместе со многими другими русскими книгами Энгельсом Лаврову. Статьи Анненкова были переплетены со статьями Пыпина в тот «небольшой томик», который был в руках С. Ан—ского, но исчез теперь, так как его нет ни в Лавровской, ни в Тургеневской библиотеках, куда, после смерти Лаврова, была передана часть книг Маркса. А между тем, кроме примечаний, напечатанных С. Ан—ским, на полях были еще и другие пометки. (Письмо Маркса к Анненкову напечатано теперь в переписке Стасюлевича, изданной М. Лемке).

«Вот уже месяц, как я здесь. Я часто думал о вас, но не мог найти свободной минуты, чтобы написать вам. Не без основания говорят, что праздные люди—самые занятые люди во всем мире. Письмо к Гейне, которое вы любезно дали мне, я передал вместе со своей карточкой, но так как я забыл прибавить к этому просьбу о свидании, то Гейне не ответил мне, и я остался ни с чем. Что касается Эвербека, то никто не знает здесь его адреса—ни Гервег, ни Бакунин, но я надеюсь скоро найти его. На-днях я рассчитываю сделать визит Бернайсу в его убежище.

«Париж был сильно взволнован выстрелом, направленным в короля. Зато много занимаются почетными крестами, которые были распределены в день св. Филиппа. Полемика двух консервативных журналов по вопросу о том, какой король предпочтительнее: дурак или интриган, явилась очень кстати, чтобы развеселить парижскую публику, которой наскучили речи в палате и Тюльери. В ожидании приближающихся выборов, мы болтаем и спорим с нашими друзьями о разных вещах: о Польше, о прусском кронпринце, коммунизме, Берне, Gattung, выставке и т. п. Недавно я был на собрании редакторов-рабочих газеты «Union». Они тоже говорили и спорили, но они отнимали у своего сна время, чтобы отдаваться этому интеллектуальному наслаждению, и, в результате их дебатов, при закрытых дверях,—всегда новый номер журнала, который они все редактируют. Во всяком случае, эти дебаты были небесполезны!

«Я только что получил известие, что Толстой принял решение продать все имения, которые ему принадлежат в России. Нетрудно догадаться, с какой целью [1])...

«Передай привет Энгельсу и всем, кто еще помнит о скифе.

«Мой дорогой Маркс, если вы напишете мне несколько слов по-немецки или как угодно, адресуя письмо ваше rue Caumartin, 41, то вы прибавите еще новую услугу ко многим другим, которые вы мне оказали и которые я так сильно ценю.

«Весь ваш П. Анненков.

«Париж. 8 мая».

«Итак, наш пострел везде поспел. Он успел заручиться рекомендательным письмом к Гейне, хотя не сумел использовать его, он должен познакомиться с Эвербеком, тогда одним из лидеров парижской общины «Союза Справедливых», и с Бернайсом, бывшим редактором «Vorwärts'a», он попал даже на собрание редак-

[1]) Курсив наш.

торов газеты «Union» и, зная, с кем имеет дело, ехидно противопоставляет в письме к Марксу бесплодные словопрения «интеллигентов» и «небесполезные» дебаты «рабочих». Но интереснее всего то обстоятельство, что именно он сообщает Марксу о решении Толстого продать все имения, принадлежащие ему в России. А из воспоминаний Анненкова следует, что «степной помещик» уверил Маркса, что «бросит свой капитал в жерло предстоящей революции» еще до знакомства Анненкова с Марксом. Возможно, что именно этим несоответствием с действительностью в рассказе Анненкова об'ясняется сердитое примечание Маркса: «Ложь! Ничего подобного он не говорил. Напротив, он уверял, что вернется к себе домой для вящшего блага своих крестьян. Он даже был настолько наивен, что приглашал меня с собой». В свою очередь, Маркс забыл, что именно Анненков сообщил ему о плане Толстого, хотя и в неопределенных выражениях.

Ответ Маркса на письмо Анненкова нам неизвестен. Возможно, что его письмо, вместе с другими, хранится еще в бумагах Анненкова.

Следующее письмо последнего является ответом на письмо Маркса из Брюсселя от 27 мая. Оно помечено 2 июня и написано в еще более «нежном» тоне.

«Mon cher monsieur Marx!

«Получив ваше письмо от 27 мая, я поспешил передать Бернайсу, через посредство Эвербека, 140 франков, так как непредвиденные обстоятельства помешали мне передать ему их лично. Я надеюсь еще иметь это удовольствие, когда поеду посмотреть Монморанси. Что касается вашей у г р о з ы послать мне большое письмо, то это такая угроза, которая меня мало пугает и исполнения которой я больше всего желал бы. Сделайте это, мой дорогой Маркс, пишите мне и рассчитывайте на мою благодарность и взаимность.

«Спор между Гизо и Тьером закончился на парламентской трибуне. Странное дело! В своей последней речи Тьер выступил, как представитель революции, прогресса. Говорят, что это на руку герцогу Немурскому, который может теперь совершить очень мужественный, даже смелый, политический акт, пригласив Тьера в министры.

«Кроме того, ничего нового, если не считать пришедшего из Германии известия, что сейм запретил перепечатку и продажу сочинений Фейербаха.

Весь ваш П. А н н е н к о в.

„2 июня. Париж".

Вскоре после этого письма Анненков уезжает из Парижа. Летом он совершил путешествие—вместе с Боткиным—по Тиролю и Ломбардии. Оно продолжалось три месяца. По возвращении в Париж, он нашел у себя дома письмо Маркса с запросом по поводу Толстого. И мы сейчас увидим, с какой горячностью заступился Анненков за «нашего степного помещика». Следует заметить, что известие, переданное Энгельсом, о пребывании Толстого в Лондоне—подтверждается и с другой стороны: Головин рассказывает в своих «Записках», что он и Сазонов встретили совершенно неожиданно Толстого в Лондоне. Прибавим к этому, что в 1845 г.—месяц к сожалению не указан—Толстой выбыл в Россию.

Вот что пишет Анненков Марксу:

«Mon cher monsieur Marx!

«Я приехал только вчера из Италии и нашел у себя дома ваше письмо. Толстой, о котором пишут в «Allgemeine Zeitung», совсем другое лицо, чем тот, которого мы знаем, и имеет с ним общего только имя. Толстой (из газет)—действительно русский агент, донесший на Долгорукова, Головина и многих других, признанный шпион русской полиции и одинаково презираемый как теми, которым он служит, так и теми, которых он предает. Он принял участие в восстании 1825 г., бежал, когда оно кончилось поражением, и, чтобы добиться прощения, унизился до того, что стал самым низким из куртизанов и самым подлым из шпионов... О, боже! И наш честный, простой, прямой Толстой, который думает теперь в России только о том, чтобы продать все свои имения и поселиться в Европе! И я благодарю вас, мой дорогой Маркс, от его имени за то, что вы усомнились, читая статью в «Allgemeine», и обратились ко мне за раз'яснениями.

«Я продолжаю жить на rue Caumartin, 41, где и ожидаю новостей от вас и ваших друзей и, главным образом, о вашей книге.

«Весь ваш П. Анненков.

„2 октября. Париж".

«Честный, прямой, простой» Толстой, а через тридцать лет—не то бессовестный обманщик, не то подосланный шпион! Уже одно это внезапное превращение, которое трудно об'яснить только забывчивостью, вызывает подозрение. Странно и то, что в этом письме Анненков доподлинно знает такие вещи, о которых не знал тогда даже Головин, одна из жертв Толстого. А у нас имеются еще и другие доказательства, что Анненков наверное был знаком с Яковом Толстым, с которым его связывал еще дру-

гой общий интерес. Мы видели выше, что Толстой принимал очень деятельное участие в «Зеленой Лампе». Выпрашивая себе помилование, он сугубо старался изобразить это общество кружком кутил и развратников. И так же решительно превращает «Зеленую Лампу» в «органическое общество» Анненков, глухо ссылаясь на какие-то «розыскания и распросы» [1]). Вспомним, что наш турист не в первый раз попал в Париж в 1846 г. Он жил уже там с ноября 1841 г. до осени 1843 г., т.-е. до приезда туда Маркса и Бакунина, и в качестве чиновника министерства финансов не преминул уже тогда познакомиться с «корреспондентом министерства народного просвещения». Во всяком случае, этот Толстой не принимал никакого участия в восстании 14 декабря и не бежал после его неудачи, как это так обстоятельно сообщает Марксу Анненков!

Мы уже упомянули выше об одном письме Бакунина из Брюсселя, отрывок из которого приведен в воспоминаниях Анненкова. Оно писано Бакуниным после его высылки из Парижа за речь на банкете 29 ноября 1847 г. Как дата, так и адресат указаны Анненковым неверно. Бакунин пишет, между прочим: «Я, вероятно, скоро должен буду снова ораторствовать; покамест не говорите об этом, кроме Т., никому; я боюсь, чтоб через Сазонова не узнали об этом славянщики, а дело еще не совсем решено». Анненков, который и является адресатом, не называет Т., но в сборнике «Анненков и его друзья», где письмо Бакунина напечатано, как одно из писем к Анненкову, вместо Т. назван Тургенев. А, между тем, это сообщение нуждается в проверке. Тургенев, в то время поглощен был совершенно другими интересами, и сомнительно даже, чтобы он мог тогда часто встречаться с Бакуниным. Он приехал в Париж в 1847 г., после того, как так внезапно покинул Белинского в Зальцбрунне. Сам Анненков в другом месте сообщает нам, что «дела его (Тургенева) были в плохом состоянии: он не мог жить в Париже, поселился в пустом замке, предоставленном ему Жорж Зандом где-то на юге, и наезжал по временам в Париж, обегал своих знакомых и скрывался опять» [2]). Непонятно, почему Бакунин делает это исключение именно для Тургенева, и в то же время, при том антагонизме, который несомненно существовал между ним и Сазоновым, решительно выступившим против Толстого, вполне естественно, что он просит Анненкова, чтобы тот

---

[1]) Анненков П. «А. Пушкин в александровскую эпоху». «В. Е.». 1873, ноябрь, стр. 47.

[2]) Анненков П. В. «Молодость И. С. Тургенева». «Вестник Европы», 1884 г. февраль, сс. 467—68.

не сообщал о его сношениях с поляками в Брюсселе именно Сазонову.

И, несмотря на категорическое утверждение Анненкова,—вспомнить письма друзей Азефа,—мы все же остаемся при нашем предположении, что таинственный Толстой—«честный, прямой, простой» энтузиаст, закадычный друг Бакунина, до такой степени влюбленный в Анненкова, что, по его словам, достаточно было посмотреть на нашего туриста, чтобы полюбить его,—может быть только бывшим президентом общества «Зеленой Лампы». И если Анненков после рассказывает, что «друг» Маркса умер «престарелым холостяком в Москве еще в средине семидесятых годов», то мы и к этому известию относимся так же скептически, как и к другим его сообщениям о нашем степном помещике: в лучшем случае, они свидетельствуют только о совершенно ослабевшей памяти [1]).

Горячее письмо Анненкова, вероятно, рассеяло сомнения Маркса. В ответ ли на это письмо или на другое, писанное позже, Анненков получил от Маркса то большое письмо, которое он цитирует в своих воспоминаниях. И мы сейчас увидим, сколько правды в его словах, когда он уверяет нас, что письмо это не оказало на него никакого влияния.

«Вы мне оказали истинную услугу, мой дорогой Маркс, написав ваше хорошее письмо от 28 декабря. Ваше мнение о сочинении Прудона своей точностью, ясностью, а, главное, тенденцией к действительности доставило мне большое наслаждение. Мы так часто склонны теряться в ложном блеске абстрактной мысли, мы так часто подвергаемся искушению рассматривать мишурные создания мозга, поглощенного исключительно собою, как последнее слово науки и философии! И дружеский голос, раздающийся тогда над вами и приводящий вас опять к экономическим и историческим фактам, показывающий их вам в их действительном развитии,—развитии, имеющем совсем другое значение, чем фиктивное развитие чистых категорий и логических противоречий,—голос, подрывающий в самых его основах сложное здание системы вне жизни, истории и настоящей науки,—такой голос за-

---

[1]) В «Московском Некрополе» (издание великого князя Николая Михайловича, СПБ, 1908 г., сс. 213—15) названо несколько Толстых, умерших в Москве в семидесятых годах, но ни об одном из них мы не нашли каких-либо сведений, указывающих на знакомство с Бакуниным или Анненковым. Остается ждать, пока какой-нибудь исследователь не получит доступа к бумагам Анненкова. Несомненно также, что и в бумагах Николая Тургенева, переданных теперь в академию, найдены будут письма Толстого.

служивает всей нашей благодарности за то целительное действие, которое он производит. Вы совершенно искупили свое долгое молчание, мой дорогой Маркс. Я все время перечитываю ваше последнее письмо. Но ваша снисходительность, с которой вы мне ответили на первые мои вопросы, даст мне смелость обратиться к вам еще с другими вопросами. Во-первых, признавая всю произвольность прудоновской классификации экономической эволюции, считая совершенно иллюзорным его способ побивать практику теорией и vice versa (заколдованный круг, от которого можно заболеть),—мне все же хотелось бы знать, не заслуживает ли критическая часть его сочинения гораздо большего внимания. Разбор некоторых положений оффициальной политико-экономической школы отличается такой доказательностью и силой, что значение его прекрасно сознается всеми, на кого Прудон напал. Так. удары, которые он нанес доктрине Л. Блана, произвели здесь сильное впечатление и дискредитируют ее навсегда. Уже этого одного достаточно, чтобы признать его книгу очень полезным делом по отношению к Франции, но он сделал еще больше: он осмелился сказать нации, которая, в своих самых революционных мечтах, не идет дальше 93 года и режима Робеспьера, что всякое правительство, изолирующееся в государстве, безнравственно. Именно этим об'ясняется conspiration de silence, жертвой которой Прудон теперь является. В силу молчаливого соглашения, все партии сговорились не упоминать ни одним словом о его труде, но ненависть и ярость прорываются даже в стараниях скрыть их. В этом одиночестве Прудона есть своего рода величие. Вы знаете, мой дорогой Маркс, что нужно иметь права, и очень большие, чтобы быть ненавидимым. Из этого я делаю вывод, что книга Прудона, не представляя ничего крупного в области прогресса экономических идей, имеет все же значение в области политики, воспитания и тенденций буржуазии во Франции.

«Мне нечего повторять вам, с каким нетерпением я жду вашего сочинения. Только с большим трудом я могу побороть в себе желание предложить вам несколько вопросов о коммунизме. Правда, для меня они имеют экстраординарное значение и важность. Чаще, чем когда-либо, я задаю себе вопрос, не предполагает ли коммунизм принесения в жертву некоторых выгод, доставляемых цивилизацией, отречения от некоторых прерогатив личности, приобретенных с таким трудом, наконец высокого уровня всеобщей этики, трудно достижимого. Он, правда, хорош даже и в этом смысле, но он перестает тогда быть необходимым продуктом человеческого развития. Его нужно прививать, и он, таким обра-

зом, подвергается всем рискам, с которыми сопряжены всякие опыты, всякое новшество, принудительно вводимое в данном обществе. Некоторые возражения Прудона все еще всплывают в моей памяти, но я чувствую, что все это мелочно... Я предоставляю вполне на ваше усмотрение—дать или не дать мне об'яснения по этому поводу.

«Простите милостиво эту длинную нелепицу и примите еще раз мою горячую благодарность за драгоценные указания в вашем последнем письме.

«Весь ваш П. Анненков.

„6 января 1847 г. Париж".

И подумать, что это восторженное письмо,—Анненков не хочет мириться даже на Робеспьере!—писано тем самым автором, который с презрительным сожалением писал после о Сазонове, что он «разделял эксцентрические планы заграничных партий и их несбыточные надежды» [1]). Ясно, что именно такие письма дали Марксу повод писать, что русские аристократы носили его на руках. Но, чтобы оценить по достоинству легкость, с которой наш «турист» порхал с одного принципа на другой, нужно прочитать еще его письма, писанные им в промежуток от 8 ноября 1846 г. до 23 декабря 1847 г. для своих соотечественников [2]). Правда, уже и в письме к Марксу, в котором Анненков так смакует новое «лакомство», в заключении ясно выглядывает убогий филистер. Еще более льстивый характер носит последнее письмо Анненкова к Марксу.

«Я уже несколько раз хотел вам писать, но, потеряв ваш адрес, не мог сделать этого. Наконец, мне удалось получить его от Гервега, который теперь болен и просит меня передать вам, чтобы вы ему простили его долгое молчание. Я также рассчитываю на ваше великодушие, и оба мы надеемся на вашу доброту: как говорят, прощать другим очень приятно.

«Я возвратился в Париж через Франкфурт, Страсбург и т. д., и это лишило меня удовольствия вновь повидать вас в Брюсселе.

«Устроившись в Париже, я принялся за свои обычные труды, т. е. тяжкие поиски какого-нибудь занятия. Иногда мне удается заполнить эту пустоту честно, но чаще всего я, после напрасных стараний, опускаю руки. Не правда ли, мой дорогой Маркс, гений

---

[1]) «Идеалисты тридцатых годов» в «Литературных воспоминаниях». Спб. 1909, стр. 85.

[2]) Они перепечатаны в сборнике «Анненкова и его друзья». Спб., 1892.

современной цивилизации очень беден и очень скуп, если он не в состоянии дать мне ответа, когда я прошу у него развлечений. Иногда он внушает мне жалость.

«Именно в эти моменты душевного упадка и скуки я думаю о тех моих друзьях, которые умеют так хорошо, как вы, мой дорогой Маркс, заполнять свое существование. И я об'ясняю свою леность их деятельностью: природа хотела разновесия, компенсации. И я тогда становлюсь в своих глазах таким же необходимым и почтенным существом, каким, действительно, являются все выдающиеся люди. Без слабости нет силы, и без бездельников нет воздаяния за услуги труда. Я приглашаю вас не лишать меня подобного утешения и работать много, много, мой дорогой Маркс.

«Я еще не имел вашей брошюры о Прудоне и его доктрине, ибо единственный экземпляр, известный мне в Париже, принадлежит Гервегу и гуляет по рукам. Когда придет моя очередь, я прочту ее самым внимательным образом.

«Мой дорогой Маркс, будьте так добры передать госпоже Маркс чувства глубокого почтения и уважения, которые она внушает всем, имевшим счастье познакомиться с нею и видеть ее хотя бы один раз.

«Жму вам руки. В ожидании ответа, остаюсь весь ваш

П. Анненков.

«8 декабря. Париж».

Если в 1847 г. «слабые люди» играют еще служебную роль в экономии природы, если они играют роль рамки для «сильных людей, то в 1859 г. наш «русский человек на rendez-vous» возводит их в перл создания. Но уже и в 1847 г. он любуется на свою «слабость» и кокетничает ею,—хотя и в шутку, жалуется, что «гений современной цивилизации» доставляет ему слишком мало развлечений, слишком мало щекочет его притупленные нервы.

Судьба сжалилась над ним. Грянула февральская буря, но наш любитель сильных ощущений, после целого ряда неприятностей,—в том числе и обыска, произведенного у него по подозрению в том, что он состоит агентом русского правительства,—предпочел вернуться под сень родных пенатов и выкинуть всякие бредни из своей головы.

«С возвращением моим в Россию, в октябре 1848 года, прекратились и мои сношения с Марксом и уже не возобновлялись более. Время надежд, гаданий и всяческих аспираций тогда уже прошло, а практическая деятельность, выбранная затем (!) Марксом, так далеко убегала от русской жизни вообще, что, оста-

ваясь на почве последней, нельзя было следить за первой иначе, как издали, посредственно и неполно, путем газет и журналов».

Во всех этих «жалких» словах верно только одно: сношения Анненкова с Марксом никогда более не возобновлялись. Мы выше уже высказали предположение, что еще весной 1848 г. Маркс должен был разойтись с Анненковым, но последний предпочитает валить с больной головы на здоровую. Его «коммунистический» экстаз связан был с «временем надежд и аспираций». Новое время — новые песни, и Анненков, с непринужденностью тех политических фрегольи, которых русская земля «являет» и «рождает» в таком огромном количестве, совлек с себя новый костюм, чтобы опять облечься в старые ризы. Что именно «делал» Анненков на «почве русской жизни», мы уже знаем, и можем ему верить, что у него не было тогда никакого побуждения возобновить «заочную беседу» со старым другом. Но то обстоятельство, что ни в одну из своих позднейших поездок за границу (в 1858, 1860 и 1862 гг.), ни в течение 15 лет (1867—83), проведенных им в Дрездене [1]), эти «заочные беседы» ни разу не повторялись,—показывает, что были еще другие причины, в силу которых сношения его с Марксом прекратились. Вспомним, что только Тургенев, ценивший в Анненкове его бесспорное эстетическое чутье, оставался с ним в дружеских отношениях [2]), что так же «далеко убегала от русской жизни» нашего сибарита и практическая деятельность, выбранная остальными героями «замечательного десятилетия». Могли быть и другие причины, на которые намекает необыкновенно резкий тон примечаний Маркса. Но о них можно только догадываться. Анненков, правда, никогда не скатывался так низко по наклонной плоскости, как его закадычный друг. В. П. Боткин, но он вполне заслужил приговор Маркса. В шестидесятых годах всякие «аспирации» были уже совершенно чужды ему, и даже «заочные» беседы с «сильными» людьми могли бы только нарушить безмятежную жизнь нашего «слабого» человека.

---

[1]) Маркс умер 14 марта 1883, Анненков 20 (8) марта 1887.

[2]) Некрасов посвятил этой дружбе следующую эпиграмму:

«За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал».

«Русский Архив», 1884 г., март, стр. 235.

IX.

Мы только что упомянули о Боткине. Еще в 1897 г., когда г. Струве занимался «оправданием» нашего капитализма и приглашал к нему на «выучку», он, в поисках за «легальными» предшественниками своего «легального» марксизма, наткнулся на письма В. Боткина к Анненкову и, опираясь, между прочим, на показания этого «достоверного и добросовестного свидетеля», сделал попытку превратить Боткина в родоначальника русского марксизма. «С удивительной научной прозорливостью,—без особенно напряженной работы мысли, а скорее благодаря какой-то гениальной интуиции,—он частью, быть может, предвосхищал, частью схватывал на лету важнейшие социологические обобщения, до которых дорабатывалась европейская наука в лице французских социалистов (Сен-Симона и сен-симонистов) и французских историков (Тьерри и др.) и великих немецких теоретиков социологии, Штейна и Маркса!» [1]).

Что же именно привело г. Струве в такой восторг? Несколько мест в «Письмах из Испании» и, в особенности, в письмах Боткина к Анненкову, в которых указывается на значение «экономического фактора» и защищается западно-европейская буржуазия «против нападок наших славянофилов и Герцена». В восклицании Боткина: «дай бог, чтобы у нас была буржуазия», г. Струве, этот классический «турист» нашей публицистики, с радостью узнал свое «пойдем на выучку к капитализму». Сердце сердцу весть дает, и Струве поспешил, от имени «легального» марксизма, «родными счесться» с действительным предком нынешних Гучковых. Чувствуя, однако, что «гениальные прозрения» Боткина как-то мало вяжутся со всей духовной физиономией этого писателя, он уже на следующей странице отнимает у Боткина «удивительную научную прозорливость» и старается об'яснить «гениальную интуицию» своего духовного прадеда более простым путем.

«Быть может, гениальные прозрения Боткина не были самостоятельными проблесками его критической мысли, а являлись навеянными личным общением с знаменитым немецким социологом (или его литературными произведениями), с именем которого они связаны в истории европейской науки. Кто знает? Об отношениях Боткина к Марксу нам ничего неизвестно».

Мы уже приводили выше слова Руге о Боткине и его отношениях к немцам. Но Боткин бывал в Париже и до 1844 г. В первый раз он попал в Париж еще в 1835 г. Тогда пылкий романтик,

---

[1]) П. Струве, «На разные темы», Спб., 1902, стр. 106.

он не замедлил посетить Виктора Гюго, от которого даже получил бумажку с надписью «Qui sperat vivit». Италия окончательно убедила его, что «средние времена ближе его сердцу». Характерно, что свои воспоминания о Риме он написал после появления «Рима» Гоголя. В 1842 г. он уже вступает в борьбу с «романтикой» и становится на сторону «духа нового времени». Он принимает на себя обзор текущей германской литературы. 29 декабря 1842 г. он жалуется Краевскому: «Вот, например, теперь читаю я немецкое сочинение чрезвычайно умного немца Штейна о социализме и коммунизме нынешней Франции. Книга во всех отношениях превосходная. С удивительным вниманием наблюдает он биение внутреннего пульса нового французского общества, анализирует и излагает его с глубиною и тактом человека, стоящего на вершине современной цивилизации — и, несмотря на все мое желание, на новость предмета для русской публики, нельзя сказать ничего об этой книге» [1]).

Итак, знакомство Боткина с творением soi-disant «великого» теоретика социологии Лоренца Штейна—засвидетельствовано им самим. Ни о какой «удивительной научной прозорливости» тут не может быть и речи, и Боткин мог «без особенно напряженной работы мысли» заимствовать «социологические обобщения», которые, правда, и у Штейна являлись водянистым и многословным парафразом идей французских социалистов. Что же касается несомненных следов влияния Маркса, то они, по нашему мнению, об'ясняются лучше всего посредничеством Анненкова, который и был главным проводником этого влияния, мимолетного, как и многие другие увлечения «такого,—по очень резкому выражению Герцена,—вечного мастурбатора идей, искусства, политики и пр., как Боткин» [2]).

В 1844 г., после своего неудачного романа, описанного Герценом в очерке «Базиль и Арманс»,—Боткин опять попал в Париж, когда там жил еще Маркс, и мог, конечно, встречаться с последним, но это знакомство было совершенно мимолетным, шляпочным. Весь образ его жизни в Париже исключал возможность сближения между ними. По словам Анненкова, Боткин тогда пустился во все тяжкие. Он «предался весь сексуальной жизни, окунулся в самый омут парижских любовных и всяческих приключений, дополняя их раздражающими впечатлениями искусства, в кото-

---

[1]) Ветринский, Ч. В. «П. Боткин», «Новое Слово», 1894 г., декабрь, с. 61.

[2]) Из письма Герцена к Тургеневу. См. «Письма Кавелина и Тургенева к Герцену», Женева, 1892 г., с. 189. Герцен прибавляет: «Они смотрят на мир, как старик на похабные изображения, и влекутся к силе, как все слабое, дряблое».

ром кропотливо рылся, отыскивая тончайшие черты произведений, что было видоизменением того же культа сексуализма, которому он предался. Он отрывался от него, по временам, чтобы освежить голову от хмеля одуряющих наслаждений, и возвращался к ним еще с большей энергией. Плодом таких **гигиенических** перерывов» — (так Анненков называет неприятные последствия эротической «тревоги», которой охвачен был тогда Боткин)—«была его поездка в Испанию и прекрасная книга, за ней последовавшая».

«Из того же источника,—прибавляет глубокомысленно Анненков,—проистекали и его занятия социальными и политическими вопросами, в которых он с изумительной прозорливостью открывал и потом преследовал малейшие черты скрытого идеализма, замаскированной чувствительности и мечтательности, сделавшихся теперь предметом его ожесточенной ненависти».

Таким же «гигиеническим перерывом» послужило для Боткина трехмесячное путешествие, летом 1846 г., по Тиролю и Ломбардии, совершенное им вместе с Анненковым, который тогда находился еще в периоде восторженного увлечения Марксом. Новый прозелит марксизма не преминул, конечно, рассказать своему другу о последнем откровении, о борьбе Маркса с немецкими истинными социалистами, не понимавшими значения буржуазии, промышленных кризисов и т. д., и т. д. Достаточно сравнить раздел третий главы о социалистической и коммунистической литературе в «Манифесте» Маркса и Энгельса, чтобы узнать все «гениальные прозрения» Боткина: все цитаты из его писем относятся ко времени **после** этого путешествия и понятны только, как отголосок и продолжение бесед с Анненковым. «Схваченную на лету» новую премудрость, перевирая ее и подменяя плоскими афоризмами из Штейна, он преподносит теперь с апломбом своим московским и питерским друзьям. Из «того же источника» ведут свое происхождение его критические замечания по поводу писем Герцена из **avenue Marigny**, этой новой вариации на старые темы немецких «истинных социалистов» с их традиционными анафемами против либерализма, против представительного государства, против буржуазной конкуренции, буржуазной свободы печати, буржуазного права и т. д. и т. д. И это же отраженное и преломленное в мозгу Анненкова влияние Маркса мы встречаем в замечаниях Белинского, с которым Анненков провел почти все время его заграничного путешествия в 1847 г., с той только разницей, что у Боткина оно уже к концу 1847 г. совершенно улетучивается и превращается в такую же пародию на марксизм, как и «глубо-

кие» прозрения многих наших «легальных марксистов» девяностых годов. Новое «практическое направление» Боткина и его вражда ко всему противоположному,—то, что Анненков называет его враждой против «скрытого новализма»,—вызывает отвращение еще у Белинского. А затем Боткин начинает «смаковать» Карлейля и Шопенгауэра, пишет после доносы на «Современник» и «Русское Слово», обещает Фету иллюстрировать его разбор «Что делать» рядом «коммунистических эпизодов», «коих он был свидетелем в 1848 г.» [1]), и, наконец, умирает в экстазе гастрономической «тревоги».

В начале статьи мы сказали, что попытка определить круг тех «русских аристократов», с которыми мог встречаться Маркс в сороковых годах, дала бы также материалы для решения вопроса, существовало ли, еще в сороковых годах, какое-нибудь непосредственное воздействие идей Маркса на эволюцию нашей общественной мысли.

Мы можем теперь ответить, что такое влияние действительно имело место, но оно оставалось чисто индивидуальным и кристаллизовалось только в случайных заявлениях. Оно не вошло определенным звеном в дальнейшее развитие русской общественной мысли, и никакой идейной преемственности между «марксизмом» Анненкова и Боткина и современным—нет и не может быть. И если существует несомненное духовное сходство между этими «вечными мастурбаторами политики, идей, искусства» и современными Струве, то это скорее сходство, отличающее всех «туристов», как сороковых, так и девяностых годов.

Родоначальником русского марксизма нельзя назвать и Сазонова, несмотря на то, что это единственный представитель сороковых годов, на которого «Коммунистический Манифест» оказал влияние уже в 1848—49 гг. Его «подпольная» деятельность протекала далеко от русла российской действительности и вряд ли оказала какое-нибудь воздействие на людей шестидесятых годов [2]).

Знакомство Маркса с людьми сороковых годов остается только любопытным эпизодом в истории «западного влияния в русской литературе».

---

[1]) Боткин в 1848 году не был в Париже.

[2]) Встречались ли с Сазоновым в конце пятидесятых годов в Париже Шелгунов, Благосветлов, Колбасин, М. Михайлов? Опубликованные мемуары не дают ответа на этот вопрос.

Понадобились еще долгие годы мучительной общественной и политической эволюции, пока в России созрели условия для восприятия основных идей марксизма. Прошло также немало лет, пока сам марксизм вышел из стадии, в которой эти основные идеи только намечались, как руководящая нить теоретической и практической деятельности, пока он превратился в стройную систему научного социализма и дал, с одной стороны, в «Капитале», а с другой — в Интернационале решение главных вопросов теории и практики социальной революции.

Но, кроме материальных элементов, созданных только после 1861 г., со времени «освобождения» крестьян, для акклиматизации такого «чужеядного» растения, как марксизм, необходимы были интеллектуальные предпосылки, подготовленные эволюцией русской общественной мысли. Белинский и Герцен сороковых годов, никогда не встречавшиеся с Марксом, но прошедшие вместе с ним общую приготовительную школу, Чернышевский и Добролюбов, побывавшие с ним в школе Фейербаха, Фурье и Оуэна, Бакунин второго периода своей деятельности и «народники» семидесятых годов — все они, теоретически и практически, приближали время, когда развившиеся в условиях «гнилого Запада» учение «немецкого еврея» стало знаменем величайшей эпохи в историческом развитии «самобытного» русского народа.

ДВЕ ПРАВДЫ

НАРОДНИЧЕСТВО И МАРКСИЗМ

I.

«Должна ли Россия начать с разрушения сельской общины, переходя к капиталистическому строю (как хотят либеральные экономисты), или, напротив, она может усвоить все плоды этого строя, не переживая сопряженных с ним мучений и развиваясь сообразно своим собственным историческим данным?» (Маркс).

Этот вопрос, в сороковых годах расколовший нашу интеллигенцию на «наших» и «не наших», на славянофилов и западников, в шестидесятых годах решавшийся в «замечательных статьях» «великого русского ученого и критика»,—был поставлен на практическую почву в семидесятых годах и наложил на них свою яркую печать.

Путы крепостного права были порваны. Россия освободилась от страшного кошмара, мешавшего ее свободному развитию. Она могла теперь начать жизнь на новых началах, не имеющих ничего общего с проклятой памяти прошлым. В ее распоряжении был «лучший шанс, когда-либо данный народу историей», чтобы избавиться от мук и страданий, которыми куплена была западно-европейская цивилизация.

Даже для «несомненного марксиста», «Положение» 19-го февраля было лебединой песнью старого процесса производства. Оно мешало, по его мнению, приложению капитала к земле, исполнению его исторической миссии, потому что наделило производителей орудиями труда. Конечно, «Положение» имело свои недостатки, но все-таки принцип манифеста, наделение крестьян землею, «стоял в безусловном противоречии с принципом, на котором зиждется хозяйственный строй западно-европейских государств». Только после этого «Положения» уже начинается борьба двух хозяйственных форм [1]).

Но, как известно, нет событий без следа.

«Прошедшее—прискорбно или мило—
Ни личностям доселе никогда,
Ни нациями с рук даром не сходило»

---

[1]) Николай — он, «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства».

То, что казалось лебединой песнью народного хозяйства, оказалось «песнью торжествующей любви» капиталистического строя, зародившегося и развившегося в недрах не «народного производства», а того социально-экономического уклада, который лучше всего характеризуется названием — «капитализм на барщинной основе».

«Положение» освятило принцип индивидуального владения орудиями производства и лишь против воли допускало существование общинного владения один из них, стараясь, поскольку это возможно было, уничтожить и этот остаток старины. Оно не наделило крестьян землею, а, вернее, обделило их: оно в значительной степени сократило их наделы и лишило их пастбищ, лесов и лугов, создав, таким образом, все условия для быстрой, «ненасильственной» экспроприации крестьян. За оставшуюся в их владении землю оно принудило их платить непомерно-большие выкупные платежи, включавшие, в замаскированной форме, и выкуп личной зависимости. Оно создало нищенский даровой надел. Sans phrases обезземелило оно около 3 миллионов дворов и «забыло» наделить землею уральских горнозаводских рабочих.

Пореформенная Россия была, таким образом, кровным детищем, плотью от плоти и костью от кости, России до 61 года. «Место» для капиталистической формы не только «было»: налицо уже имелись все условия для пышного расцвета западно-европейских капиталистических отношений, так что подлинная научная мысль могла констатировать полное разложение крестьянского хозяйства через каких-нибудь 10 лет!

Но то, что теперь, 30—40 лет спустя, ясно видно нам,—современникам представлялось в ином свете. Для них Россия являлась богатырем, только что сбросившим свои оковы; она могла теперь сознательно выбрать ту дорогу, которая наиболее соответствовала интересам народа.

«Средь мира дольного
Для сердца вольного
Есть два пути.
Завесь силу гордую,
Завесь волю твердую,
Каким итти?»

Нашему богатырю оставалось «сравнить» эти «два пути» и сделать выбор. А выбор был, казалось, нетруден. «Там, в странах наиболее цивилизованных, землевладение, капитал и труд отделены друг от друга весьма резко, чем органическая теория и

удовлетворена. У нас этого нет. Подавляющее большинство населения России состоит из землевладельцев-земледельцев. В Европе обрабатывающая промышленность вся сконцентрирована в городах. У нас огромная доля ее не отделилась от сельской промышленности и не выходит из деревни. У нас мужик, если и работает на фабрике, то, тем не менее, имеет свой клок земли, к которому и возвращается летом и в минуты невзгоды. В Европе этого нет, потому что и мужика там настоящего не везде можно сыскать. У нас безземельный рабочий есть исключение, тогда как в наиболее цивилизованных странах Европы дело устроено самым органическим образом, и такого явления, как землевладелец-капиталист-рабочий, там давно уже нет. Вместе с тем Россия есть страна неразвитая, бедная капиталами и занятиями. В виду всего этого возможны две диаметрально противоположные политические программы. Можно требовать для России повторения истории Европы в экономическом отношении: отнять у мужика землю и отправить его на фабрики, свести всю обрабатывающую промышленность в города, а сельскую предоставить мелким или крупным землевладельцами-неземледельцам. Таким путем различные общественные функции обособятся. Но можно представить себе и другой ход вещей. Можно представить себе поступательное развитие тех самых экономических начал, какие и теперь имеют место на громадном пространстве империи. Это будет, разумеется, опыт небывалый, но, ведь, мы и находимся в небывалом положении. Мы представляем собою народ, который был до сих пор, так сказать, прикомандирован к цивилизации. Мы владеем всем богатейшим опытом Европы, ее историей, но в то же время сами только оцарапаны цивилизацией. Наша цивилизация возникает так поздно, что мы успели вдоволь насмотреться на чужую историю и можем вести свою собственную вполне сознательно, — преимущество, которым в такой мере ни один народ в мире до сих пор не пользовался» (Н. Михайловский, «Сочинения», т. I, стр. 806—807).

Наивно, не правда ли? У нас теперь вошло в моду,—о, мы умудрены опытом!—смеяться над семидесятниками за их безумные попытки «повернуть назад колесо истории». Но этот смех доказывает безусловную неспособность стать на историческую точку зрения. «Мы», конечно, поступили бы иначе, но, к сожалению, «нас» тогда не было, и поколению того времени приходилось решать этот вопрос на основании данных своего времени, сквозь призму данного исторического момента. Они не убаюкивали себя оптимистическими надеждами, «что положение нашего рабочего не имеет ничего общего с западным пролетариатом, а потому за бу-

дущность России нечего бояться» [1]). Они были твердо убеждены, что стоит сложить на пустой груди непужные руки, и «Россия потеряет лучший шанс, который когда-либо давала народу история, чтобы пройти, вместо того, через все роковые последовательные изменения капиталистической системы».

Не насмешку, не презрительное сожаление, а только глубокую грусть могут вызвать следующие слова, в которых слышится стон целого поколения, погибшего в борьбе с неумолимым фатумом: «Пусть это в самом деле роковая ошибка и бесполезное безумие, напрасные усилия остановить непререкаемый ход истории, который все равно возьмет свое и безжалостно измолотит все, ему противящееся... в истории вовсе не редки случаи, когда люди бывают роковым образом осуждены на бесполезное противодействие ясно обозначившемуся и далеко подвинувшемуся историческому процессу. И это не из упрямства, а по тому же убеждению, по которому человек иногда бросается в воду спасать заведомо неподлежащего спасению утопающего, с риском самому утонуть» [2]).

Они ошибались, но суб'ективно они были правы. «Das war ein weltgeschichtlicher Irrthum, aber kein persönlicher. Jhr Untergang war daher tragisch». Эта трагедия ждет еще своего историка и художника. Началась она движением в народ и завершилась поражением Народной Воли. В течение двух десятилетий весь мир становится свидетелем единственной во всемирной истории героической попытки свернуть историю России с покрытого терниями и залитого кровью бесчисленных поколений западноевропейского пути и направить ее по пути, который должен был привести ее прямо в царство свободы, равенства и братства. Man hat sie gekreuzigt und verbannt... und Schweine genannt. И не нам, воспользовавшимся так дорого купленным опытом целого поколения, присоединяться к многочисленному хору тех, которые стараются забросать грязью это поколение титанов.

---

[1]) «Спрашивается, где основания такого оптимизма? Разве европейский рабочий в свое время не был в таком же положении, в каком теперь еще находится наш? И разве не прогресс промышленности выбил его из этой колеи? Пусть нам докажут, что европейский рабочий никогда не был собственником земли и орудий производства, самостоятельным хозяином». (Н. Михайловский. Соч., т. I, стр. 695). Характерно, что оптимизм этот был возведен в теорию г. В. В. как раз тогда, когда уже была потеряна всякая надежда на «особый» путь для России. Н. Михайловский, сохранивший еще эту надежду, счел нужным и тогда восстать против этого оптимизма.

[2]) Н. К. Михайловский. «Литературные воспоминания и современная смута». I. Стр. 345—346.

Мы не будем теперь следить за всеми перипетиями этой исполинской борьбы. Мы отказываемся теперь и от соблазнительной задачи проследить отражение ее в так называемой легальной литературе, хотя волей-неволей нам придется коснуться этого вопроса. А в названной литературе Н. К. Михайловский бесспорно занимает первое место. В течение всех семидесятых и начала восьмидесятых годов к голосу дорогого «профана» страстно прислушиваются все те, из рядов которых рекрутировались gekreuzigte und verbannte. Вместе с ними он переживал все фазы этого героического времени и, послушный зову его, верно отражает в своих статьях всю многосложную историю бурного периода. Но почему же именно он явился выразителем дум и стремлений лучшей части нашей молодежи, где секрет этой необычайной любви, в чем искать разгадку этой удивительной entente между читателем и писателем и где причины того разрыва, который начался уже в 80-х годах и так резко обозначился в 90-х?

Мы не намерены теперь разобрать всю литературную деятельность Н. Михайловского. Многого нам придется коснуться лишь мимоходом. Теперь он нас интересует больше как публицист. Но эта сторона его деятельности была бы мало понятна без маленькой исторической справки.

II.

Литературная деятельность Н. Михайловского началась очень рано, еще в 1861 году, но место одного из лидеров общественной мысли он начинает занимать только с конца шестидесятых годов. Sturm und Drang период нашей литературы «эпохи великих реформ» закончился в 1862 году. «Современник», так удачно служивший выразителем стремлений «крайней левой», изменил свою физиономию. «Эпигоны» далеко не оказались на высоте своей задачи.

Великое дело освобождения народа, которому страстно и верно служил «Современник» 1857—1862 гг., так или иначе было окончено.

«Современнику» оставалось только, путем всякого рода компромиссов, отстаивать уже «взятое в жизни» и бороться, подчас в самой аляповатой форме, с новым настроением среди молодежи. Верный своим прежним традициям, «Современник» и теперь уделял много места «внутренним вопросам», но все это сдабривалось значительной долей оппортунизма, которого следа не было в старых статьях Добролюбова и Чернышевского. Внимательно следя за западно-европейской жизнью, он продолжал знакомить рус-

скую публику с рабочим движением на Западе и, в любопытном предисловии к переводу лассалевской речи «Об особенной связи» и т. д., уже делал попытку перелицовать ее на русский манер. На его же страницах была сделана попытка вычислить, как велик долг цивилизованных классов народу. Но «дух жив» отлетел от журнала, и только отдельные личности из молодого поколения сохранили старые симпатии к журналу.

Огромная же часть молодежи группировалась вокруг Русского Слова».

После крестьянского вопроса на сцену явился новый вопрос—«вопрос молодого поколения» и, как часть его, «женский вопрос».

Из разоренных мелкопоместных и среднепоместных усадеб потянулись в город целыми вереницами «подрастающие силы» в поисках за «своим хлебом». Настало «трудное время» для «мыслящего пролетариата». Вопросы общественные сменяются вопросами личными. «Общество» отходит на задний план. Оно опять принимается за нечто «данное», к чему остается только приспособиться, чтобы принести возможно большую дозу пользы при данных условиях.

Вырабатывается особый кодекс жизни, из которого беспощадно выбрасывается все хоть сколько-нибудь напоминающее отжившую мораль «отцов». Отношения к женщине анализируются самым тщательным образом. «Мыслящего реалиста» не занимает вопрос, имеет ли он право на личное счастье. Это для него не подлежит никакому сомнению. Дебатируется только вопрос о формах, в которых оно наиболее достижимо, с точки зрения «экономии сил».

Вопрос о народе решается очень просто. Мы бедны, потому что глупы. Нужно доказать только «убыточность незнания». Дайте «мыслящему пролетарию» накопить достаточное количество «реальных» знаний, не накладывайте на его плечи бремени долга—и он «просветит» глупых, он рассеет ту тьму предрассудков, которая мешает нам на каждом шагу устраиваться рациональным образом.

Наиболее ярким выразителем этого течения среди публицистов «Русского Слова» явился Писарев. В статьях блестящего стилиста рисовался в самых очаровательных красках «мыслящий реалист» с его идеалом: «знание, любовь и труд». И эти статьи действовали тем сильнее, они увлекали молодежь тем больше, что писались они в тюрьме. Жизнерадостная проповедь личного счастья раздавалась из казематов Петропавловской крепости.

И тщетны были старания «Постороннего сатирика» [1]) доказать, что идеал этот носит чисто индивидуалистический характер, отвечает лишь на вопрос, как устроиться на свете, чтобы т е б е жилось хорошо. Вокруг имени Писарева началась уже образовываться легенда. Долго еще молодежь не могла вскрыть в его блестящих проповедях-импровизациях следы того умонастроения, которое, после его смерти, отлилось в такие отталкивающие формы. Она замечала в них только протест против устаревших форм жизни, она увлекалась проникавшим их оппозиционным духом. Это пестрое смешение проповеди индивидуалистических идеалов и инстинктивного протеста против существующего общественного строя — вообще характерно для «Русского Слова». Почти совершенно оставляя в стороне «внутренние вопросы», публицисты «Русского Слова», в разных формах, знакомили молодежь с социалистическими учениями. Буржуазная политическая экономия, даже в лице ее лучших представителей, подвергалась самой жестокой критике (подчас удивительно комичной) будущего автора «Отщепенцев» [2]).

А в стихах П. Ткачева — странная ирония судьбы — молодежь впервые могла познакомиться со взглядом, «перенесенным в нашу литературу, как и все, что только в ней хорошего, из литературы западно-европейской. Еще в 1859 г. известный немецкий изгнанник Карл Маркс формулировал его самым точным и определенным образом» [3]).

А рядом с этими двумя журналами незаметно прозябал совершенно невидный библиографический журнальчик «Книжный Вестник», где «друг-учитель» Н. Михайловского Н. Ножин в рецензиях на книги естественно-исторического содержания читал отходную социализму и восторженно приветствовал анархию, как наиболее идеальный строй общественной жизни, в котором окончательно исчезнет общественное разделение труда, корень всего зла.

Выстрел 4 апреля 1866 г., выстрел не «по реформам», как это думают наши либералы, а по реакции, навлек на литературу грозу. «Современник» и «Русское Слово» погибли. За ними скоро последовал и «Книжный Вестник».

---

[1]) М. Антонович.

[2]) Н. Соколов.

[3]) Примечание Ткачева: «Вот его подлинные слова:—«Вся совокупность отношений, касательно производства богатств (так переводит Ткачев Produktionsverhaltnisse), образует экономическую структуру общества, основной базис, на котором возвышаются в виде надстроек политические и юридические отношения». «Р. С.», 1865 г., 12 «Библиографический листок», стр. 31.

В литературе, как и в общественной жизни, наступило затишье.

Но оно скоро было прервано. В 1867—68 г. освобожденную Россию постиг такой голод, которого она не знала в самые темные периоды своей крепостной истории. Это был «гром с ясного неба».

Всполошилось правительство, учредившее комитет под председательством будущего «миротворца». Назначены были комиссии для исследования положения крестьянского хозяйства.

Проснулось и «общество».

Либералы, опираясь на «факты», указывали на необходимость закончить прерванное на время, якобы под влиянием крайней левой, дело «великих реформ», заняться положительной работой.

Но особенно потрясающее впечатление произвел этот голод на молодое поколение. Перед «разночинцем» и «кающимся дворянином», с головой ушедшими в вопросы личного самосовершенствования, вдруг развернулась, с неотразимой наглядностью, картина народных бедствий и общего расстройства.

«Мизерия» «десяти лет реформ» раскрылась воочию. Она подвергается беспощадной критике. «Слишком очевидны становятся всем вся пустота либеральных реформ и бесплодность либеральных усилий».

Быстро выясняется «недействительность легальных форм борьбы». Начинается оживленное обсуждение вопросов об отношении «личности» к «обществу». Вычисляется «цена прогресса».

Народ, который, казалось, после нескольких изолированных вспышек замолк, довольный материальными результатами «величайшей реформы», опять напомнил о себе.

Перед чуткой совестью молодежи поднимается вопрос: а имею ли право я, воспитавшийся на деньги народа, заниматься личным самосовершенствованием в то время, когда этот народ мрет от голодного тифа и цынги? На очередь ставится вопрос, как велик долг народу, и все поколение приходит к выводу, что оно—неоплатный должник народа. Является потребность поближе познакомиться с этим народом, изучить его нужды и стремления. Положение народа становится предметом тщательного изучения [1]). Писаревщина отходит на задний план: из фазы развития общественной мысли она превращается в фазу индивидуального развития,

---

[1]) Всем известно, какою громадною популярностью пользовалась в семидесятых и даже восьмидесятых годах книга Флеровского «Положение рабочего класса в России».

из широкого общественного течения, наложившего свой отпечаток на целый период умственной жизни русского общества, она превращается в кружковое, провинциальное [1]).

Это брожение не могло, конечно, не отразиться на литературе. Основанное еще в 1867 г., «Дело», сначала бывшее почти популярно-научным сборником, где Писарев мог писать только «Очерки из истории итальянских народов», в течение 1868 г. превращается опять в живое периодическое издание с сильной революционной окраской. Первое амплуа занял П. Ткачев, соединявший в своих статьях «экономический материализм» вульгарного пошиба с крайним якобинизмом. В своей блестящей статье «Люди будущего и герои мещанства» он дает легальный пролог будущей нечаевщины с ее принципом: «цель оправдывает средства». Недолгой, однако, была на этот раз его литературная деятельность. Арестованный в марте 1869 г., он на несколько лет исчезает, чтобы появиться вновь в 1872 г., но уже автором значительно потускневших статей. «Дело» окончательно превращается в орган провинциальных юношей и девиц, пугающих своим радикализмом обомшелых отцов и матерей.

Некоторое время казалось, что руководящее место в журналистике перейдет к «Неделе». Благодаря настоянию покойной Е. И. Конради, наиболее энергичной и образованной представительницы тогдашнего женского движения, редакция согласилась поместить на страницах журнала «Исторические письма» незадолго перед тем сосланного в Вологодскую губернию П. Л. Лаврова. В своих письмах, которые и в научном отношении представляли для своего времени выдающееся явление, наш незабвенный учитель «будил в учащейся молодежи чувство ответственности за невыносимые страдания народных масс, доводил ее идеализм до самой высокой степени и указывал ей дорогу деятельности»: подготовив из себя борца за народное освобождение, итти в массы, чтобы поделиться с ними своими знаниями и, раз'яснив им причины их невыносимых страданий, звать их на борьбу против существующего порядка. Он научил молодежь уважать массу, тех незаметных героев человечества, которые не совершили ни одного

---

[1]) Еще долго спустя вопрос о Писареве являлся «больным», «неразрешенным» вопросом. Ему были посвящены пользовавшиеся тогда такой известностью в кружках саморазвития статья Н. Морозова (М. Протопопова): «Литературная злоба дня» в «Отеч. Зап.», 77 г., I, и ст. И. Кольцова (печальной памяти Л. Тихомирова) «Неразрешенные вопросы», «Дело», 81 г., I, в свое время наделавшая много шума. Обе статьи противопоставляют индивидуальным идеалам Писарева общественные идеалы Добролюбова и Чернышевского.

яркого дела, но перед которыми, по историческому значению, ничтожны величайшие исторические деятели. «Они хранят в себе всю возможность будущего. В том обществе, где не было бы их, прекратился бы разом всякий исторический прогресс». И молодежь откликнулась на горячий призыв. Как говорит современник, «сотни читателей были глубоко захвачены «Историческими письмами»: не прошло и года после их появления в отдельном издании, как в Петербурге, Москве, Киеве и Одессе стал формироваться тот легион революционных «борцов за прогресс», на которых возложил все свои упования усопший».

В той же «Неделе»,—и почти одновременно с «Историческими письмами», — печатались исторические очерки Михайлова-Шеллера «Пролетариат во Франции», долго еще после этого служившие революционной молодежи единственным источником для знакомства с французским движением. Г. Скабичевский, с тех пор значительно «поумневший», давал апологию Лассаля в своей статье «Герои голубиного полета», направленной против российских Шульце-Деличей.

Но недолго держалась «Неделя» на этой высоте. С уходом Конради, редакция перешла к П. Гайдебурову, в руках которого «Неделя» превратилась в «гайдебуристый и скучный журнал, по временам охватываемый манией сказать непременно «новое слово».

С переходом «Недели» под другую редакцию, первое место в рядах радикальной печати [1]) окончательно переходит к «Отечественным Запискам» (купленным Некрасовым в 1868 г.). Вокруг этого журнала группируются лучшие литературные силы, и он становится центром тяготения наиболее отзывчивой и радикальной части нашей молодежи. «Отрицание и критика буржуазного строя и либерализма... принимают в нем крайне острый, напряженный характер. Социалистические симпатии, с одной стороны,

---

[1]) Были, конечно, в то время и другие журналы, в которых старалась найти себе убежище крайняя левая. Так, в том же «Женском Вестнике», который приютил «Растеряеву улицу» Успенского, Ткачев должен был излагать свои взгляды на значение экономического фактора в статьях о женском вопросе, а П. Лавров печатал статьи о господстве женщин в папском Риме или о французских салонах XVIII века и подвергал строгому критическому разбору философию Спенсера в статье по поводу его опыта «Воспитание умственное, нравственное и физическое». Как последняя статья, так и статья того же автора «Задачи позитивизма и их решение», напечатанная в скоро прекратившемся «Современном Обозрении», оказали сильное влияние на Н. Михайловского и В. Лесевича, бывших до того времени правоверными позитивистами. Но ни эти журналы, ни основанный разошедшимися с Н. Некрасовым сотрудниками «Современника» Ю. Жуковским и М. Антоновичем «Космос»—не удержались долго на литературном горизонте.

вопиющие факты заграничной жизни, ярко иллюстрирующие «систему наибольшего производства»,—с другой, бесповоротно решают отрицательное их отношение к буржуазному типу общественной организации и к нравственно-политической доктрине его—либерализму. Либерализм подвергается тщательной критике с различных точек зрения и по самым разнообразным поводам... Резкое разграничение интересов общества от интересов народа, как рабочей массы,—вот тот неизменный основной критерий, с точки зрения которого рассматриваются, исследуются и освещаются все более или менее крупные общественно-экономические явления. Таким образом, социалистические симпатии, если не социалистическое мировоззрение, служат, несомненно, той высшей инстанцией, к которой они апеллируют всякий раз, когда представляется затруднение при решении или постановке той или иной социальной проблемы» («Воспоминания землевольца» [1]). Мужик-народ стал центральной фигурой всего журнала. Нигде не отразилась так ярко, как в этом журнале, идея долга народу. «Она составляла тот общий фон, на котором рисовались узоры лирики, беллетристики, критики, философии, истории, экономики и политики». Но и в этом журнале всего ярче отразилась эта идея в статьях Н. Михайловского.

III.

Вопрос «что делать?» был решен. Нужно работать для народа. Но как делать это? Как разобраться в многосложном переплете общественных явлений? Как отделить истинное от ложного? Как примирить неумолимые требования науки с нравственным чувством ответственности за свое положение? Как соединить истину и справедливость в одно неразрывное целое?

Прошлое оставило нам в наследство целый ряд слов и девизов, за которыми, казалось, скрывалось богатое содержание. Свобода, равенство и братство, национальное богатство, прогресс — десятки лет люди боролись во имя этих слов — и что же? Национальное богатство — это только лицевая сторона народной нищеты; свобода оказалась свободой умирать с голоду; прогресс подвигался убийственно медленным шагом и покупается такой дорогой ценой, что невольно является вопрос: а не лучше ли было бы без него? В душе разгорается «лютая необузданная вражда» к существующему, все существо охватывается «страстью разрушения». Не нужно нам науки, купленной кровью и муками целых поколе-

---

[1]) «Материалы для истории русского социально-революционного движения». Статья Лаврова: «Народники 73—78 г.г.».

ний! «Для нас мысль дорога только, поскольку она может служить великому делу радикального и повседневного разрушения. Но ни в одной из ныне существующих книг нет такой мысли. Кто учится революционному делу по книгам, будет всегда революционным бездельником». (Бакунин).

А, с другой стороны, «представители либерализма носились с теорией органического прогресса, медленного постепенного развития. Господа ученые и профессора проповедовали молодежи всемогущество науки, которая, сама собою, деятельностью своих адептов, улучшает постепенно общественные отношения» (П. Аксельрод в статье о Лаврове).

Мы имеем перед собой две, доведенные до крайности, попытки отделить «теорию» от «практики». С одной стороны, мы получаем «практика», человека «дела» par excellence, чистого голубя, которому не хватает «змеиной мудрости», а с другой—человека «слова», «теории», которому не хватает не только голубиной чистоты, но и элементарной чуткости, человека, не ведающего ни гнева на обидящих, ни жалости к обидимым. Всякий из нас, побывавший—а кто из нас не был?—в каком-нибудь кружке молодежи, знает, как часто встречаются эти два типа. Редко кто из нас на первых порах не ударялся в одну из этих крайностей. И то—херил теорию во славу дела, практики, то—дело, практику—во славу теории, науки.

Всякая такая попытка оторвать «правду-истину» от «правды-справедливости», «правду теоретического неба» от «правды практической земли»—всегда чревата опасностями. Мы рискуем, вместе с автором «Сущности христианства», «рассматривать, как истинно человеческую, деятельность теоретическую» или только деятельность «практическую» в узко-вульгарной форме ее проявления и никогда «не понять значения «революционной», практически-критической деятельности».

И среди семидесятников были люди, которым «благодарная житейская практика, самые высокие нравственные и общественные идеалы» представлялись всегда обидно-бессильными, если они отворачивались от истины, от «науки». «Я никогда не мог поверить и теперь не верю,—говорит Н. Михайловский,—в сочинениях которого наиболее ярко отразились стремления именно этой группы семидесятников,—чтобы нельзя было найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя. Во всяком случае, выработка такой точки зрения есть высшая из задач, какие могут представляться человеческому уму, и нет усилий, которые жалко было бы потратить на нее. Безбоязненно смотреть в глаза действительности

и ее отражению, правде-истине, правде об'ективной, и, в то же время, охранять и правду-справедливость, правду суб'ективную,— такова задача всей моей жизни. Не легкая это задача».

Задача эта действительно нелегка. Дальнейшая литературная деятельность Н. Михайловского показала, что выработанная им с таким трудом «точка зрения» оказалась не в силах связать правду теоретического неба с правдой практической земли и не один раз заставляла его в угоду одной жертвовать другой. Но нас теперь не интересует позднейшая фаза его литературной деятельности. Михайловский нас теперь занимает только, как выразитель определенного течения среди молодежи семидесятых и начала восьмидесятых годов. Этой молодежи он был дорог именно потому, что в его сочинениях она находила систему правды, удовлетворяющую поставленным выше требованиям.

Какова же эта система правды? Постараемся изложить ее словами ее автора.

Система правды требует такого принципа, который: 1) служил бы руководящей нитью при изучении окружающего мира и, следовательно, давал бы ответы на вопросы, естественно возникающие в каждом человеке; 2) служил бы руководящей нитью в практической деятельности и, следовательно, давал бы ответы на запросы совести и нравственной оценки, опять-таки естественно возникающие в каждом человеке; и, наконец, 3) делал бы это с такой силой, чтобы прозелит с религиозной преданностью влекся к тому, в чем принцип системы полагает счастье.

Все умственные, все психические процессы совершаются в личности и только в ней; только она ощущает, мыслит, страдает, наслаждается... Всякие общественные союзы, какие бы громкие или предвзято симпатичные для вас названия они ни носили, имеют только относительную цену. Они должны быть дороги для вас постольку, поскольку они способствуют развитию личности, охраняют ее от страданий, расширяют сферу ее наслаждений. Слова в роде: «общее дело», «общественные интересы», «общая польза»— отнюдь не должны вас смущать, потому что под этим флагом часто провозится контрабанда.

Во избежание самообмана и обмана других, эту бессознательность нужно ликвидировать. Пусть гордые люди либо сами поймут и другим откровенно скажут, чему именно они служат, либо изберут себе другой, высший предмет служения. Этим высшим предметом может быть не красота, не истина, не справедливость, а только человеческая личность, цельная и полная, в которой все эти отвлеченные категории складываются в живое единство. Для

чисто теоретических областей человеческой деятельности этот критерий всегда ясен и удовлетворителен. Дело должно быть поставлено так. Умственный процесс совершается в пределах отдельного человека, личности. Пределы эти установлены, с одной стороны, природой, а с другой—историческим ходом вещей. Природные определения мы вынуждены брать, как они есть, не пытаясь их изменить.

Поэтому, прежде всего, мы должны выяснить, какие границы положены нашему уму природой. В этом именно состоит то, что обыкновенно называется теорией познания. Вот она в кратких чертах: человеку доступна только относительная правда, животное с иной организацией должно понимать вещи иначе. Правда, с точки зрения человека, не есть что-нибудь соответствующее природе вещей и обязательное для всех существ. Человек добывает элементы правды при помощи пяти чувств, а, будь у него их больше или меньше, правда представлялась бы ему совсем иначе. Границ. отмеченных перстом природы, перешагнуть нельзя.

Правда, добытая всеми средствами, какие предоставляют эти конечные пределы человеческой личности, есть правда относительная; но практически она, пожалуй, безусловна для человека, потому что выше ее подняться нельзя. Но вот исторический ход вещей прибавляет к природным ограничениям человеческой личности еще свои особенные, общественные. Скажи мне, к какому союзу ты принадлежишь, и я скажу тебе, как ты смотришь на вещи. Поэтому, в сферах практических критерий человеческой личности, благодаря запутанности отношений, может повести к большим недоразумениям.

Надо найти в личности такой ее аттрибут, такое свойство, которое было бы ей присуще, именно как личности, и не зависело бы ни от каких случайных определений. Такой аттрибут есть труд, целесообразное напряжение личных сил... Таким образом, для практического обихода, да и не только для него, а в видах теоретической ясности, мы можем поставить в нашей первоначальной формуле, вместо личности, ее единственное проявление—труд, сознательный, целесообразный расход сил. При дальнейшем разотвлечении, интересы труда превращаются в интересы народа. Народ—это такой общественный элемент, служение которому наиболее приближало бы нас к намеченной цели. Народ—в смысле не нации, а совокупности трудящегося люда. Труд—единственный об'единяющий признак этой группы людей—не несет с собой никаких привилегий, служа которым мы рискуем услужить какому-нибудь односторонному элементу: в труде личность выражается наиболее ярко и полно. Но служить—не значит прислуживаться. Служить

народу—не значит потакать его невежеству или прилаживаться к его предрассудкам. Мы, «вверху стоящие, что город на горе», мы, богатые теоретическим знанием и чужим историческим опытом, должны стать на страже интересов народа, охранять их от поползновений заведомых врагов и тех лицемерных друзей, которые желают держать его в темноте невежества.

К такому результату мы пришли не рядом только холодных логических выводов. В нас говорит и щемящее чувство ответственности перед народом, неоплатного ему долга за то, что, на счет его воловьей работы и кровавого пота, мы дошли до возможности строить эти логические выводы. Мы должны, поэтому, с чистой совестью сказать: мы—интеллигенция, потому что мы многое знаем, обо многом размышляли, по профессии занимаемся наукой, искусством, публицистикой: слепым историческим процессом мы оторваны от народа, мы—чужие ему, как и все так называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разум наш с ним. Сердце и разум—заметьте это сочетание. Это—не минутная вспышка сантиментальности, не те женские слезы, о которых говорится в песне, что они, как роса: взойдет солнце, росу высушит. Если б чувство остыло или охладело под напором естественных дел и делишек, не поколеблется разум, а поколеблется разум—поддержит чувство.

Мы имеем теперь систему правды, ее обоснование и социально-психологические предпосылки. Ей трудно отказать в известной стройности. Всестороннее развитие личности (целостность неделимого),—труд, как основная функция личности,—интересы труда, как интересы личности,—интересы трудящихся классов, трудящегося люда, народа в смысле совокупности трудящихся классов,—вот различные звенья теории, старающейся связать воедино идеал с действительностью, отыскать в самой действительности такой общественный элемент, такую общественную группу, которая была бы наиболее заинтересована в осуществлении предносящегося нам идеала.

Не трудно указать и составные ингредиенты этой «системы» правды. Вошли в нее и антропологизм Фейербаха [1]), и учение о самоотчуждающейся личности, вошло лассалевское построение идеи рабочего сословия, перелицованного на русский манер [2]), во-

[1]) Через посредство Н. Чернышевского, Н. Добролюбова и П. Лаврова.

[2]) «Все, что Лассаль говорил о рабочем сословии, мы переносили на крестьянство, являвшееся для нас нашим обездоленным «четвертым сословием». Мы особенно близко к сердцу принимали рассуждения Лассаля о том, что рабочий, отдавшийся борьбе за интересы своего сословия, другими словами, за свои собственные интересы, совершает этим даже высоконравственный акт, ибо

шел и долг цивилизованных классов народу, как главный импульс общественной деятельности. Вошли эти элементы большей частью бессознательно для самого творца системы, об'единившего их в одно неразрывное целое. Специфически русская окраска этой комбинации заставила ее автора забыть что элементы его системы были выработаны западно-европейской мыслью еще до 1844 г. Надо заметить, что и вообще зависимость нашей литературы от западно-европейской гораздо сильнее, чем это кажется иногда нашим «самостоятельным» мыслителям. С ними часто случается то же самое, что с тем молодым человеком, о котором говорит в своих воспоминаниях г. Михайловский. «Нынешний молодой человек уже воспитывается на многом из того, что в свое время стоило больших усилий и жертв. Он сам иной раз не знает, откуда запала ему та или другая мысль, то или другое чувство, и немудрено, что ему иногда кажется, что он дошел до них вполне самостоятельно, что он первый возвещает известную истину».

IV.

В изложенной нами системе был, однако, пункт, который, еще в 70-х годах, вызвал ожесточенные споры между г. Михайловским и народниками—в том смысле, как это слово понимали тогда (П. Ч. и Юзов).

Конечно, интересы народа должны служить верховным критерием: «все для народа», но не рискуем ли мы в своей деятельности разойтись с «мнениями» народа? Как поступить в таком случае? Пойти ли нам наперекор «мнениям» народа и устроить его жизнь согласно нашим «мнениям» об его «интересах»? Не превратимся ли «мы», таким образом, в особую разновидность бюрократов, которые будут вершить судьбы народа по своему произволу? Не отвернется ли от нас народ, если мы не будем справляться с его «мнениями»? Не лучше ли действовать согласно с интересами людей, признанными и выраженными ими же самими, т.-е. согласно также с их мнениями?

Этот литературный спор явился отражением другого спора, кипевшего среди революционной молодежи. «Все для народа»—на этом все сходились. Дальше начинались разногласия. Якобинская формула: «все для народа, но не через народ»,—особенно после злосчастного нечаевского опыта,—вызвала почти всеобщее негодо-

---

служит делу общечеловеческого прогресса—так как в настоящую историческую эпоху рабочее сословие является носителем прогресса, подобно тому, как буржуазия была прогрессивным элементом в прошлом веке». Дебагорий-Мокриевич, «Воспоминания». Выпуск первый, стр. 14—15.

вание. Недоверие «к здравому смыслу и воле народа», взгляд на народ, как «на бессмысленную толпу, которою надо командовать», глубоко возмущал молодежь. Нет! «Все для народа и посредством народа»—одинаково говорили и мирные пропагандисты и бунтари. Только революция, произведенная самим народом, имеет шансы на успех. Нужно лишь раз'яснить народу его интересы, привести в согласие его «интересы» с его «мнениями»—и дело народной социальной революции обеспечено. Об этом должна была позаботиться мирная пропаганда идей социализма в среде народа. На этой же точке зрения, в сущности, стояли и бунтари.

Но если мирные пропагандисты признавали возможность несовпадения «интересов» народа с его «мнениями», то бунтари шли дальше: они считали идеалы «рабочих масс» в России «согласными в существенных основаниях с современным социализмом». «Мнения» народа находились, по их убеждению, в согласии с его интересами. Дело шло только о том, как луше сорганизовать народ, и такое средство они нашли в агитации на почве насущных, конкретных, созданных народом потребностей. Такой взгляд легко было довести до абсурда. Это и было сделано. В нежелании навязывать народу свои мнения, некоторые народники договаривались до самых реакционных вещей [1]). В легальной литературе это течение в различных своих фазах отразилось в статьях П. Ч. и Юзова. Последний особенно часто доводил до абсурда основную тенденцию старого народничества. И с таким противником нетрудно было справиться. Стоило только придраться к какому-нибудь курьезу, которыми изобиловали статьи автора «Основ народничества»,—и победа была одержана, а проклятый вопрос о согласовании «мнений» народа с его «интересами» оставался опять без ответа.

Восьмидесятые годы опять поставили его на очередь. Горький опыт деятельности для народа, но через народ, кончившийся так трагически, оживил старые народнические традиции. Их выразителем явился Яковенко в своем «Открытом письме г. Михайловскому» («С. В.» 86 г.). Это письмо и ответ Михайловского лучше всего раз'яснят нам спор о «мнениях» и «интересах».

«Если вы хотите, — говорит Яковенко, — в действительности служить кому-либо или расплатиться с кем-либо, то вам надо действовать согласно с интересами этих людей, признанными и вы-

---

[1]) Среди русских революционеров попадались одно время единичные личности, которые не прочь были примириться и с «народным царем»—во имя «народничества». Но эта отрыжка славянофильской чепухи улетучилась, кажется, «совершенно в наших рядах». П. Аксельрод, «Все для народа и посредством народа». Письмо в редакцию «Вольного Слова» № 19.

раженными ими же самими, т.-е. согласно также с мнениями их, а не подставлять вместо этих последних свое собственное понимание».

Все для народа и посредством народа! Но что же делать, если «мнения» этих людей не совпадают с моими «мнениями» об их «интересах»? А как много таких случаев! Опять начать ту же сизифову работу? Продолжать работать для этих людей, не встречая в них ни отклика, ни сочувствия?

И он с тоской обращается к учителю:

«На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!»

А учитель?—Учитель на это отвечает ему длинным рассуждением о «ненавидящей любви».

«Если Иван любит Федору, которая велика, но любит ненавидящею любовью, потому что она дура [1]), то, бесспорно, его положение тягостно, он герой мучительной драмы; но выскочить из этой драмы одним ловким скачком он не может, закрывать глаза на свое положение не должен, а надо ему разобрать, в чем величие и в чем дурость Федоры, а затем направить все свои усилия к тому, чтобы уничтожить дурость и усилить величие. Тут, но только тут, и драме конец».

Ну, а если эта Федора упорно остается дурой, а если она упорно гонит от себя своих пылких поклонников и, время от времени, ошарашивает их увесистым ударом, а то и в управу благочиния препровождает? Но этим не смутишь верных ее поклонников. Для ее счастья они готовы отказаться «от всех своих самых кровных и дорогих интересов, даже жизнью пожертвовать, готовы на позор, на преступление, все что хотите». Но Федора все-таки дура и своих «мнений» изменить не хочет. Так не изменить ли нам pour ses beaux yeux наши мнения? Ни за что. Как ни любят они Федору, но отказаться ради нее от своего «мнения», спуститься до ее уровня—никогда.

«Можно самопроизвольно и, значит, под условием вменения в позор или доблесть, в грех или заслуту, отказаться от тех или дру-

---

[1]) Этот непочтительный тон по отношению к Федоре особенно часто встречается у Глеба Успенского. Еще чаще он встречается у типических народовольцев «первого призыва». Это явление об'ясняется естественной реакцией против предшествовавшей идеализации. В то время наши легальные народники по поводу этих непочтительных отзывов поднимали такой же вопль (напр., ст. Л. Оболенского: «До чего договорился Глеб Успенский»), какой теперь поднимают по поводу всякой, иногда неосновательной, выходки какого-нибудь «марксиста» по адресу крестьянства.

гих своих интересов ради иных, чужих интересов, но отказаться от своих мнений—невозможно».

А так как на изменение умонастроения Федоры очень мало надежды, то остается только признать, что, в сущности, вопрос о «мнениях» Федоры не так уже важен.

«Не знаю хорошенько, подлинными ли моими словами выражается Яковенко, говоря: «Вы полагаете, что нужно действовать в интересах народа, а согласно ли это будет с его мнениями или нет, это уже второстепенный вопрос». Не то что второстепенный, но, во всяком случае, второй, да, я полагаю».

Михайловский боится высказаться решительно. Сказать, что вопрос о «мнениях» Федоры не важен, значило бы согласиться с «Все тем же» (П. Ткачевым), с которым он так резко полемизировал в 70-х годах. Ведь, нельзя же не признать, что если бы любовь к Федоре находила в ее сердце отклик, то и работа по части превращения Федоры из дуры в умницу шла бы и быстрее, и успешнее. Но убеждение в возможности согласить мнения Федоры с ее интересами, не покидавшее Михайловского в 70-х годах, уступило место разочарованию. Если Федора не понимает своего счастья, сделаем ее счастливой против ее воли. Хочет она этого или нет—это вопрос второстепенный.

Бедная Федора! «Века протекали, все к счастью стремилось, все в мире по нескольку раз изменилось», а Федора, которая хоть и велика, но все-таки дура, с глазами, выражавшими бесконечное смирение, безропотно переносила всяческие муки, покорно позволяла мудрить над собою всяким московским и петербургским извергам. Настал, наконец, день освобождения. Неужели же Федора останется все той же дурой, и вся разница будет состоять лишь в том, что прежде ее били и истязали, не справляясь с ее мнениями, а теперь будут любить и лелеять.

Чувствуя справедливость этого протеста, Михайловский спешит ответить на него.

«Как бы ни был далек ваш идеал, ваше мнение от мнения народа, для практического осуществления этого идеала необходимо считаться с мнениями заинтересованных. По крайней мере, необходимо пользоваться каждым случаем, когда это возможно». Во всяком случае, «мнения заинтересованных должны быть приняты, если не к исполнению, так к сведению».

Мы видим, «кающийся дворянин» заговорил языком, который удивительно напоминает язык самого нераскаянного дворянина. Но, и помимо этого, такой ответ, конечно, является только пустой отговоркой. А если эти «мнения» все-таки остаются далекими от на-

ших мнений, а если принимаемые к сведению мнения окажутся такого рода, что у вас зародится «желание какого-то инстинктивного движения кулаком в эту самую народную массу»[1]), Федору тож?

Но кто же эти Иваны, которые любят Федору, кто будет принимать мнения Федоры, «если не к исполнению, так к сведению», кто устроит ее счастье?

Эти Иваны—это «мы», «интеллигенция», «вверху стоящие, что город на горе». Мы благополучно вернулись к очищенному ткачевизму.

Вот интересный pendant из подпольной области: «за эксплоатируемым большинством придется признать один очень существенный недостаток. Обыкновенно оно представляет собой пассивный элемент. Лишь на короткое время оно превращается в активный. Можно горько сетовать на это, но, тем не менее, подобная вещь логически (!) необходима... Перед большинством раскрывается, как видите, роковая дилемма: или умереть с голоду вместе с хищниками или кормить себя и поддерживать роскошную жизнь организованных эксплоататоров. Не будь выхода из этой дилеммы, было бы из-за чего отчаяться за судьбу человечества! По счастью, выход есть. Как меньшинство выработало себе особый орган нападения и хищничества, современное государство,—так и большинство должно выработать себе особый орган, защищающий его интересы и всегда готовый на борьбу с насилием и эксплоатацией. Это и есть революционное меньшинство (в отличие от меньшинства привилегированного и, стало быть, реакционного)... И пусть не пугают нас словесными «жупелами»: якобинство, диктатура, посягательство на свободное развитие народа. Более, чем кто-либо, мы уверены, что народ имеет право на истинно человеческое развитие; мало того, в целом он стремится к более нормальному, более справедливому строю, чем настоящий... Сила революционного меньшинства именно состоит в том, что оно опирается обеими ногами на основные интересы народа, большинства эксплоатируемой массы...

«Большинство вечно вращается в заколдованном кругу. Стремясь к более нормальным условиям жизни, оно, тем не менее, не может выработать в себе достаточного активного протеста против современного строя. Ибо выработка активного протеста, вообще активного чувства общественной деятельности, уже предполагает иные условия жизни большинства. Кажется, отсюда вывод ясен:

---

[1]) Глеб Успенский.

революционное меньшинство должно своим активным протестом и борьбой изменить старые условия и приспособить новые к нормальному развитию большинства» [1]).

Нетрудно показать всю неосновательность этого рассуждения. Основное положение старого народничества — «все для народа и посредством народа»—остается во всей своей силе. Предоставим слово народнику. «Не отрицая того факта, что наша интеллигенция (т. е. действительно образованный слой общества) в гораздо большей степени, чем буржуазная интеллигенция Запада, демократична, не мешает, однако, обратить внимание на два обстоятельства: во 1) искренне демократичная интеллигенция составляет все-таки меньшинство в общем составе образованной части нашего общества, а во 2) аналогичное явление мы встречаем и в истории других стран в эпохи борьбы с абсолютизмом... Интеллигенции, как совокупности лиц, проникнутых исключительно идеальными стремлениями, живущих вполне вне классового антагонизма, не существует... Результат борьбы за политическую свободу в громадной степени зависит от того, какая роль выпадет в этой борьбе на долю именно рабочих масс... Лозунг: «все для нации», даже с прибавкой: «посредством заинтересованной в этом деле части нации», при всей своей внешней идеальности, оказывался до сих пор на деле прекрасным орудием в руках привилегированных классов или их руководителей, чтобы увлекать рабочие массы на дело загребания жара своими руками на пользу первых... Чем сильнее будет участие истинно народных элементов в общем составе реформирующих строй империи факторов, тем больше шансов отклонить направление равнодействующей всех этих преобразовательных усилий в сторону интересов безграмотных и забитых» [1]).

Кто же прав? Теоретически был прав второй, да этого не отрицал и его противник. Конечно, работа для народа и посредством народа должна быть для нас идеалом. Но что же делать, если этот народ молчит? Сложить руки на груди? Последовательный народник, ставивший выше всего деятельность для народа посредством народа, соглашается скорее на политическую бездеятельность, чем на сосредоточение революционного движения ис-

---

[1]) К. Тарасов (Русанов) «Банкротство буржуазной науки». «Вестник Народной Воли», I, стр. 86, 89, 90.

[2]) П. Аксельрод. «Все для народа и посредством народа». «Вольное Слово», № 19.

ключительно в среде интеллигенции [1]). Но это легче было сказать, чем сделать.

Революционная мысль тревожно искала выхода из этого заколдованного круга: без народа революция ни к чему не приведет, а народ не хочет этой революции. «Интересы» его на стороне революционеров, но «мнения» его шли вразрез с его же интересами. Суб'ективная логика народа упорно не хотела притти в согласие с об'ективными условиями его существования, толкавшими его, повидимому, в сторону социализма.

Невольно возникали следущие вопросы: нет ли в этих об'ективных условиях элементов, которые служат непреодолимым препятствием для такого согласования? Есть ли надежда на изменение в этих об'ективных условиях? Представляет ли этот народ нечто однородное? Действительно ли условия его существования так резко отличаются от западно-европейских? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ революционная мысль.

А действительность давала слишком много фактов, шедших вразрез со старыми представлениями. Народ оказался далеко не таким однородным, как это представляла себе интеллигенция. Кулачество и ростовщичество оказались не наносным явлением, не принесенным извне паразитом; они выростали из народной почвы и питались ее соками. Товарное производство отнимало одну позицию за другой у натурального хозяйства. Община разлагалась; она не только не оправдала возлагавшихся на нее надежд, но сама во многих местах являлась орудием эксплоатации бедных общинников богатыми. Под этим остатком старины скрывалась вполне индивидуалистическая организация хозяйства, изолировавшая один двор от другого не в меньшей степени, чем была изолирована одна община от другой. Артель, при более пристальном изучении, тоже оказалась гораздо более пригодной для эксплоатации одних членов артели другими, чем для солидарного ведения хозяйства. «Самобытность» оказалась плохой защитой и в борьбе с фабрикой. Приходилось признаться, что капитализм сделал громадные успехи.

Известная статья Ник—она, несмотря на неверное об'яснение генезиса русского капитализма, воочию показала, что «капиталистическое течение видимо пересиливает». Из картины пореформенного хозяйства, нарисованной Николаем—оном, неотразимо вытекал вывод, сделанный еще Михайловским. «Дождавшись национального разрешения задачи», мы, можно сказать, в ту же минуту настежь отворили свои ворота банкирской и железнодорож-

[1]) Ibidem.

ной Европе. Эта Европа, вторгаясь к нам без всякого с нашей стороны протеста, быстро и цепко душит задатки нашего оригинального или, пожалуй, если хотите, национального экономического развития. Наше недостроенное здание не только не мешает этому вторжению, а напротив, способствует ему волею и неволею, предоставляя государственные средства на преувеличенное развитие частных интересов и кладя к подножию их благосостояние народа и «национальный» принцип. А мы, тем временем, все с гордостью вспоминаем, что дождались национального решения национальных задач! Мало того, ссылаясь на этот, так сказать, с'еденный молью пример, рекомендуем ожидание, как политический принцип, программу! Лет пятнадцать тому назад это были бы, может быть, разумные речи. Теперь они запоздали. Аплодируя торжественному вшествию банкирской и железнодорожной Европы, смешно до... до чего хотите смешно запирать двери перед Европой политической и научной... ибо, даже признавая разные гордости г.г. Аксаковых и иных в принципе законными, Европа может обратиться к нам словами книги пророка Исаии: «И ты сделался бессильным, как мы! И ты стал подобен нам! В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви—покров твой!»

Да! Россия становилась подобна Европе! Она все больше удаляется от пути, идя по которому она могла бы миновать тернистый путь Западной Европы. Это сознание как бы удесятерило энергию революционной интеллигенции. И вот, собрав все свои силы, «заменив динамитом отсутствие материальной силы и малочисленность борцов их бесконечным самоотвержением», она бросилась в последний смертный бой с деспотизмом, чтобы создать себе более благоприятные условия для своей великой задачи: избавления России от шуйцы капитализма. Деспотизму был нанесен страшный удар. Некоторое время казалось, что он побежден, что он собирается уступить, но, убедившись, что за кучкой героев никто не последовал, деспотизм оправился и, развернув знамя «народной политики», давши полную свободу хищническим инстинктам различных эксплоататоров, он раздавил «Народную Волю» [1]). Цвет целого поколения был безжалостно скошен.

«Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля!»

---

[1]) Будущий историк России должен будет отметить, что целый ряд уступок и «реформ» эпохи «диктатуры сердца» и «народной политики» был произведен из-под палки «Народной Воли». Когда она была побеждена, деспотизм перестал стесняться: тогда только реакция начинает праздновать свои оргии.

«Идея, отрешенная от массы», оказалась бессильной, народ продолжал оставаться глухим к призывам тех, которые остались верны своему знамени. Большинством овладели уныние и разочарование, лишь маленькая кучка бросается в «поиски» «за точкой опоры для борьбы» и старается понять причины своего поражения.

Мы стали подобны Европе, но обессилились ли мы от этого? Не является ли наше «бессилие» источником новой силы? Что говорит нам европейская действительность? И пытливая революционная мысль обращается на Запад.

V.

А там, к началу восьмидесятых годов, произошли большие перемены.

Революционное движение, которое, после роспуска Интернационала, казалось, замерло, опять оживает. Немецкая социал-демократия, после некоторых колебаний и ошибок конца семидесятых годов, приняла опять, на своем конгрессе 1880 года, революционную программу, а на выборах 1881 г. показала, какую непреодолимую силу представляет собою пролетариат, проникнутый классовым самосознанием. Французский пролетариат, совершенно обессиленный после страшного кровопускания 1871 г., еще в 1876 г. отвергший на парижском конгрессе социалистические теории, присоединяется в лице своих наиболее сознательных элементов к марксистской программе. В Англии, пролетариат, которой, по мнению всех катедер-социалистов, был навсегда застрахован от социалистической заразы, образуется социал-демократическая федерация, ставящая себе целью организовать рабочий класс в особую политическую партию. К этому же времени относится образование социал-демократических организаций и в других странах. Семена, посеянные «доктринерами» Интернационала, пустили крепкие ростки. Всюду пролетариат начинает собираться под знаменем социал-демократии и становится главным оплотом всех прогрессивных стремлений.

Отчего же идеи социализма, так плохо принимавшиеся на российской почве, пустили такие прочные корни на Западе? Почему же европейский пролетариат оказывается более способным воспринимать эти идеи, чем пропитанный общинными инстинктами русский народ?

Ответ на этот вопрос дал научный социализм. Более близкое знакомство с «непрочитанною главою любимой книги», т.-е. философско-исторической частью учения Маркса и Энгельса, показало, что те самые вопросы, которые возникли для России в восьмиде-

сятых годах, ставились в Германии уже в сороковых. И в Германии «интеллигенция», выработавши идеал гармонически развитой личности, пришла к заключению, что он осуществим только в социалистическом обществе. И в Германии «интеллигенция» обращалась к «хижинам», чтобы направить их против «дворцов», но «хижины» не откликнулись на страстный призыв Бюхнеров и Вейдигов. И германской интеллигенции пришлось себе поставить тот же вопрос: почему «мнения» народа так плохо согласуются с его «интересами»?

И в то время, как демократы то разражались горячими филиппиками по адресу бедного Михеля, то обращались к «обществу», молодой Маркс поставил вопрос иначе: нет ли в этом угнетенном народе таких элементов, которые самыми условиями своего существования толкались бы в ту же сторону, в какую направляется «интеллигенция», которые влили бы кровь, дали бы жизнь, «сердце», тому движению, головой которого явился бы высший продукт германской жизни—ее «философия»? И, анализировав об'ективные условия существования разных общественных классов, Маркс пришел к заключению, что этим «сердцем» должен стать пролетариат.

Проследим его аргументацию: мы встретим в ней много знакомого.

«Мы», «наверху стоящие, что город на горе», подвергли самой беспощадной критике все небесное и земное. Своей критикой религии мы освободили людей от иллюзорного счастья и этим заставили их искать счастье в этом мире. Мы поняли, что и земные идеалы являются такими же продуктами самого человека, как религия и язык. Вместо того, чтобы поклоняться разным, созданным им же самим, идолам, человек выше всего должен поставить целостного человека. Для этого нужно уничтожить общественные условия, которые делают из человека униженное, порабощенное, опустившееся, презираемое существо, и создать вместо них новые условия, при которых высшим существом для человека явился бы сам человек. Этому требованию удовлетворяет только социалистический строй.

Но сама по себе «идея» бессильна. Она жизненна только тогда, когда является «идеей» класса, когда она является его сознанным мнением или представлением, когда она уже in potentia заключается в материальных условиях существования данного класса. Следовательно, наша философия может перейти в действительность, только опираясь на класс, который представлял бы полную утрату всего человеческого и мог бы завоевать себе место в жизни, лишь

снова приобретая сполна все права человека. Сами условия существования этого класса необходимо изменяют его «мнения» в том же направлении, в котором его толкает наша философия. Протестуя против условий своего существования, этот класс протестует тем самым против общественных условий, обесчеловечивающих человека. Он не может освободиться, не уничтожив собственных условий существования. Он не может их уничтожить, не уничтожив в то же время всех нечеловеческих условий жизни, всею своею тяжестью падающих на него.

Дело вовсе не в том, что тот или иной пролетарий, а иногда даже и весь пролетариат, «мнит». Дело идет о том, что́ пролетариат есть и что, сообразно этому бытию своему, он исторически принужден сделать. «Мнения» его только временно могут притти в столкновение с его «интересами», он не имеет возможности отделить «теорию» от «практики» и успокоиться в области «чистого созерцания» или фаталистического индифферентизма. Повелительная нужда— это выражение исторической необходимости—служит для него «категорическим императивом», толкает его к борьбе за свое освобождение, и толкает тем сильнее, что она не есть нужда, вызванная естественными условиями. Наоборот, — это нужда, искусственно вызванная, сопровождающая данные общественные условия. Идея отрицания частной собственности, социализм, находит себе в интересах пролетариата прочную опору. Да и какой класс отнесется более внимательно к этой идее, если не класс, принципом существования которого является отрицание этой частной собственности? «Идея», таким образом, приобретает сочувствие масс, «мнения» массы на ее стороне, а, овладев массами, «идея» сама становится материальной силой. Всякая попытка изолировать ее от массы, чем бы эта попытка ни об'яснялась, ведет к ее посрамлению. Нельзя поэтому достаточно энергично протестовать против таких попыток.

Посрамление «идеи» не доказывает вообще равнодушия массы: оно доказывает только, что данная «идея» не являлась выражением «интересов» массы, а если являлась, то в очень недостаточной степени. Не идя к «сердцу» массы, она не могла вызвать энтузиазма, а без него невозможны великие исторические события.

«Интеллигенция», не найдя себе сочувствия в народной массе, склонна была отнестись к ее «мнениям», как к второстепенной вещи, относиться к массе, как высший к низшему. Она забывала, что «мнения» обусловливаются обстоятельствами, определяются общественным положением данной массы. Если «мнения» массы не изменились, то это значило только, что новая «идея» не нахо-

дит никакой точки опоры в условиях жизни этой массы: виновата не масса, а «интеллигенция», обратившаяся не по тому адресу. Поэтому все филиппики против массы свидетельствуют о недомыслии «интеллигенции». Нужно обратиться со своей «идеей» к людям, все жизненное положение которых формирует их «мнения» в направлении данной «идеи». Вывод: чтобы воплотить в жизнь дорогую нам «философию», нам нужно обратиться со своей проповедью к пролетариату. Только он заинтересован в осуществлении нашей «идеи», так как она может осуществиться только, когда исчезнут условия, порождающие, с одной стороны, богатство, буржуазию, с другой—нищету, пролетариат,—когда, следовательно, будет уничтожена частная собственность. Кому, поэтому, дорога «идея», тому нужно, в своей практической и теоретической деятельности, выбрать критерием интересы пролетариата, как единственного класса, «мнения» которого самыми условиями его существования изменяются в желательном направлении.

Уже выработав эту «точку зрения», правильность которой вскоре была подтверждена немецкой действительностью [1]), Маркс пришел к заключению, что ключ к об'единению действительности (государственных форм и правовых отношений) нужно искать в материальных условиях жизни. Дальнейшие исследования привели его к выводу, что в каждую данную историческую эпоху экономическая структура общества составляет основу его политической и умственной истории. Оказалось, что не только современная эпоха характеризуется борьбою классов, но что вся история (писаная) была историей классовой борьбы. Оказалось, дальше, что капиталистический процесс производства сам создает все материальные и интеллектуальные элементы будущего строя и что самая постановка такой задачи возможна была потому только, что налицо уже имелись материальные условия ее решения. Лишь теперь борьба классов достигла той ступени, на которой эксплоатируемый и угнетаемый класс (пролетариат) не может освободиться от эксплоатирующего и угнетающего его класса (буржуазия), не освободив в то же время и навсегда всего общества от эксплоатации, угнетения и классовой борьбы.

Выяснилось таким образом, что пролетариат не только д о л ж е н, но и м о ж е т это сделать. Более внимательный анализ

---

[1]) Через несколько месяцев после выхода «Deutsch-Französische Jahrbücher», где Маркс впервые развил свою точку зрения, вспыхнуло восстание силезских ткачей. Оно ясно показало, что только у пролетариата имеется «та революционная отвага, которая бросает своему противнику дерзкий вызов:— «Я ничто и хочу быть всем!»

экономических условий показал, кроме того, что пролетариат отличается от других угнетенных и эксплоатируемых классов не степенью эксплоатации, а, в несравненно большей мере, ее ф о р м о й. При товарном производстве, а стало быть, и при капитализме, т.-е. такой форме товарного производства, при которой на рынке является специфический товар—рабочая сила человека,—только пролетариат борется против самых основ эксплоатации, потому что товарное производство никого не бьет так сильно, как именно пролетариат. Ведь он должен жить продажей самого себя, своей рабочей силы,—в то время, как другие угнетенные классы—мелкая буржуазия во всех ее видах, крестьянство, ремесленники—ничего не имеют против самого товарного прозводства, и, как классы, желали бы только устранить условия, ставящие их товары в неблагоприятное положение в сфере конкурренции.

Важен, таким образом, не только факт порабощения—порабощены и другие классы,—несравненно важнее его ф о р м а, потому что с изменением этой формы меняются и мнения, которые зарождаются и могут зародиться в голове порабощаемого. В то время, как «мнения» мелкой буржуазии и крестьянства делают их бессознательными (в лучшем случае) союзниками господствующих классов, вопреки, казалось бы, их интересам,—частная собственность и для тех и для других есть nec plus ultra человеческой свободы и индивидуальной независимости,—«мнения» пролетариата, как класса, в историческом процессе развития все больше приходят в согласие с его «интересами». Поэтому, из «всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собою действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности,—пролетариат же именно ею и создается». «Движение пролетариата, таким образом, является (и становится все больше и больше) движением огромного большинства в интересах огромного большинства».

Но важен не только количественный его рост. Массовые движения были и раньше. Гораздо важнее его «качественный» рост. В то время, как, с развитием капитализма, значение других трудящихся классов с каждым днем падает, пролетариат, наоборот, становится все более и более важным фактором общественной организации производства. В то время, как энергия сопротивления других угнетенных классов рассеивается по бесчисленным точкам «общественного организма», энергия пролетариата концентрируется в немногих наиболее чувствительных пунктах. Тут он сбрасывает с себя все «особенности»,—профессиональные, религиозные, нацио-

нальные и т. д.,—и превращается в одну великую солидарную и сплоченную армию борцов за лучшее будущее.

«Точка опоры» народников,—«народ»,—с развитием экономических отношений, раскалывается на части с различными интересами (однородное превращается в разнородное); пролетариат, напротив,—вступает в этот процесс, вследствие различных условий своего генезиса, раз'единенным,—с развитием тех же самых экономических отношений, превращается в одно целое с однородными интересами (разнородное превращается в однородное). Конечно, и другие эксплоатируемые классы имеют революционное значение, но они имеют его «лишь постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не современные, но будущие свои интересы, поскольку они покидают свою точку зрения (т.-е. отказываются от «мнений», порождаемых в их головах их современными «интересами») и становятся на точку зрения пролетариата».

Классовая идеология пролетариата (его «мнения»), таким образом, все более и более становится идеологией всех «обремененных и нуждающихся», и во главе великого освободительного движения человечества становится уже не маленькая кучка идеологов, критически мыслящих личностей, а могучий, проникнутый сознанием своей исторической миссии, пролетариат.

Что же? Теряет ли от этого «интеллигенция»? Становится ли ее задача менее идеалистической?

Она «выигрывает» во всех отношениях.

«Интеллигенции», «идеологам, возвысившимся до теоретического понимания всего хода исторического развития», не грозит уже опасность остаться непонятыми и быть раздавленными господствующими классами.

С интеллигенции снимается непосильная для нее задача «стоять на страже интересов народа, охранять их», задача опасная еще тем, что развивает в интеллигенции склонность отделять себя от массы, ставит себя над ней, смотреть на нее как на материал.

«Тяжко быти единому». Становитесь в ряды борющегося за свое освобождение пролетариата, помогите ему вы, богатые знанием и наукой, «восполнить до некоторой степени недостаток исторического опыта», и вы увидите, какой страшной, непреодолимой силой окажутся знания, наука, заключившие союз с пролетариатом.

И если «всестороннее развитие личности» не только фраза в ваших устах, если это не «пленной мысли раздраженье», то вы поймете, что только эта деятельность может ускорить наступление

общественного строя, при котором свободное развитие каждого станет условием свободного развития всех!

Руководясь в своей деятельности этим критерием—интересами пролетариата, не только как он е с т ь, но и как он р а з в и в а е т с я,—вы не рискуете запутаться, вам не грозит опасность попасть под власть пышных фраз, которыми так долго убаюкивала себя демократия.

Предоставьте другим работать во имя прогресса истины, справедливости, добра, красоты! Слишком часто все эти Schlagworte, как говорят немцы, служили прикрытием для эгоистических стремлений отдельных классов.

Но почему же не выбрать критерием интересов труда, трудящихся классов? Да просто потому, что труд—понятие, не имеющее определенного ни исторического, ни социологического смысла, с ним не координируется никакой определенной системы общественных отношений, это столько же биологический, сколько и социологический термин.

Трудится крестьянин, трудится ремесленник, трудится наемный рабочий,—отвлекаясь от ф о р м ы, в которой проявляется их труд, мы этим самым отвлекаемся от тех определенных общественных отношений, при которых и в которых совершается труд.

Это—обычная ошибка идеализма,—ошибка, в которую впадает и вульгарный материализм: он так поглощен сущностью вещей, что не замечает или проходит мимо ф о р м, в которых проявляется эта сущность.

Эта ошибка обрекла идеализм на бессилие в области исследования природы, она же обрекает его на бессилие в области истории и социологии.

«Вся история—это длинный мартиролог трудящихся классов, в основе ее лежит насилие, порабощение».—Но далеко ли мы уйдем, если забудем, что это насилие, в течение исторического процесса, принимало различные ф о р м ы: одни формы увековечивают это насилие и превращают человеческое общество в пчелиный улей или муравейник, другие—вызывают и питают протест против насильников и поработителей.

Не менее разнообразными являются эти формы и в настоящее время, и если мы забудем их differentia specifica, то мы не поймем и differentia specifica тех мировоззрений, которые складываются на почве различных форм насилия. За лесом мы рискуем не увидеть деревьев.

Перед вами мастер и его подмастерье, мужик и его батрак,—можете ли вы смотреть на них, как на нечто однородное? Мастер

желает удлинить рабочий день и уменьшить заработную плату, подмастерье—наоборот.

Но вы захотите, быть может, из «трудящихся классов» изгнать мастеров, имеющих подмастерьев, и мужиков, нанимающих батраков? Вы оставите только ремесленников-одиночек и крестьян, обходящихся без наемного труда?—Прекрасно.

Но мы, ведь, хорошо знаем,—на то мы и социалисты,—что причина всех их злоключений лежит в товарном производстве, т.-е., в последнем счете,—в частной собственности на орудия производства. Является ли их классовым интересом уничтожение этой частной собственности?

Посмотрите на все эти националистические, антисемитские и клерикальные партии,—и вы увидите, с каким трудом ремесленники, крестьяне и вообще мелкая буржуазия отказываются от надежды улучшить свое положение путем сохранения и укрепления своей частной собственности, какой высокой степени развития должны они достигать, чтобы перейти на точку зрения пролетариата [1]). Попробуйте, с точки зрения интересов трудящихся классов, оценить такое явление, как кредит, и вы увидите, как, при всем вашем нежелании, вы не сможете не стать на мелко-буржуазную точку зрения.

С вами мы согласны, что в обществе, расчлененном на классы, приходится оставить всякие надежды на «об'ективное» исследование, что каждый из нас должен прямо заявить: «Вот тот род людей, которым я симпатизирую, в положение которых я мысленно переношусь», но этот «род людей» мы видим—в рабочем классе, в пролетариате.

«Суб'ективные разногласия,—говорит Н. Михайловский,—сообщением знаний не устраняется, потому что и порождаются они не различием в количестве знаний, а различием симпатий и антипатий, различием общественных положений, препятствующих людям представлять себе чужие мысли и чувства в форме собственных» [2]).

---

[1]) Последовательному народнику нужно было только убедиться, что мелкая буржуазия может обратиться к социализму, лишь отказавшись от своей классовой точки зрения, ergo—подвергаясь сильному воздействию пролетарской точки зрения, чтобы он стал социал-демократом. См. ст. Аксельрод «Социализм и мелкая буржуазия», «Вестник Народной Воли», кн. 1 и 2.

[2]) «Сообщение сведений», конечно, не всесильно: ему на помощь должно притти изменение общественных условий; одна возможность беспрепятственного «сообщения сведений» уже представляет очень крупный шаг на пути к такому обществу, в котором исчезнут «суб'ективные разногласия», порождаемые различием общественных положений. А, между тем, одним из главных препятствий к достижению этой возможности служит пассивность того же «народа».

Это «общественное положение» пролетариата порождает в нем симпатии и антипатии, тождественные с «нашими», «его чувства и мысли» становятся «нашими»: В то время, как «голос» деревни, народа (трудящихся классов), теряет свою первобытную гармонию, заменяясь отчаянною разноголосицей, в которой все отчетливее слышится хрюканье «торжествующей свиньи»,—«голос» пролетариата становится все гармоничнее и все больше сливается в унисон с голосом «интеллигенции».

И чем решительнее мы будем в своей деятельности руководиться интересами т о л ь к о этого класса, тем скорее будут созданы условия, при которых можно будет устранить «суб'ективные разногласия» и среди «трудящихся классов».

У нас теперь чрезвычайно расплодились люди, которые любят о «честности высокой» говорить, то-бишь—о нравственности. От них мы узнаем, что Маркс и Энгельс сказали новое слово только в области социально-экономической, что,—«по своему философскому и идеалистическому духу, Лассаль стоит выше Маркса: именно ему (?) принадлежит идеалистическое истолкование «идеи четвертого сословия», именно ему (?) с необыкновенной силой показал общечеловеческий характер идеи и вложил в нее ценное моральное содержание» [1]).

Опровергать эту хронологическую и логическую нелепость не стоит. Мы спросим только людей, так много говорящих об отсутствии м о р а л ь н о г о содержания в системе Маркса: если борьба за осуществление своего идеала, если стремленье связать в одно неразрывное целое «теорию» с «практикой», «идеалы» с «действительностью», с риском «положить душу свою за други свои», не нравственны,—то что же для них нравственно, что в состоянии удовлетворить и х нравственное чувство? Не нравственность ли буржуазии, высшим идеалом которой является возможность давать правой рукой так, чтобы того не видала левая,—нравственность, не видящая ничего безнравственного в самом факте существования людей дающих и получающих,—людей, имеющих возможность давать только потому, что у других все отнимается?

Но идеалом пролетариата и «материалистов» является «сытость», «материальное обеспечение»! On veut, que les malheureux soient parfaits! И до таких архибуржуазных пошлостей договорились те самые люди, которые, на другой странице, признают «материалистическое понимание истории». Бросьте мир сытых, а потому не думающих о сытости, людей. Идите в мир обез-

---

[1]) Н. Б е р д я е в. «Борьба за идеализм». «Мир Божий», июль 1901 г.

доленных тружеников, и вы увидите, какая высокая нравственность развивается в подвалах и углах, в которые проникла проповедь нового идеала! Эта нравственность в корне отрицает все старые системы морали. Даже лучшие из них не видели ничего безнравственного в разделении общества на классы и только старались смягчить его последствия. А пролетариат из условий своего существования создает новую мораль, исключающую возможность смотреть на человека, как на средство.

Рабочий класс не может не протестовать против унаследованной, традиционной морали. Только он в борьбе за свое освобождение создаст условия, при которых человек перестанет быть средством. И что может быть нравственнее деятельности, направленной на уничтожение самой основы всего безнравственного,— господства одного человека над другим?

VI.

Но мы уклонились в сторону. Не эти вопросы послужили пунктом разногласий между нами и «семидесятниками». Речи о том, что социализм ставит себе идеалом «сытость», были и им знакомы. Так же, как и мы, знали они, что речи эти—«медь звенящая и кимвал бряцающий».

И они,—«die Brust voll Wehmut das Haupt voll Zweifel»,— хотели узнать «загадку жизни», познать мир, как он есть. Некоторые быстро решили все эти вопросы, усвоив себе миросозерцание немецких материалистов пятидесятых годов. Другие, не удовлетворявшиеся таким решением, обратились к позитивизму, а затем к научной философии[1]). У нас и после ею увлекались, но увлечение ею в семидесятых годах имело совершенно другие социально-психологические корни: решив, что человеку, по самым свойствам его организации, недоступно об'яснение «загадки жизни», признав, что в этом мире он может удовлетвориться истиной для человека, семидесятник, — плохо ли, хорошо ли, — выяснив себе вопросы окружающей его действительности, бросался в революционную деятельность. Знаний накоплено достаточно, пора их передать народным массам. Когда на первый план выступила политическая борьба, особенными симпатиями начал пользоваться Дюринг, но и в нем «гносеологическая» сторона его философии мало интересовала революционера-семидесятника: больше всего

---

[1]) В этом отношении большой интерес представляет полемика о «пользе философии между П. Никитиным (Ткачевым), с одной стороны, и В. В. Лесевичем—с другой.

ценили «действенный» характер его этики и выдвигание на первый план «политического фактора».

Что же говорит нам старая правда?

«Умственный процесс совершается в пределах отдельного человека», «личности» или, иными словами, «все умственные, все психологические процессы совершаются в личности, и только в ней; только она ощущает, мыслит, страдает и наслаждается» [1]).

Это положение, в общем, верно, но требует значительных дополнений.

Действительно, «мыслит» отдельный человек. Но мысли, которыми он оперирует, являются ли они е г о мыслями?

Нет. Они общественный продукт, ибо и личность наша, отдельный человек, принадлежит определенной форме общества. Но сама эта общественная форма не есть нечто неизменное. Она является продуктом истории. Правда, эту историю делает сам человек — своим умом, своей волей, но делает он ее в готовых условиях, сложившихся задолго до его появления на свет божий; делает своим умом, но «умом», все составные элементы которого суть видоизмененное отражение окружающих его условий в е г о мозгу, полученном им в готовом виде от целого ряда предков; делает с в о е й волей,—но волей, каждое движение которой мотивируется, вызывается окружающим его миром, посредственно или непосредственно. Изменяя «готовые» условия, он изменяется и сам: его нервная организация усложняется, «ум» его обогащается, «воля» становится содержательнее и разнороднее, «горизонт» расширяется и т. д., и т. д.

Одним словом, вместе со всеми его способностями, развивается и его познавательная способность. Это—способность по самому существу своему и с т о р и ч е с к а я. Ставить, поэтому, ей пределы—значило бы поставить пределы историческому развитию вообще. Конечно, выскочить из условий своего существования никто не может. В своей познавательной способности мы ограничены теми средствами, которые нам предоставляет в наше распоряжение данная форма общественной организации. Это обстоятельство полагает известные пределы нашей познавательной способности, но эти пределы раздвигаются вместе с развитием обществен-

---

[1]) Повторяя это положение, г. Михайловский не знал, что он, как и Энгельс, ставит тезисы, понятные только, как отрицание тезисов Гегеля. Слова «только» протестуют против гегелевского гипостазирования одной из функций человеческой личности—мысли—в форме абсолютной идеи. Не трудно было бы доказать, что Гегель, отрицательно или положительно, имел большое влияние на мировоззрение г. Михайловского.

ных отношений. То, что было недоступно человеческому уму вчера, становится ему доступным завтра. Ограниченность человеческой мысли каждой отдельной эпохи возмещается безграничностью исторического развития. Вот почему, мы отвергаем всякую попытку проводить границу между познаваемым и непознаваемым, делить мир на мир нумеров,—сущностей,—и мир феноменов, явлений: для нас существует только граница между уже познанной и еще непознанной действительностью.

Ответ на наши вопросы может дать только развитие этой действительности, иными словами,—практическая человеческая деятельность. Ведь, единственным критерием истинности нашего мышления является его адэкватность данной действительности, данным отношениям вещей между собою. — Вот почему, «вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности, — вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истинность своего мышления, т. е. доказать, что оно имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явлений. Спор же о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос» (Маркс).

Только получив крещение опытом и практикой, ваша гипотеза, т. е. мысль, не доказавшая еще своей адэкватности действительным отношениям вещей, может превратиться в научную теорию [1]). Чем разнообразнее становится человеческая практика,—тем больше она, под влиянием развития механической и химической промышленности, исследует и воссоздает процесс образования различных веществ, тем больше выявляется генезис всего существующего, тем дальше отодвигаются пределы таинственного. Таким образом, «все таинственное, все то, что ведет теорию к ми-

---

[1]) Теория всемирного тяготения Ньютона и открытие Жаном Леверрье Нептуна, электромагнитная теория света Максвеля и опыты Герца, теория происхождения видов Дарвина и позднейшие наблюдения над изменением видов под влиянием различных факторов, периодическая система элементов Менделеева (Лотара Мейера) и открытия Лекок де-Буабодрана и Нильсона. Конечно, теории эти, в свою очередь, могли возникнуть только после того, как человечество накопило известный опыт. И тут решающее значение принадлежит «индустрии», практике, технике. Не надо забывать, что «все продукты мысли могут вырабатываться лишь при определенных успехах техники и при определенных продуктах творчества общественных форм». П. Лавров. «Опыт истории мысли нового времени», стр. 68.

стицизму, находит рациональное решение в человеческой практике и в понимании этой практики».

Самым крупным шагом в этом направлении явится в ы я с н е н и е общественных отношений; с них должен быть сорван покров таинственного, они должны превратиться в сознательный продукт людей, проникших в тайну своих общественных отношений. Если и теперь цивилизованное человечество, несмотря на раздирающую его борьбу классов, несмотря на относительно ничтожное число людей, принимающих сознательное участие в исторической жизни, вырвало столько тайн у природы,—то во сколько раз увеличатся его познавательные силы, если природе будет противостоять об'единенное в одну великую семью человечество, направившее все свои силы на борьбу с ней? Пока человечество не развернуло всех своих способностей, с нашей стороны было бы пошлым филистерством подписывать человечеству testimonium paupertatis и сказать:—Ignorabimus!

Но вы хотите не только доказать свою истину, вы хотите ее сделать достоянием всех людей, вы хотите «воплотить истину в общественные формы»? И тут теория должна итти рука об руку с практикой. Хорошо зная, что люди представляют собою продукт обстоятельств, мы с вами, конечно, не забудем, что обстоятельства изменяются л ю д ь м и, — а это часто делает вульгарный материализм: история с а м а делается, — и опять обратимся все к той же практике: и з м е н е н и е м и р а к о н к р е т н ы х я в л е н и й, п у т е м н а ш е й к о н к р е т н о й п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и, д а с т ж и в и т е л ь н ы й т о л ч о к т е о р е т и ч е с к о м у у с в о е н и ю н а ш и х и с т и н. Не будучи дополнена практикой, теория остается в области «чистого созерцания».

— «Философы лишь о б ' я с н и л и мир так или иначе: но дело заключается в том, чтобы и з м е н и т ь его (Маркс).

Вы направляете свое оружие критики против данных общественных отношений, вы вскрыли ножом своего анализа таящиеся в них противоречия?—Но этого еще недостаточно: «оружие критики не может заменить критики оружия», вы должны, поэтому, революционизировать эти общественные условия путем устранения их противоречий. Будучи революционерами в области теории, вы не можете не быть революционерами в области практики. Только революционная деятельность не знает обособления правды теоретического неба от правды практической земли, только она является настоящей практически-критической деятельностью. Социологическая теория дополняется соответствующей социологической практикой.

— Но ваша теория,—скажут нам наши противники,—сосредоточивается только на одной стороне этой общественной жизни, она игнорирует все остальные ее стороны.

Старая басня! Общественная жизнь в высшей степени сложна, она, как вы выражаетесь, имеет чрезвычайно много «сторон». Но исключает ли это для нас возможность найти в ней такой центральный пункт, откуда можно было бы,—«извнутри»,—«осветить» все стороны этой многосложной жизни? Мы, со своей стороны, думаем, что этим центральным пунктом является социально-экономическая структура общества. Но мы хотим не только «понять» этот общественный строй, мы хотим изменить его. И в пролетариате мы нашли силу, которая в состоянии сделать это. Пролетариат и есть тот рычаг, с помощью которого «философия» перевернет весь мир общественных отношений!

«Гипотеза» молодого Маркса все больше подтверждается «практикой». Она дала ему небывалую еще силу предвидения, она служила ему руководящей нитью в его теоретических исследованиях, она же помогла ему уверенно разбираться в сложных явлениях настоящего, она же создала для него возможность связать в одно нераздельное целое правду теоретического неба и правду практической земли. Правда-истина и правда-справедливость, так долго жившие в разладе между собою, в его теории слились в одну великую, двуединую, правду.

VII.

Новая «точка зрения» была найдена. Она вполне удовлетворяла поставленному нами условию: она не жертвовала правдой теоретического неба в угоду правде практической земли и наоборот.

Но, как бы ни хороша была новая идея, для ее более или менее массового усвоения требуются соответствующие условия Правда, западно-европейский опыт все больше доказывал правильность точки зрения Маркса. Восьмидесятые годы для Западной Европы были годами неудержимого развития социал-демократии. Контраст между ними и семидесятыми годами бросался всем в глаза. Особенно ярко выражено это было на парижском международном конгрессе 1889 г. Он как бы произвел смотр всем силам социализма и подвел итог 11-тилетней деятельности со времени 1878 г., когда социал-демократия могла считаться серьезной силой только в Германии, да и там находилась, как тогда казалось, на краю гибели. Результаты оказались блестящими. Соци-

ализм пустил прочные корни во всех странах. Всюду имелись более или менее значительные партии. Только наша страна должна была устами одного представителя (П. Лаврова) констатировать, после очерка истории несколько столь славного революционного движения, полный застой — и устами другого (Г. В. Плеханова) выразить надежду, что русский рабочий класс даст опять возможность России войти в ряды международной социалистической армии.

Эта надежда оправдалась. Парижский конгресс дал, кроме того, в руки пролетариата всех стран, особенно—«отсталых стран», могучее средство для распространения идей социализма среди индифферентных рабочих масс — маевку. 20 февр. 1890 г. германская социал-демократия получила на выборах около 1.427.000 голосов. Против проникнутого классовым самосознанием пролетариата оказались бессильными всякие исключительные законы. Бисмарк, человек железа и крови, вершитель судеб Европы, олицетворение грубой силы и деспотизма, должен был уйти.

А 1-го мая того же года вся З. Европа представляла странное зрелище. Казалось, что у ее ворот стоит страшный враг, готовый все разрушить. Вся полиция на ногах. К городам стянуты войска. Мрачная тишина, как перед грозой. А, между тем, день был весенний и мирный. Западной Европе не угрожало никакого нашествия. Что же случилось?—Послушный постановлению своих представителей, пролетариат устроил самую мирную манифестацию. Что же приводило в такой ужас буржуазию?

«Если бы рабы сосчитали свое число, мы погибли бы». Но то, что римским оптиматам мерещилось только в минуты пресыщения жизнью,—буржуазии теперь представлялось ужасающей наглядностью. Рабы капитала в первый раз сосчитали свое число и почувствовали, что они—сила, перед которой оковы капитализма так же мало могут устоять, как цепи, которыми холод сковывал живительные силы природы перед горячими лучами майского солнца. Чтобы стать этой силой, массам нужно было только сознание своих действительных интересов. И работа по просвещению рабочих масс закипела, как никогда прежде.

Началась она и в России. Выборы 20 февраля 1890 г. и первая маевка имели на Россию влияние, которое может поспорить с влиянием Интернационала и Коммуны. Социал-демократия являлась уже бесспорной, всеми признанной, силой. Научный социализм или марксизм скоро должен был стать модным.

А, тем временем, в России все быстрее, все сильнее, развивались условия, благоприятствовавшие усвоению этого учения. Практика приходила на помощь теории. Русское революционное

движение в течение восьмидесятых годов умирало и к концу их, казалось, совершенно замерло. Старая «Народная Воля» умерла. Правда, она «умерла», как «умер» в свое время в Англии чартизм. Она заставила правительство провести целый ряд «реформ» и толкнула его на путь политики, девизом которой служит: «Enrichissez-vous» («Обогащайтесь!»). Партия, которая хотела избавить Россию от шуйцы капитализма, от буржуазных порядков, ускорила, таким образом, процесс превращения нашего государства в западно-европейское, буржуазное. Россия все больше европеизировалась. Но этим самым «Народная Воля» ускорила его грядущую гибель. Способствуя всеми силами развитию капитализма, государство создавало тем самым и увеличивало класс, который явится его могильщиком, как и могильщиком капитализма. Городское, торгово-промышленное население возрастало в гигантских размерах, а вместе с ним рос и класс городских рабочих. Стихийное массовое движение росло и ширилось.

Примыкая к старым народовольческим кружкам рабочих, возобновляя прежние, на время прерванные сношения, первые адепты социал-демократии понесли проповедь идей научного социализма в рабочую среду. Много предрассудков и предубеждений приходилось преодолевать на каждом шагу. Работа была невидная, незаметная, не дававшая, казалось, никаких осязательных результатов. Но это только казалось. Те самые эпигоны, которые— так несправедливо — относились с «трансцендентальным презрением» к так называемой «кружковщине», после, при более благоприятных условиях, нашли в рабочих, распропагандированных первыми пионерами социал-демократии, деятельных сотрудников. А улучшение условий наступило очень скоро.

Голод 1891—92 гг. нанес окончательный удар народническим предрассудкам, ожившим в период реакции 80-х годов. Пассивность крестьянства слишком сильно бросалась в глаза. А удар, нанесенный этим голодом, был непоправим. Дифференциация пошла еще сильнее. Остатки народовольцев, особенно в России, все больше проникались новым учением. Ряды его последователей начали быстро увеличиваться. Работа в среде рабочего класса пошла быстрее и интенсивнее. И скоро она принесла свои плоды.

Петербургские стачки 1896—97 гг. показали, что рабочий класс в России представляет единственную силу, которая может импонировать самодержавию и вынуждать его на уступки. А февральские и мартовские события 1901 г., значение которых нельзя достаточно высоко оценить, убеждали всяких маловеров, что рабочему классу дороги не только интересы «ножа и вилки», но и ин-

тересы свободы науки, интересы просвещения и знания. Русский рабочий класс оказался единственным классом, который, в союзе с «нами», вынесет на своих могучих плечах дело очищения России от всякой скверны.

Десятки лет «мы», «вверху стоящие, что город на горе», старались провести свои идеалы в жизнь. Но жизнь ответила нам жестокими преследованиями, а «трудящиеся и обремененные» упорно не хотели откликнуться на наш призыв. Настало, наконец, время, когда «протянутая молодежью рука» встретила теплое рукопожатие мускулистой руки миллионов рабочего люда,—когда «мы» почувствовали за собою «тяжелую поступь могучих рабочих батальонов»,—а «мы», во имя старых воспоминаний, старых предрассудков, все еще держимся за обрывки старой правды или стараемся напялить на нее новый костюм. Как будто все, что дорого нам в старой правде, не вошло целиком в новую, как будто новая правда не есть органическое развитие старой!

Старая правда умерла! Да здравствует новая правда!

А. Михайловский?

«Барон фон-Гринвальдус,
Известный в Германьи,
В забрале и латах,
На камне пред замком,
Пред замком Амальи,
Сидит, принахмурясь...
. .
«Года за годами
Бароны воюют,
Бароны пируют,—
Барон фон-Гринвальдус
Все в той же позицьи
На камне сидит...»

При чтении статей последнего периода деятельности Михайловского, мне часто вспоминались эти стихи, приведенные им когда-то для характеристики литературной деятельности г. Пыпина. И мы можем теперь сказать ему: «Нет, 15—20 лет прошли недаром, они выяснили немало ошибок и увлечений, потребовали дальнейшего развития, новых приложений, — все той же, однако, я думаю,—основной мысли, которая одушевляла литературу в период возрождения... Было бы смешно засиживаться даже на наиболее жизненных сторонах старой литературы, оставляя их без дальнейшего развития и раз'яснения».

Дальше пункта, которого г. Михайловский достиг в начале 80-х годов, он уже не пошел. Ему тогда удалось ярко и сильно отразить в литературе стремления тех, которые признавали, что «нужен прежде всего свет, а свет есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий». Это было для него «настоятельнейшим требованием нашей жизни; требованием столь настоятельным, что без его удовлетворения все добрые намерения даже самих народников должны расплыться в мире прекрасных слов и мечтаний». Он уже признавал, что «возможность непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию своего развития, стадию буржуазного государства..., убывает, можно сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее беспощадно, сообразно чему наша программа усложняется, оставаясь при той же конечной цели, но вырабатывая новые средства».

Михайловский никогда не был безусловным защитником нашей общины, а теперь ему «становится даже неловко за В. В.», когда этот «вполне добросовестный, но узкий и односторонний работник», свои благожелательные фантазии подставляет на место суровой и неприглядной действительности». Он знает, что «деревня раскалывается на два слоя, выделяя богатых кулаков, держащих под своей грубой пятой остальное население деревни; что это последнее утрачивает «самостоятельное положение в производстве». Но он не в состоянии понять всего исторического значения населения, лишенного «самостоятельного положения в производстве».

И в душу старого борца вкрадывается скептицизм. Он перестает верить в будущее, в «лучший, высший порядок». Его раздражает эта уверенность в других, и он раздражается по адресу уверенных следующей тирадой: «Относительно будущего, Марксу (может быть, вместе с Энгельсом) принадлежит предвидение или пророчание исхода капиталистического строя. Оправдается оно или нет, — покажет нам будущее, но так как ничего подобного история человечества не видала до сих пор, то, во всяком случае, не на данные исторического опыта и исторической науки может это пророчество опираться... До сих пор историческая действительность еще нигде и никогда не давала нам такого завершения капиталистического строя. Это — идеал, который одни считают сбыточным и пракрасным, другие — несбыточным или совсем нехорошим. Это дело веры, которая, по известному, совершенно справедливому определению, есть уверенность в невидимом, как бы в настоя-

щем. Такова общая участь всех идеалов, и я не против них. Конечно, потому, что без них жизнь неполна, пуста и темна».

И до этого, чисто филистерского, взгляда на идеалы дошел тот самый писатель, который когда-то написал такие прекрасные строки об идолах и идеалах. Напомним ему его же слова: «Идолы — предметы поклонения, ужаса, обожания, при чем твердо сознается невозможность сравняться с ними, достигнуть их величия и силы. Идеал, напротив, есть нечто для человека практически обязательное: человек желает и чувствует возможность достигнуть того или другого состояния... Возможность достижения известной комбинации вещей собственными человеческими средствами составляет их необходимое условие. Известный идеал, может быть, сознанию человека недостижим ни сегодня, ни завтра, может быть, целый ряд поколений должен уложить к нему путь своими костями,—но, во всяком случае, он близок, родственен человеку: человек признает для себя обязательным и возможным итти, приближаться к нему». Таким образом, «лучший, высший порядок»—из идеала близкого, родственного человеку,—остался, правда, «чем-то прекрасным, но недостижимым, чужим, на что можно только любоваться». «Конечно, вещь хорошая, и я не против них, — без них жизнь неполна и темна».

А дальше вывод нетрудно сделать, и он был сделан. «Улита едет, когда-то будет». Вместо того, чтобы стремиться к недостижимому, к «дальнему», не лучше ли присмотреться к «ближнему»? На свете так много страданий и горя! Забудем ли мы все это для какого-то далекого будущего, которое, может быть, никогда не настанет? И оставшийся «без дороги» писатель, усомнившийся и в цели, куда во время оно вели два пути, советует теперь Наташе, как Соломин Марианне, заняться «любовью к ближнему».

У нас много говорили за последнее время о «наследстве» и о том, кто отказывается от него. Мы думаем, что, если бы этот вопрос был подвергнут более тщательному пересмотру, оказалось бы, что от него отказываются, а то и промотали его,—очень часто сами обвинители. Тогда нетрудно было бы также понять, почему в речах «отказавшихся» так часто слышится «насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом».

Іюль—август 1901 г.

КАРЛ МАРКС и РКП

ПО ПОВОДУ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ ПАРТИИ

I.

Когда в марте 1870 г. Маркс получил от группы русских революционеров в Женеве предложение быть их представителем в генеральном совете Первого Интернационала, он писал Энгельсу: «Курьезное положение. Именно я должен функционировать в качестве представителя молодой России. Человек никогда не знает, что сбудется еще в жизни с ним и в какую странную компанию он иногда может попасть». А в одном из следующих писем он уже шутливо подписывается: «К. Маркс. Секретарь для России».

И, действительно, трудно было бы представить себе больший курьез. Россия, только что освободившаяся от пут крепостного права страна, в которой тогда и в микроскоп нельзя было открыть никаких следов организованного рабочего движения, была с тех пор представлена в Интернационале, так же, как и Германия, страна развитого рабочего движения, успевшего уже выдвинуть таких пролетариев, как Вейтлинг и Бебель, одним и тем же секретарем—творцом научного социализма, организатором международного рабочего движения—Карлом Марксом.

Восприемником революционной России в Интернационале,—а она до того времени не имела в генеральном совете никакого представительства,—должен был стать заклятый враг оффициальной России, считавший еще в 1872 г. одной из ближайших задач европейской революции войну, не на жизнь, а на смерть, со старым жандармом Европы, душителем Венгрии и Польши.

Через два года в России вышел раньше, чем в какой-либо другой стране, перевод первого тома «Капитала». А через тринадцать лет в той же самой Женеве маленькая группа русских революционеров, во главе с Плехановым, развернула знамя революционного марксизма. Прошло еще двадцать лет, и русский пролетариат стал авангардом международного рабочего движения: он поставил в порядок дня вопрос о завоевании политической власти и через полтора десятка лет использовал благоприятную историческую кон'юнктуру, чтобы впервые во всемирной истории орга-

низоваться в господствующий класс, установить диктатуру пролетариата. В лице РКП русское революционное движение, которое в 1870 г. получило, в лице Маркса, своего первого представителя в старом Интернационале, стало теперь, как руководящая партия Коминтерна, основным стержнем нового Коммунистического Интернационала. Вениамин старого Интернационала оказался очень восприимчивым, и если он в своем революционном устремлении иногда и ошибался, то никто из его старших братьев не усвоил себе в такой степени революционной сущности учения Маркса, как русский пролетариат и его авангард—РКП.

И в этом лежит одна из главных причин поразительно быстрого развития российского рабочего движения. Марксизм воспринимался не как «чистая» теория, не как теоретическая деятельность. Теоретическое понимание общественной жизни было только средством для революционного изменения ее с тем, чтобы с новой практике находить новые источники для теоретического постижения этой действительности.

Основными вопросами, которые занимали Маркса, на которых он сосредоточил свой теоретический анализ, были именно эти практические проблемы революционной деятельности. Каким образом пролетариат, который один только может покончить с эксплоатацией человека человеком, сумеет организоваться в качестве господствующего класса? Каким образом удастся ему освободить от духовного и материального гнета крупного землевладения и крупной буржуазии те классы, которые еще не расстались с иллюзиями частных собственников,—в первую очередь, крестьянство,—и прикрепить их к своей победной колеснице? Эти два основных вопроса революционной стратегии были впервые поставлены Марксом еще до революции 1848 г. и на основании ее опыта вновь перерешены. И эти же вопросы являлись главными темами наших бесконечных дискуссий, а в ответах на эти вопросы заключается вся практически критическая работа РКП, на опыте которой теперь учится всемирный пролетариат.

II.

Каутский прав в одном пункте. «Словечко» диктатура не встречается у Маркса в его ранних произведениях. Его нет даже в «Коммунистическом Манифесте». Но все содержание, которое мы вкладываем в слова: «диктатура пролетариата», заключается уже во всех его работах, написанных им от 1846 до 1848 г. Целью Союза Коммунистов об'является г о с п о д с т в о п р о л е т а-

риата. В «Коммунистическом Манифесте» мы имеем все элементы уже завоеванной «диктатуры пролетариата», сохраняющейся в течение всего переходного периода до полного осуществления коммунизма. Завоевание политической власти пролетариатом, возвышение пролетариата на степень господствующего класса, подчеркивание классового характера всякого государства, в том числе и пролетарского, определение государства, как организованного в качестве господствующего класса, вчера класса буржуазии, сегодня класса пролетариев, который пользуется своим политическим господством, чтобы изменить коренным образом все условия производства, все эти определения имеются уже в «Коммунистическом Манифесте».

Нужен был опыт революции 1848 г., опыт июньских дней во Франции, опыт ноябрьских дней в Германии, нужен был, одним словом опыт диктатуры буржуазии и юнкерства, которая находила свою опору не только в мещанстве и крестьянстве, но и в соглашательстве мелких демократических партий, но и в доктринерстве различных социалистов, чтобы Маркс пустил в ход это новое «словечко», которое резко подчеркивало непримиримость революционного коммунизма, необходимость противопоставить в классовой-борьбе диктатуру пролетариата диктатуре буржуазии. Всякая приостановка революции означала соглашение, примирение с буржуазией. Отсюда лозунг «непрерывной» революции, Revolution in Permanenz, который Маркс в «Новой Рейнской Газете» противопоставлял всем соглашателям. Чтобы обеспечить непрерывность революции, ее превращение в социальную, необходима была диктатура наиболее реовлюционного класса — пролетариата.

Эту основную идею Маркс впервые формулировал таким образом в тех статьях, из которых Энгельс составил сборник под названием «Классовая борьба во Франции» и который он снабдил «смягчающим» предисловием.

«Эта утопия, этот доктринерский социализм подчиняет все историческое движение одному из его факторов, заменяет весь общественный процесс, творящий историю, измышлениями отдельного педанта, а главное—устраняет, в своей фантазии, революционную борьбу классов со всеми ее необходимыми проявлениями посредством мелких консштюков или крупных сентиментальничаний». С некоторыми изменениями, эта характеристика целиком относится к современной социал-демократии. «Пролетариат, наоборот, все больше группируется вокруг революционного социализма, коммунизма, который

сама буржуазия окрестила именем Бланки. Этот социализм есть не что иное, как перманентная революция, классовая диктатура пролетариата, как необходимая переходная ступень к отмене всяких классовых различий, отмене всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к отмене всех общественных отношений, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту всех идей, вытекающих из этих общественных отношений».

Характерно, что свою главную «заслугу» Маркс видел не в открытии борьбы классов,—он только связал ее, как и самое существование классов, с определенными историческими условиями развития производства,—а в установлении того факта, что борьба классов необходимо приводит к диктатуре пролетариата, что эта диктатура сотавляет только переход к уничтожению всех классов и к бесклассовому обществу. Но эта формулировка относится уже 1852 г., и только подтверждает, что «словечко» диктатура появляется у Маркса после 1848 г. Но, что он и дальше продолжал видеть в «диктатуре пролетариата» не просто «словечко» или фразу, а краеугольный камень своей революционной теории, лучше всего показывает его «критика готской программы», писанная в 1875 г. «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного переустройства одного в другое. Этому соответствует и в политике переходный период, во время которого не может быть иного государства, кроме революционной диктатуры пролетариата».

III.

В связи с этим вопросом, Маркс, на основании опыта февральской революции, пересматривает и вопрос о сохранении старой государственной машины. Анализируя причины, которые помогли Луи Бонапарту захватить политическую власть, он, между прочим, выдвигает два фактора. Наполеон мог использовать правительственную машину, которую февральская революция оставила неприкосновенной, ибо, начиная с великой французской революции, все перевороты не ломали, а совершенствовали правительственную машину. Во-вторых, ему удалось привлечь на свою сторону крестьянство, которое было озлоблено налоговой политикой февральской революции.

Можно ли сломать эту правительственную машину, не лишая себя того преимущества, которое дает централизованный государственный аппарат? В крестьянской стране, каковой тогда

являлась Франция, разрушение этого аппарата могло бы повлечь за собою крушение всех связей, при помощи которых центральное правительство утилизировало для своих хозяйственных и военных целей раз'единенное крестьянство, которое представляет в современном обществе класс, но само для себя не есть еще класс, которое поэтому неспособно защищать свои классовые интересы от своего собственного имени. Крестьяне «не могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен вместе с тем явиться их господином, стоящим над ними авторитетом, неограниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и ниспосылающей им дождь и ведро».

И Маркс, который тогда еще стоял на точке зрения строгой централизации, делает следующий вывод:

«Разрушение государственной машины не подвергает никакой опасности централизацию. Бюрократия есть только низкая и грубая централизация, которая еще обременена своей противоположностью, феодализмом. Отчаявшись в наполеоновской реставрации, французский крестьянин расстанется и с верой в свой земельный участок, рухнет и все построенное на крестьянском землевладении государственное здание, и пролетарская революция получит хор, без которого ее соло во всех крестьянских странах превращается в лебединую песнь».

Это прекрасное место, из которого отчетливо видно, что Маркс решал основной вопрос о сохранении или разрушении правительственной машины в связи с вопросом о средствах удержать «гегемонию» над крестьянством за пролетарской революцией, во втором издании «18 брюмера» выпущено. Из него вообще удалены многие детали, носящие, так сказать, чисто местный, французский характер, как устранено и все, что имело черезчур злободневный характер, понятный только современникам. Так и цитированное нами место заменено более общим положением: «Государственная централизация, в какой нуждается современное общество, может подняться лишь на развалинах военно-бюрократического механизма, выкованного в борьбе с феодализмом».

Коммуна дала повод Марксу сделать дальнейший шаг. Она заставила его изменить свои взгляды на роль великой французской революции в процессе создания политической централизации. Практика Парижской Коммуны напомнила практику старой революционной коммуны после 10 августа 1792 г. с ее секциями и секционными советами, весьма похожими на наши городские и районные советы. Оказалось, что диктатура Парижа над Францией

в 1792—1793 г.г. основывалась не на строго проведенной якобинской, политической централизации, а на самоуправлении революционных общин. Власть в центре опиралась на власть на местах. При таких условиях основательное разрушение старой бюрократической машины, на которую насела еще густая крепостническая ржавчина, являлось предварительным условием пролетарской диктатуры.

Коммуна в силу неблагоприятных условий была отрезана от остальной Франции. Ей не удалось прорвать блокаду, организованную Тьером и Бисмарком. Она осталась и без помощи извне. Поэтому ее героическая песнь не нашла себе отклика и превратилась в лебединую песнь парижского пролетариата.

Но без опыта Коммуны невозможен был бы опыт Октябрьской революции. Революционная практика Коммуны дала новый толчок революционной теории. И первые выводы успел сделать еще сам Маркс. Новая практика выдвигает новые проблемы, жизнь повелительно требует их решения. Теория революционного коммунизма дает нам надежную руководящую нить. Критический пересмотр основ революционной стратегии, выработанных Марксом, даст возможность РКП найти выход и из новых затруднений. Вооруженный самой революционной теорией, которую только создала революционная практика, российский пролетариат, под руководством РКП, сумеет справиться и с новыми трудностями. Старая правительственная машина — это чудовищное соединение крепостнических и буржуазных элементов — разбита вдребезги. Бесчисленное крестьянство лишилось своих старых руководителей и организаторов, употреблявших его, как таран, против всякого прогрессивного и революционного движения. Необходимо создать новую правительственную машину, которая позволила бы организованному в господствующий класс пролетариату закрепить те связи, которые установились между ним и крестьянством в процессе совместной борьбы против белогвардейщины. И в пролетариате, им самим из своей среды выделяемом, крестьянство находит своего лучшего представителя, своего непоколебимого защитника против всех сил старого режима.

Претворяя еще интенсивнее теорию революционного коммунизма Маркса в свою практику, авангард русского и международного пролетариата, РКП позаботится о том, чтобы торжествующая песнь Октябрьской революции нашла себе могучий отголосок в победном хоре революционного крестьянства.

IV

ВЗГЛЯДЫ МАРКСА и ЭНГЕЛЬСА НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ

1.

АНГЛО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОЦЕНКЕ К. МАРКСА

2.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О БАЛКАНСКОМ ВОПРОСЕ

3.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О ПОЛЬСКОМ ВОПРОСЕ

АНГЛО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОЦЕНКЕ К. МАРКСА

Предисловие.

Предлагаемая теперь вниманию русских читателей работа была предпринята автором осенью 1908 г. Революция 1905—1907 гг. показала, что старая программа внешней политики, которую социал-демократия, вслед за Марксом и Энгельсом, унаследовала от радикальной демократии, нуждается в критическом пересмотре. Чтобы решить эту задачу, требовалось, в первую голову, исследовать эволюцию взглядов Маркса и Энгельса на вопросы внешней политики. А как раз в этой области то, что можно назвать «марксоведением», отличалось большими пробелами. Собрание сочинений Маркса и Энгельса, изданное Мерингом, остановилось на революции 1848—49 гг. Попытка Элеоноры Маркс издать некоторые работы отца, относящиеся к пятидесятым годам, оказалась, при ближайшем рассмотрении, весьма недостаточной. Мне пришлось, поэтому, произвести большую предварительную работу и привести сначала в известность все литературное наследство, оставленное Марксом и Энгельсом. В значительной степени облегченная тем, что покойные Лафарги и Бебель предоставили в мое распоряжение весь архив Маркса и Энгельса, эта работа все же потребовала тщательного пересмотра многочисленных журналов и газет и дала в результате совершенно новые материалы.

Всемирная война приостановила опубликование собрания сочинений Маркса и Энгельса за период 1850—52 гг., равно как и издание документальной истории Первого Интернационала. Только отдельные части этой работы были опубликованы в журналах немецкой и австрийской социал-демократии, — в «Neue Zeit» и «Kampf», а также в «Архиве по истории социализма и рабочего движения», выходящем в Вене под редакцией проф. Карла Грюнберга.

Издаваемый теперь на русском языке критический этюд впервые познакомил европейскую социал-демократию со взглядами Карла Маркса,—опубликованная с тех пор переписка его с Энгельсом показала, что и тут многое из появившегося под именем Маркса, написано Энгельсом, — на историческое развитие рус-

ской гегемонии в Европе. И он же явился первым опытом «ревизии» взглядов Маркса и Энгельса на восточный вопрос и вопрос о роли России в области международной политики. Предшествовавшая попытка Розы Люксембург и Карла Каутского, в их полемике с Вильгельмом Либкнехтом по поводу критского и армянского вопросов, указать на невозможность догматического повторения старых взглядов Маркса и Энгельса, несмотря на ряд верных критических замечаний, явилась уже потому недостаточной, что она исходила из совершенно неверного представления о развитии соответствующих взглядов основателей научного социализма.

Русское издание является почти буквальным воспроизведением немецкого, которое появилось отдельным приложением к «Neue Zeit». Восстановлены только, по сохранившемуся у меня манускрипту, некоторые места, которые Каутский считал слишком специальными для немецкого читателя, и несколько критических замечаний по адресу Меринга, занявшего в споре между Марксом и Лассалем по вопросам внешней политики такую же оппортунистическую позицию, какую он занял в споре между Либкнехтом и Бебелем, с одной стороны, и Швейцером, с другой, по вопросам внутренней политики,—замечаний, выпущенных по просьбе Каутского.

Практическая деятельность в настоящее время мешает мне переработать и дополнить некоторые главы. Как раз после появления моего этюда, и даже одновременно с ним, были опубликованы новые данные и работы как в русской, так и в иностранной литературе, которые могли бы еще более ярко иллюстрировать развиваемые мною положения (работы Д. М. Полиевктова, И. Любименко, Чэнса, Виллиам Роберта Скотта и друг.).

Я надеюсь, что мне удастся в следующем издании, хотя бы в отдельных примечаниях, коснуться и тех возражений, которые вызвала моя работа.

Сентябрь 1918 г.

I. Контр-революционная роль Англии и России в 1848—1849 г.г.

Революция 1848 г., как вихрь, пронесшаяся по всей Западной Европе, поднявшая не только Вену, но и Берлин, остановилась у границ России. Минутная тревога, вспыхнувшая в Петербурге, улеглась скоро, как только получены были из третьего отделения рапорты, что «все обстоит благополучно». И, притаившись, точно зверь, выжидающий удобного момента, чтобы броситься на свою добычу,—русский абсолютизм внимательно следил за перипетиями революционной борьбы в Германии, в то же время концентрируя свои войска на западной границе.

— «Царь стоит перед воротами Торна»,—писала «Новая Рейнская Газета» [1]).

Этот факт определял всю внешнюю политику немецкой демократии и его крайнего левого крыла, группировавшегося вокруг «Новой Рейнской Газеты». Ее редакторы открыто заявляли, что «только война с Россией есть война революционной Германии, война, в которой она смоет грязь прошлого, в которой она вернет себе свои силы, в которой она может победить своих собственных самодержцев, в которой она, как-то приличествует народу, стряхнувшему цепи долгого ненужного рабства, пропаганду цивилизации оплатит жертвою своих сынов и освободит себя от своих внутренних врагов, освободив себя от внешних».

---

[1]) Следующая цитата из доклада Нессельроде (20 ноября 1850 г.), в котором он, по поводу 25-тилетия со дня воцарения Николая I, дает обозрение его внешней политики, служит прекрасным комментарием к словам «Новой Рейнской Газеты»: «События 1848 г. придали еще более важное значение той роли охранителя и блюстителя порядка, которая возложена на вас провидением с 1830 г. Достигнуто же это было спокойствием, с которым в. в. дали улечься первым последствиям бури, разразившейся над Европой, не выказывая ни излишней торопливости, ни робости, ни страха, и выжидая для того, чтобы вступить на сцену, лишь момента, который бы вы, в своей мудрости, сочли наиболее подходящим. Оставшись одни на развалинах древних государств континентальной Европы, вы молча собрались с силами, чтобы, в случае надобности, защитить неприкосновенность вашей территории и обратить эту силу на защиту других».—«Сборник Русского Ист. Общества», том 98, стр. 294.

С другой стороны, Николай и Нессельроде, завязавшие уже тогда тайные переговоры с «Картечным Принцем» (будущий Вильгельм I), следовали только традициям русской дипломатии, когда, в циркуляре 6-го июля, горько жаловались на несправедливые подозрения, жертвой которых Россия со времени мартовской революции стала в Германии.

— «Война против России,—писал Нессельроде,—была провозглашена, как одна из наиболее необходимых задач момента».

Русский абсолютизм напоминал об уважении к трактатам 1815 года, целью которых было увековечить разделение Германии, и протестовал самым энергичным образом против об'единения, о котором «мечтала демократия, жаждавшая во что бы то ни стало вовлечь Германию в войну с соседями».

Тяжелая лапа «русского медведя» чувствовалась еще в той энергии, с которой была подавлена попытка восстания в прусской Польше. И русский абсолютизм еще совершенно открыто выступил в вопросе о Шлезвиге, заставив Пруссию вести только «показную войну», чтобы сейчас же закончить ее перемирием. В числе «трех наиболее реакционных держав Европы», ставших на сторону Дании, «Новая Рейнская Газета» упоминает, на ряду с Россией и Пруссией, также и Англию. «Пруссия, Англия и Россия — вот три державы, которые больше всего боятся немецкой революции и ее первого следствия, немецкого об'единения: Пруссия, потому что в этом случае она перестает существовать, Англия — потому что она лишится возможности эксплоатировать немецкий рынок, Россия—потому что демократия таким путем доберется не только до Вислы, но и до Двины и Днепра».

Уже в корреспонденциях «Новой Рейнской Газеты» из Лондона можно проследить этот поворот в отношении к Англии и тогдашнему руководителю ее внешней политики Пальмерстону, который не только членам «священного союза», но и европейским либералам казался чемпионом конституционализма и национального об'единения после итальянских и швейцарских событий 1847 г. Но ожесточенный враг английского рабочего движения и верный слуга английского капитала, охранявший конституционную Бельгию, как оплот против Франции, поддерживавший своим «нравственным» авторитетом и деньгами швейцарских либералов и отстаивавший интересы английской торговли на Аппенинском полуострове против Австрии,—был «шокирован» революцией 48 года в не меньшей степени, чем Николай. Он слишком хорошо понимал, что всякий новый успех революционного движения на континенте укрепляет чартизм в Англии, и употреблял все усилия,

чтобы ввести революцию в определенное русло. Отсюда и его упорное противодействие германскому об'единению, поскольку оно могло совершиться только путем победы народа над короной. Каждое поражение революции во Франции и в Германии означало в то же время и поражение английского чартизма и усиление контрреволюционной роли Англии.

Подводя итоги революционного движения в 1848 г., «Новая Рейнская Газета» пишет в новогодней статье 1 января 1849 г.:

— «А страна, которая превратила целые народы в своих пролетариев, которая своими исполинскими руками охватила весь мир, которая уже раз своими деньгами оплатила издержки европейской реставрации, страна, в которой классовые противоречия отлились в наиболее отчетливые и бесстыдные формы,—эта страна, Англия, высится точно скала, о которую разбиваются все революционные волны. Она хочет задушить новое общество еще в чреве матери. Коренное изменение экономических отношений в какой-либо стране европейского континента, на всем европейском континенте—без Англии—явилось бы бурей в стакане воды. Условия промышленности и торговли каждой нации зависят от ее сношений с другими нациями, определяются отношением к всемирному рынку... Старая Англия будет низвергнута только путем мировой войны, которая одна лишь может создать для партии чартистов, для организованной партии английских рабочих, условия успешного восстания против их всемогущих угнетателей. Чартисты во главе английского правительства — только с этого момента социальная революция переходит из царства утопии в царство действительности. А каждая европейская война, в которую втянута Англия, является всемирной войной: она ведется как в Канаде, так и в Италии, в Ост-Индии и в Пруссии, в Африке и на Дунае. Европейская война — это первое следствие победоносной рабочей революции во Франции. Как в эпоху Наполеона, Англия будет стоять во главе контр-революционных армий, но самым ходом войны вынуждена будет стать во главе революционного движения и искупить, таким образом, свою вину против революции восемнадцатого столетия.—Революционное восстание французского рабочего класса, всемирная война—вот программа 1849 года».

Если еще 2-го июля 1848 г. «Новая Рейнская Газета» беспощадно развертывает длинный список всех грехов, совершенных Германией против свободы различных народов и в защиту абсолютной власти; если она тогда указывала, что, даже в глубине России, немцы служили главной опорой единого и всех маленьких самодержцев, что в Англии реакция поддерживалась при помощи

ганноверских войск,—то 15 февраля она пишет уже несколько мягче:

— «До сих пор всегда утверждали, что немцы были ландскнехтами деспотизма во всей Европе. Мы нисколько не думаем отрицать позорного участия немцев в позорных войнах против французской революции от 1792 до 1825 г.г., в покорении Италии с 1815 и Польши с 1772 г. Но кто стоял за немцами, кто использовал их, как своих наемников или свой авангард? Англия и Россия».

В предисловии к статьям о «Наемном труде и капитале», в котором Маркс об'ясняет, почему «Новая Рейнская Газета» до тех пор не останавливалась подробно на анализе экономических отношений, образующих материальную основу классовой и национальной борьбы,—он указывает, что редакция считала своей главной задачей, прежде всего, следить за проявлениями классовой борьбы в текущей повседневной практике. Затем он перечисляет опять главные этапы революций февральской и мартовской и показывает, как «Европа, победив революционных рабочих, опять впала в свое старое двойное рабство, в англо-русское рабство». И. обещая теперь подробно анализировать экономические условия, Маркс хотел, кроме исследования отношений между наемным трудом и капиталом и доказательства, что средняя буржуазия при современной системе обречена на неизбежную гибель, изобразить еще, как «Англия, этот деспот всемирного рынка, подчиняет и эксплоатирует в торговом отношении буржуазные классы различных европейских наций».

Но ему не удалось выполнить свое обещание.

19 мая появился последний «красный» номер «Новой Рейнской Газеты», в котором Маркс повторяет заключение передовицы новогоднего номера:

— «Революционное восстание французского рабочего класса, всемирная война—вот программа 1849 года. И на Востоке уже противостоит старой коалиционной Европе, представленной в русской армии, новая революционная армия, составленная из борцов всех наций, и из Парижа грозит уже красная республика».

Маркс и Энгельс ошиблись. Венгрия была раздавлена русской армией, а надежды на социальную революцию в Англии, на победу чартизма, оправдались так же мало, как и надежда на то, что французский пролетариат оправится после июньской бойни и даст новый, еще более сильный толчок революционному движению.

Усилившаяся реакция преследовала Маркса по пятам. Поражение мелко-буржуазной демократии 13 июня 1849 г. заставило

его уехать из Парижа в Лондон, где он скоро приступает к изданию «Новой Рейнской Газеты» в форме журнала.

Если Пруссия и Австрия шли на буксире России, то Французская буржуазная республика шла на буксире Англии, где внешней политикой продолжал руководить Пальмерстон.

«Посредническая роль, которую Кавеньяк и национальное собрание играли в Северной Италии, чтобы сообща с Англией предать ее Австрии,—один этот день власти уничтожил восемнадцать лет оппозиции «National». Нет ни одного правительства менее национального, чем правительство партии «National», ни одного—зависимее от Англии... ни одного—более холопского по отношению к священному союзу».

И кто доставлял России те деньги, которые давали ей возможность совершать ее контр-революционную миссию? Англия. В начале 1850 г. Нессельроде писал князю Воронцову следующие восторженные строки:

— «Мы недавно имели опять блестящее доказательство симпатий, которые существуют еще в Англии по адресу России. Свидетельство — прием, оказанный нашему займу, несмотря на Кобдена и К°, как «Morning Chronicle» остроумно называет лидера фритредеров. Представьте себе, что подписка дошла до 16 миллионов ф. ст. Пусть говорят после этого, что в Англии уже не любят больше России» [1]).

Действительно трудно сказать, кто усерднее поддерживал предводителя французских черносотенных банд в деле восстановления «порядка» во Франции—Россия или Англия. В номере от 29 декабря 1851 г. английский «Экономист» писал:

— «На всех европейских биржах президент Французской республики признан теперь охранителем порядка».

А Нессельроде писал, что Россия в своих представлениях президенту всегда подчеркивала его «неоспоримые заслуги, которые он приобрел, укротив революционный дух», одобряла все, что он делал в интересах «порядка», и рекомендовала итти все так же неуклонно по пути [2]).

Переворот 2 декабря 1851 г. означал окончательное торжество контр-революции.

В Австрии была отменена конституция, а в Германии, после кельнского процесса коммунистов и уничтожения последних остат-

---

[1]) Из письма Нессельроде к Воронцову 7/19 февраля 1815 г. См. «Архив князя Воронцова», том XXX, стр. 361.

[2]) Из письма Нессельроде к князю Воронцову от 7/19 марта 1852 г. «Архив князя Воронцова», т. XL, стр. 421.

ков рабочих союзов, господствовала самая мрачная и циничная реакция. После варшавского унижения следовал ольмюцкий позор, и лондонским протоколом 8 июля 1852 г. Шлезвиг-Гольштейн был опять укреплен за Данией.

А кто были главными авторами лондонского протокола?—**Англия и Россия.**

Старо англо-русское рабство опять распространилось на всю Европу. Пруссия лакействовала перед Россией более, чем когда-либо прежде. Как выражался Александр II, горячо любимый племянник еще более горячо любимого дяди, будущего Вильгельма I:

— «Чем более оскорбляют Пруссию, тем более она льнет к нам».

Отношения России и Англии носили самый дружественный характер, настолько дружественный, что Николай I уже собирался вместе с Англией разделить наследство «больного человека», так как в Пруссии и Австрии он был вполне уверен. Первый русский рабовладелец был плохо знаком с психологией рабов.

Для Маркса это победоносное шествие реакции не было неожиданностью. Он, уже осенью 1850 г., пришел к заключению, что о действительной революции не может быть больше речи.

К этому выводу его привели внимательное изучение тогдашних экономических условий и анализ событий 1849 и 1850 г.г. Он показал, каким образом начавшийся еще в течение 1848 г. и усилившийся в 1849 г. расцвет промышленности и торговли парализовал революционный под'ем и сделал возможным победы реакции.

Экономическая зависимость континента от Англии проявилась так же ярко в эпоху процветания, как и в эпоху кризиса. Континент рабски следует за Англией:

— «Точно так же, как кризис разразился на континенте позднее, чем в Англии, так и фазис процветания начался в последней раньше. Первичный процесс совершается всегда в Англии, ибо она является Демиургом буржуазного космоса».

Политическое порабощение континентальной Европы **России** дополнялось **экономическим** порабощением ее **Англией.**

Революция 1848 года разбилась о сопротивление России, этого деспота Европы, в не меньшей степени, чем о сопротивление Англии, этого деспота всемирного рынка.

Если из Лондона исходили все экономические нити, которыми опутывается всемирный рынок, которыми закреплялась зависимость континентальной Европы от лондонской биржи,—то в Петербурге неустанно выковывались те оковы, в которых билась по-

бежденная революция, сплетались все козни и интриги реакции, которыми европейские дворы, от Берлина до Мадрида и Лиссабона, опутывали свои народы [1]).

Такова была политическая атмосфера, когда Маркс опять возобновил свои экономические занятия, прерванные революцией. На первом плане для него стояло изучение «Демиурга буржуазного космоса», стремление разрешить загадку буржуазного общества. «Колоссальный материал для истории политической экономии, накопленный в Британском музее, удобный пункт, каким Лондон является для наблюдений над буржуазным обществом, наконец, новая фаза, в которую вступило развитие этого общества со времени открытия калифорнийского и австралийского золота»,—все это побудило Маркса взяться снова за свое исследование с самого начала и опять критически переработать весь новый материал.

Первым плодом этой работы явилась «Критика политической экономии», в которой Маркс начал выполнять обещание, данное за десять лет перед этим читателям «Новой Рейнской Газеты».

Но Маркс занимался в пятидесятых годах не только исследованием «буржуазного космоса». Не менее усердно изучал он «мистерии международного государственного искусства». Лондон представлял не только самый благоприятный пункт для наблюдения экономических отношений всемирного рынка, но, как и Гаага в XVIII столетии, место, где быстрее, чем где-либо, в биржевых бюллетенях отражались, как в чувствительном барометре, малейшие колебания атмосферы, всякая, хотя бы незначительная, пертурбация в области международных политических отношений.

Только в Англии того времени возможно было такое явление, как образование по всей стране целого ряда Foreign Affairs Committees—обществ, посвящавших себя исключительно изучению вопросов внешней политики, внимательно следивших за деятельностью министерства иностранных дел и подвергавших каждый акт его политики самой придирчивой критике.

---

[1]) «Основной принцип нашей политики, — писал Нессельроде в 1833 г. Ливену в Лондон, — заставляет нас прилагать все старания для сохранения власти повсюду, где она существует, для укрепления ее там, где она ослабевает, и, наконец, для спасения ее там, где она открыто подвергается нападению». Эта депеша предназначалась для прочтения Пальмерстону, который в бельгийском вопросе оказался менее уступчивым, чем в польском. «Великобритания, наш старый друг и союзник, слишком долго разделяла с нами те же взгляды, чтобы не знать их основательным образом».—Мартенс, Ф. «Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами». Том 12, стр. 24—5.

Но не только личные наклонности Маркса побуждали его «исследовать мистерии международного государственного искусства и следить за дипломатическими проделками правительств». Повелительная необходимость в хлебной работе заставила его принять на себя обязанности европейского редактора «New-York Tribune», первой англо-американской газеты того времени. Так как он, по его словам, собственно газетным корреспондированием занимался очень мало, то это влекло за собой чрезвычайное разбрасывание в выборе тем для работ. И среди таких занятий, отвлекавших его от главных экономических исследований, и, повидимому, очень мало связанных с этим предметом, не малое место занимало именно изучение истории международных дипломатических сношений.

Мы видели уже, под влиянием каких впечатлений у Маркса еще до приезда в Лондон, складывалось убеждение, что Англия и Россия являлась фактическими союзниками в борьбе с революцией. Пребывание в Лондоне еще более убеждало его в контр-революционном характере политики Пальмерстона, который прусской камарилье того времени казался агентом революции, а прусским либералам чемпионом конституционализма и таким же защитником национальной идеи, как Наполеон III. Вполне понятно поэтому, что его должны были заинтересовать работы Давида Уркарта, который в продолжение 20 лет неустанно разоблачал интриги русской дипломатии, обвиняя Пальмерстона в угодничестве перед Россией и также усердно расхваливал прелести турецкого владычества на Балканском полуострове. Именно эта ненависть к России и постоянная оппозиция против Пальмерстона послужила поводом к сближению Уркарта не только с революционной эмиграцией (польской и венгерской), но и с Марксом.

Не следует однако думать, что Маркс находился под исключительным влиянием Уркарта. Это было невозможно уже просто в силу того, что оба они исходили из совершенно различных принципов, что задачи их совершенно расходились. Маркс не только не разделял туркофильских тенденций Уркарта, но осмеивал их, как это видно из следующей юмористической характеристики упрямого оригинала, который восторгался турецкой свободой не меньше, чем турецкими банями:

— «Шотландец по происхождению, пропитанный насквозь средневековыми и патриархальными предрассудками своей родины и Греции против турок, попал в страну последних и сделался вскоре их страстным поклонником. Романтически настроенный горец чувствовал себя в горных ущельях Пинда и Балкан, как у себя дома. Все его сочинения о Турции, содержащие, впрочем,

много очень ценных сведений, можно резюмировать в трех парадоксах, которые гласят буквально следующим образом: во-первых, если бы Уркарт не был английским подданным, то он, наверное, сделался бы турком; во-вторых, если бы он не был пресвитерианином, то он не хотел бы исповедовать никакой другой религии, кроме Ислама; и, в-третьих, Англия и Турция—единственные страны в мире, которые наслаждаются благами самоуправления, религиозной и гражданской свободы» [1]).

Вот что рассказывает Маркс в своем известном памфлете «Herr Vogt» о своих отношениях к Уркарту и его партии:

«Сочинения Уркарта о России и против Пальмерстона заинтересовали меня, но не убедили. Чтобы составить себе определенное мнение, я подверг отчеты Ганзарда о парламентских прениях и синие книги от 1807 до 1850 г.г. внимательному анализу. Первым плодом этих занятий явился ряд передовиц в «New-York Tribune» (конец 1853 г.), в которых я доказал связь Пальмерстона с петербургским кабинетом на основании его действий по отношению к полякам, туркам, черкесам и т. д. Вскоре после этого я перепечатал эти статьи в «Peoples Paper», в органе чартистов, выходившем под редакцией Эрнста Джонса, и прибавил к ним новые главы о деятельности Пальмерстона. Тем временем «Glasgow Sentinel» перепечатал одну из этих статей («Пальмерстон и Польша»), которая привлекла внимание Д. Уркарта. После свидания, которое я имел с ним, он предложил г. Теккеру в Лондоне издать часть моих статей в форме памфлетов. Эти пальмерстоновские памфлеты разошлись в количестве от 15 до 20.000 экземпляров».

Памфлеты Маркса, действительно, имели огромный успех и в немалой степени способствовали разрушению легенды, создавшейся вокруг имени Пальмерстона не только в Европе, но и в Англии. Маркс беспощадно вскрыл все противоречия пальмерстоновской политики и показал, что фактически он являлся таким же агентом контр-революции, как и петербургские дипломаты [2]):

---

[1]) Karl Marx, «The Eastern Question». London, 1897, cc. 24—25.

[2]) Karl Marx, «Herr Vogt». London. 1860, cc. 58—59. Статьи о Пальмерстоне собраны в книжке «The story of the life of lord Palmerston», издание которой подготовлено было еще Элеонорой Маркс, но вышло после ее трагической смерти. В форме памфлетов, упоминаемых Марксом, появились: третья глава, под названием «Пальмерстон и Польша», и пятая глава, под названием «что сделал Пальмерстон» («Palmerston what has he done»). Обе брошюры в отдельном издании, особенно вторая, были дополнены. Они появились в изданной Теккером серии «Political Flysheets». Vol. I, №№ 1 и 2.

«Он борется против влияния заграницы на словах и склоняется перед ним на деле. От Каннинга он унаследовал миссию Англии пропагандировать конституционализм на континенте, и у него всегда имеется наготове повод, чтобы разжечь национальные предрассудки, оказать противодействие революции на континенте и вместе с тем возбуждать подозрительную ревность иностранных держав. И в то время, как он этим путем заслужил себе при континентальных дворах репутацию зловредного человека, он у себя дома считается образцом настоящего английского министра... Одна партия обвиняет его карбонарием... В то время, когда поляки, итальянцы, венгры или немцы потерпели поражение, Пальмерстон стоял у власти, но деспоты этих народов всегда подозревали его в том, что он был связан с тайным договором с их жертвами, на подчинение которых он спокойно смотрел. Доныне можно было во всех случаях считать шансом на успех иметь его в числе врагов и предзнаменованием верного поражения—иметь его в числе друзей» [1]).

Маркс мог бы прибавить: за исключением героев порядка. Эти всегда могли рассчитывать на его верную дружбу.

Насколько верно Маркс оценил эту контр-революционную роль Пальмерстона, его фактический союз и сотрудничество с другими деятелями европейской контр-революции, показала и вся дальнейшая политическая деятельность почтенного лорда.

Нужно было обладать всей политической проницательностью немецких либералов пятидесятых годов, чтобы, и после революции 1848 г., продолжать видеть в Пальмерстоне защитника принципов конституционализма quand même и покровителя угнетенных национальностей.

Характерно, что Фогт об'яснял нападки «клики» Маркса на Пальмерстона враждою Маркса против Фогта и его друзей. Даже Лассаль находился под гипнозом этой континентальной легенды и склонен был об'яснять и оправдывать многие акты Пальмерстона,—в том числе и те, которые совершены были под давлением петербургского кабинета или встречали полное одобрение эзотерической русской дипломатии,—его антирусской политикой.

Как правы были Маркс и Энгельс, считая крымскую войну, поскольку она являлась актом оффициальной Англии, только «показной войной», хотя она стоила миллиона человеческих жизней и миллиардов франков,—показывает вся позднейшая литература о севастопольской кампании.

---

[1]) Karl Marx, «The story of the life of lord Palmerston». London. 1899, cc. 8—9.

Со статьями Маркса о Пальмерстоне тесно связаны его многочисленные статьи о восточном вопросе и крымской войне в «New York Tribune» за 1853—56 г.г., собранные и изданные Элеонорой Эвелинг под общим заглавием «The Eastern Question» [1]).

И отделываться от анализа и об'яснения соответствующих взлядов Маркса простой ссылкой на то, что он,—quelle horreur!—в частных письмах называл Пальмерстона купленным русским агентом—это черезчур легкий способ обойти действительный вопрос о том, насколько верна была марксовская оценка политики Пальмерстона. Достаточно указать, что русским агентом считали Пальмерстона и подозревали его честность не только Уркарт, но и многие другие англичане, в том числе и Портер, автор известной работы «Progress of the Nation».

Меринг мог притти к своему выводу, что по существу прав был Лассаль, только потому, что и он сводит спор Лассаля и Маркса, главным образом, к вопросу о том, был ли Пальмерстон русским агентом или нет. Этим об'ясняется и неожиданное заключение Меринга, что политика Пальмерстона защищена против обвинения в сознательной измене всем фактическим ходом событий!

Пальмерстон руководил внешней политикой Англии с маленькими перерывами от 1830 до 1851 г.г. и затем—тоже с небольшими паузами—от 1852 до своей смерти в 1865 г. Вполне естественно, что Марксу все сильнее навязывалась мысль, что за ф а к т и ч е с к и м сотрудничеством Англии и России в борьбе с революцией скрывалось и личное сотрудничество, идейная солидарность между сент-джемским и петербургским кабинетами. Как ни казался со стороны противоестественным такой союз между конституционной Англией и деспотической Россией, целый ряд фактов—не только после 1850 г., но и до этого года — указывал на существование такого скрытого сотрудничества, которое не прекращалось и в те эпохи, когда в Англии господство вигов сменялось господствомториев.

«Котда в марте 1849 г. лорд Дэдлей Стюарт внес в палату общин предложение, осуждавшее русскую оккупацию дунайских княжеств, лорд Пальмерстон энергическим образом защищал действия императорского правительства и доказывал его право за-

---

[1]) На них мы намереваемся остановиться подробнее в другом месте. Тогда же мы более подробно рассмотрим взгляды Маркса на политику Пальмерстона в связи с восточным вопросом и политикой Англии в эпоху крымской войны. (Это сделано мною в «Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. 1852 bis 1862». Stuttgart 1917. Два тома. В это издание вошли как статьи о восточном вопросе, так и о Пальмерстоне).

щищать порядок в княжествах. Однако, наиболее красноречивым защитником русской политики на Востоке оказался Дизраэли, впоследствии лорд Биконсфильд. Когда русский посол Бруннов сообщил Пальмерстону о вступлении русских войск в Венгрию, благородный лорд выслушал это заявление с видимым равнодушием и только промолвил в ответ: «кончайте поскорее», а убежденный торий, герцог Веллингтон рекомендовал следующий план: «постарайтесь действовать массами, силами достаточными для сокрушения смуты одним ударом. Ведите большую войну, большими средствами. Вы их имеете»•[1]).

Только после крымской войны более или менее кристаллизовались антирусские тенденции английских консерваторов. А до шестидесятых годов, находилось ли у кормила правления торийское министерство или вигистское,—английская крупная буржуазия, в союзе с русским абсолютизмом, так же охотно топтала в грязь всякие принципы либерализма, раз дело шло о восстановлении «порядка», как и в наше время, когда «радикальное министерство Асквита и Грея, в союзе с русскими Ляховыми, помогает персидскому шаху бомбардировать меджилис и душить персидских революционеров. И наивные европейские либералы 50-х годов, в своих надеждах на конституционную Англию, оказывались не менее наивными, чем русские кадеты, когда они поддерживают современный англо-русский союз и все еще «отказываются» видеть за Ляховым Гартвига и «не могут верить», что за Гартвигом скрывается Грей.

Но Маркс не ограничился только изучением дипломатических книг от 1807 до 1850 гг. Весьма прочные симпатии вигов к России должны были заставить его сделать экскурсию и в область истории XVIII века, когда вигистская олигархия почти бессменно управляла Англией. И его предположение, что старое англо-русское рабство, в которое Европа опять впала после февральской революции, является результатом союза Англии и России, что неподлежавшее для Маркса никакому сомнению фактическое сотрудничество основано было на определенной связи между английскими и русскими дипломатами, превратилось в прочное убеждение, когда он, «по просмотре находящихся в Британском музее дипломатических бумаг, нашел ряд английских документов, кото-

---

[1]) И русский оффициоз, проф. Мартенс, прибавляет: «Слова герцога Веллингтона обратили на себя серьезное внимание государя, который их подчеркнул в донесении барона Брунпова от 29 апреля (11 мая) 1849 г.»—Мартенс, там же, стр. 253—5.

рые тянутся от эпохи Петра Великого до конца XVIII столетия и свидетельствуют о постоянном тайном сотрудничестве между лондонским и петербургским кабинетами, при чем колыбелью этого сотрудничества является как раз эпоха Петра Великого». Но не только найденная им дипломатическая переписка дала ему совершенно новый материал, тогда, как казалось ему, никем еще неиспользованный; не менее новые данные извлек он также из памфлетной литературы XVIII столетия, в знакомстве с которой он не имел соперников. Со свойственной ему страстностью он приступил к научной обработке этих материалов. К сожалению, из большого труда об указанном предмете, как он сообщает в «Herr Vogt», он успел опубликовать только введение под названием «Revelations of the diplomatic history of the 18-th century». Эта работа появилась сначала в шеффильдской, а после лондонской «Free Press»,—в газетах, которые обе были органами Давида Уркарта. Это та же самая работа, которая была также подготовлена к изданию Элеонорой Маркс, но, как и «The story of the life of Palmerston», издана уже после ее трагической смерти под названием: «Secret diplomatic history of the 18-th century» [1]).

В «Новой Рейнской Газете» Маркс дал недосягаемый образец публицистической деятельности, умеющей из запутанной массы, повидимому, совершенно случайных, несвязанных и несоединимых друг с другом факторов живой текущей истории извлекать и выдвигать на первый план те из них, которые являются основными, чтобы вскрыть в настоящем корни прошлого и найти в нем зародыши будущего. В «18 брюмера Людовика Бонапарта» он, по горячим следам, сейчас же вслед за совершившимся событием, кистью гения набрасывает основные контуры истории французской революции 1848 г. и мастерски показывает, что наполеоновский coup d'êtat явился ее необходимым последствием. В «Революции и контр-революции в Германии» перед нами развертывается сжатая характеристика главных моментов революции в Германии и Австрии. Но, по происхождению своему, эти работы, как и «Гражданская война во Франции», были не историческими трудами, а публицистическими, и если для нас они превратились в

---

[1]) Должно быть, этим обстоятельством об'ясняется небрежность, с которой напечатана книга Маркса. Не указано ни где, ни когда была напечатана эта работа. Не говоря уже о корректурных ошибках, одна из глав, по небрежности издателей, обезображена огромным пропуском. Статьи первоначально были напечатаны в лондонской «Free Press» 16 и 23 августа, 13 и 20 сентября, 4 октября, 8 и 29 ноября, 6 и 20 декабря 1856 г. 4, 18 и 25 февраля и 1 апреля 1857 г.

образцовые истории соответственных событий, если их основные выводы подтверждаются и дополняются всей позднейшей исторической литературой, то это только лишний раз доказывает, как глубоко и с т о р и ч е н был публицист Маркс, как о б'е к т и в н о было его изложение, несмотря на весь его с у б'е к т и в и з м.

Напротив, в «Разоблачениях» мы имеем единственный опыт Маркса в области изучения политической истории Англии и, в особенности, России. В этом далеком прошлом он ищет разгадку колоссального могущества России, а вместе с тем и того, старого англо-русского рабства, под'гнетом которого стонала вся Европа.

Был ли этот опыт так же удачен, как его другие работы? Удалось ли Марксу дать материалистическое об'яснение истории русского колосса, удалось ли ему осветить тайны англо-русской дипломатии с точки зрения материалистического понимания истории? Не дает ли эта работа ключа к об'яснению ошибок, сделанных им в оценке некоторых событий современной истории,—ошибок, которые теперь с наслаждением пережевывает всякий сокрушитель Маркса? И если такие ошибки несомненно были, то об'ясняются ли они непригодностью самого метода исследования или непоследовательным проведением этого метода?

Прежде, чем ответить на эти вопросы, мы познакомим читателей с содержанием этой работы Маркса. Мы должны будем сделать это более обстоятельно, потому что она осталась совершенно неизвестной огромному большинству читателей.

II. Маркс о русско-английских отношениях.

Маркс начинает свои «Разоблачения» перепечаткой трех писем английских резидентов и посланников при петербургском дворе.

Одно из них писано Рондо к Вальполю и относится к 1736 году, когда Россия вела войну с Турцией; второе принадлежит Георгу Макартнею (Macartney) и писано графу Сандвичу (Sandwich) в 1765 г., когда Англия хлопотала о заключении торгового договора с Россией; автором третьего письма является Джемс Гаррис (будущий граф Мальмсбюри), который в 1782 г. в письме к Грантаму говорит об уступке России острова Минорки, чтобы задобрить ее в пользу Англии.

Думая, что эти письма были совершенно неизвестны тогда, Маркс ошибался только относительно третьего письма. Последнее было опубликовано внуком Джемса Гарриса—графом Мальмсбюри еще в 1844 г. [1]).

Дипломатическая переписка английских посланников XVIII столетия была также использована прусским историком Раумером, тем самым, о котором Маркс говорит в письме о Прудоне, что он составлен из «с одной стороны и с другой стороны» [2]). Интересуясь, главным образом, историей Пруссии, он извлекал из этих депеш материалы, которые бросали свет на отношения между Пруссией и Англией и сообщали пикантные подробности о русском дворе XVIII столетия.

С этой же точки зрения использованы английские депеши в известной книге «La cour de la Russie il y a cent ans», изданной в Берлине в 1858 г., уже после появления работы Маркса.

---

[1]) «Diaries and correspondence of James Harris, first lord of Malmesbury...» Edited by his Grandson. London 1844, Vol. 4. Приводимое Марксом письмо — в более полном виде — напечатано в первом томе, с. с. 528—35.

[2]) «Beiträge zur Neueren Geschichte aus dem Britischen Museum». Leipzig. 1836 — 1839.

Впервые опубликована была переписка английских дипломатов с сент-джемским кабинетом Русским историческим обществом, которое, начиная с 1872 года, напечатало ее в своем сборнике», но далеко не за весь XVIII в. и далеко не в полном виде [1]). Отметим пока, что письма Гарриса совершенно отсутствуют—почему, мы увидим позже.

Таким образом, Маркс в общем имел тогда дело с совершенно неиспользованным материалом, который открывал ему доступ в тайники международной дипломатии XVIII века.

И вот изучение этой переписки показывает, по его мнению, что английская дипломатия была систематически одурачиваема русской, что английские посланники являлись покорными орудиями в руках петербургского двора.

Следующая саркастическая характеристика, которую Маркс дает всей этой переписке, лучше всего показывает пути, которыми пришел Маркс к своему выводу:

«При чтении этих документов гораздо больше поражает их форма, чем содержание. Все эти письма—«конфиденциальные», «частные», «секретные», «весьма секретные». Несмотря, однако, на эту конфиденциальность, тайну и конспирацию, английские государственные люди говорят друг с другом о России в таком тоне почтительной сдержанности, жалкого подхалимства и циничской преданности, который поразил бы нас даже в оффициальных депешах русских государственных мужей. Чтобы скрыть свои интриги против других наций, русские дипломаты прибегают к тайне. Английские дипломаты пользуются очень охотно тем же самым методом, правда, для того, чтобы засвидетельствовать свое почте-

---

[1]) «Сборник Имп. Русского Истор. Общества», Петербург, 1877—1901, 14 томов; в томах 39, 50 и 61 напечатана переписка за время Петра I (с 1704 до до 1719), в 66, 76 и 80 — с 1728 до 1739, в 85 — с 1740 по 3 марта 1741, в 91, 99, 102 и 110 — с 1741 по 1750, в 12 и 19 томах — переписка с 1762 по 1776 г. Так как извлечения составлялись чиновниками министерства иностранных дел, то все щекотливое и шокирующее русский двор тщательно исключалось. Перевод на русский местами очень плох и неверен — иногда преднамеренно. Но и в таком виде эти томы дают в высшей степени важный материал для изучения истории отношений Англии и России в XVIII веке. Так как английские депеши напечатаны в оригинале, то русским изданием охотно пользуются теперь также английские историки. К изданию этой переписки в Англии приступили только недавно. Так Королевское историческое общество (Royal Historical Society) опубликовало в 1900—1902 г.г. переписку английского посланника графа Бекингамшайра за 1762—1765 г.г. под редакцией г-жи А. д'Арси Коллиер. Достаточно сравнить это издание с соответствующим томом русского издания, чтобы видеть, как тенденциозно сделано последнее и как примитивно оно в научном отношении.

ние перед каким-нибудь иностранным двором. Тайные депеши русских дипломатов пропитаны каким-то двусмысленным ароматом. С одной стороны, это—«запах фальшивости» (fumée de fausseté), который отличает и мемуары герцога Сэн-Симона, а с другой стороны, то тщеславное парадирование собственным превосходством и хитростью, которое кладет такую неизгладимую печать на отчеты французской тайной полиции. Даже мастерские депеши Поццо ди Борго отмечены этим скверным душком ретирадной литературы (litérature de mauvais lieu). И в этом отношении английские тайные депеши еще превосходят их. Но английские дипломаты парадируют не своим превосходством, а глупостью. Можно ли себе представить что-нибудь более глупое, чем мистера Рондо, который извещает Гораса Вальполя, что он сообщил письма турецкого великого визиря, адресованные английскому королю, русским министрам, и в то же время передал им, что он не сообщил бы им этих писем, в которых имеются несколько резких замечаний о русском дворе, «если бы они сами не требовали этого так настоятельно».

«И он же просит еще русских министров не сообщать Порте, что они видели эти письма. Подлость такого образа действий совершенно покрывается глупостью этого дипломатического представителя.

«Или возьмем Джорджа Макартнея. Можно ли найти что-нибудь более глупое, чем его восторг по поводу того, что Россия, повидимому, настолько «благоразумна», чтобы требовать от Англии «уплаты всех расходов» за ту руководящую роль, которую Россия будет играть в Стокгольме. Или—когда он льстит себя надеждой, «что ему удалось убедить русский двор» не быть настолько неблагоразумным, чтобы требовать в мирное время от Англии субсидий на войну с Турцией (тогда союзницей Англии). Или же—его просьба, обращаться к графу Сандвичу: не упоминать русскому посланнику в Лондоне о тех секретах, которые были ему сообщены в Петербурге русским канцлером. Можно ли найти что-нибудь более глупое, чем конфиденциальная депеша Джемса Гарриса, в которой он сообщает лорду Грантаму, что Екатерина Вторая «лишена здравого рассудка, точности мышления, рассудительности и дара комбинаций». Эта афишированная глупость может быть прослежена до самого последнего времени: найдется ли в истории дипломатии что-нибудь подобное тому предложению, которое лорд Пальмерстон сделал в 1839 г. маршалу Сульту, а именно, взять штурмом Дарданеллы, чтобы обеспечить султану поддержку франко-английского флота против России.

«Сравните, с другой стороны, хладнокровное бесстыдство, с которым Джордж Макартней сообщает своему министру, что, так как шведов в высшей степени раздражает и озлобляет зависимость от России, то петербургский двор советует, чтобы Англия обделывала в Стокгольме его дела под британским флагом свободы и независимости».

А сэр Джемс Гаррис, который советует Англии уступить России Минорку, отказаться по отношению к России от права осмотра судов и предоставить России монопольное положение в качестве главного посредника во всех международных делах—и все это не для того, чтобы добиться какой-нибудь реальной выгоды или хотя бы формального обязательства со стороны России, а лишь для того, чтобы добиться «теплой дружбы» императрицы и переноса ее «плохого расположения на Францию».

«Во всех тайных русских депешах легко проследить одну и ту же очень простую идею, а именно, что Россия сама знает, что она не имеет каких бы то ни было общих интересов с другими нациями, но необходимо убедить каждую отдельную нацию, что она имеет с Россией общие интересы, исключающие всякую другую нацию.

Напротив, английские депеши не осмеливаются даже намекнуть, что Россия имеет общие интересы с Англией, но пытся только убедить Англию, что она имеет русские интересы. И из уст самих английских дипломатов мы знаем, что, при сношениях с русскими потентатами, они развивали именно эту точку зрения».

Маркс кончает свою характеристику английских дипломатов следующими жестокими словами:

«Если бы английские депеши, которые мы предлагаем публике, были адресованы частным друзьям, то они только покрыли бы позором послов, которые писали их. Писанные же под строгим секретом британскому правительству, они навсегда пригвождают последнее к позорному столбу истории. Бессознательно это, кажется, сознавалось всеми, даже вигистскими писателями, так как никто не осмелился опубликовать их» [1]).

Мы видели уже, что Маркс ошибся. Третье письмо, которое всего больше возмутило его, было напечатано за 12 лет перед этим и не вызвало никакого негодования. Интересно, однако, что Давид Уркарт в особой редакционной заметке, в которой он обращает сугубое внимание читателей на статьи Маркса, видимо, соглашается с этой характеристикой и приводит, со своей стороны, ряд фактов из

---

[1]) «Secret diplomatic history», с.с. 22 и сл.

истории англо-русской дипломатии первой половины XIX столетия, чтобы показать, что английские дипломаты этого времени были не лучше и не умнее дипломатов XVIII столетия.

Считая установленным свой тезис, — ограниченность и рабскую зависимость английской дипломатии XVIII столетия от петербургского двора, — Маркс задает вопрос, с какого времени берет свое начало этот «русский» характер английской дипломатии, ставший обычной ее чертой в течение XVIII столетия.

Этим временем Маркс считает эпоху Петра Великого, которую он и выбирает центральным пунктом своего исследования. В виде вступления, он считает необходимым перепечатать некоторые английские памфлеты, которые были изданы в эпоху Петра Великого и—либо совсем ускользнули от внимания современных историков, или, по их мнению, не заслуживали его. Он выбирает с этой целью три памфлета, направленные против России и в защиту Швеции в их борьбе за преобладание на Балтийском море. Первый из них—«Северный кризис», вышедший в 1716 г.,—разоблачает общую политику России и указывает на опасность, которая грозит Англии и ее торговле вследствие руссификации Швеции [1]); второй — «Оборонительный союз», вышедший в 1717 г., рассматривает политику Англии с точки зрения трактата, заключенного между Англией и Швецией в 1700 году [2]); и, наконец, третий — «Правда только тогда правда, когда она во-время сказана», вышедший в 1719 г. [3]),—доказывает, что новые политические планы, которые привели к превращению России в первенствующую державу на Балтийском море, находятся в резком противоречии с традиционной политикой, которую Англия преследовала в течение всего XVII столетия.

Этих трех памфлетов, по мнению Маркса, вполне достаточно, чтобы опровергнуть предрассудок, общий всем континентальным и английским писателям, что истинные намерения России были поняты или заподозрены только в более позднюю эпоху и притом слишком поздно; что дипломатические отношения между Англией и Россией,—мы цитируем дословно, настолько невероятен в устах Маркса этот тезис, — «были только естественным результа-

---

[1]) «The Northern Crisis, or impartial reflections on the politics of the Czar», London, 1716. Большое значение придает этому памфлету и цитирует его неоднократно Дрозен в «Geschichte der preussischen Politik», IV, 2, S. 193.

[2]) «The defensive treaty concluded in the year 1700, between his Jate Majesty, King William. of our glorious memory, aud his present Swedish Majesty, King Charles XII».

[3]) «Truth is but Truth as it is timed», London 1719.

том взаимных материальных интересов этих двух стран и что, следовательно, обвиняя британских государственных людей XVIII столетия в руссофильстве, мы совершаем непростительный hysteron-proteron».

Маркс еще готов был бы простить их, если бы они только разделяли понятия своего времени. И вот на каком основании:

«Чтобы понять определенную историческую эпоху, мы должны выйти за ее пределы и сравнить ее с другими историческими эпохами. Чтобы судить правительства и их акты, мы должны мерить их меркой их собственной эпохи и сознанием их современников. Никто не будет обвинять британского государственного деятеля XVII столетия, совершающего какой-нибудь акт в силу своей веры в колдовство, когда он видит, что даже Бэкон поместил демонологию в каталог наук. С другой стороны, если Стэнгоп, Вальполь, Тоунсхенд и др. были заподозрены, встречали оппозицию и были обвинены в своей же стране своими современниками в том, что они были орудиями или сообщниками России, то он уже не будет прикрывать их политику обычными фразами о предрассудках и невежестве, которые были свойственны их эпохе» [1]).

И все названные памфлеты, по мнению Маркса, неопровержимо доказывают, что английские государственные деятели XVIII столетия были совершенно ослеплены, что они совершенно не замечали опасности, о которой так красноречиво предупреждал их неизвестный автор памфлета «Северный кризис» [2]), что они, как это доказывали авторы двух других памфлетов, самым вероломным образом пожертвовали Швецией в угоду России и, обеспечив последней гегемонию на Балтийском море, воспитали и вскорми-

---

[1]) «Secret diplomatic history», с. 49.

[2]) «Он (Петр) будет, наверное, тогда нашим противником и нам в такой же мере опасен, в какой его теперь считают неопасным. И мы, возможно, должны будем тогда вспомнить все, что наши собственные министры и купцы рассказывали нам о его планах, которые сводятся к одной главной цели: захватить всю северную торговлю и с помощью рек, которые он соединяет каналами и делает судоходными на всем протяжении от Каспийского и Черного моря до Петербурга, овладеть также турецкой и персидской торговлей. Тогда мы будем удивляться нашей слепоте, которая мешала нам видеть его планы, хотя мы слышали о всех крупных делах его, совершенных им в Петербурге... Так как он хочет, чтобы планы, с которыми он носится, не оказались выкидышами, то он не назначает определенного срока для их выполнения, но предоставляет их естественному процессу созревания при помощи времени и удобного случая, подобно тем удивительным китайским художникам, которые приготовляют формы для орудия передвижения, хотя оно будет построено лет через сто». «Secret diplomatic history», с. 38.

ли своего будущего врага. Более того. Они совершенно пренебрегли коммерческими интересами своей родины — преступление, которое в Англии не прощается.

Маркс, со своей стороны, приходит на помощь авторам памфлетов и, опираясь на статистические данные, показывает, что новейшие историки «ничего не преувеличивали так сильно, как размеры торговли, которую Англия могла вести на предоставленном ей при Петре и его преемниках обширном русском рынке». После анализа цифр вывоза и ввоза в Швецию и Россию от 1697 до 1760 гг., он приходит к следующему заключению:

«В течение первых шестидесяти лет XVIII столетия вся англо-русская торговля составляла очень незначительную долю всей торговли Англии, — а именно, меньше чем $^1/_{45}$. Ее быстрый рост в первые годы, после того, как Петр укрепился на Балтийском море, нисколько не повлиял на общий баланс британской торговли, так как он представлял простой перенос со шведского счета на русский. В последние годы царствования Петра, а также при его непосредственных преемниках — Екатерине I и Анне — англо-русская торговля положительно падает. В течение всей эпохи, начиная от окончательного утверждения России в Балтийских провинциях, вывоз британских мануфактурных изделий в Россию постоянно падал... Ни современники Петра I, ни ближайшее британское поколение не получили никаких выгод от возвышения России на Балтийском море. Вообще,—прибавляет Маркс,—тогдашняя балтийская торговля Великобритании имела значение не по количеству вложенного в нее капитала, а по ее характеру. Она доставляла Англии необходимые материалы для судостроения. Но и в этом отношении для англичан было выгодно, — что доказывали не только авторы памфлетов, но понимали и некоторые британские министры, — чтобы Балтийское море оставалось в руках шведов, а не русских» [1]).

Но каким же образом об'яснить такое странное явление, как упорное содействие России, если Англия была заинтересована в том, чтобы не допустить русских утвердиться на Балтийском море.

Оказывается, что в Англии все-таки существовала незначительная часть британских купцов, интересы которых совпадали с интересами России. Это—«Русская торговая компания» (Russian trade company). Именно она поднимала крик против Швеции, именно она забрасывала парламент своими петициями, именно она

---

[1]) «Secret diplomatic history», c.c. 53—54.

каждый раз собиралась перед открытием парламента в 1714, 1715, 1716 г.г., чтобы составлять сообща жалобы против Швеции.

Но каким образом эти купцы могли оказывать такое влияние на правительство, что последнее постоянно поддавалось их внушениям? Дело в том, что олигархия, которая после «Glorious Revolution» захватила в свои руки власть и богатство за счет массы британского народа, должна была, конечно, искать себе союзников не только вне страны, но и внутри ее. Последних она нашла в том, что французы называют «la haute bourgeoisie», как она представлена была Английским банком, ростовщиками, государственными кредиторами, крупными мануфактуристами. Как тщательно и любовно она соблюдала материальные интересы этого класса, видно из изданных ею законов.

Понятно, что и в области внешней политики эта олигархия была также вынуждена придавать ей хотя бы по внешнему виду характер политики, руководимой торговыми интересами. А это тем легче было устроить, что всегда можно было отождествить исключительно интересы той или иной ничтожной фракции торгового класса с той или другой мерой министерства. Заинтересованная фракция поднимала тогда вопль в «защиту интересов торговли и мореплавания», а нация тупо ему вторила.

Таким образом, внешняя политика этой олигархии оставалась себе верна только в одном отношении: она стремилась во что бы то ни стало угодить России. Она только прикрывалась интересами торговли и промышленности, которые post factum подыскивались кабинетом. В эпоху северной войны английские министры для своих враждебных действий против Швеции нашли необходимый торговый повод в тех убытках, которые шведские каперы причиняли английским купцам, хотя шведы поступали в полном согласии с тогдашним международным правом.

Может показаться, что Англия тогда следовала только примеру Голландии, которая тоже об'явила конфискацию ее кораблей со стороны шведов простым пиратством. И действительно, в одном отношении Голландия так же, как и Англия, была связана тем же оборонительным союзом, который Англия заключила со Швецией в 1700 г.: она не имела права предпринимать какие-либо враждебные действия против Швеции.

Но в другом отношении положение Голландии резко отличается от положения Англии. Утративши свою торговую и морскую гегемонию, Голландия уже вступила тогда в эпоху упадка. Подобно Генуе и Венеции, когда изменение торговых путей лишило их старой торговли, она вынуждена была теперь служить другим на-

циям свои капиталы, для которых она у себя не находила применения. Россия оказалась огромным рынком в меньшей степени для ее торговли, чем для ее капиталов и населения.

Еще в первой половине XIX столетия Голландия была главным банкиром России. А в эпоху Петра Великаго она снабжала Россию судами, офицерами, оружием и деньгами. Флот России тогда мог быть назван скорее голландским, чем русским. Голландцы хвастались тем, что послали первый европейский корабль в новый Петербург и платили за торговые привилегии, которые они получили от Петра, той низостью, которая характеризует их сношения с Японией.

Маркс поэтому гораздо снисходительнее к Голландии. Если ее государственные люди были руссофилами, то тут налицо было совершенно другое, солидное основание, чем в Англии.

Маркс так убежден во враждебном отношении англичан к шведам, что, несмотря на это «солидное основание», об'ясняет именно давлением англичан протест Голландии против шведских каперов, хотя ему в то же время известно, что Петр пользовался голландцами, чтобы оказать давление на английских дипломатов в свою пользу.

Итак, вся политика Англии и находившейся под ее влиянием Голландии способствовала возвышению России.

Но Маркс имеет еще и другие доказательства, что главным источником могущества России является усердное пособничество и попустительство со стороны Англии. Вся история России до Петра Великого показывает, что без Балтийского моря современная Россия была бы немыслима. Чтобы доказать свою мысль, Маркс дает блестящий очерк истории русского государства до эпохи Петра Великого.

III. Историческое развитие России в изображении К. Маркса.

«Непреоборимое влияние России застигало Европу в различные эпохи врасплох и приводило в ужас народы Запада: ему подчинялись, как фатуму, или конвульсивно сопротивлялись. Но рядом с очарованием, которое производит Россия, идет скептицизм, который каждый раз вновь оживает, преследует Россию, как тень, растет вместе с ее ростом, примешивает ироническую мелодию к стонам терзаемых до смерти народов и издевается над ее громадностью, как над шутовским фарсом, который разыгрывается, чтобы ослепить и обмануть зрителей. Другие империи тоже встречали при своем зарождении такие сомнения, но Россия стала колоссом, не изжив их. Она представляет единственный во всей истории пример необозримой империи, которая, несмотря на всемирно известные достижения, все еще трактуется скорее, как предмет веры, а не как предмет действительности. С конца XVIII столетия и до наших дней, каждый, собирался ли он хвалить или ругать Россию, считал необходимым сначала доказать ее существование. — Но будем ли мы по отношению к России материалистами или идеалистами, будем ли мы рассматривать ее могущество, как осязаемый факт или призрак, терзающий преступную совесть европейских народов,—все же каждый раз возникает вопрос: каким образом могла эта империя или этот фантом империи разрастись до таких колоссальных размеров, чтобы, с одной стороны, встретить горячее сочувствие, а с другой—страстное обвинение в том, что она угрожает миру возобновлением универсальной монархии?».

Некоторые историки утверждают, что северный праздник, испугавший Европу XIX столетия, возник уже в девятом веке, что политика Романовых представляет естественное продолжение политики Рюрика и его преемников, тех самых норманнов, которые в девятом веке явились из Швеции в Россию и основали государство [1]).

[1]) Маркс имеет в виду Фальмерайера, который, по его словам, бессознательно идет по следам русских историков.

Несмотря, однако, на кажущееся сходство, политика первых Рюриковичей коренным образом отличается от политики современной России.

Она представляла собой ни более, ни менее, как политику германских варваров, наводнивших Европу. История современных народов началась лишь после того, как этот поток схлынул. Готический период России, в частности, представляет лишь одну главу в истории норманнских завоеваний. Как империя Карла Великого предшествует образованию современной Франции, Германии и Италии, так империя Рюриковичей предшествует образованию Польши, Литвы, Балтийских поселений, Турции и самого Московского государства. Ускоренный темп расширения норманнской державы является следствием не какого-нибудь заранее выдуманного, хитроумного плана, а естественным результатом примитивной организации норманнских завоеваний — вассалитет без ленных отношений или лены, составлявшиеся только из жалования,—при чем необходимость в новых завоеваниях диктовалась непрекращающимся притоком новых авантюристов, жаждавших славы и добычи. Своих главных конунгов, которые стремились к покою, дружина вынуждала двигаться дальше, и в русской, как и во французской Нормандии, наступал момент, когда великие князья посылали в новый поход своих неукротимых и ненасытных дружинников просто для того, чтобы от них избавиться. Ведение войны и организация завоеваний у Рюриковичей ничем не отличаются от такой же организации у норманнов в остальной Европе. Если славянские племена были покорены не только мечом, но и путем договорных соглашений, то эта особенность об'ясняется исключительным положением этих племен, которые, под угрозой нашествия как с севера, так и с юга, предпочли первое, как избавление от второго.

То же самое магическое очарование, которое влекло других северных варваров к западному Риму, влекло варваров к восточному Риму. Именно продолжавшиеся переносы русской столицы, которую Рюрик основал в Новгороде, Олег — в Киеве, а Святослав пытался перенести в Болгарию, бесспорно показывают, что завоеватели только прокладывали себе дорогу и рассматривали Россию, как переходный этап, как остановку, чтобы вновь отправиться на завоевание державы на далеком юге. Если современная Россия стремится захватить Константинополь, чтобы укрепить свое всемирное господство, то Рюриковичи, напротив, вынуждены были упорным сопротивлением Византии при Цимисхии отказаться от своего намерения и окончательно основаться в России.

Если еще можно говорить о каком-нибудь славянском влиянии в эту эпоху, то разве только о влиянии Новгорода, славянского государства, вся политика и традиции которого настолько диаметрально противоположны традициям современной России, что последняя могла развиться только на развалинах Новгородской республики.

«При Ярославле господство варягов было сломлено, но вместе с ним исчезают и завоевательные традиции первого периода: начинается упадок готической России. Как раз история этого упадка еще больше, чем история завоевания и образования варяжского государства, доказывает исключительно готический характер державы Рюриковичей».

Она разделила судьбу всех средневековых монархий.

«Неповоротливая, аляповатая и скороспелая империя, скроенная Рюриковичами, распалась, как и все подобные империи, на уделы, делилась и подразделялась между потомками завоевателей, разрывалась на части междоусобными войнами и крошилась в куски под ударами внешних завоевателей. Верховная власть великого князя исчезает под напором требований семидесяти родовых князей. Попытка Андрея Суздальского собрать часть этой империи, путем переноса столицы из Киева во Владимир, оказывается успешной лишь постольку, поскольку она переносит разложение с юга в центр. Третий преемник Андрея отказывается и от последней тени верховенства, от титула великого князя и чисто номинального почета, все еще оказываемого ему. Уделы на юге и западе становятся поочередно литовскими, польскими, венгерскими, ливонскими, шведскими. Киев, древняя столица, живет собственной судьбой, превратившись из главного центра великого княжества в простой город. Так исчезает с арены всемирной истории норманнская Россия, и немногие слабые остатки, в которых она пережила себя, гибнут при страшном появлении Чингис-хана. И не в славном варварстве норманнской эпохи, а в кровавом болоте монгольского рабства приходится искать колыбель Московии. А современная Россия, ведь, только метаморфоза былой Московии».

Татарское иго уничтожило все традиции норманнского периода русской истории, оно, кроме того, оказало глубокое влияние на психологию русского народа.

«Татарское иго тяготело над народом от 1224 до 1462 г.г., т.-е. больше двух столетий; оно было не только тяжким, но и бесчестящим, и снедало самую душу народа, ставшего его жертвой. Татары

установили господство систематического террора, основами которого являлись опустошения и массовые избиения. Так как они, в сравнении с их колоссальными завоеваниями, были немногочисленны, то они вынуждены были окружать себя нимбом ужаса и, путем повторной резни, уничтожали народы, которые поднимались у них в тылу. И когда они превращали страны в пустыни, они в сущности руководились тем же экономическим принципом, который обезлюдил горные местности в Шотландии и Римскую Кампанию:—вытеснение людей овцами и превращение плодоносных земель и населенных местностей в пастбища».

Завоеватели не разрушали княжеств, которые они находили, и ограничивались тем, что делали их зависимыми и облагали данью. Татарское иго длилось уже почти столетие, как из среды княжеств, которые в Золотой Орде старались уничтожить друг друга при помощи самого беззастенчивого подкупа своих господ и взаимных клевет, начала возвышаться Москва.

«В этой бесчестной борьбе московская ветвь одержала окончательную победу. В 1328 г. Юрий, старший брат Ивана Даниловича Калиты, получил из рук Узбек-хана ярлык на великое княжение, которое было отнято у тверской линии путем клеветы и убийства. Иван Калита и Иван III, прозванный Великим, представляют: первый—Москву, возвысившуюся при помощи татарского господства, второй—Москву, ставшую самостоятельной вследствие исчезновения татарского господства. В истории этих двух личностей воплотилась вся политика Москвы со времени выступления ее на историческую арену».

Маркс дает затем выпуклую характеристику политики Ивана Калиты, основавшего могущество Москвы.

«Политика Ивана Калиты состояла в следующем: он играл отвратительную роль орудия хана, узурпируя в свою пользу его власть, пользовался ею против своих соперников из среды князей и против собственных подданных. Чтобы достигнуть своей цели, он старался всеми средствами приобрести милость татар: циническая лесть, частые путешествия в Золотую Орду, униженные просьбы руки ханских дочерей, подчеркиванье своей преданности интересам хана, рабское выполнение его приказов, гнусное оклеветание своих сородичей, соединение черт татарского баскака, прихлебателя и главного холопа. Он непрестанно тревожил ханов своими разоблачениями заговоров. Стоило тверской линии проявить хотя бы малейшее стремление к национальной независимости, как он спешил в Орду с доносом. Если он натыкался где-нибудь на со-

противление, он прибегал к помощи татар, чтобы раздавить его. Но недостаточно было играть эту роль, чтобы сделать себя приемлемым, требовалось золото. Постоянный подкуп хана и его приближенных был единственным основанием, на котором он мог воздвигнуть свое здание обмана и узурпации. Но откуда мог раб получить деньги, чтобы подкупить своего господина? Он убедил хана поручить ему сбор ордынской дани со всех князей. Снабженный этим полномочием, он, под разными предлогами, вымогал деньги. Богатство, собранное путем запугивания татарами, он пускал в ход, чтобы развращать самих татар. С помощью подкупа он уговорил митрополита перенести свою резиденцию из Владимира в Москву и, сделав, таким образом, последнюю столицей церковной, превратил ее этим самым и в столицу политическую. С помощью подкупа он склонял бояр, своих соперников, к измене и привлекал их к себе, как главному центру. Пуская в ход совокупное влияние мусульманских татар, греческой церкви и бояр, он соединяет удельных князей в крестовый поход против самого опасного из них,—тверского князя, а затем, вынудив, наглыми попытками узурпации, своих недавних союзников восстать против него самого, он предпочитает уклониться от войны и спешит к хану. И с помощью обмана и подкупа он опять вызывает хана на жестокое убийство родичей — соперников. Традиционным приемом татарской политики по отношению к русским князьям являлось натравливание их друг на друга, разжигание их раздоров. Татары старались уравновешивать силы князей и не давать одному чересчур возвыситься за счет остальных. Но Иван Калита превращает хана в орудие, при помощи которого он освобождается от наиболее опасных конкуррентов и снимать с пути всякие препятствия, мешающие его захватной политике. Он не захватывает удельных княжеств, но обманным путем использует власть татарских завоевателей в собственную пользу. Он обеспечивает своему сыну великокняжеский стол при помощи тех же средств, которыми он создал московское великое княженье, эту странную смесь княжества и рабства. В продолжение всего своего княженья он ни разу не отклонялся от политической линии, которую начертал для себя, придерживаясь ее с упорной настойчивостью, проводя ее с методической смелостью. Таким образом, он стал основателем московской державы. Характерно, что народ дал ему прозвище Калиты, т.-е. кошеля, ибо не мечом, а рублем прокладывал он себе дорогу. Как раз в период его княженья совершается быстрое образование литовского государства, которое отделяет русские земли от Запада, между тем, как татары сдавливают их в од-

ну массу с Востока. В то самое время, когда Иван не осмеливается оказывать сопротивление одной опасности, он точно старается преувеличить размеры другой. Ничто не могло отвлечь его от основной цели: ни увлечение славой, ни угрызения совести, ни тяжесть унижений. Вся его система может быть характеризована в немногих словах: маккиавеллизм жадного холопа. Свою собственную слабость — свое холопство — он превратил в главный источник своей силы».

Но Иван Калита заложил только основу, на которой было построено господство Москвы. Действительным создателем московского государства был Иван Ш.

«В начале своего княженья (1462—1505) Иван III все еще был данником татар; власть его все еще оспаривалась другими удельными князьями; Новгород. стоявший во главе русских народоправств, господствовал на севере России; Польша, Литва стремились к завоеванию Москвы; а ливонские рыцари все еще не были сокрушены. К концу своего княженья Иван становится совершенно независимым государем, женою его делается дочь последнего императора Византии, Казань лежит у его ног, и остатки Золотой Орды стремятся к его двору, Новгород и другие народоправства приведены к повиновению, Литва ущерблена, и великий князь ее— игрушка в руках Ивана, ливонские рыцари побеждены. Изумленная Европа, которая, в начале царствования Ивана III, едва подозревала существование Москвы, зажатой между литовцами и татарами, была огорошена внезапным появлением колоссальной империи на ее восточных границах. Сам султан Баязет, перед которым трепетала Европа, услышал впервые высокомерную речь от москвитянина».

Чтобы показать, каким путем Иван III, которого и русские историки считают трусом, мог совершить все эти подвиги, Маркс дает обзор важнейших событий его царствования: борьбы с татарами, подчинения Новгородской республики, борьбы с другими удельными князьями и, наконец, борьбы с Польшей и Литвой.

«Иван освободил Москву от татарского ига не путем решительного удара, а посредством упорного, почти двадцатилетнего труда. Он не сломил ига, а высвободился из-под него украдкой. Свержение этого ига поэтому больше похоже на естественно-исторический процесс, чем на дело рук человеческих. Когда татарское чудовище, наконец, испустило дух, Иван появился у его смертного одра скорее в качестве врача, предвидевшего эту смерть и спекулировавшего на нее, чем в качестве воина, причинившего ее».

В связи с этим, в общем, правильным изображением, — Соло-

вьев тоже говорит не о свержении татарского ига, а о его крушении.—Маркс делает следующее заключение: «Дух каждого народа растет и укрепляется вместе с освобождением от внешнего ига: дух Москвы, наоборот, точно умаляется в руках Ивана. Достаточно сравнить Испанию в ее борьбе с арабами и Москву в ее борьбе с татарами... Устраняя восстание против Орды, Москва следовала бы только примеру татар. Но Иван не хотел восстания, он покорно признал себя подручником Золотой Орды... Он хочет не завоевать, а стащить могущество. Он старается не выбить врага из его крепости, а выманеврировать его из нее. Продолжая унижаться перед ханскими посланцами, об'являя себя его данником, Иван III, под разными предлогами, уклоняется от платежа дани, пуская в ход все уловки беглого раба, который боится встретиться со своим хозяином и старается ускользнуть от него. Наконец, татары пробуждаются от своей апатии, и бьет час решительного сражения. Иван, трепеща при одной мысли о вооруженном столкновении, стремится укрыться за собственным страхом и хочет обезоружить ярость своего врага, удаляя об'ект, на который он мог бы обрушить свое мщение. Его спасает только вмешательство крымских татар, его союзников».

Еще трусливее ведет себя Иван III при следующих нашествиях. «Одного татарина он ловит при помощи другого. Добычей, захваченной у побежденного татарина, он опутывает победоносного. Но если он слишком благоразумен, чтобы, на глазах у очевидцев его унижения, взять на себя вид завоевателя, то этот обманщик прекрасно понимает, какое впечатление должно произвести падение татарской империи на внешний мир, какой славой может оно покрыть его и в какой степени обеспечить ему торжественное вступление в среду европейских государств. И соответственно этому он принимает театральную позу завоевателя. Ему действительно удается скрыть, под маской гордой подозрительности и высокомерной раздражительности, заносчивость татарского холопа, который все еще помнит, как он целовал стремя рядового ханского посланца. В более пониженном тоне он копировал голос своего старого хозяина, все еще наполнявший ужасом его душу».

Влияние этой татарщины Маркс хочет видеть и во фразеологии новой русской дипломатии.

«Некоторые ходячие обороты, как, например, ссылка на великодушие, оскорбленное достоинство государя, точно заимствованы из дипломатических инструкций Ивана III».

Если освобождение от татарского ига было в глазах Ивана III первой предпосылкой для создания московской гегемонии, то вто-

рой являлось уничтожение русской свободы. Одна за другой приводятся к подчинению старые русские городские республики: Вятка и Новгород, тогда как Псков сохраняет только тень своей прежней самостоятельности.

«Достойно замечания, сколько Москва — как и современная Россия — готова была затратить усилий, чтобы уничтожить эти республики. Новгород и его колония являются первыми жертвами; за ними следуют казацкие, а Польша замыкает круг. Кто хочет понять подчинение Польши России, тот должен изучать историю подчинения Новгорода, которое длилось от 1478 до 1528 г.».

Покончив с республиками, Иван III покончил также с последними удельными княжествами.

«Иван III, казалось, вырвал у монголов оковы, которыми он опутал Москву, только для того, чтобы сковать ими русские республики. И он точно для того лишь покорил эти республики, чтобы сделать республиканцами турок».

С таким же искусством вел Иван III борьбу с Литвой, против которой он мобилизовал как императора Максимилиана и Матвея Корвина, так и Стефана, господаря молдавского, и того самого Менгли-Гирея, крымского хана, который, в борьбе с Литвой, оказался таким же могучим орудием, как и в борьбе с Золотой Ордой.

Неоценимые услуги в деле укрепления власти оказала Ивану III православная церковь.

«Но кого именно выбрал во всем мире Иван III, чтобы захватить наследство Византии, чтобы скрыть клеймо монгольского раба под мантией порфиророжденных, чтобы соединить трон московского выскочки со славной державой святого Владимира и в своем лице дать греческой церкви нового светского главу? Человека, который должен был ему помочь во всем этом, Иван III нашел в римском папе».

При дворе последнего и на его попечении жила София Палеолог, которая, после падения Константинополя, переселилась с отцом в Рим. Именно ее, наследницу византийского царя, римский папа выдал за московского князя, укрепляя, таким образом, религиозно-политическую гегемонию Москвы на всем православном востоке.

В политике Ивана III Маркс находит уже все основные элементы политики новой России.

«Достаточно заменить ряд одних имен и дат другими, чтобы ясно стало, что между политикой Ивана III и политикой современной России существует не только сходство, но и равенство. Иван III только усовершенствовал традиционную московскую политику,

которую завещал ему Иван Калита. Последний достиг могущества тем, что он, монгольский раб, использовал силу своего крупнейшего врага, татар, против своих мелких врагов, против русских князей. Только при помощи низких интриг мог он направлять эту силу. Он вынужден был ту силу, которою он действительно обладал, скрывать от своего господина, а своих товарищей по рабству он должен был пугать силой, которой он не обладал. Чтобы решить эту задачу, он должен был возвести все низкие уловки раба в настоящую систему и проводить ее с упорным терпением раба. Даже открытое насилие превращалось в интригу. При такой системе интриги, коррупции и тайных захватов, он должен был сначала отравить свою жертву, прежде чем он мог ее открыто добить. Единство цели превращалось у него в двойственность действия. Добиваться для себя выгод путем обманного использования враждебной силы, ослаблять эту силу как раз путем ее использования и, в конце концов, погубить ее, именно потому, что она позволяла использовать себя, как орудие, — вся эта политика навязывалась Ивану Калите своеобразным характером как господствующей, так и покоренной расы. Его политика осталась также и политикой Ивана III. И она осталась политикой Петра Великого и новой России, как бы ни менялись имена, страна и характер той враждебной силы, которая ими используется. Действительно, Петр Великий является создателем современной русской политики, но он стал им потому, что отнял у старой московской методы незаметного внедрения и присвоения, ее чисто местный характер и освободил ее от случайных примесей, потому что он отлил ее в абстрактную формулу, обобщил ее задачи и выше поставил ее цель: таким образом, стремление ее уничтожить определенные и данные пределы власти превратилось в стремление к ничем неограниченной власти. Он осуществил преобразование Москвы путем обобщения своей системы, а не одним только механическим присоединением нескольких областей. — Итак, Москва выросла и развивалась в отвратительной и гнусной школе монгольского рабства. Своего могущества она достигла только потому, что, будучи сама рабой, стала виртуозом в искусстве порабощения. Даже после своего самоосвобождения Москва продолжала еще играть свою традиционную роль раба в качестве господина. Только Петр Великий сумел, наконец, соединить политическую увертливость монгольского холопа с гордым устремлением монгольского господина, которому Чингисхан в своей последней воле завещал завоевание мира»[1]).

---

[1]) Вся цитата, по оплошности издателей, пропущена в отдельном издании «Secret diplomatic history». Ср. «Free Press», 25 feber. 1857.

Но если Московское государство выработало все основные элементы политики Петра Великого, если еще до Петра непрестанное расширение государства было лейтмотивом всей дятельности московских государей, то только со времени Петра эта политика приобрела твердую почву, и только он заложил основу для расширения России на Запад.

Дело в том, что, до эпохи Петра, одной из самых характерных черт славян, которая поражает всякого исследователя, является то обстоятельство, что почти всюду они оседают в глубине материка, предоставляя морское побережье другим, неславянским народностям. Где бы славяне ни приближались к морскому берегу, они подчинялись иноземному господству. Русский народ делил эту общую судьбу всех славян. Материковый по преимуществу, он до Петра Великого не в состоянии был добыть себе выход в море, за исключением Белого моря, покрытого льдом в течение трех четвертей года. Место, на котором построен Петербург, в течение тысячелетий служило яблоком раздора для финнов, шведов и русских. Все остальное побережье Балтийского моря, принадлежащее теперь России, берег Черного моря,—все это было приобретено Россией уже после Петра. Мало того: как бы для того, чтобы подчеркнуть материковую особенность славянской расы, ни одна часть Балтийского побережья не стала в сущности и до сих пор славянской. Так же мало, как черкесское и мингрельское побережье Черного моря.

Только Петр порвал со всеми традициями славянской расы. «Вода — вот что нужно России» — эти слова, сказанные им в форме выговора князю Кантемиру, являются лозунгом всей его жизни. Завоевание Азовского моря было целью его первой войны с Турцией, завоевание Балтийского моря — войны с Швецией, Черного моря — второй войны с Турцией и Каспийского моря — его набега на Персию.

«Для системы местных захватов достаточно было материковых земель; для системы универсального наступления необходимо было море. Только путем превращения Московии из чисто континентальной страны в империю, окруженную морями, можно было разбить традиционные пределы московской политики и создать тот смелый синтез, который, соединяя в одно целое захватные методы монгольского раба с мирозавоевательными тенденциями монгольского хана, образует жизненную силу современной русской дипломатии».

И когда нам в об'яснение политики Петра Великого говорят, что никакая великая нация не может существовать без моря, что

Россия не могла оставить устьев Невы, Дона, Днепра и Бута в чужих руках, что Петр захватил только то, что было абсолютно необходимо для развития его страны, то при этом забывают один крайне важный факт — тот tour de force, при помощи которого он перенес столицу империи из глубины материка на морское побережье, поразительную смелость, с которой Петр воздвиг новую столицу на первом захваченном им клочке Балтийского побережья, на расстоянии почти пушечного выстрела от границы, и создал, таким образом, для своих владений эксцентрический центр.

Можно смело сказать, что во всей русской литературе, в которой спор о значении реформ и дела Петра Великого до сих пор не прекращается, в которой оба главных направления русской политической мысли — славянофильское и западническое со всеми их новейшими видоизменениями — всегда характеризовались враждебным или дружественным отношением к Петру, вряд ли удастся найти более яркую, более пластичную характеристику главного дела Петра, которым открывается петербургский период русской истории, когда она по словам первоначальных слафянофилов, стала жертвой гнилого Запада, а, по мнению западников, впервые приобщилась к европейской цивилизации, чем следующие строки Маркса:

«Перенести трон царей из Москвы в Петербург значило поставить его в такое положение, при котором он не мог быть безопасен даже от простых оскорблений, пока не будет покорено все побережье от Либавы до Торнео — задача, которая в полном объеме разрешена была только в 1809 г.».

«Петербург — это окно, из которого можно следить за всей Европой,—сказал Альгаротти. С самого начала это был вызов Европе и стимул к дальнейшим завоеваниям для русских... Петербург, этот эксцентрический центр империи, указывал на периферию, которая должна еще быть проведена. Таким образом, не одно только завоевание балтийских провинций отличает политику Петра Великого от политики его предков, но именно перенос столицы, в котором проявляется настоящий смысл этих балтийских завоеваний. Петербург не был, подобно Москве, центром для особой расы, а резиденцией правительства; он был не результатом длительной работы целого народа, а творческой импровизацией отдельной личности, не источником, из которого излучаются все особенности материкового народа, а морским каналом, в котором они пропадали, не традиционным ядром национального развития, а преднамеренно выбранным театром космополитической интриги. Путем переноса столицы, Петр перерезал естественные связки, которые соеди-

няли захватную систему старых московских царей с естественными стремлениями и способностями великой русской расы. Построив свою столицу на морском побережьи, он бросил открытый вызов противоморским инстинктам этой расы и низвел ее на степень простого балласта в своем политическом механизме. Начиная с XVI столетия, Москва все свои значительные завоевания совершила только со стороны Сибири, а до XVI столетия все сомнительные завоевания за счет запада и юга приобретались только путем прямого воздействия на Восток. Перенося столицу, Петр точно заявил открыто, что он, напротив, намеревается воздействовать на Восток и соседние страны при помощи Запада. Если воздействие через посредство востока было тесно ограничено стационарным характером и узкими сношениями азиатских народов, то воздействие, через посредство Запада, сразу становилось неограниченным и универсальным в силу подвижного характера и всесторонних сношений Западной Европы. Перенос столицы возвещал новый план изменений в системе воздействия, а завоевание балтийских провинций доставляло средство для осуществления этого плана; оно сразу обеспечивало России гегемонию среди соседних северных стран, оно ставило ее в непосредственный и постоянный контакт со всеми пунктами Европы, оно создавало основу материальной связи с морскими державами, которые, в силу этого завоевания, становились в зависимость от России в деле приобретения кораблестроительных материалов, зависимость, которой не существовало, покуда Московия, страна, производившая главную массу кораблестроительных материалов, не имела собственных гаваней, тогда как Швеция, страна, державшая в своих руках эти гавани, не могла завоевать страны, лежащие за ними.

«Если московские цари, совершавшие свои захваты, главным образом, при помощи ханов, вынуждены были татаризировать Москву, то Петр Великий, который решил действовать при помощи Запада, вынужден был цивилизовать Россию. Захватив балтийские провинции, он тем самым приобрел все необходимые для этого процесса орудия. Эти провинции доставили ему не только дипломатов и генералов, т.-е. головы, в которых он нуждался для проведения в жизнь своей системы политического и военного воздействия на Запад; они в то же время выставили ему целую армию бюрократов, школьных учителей и военных инструкторов, усердно покрывавших русских людей лаком той цивилизации, которая развивает способность усваивать технические навыки западных народов, но не их идеи.

«Ни Азовское море, ни Черное, ни Каспийское море не могли открыть Петру этот прямой проезд в Европу... Из четырех войн, которые наполняют всю военную жизнь Петра Великого, первая война против турок, все плоды которой потеряны были во время второй турецкой войны, продолжала в одном отношении традиционную борьбу против татар. В другом отношении это было только прелюдией к войне против Швеции, в которой вторая турецкая война является эпизодом, а вторая с Персией — эпилогом. Таким образом, война со Швецией, длившаяся двадцать один год, поглощает почти всю военную жизнь Петра Великого. Рассматриваем ли мы ее цели, результаты или продолжительность, мы можем с полным основанием назвать ее войной Петра Великого. Все его творение опирается на завоевание Балтийского побережья».

Маркс думал, что он нашел, наконец, решение задачи и разгадал загадку Сфинкса, которой является существование русского колосса. А вместе с этим он также установил, откуда ведет свое происхождение англо-русское рабство, под игом которого находилась Европа его времени.

«Разве тот факт, что преобразование Московского государства в великорусское совершалось путем превращения его из полуазиатской континентальной страны в господствующую державу Балтийского моря,—разве уже один этот факт не приводит нас к убеждению, что Англия, величайшая морская держава того времени, к тому же еще морская держава, расположенная у входа в Балтийское море, где она с средины XVII столетия играла роль главного арбитра, должна была играть выдающуюся роль в этом превращении? Что она должна была быть или главной опорой, или главным противником Петра при осуществлении его планов, что в течение долгой и смертельной борьбы между Швецией и Россией она должна была играть решающую роль, что, если она не употребила всех своих сил, чтобы защищать Швецию, то мы с уверенностью можем сказать, что она пустила в ход все, чтобы помочь Московии? И все же в том, что обыкновенно называется историей, Англия едва появляется на сцене и изображается больше, как зритель, чем актер этой драмы. Действительная история покажет нам, что ханы Золотой Орды не в большей степени были орудиями для выполнения планов Ивана III и его предшественников, чем Англия—орудием Петра и его преемников, планы которых она помогала осуществлять».

Рассмотрим поближе, чему учит нас эта «действительная история».

IV. Татарское иго и русское самодержавие.

«Непреоборимое влияние» России, которое с XVIII столетия поражало всех мыслящих людей Западной Европы и окончательно установилось в первой половине XIX столетия, в неменьшей степени являлось загадкой и для русской интеллигенции, слишком осязательно чувствовавшей на себе весь политический гнет русского колосса. Непрерывное развитие и укрепление «государства», на ряду с полной пассивностью «общества», превратило весь русский народ в одну компактную массу, которую русский абсолютизм бросал на весы внешней политики с решительностью, не останавливавшейся ни перед какими жертвами. Чем больше на Западе обнаруживалась противоположность между «государством и обществом», тем ярче обнаруживался контраст между ним и Россией. Если «правители» Европы смотрели с завистью на русский абсолютизм, не стесняемый никаким парламентом, а демократические элементы питали к нему ненависть, то и для тех, и для других одинаково не подлежало никакому сомнению, что внешнее политическое могущество России об'ясняется именно нераздельным господством абсолютизма. Наоборот, то обстоятельство, что внешняя политика и успехи в ней являлись самой сильной стороной русского царизма, укрепляло его еще больше внутри страны и помогало ему безжалостно сокрушать всякие попытки оппозиции. И если традиционное представление о государственной власти, как о Демиурге национальной истории, продолжает господствовать и в Западной Европе, то в России оно было твердо установленным догматом».

Одни проклинали царизм, другие его благословляли. Но видели ли в нем, как во всей русской истории, совершенно самобытное явление, или только одну из фаз общественного развития, давно пройденную Западной Европой, — он для всех одинаково являлся источником всего исторического развития России, ее главным определяющим фактором. И теперь еще наиболее видные

представители русской исторической науки проводят резкую грань между Западной Европой и Россией. Там, на Западе—государство было создано гражданским обществом, и в последнем приходится поэтому искать ключ к пониманию его исторического процесса развития. В России, наоборот, государство создало «гражданское общество», и именно оно было движущей силой русской истории.

Послушаем, например, Милюкова:

«Дело в том, что у нас государство имело огромное влияние на общественную организацию, тогда как на Западе общественная организация обусловила государственный строй. Европейское общество строилось, так сказать, извнутри, органически, от низших этажей к высшим. Фундамент этой исторической постройки — крестьянство — сложился в главных чертах уже во время народных переселений VI — VIII столетий. Затем, на этом фундаменте надстроен был в средние века второй этаж — европейской феодальной аристократии, сильной своим крепостным крестьянством. Наконец, только к новому времени, путем упорной борьбы с этим вторым общественным слоем, путем отдельных мелких побед над правами и привилегиями частных лиц, сословий, провинций, выдвинулось сильное государство, постепенно и медленно расширявшее пределы своей компетенции. У нас (в России) исторический процесс шел как раз обратным порядком—сверху вниз. Если оставим в стороне Киевскую Русь, у которой были совсем другие условия исторического развития, в северно-восточной Руси представитель государственной власти, князь, был чуть ли не первым оседлым жителем государства. Вокруг него все находилось в движении, все население приходило и уходило... Среди этого «жидкого элемента» нашей истории, как любил выражаться историк Соловьев, мало по малу выделяется небольшой круг личных помощников князя, его «вольных слуг»... Из последних образовался класс землевладельцев, прикрепленных к князю. Только благодаря усиленным совместным стараниям правительства и землевладельцев удается, наконец, привести и этот элемент в твердое, в «крепостное» состояние. Таким образом, у нас государственная власть закрепляет под собой землевладельцев,—землевладельцы закрепляют под собой земледельцев. Этот способ постройки надолго сохранил за верхом русского общества, за правительственной властью, руководящую роль в процессе исторического домостроительства. Русскому государству не только не приходилось бороться с правами и привилегиями частных лиц и общественных групп, но оно само старалось вызвать эти общественные группы к существо-

ванию и деятельности, с тем, чтобы воспользоваться этой деятельностью для своих собственных целей» [1]).

Мы нарочно цитировали г. Милюкова, так как и в Германии его «Очерки»—неожиданно для самого автора—были представлены, как «марксистская история культуры России». Так же мало марксист, как и Лампрехт, хотя несомненно испытавший на себе влияние марксизма, г. Милюков принадлежит к числу тех русских историков, которые придавали большое значение «экономическому фактору» в истории России и много сделали для изучения ее социально-экономической и финансовой истории. И все-таки, несмотря на этот крупный шаг вперед в сравнении со старой исторической школой, и для них государство—как мы видели—с известного момента, в отличие от Западной Европы, становится главным определяющим фактором русской истории.

Это традиционное представление разделялось и русскими революционерами. И для них было несомненно, что наши общественные формы обязаны своим существованием государству, что оно, по своему произволу, создавало общественные классы, что оно давало направление всему общественному развитию, что оно является главным источником угнетения и эксплоатации трудящихся классов. Связанный с идеализацией порядков древней, домосковской России, этот тезис одинаково признавался и Бакуниным и Ткачевым, он же лежал в основе всей тактики и политической деятельности «Народной Воли». Русский царизм превращался в тяжелое наследие старого прошлого, не имевшее никаких корней в настоящем, только мешавшее общественному развитию.

В несколько модернизованном виде этот тезис вошел и в новую социал-демократическую программу, которая заявляет, что «царское самодержавие является самым значительным из всех п е р е ж и т к о в докапиталистических общественных отношений и что по с а м о й п р и р о д е с в о е й оно враждебно всякому общественному движению».

Откуда же взялся этот пережиток, отличавшийся, правда, не только удивительной живучестью, но являвшийся и источником жизни для создаваемых якобы им общественных классов? К какому хронологическому пункту можно было приурочить его происхождение? На какой стадии докапиталистических общественных отношений зародился этот архаический продукт, по самой природе своей враждебный всякому общественному движению?

---

[1]) Милюков, П. «Очерки по истории русской культуры». Петербург. 1898, с.с. 115—117.

Первые русские историки решали этот вопрос так же просто, как решают вопрос о грехопадении человечества теологи. Добродушные славяне призвали «немцев» устроить в их стране порядок, и после их политического грехопадения в России установилось самодержавие. С этих пор судьбы России определились судьбами самодержавия. Была ли русская монархия результатом добровольного призвания варягов славянами или, по мнению других, являлась результатом завоевания — самодержавная власть представляет первичный фактор всей дальнейшей русской истории. В зависимости от личных свойств тех или других монархов, самодержавие слабело или укреплялось, а вместе с ним слабела или процветала Россия. После расцвета при первых Рюриковичах, единая Россия распадается, вследствие ошибочной политики Ярослава Мудрого, на многочисленные уделы, и, благодаря этому обстоятельству, становится жертвой татар, чтобы после, благодаря на этот раз мудрой политике московских князей, опять объединиться при Иоанне III. Со времени же Романовых, благодаря их еще более мудрой политике, начинается непрерывный рост могущества и благодеяния России.

Это примитивное представление, превращавшее Рюриковичей и Романовых в таких же создателей России, какими Гогенцоллерны, по мнению оффициальной прусской историографии, являлись для Германии, встретило протест уже среди декабристов, но продолжало господствовать до пятидесятых годов, как оффициальная философия истории николаевской России. Правда, под влиянием гегелевской философии, уже в конце 40-х годов, замечается новое течение, но и оно, разрушая старую легенду, старалось только рационализировать русских князей и государей, отвлекаясь от конкретных Рюриковичей и Романовых и, превращая их в «первых служителей государства», делало из русской истории процесс непрерывного развития идеи государства.

Если первые русские историки старались больше доказать, что самодержавие было полезно и что Россия должна быть благодарна своим самодержцам, то новая школа доказывала его историческую необходимость и целесообразность при наличности тех внешних исторических условий, в которых протекала история России. Взгляды ее приобрели господство только в шестидесятых годах, и тогда же вызвали оппозицию со стороны демократических течений, указывавших на значение «народа» и «общества» в старой русской истории и видевших упорную борьбу между «государством» и «народом» там, где только что упомянутые историки видели органический процесс. И тот фактор, который помог москов-

ским князьям окончательно справиться с традициями Киевской Руси, видели именно в татарском нашествии.

Мнение, что татарские завоеватели произвели глубокое изменение в политических отношениях русского общества, что они создали совершенно новую политическую иерархию, пользуется и до сих пор популярностью среди демократических элементов. В борьбе между народом и князем, которой исчерпывается, по их мнению, содержание русской истории до XV века, московские князья победили только потому, что они были ставленниками хана. Опираясь на помощь татар, которых они наводили на Русь, московские князья не нуждались в поддержке бояр или народа для укрепления своей власти и могли беспрепятственно заниматься расширением своей территории. Таким же образом, в противоположность тем историкам, для которых единодержавие явилось результатом органического процесса и которые почти совершенно отрицали значение татарского ига, демократические элементы, видели начало русского единодержавия в татарском иге, и смотрели на него, как на чуждый нарост на народном организме. В лице московских самодержцев победила Азия, заглушившая Европу, частью которой была норманнская Русь. Прошло не одно столетие, пока начался петербургский период русской истории, который, с этой точки зрения, превращался в период, когда под влиянием, в особенности петровских реформ, начался процесс европеизации России.

Главным научным авторитетом, на который опирались приверженцы этого взгляда, являлся близкий друг Чернышевского, историк Костомаров. В наиболее полном и систематическом виде он изложил свои взгляды в особой монографии: «Начало единодержавия в древней Руси», опубликованной через 15 лет после напечатания разбираемых нами статей Маркса. Сходство некоторых основных идей этой работы со взглядами Маркса на значение татарского ига иногда доходит до буквального совпадения, как это видно из следующей цитаты:

«В дотатарский период не вырабатывалось никаких основ для будущего единодержавия в России, а тем более не было сознательного стремления к нему... С татарским завоеванием произошел быстрый и крупный поворот... Прежде над Русью не было единого господина,—теперь он явился впервые в особе грозного завоевателя, хана. Русь, покоренная его оружием, стала его военною добычей, его собственностью; все русские, от князя до холопа, стали его рабами без исключения. В этом-то рабстве Русь нашла свое единство, до которого не додумалась в период свободы... Ханы подняли звание старейшего князя, дали ему власть и силу... Оно по-

лучалось одним путем—поклонами и угодничеством владыке... Раболенство перед завоевателем служило единственным ручательством за спокойствие страны» [1])...

Для Маркса татарское нашествие играет роль стихийного фактора, вторгнувшегося в русскую историю: одним ударом татары снесли все европейские начатки и превратили Киевскую Русь в азиатскую страну. Татарское иго деморализовало не только князей, но и весь народ, превратив его в раба. Татарщина наградила Россию деспотизмом, она же дала ей крепостное право. Московская Россия до самого Петра остается азиатскою страной.

Марке не щадит черных красок для описания всех гнусностей московских князей. Так же поступают Костомаров и его последователи. Но в то время, как последние стараются отделить князей от народа, и, беспощадно разоблачая легенды о личных доблестях московских Иванов, Дмитриев и Василиев, указывают на упорное сопротивление и геройскую борьбу против татар, Маркс отрицает у русского народа те качества, которые он признает за испанцами. Увлеченный своей основной мыслью, он забывает, что и испанцам понадобилась не одна сотня лет, чтобы избавиться от арабского господства. Даже Костомаров, своей беспощадной критикой разрушивший легенду о личном геройстве Дмитрия Донского, при котором татарам нанесено было первое сильное поражение, характеризует Куликовскую битву (в 1380) такими же словами, какими обыкновенно определяется значение сражения при Las Navas de Tolosa (в 1212).

Марке совершенно прав, когда указывает на глубокое отличие норманнской России от московской. Так же мало, как империя Оттонов может быть названа колыбелью Бранденбурга, может и Киевская Русь считаться колыбелью Москвы. Но из этого еще не следует делать вывод о какой-нибудь непроходимой пропасти между этими двумя периодами русской истории. Не следует забывать, что татарское нашествие нашло Киевскую Русь далеко не в таком виде, какой она имела в период своего расцвета в X—XII веках. Хотя она и тогда находилась на большой дороге народов, через которую из глубины Азии выливались на Западную Европу один поток кочевников за другим, хотя в течение всего этого времени ей приходилось бороться с хазарами, печенегами и половцами, ей удавалось справляться с набегами. Киев тогда был цветущим торговым городом, через который шла торговая дорога

---

[1]) Костомаров, Н. «Собрание сочинений», том 5. «Начало единодержавия в древней Руси». Петербург, 1905, сс. 5—95.

между скандинавскими странами и Константинополем. Как раз тогда, когда Германия, оставшаяся долго изолированной от главных дорог мировой торговли и соприкасавшаяся с ним очень слабо на Рейне, с началом крестовых походов и перенесением центра тяжести всемирной торговли из Константинополя в Италию, начинает выходить из натурального хозяйства, Киевская Русь перестала играть старую роль посредника между Константинополем и скандинавскими странами. Продукты охоты и рыболовства, направлявшиеся прежде в Киев, теперь, при посредстве Пскова и Новгорода, направляются к Балтийскому морю, где торговля изменяет коренным образом свой характер, как раз в течение XII и XIII столетий, где к тому времени начинается быстрое развитие городов Любека и Висби. Ко времени татарского нашествия Киев уже давно потерял свое торговое значение, и центр тяжести политической и экономической жизни переместился с юго-запада на северо-восток.

Маркс сам указывает, что прошло около ста лет со времени татарского нашествия, пока Москва начала выделяться из среды остальных княжеств. Кроме относительной безопасности от татарских набегов, ее возвышению в значительной степени способствовало то обстоятельство, что она находилась на перекрестке двух самых торговых путей—с Волги к Западной Двине и из Новгорода в Рязанскую область. В Москву в XV веке стекалось множество европейских торговцев из Польши и Германии для покупки мехов. Главная отрасль промышленной деятельности старого времени—добывающая: охота, бортничество и рыболовство—дополняется и сменяется земледелием. Увеличивается оседлое население, прикрепленное своими занятиями к земле. В Москве и в других городах увеличивается посадское, т.-е. торгово-промышленное население.

Конечно, союз с татарским ханом давал известные преимущества, но в борьбе между Тверью и Москвой победили в последней инстанции не козни и интриги московских князей—в этом отношении тверские князья мало чем уступали своим соперникам,—а экономическое превосходство Москвы, наполнявшее деньгами тот кошелек, при помощи которого Иван Калита и его преемники могли в Золотой Орде покупать себе ярлыки на великое княжение и право на сбор дани. Как и во всех других случаях, когда речь идет о внешнем влиянии, характер и сила последнего определилась внутренними условиями. Как ставленник хана, московский князь одержал победу не в борьбе за укрепление абсолютизма, а в конкурренции между отдельными князьями. Он стал, в конце концов, самодержцем всея Руси не в смысле абсолютного, неогра-

ниченного государя, а в смысле независимого, суверенного государя. Московский князь не был абсолютным государем даже в пределах собственного княжества, и прошло еще много десятков лет, пока ему удалось, опираясь на торгово-промышленное население и служилое сословие, справиться с потомками старых удельных князей и боярской оппозицией.

Татарская опасность в истории образования России играла точно такую же роль, как «турецкая опасность» в истории создания Австро-Венгрии, сарацинская в истории Испании, шведская—в истории Пруссии и т. д. Заставляя напрягать все военные средства страны, она решала спор в пользу той ее части, которая могла выставить самую крупную силу, а этот вопрос решался не личными качествами Габсбургов, Гогенцоллернов, Рюриковичей, а экономическими и финансовыми средствами области, во главе которой они стояли. Что касается истории русского абсолютизма, то в ней мы встречаем ровно столько же специфически татарских влияний, сколько в истории, скажем, прусского и английского.

Лучшим доказательством служит история русского самодержавия со времени Иоанна III, когда оно, по общему признанию, окончательно установилось в России. На всем протяжении «докапиталистических отношений», вплоть до эпохи великих реформ, оно менее всего является primus agens. Характер и даже внешняя форма его сильно и непрерывно изменялась. Так же, как Западная Европа, Россия пережила процесс образования сословной монархии. И если этот процесс, как и процесс смены сословной монархии длился дольше, чем в некоторых странах Западной Европы, то это обстоятельство может и должно быть об'яснено так же, как аналогичное развитие абсолютной монархии в Пруссии и Австрии. Элементы, из которых создался абсолютизм в России, так же мало являются его продуктом, как и элементы, из которых образовался абсолютизм в Пруссии, являются продуктом последнего. Развитию абсолютизма в большей или меньшей степени благоприятствует наличность внешней опасности, наличность национальных, или областных антагонизмов, но он немыслим без централизации экономической жизни, без товарного производства, без денежного хозяйства, как он немыслим без армии и без финансов.

Он так мало является «пережитком докапиталистических отношений», что, наоборот, только на известной стадии развития капитализма достигает апогея своего развития.

«По самой природе своей» он является орудием экономической и политической эксплоатации, и история абсолютизма в России, как и в Западной Европе, сводится к истории борьбы господствую-

щих классов и их фракций за обладание этим могучим орудием и приспособление его к потребностям.

Для Маркса все эти внутренние условия развития абсолютизма в России совершенно исчезают. Поэтому, в его изображении совершенно пропадают два столетия русской истории от Иоанна III до Петра, которые отмечаются коренной перегруппировкой общественных классов. Достаточно указать, что в начале этого периода мы еще находим свободное крестьянство, которое окончательно закрепощается при Петре I. Как и в Германии, капиталистическая эпоха в деревне имела своей провозвестницей эпоху сельско-хозяйственного крупного производства на основе крепостного и барщинного труда. Победа абсолютной монархии над старым родовым дворянством куплена была за счет свободного крестьянства, которое было отдано в жертву новому дворянству. Как раз, когда абсолютизм выступает на европейскую арену в полном блеске своего могущества, он становится окончательно орудием в руках дворянства. XVIII-й век—это эпоха разнузданного господства дворянства, и самым дворянским царствованием является царствование Екатерины II, преданного «друга» европейских энциклопедистов.

Пропустив всю внутреннюю историю России от Иоанна III до Петра I, Маркс запер себе путь к пониманию ее внешней политики. Как мало помогло России присвоенное ею себе, по словам Маркса, могущество Золотой Орды, показывает история России в течение XVI и XVII столетий, когда ей приходится вести упорную борьбу на севере со Швецией, на западе с Ливонией и Польшей, на юге с крымскими татарами и после турками, на востоке опять-таки с татарами. Как будто повторяя историю Пруссии, русские историки изображают процесс превращения России в военную монархию под влиянием этих непрерывных войн, опустошавших многие области Московской России несравненно сильнее и более систематически, чем татарское иго. Крымский хан самым непочтительным образом относился к преемнику Чингисхана и так же настойчиво требовал дани, как ханы Золотой Орды. Если в конце XV столетия венецианцы, папы и Максимилиан делают еще попытки привлечь Москву к участию в борьбе с «турецкой опасностью, то проходит почти двести лет, пока в конце XVII столетия Россия настолько укрепляется, что перестает быть quantité negligeable в области европейской политики.

Одной из причин, задержавших темп развития России, была та же самая причина, которой Маркс об'яснял задержку в развитии Германии, начиная с XVI столетия: новое изменение торговых пу-

тей. Характерно, что самая упорная борьба между Польшей и Ливонией, с одной стороны, и Москвой за обладание Балтийским морем происходила как раз тогда, когда ось мировой торговли переместилась с балтийского меридиана на побережья Атлантического океана. Падение Ганзы нанесло новгородской торговле более жестокий удар, чем подчинение Москве. Соперничество лифляндских городов и шведских купцов добивало уже падавшую Ганзу. Политическое значение ее падало вместе с ее экономическим могуществом. Господство на Балтийском море переходит от поляков к шведам, которые окончательно запирают русским выход в Балтийское море. Нарву, которою русские овладели в 1558 г., они вынуждены были отдать шведам в 1581 г. Таким образом, Россия, торговля которой получила сильный толчок вследствие приобретения Казани и Астрахани, лишилась возможности принимать самостоятельное участие в торговле на Балтийском море, как раз тогда, когда она присоединила к себе Сибирь и когда Волга стала вполне русской рекой.

России, таким образом, грозил полный экономический застой. Но торговля с Западной Европой, шедшая до сих пор главным образом через Балтийское море, нашла себе новый выход. Его проложили англичане через Белое море. В 1584 г. основан был Архангельск, который с тех пор становится главным центром внешней торговли России и остается им до основания Петербурга. За англичанами явились голландцы. Тем, что Петр I сумел укрепиться на Балтийском море, он в последнем счете обязан англичанам и голландцам. И если уже говорить о «вине», которая падает на Англию, как главную виновницу возвышения России, то это преступление совершено Англией задолго до северной войны. Чтобы понять, как и почему складывались отношения между Англией и Россией в XVII столетии, нам необходимо познакомиться с той ролью, которую Англия сыграла в деле «европеизации» России.

V. Европеизация России под влиянием английской торговли.

Огромная роль, которую играла колониальная система, как один из главных моментов первоначального накопления, заставляет часто забывать, что классическая страна капитализма, Англия, вплоть до XVII века, почти не имела колоний, что только со второй половины этого века можно говорить об Англии, как о колониальной державе.

В то время, как португальцы и испанцы постепенно овладевали Новым Миром и торговлей азиатскими продуктами, англичане заняты были тем, что освобождались от зависимости от ганзейцев, в руках которых находилась вся их внешняя торговля. В 1552 году у Ганзы были отняты ее главные привилегии в Англии, и почти в это же время из купцов и некоторых представителей дворянства составилась в Лондоне компания с целью подорвать португальскую торговлю пряностями. В 1553 году снаряжена была экспедиция, которая должна была направиться в Индию чрез северо-восточный проход. Экспедиция кончилась неудачей. Начальник ее, Виллоуги (Willoughby), погиб с двумя кораблями, но капитан третьего корабля, «Благое предприятие», Ричард Ченслер (Chancelor), был прибит к берегу Белого моря, к устьям Северной Двины. Оттуда он попал в Москву, где и был принят очень радушно Иваном Грозным [1]).

Когда Ченслер вернулся в Лондон, то общество его получило хартию на право монопольной торговли с Россией и со всеми странами, которые ему удастся открыть. Это было общество «Merchant Adventurers for the Discovery of Lands, Countries, Isles, not before Known, or frequented by any English» («общество купцов

---

[1]) Ливония, Польша, Швеция не хотели пропускать в Россию ни оружия, ни техников. Как раз незадолго перед этим кончилась неудачей попытка доставить в Россию несколько десятков ремесленников, наборщиков, врачей. Император Рудольф II поступал не лучше.

предпринимателей для открытия стран, земль, островов, даже еще неизвестных или не бывших в сношениях с Англией»). Больше известное под названием «московской» (Moscovy) или «русской» (Russian) компании, под которым упоминает ее и Маркс. После «Merchant Adventurers of England», получившей свою хартию в 1505 году, это самая крупная торговая компания в XVI столетия.

В 1555 г. Ченслер был снова послан в Россию, где он опять принят был очень милостиво. Русской компании было пожаловано право на беспошлинную торговлю всякими товарами по всей России. Кроме того, все споры между английскими купцами и русскими должны были разбираться самим царем. Иван Грозный, которому в английской грамоте дан был громкий титул «emperor of all Russia (император всея России), решил завязать непосредственные сношения с английским правительством. Вместе с Ченслером был отправлен царский посланник Осип Непея. Корабль потерпел крушение, богатый груз из русских произведений—воск, сало, меха, войлок и канатная пряжа—погиб, большая часть экипажа, вместе с Ченслером потонула, но Непее удалось спастись. В Лондоне ему был оказан самый почетный прием. Вместе с Непеей в Россию поехал Дженкинсон, известный путешественник. Ему, с разрешения Грозного, удалось добраться по Волге и Каспийскому морю до Средней Азии. После этого путешествия, Русская компания начинает добиваться свободной торговли через Россию с Персией. В 1569 г. монополия англичан была подтверждена, и компании было разрешено беспошлинно провозить товар в Бухару и Cathay (Китай и Индию).

По следам за англичанами явились голландцы. Явившись позднее англичан, они получили меньше льгот и часто должны были прибегать к посредничеству англичан. Отношения между конкурентами скоро обострились, и голландцы пользовались всякими средствами, чтобы лишить англичан их монопольного положения. Они указывали, что Англия торгует чужими товарами и берет за них неслыханные цены.

В обмен на те льготы, которые он предоставил англичанам, Грозный надеялся добиться от Англии помощи в борьбе с Польшей и Швецией. Но Елизавета упорно отказывалась от всякого союза.—не потому, что она боялась возвышения России: такой союз мог быть выгоден только последней и совершенно бесполезен для Англии.

«По мере того, как Англия начала выдвигаться, как торговое государство, интересы ее становились враждебнее интересам Испании, великой торговой державы шестнадцатого столетия, которая

господствовала в западной части Средиземного моря и стремилась к исключительному господству на океане. Почти всюду, где английская торговля пыталась упрочиться, она натыкалась на сопротивление или задержки со стороны Испании... Таким образом, в шестнадцатом столетии Испания стала для Англии исконным врагом, сосудом всякой мерзости» [1]).

Этим антагонизмом определялась вся внешняя политика Англии в эпоху Елизаветы. Создавать себе новых врагов накануне Армады было бы очень неосторожно, тем более, что русско-английские торговые сношения на Белом море вызывали сильное неудовольствие балтийских держав.

Упорство Англии рассердило, наконец, царя, и он, после сердитого письма Елизавете [2]), в 1570 г. отнимает у англичан все привилегии и право торговли с Персией. Русская компания немедленно подняла крик и обратилась к Елизавете с просьбой спасти английскую торговлю от разорения. Несмотря на ругань Грозного, она посылает опять Дженкинсона, которому удается, — правда, ненадолго — добиться старых льгот. Больше всего Грозного возмущало то, что «купеческие дела поставлены впереди и сочтены важнее наших (царских) дел, хотя их успех должен бы зависеть от сих последних», и он грозился передать всю торговлю в руки венецианцев и германцев. Гнев на милость он сменил только в 1580 г., когда был вынужден обратиться к Англии, чтобы получить военные припасы для войны против Швеции и Польши. Елизавета поспешила удовлетворить эту просьбу, и весною 1581 г. в Россию было отправлено 13 судов со всякими припасами. Новое предложение Грозного заключить союз против Стефана Батория было отклонено. Несмотря на происки голландцев, Грозный должен был опять утвердить привилегии англичан, так как к этому времени он окончательно потерял все свои завоевания на Балтийском море. Когда вскоре затем Грозный умер (в 1584 г.), один из заклятых врагов англичан и благоприятель немцев в торговле, дьяк Щелкалов (которого англичане обвиняли в том, что он под-

---

[1]) Karl Kautsky, «Thomas More und seine Utopie», Stuttgart 1907, SS. 237—8.

[2]) «И мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь и своей государской чести смотришь и своему государству прибытка. И мы потому такие дела хотели с тобою делать. Ажно у тебя мимо тебя люди владеют и не токмо люди, но мужики торговые, и о наших государских головах и о честях и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица». Худшего ругательства Иоанн не мог подобрать.

куплен голландцами) сказал английскому послу: английский царь умер [1]).

Мы видели, что Англия, в высшей степени дорожа торговыми сношениями с Россией, упорно отказывалась от всякого политического союза с нею и смотрела на нее только, как на колонию. Вопрос о господстве на Балтийском море в это время ее совершенно не интересовал. Она так же мало была склонна помогать Швеции, как и России. На первом плане стояли торговые интересы и желание сохранить в своих руках монополию торговли с Россией через Белое море, где ей меньше приходилось считаться с соперничеством голландцев и шведов. В 1583 г. Елизавета, вопреки настойчивым просьбам Густава, короля шведского, заключила с Данией договор о свободном пропуске английских кораблей к устью Двины, при чем выговорила для них право беспрепятственно заходить, если случится бурная погода, в норвежские и исландские гавани. Число английских кораблей, посещавших Россию, увеличивалось из года в год и в 1582 г. дошло до 9. В 1584 г. у устьев Двины был заложен новый город, получивший название Новых Холмогор, и в 1637 переименованный в Архангельск. До основания Петербурга, это был главный коммерческий порт России, через который шла вся ее торговля. Наиболее важными предметами вывоза в Англию были меха, кожи, лен, пенька, канаты, мачтовый лес, сало, смола и деготь; ввозили же англичане в Россию, главным образом, сукна, шерстяные и шелковые материи, галантерейные товары, сахар, бумагу и металлы.

После смерти Грозного положение англичан ухудшилось: они должны были платить пошлины, правда, в половинном размере, и только с воцарением Бориса Годунова они получили в 1602 г. опять право на беспошлинную торговлю, которое было подтверждено им в 1605 г. Но на всякое предложение о союзе Англия отвечала отказом.

«Смутное время» очень чувствительно отзывалось на торговых оборотах англичан, и в Англии принимали самым радушным образом посла с извещением о вступлении на престол Михаила Романова. Московское правительство оставило за англичанами все их привилегии. Англия опять-таки отказалась от союза, но предложила свое посредничество в заключении мира между Швецией и Россией, чтобы обеспечить за собой право торговли с Персией и право отыскивать путь в Индию. В 1617 г. в Столбове был заклю-

---

[1]) Костомаров. «Очерк торговли Моск. гос. в XVI и XVII столетиях». в «Собрании сочинений», том восьмой, стр. 284. Петербург. 1906 г.

чен мир, при чем английский посол жаловался на интриги голландских послов, также фигурировавших в качестве посредников. Англичане все сильнее начинают чувствовать конкурренцию голландцев, которые тогда уже успели завоевать господствующее положение в балтийской торговле. Кроме того, все сильнее становилась оппозиция московских купцов, с которыми Романовым пришлось серьезно считаться.

Повторилась — только в другом масштабе — та же история, что в Англии с ломбардцами и ганзейцами. Московские купцы оказались такими же горячими «националистами», как и лондонские, и они не успокоились, пока у англичан не были отняты привилегии.

При Михаиле Россия делает первую попытку обеспечить себе путем союза с Англией субсидию, но ей удалось получить всего 40.000 ефимков в виде пособия. Московское купечество, наконец, добилось, чтобы англичанам не давали права беспошлинно торговать с Персией. Это был первый шаг. Английская революция доставила желанный повод лишить англичан тех льгот, которыми они пользовались почти сто лет. Больше всего негодовали против мятежных англичан и возбуждали, вместе с московским купечеством, против них правительство именно протестанты и республиканцы — голландцы.

В 1646 г. московские купцы подали царю Алексею жалобу на иностранных купцов и просили спасти их от разорения.

«Всеми торгами, которыми искони мы торговали, завладели английские немцы и оттого мы от своих вечных промыслов отстали и к Архангельску больше не ездим». Англичане «все Московское государство оголодили: покупая в Москве и в городах мясо и всякий харч и хлеб, вывозят в свою землю». К этому они прибавляют аргумент, который должен быть особенно убедителен для правительства: англичане «крадут государеву пошлину», и уличают их в том, что они не могут ссылаться на свою хартию, потому, что англичане «торговые люди от короля своего Карлуса отложились и бьются с ним четвертый год».

Но только 1 июня 1649 г., после казни Карла I, царским указом высланы все английские купцы из Москвы и других городов: «великому государю нашему ведомо учинилось, что англичане всей землею учинили большое злое дело: государя своего Карлуса убили до смерти и за такое злое дело в Московском государстве вам быть не довелось».

Но негодование было не настолько сильно, чтобы совершенно отказаться от английской торговли. За англичанами оставлено

было право приезжать в Архангельск, но отменялось их право торговать беспошлинно. Во всяком случае для Русской компании это был чувствительный удар.

Претенденту (будущему Карлу II), обратившемуся с просьбой о денежной помощи, было отказано, и вместо 100.000 руб. ему было послано соболей на 15.000 руб. и хлеба на 5.000 руб. Попытка Кромвеля вернуть привилегии английских купцов кончилась неудачей. Но и воцарение на престол Карла II, несмотря на возобновившиеся дружеские отношения с Англией, не привело к восстановлению старых привилегий; английский резидент от имени Карла II признал царский указ 1649 г. знаком особой дружбы к королю и выразил надежду, что теперь, после реставрации, это наказание, наложенное на непокорных подданных короля, будет снято. Но несмотря на это угодничество, после долгих переговоров, англичане получили только право ездить в Москву в количестве не больше 10 купцов. С 1664 г., когда Англия получила этот отрицательный ответ, до начала XVIII века, старые дружеские отношения изменились к худшему.

Англичане, правда, не ушли. Они только вынуждены были отказаться от беспошлинной торговли. Голландцы добились уравнения в условиях конкурренции.

Но Россия была уже опять связана с Европой крепкими узами внешней торговли. Именно в XVII веке, под влиянием англичан и голландцев, начался, так называемый, процесс европеизации России.

Денежное хозяйство, развитие которого было задержано в XVII веке, пока совершался процесс перемещения торговых путей, сейчас же после смутного времени, начинает быстро развиваться. Образуется целый ряд новых торговых центров, по главным дорогам к Москве и из Москвы на север в Архангельск. Из Москвы шло 6 торговых путей: «Москва была средоточием торговой деятельности для всей России. Значение ее возвышалось еще тем, что правительство само занималось торговыми операциями, и сам царь, как выразился один англичанин, был первым русским купцом в России» [1]). Из Москвы товары чрез Ярославль, Ростов и Переяславль отправлялись в Вологду, где англичане скупали привозившийся туда лен и имели складочный пункт для своих товаров, и откуда они направлялись в Архангельск. Рядом с Москвой в центре России развивался Нижний-Новгород, который в XVII веке сделался складочным местом для азиатских товаров, приво-

---

[1]) Н. Костомаров, там же, стр. 284.

зимых из Астрахани, западно-европейских — из Архангельска, сибирских—из Казани, московских для отправки на Восток. Этот же город сделался местом закупки хлеба и сбыта его в северные области. С помощью целой сети мелких скупщиков, крупное купечество опутало всю страну и захватило в свои руки всю внутреннюю торговлю. Отстаивая свои привилегии, англичане совершенно верно указывали, что их торговля была выгодна для мелких торговцев. Но именно это обстоятельство настраивало против них крупное купечество. Оно хотело стать исключительным посредником между иностранными торговцами и русскими производителями и потребителями. Новоторговым уставом 1667 г. иностранцам было дозволено торговать во внутренних городах России только по особым государевым грамотам и при том со взысканием с них особых дополнительных сборов. Они были обложены проезжей пошлиной в размере 20 денег с рубля, как за ввозимые, так и за вывозимые из России товары.

О размерах вывозной торговли через Архангельск трудно составить себе точное понятие. В 1653 г., т. е. в год, когда торговля с англичанами в значительной степени пострадала, вывоз равнялся 1.032.406 тогдашним рублям — сумма для того времени крупная [1]). Средняя сумма таможенного дохода в Архангельске составляла 70.000 руб. в год. К началу царствования Петра вывоз через Архангельск равнялся уже 3 миллионам.

В XVII же веке началось насаждение индустрии при помощи голландцев, англичан, гамбуржцев. В 1630-х годах голландский капиталист Виниус получил привилегию на устройство железного завода около Тулы. Таким путем возникли знаменитые Тульские заводы. В 1670 году составилась компания под руководством гамбургского капиталиста Марселиуса и голландского Акима, получившая такую же привилегию на устройство железных заводов на Ваге, Костроме и Шексне.

Купечество, которое так ревниво относилось к привилегиям иностранных торговцев, поощряло правительство в выдаче привилегий промышленных. «Как станет у англичан какой промысел, то и государевы люди станут тем же промышлять. Если англичане будут находить руды и выделывать железо, то никому убытку не будет, а только прибыль».

Москва становится во второй половине XVII века средоточием, куда массами стекаются ремесленники, техники, авантюри-

---

[1]) По расчету Ключевского, рубль 1651—1700 г. соответствовал 17-ти нынешним.

сты и шарлатаны. Уже около половины XVII века, по свидетельству Олеария, в Москве считалось до тысячи одних только протестантских семейств, — главным образом, англичан (шотландцев) и голландцев. Немецкая слобода была немецкой только по имени. Первое место в ней занимают англичане и шотландцы. Та самая революция, которая дала повод московскому правительству лишить англичан их привилегий, пригнала в Москву всех недовольных Кромвелем, — Дрюмондов, Гамильтонов, Дальциелей, Крауфордов, Грэхамов, Лесли, Гордонов. В этой атмосфере Петр воспринимал не только европейскую культуру, но и симпатии к английской династии Стюартов.

И не со стороны Петра, а раньше его начинается процесс политической централизации, предпринимается ряд реформ в области военного дела и финансового устройства. Развитие денежного хозяйства дало возможность превратить многие натуральные подати и повинности в денежные. Земские соборы, игравшие такую видную роль в XVI и XVII веках, упраздняются. Намечается реформа областного и городского управления. Своеобразные внешние формы, которые принимает этот процесс образования абсолютной монархии, нисколько не скрывает тождества его основных черт с соответственным процессом в Западной Европе, как его описывает в своем «Thomas More» Каутский.

«Вполне естественно, что новая политическая центральная власть кристаллизовалась вокруг личности государя, что он образовал вершину централизованного управления и армии. Его интересы и интересы торговли были одинаковы... Торговля нуждалась в армии для защиты ее интересов как вне, так и внутри страны... Но новому государству необходим был государь не только в качестве вождя армии, но и в качестве главы государственного управления. Феодальный, партикуляристический аппарат управления рушился, новый же, централистический механизм управления, бюрократия, едва только зарождался. Политический централизм, явившийся для товарного производства с развитой торговлей, на пороге капиталистического способа производства, экономической необходимостью, чтобы способствовать экономической централизации, — как и наоборот, сама эта экономическая централизация обусловливала и вызывала усиление политической централизации, — этот политический централизм нуждался в начале своего существования в главенстве одной личности, которая была бы достаточно сильна, чтобы отстаивать единство управления от центробежных элементов, в особенности от дворянства. Такой силой обладал только вождь армии. Сосредо-

точение всех нитей власти как военного, так и административного аппарата в одной руке, другими словами, государственный абсолютизм был экономической необходимостью в век реформации и еще долго спустя после нее» [1]).

Такой же экономической необходимостью явился государственный абсолютизм в России. В Петре Великом он нашел свою персонификацию, которая, по своей энергии и преданности идее государства, может занять место рядом с классическими представителями этого типа. И только потому, что Маркс не заметил, что Петр был в сущности продуктом зарождающегося европейского капитализма, он мог увидеть в нем просто преображенного татарина: вопрос о том, принадлежит ли Россия к Азии или к Европе, был уже решен бесповоротно в конце XVIII столетия, и восприемниками России, ее воспитателями, были наиболее крупные торгово-промышленные страны того времени — Англия и Голландия.

---

[1]) Karl Kautsky, «Thomas More und seine Utopie», Stuttgart. 1907, SS. 17—18.

VI. Значение русской торговли для Англии.

Но торговые сношения между Россией и Англией имели большое значение и для Англии. Во второй половине XVI века эта торговля служила, на-ряду с морским разбойничеством и торговлей рабами, одним из главных источников «первоначального накопления». Когда сломлена была монополия Ганзы на Балтийском море, торговое преобладание на нем перешло к Голландии, и оставалось за ней вплоть до XVIII века. Попытки Англии захватить в свои руки наследство Ганзы окончились неудачей, и Eastland Company, получившая свою хартию в 1579 г., в течение целого столетия не могла сломить конкурренцию голландцев. По словам Чайльда, торговля голландцев превышала еще в конце XVII столетия английскую торговлю в 10 раз.

Но «Русская компания» сыграла большую роль и в другом отношении. Она организовала китоловный промысел около Шпицбергена. Конкурренция в этой области шла опять-таки с голландцами, которые не замедлили появиться вслед за англичанами. Русская компания смотрела на Северный Ледовитый океан, как на свою собственность. Если она позволяла заниматься китоловным промыслом, то только за большую пошлину. Голландцы, отстаивавшие и тут принцип mare liberum, снаряжали туда военный флот для защиты своих китоловов. Пользуясь превосходством, голландцы наносили большие убытки Русской компании, которая должна была заключить соглашение с недавно основанной East India Company. Особенно обострились отношения между Англией и Голландией как раз в 1617 г., когда, как мы видели, англичане и голландцы явились посредниками при заключении мира между Швецией и Россией. Вообще антагонизм между голландцами и англичанами, который привел к открытому разрыву при Кромвеле, питался в первой половине XVII столетия столько же конкуренцией в области колониальной торговли, сколько и борьбой за обладание севером и русским рынком. Тор-

говля с Россией приносила не менее колоссальные барыши, чем колониальная. При Алексее (1645—1676) эксплоатация превосходного мачтового леса по р. Югу была сдана иностранной компании, которая нагрузила лесом 4 корабля. Дерево ей обошлось в 25—30 коп., а продано за границей по 4—5 руб. Когда голландцам удалось вытеснить англичан, разжигая негодование русских монархистов против «цареубийц», то в несколько лет они в одном Архангельске уже имели около 200 агентов.

Так созданы были в России «британские интересы», которые требовали дипломатической защиты. Как в Нидерландах, Германии и скандинавских странах английскими дипломатическими агентами служили, главным образом, члены компании «Merchant Adventureres of England», так в России ими являлись члены «Russian Company». Посредником со стороны Англии при заключении мира в Столбове был также член правления этой компании Меррик.

«Колониальная система в необычайной степени ускоряла развитие торговли и мореплавания. Торговые общества, «monopolia» (как их называл Лютер), служили могущественным рычагом концентраций капитала. Возникающим мануфактурам колонии обеспечивали рынок сбыта и, при помощи монополии рынка, усиленное накопление» (Маркс).

В Англии 1550—1650 г.г. господствующую роль играли общества-монополии, главной сферой деятельности которых оставалась Европа. За ними стояла расцветающая шерстяная промышленность. Если Англия уже к началу XVIII столетия могла обеспечить за собой торговую супрематию, то она этим обязана была и тогда своей промышленной супрематии. Ост-Индская компания, до конца XVII столетия, играет еще незначительную роль в сравнении и с Merchant Adventurers of England, которая обеспечивала английской шерстяной промышленности сбыт сначала через Антверпен, а после через Гамбург, и с Русской компанией, которая организовала этот сбыт в России.

Вполне понятно, что Русская компания пользовалась большим влиянием и могла «поднимать крик». Что к ее «крику» прислушивались очень внимательно, мы видели на протяжении всей истории сношений между Англией и Россией. Следует еще вспомнить, что среди членов Русской компании, как и Гамбургской, было много представителей из среды «gentleman'ов». Если в списке членов Гамбургской компании мы встречаем Sidney, earl of Car-

lisle [1]), earl of Leicester, lord Churchill, lord Ashley и т. д., то еще в первой партии Русской компании мы находим среди имен ее учредителей маркиза Винчестера (Winchester), графа Арондель (Arundel), графа Бедфорда, графа Пемброка.

Но уже в первой половине XVII столетия «крик» ее не был настолько силен, чтобы заглушить «крики» представителей других «британских интересов». Если отношения между этой компанией и Гамбургской продолжали быть дружественными, то еще в конце XVI столетия возникли новые компании, интересы которых далеко не совпадали с интересами русской компании. Вспомним, что ее процветание, в отличие от Гамбургской, зависело не только от сбыта английских мануфактурных изделий в России, но и от удачного хода ее китоловного промысла и транзитной торговли персидским шелком через Россию. Естественно, что интересы ее пришли в столкновение и с интересами Eastland Company, основанной в 1579 г. для торговли на Балтийском море, которая, конечно, не соблюдала строго запрета торговать с Россией через Нарву, и с интересами Turkey (Турецкой) Company, основанной в 1581 г. и сейчас же принявшейся за организацию скупки сырого шелка в Персии. Если конкурренция первой оказалась неопасной, то конкурренция второй растет непрерывно в течение всего XVII столетия, — между прочим, и потому, что на турецких султанов казнь Карла I не произвела никакого впечатления [2]). Но это была конкурренция только в одной области, в торговле сырым шелком, в которой и Русская компания и Турецкая компания скоро встретили более опасного соперника, Ост-Индскую компанию. Хотя Русская компания, как мы увидим, еще в XVIII столетии не теряла надежды захватить в свои руки торговлю персидским шелком, ей пришлось уже в конце XVII века сосредоточиваться на торговле продуктами русского происхождения, тем более, что китоловный промысел, становившийся все менее выгодным, вследствие уменьшения числа китов, перестал для нее играть особенное значение после того, как в 1670 году организовалась Hudson Bay Company в Северной Америке. С этой же стороны ей начала грозить конкурренция и в области торговли различными кораблестроительными запасами (naval stores). В 1699 году постановлено было, чтобы таможенные комиссары (Commissioners of Customs) в течение каждой парламентской сессии представляли обеим па-

---

[1]) Тот самый, который в 1664 г. неудачно пытался добиться возобновления привилегий англичан в России.

[2]) 18 авг. 1648 г. был смещен «законным путем» Ибрагим I и убит. Это первый султан, которого постигла такая участь.

латам отчет о количестве кораблестроительных запасов, которые будут кем-либо вывозиться из России в Англию. Андерсон думает, что правительство в это время предполагало принять меры с целью поощрения вывоза этих материалов из Северной Америки.

Таково было положение Русской компании к началу XVIII века. В 1699 г. положен был конец вечным пререканиям с так называемыми «interloper'ами», т.-е. англичанами, которых привлекала прибыльная торговля с Россией, но которые торговали без разрешения компании, не желая платить ей высокий взнос: в этом году он был понижен до 5 ф. ст., т.-е. торговля фактически перестала быть монопольной. Компания продолжала по-прежнему представительствовать интересы торговли с Россией и отстаивать их в Сити и в парламенте.

Но она, как мы видели выше, была не единственной компанией. Рядом с ее «криком» раздавались «крики» других заинтересованных компаний или групп купцов и промышленников. Не подлежит никакому сомнению, что эти группы старались влиять на правительство в своих интересах, стараясь подчинить его политику себе. Но, чем более усложнялись торговые и промышленные интересы, чем обширнее и многочисленнее становились внешние сношения, чем более усложнялись отношения с другими странами, тем упорнее и ожесточеннее должна была разгораться борьба между этими различными группами. Скорее всего побеждала та из них, частный интерес которой совпадал в данное время с общим направлением внешней политики, которое à la longue определялось общими интересами всей «национальной» торговли.

При Елизавете вся внешняя политика определяется антагонизмом между Англией и Испанией. Отсюда постоянный союз с Нидерландами. Отношения с Францией в общем также носят дружественный характер, поскольку Франция продолжает старую борьбу с испанскими Габсбургами.

В первой половине XVII века все сильнее разгорается антагонизм между Англией и Голландией, который при Кромвеле доходит до продоложительной войны. В конце XVII века, со времени революционной войны, Франция снова становится таким же наследственным врагом, каким была во время столетней войны. Голландия, по выражению Фридриха II, превращается в простую шлюпку английского корабля. Так называемая система политического равновесия определяется антагонизмом между Францией и державами, находящимися у нее на буксире, с одной стороны, и Англией, Австрией и Голландией, с другой.

России нет места ни в одной из этих комбинаций. Если в конце XV века турецкая опасность заставила Венецию, папу, императора Максимилиана сделать неудачную попытку втянуть Россию в европейские дела, то теперь, наоборот, сама Россия вынуждена—и, чем ближе к концу XVII века, тем настойчивее—искать союза у европейских держав.

Непосредственными врагами России являлись теперь Польша, Швеция и Турция. Но во всех этих странах преобладало влияние Франции, которая пользовалась ими против Габсбургов.

И пока внешняя политика Англии не определялась антагонизмом с Францией, союз Англии с Россией был политической невозможностью. Это, в конце концов, поняли и московские дипломаты и оставили в покое Англию. Плохо разбираясь в политических отношениях Западной Европы, они в 1687 г. предлагают союз Людовику XIV, но им категорически заявляют, что «между Францией и императором существует вечная вражда, а между султаном и королем, наоборот, вечный мир и прочная дружба».

Россия принимает участие в священной лиге против турок, но ее третируют, как третьестепенную державу. Вплоть до северной войны она в политических комбинациях Западной Европы никогда не принимается в расчет.

В начале XVIII века, когда война за испанское наследство совпадает с северной войной, положение дел меняется. Создается возможность для союза между Англией и Россией. Но превратилась ли эта возможность в действительность, как думает Марке? Верно ли, что олигархия, захватившая власть после 1689 г., вместе с «Русской компанией» систематически поддерживает Россию и помогает ей уничтожить Швецию? Действительная история нам уже показала, что не татарские ханы создали абсолютизм и Петра, что «европеизировал» Москву англо-голландский капитал, что Англия так же «виновата» в создании Москвы, как она «виновата» в создании Японии. Посмотрим теперь, правда ли, что действительная история разоблачает английских государственных людей XVIII века, как систематических пособников Петра I?

VII. Северная война.

Маркс совершенно прав, когда придает такое огромное значение северной войне в деле возвышения России. В борьбе за политическое преобладание на Балтийском море господство переходило поочередно от Ганзы к Польше, Дании и Швеции. В 1617 году Россия окончательно потеряла надежду приобрести себе выход на Запад. Со второй половины XVII века Швеции почти удается превратить Балтийское море в шведское озеро. В 1700 г. отношения длины береговых линий составляли, если принять длину береговой линии Дании за 1, для Германии—3, для Швеции—10, для России—0. Таким образом, северная война сводилась к поединку между Швецией и Россией: кто был за Швецию, тот был против России, и наоборот. В результате северной войны Швеция потеряла свое первенствующее положение на Севере. Политическая гегемония на Балтийском море переходит к России, которая сохраняет ее до последней четверти XIX столетия [1]).

Маркс прав также, когда говорит, что северная война является поворотным пунктом в том отношении, что Россия лишь после нее стала европейской державой. Только получив прочную точку опоры на западе, она могла начать свое расширение на юг и восток, чтобы набравшись новых сил, опять начать свой Drang nach Westen и, начиная со времени Екатерины II, играть роль вершительницы судеб Европы.

---

[1]) Длина береговых границ прибалтийских стран:

	1700	1800	1900
Дания	1	1	1
Германия	3	2½	5
Швеция	10	7	7
Россия	0	3½	10

Эта таблица, из которой особенно отчетливо виден рост русской береговой границы на Балтийском море, приведена у Kirchhof, «Seemacht in der Ostsee», Kiel, 1907, S. 9.

Так характеризует значение этой войны и русский историк Соловьев:

«Степной, восточный период русской истории кончился—морской, западный период начался. Впервые славяне, после обычного отступления своего перед германским племенем на восток, к степям, повернули на запад и заставили немцев отдать себе часть берегов северного Средиземного моря, которое перестало быть немецким» [1]).

Разница только в том, что один приветствует то, что другой проклинает.

Еще лучше Маркс изображает последствия, которые имел перенос столицы из Москвы в Петербург. Если он приписывает успех этого акта личной инициативе Петра, то это об'ясняется тем, что от него совершенно ускользнул весь внутренний процесс, совершившийся в России XVII века и подготовивший необходимые для этого условия. Петербург на первых порах занял место Архангельска. Характерно, что, после петровского приказа направлять все вывозимые товары к Петербургу, вывоз из Архангельска уменьшился почти на столько же (2.049.000 руб.), на сколько (2.135.000 руб.) он возрос в Петербурге. Общая сумма вывоза из этих городов сначала не изменилась. Петр только переменил русло, по которому направлялись на Запад русские товары. Экономика и на этот раз оказалась сильнее политики. Попытка перенести после смерти Петра столицу в Москву кончилась неудачей. Окно в Европу было окончательно прорублено.

Но в то время, как русские историки убеждены, что Англия систематически мешала Петру в его борьбе со Швецией, Маркс, наоборот, утверждает, что Петр мог победить Карла XII только благодаря Англии. Если Мартенс отождествляет поведение Англии в эпоху северной войны с поведением ее во время крымской войны, если он в том и в другом случае видит только желание вредить интересам России, то Маркс следует его примеру — с той только разницей, что поведение Англии ему представляется в противоположном свете. Русские историки, об'ясняющие политику Англии торговыми интересами, нисколько не смущаются тем, что Англия при этом рисковала крупными торговыми интересами в Россия,—она,—говорит Мартенс,—боялась усиления русского влияния на Босфоре,—Маркс обвиняет Англию в том, что, ради ничтожных, по его мнению, торговых интересов купцов, прикрывавших своими жалобами преступное поведение английских мини-

---

[1]) Соловьев, «История России», том XVII, стр. 387.

стров, Англия сама себе взростила сильного врага на Босфоре. И русские историки, и Маркс одинаково смотрят на события начала XVIII века сквозь призму симпатий и антипатий второй половины XIX века. Мы могли бы привести целый ряд цитат, которые показывают, что и другие современные историки—западно-европейские и русские—до сих пор еще продолжает оценивать события северной войны с этих двух точек зрения.

В 1900 г., т.-е. почти одновременно с новым изданием работы Маркса, в Transactions of the Royal Historical Society, vol. X, была напечатана статья на ту же тему, представлявшая изложение доклада, читанного в Королевском историческом обществе. Это — «Замечание о дипломатической корреспонденции между Англией и Россией в первой половине XVIII столетия».

Автор—г-жа д'Арси Коллиер—считает нужным сначала указать, что она имеет дело с совершенно неразработанным материалом: «Поскольку я могу судить, политика англиского правительства во всех ее деталях в течение этого периода дипломатических сношений с Россией может быть изучена только по манускриптам в рукописном отделении Британского музея». Каков же вывод из изучения этих документов, которые она предлагает вниманию ученого общества? Они до того совпадают с выводами Маркса, что иногда кажутся буквальным их повторением.

Чтобы понять «действительную историю» отношений между Англией и Россией, не надо упускать из виду, что северная война хронологически совпала с войной за испанское наследство. В то время, как замышлялась коалиция против Карла XII на севере, подготовлялась на юге новая коалиция против Людовика XIV. И та и другая война велись в пределах Европы. Но в то время, как в войне за испанское наследство решался, параллельно с вопросом о господстве в Средиземном море, вопрос о господстве на Атлантическом океане, этой главной магистрали всемирной торговли в XVII веке, вопрос о том, кому будет принадлежать торговое преобладание и господство в Новом Мире,—в северной войне решался вопрос о преобладании на Балтийском море, которое еще в большей степени, чем Средиземное море, стало внутренним морем, простым под'ездным путем. Время, когда Балтийское море, с одной стороны, и Средиземное, с другой, являлись главными резервуарами европейской торговли, давно миновало. То, что было вопросом политической жизни или смерти для прибалтийских держав,—кому будет принадлежать преобладание на Балтийском море?—с точки зрения Англии и крупных европейских держав, имело чисто локальный интерес. Голландия,

воспользовавшаяся упадком Ганзы, чтобы захватить торговое преобладание на Балтийском море, и Англия, явившаяся туда вслед за ней, старались только, чтобы Зунд оставался открытым и, в зависимости от этого, поддерживали каждая то Данию, то Швецию. Прибалтийские державы для них были только, как Россия, об'ектом экономической эксплоатации. Политически Швеция и Польша шли на буксире Франции, которая, время от времени, за хорошую денежную подачку, натравливала их, как и Турцию, на империю Габсбургов. Для теоретиков европейского политического равновесия Швеция была в такой же степени неевропейской страной, как и Россия.

Еще в разгар войны за испанское наследство один публицист писал:

«Нам не нужно об'яснять читателю, что мы под Европой понимаем только те нации Европы, которые принимают участие в настоящей войне с Францией, в союзе с нею или против нее. Нам нечего заниматься делами Швеции или Московии, Венгрии или Турции. Эти страны, правда, находятся в Европе, но так как Западная и Центральная Европа представляют собою руководящую часть Европы, то применение этого слова исключительно к последней части освящено как временем, так и практикой» [1]).

Факты заставили очень скоро изменить это представление. Оказалось, что интересы Англии, Франции и Австрии слишком сильно затрагиваются северной войной, что так же мало, как можно отделить север от запада, можно было отделить Восток Европы от Севера. То, что давно уже совершилось в области экономики, должно было получить свое признание в области политики. Европейские державы могли сколько угодно желать возвращения тех времен, когда Россия относилась к Азии, но их пожелания были так же бессильны, как и страстные стремления оппозиции Петра оторвать Россию от Европы.

«Насколько упорно держались старые политические воззрения, видно из того, что факт появления новой влиятельной державы, в лице России, не оказал сначала никакого воздействия на идею европейского равновесия. Европейская политическая мысль прибегла к обходу. Точно так же, как внутренние отношения немецких держав связали с общими европейскими таким путем, что конструировали особое немецкое равновесие и от сохра-

---

[1]) «The Balance of Europe», London, 1711. Цитировано у Kaeber, «Die Idee des europäischen Gleichgewichts in der publizistischen Literatur des sechtzehten bis zur Mittel des achtzehnten Jahrhunderts». Berlin. 1907. S. 78.

нения последнего сделали зависимым сохранение европейского, так и теперь возникла идея северного равновесия, связанного подобным же образом с интересами сохранения европейского равновесия».

Конечно, это пожелание было всего сильнее во Франции. Там лелеяли эту надежду после смерти Петра и не отказывались от нее еще в половине XVIII столетия. Но об этом мечтали и другие европейские державы—особенно те, интересы которых приходили в столкновние с интересами России. На политику европейских держав при петербургском дворе такие надежды оказывали влияние вплоть до Екатерины II.

А до окончания войны за испанское наследство Англия была целиком поглощена борьбой с Францией. И вопрос об отношении к Швеции решался только в связи с этим вопросом. Нужно было не допустить Швецию до союза с Францией. И нужно было удерживать Турцию от войны с Австрией. Все усилия английской и голландской дипломатии концентрировались на этой задаче.

9-го июля 1698 г. Франция, на этот раз при сильной оппозиции со стороны антифранцузской партии, заключила со Швецией оборонительный союз. Но Вильгельму III удалось в 1700 г., от имени Голландии и Англии, заключить со Швецией такой же союз,—тот самый союз, на который так часто ссылается Маркс. Между Швецией и Россией отношения были тогда дружественными. Карл XI не только позволил Петру заказать в Швеции 600 пушек, но обещал даже подарить 300 пушек, что и было сделано уже после его смерти. Это было во время войны с Турцией. Опасаться войны между Швецией и Россией не было оснований. Превосходство Швеции не подлежало никакому сомнению.

А с каким пренебрежением относились к России главные европейские державы, показал Карловиц, где в 1699 г. Англия и Голландия были главными посредниками при заключении мира между Австрией, Венецией, Польшей и Россией, с одной стороны, и Турцией, с другой. Это был первый опыт участия России в европейской коалиции. Русский посол горько жаловался на Голландию и Англию, которые хлопотали исключительно об интересах Австрии и даже о Венеции заботились больше, чем о России. Но Англии и Голландии нужно было освободить силы Австрии для готовившейся войны с Францией. Конгресс в Карловице—первый, на котором русским дипломатам пришлось встретиться с европейскими—показал, какими неучами являлись азиаты в сравнении с европейцами, как «свято» выполняют свои обязательства европейские державы. Только в эпоху северной войны рус-

ские дипломаты научились пользоваться разногласиями между европейскими державами, и непосредственными «учителями» их в этом высоком искусстве, как и в военном деле, были шведы.

Но может быть, Англия, несмотря на все, поступала прямо обратно: не исполняла своих обязательств перед Швецией и помогала России? Но это дает ответ опять-таки действительная история.

Мы видели, что даже московские дипломаты, в конце концов, поняли, что от Англии, несмотря на все выгоды для нее торговли с Россией, нельзя добиться согласия на вступление в политический союз. Мы видели, каким фиаско кончилась попытка заключить союз с Францией. Участие в коалиции против турок показало, что и Австрия нуждается в России лишь постольку, поскольку последней можно было пользоваться против Турции.

Но союзники были непобедимы. После неудачного посольства Карлейля (Carlisle) в 1664 г., когда голландцы так усердно интриговали против привилегий Русской компании, англичане решились воспользоваться первым благоприятным моментом, чтобы приобрести снова свое прежнее монопольное положение в России. Таким было путешествие Петра в Голландию и в Англию. В октябре 1697 г. английские посланники во главе с лордом Пемброком (Pembrock)—из почтенного рода тех Пемброков, которые были учредителями Русской компании обратились к Петру с коллективным письмом, в котором, ссылаясь на то, что англичане «прежде всех народов, которые в Европе суть, торговлю и содружество имели с Россией с великой пользой и прибытком для обоих народов», просили, «дабы торговые англичане столь многие годы продолженное подворье паки вновь восприяли и обыкновенные вольности и без налогу употребляли». Одним словом, они хотели чтобы в Москве был восстановлен старый английский Steelyard (торговый двор). Кроме того, они просили для себя монополию на привоз табаку.

Восстановить привилегии, отнятые в 1649 г., самодержавный Петр, несмотря на все свое расположение к англичанам, не мог, но монополию на привоз «травы никоцианской, вообще табак именованной» англичане получили. Табак позволялось разводить только в Малороссии, но провоз в другие области Московского государства воспрещался под страхом конфискации. В 1702 году англичане получили монополию на торговлю и вывоз льна из России, несмотря на сильный протест русских купцов.

В ответ на свои авансы Петр получил только любезности и в подарок от Вильгельма III (в 1697 г.) старый фрегат. Англия

оставалась глуха ко всем его предложениям. В 1704 г. в Россию послан был в качестве чрезвычайного посланника Витворт[1]). Он должен был уверить Петро, что Анна, в случае заключения мира между Россией и Швецией, не будет пренебрегать его интересами. Настоящей целью его посольства было выхлопотать новые привилегии в пользу англичан. К монополии льна и табака им хотелось прибавить другие монополии. В особенности же он должен был хлопотать, чтобы им дозволено было покупать и вывозить смолу, деготь и прочие предметы, необходимые для процветания корабельного дела «в нашем королевстве»[2]).

Принят был Витворт необычайно торжественно. Петр хотел подчеркнуть этим приемом, насколько он дорожит хорошим отношением Англии. Витворт, наоборот, держал себя высокомерно. На предложение принять посредничество между Швецией и Россией он ответил отказом, уверениям Петра, что он не будет строить военных кораблей на Балтийском море, он не верил, а на замечание, что Нарва и Петербург могут развить торговые сношения с Англией, он возразил, что шведы не допустят английских кораблей. Он предупреждал, впрочем, правительство, что, «если обращаться к русским исключительно по торговым делам, они способны заподозрить, что мы крайне нуждаемся в их товарах, нисколько не уважая их силы и дружбы»[3]).

Действительно, Петр и его помощники скоро это поняли. Витворт в России и английское правительство в Лондоне дали ему два наглядных урока на эту тему. Первому, в интересах табачной монополии англичан, поручено было немедленно выпроводить из пределов России обратно в Англию английских мастеров, обучавших русских обработке табаку и, кроме того, домашним образом уничтожить все материалы и другие производства. Исполнив первое поручение, английский посол взялся за второе. Вот как он описывает свой подвиг:

«Вечером я явился на фабрику в сопровождении Пэрсона, моего секретаря, и четырех слуг; мы большую часть ночи провели в разрушении материалов и инструментов, из которых некоторые

---

[1]) Он прибыл в Москву в феврале 1705 г.

[2]) «And particularly that they may be permitted to buy and export pitch and tar and other naval stores for the use of this our own kingdom». «Сборник Имп. Русского Ист. Общества». Том XXXIX, стр. 3.

[3]) Мартенс, Ф. «Собрание трактатов и конвенций...» и т. д. Том IX. Петербург, 1892 г., стр. 9—10.

оказались до того прочными, что нам при ломке их пришлось поднять порядочный шум... Но данные мне приказания выражены настолько определенно, что времени терять было некогда, да я и не решился бы вынести что-нибудь из дома, боясь возбудить подозрение. Как слышно, бурмистерская палата очень раздражена этим разрушением».

И все-таки Петр I смолчал. Сам Витворт об'яснял эту снисходительность желанием Петра I, чтобы Англия взяла на себя посредничество между Россией и Швецией и содействовала заключению почетного для России мира.

Посмотрим теперь, как в Лондоне обращались с русским послом. В конце 1706 г. Петр послал туда посланника в Гааге А. А. Матвеева. Он должен был об'яснить, как выгодно будет для англичан, когда Россия получит удобные пристани в Балтийском море: «русские товары будут безопасно, скоро, несколько раз в год перевозиться в Англию, не так, как теперь из Архангельска; русские товары станут дешевле, потому, что балтийские гавани близко от Москвы и от других значительнейших городов и водяной путь к ним удобный»[1]). Мало того. Так как Петр уже знал, что для английского правительства нужны еще другие аргументы, то он через Матвеева предложил вступление в «Grande Alliance» против Людовика XIV. Кроме того, Матвееву — новое доказательство «европеизации» русской дипломатии — поручено было нащупать почву, можно ли подкупить кого-нибудь из английских министров, в особенности же — Марльборо[2]). Петр согласен был в крайнем случае уступить все свои завоевания в Прибалтийской области, даже Нарву, он не соглашался только отдать Петербург: «об отдаче оного ниже в мыслях иметь».

Но английские министры водили Матвеева за нос и кормили его «словами гладкими и бесплодными». Прошло несколько месяцев. С приездом Марльборо дело изменилось. Петр уже соглашался предоставить ему одно из русских княжеств на выбор: Киевское, Владимирское или Сибирское и обеспечить ему пожизненный доход в 50.000 ефимков.

Прижатые, наконец, к стене, английские министры заявили Матвееву, что не могут предложить своего посредничества. Профессор Мартенс, которому замыслы «коварного Альбиона» хо-

---

[1]) Соловьев, «История России», т. 15, стр. 195.

[2]) Петр уже слыхал о высоких требованиях знаменитого полководца и прибавляет собственноручно: «Не чаю, чтобы Малбурка до сего склонить, понеже чрез меру богат, однако обещать тысяч около двухсот или более». Соловьев, там же, стр. 195.

рошо известны, об'ясняет это поведение тем, что «английское правительство не желало допустить мысли, чтобы Россия сделалась прибалтийской державой. Но Марльборо и Годольфин, по словам Матвеева, заявили ему: «можно ли из-за одних торговых выгод с Москвою раздражать шведского короля при нынешней ее силе и во время войны с Францией».

Эти переговоры происходили как раз в то время, когда Карл XII находился в апогее своего могущества, когда он только что заключил мир в Альтранштадте, когда он стал «арбитром Европы» и собирался, как новый Густав-Адольф, под предлогом покровительства протестантам, напасть на империю Габсбургов,—когда Франция, с одной стороны, и «Grande Alliance», с другой, напрягали все усилия, чтобы привлечь на свою сторону Карла XII. И Марльборо только что вернулся в Лондон после своего путешествия в лагерь Карла XII, где ему и императору с большим трудом удалось утихомирить шведского короля. Чтобы отнять у него всякий предлог ко вмешательству в дела империи, перед ним обязались дать полное удовлетворение силезским протестантам. Предлагать Карлу XII посредничество при заключении мира с Россией, даже на тех выгодных условиях, на которые соглашался Петр, как раз в тот момент, когда Карл XII, сокрушив датского короля и Августа, собирался преподать Петру второй нарвский урок,—требовать этого могли только наивные «азиаты», которые забывали, что Англия имеет еще и другие торговые интересы, кроме российских.

Матвеев особенно негодовал на Российскую компанию. «Много я потерял труда, ходя за теми мужиками, английскими купцами, но они, кроме одного Стельса (Stales) не только не оказали мне никакой помощи, даже и ответа не дали». Но негодование его достигло своего апогея, когда во время сборов к от'езду, 21 июля 1708 г., шериф предписал задержать его за долг в 50 ф. ст. и когда полицейские служители, избив его самым беспощадным образом, отвезли его в долговую тюрьму, откуда он был освобожден только благодаря поручительству купца Стельса.

Что же удивительного, что наш бедный «азиат», получив такой урок тонкого европейского обращения, был в восторге, когда 30 июля 1708 г. покинул, наконец, Лондон и избавился от необходимости иметь дело с этим «христоненавистным народом и канальского злочестия исполненным» [1]).

---

[1]) Инцидент этот подробно рассказан у Соловьева, «История России», том XV, стр. 318—9.

Несмотря на свое пренебрежение к России, даже английское правительство вспомнилось. Но оно быстро успокоилось, когда Витворт ответил из Петербурга, что «к вопросам чести здесь относятся не очень строго», что «москвитяне опасны только тем, кто их боится, и лучшее средство образумить русских—не уступать им».

9-го октября 1708 г. Левенгаупт был разбит при Лесном, а 27-го июня (8-го июля) 1709 г. Карл XII был разбит при Полтаве. «В отчете, который Петр послал своим людям о сражении, он прибавляет в постскриптуме: этим положен краеугольный камень для Петербурга. И действительно, это был краеугольный камень для всего здания его государства и политики. С тех пор—прибавляет Ранке—Россия начала диктовать законы на Севере» [1]).

Положение дел сразу изменилось. Когда Петр совершал свой триумфальный в'езд в Москву, то в самых льстивых выражениях его поздравлял тот же Витворт. Вспоминая английские традиции XVI века, он приветствовал Петра титулом «императора» и доставил ему этим такое большое удовольствие, что, несмотря на все свои подвиги в России, получил в подарок портрет Петра, усыпанный алмазами. Из Савла, поведение которого могло бы удовлетворить даже Давида Уркарта, он превратился в Павла [2]).

5-го февраля 1710 г. Витворт извинился от имени королевы Анны за оскорбление, нанесенное Матвееву, и, преподнесши экземпляр только что проведенного через парламент акта о преимуществах членов дипломатического корпуса при сент-джемском дворе, раз'яснил Петру, что нет никакой возможности казнить всех оскорбителей Матвеева. Убедившись, что, «за оскудением прежних прав государственных», Анна не может расправляться со своими подданными, как он с непокорными стрельцами, Петр решил удовлетвориться этим извинением. Профессор Мартенс, который еще, через 200 лет, пылает негодованием на «коварный Альбион», об'ясняет эту уступчивость тем, что «великий преобразователь не считал возможным пожертвовать высшими политическими интересами России справедливому чувству негодования, вызванному лондонской историей с Матвеевым». Петр все еще не терял надежды добиться посредничества Англии при заключении мира со Швецией: 9 (20) августа подписано было соглашение ме-

---

[1]) Ranke, «Die grossen Mächte». См. «Werke». Band XXIV, стр. 18.

[2]) Этому Витворту, тогда одному из наиболее выдающихся дипломатов, принадлежит и книга о России в 1710 г., в которой он с большой проницательностью об'ясняет победы русских «пассивной храбростью» и выносливостью русских крестьян.

жду Англией и Россией, в силу которого «его царское величество ко удопьствиу морского купечества за благо и полезно изобрели во всем своем государстве буевые, маячные, вожевые и якорные деньги с великобританским народом в равном учредить состоянии» [1]).

Произвела ли полтавская победа на английских министров то же впечатление, как на Витворта? Успел ли уже новый факт военного превосходства России над Швецией войти в их сознание? Нет. И в этом мнении их укреплял сам Петр, который, настойчивым требованием изгнать Карла XII из пределов Турции, навлек на себя новую войну. Только к концу 1711 г. он выпутался из беды, пожертвовав Азовом и Таганрогом и отдав на с'едение туркам славян, восставших в расчете на помощь Петра.

В этом эпизоде северной войны мы в первый раз встречаем характерные черты новой завоевательной политики России или ее постоянную «ошибку», в которой обвиняют ее русские патриоты,— неумение сосредоточиться на одной задаче и стремление осложнять решение одного вопроса поднятием другого или, выражаясь менее эвфемистически, ее неумеренные аппетиты. В течение всего XVIII и XIX века восточный вопрос перепутывается со шведским и польским вопросами и, к великому негодованию русских реальных политиков, мешает поступательному движению России на Запад, заставляя ее каждый раз делать ненужные уступки то «хитрой и конкерантной» Пруссии, то неизменно «неблагодарной» Австрии.

Но в этом эпизоде мы встречаем еще другое, не менее любопытное явление. Если ненавистная Марксу Русская компания, несмотря на все ее руссофильство, не могла помочь заключению союза с Россией, то ее конкуррентка, Турецкая компания, несмотря на то, что главное ее внимание было устремлено на борьбу с французским влиянием в Константинополе, уже очень рано забила в набат против России, гораздо раньше, чем это сделали авторы открытых Марксом памфлетов.

Мы уже видели, как третировали Россию на карловицком конгрессе. Оставшийся недовольным, Петр заключил с турками только перемирие, условия которого должны были быть окончательно обсуждены в Константинополе. Русский посол Украинцев явился с такой же помпой, как 150 лет спустя Меньшиков. Но произвел он несравненно более сильное впечатление: он явился на первом русском военном фрегате и салютовал султану залпом

[1]) У Мартенса это соглашение приводится в тогдашнем немецком переводе. Том IX, стр. 26—22.

из сорока пушек. Турки были поражены этим явлением не меньше, чем члены Турецкой компании.

Если в XVII веке дипломатические сношения между Россией и Англией в большинстве случаев велись через посредство членов Русской компании, то уже с XVIII века это явление исчезает, хотя частые жалобы английских посланников на неполучение жалованья показывают, в какой материальной зависимости находились они от английских купцов в России, т.-е. от той же Русской компании. В Турции дело обстояло еще проще. Вплоть до 1803 г. английский дипломатический корпус состоял на жалованье у Турецкой компании. Первыми английскими посланниками в Турции были члены этой компании. И если до XVIII века главным конкуррентом в левантской торговле были французы, то с начала этого века Турецкая компания начинает свою антирусскую кампанию. Ее влияние уже было заметно на карловицком конгрессе. В. Миллер, автор очень интересной статьи о «Европе и Оттоманской империи до XIX ст.», ошибается, думая, что впервые это антирусское влияние проявилось только в 1711 г., во время похода Петра в Турцию.

«Достойно замечания, говорит он, что в этом случае влияние Англии было в первый раз употреблено против России. Со времени образования русского флота, английская Levant Company, которая в начале XVIII столетия держала всю торговлю Ближнего Востока в своих руках, была обеспокоена конкурренцией русских купцов, и английский посланник в Константинополе, противясь возвращению русского посла в Константинополь, указал Порте на всю опасность политической и религиозной пропаганды русских агентов среди христианских подданных султана» [1]).

Подробности относятся к истории восточного вопроса, но мы не можем не указать тут, что именно в этом обстоятельстве мы можем найти ключ к об'яснению политики «коварного Альбиона» на Ближнем Востоке в XVIII столетии и того самостоятельного положения, которое занимали английские посланники в Константинополе. Они часто ставили сент-джемский кабинет перед совершившимися фактами и если не в состоянии были всегда—так же мало, как Русская компания,—проводить свою то антирусскую, то антифранцузскую политику, то все же составляли крупный фактор во внешней политике Англии и не мало способствовали усилению в ней противоречий по мере осложнения торговых интересов Англии.

---

[1]) «English Historical Review», 1901, Juli, S. 456.

Выпутавшись с большим трудом из турецкой войны, Петр с такой же стремительностью, с которой он полез на Прут, бросается на запад. Война за испанское наследство еще не была кончена. Чтобы обезопасить себя от новых осложнений на севере, Англия, Голландия и Германская империя еще 10 марта 1710 г. выступили с декларацией, направленной против Петра, относительно сохранения нейтралитета во всех землях Германской империи, следовательно, и в Померании. Оправдываясь тем, что ему необходимо сделать диверсию против шведов, Петр вступил в Померанию.

17 апреля 1711 г. умер император Иосиф I, и на престол должен был вступить Карл, претендент на испанский трон. Тории, которые одержали победу над вигами, воспользовались этим обстоятельством, чтобы заключить с Францией мир 8 октября 1711 г.

В начале 1714 г. война за испанское наследство закончилась. Теперь Англия была свободна,

Но если Маркс безусловно ошибается в своей оценке английской политики до 1714 г., то, может быть, он прав для периода 1714 г.? Правда, Петр уже укрепился на Балтийском море, он захватил Финляндию, он расположился уже в Германии; правда, Карл, с непонятным для современников упорством, торчал в Турции, но все же, если бы Англия послушалась голосов, предупреждавших ее о новой «русской опасности», и помогла Швеции, как ее обязывал оборонительный союз 1700 г., то Россия была бы отброшена в глубину Азии.

Что же мы видим? Как раз в 1715 г. Англия вступает в союз с Россией и начинает вновь войну со Швецией. Вот что рассказывает Маркс об этом:

«В 1715 г. был заключен северный союз между Россией, Данией, Польшей, Пруссией и Ганновером для раздела не собственно Швеции, а Шведской империи. Этот раздел является первым крупным подвигом новой дипломатии и логической предпосылкой раздела Польши. Договоры раздела, касавшиеся Испаний, привлекали внимание потомства, так как они являлись предвестником войны за испанское наследство, а раздел Польши произвел еще большее впечатление, потому что его последний акт разыгрывался на арене новейшей истории. Не подлежит, однако, сомнению, что введением к современной эре международной политики послужил раздел Шведской империи. Договор о разделе 1715 г. не заботился даже о приискании приличного повода: решено было просто использовать затруднительное положение намеченной жертв. Впервые в Европе нарушение всех договоров, в целях установления общих основ нового договора, было не только вы-

полнено, но и провозглашено совершенно открыто. И во главе этого заговора поставлена была сама Польша, шедшая на буксире у России, представленная таким образцом пошлости, как Август II, одновременно курфюрст саксонский и король польский. Он подписал свой собственный смертный приговор и не воспользовался даже той привилегией, которую Полифем обещал Одиссею—быть последним обреченным на сожрание... Участие в этом договоре раздела втянуло Англию в орбиту России, к которой она со времени «славной революции» тяготела все больше и больше. Георг I, как английский король, был связан со Швецией оборонительным союзом 1700 г., но, как ганноверский курфюрст, он об'явил Швеции войну, которую он вел, как английский король» [1]).

Мы не будем останавливаться на всех ошибках Маркса в этом изложении, на безусловно неверной оценке этих событий, на противоречиях с его же статьями о шлезвиг-гольштейнском вопросе. Основная ошибка его состоит в том же самом, в чем состояла и основная ошибка Петра, который негодовал на Англию за то, что она, вопреки союзу его с Георгом I, отказывается помогать ему в борьбе со Швецией. Заключив с Георгом I, в качестве курфюрста Брауншвейг-Люнебургского (en qualité d'Electeur de Brunswick-Luneburg), союз против Швеции, который в сущности являлся возобновлением союза, заключенного с Ганновером еще в 1710 г., Петр был убежден, что, наконец, он добился союза с Англией.

Мы присутствуем при одном из самых любопытных эпизодов всемирной истории: целый ряд «самодержавных» государей заключает с маленьким немецким князьком союз в полной уверенности, что он и в Великобритании может распоряжаться так, как он распоряжался в Люнебургской степи. Сам Георг I, которому на старости лет свалился такой лакомый кусок, как великобританский трон, очень плохо верит, что ему придется долго держаться на этом троне, и, вместе со своими верными ганноверцами, старается изо всех сил поскорее нагреть себе руки и обеспечить себе несколько новых приобретений в Германии,—в особенности же, Бремен и Берден. Это—единственная цель, которую преследует с упорством зажиточного крестьянина, желающего приобрести лишний клочок земли. В борьбе партий, происходящей в Англии, он разбирается так же плохо, как его другие самодержавные коллеги. Он знает только, что есть претендент, который хочет у него отнять великобританский трон, что есть в Англии партия, помогающая этому претенденту, что он должен держать сторону дру-

---

[1]) «Secret diplomatic history», стр. 25.

гой партии, и искренно удивляться, когда последняя партия не может оказать ему такую маленькую услугу, как посылка десятка-двух фрегатов в Балтийское море против шведов.

Английские министры, чувствуя за своей спиной оппозицию торнев и в то же время убежденные в необходимости сохранения Ганноверской династии, т.-е. всего того, что дала «Glorious Revolution», метались между Георгом, которому они должны были делать некоторые поблажки, и парламентом, для которого они должны были подыскивать приличные предлоги, чтобы прикрыть конституционным флером свои уступки ганноверским министрам.

Во все время северной войны Англия ни разу не об'являла войны ни Швеции, ни России. Напротив, оффициально она соблюдала нейтралитет. Но вел ли Георг войну со Швецией, как это было до 1719 г., или вступал с ней в союз против России,—он неизменно раздражал своих союзников, потому что он никогда не мог выполнить взятых на себя обязательств. Трудно сказать, когда он больше повредил Швеции—когда был ее врагом или союзником.

Начиная с 1715 г., на Балтийском море крейсирует английский флот. Но Георг I, курфюрст Ганноверский, может отдавать приказания английскому адмиралу только, как великобританский король, а Великобритания не воюет ни со Швецией, ни с Россией. Когда Георг еще не успел поссориться с Петром, он мог ему доставить удовольствие, и в один прекрасный день Петр командовал флотом во время маневров, в которых, вместе с датским флотом, участвовали английский и голландский флоты. Но, проводив английские торговые корабли в балтийские гавани, английский адмирал должен опять вернуться в Лондон и только, явно нарушая свои оффициальные инструкции, может тайком оставить несколько фрегатов Георгу в его качестве курфюрста ганноверского.

Петр скоро понял, что Георг, как великобританский король, ему совершенно бесполезен, и, когда он занес свою лапу на Мекленбург, он даже был удивлен, что Георг, спокойно наблюдавший, как он свирепствовал на других германских территориях, вдруг запротестовал. Недавние друзья так перессорились, что Георг замышлял захватить Петра. Экспедиция в Сконе кончилась неудачей еще в периоде подготовления. Союзники не доверяли друг другу. Датчане подозревали Петра—и не без основания—что он намерен упрочиться в Дании и захватить Зунд. Петр, ссылаясь на то, что его союзники не выполняют принятых на себя обязательств, и сам не торопился исполнять их. И только с большим трудом удалось его выжить из Дании.

А в это время Карл XII или, вернее, его советник, Герц и Гилленборг, посланники в Лондоне, решили избавиться от непрошенного вмешательства Георга ганноверского в качестве короля Великобританского. Опора протестантизма в Германии, Карл XII. через посредство своих советников, вступает в переговоры с якобитами и испанским министром Альберони, чтобы свергнуть Георга I с престола. Мало того. Решив использовать озлобление Петра против Георга, шведы вступают в переговоры с ним, в то время, как русский посол в Гааге Куракин завязывает сношения с Альберони.

Эта сложная игра лопнула, когда в начале 1717 г. в Лондоне был арестован шведский посланник Гилленборг и одновременно с ним несколькоториев. Английское правительство поспешило опубликовать переписку Гилленборга, в которой, между прочим. найдены были письма лейб-медика Петра Арескина.

Но переписка Гилленборга разоблачила и другие секреты. Будущий главарь шведских «шляп», кроме дипломатических талантов, обладал прекрасным пером. В нескольких памфлетах, которые выходили одновременно на французском и английском языках, этот дипломатический Жиль Блаз, замышлявший одной рукой восстановить Стюартов в Англии, другой—красноречиво доказывал англичанам, что они должны, протестантизма ради. поддерживать Карла XII и что они должны положить, ради своих торговых интересов, конец поступательному движению русских и помочь шведам вернуть их потерянные владения.

Эти памфлеты начали появляться с 1715 г., со времени возвращения Карла XII из Турции и начала деятельности Герца. Кроме первых двух памфлетов, напечатанных Марксом, имеются еще и другие, достоверно принадлежащие Гилленборгу. Аргументация последних до того сходится с аргументацией памфлетов «Northern Crisis» и «Defensive Treaty», что трудно отказаться от предположения, что последние тоже вышли из-под пера Гилленборга или его помощников.

Все эти памфлеты вращаются вокруг одного вопроса. Английские и голландские купцы поспешили завязать торговлю с Петербургом и Нарвой. Чтобы помешать этому, Карл XII об'явил эти порты под блокадой и начал перехватывать английские и голландские корабли. Положение еще больше обострилось, когда Петр издал указ, которым все товары, направлявшиеся к Архангельску, должны были быть вывозимы из Петербурга.

Понятно, что ни английские, ни голландские купцы не имели никакого желания ждать, пока Карл XII снова завоюет свои ста-

рые владения. И вот памфлеты стараются им доказать, что они не имеют права делать это, что интересы протестантизма выше интересов нескольких купцов, что в этом вопросе не может быть различия между честными ториями и честными вигами. Все это сопровождается постоянным припевом о возрастающем могуществе России [1]).

Но кто же были те английские купцы, которые поднимали этот крик? У Маркса—готовый ответ: Русская компания. Но до того, как Петр закрыл Архангельск, сильнее всего страдала от шведских каперов Eastland Company, которую часто смешивают с Русской. Последняя, наоборот, первое время выигрывала, и выигрывала вдвойне. Она пользовалась монополией вывоза из России тех товаров, в которых Англия тогда особенно нуждалась. Некоторые из них вывозились из Швеции, но, с развитием шведского флота, вывоз этих материалов, необходимых для кораблестроения, обставлен был значительными трудностями. В Швеции организовалась компания, которая получила монополию на сбыт дегтя (Tar Company of Sweden) и других кораблестроительных материалов. Уже в 1703 г. английский парламент должен был установить премии за вывоз этих материалов из американских колоний, но пока ето мало помогало. И, как указывал один из памфлетов, пугавших англичан чрезмерным могуществом Петра: «царь бесспорно является безусловным хозяином трех четвертей дегтя всего мира, всей конопли, лучших мачт и всех товаров, которые обычно получаются с Севера». («Il est incontestablement le maître absolu du trois quarts des houdrons de tout l'univers, de tout le chanvre, des meilleurs mâts et de toutes les marchandises qu'on avait coutume de tirer du Nord» [2]).

Что Русская компания не могла быть особенно довольной завоеваниями Петра на Балтийском море,—по крайней мере, на первое время,—видно из следующего аргумента: «Вы, ведь, сами признаете, что если царю удастся сохранить за собою хоть один порт на Балтийском море, то архангельская торговля сама собою пропадет в ущерб тысячам наших соотечественников» [3]) Этим об'ясняется холодность, которую встретил со стороны членов компании Матвеев.

---

[1]) Все эти памфлеты опубликованы в собрании de Lamberty: «Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII siècle» Vol. IX, Amsterdam. 1735. В том числе «Lettre d'une personne de distinction de Rotterdam à Amsterdam», «Lettre d'un ami à Dantzick» и т. д.

[2]) Lamberty, «Mémoires d'une personne interessée et sensible au commerce de la mer Baltique». Vol IX, стр. 663.

[3]) Lamberty, там же, стр. 225.

Но с 1715 г. конкурренты соединились и, вместе с голландцами, яро отстаивали «свободу торговли» с Петербургом и с Нарвой. А когда памфлетисты говорили голландцам, что «вы сами готовы были бы топтать эту свободу торговли, как вы топтали крест в Японии» [1]), то они отвечали спокойно, что «не важно, кому принадлежат восточные области Балтийского моря: царю или Швеции» [2]).

Маркс сам признает, что балтийская торговля в это время приобрела особое значение не по своим размерам, а по своему характеру. Это было время, когда в кораблестроении происходила революция, аналогичная той, которая ознаменовала собою первую половину XIX столетия. Весельное судоходство умирало. Галеры становились таким же анахронизмом, как теперь парусные суда. Английские, голландские и французские верфи соперничали в постройке больших парусных кораблей, — двух-, трех- и четырехпалубных. Ост-индские фрегаты — «Great Eastern» того времени — все чаще спускались с верфей. Для выделки парусов и канатов требовалось огромное количество льна и конопли. На обыкновенное судно требовалось для парусов до 10.000 ярдов полотна в 24 дюйма шириною. Ирландия насильственно превращалась в страну, производящую парусное полотно (sailcloth). Через Гамбург из Германии вывозился опять-таки холст. И в таких же огромных количествах потребовались поташ, деготь и смола (в поташе вываривались паруса), вывозился мачтовый лес и т. д. Одним словом, для промышленности и торговли Англии эти naval stores (кораблестроительные материалы) имели такое же значение, как хлопок в XIX столетии. Прекращение подвоза этих naval stores останавливало работу на верфях [3]).

«Азиат» Петр, кораблестроительный талант которого так восторженно описывает автор памфлета «Northern Crisis», понимал это так же прекрасно, как он понял, наконец, что, возбуждая общественное мнение против ганноверского короля, он лучше всего может воздействовать на парламент. Он усвоил себе уроки Герца и Гилленборга. И это научились понимать даже такие истинно-московские дипломаты, как Куракин.

---

[1]) Lamberty, IX, стр. 232.

[2]) Lamberty, IX, стр. 242.

[3]) «Если балтийские корабли,—писал Тоунсенд в 1715,—не прибудут, то недостаток в кораблестроительных материалах будет так велик, что его величество не было бы в состоянии к следующей весне снарядить флот». Цитировано у Chance, J. «England and Sweden in the time of William III and Anne»,—«English Historical Review», october, 1901, стр. 684.

Когда в 1718 г. Карл XII был убит пулей не то датчанина, не то наемников шведской олигархии, и всякая опасность нашествия со стороны Швеции исчезла, когда Георг I поспешил заключить союз со Швецией, Куракин писал из Лондона:

«Пусть с их стороны начнутся неприятельские действия, чтобы можно было парламенту и народу показать справедливость России и неправоту короля и министерства. Нам надобно сблизиться с главами партии тори и через них препятствовать в парламенте проведению предложений от двора; побуждать английское купечество, заинтересованное в русской торговле, делать свои представления в форме писем от одного друга к другому, безыменно печатать в Англии, для народного ведения, о том, какие дальние виды имеет министерство к предосуждению английской свободы, какой вред произойдет для балтийской торговли и т. д.».

Петр I и его министры в роли защитников английской свободы! Но, рабски копируя приемы своих шведских учителей, азиаты превзошли их своей практичностью: 28 июня 1719 г. Петр опубликовал одну декларацию, адресованную всем дворам, но предназначавшуюся, главным образом, для Англии и Голландии, в которой он гарантировал «свободу торговли», а другую—специально к английскому купечеству, торгующему в пределах Российского государства. Во второй декларации, между прочим, писалось:

«Того ради указал его царское величество аглицким купцам, пребывающим ныне в Российском государстве, всемилостиво об'явить, что хотя его царскому величеству чувственно (хотя он огорчен) о вышеупомянутом короне швецкой против его царского величества споможении, однакож ту причину народу аглицкому его царское величество, причитать не изволит, но токмо ганноверцам и их партии. Того ради всех купцов народу аглицкого, пребывающих в Российском государстве, изволяет по-прежнему содержать в милостивом призрении и вольной коммерции, и чтобы оные помянутые аглицкого народа купцы за вышеупомянутые для ганноверского интереса интриги никакого себе в Российском государстве озлобления не опасались».

Несмотря на это, отношения между Россией и Англией с каждым днем обострялись. В 1719 г. сторону Швеции принял не только Ганновер, но и Англия. Упорно отказываясь от посредничества между Россией и Швецией в первую половину северной войны, она теперь также упорно предлагала свое посредничество в пользу Швеции и подкрепляла свои предложения посылкой эскадры

под начальством Норриса. Так как Англия все-таки не об'явила войны России, то присутствие этого «честного маклера» не принесло никакой пользы. Русские войска в виду английского флота высадились в Швеции и свирепствовали там не меньше, чем в Померании.

Надо помнить, что, хотя отношения между Англией и Россией дошли до того, что 23 ноября 1720 г. русскому посланнику предложено было в 8 дней выехать из Лондона, войны все-таки не было об'явлено. В открытой вражде с Петром находился не Георг великобританский, а Георг ганноверский. Несмотря на все внешнее сходство операций английского флота в Балтийском море с операциями того же флота во время крымской войны, эта война уже потому не могла быть только показной войной против России, что оффициально не было войны. С такой показной войной против России, причины которой лежали не в руссофильстве английских государственных людей, как думал Маркс, а в противоречивости торговых интересов Великобритании, впутывавших ее временами в войну с Россией, но заставлявших ее щадить своего главного поставщика сырья и охранять интересы балтийской торговли, мы впервые встречаемся только в эпоху семилетней войны.

Но Георг ганноверский, в качестве великобританского короля, и Георг великобританский, в качестве ганноверского курфюр-ста, вводил в обман не только Маркса, не только автора перепечатанного им третьего памфлета, имеющего очевидное ганноверское происхождение: он до сих пор еще продолжает путать историков этого периода. Там, где Маркс видел руссофильство, антиганноверская оппозиция в Англии видела угодничество перед Ганновером. Современные историки употребляют огромные усилия, чтобы раз'яснить всю эту путаницу: одни видят в ней подчинение интересам Ганновера, другие об'ясняют ее глубоким маккиавеллистическими соображениями английских министров, стремившихся установить политическое равновесие на Севере, а третьи—в особенности английский историк Chance — стараются доказать, что Англия была солидарна с Ганновером только тогда, когда этого требовали ее торговые интересы. Но все они с одинаковым трудом отделяют Англию от Ганновера и часто забывают, что Георг был поваром в Англии и кучером в Ганновере, что Англия в течение всей северной войны не воевала ни со Швецией, ни с Россией.

Но мы забыли, как и Маркс, еще одного персонажа, который играл, если не возвышенную роль, то очень выгодную во всей этой путанице. Это — немецкий Ивана Калита, как его называет один русский историк, Фридрих-Вильгельм I. Высшие государственные

соображения должны были, конечно, заставить его принять участие в разделе Швеции. «Королю было выгодно находиться в союзе с наиболее могущественным, умным и деятельным государем Севера» [1]).

Гарантируя Петру его завоевания, он получил гарантию на Штеттин. Большой германский патроит, который клялся не успокоиться, пока останется хоть один швед на германской почве, он спокойно относился к хозяйничанью Петра в Мекленбурге. «Фридрих-Вильгельм,—говорит Ранке,—был в этом вопросе гораздо менее решителен, чем Дания и Ганновер».

Конкурренция последнего была ему более страшна, чем реквизиции русских. Дружба Петра давала больше. Но он попал в трагическое положение, когда Георг поссорился с Петром. За Георгом ганноверским стоял Георг великобританский. Война между Россией и Англией казалась неизбежной: «Находясь под сильным принуждением как восточной, так и западной силы, с одной стороны, собираясь окончательно захватить большую территорию, а с другой, опасаясь отказаться от союза с Россией, Фридрих-Вильгельм пришел в такое возбуждение, что в результате всех этих колебаний, бросавших его из одной крайности в другую, слег в постель» [2]).

Но страх перед союзом Георга I, короля великобританского, в качестве курфюрста ганноверского, со Швецией превозмог страх перед Петром. 17 августа 1719 г. Фридрих Вильгельм заключил союз с Ганновером и с Англией. На векселе, который он имел на Штеттин, теперь, кроме бланка Петра, стоял еще бланк Англии.

В 1720 г. даже для Швеции стало ясно, что Георг может предоставить в ее распоряжение только свои ганноверские войска, т. е. нуль. Согласившись, по его предложению, удовлетворить Данию и Пруссию, чтобы изолировать Петра, удовлетворив самого Георга, Швеция, совершенно обессилевшая, осталась одна на один с Россией: потеряв всякую надежду на посредничество Англии, которая тогда поглащена была крахом Южно-Океанской компании, она должна была заключить мир с Петром на более тяжелых условиях, чем она его заключила бы прежде.

С английскими государственными деятелями Петр рассорился настолько, что дипломатические сношения между Англией и Россией возобновились только долго спустя после его смерти. Та

---

[1]) Ranke, L. «Zwölf Bücher preussischer Geschichte». Leipzig, 1874, стр. 12.

[2]) Там же, стр. 27.

самая Англия, которая еще в грамоте Ченслера назвала первая русского царя «императором всея России», которая, устами Витворта, приветствовала его сейчас же после Полтавы «императором», признала за Россией императорский титул только в 1742 г.

Но, несмотря на все свое озлобление против английских государственных деятелей, Петр не трогал английской торговли. Это значило повредить экспорту, следовательно, фиску. Но он решился нанести удар британскому импорту, иными словами, суконной промышленности.

Вылечившись от своей лихорадки или избавившись от страха потерять Штеттин, Фридрих-Вильгельм опять помирился с Петром. «В 1724 г. Пруссия получила право поставки сукна для всей русской армии. И Англия закрыла себе своим политическим соперничеством с царем русский рынок вплоть до 1730 г. и тщетно пыталась затем отвоевать его назад».

Пруссии дружба с Россией пошла впрок. И в то время, как Дания, Россия, Швеция и Германия залечивали раны, нанесенные долгой войной, «Пруссия с каждым следующим годом лишь становилась сильнее и увереннее» [1]).

Но та же северная война оставила Германии в наследие шлезвиг-гольштейнский вопрос, который дал России повод впервые играть роль арбитра в Германии. Если верить Бунзену, прусскому посланнику в Лондоне, то «тяжелое иго, в котором Россия держала Австрию и Пруссию до 1848 г., началось в 1717 г.».

Итак, «действительная история» показывает, что в возвышении России английские государственные люди так же мало «виноваты», как татарские ханы. Действительным виновником является европейский капитализм, который сделал из Романовых своих конквистадоров так же, как он Гогенцоллернов превратил в своих коммивояжеров.

---

[1]) Droysen, «Geschichte der preussischen Politik», Band IV, Leipzig. 1869. S. 193. Для немецкого историка прямо поразительно его уменье проскальзывать через самые невозможные положения, в которые он попадает, благодаря необходимости защищать весьма невозвышенную прусскую политику, и не менее поразительна неизменная готовность находить во всех ее неожиданных колебаниях глубокий исторический смысл.

VIII. Англо-Русский союз в XVIII столетии.

Поскольку работа Маркса была напечатана, она более или менее подробно анализирует отношения между Англией и Россией только во время северной войны. Поскольку же речь идет о последних трех четвертях XVIII столетия, он, в напечатанной части, ограничивается только опубликованием писем трех английских посланников и выдержек из одного манускрипта. Но ему кажется, что эти документы вполне доказывают его главный тезис.

Мы уже видели, как, увлеченный своей основной идеей, Маркс запутался в лабиринте «тайн» и интриг международной дипломатии в начале XVIII века. Вместо анализа всего тогдашнего международного исторического положения, который ясно показывает, какое подчиненное значение имела северная война в сравнении с борьбой за господство на Атлантическом океане, он заставляет Англию действовать в начале XVIII века так, как будто она была в союзе с Россией. «Действительная история» показывает, что и в этом отношении Маркс ошибался, как он ошибается, сваливая всю вину за руссофильскую политику на вигов, ибо, если можно говорить об опредленных русских симпатиях какой-нибудь английской партии в начале XVIII века, то этой партией, как мы уже видели, являлись тории.

Внешняя политика вигов продолжала определяться антагонизмом с Францией, с которыми Англия сталкивается в Леванте, в Америке и в Азии. Но справляться с Францией Англия могла только в том случае, если ей удавалось найти против нее каких-нибудь союзников на континенте. Тогда она могла, пользуясь своим преобладанием на море, наносить ей удары во всех частях света. В силу этого, ее отношения к другим державам продолжали определяться, главным образом, отношениями Франции к этим державам. Если она временно, как это было после окончания войны за испанское наследство, когда Франция должна была отказаться от всякой наступательной политики, находилась с ней в

«дружественных» отношениях, то она тем самым попадала во враждебные или холодные отношения к постоянным антагонистам Франции. Таким была, главным образом, Австрия.

Когда Карл Фогт в своих «Этюдах о современном положении Европы» утверждал, что «с Австрией Англия никогда не могла ужиться в согласии», то Маркс ему ответил:

«Действительно! Общая борьба Англии и Австрии против Людовика XIV продолжалась, с маленькими перерывами, от 1689 до 1713, следовательно, почти четверть века. В войне за австрийское наследство Англия около шести лет сражается вместе с Австрией против Пруссии и Франции. Только в эпоху семилетней войны Англия соединяется с Пруссией против Австрии и Франции, но уже в 1760 году лорд Бют бросает на произвол судьбы Фридриха Великого, чтобы делать переменно то русскому министру Голицыну, то австрийскому министру Кауницу предложения о «разделе Пруссии»... Протестантская Англия питает антипатию к католической Австрии, либеральная Англия — к консервативной Австрии, фритредерская Англия — к протекционистской Австрии, платежеспособная Англия—к обанкротившейся Австрии. Но патетический элемент всегда оставался чужд английской истории».

А те же самые материальные интересы, которые связывали Англию с Австрией, связывали ее с Россией. Правда, с существенной разницей, сохранявшей свое значение еще на протяжении XVIII столетия. Непосредственный антагонизм между Россией и Англией существовал только из-за Турции, и с конца XVIII столетия к нему прибавляется непосредственный антагонизм в Азии из-за Ост-Индии. Во всех же других областях Англия и Россия сталкивались лишь постольку, поскольку Россия была за Францию или против нее, за Австрию или против нее. В зависимости от этого продолжали сталкиваться или совпадать их интересы в Швеции, в Польше и даже в Турции, где непосредственный антагонизм с Россией до последней четверти XVIII столетия отступал на задний план перед таким же антагонизмом с Францией.

Мы видели также, что во внешнюю политику Англии, начиная с 1714 г., вторгается новый элемент,—ганноверская династия, — который вносит в нее путаницу, заставляя вигов на первых порах считаться с интересами Георгов ганноверских, не всегда совпадавших с интересами Георгов великобританских. Этой ценой виги охраняли плоды «glorious revolution», освобождение от гегемонии Франции. Вокруг ганноверской династии концентрировались защитники привилегий английского банка, государ-

ственные кредиторы, которые, при одном слове «Стюарт», хватались в страхе за свои карманы, влиятельные акционеры Ост-Индской компании и т. д., и т. д. И, скрепя сердце, они делали уступки ганноверцам, каждый раз навлекая на себя громы антиганноверской оппозиции, т. е.ториев, которые не уставали доказывать, что ганноверская политика вигов наносит ущерб торговле с Россией. Несмотря на все желания вигов поменьше вмешиваться в дела континента, им приходилось считаться—в известной степени—с интересами Ганновера.

Если главным поводом для разрыва между Петром и Георгом послужило занятие Мекленбурга, то гарантия, которую Дания получила от Англии на владение Шлезвиг-Гольштейном, должна была служить новым яблоком раздора, пока существовала опасность нападения России на Данию в интересах герцога Гольштинского, мужа одной из дочерей Петра Великого [1]). С устранением его от наследования при Анне Иоанновне, отпадает с 1731 г. одна из причин вражды между Англией и Россией. В этом же году происходит примирение между Австрией и Англией: Австрия удовлетворяет Англию по вопросу о компании в Остенде, конкурренция которой раздражала одинаково и голландскую и английскую ост-индскую компании, Англия признает прагматическую санкцию. Таким образом, создается еще новый момент для сближения между Англией и Россией, связанной тогда тесным союзом с Австрией. И в 1731 г. Англия делает первый шаг к возобновлению дипломатических сношений с Россией, назначая Рондо (Rondeau) своим резидентом. «Крик» Русской компании был, наконец, услышан. Как пишет сам Рондо, его главной целью было «послужить орудием для оживления такой драгоценной для нас отрасли промышленности, как наши шерстяные мануфактуры, переживавшие уже несколько лет угнетенное состояние» [2]). Через его посредство предоставлена была любопытная записка Русской компании о положении торговли с Россией (7 октября 1732 г.).

«Англичане вывозят две трети всей конопли, более половины всех кож, столько же льна, свыше трех четвертей всего полотна, столько же железа, весь поташ, большую часть ревеня, рыбьего клея, щетины, воска. Зато ввоз из Англии уменьшился в два раза. До 1724 г. солдатское сукно покупалось у англичан, после

---

[1]) Одновременно с поддержкой притязаний герцога Гольштинского на Шлезвиг-Гольштейн, Россия поддерживала его кандидатуру на шведский престол. Новая причина для конфликта в Швеции, где тогда русской партии противостояла англо-французская.

[2]) «Сборник Русск. Имп. Общ.», том 66, стр. 176—7.

1724 г. — в Пруссии. Если пруссаков удастся лишить их монополии, то это задержит рост прусской суконной промышленности и вывоз сукон из Пруссии прекратится»[1]).

Этот факт — продолжающийся рост вывоза из России в Англию и уменьшение ввоза Англии в Россию от 1716 г. до 1730 г. — известен Марксу. Для него он служит новым доказательством нелепости английских министров, променявших в угоду России более выгодную торговлю со Швецией на менее выгодную с Россией.

Но мы уже видели, что если ввоз имел особенное значение для английской суконной промышленности, то вывоз из России имел первостепенное значение для английского судостроения, т. е. для той промышленности, развитие которой для Англии являлось conditio sine qua non ее торговой супрематии.

Англия и Россия находились от 1719 до 1731 г. в самых враждебных отношениях между собою, но так же мало, как Англия могла отказаться от вывоза из России, так последняя могла отказаться от ввоза в Англию. Для России это было не только экономической, но и финансовой невозможностью, так как это было бы равносильно отказу от таможенных доходов, составляющихся, главным образом, из вывозных пошлин[2]). От разрыва страдала только английская мануфактурная промышленность и выигрывала русская. Если еще прибавить, что строго протекционный тариф, установленный Петром в 1724 г., был заменен в 1731 г. либеральным тарифом, то мы поймем, какой гвалт должны были поднять в Англии противники ганноверской политики вигов. Это значило бы для них окончательно потерять русский рынок в пользу своих конкуррентов.

В 1734 г. между Россией и Англией был заключен торговый договор, который предоставил Англии права наиболее благоприятствуемой державы, полученные Пруссией еще по договору 1726 г. И уже очень скоро Рондо мог с торжеством известить английских министров, что ему удалось склонить русское правительство заказать у английских купцов 40.000 ярдов солдатского сукна, «что очень огорчило пруссаков».

Но торговое сближение далеко еще не означало политического. Повторилась старая история. Видя, как англичане настойчиво добиваются торгового трактата, русские дипломаты решили воспользоваться этим случаем, чтобы заключить с Англией союзный

---

[1]) Там же, стр. 518.

[2]) Поэтому, в 1736 г., когда Англия, для защиты Дании, послала свой флот в Балтийское море, русское правительство опять опубликовало декларацию, успокаивавшую английских купцов.

договор. Но, несмотря на всю их назойливость, сент-джемский кабинет упорно отказывался. Союз с Россией пока требовал бы только жертв, тогда как торговый договор приносил только выгоды.

В политическом отношении Россия все еще оставалась второстепенной державой, которая многого не могла дать. После смерти Петра она была целиком поглощена борьбой между сторонниками реформ Петра и их противниками и, если играла какую-нибудь роль во внешней политике, то лишь как союзник Австрии.

Положение изменилось только после войны за испанское наследство и тесно связанной с ней новой войной с Турцией, начавшейся в 1735 г. Неожиданные успехи русских войск под предводительством Миниха и Ласси производили тем более сильное впечатление, что рядом с ними австрийские войска терпели одно поражение за другим [1]). Хотя, в конце концов, когда Австрия, не предупредив свою союзницу, заключила с Турцией сепаратный мир, Россия должна была отказаться от большей части своих завоеваний, ее военный престиж все же поднялся в очень сильной степени.

С предложением посредничества Англия обратилась, когда начатая, главным образом, по инициативе Остермана, война обещала полное торжество над Турцией. И оно было тем более подозрительно, что исходило от английского посланника в Константинополе, Фаукенера. Наоборот, когда Турция оправилась после первых поражений, то Англия очень неохотно откликнулась на предложение России о посредничестве, и мир был заключен при посредничестве Франции.

Именно к этому времени, к началу 40-х годов, Россия впервые становится равноправным членом европейского концерта.

Начиналась война за австрийское наследство (1741). Австрия, которая вышла из последней войны с Турцией ослабевшей и униженной, имела теперь в самой Германии опасного соперника в лице Пруссии. Влияние Франции господствовало в Швеции, Польше, Турции и западной Германии. Союз с Россией приобретал при таких условиях большое значение. «И понятно, что теперь Петербург или Москва, смотря по тому, где находится императорский двор, становится средоточием европейской дипломатической деятельности, — ареною, где министры различных европейских дворов борются друг с другом, кто осилит, кто склонит русское пра-

---

[1]) Именно к этому времени относится письмо Рондо, напечатанное Марксом. Теперь оно помещено в «Сборнике Русского Истор. Общества», т. 80, стр. 13—19.

вительство помочь Марии-Терезии и тем поддержать европейское равновесие» [1]).

И, в первый раз за два столетия, с просьбой о союзе обращается не Россия к Англии, а, наоборот, Англия к России. Только тогда, в инструкциях английским послам в Петербурге, начинают все чаще слышаться речи о том, что Россия и Англия являются естественными союзниками. «Его величество король,—говорит Картерет русскому посланнику в Лондоне,—ничего так не желает, как дружбы с ее императорским величеством (Елизаветой), мы довольно знаем силу России в делах европейских. Многие ищут дружбы вашего двора, но никакой союз не будет так согласен с интересами России, как союз ее с морскими державами. который и Петр Великий старался содержать для сохранения европейского равновесия (что ему это не всегда удавалось, Картерет умалчивал). Надеюсь, что и ее величество не оставит этих великих правил. Ни из какого государства не приходит к вам столько пустых кораблей для нагрузки вашими товарами, как из Англии: из других земель могут приходить к вам корабли с вином и другими пустяками, но такая торговля столько чистых денег у вас не оставит, как наша».

В 1742 г. заключен был первый оборонительный союз между Англией и Россией. Но если Англия в нем отказалась принять за casus foederis войну России с Турцией, то Россия признавала таким только войну в пределах Европы. Именно на этот пункт направлялись главные нападки оппозиции в Англии, доказывавшей, что он имеет значение только для Георга ганноверского. В 1747 г. между Англией и Россией была заключена еще конвенция, в силу которой Россия должна была отправить на Рейн корпус в 30.000 человек. Это были первые русские солдаты, появившиеся в сердце Германии.

Даже семилетняя война не в состоянии была разорвать этот союз, несмотря на вестминстерский договор (16 янв. 1756 г.) с Англией, которым последняя обязалась всякую вооруженную чужеземную силу, которая вступит на немецкую почву, изгнать вооруженной рукой. Англия ограничивалась только тем, что она платила Фридриху субсидию, и оставила его на произвол судьбы. как только убедилась в бессилии Франции. России она не трогала. Английский посол Кейт оставался все время в Петербурге и употреблял все усилия, чтобы рассорить Францию с Австрией и Россией. Русские войска беспощадно опустошали Восточную

---

[1]) Соловьев, «История России», т. XXI. стр. 201.

Пруссию, Померанию и Марку, а Англия палец о палец не ударила, чтобы выполнить свои обязательства.

Но наш историк забыл, что, без русского привоза, Англия не могла бы вести своей морской войны, что, несмотря на все свои старания превратить Северную Америку, путем вывозных премий, и Ирландию, путем жестоких репрессий, в мастерские для производства необходимых ей кораблестроительных материалов, она не могла обойтись без этих русских материалов. И, как хорошо понимал это Фридрих Великий, видно хотя бы из того, что когда Петр III хотел услужить своему идолу и удержать Англию от «измены» прусскому королю, он писал под диктовку графа Гольца русскому посланнику в Лондон:

«А особливо приметить им надлежит, что если Россия следующие товары отнимет у Англии, а именно: пеньку, мачтовые деревья, медь, железо и конопляное масло, без которых англичане не могут обойтись, то будут они приведены в окончательное разорение».

Через несколько дней после этой инструкции гр. Воронцову, Петр III был свергнут, и угроза была приведена в исполнение.

И опять мы встречаемся с характерным явлением, с которым мы уже встречались, когда Англия вела такого же рода показную войну в союзе со Швецией против России. Вывоз из России в Англию не только не уменьшился, но, наоборот, увеличился, а ввоз из Англии в Россию в 1760 г. был ниже даже, чем в 1730 г. Маркс делает из этих цифр все тот же вывод, что дружба с Россией приносила торговый ущерб интересам Англии, что вывоз из Англии в Россию постоянно падал до 1760 г.; но это такая же ошибка, как и его прежний вывод. При всяком охлаждении между Россией и Англией вывоз последней немедленно уменьшался, вывоз первой продолжал неуклонно возростать [1]).

Конечно, на ряду с этой главной причиной, играла роль и другая материальная причина, на которую указывает Меринг. «Ни один английский министр не смел затронуть балтийскую торговлю. Когда Питт получил власть в свои руки, он сейчас же заявил прусскому королю, что он не может рассчитывать на точное выполнение условий вестминстерского договора» [2]). Меринг забыл только, что, когда летом 1757 г. дела Фридриха шли хорошо, и Англия сделала попытку особой декларацией напомнить, что она не может допустить какой бы то ни было державе ввести свои

---

[1]) 1730 г.—258.802 ф. ст., 1760—576.265 ф. ст. Я нарочно беру данные Маркса.

[2]) Mehring, F. «Lessing-Legende», S. 169.

войска в Германию, то она получила тот же ответ, который дан был Петром I и Екатериной I, а именно, что Россия не отделяет английских интересов от русских, но что она перестанет это делать, как только Англия нападет на ее флот. Но Меринг прав, говоря, что ущерб, наносимый балтийской торговле, был гибелен для престижа английского министерства. Поэтому Англия воспользовалась первой возможностью, чтобы предоставить Фридриха II его судьбе.

Только теперь мы дошли до момента, когда Россия начала играть ту роль в европейской политике, которая надолго сделала ее вершительницею судеб Европы. «Никогда не была мировая кон'юнктура так благоприятна для завоевательных планов царизма, как в 1762 г., когда великая блудница Екатерина II вступила на престол после убийства своего супруга. Вся Европа была семилетней войной разбита на два лагеря» [1]).

Сокрушив колониальное могущество Франции в Америке и Индии, Англия в самой Европе очутилась в «блестящем одиночестве». Поссорившись со своим «ancient ally» (старым союзником), поступив только что с Фридрихом, как с выжатым лимоном, Англия льнула теперь к своему «natural ally», к России, но Екатерина II тем холоднее относилась к этому ухаживанию, чем сильнее разгоралась борьба партий в самой Англии, чем более натянутыми становились отношения между Англией и ее американскими колониями. Именно это обстоятельство накладывает особый отпечаток на всю дипломатическую переписку английских посланников. Вынужденные делать уступки России, они стараются уменьшить их размеры при помощи самой низкой лести северной Семирамиде. И они делали это тем усерднее—обстоятельство, ускользнувшее от Маркса,—что прекрасно знали, что оффициальная переписка их вся перлюстрируется, что даже шифрованная очень часто попадала по своему назначению лишь после того, как копии с нее оставались в руках русского правительства. Чем затруднительнее становилось положение Англии, тем холоднее становилась Россия. Чем больше уступок делала Англия, тем сильнее становилась уверенность, что, прижав Англию, можно добиться от нее больше. Екатерина соглашается на оборонительный союз (alliance défensive)—об alliance offensive она не хочет и слышать, потому, мол, что ce terme d'offensive la repugnait [2])—но только в том случае, если Англия согласится считать войну с

---

[1]) Engels, F. «Die auswärtige Politik des russischen Zarentums», «Neue Zeit», 1890, стр. 150.

[2]) «Diaries and correspondence of James Narris», Vol. I, стр. 169.

Турцией casus foederis, если она даст деньги на поддержку русской политики в Швеции и Польше. Именно к этому времени относятся письма Макартнея и Гарриса: одно из них писано в начале этого периода, другое к концу. Оба они принадлежали к числу способнейших и бессовестнейших английских дипломатов, оба они, подчиняясь настойчивым требованиям из Лондона, осыпали петербургский двор комплиментами, и оба же они, в своих секретных посланиях, не щадили красок для описания всех гнусностей и варварства, которыми была пропитана атмосфера петербургского двора. Они не только не были слепыми поклонниками Екатерины, но—в особенности Гаррис — оставили злое и яркое описание Петербурга того времени. Когда в Петербурге узнали, что Макартнея опять хотят назначить послом в Россию, там протестовали против этого назначения, а Гаррис, которому пришлось действовать при самых неблагоприятных условиях—когда Англия находилась в войне не только с американскими колониями, но и с Францией и Голландией,—в конце концов, не выдержал и просил об отставке [1]).

Несмотря на «крик» Турецкой компании или, что то же, английских посланников в Константинополе, несмотря на все сильнее раздававшийся вопль «East India Company», Англия, не соглашаясь на такой casus foederis, как война с Турцией, не только пропустила без всякого протеста первую войну с Турцией, не только сквозь пальцы смотрела на то, что русский флот, отправленный в Средиземное море, фактически находился под руководством английских офицеров и пополнен был, при посредстве английского адмиралтейства, английскими матросами, не только оказывала ему помощь в течение всего пути, но и заявила свое решительное veto, когда узнала о желании Франции притти на помощь Турции и уничтожить флот. Когда в Петербург пришла весть о заключении кучук-кайнарджийского мира, то Екатерина,

---

[1]) Письмо Макартнея, напечатанное Марксом, не вошло в переписку его, опубликованную Русским историческим обществом, хотя в ней имеется его ссылка на это письмо. Несмотря на то, что письма для Р. И. О. были тщательно профильтрованы, в них встречается много злых и метких характеристик. Что касается письма Гарриса, то мы уже заметили, что оно было напечатано еще в 1844 г. Маркс не заметил, что в этом письме Гаррис дает краткое резюме своей 5-тилетней деятельности при петербургском дворе, чтобы показать бесполезность своего дальнейшего пребывания. Характерно, что его переписка—в выдержках—могла появиться только в этом году. Для автора «La cour de Russie il y a cent ans» писма Гарриса служили главным источником для описания петербургского двора,—описания, которое безусловно нельзя назвать «руссофильским».

на придворном балу, выразила желание видеть за своим карточным столом только веселые лица и пригласила вместе с датским послом английского.

В то время, как Фридрих II, пылая «дружбой» к Екатерине и советуя ей успокоить Австрию за счет Польши, вместе с ней и Марией-Терезией, горько плакавшей при этом случае, совершал первый раздел Польши, Англия беспокоилась только о своих торговых привилегиях в Данциге, и, когда Фридрих II эдиктом 11 мая 1744 г. гарантировал ей эти преимущества, она сказала: «аминь» [1]).

Но ничто не помогало той камарилье, которая, с маленькими перерывами, поддерживала «личный режим» Георга III. Трудно себе представить, до чего доходили в то время английские министры в Лондоне в своем угодничестве перед Россией. Что может быть циничнее ответа русскому посланнику в Лондоне, что английское правительство не может послать денег в Швецию, потому, что английскому посланнику (Goodrick) в Стокгольме можно доверить все, кроме денег [2])?

От всей души желая англичанам новых затруднений, Екатерина принимала их уступки, как должное, и устраивала им в благодарность новые затруднения. Каждое новое поражение английского короля в его борьбе с восставшими подданными ее искренне радовало, и она ответила отказом на просьбу Георга послать вспомогательный корпус в 20.000 чел. в Америку, предоставляя это делать германским князьям. В 1779 г. она советует Симолину в Лондоне держаться «одних неопределенных генеральностей» и подготовляет «вооруженный нейтралитет» 1780 г., направленный исключительно против Англии, отделываясь от протестов Гарриса простодушным вопросом: чем может повредить Англии это nullité armée (вооруженный нулитет)?

Георг III и его министры, которые не хотели допустить мысли о каком-либо посредничестве иностранной державы «между ними и своими подданными-бунтовщиками», предлагали Екатерине в 1781 г. уступить ей Минорку, а когда министерство Норта сменилось министерством Фокса, то они, наконец, согласились включить даже Турцию в casus foederis, но Екатерина отказалась. Это было время, когда лучшие дипломаты ancien régime'a даже в Австрии, Франции, Пруссии были убеждены в неизбежном крушении английского могущества.

---

[1]) Michael, W. «Englands Stellung zur ersten Teilung Polens». Hamburg. 1890.

[2]) Соловьев. «История России», т. XXVIII, стр. 199.

На упорный отказ Екатерины Англия ответила заключением союза с Пруссией в 1784 г. Это было формальное возмущение двух «рабов» против своего господина. Но первая же попытка Питта об'явить войну России в 1791 г. в защиту Турции показала, как сильны материальные интересы, связывающие Англию и Россию. Лидером противников войны с Россией явился Фокс, который произнес в палате общин сильную речь против Питта.

«Фокс говорил, как ангел»,—писал русский посол в Лондоне С. Р. Воронцов.—«Он доказал, что проклятый вооруженый нейтралитет, из-за которого столько негодовали, держала не одна Россия, что Швеция также приняла большое участие в его создании... Он показал, насколько справедлива была позиция, занятая в этой войне императрицей, он указал на значение тех связей, которые соединяют нашу страну с Англией, и убедил, наконец, и нескольких друзей Питта, говоривших также в его духе».

В том же письме Воронцов прибавляет: «через несколько дней Русская компания внесет в министерство меморандум об опасностях войны для торговли» [1]).

Итак, во главе кампании в пользу России стояли виги. И чей «крик» раздается вместе с соловьиными речами Фокса?—Все той же «Русской компании» [2])!

Но мы сделали бы такую же ошибку, как Маркс, если бы по-

забыли, какие могучие материальные интересы стояли за этими «прислужниками» России, чьими классовыми интересами определялась эта политика.

Дружба была все той же, но материальная основа ее изменилась не только в сравнении с XVI столетием, или с началом XVIII столетия, но даже в сравнении с 1760 г. Мы находимся в разгаре промышленной революции, и, кроме части лондонского Сити, кроме Норвича и Векфильда, во главе агитации стоят Лидс и Манчестер. Россия, которая до 1760 г., как страна английского ввоза, имела еще значение только для суконной промышленности, становится теперь местом сбыта хлопчато-бумажной промышлен-

---

[1]) «Архив князя Воронцова», т. IX, стр. 190. Екатерина поручила Воронцову купить для нее мраморный бюст «великого оратора» и поставила его в Царском Селе между бюстами Демосфена и Цицерона.

[2]) Как мало известна история этого общества, видно из того, что авторы специальной работы, посвященной торговым компаниям, Коустон и Кин (Cawston and Keane, «The earry chartered companies», London, 1896, стр. 32—59), убеждены, что Русская компания «умерла от истощения к концу XVIII столетия». Между тем Мак-Келлох говорит еще в 1852 г. об этой компании, как существующей. («Dictionary of Commerce»). Шмоллер ее смешивает с Eastland Company.

ности. Что же касается вывоза, она продолжает оставаться, главным образом, поставщиком кораблестроительных материалов, но, одновременно с этим, превращается в поставщицу сырья для английской крупной промышленности. И если еще в конце XVIII столетия Воронцов и другие ставленники Екатерины были убеждены, что прекращение торговли между Россией и Англией больше отразится на последней, то континентальная система показала им, что это очень вредная для коммерческих интересов России иллюзия.

А, начиная с 1815 г.,—года новых хлебных законов и присоединения главного поставщика хлеба на английский рынок—Варшавы—к России,—во фритредерской литературе на все лады прославляется союз с Россией, этой «старой» «естественной» союзницей Англии, которая никогда не оставит своего друга без хлеба.

Так менялась материальная основа дружбы между Россией и Англией. Милые бранились—только тешились. А Русская компания, давно потерявшая всякое значение, как «торговое сообщество», продолжала неукоснительно воспевать все выгоды союза с Россией. И, накануне отмены хлебных законов, которой с особенным нетерпением ждали в России, Роберт Пиль, в блестящей речи на ежегодном обеде, даваемом Русской компанией, высказал желание, чтобы русский царь и европейский жандарм посетил Англию. Свою речь он окончил тостом «за вечную дружбу между Великобританией и Россией». И даже, когда, наконец, против воли почти всех английских государственных людей, вспыхнула война, то она оказалась, да и не могла не оказаться, сначала только показной.

Даже тории, которые со времени Питта младшего взяли на себя специальную защиту интересов Турции против России, которые ревниво следили за успехами России в Средней Азии, должны были считаться с этим фактом. И «героическая» эпоха антиякобинской войны показывала им, что даже такой руссофоб, как Питт, не колебался вступить в союз с Россией, когда речь шла о защите «высших благ» капиталистического общества.

IX. Внешняя политика России и революции.

Тот факт, что Маркс, еще в полемике против Фогта (1860), цитирует работу о дипломатических отношениях между Россией и Англией в XVIII столетии и приводит свой главный вывод, показывает, что он и в начале 60-х годов оставался при своем старом мнении. Внутреннее развитие России от Петра I до Александра II ускользнуло из поля его зрения. Он не замечал ни той эволюции, которую переживал в течение этого периода русский абсолютизм, ни экономического развития России и его тесной связи с экономическим развитием Англии. Он просмотрел тот факт, что Россия была одной из главных колоний капиталистической Англии в XVI—XVIII веках, что в XVIII веке на вывозе из России основывалось благосостояние кораблестроительной промышленности в Англии, а следовательно, и ее торговой гегемонии в течение всего мануфактурного периода, что в XIX веке, еще до 60-х годов, Россия была мастерской, поставлявшей сырье для крупной промышленности в Англии и хлеб для ее илотов. Одним словом, он просмотрел, что коммерческое подчинение и эксплоатация буржуазных классов различных европейских наций деспотом всемирного рыка—Англией возможны были, между прочим, только при помощи политического деспота—России [1]).

Русский абсолютизм продолжал оставаться для него чем-то неизменным. И в том же «Herr Vogt» он еще пишет, что «освобождение крестьян преследует не что иное, как завершение самодержавия путем снесения всех преград, которые великий самодержец встречал до тех пор в лице опиравшихся на крепостное право маленьких самодержцев из среды русского дворянства, а равно и тех преград, которые ставились самоуправляющимися крестьянскими общинами, материальная основа которых, общин-

---

[1]) А, между тем, он еще в «Zur Kritik...» указал, что «русские давно уже поняли, что деньги—товар, как это доказывает не только английский хлебный ввоз в 1838—42, но и вся история русской торговли». А учителями русских были англичане (Marx, K. «Zur Kritik der politischen Oekonomie», S. 188).

ное землевладение, должна быть уничтожена так называемой «эмансипацией». Русский абсолютизм будет поэтому продолжать свою аггрессивную политику. Мало того. «Освобождение крепостных в смысле русского правительства, впрочем, увеличило бы аггрессивную силу России в сотни раз».

Другого мнения был уже тогда Энгельс—и в словах Маркса я вижу скрытую полемику против него. Энгельс писал в своей брошюре «Савойя, Ницца и Рейн»:

«Тем временем мы получили нового союзника в русских крепостных. Борьба, которая вспыхнула в России между господствующим и порабощенным классами сельского населения, подкапывает всю систему русской внешней политики. Лишь постольку, поскольку в России отсутствовало внутреннее политическое развитие, которому правительство и дворянство препятствовали всякими средствами, крепостное угнетение достигло такой степени, которая несовместима больше с существующими социальными отношениями. Уничтожение их стало, с одной стороны, необходимостью, а с другой—невозможно без насильственного изменения. А с Россией, которая существовала от Петра Великого до Николая, рушится также и внешняя политика России».

И Энгельс оказался прав. Он уже тогда совершенно верно указал главную причину европейского господства России в основной максиме всей внешней политики Екатерины II—в том, что Россия предоставляла в меру сил и возможности другим европейским державам терзать и ослаблять друг друга,—и он же верно указал на ту главную причину, которая должна подорвать источник этого могущества—неизменность и постоянство целей внешней политики России,—на внутреннее политическое развитие России.

Уже восстание декабристов служило зловещим предзнаменованием. А неуклонный рост революционного движения в России все больше и больше обнаруживал, что Россия потеряла свое главное преимущество, которое позволяло ей еще в 1848 г. смотреть с суверенным презрением на всю Европу, на «гнилой Запад».

«Как прежде мне казались тяжки
Проступки девушки бедняжки!
Для прегрешения чужого,
Бывало, не находишь слова,
Бывало, черно все чернишь,—
А надо больше—говоришь!
Гордилася я в собственных глазах!
А вот сама я во грехах!»

(«Фауст». Пер. Фета).

Именно это сознание—что Россия, «коль ест иль пьет, так этим двух питает», абсолютизм и революцию,—отравляло в течение всего его царствования жизнь Николая I, именно оно заставляло его быть палачом у себя дома и жандармом для всей Европы, именно оно сдерживало размах его внешней политики.

В шестидесятых годах XIX столетия, как раз тогда, когда, при помощи Германии и Англии и попустительстве Франции и Австрии, была окончательно раздавлена мятежная Польша, которая и в 1795—6 г.г. и в 1831, и в 1859 г. являлась тяжелым ядром на ногах русского колосса, мешавшим его свободным движениям, началось в России революционное движение, родился этот «незаконный сын» азиатской России и европейского капитализма. С тех пор внешняя политика русского абсолютизма окончательно утратила свое фатальное постоянство. Если даже новые расколы и раздоры в Западной Европе—и, в особенности, раскол после франко-прусской войны, которая внесла еще большее взаимное отчуждение в среду западно-европейских народов, чем раскол после семилетней войны,—вливали новую силу в русский абсолютизм, то необходимость постоянно считаться с революционным движением внутри страны каждый раз останавливала его на полпути. Мало того. То, что прежде было главной целью, теперь само превратилось в средство. Продолжение традиционной аггрессивной внешней политики превратилось в единственное средство задержать взрыв революции внутри страны.

Завоевательные войны предпринимались теперь не в то время, когда Западная Европа была ослаблена революцией или войной, а когда того требовало «внутреннее политическое развитие». Между тем, удовлетворение минимальной программы той самой революции, которой хотели таким путем избежать, было необходимым условием успешности завоевательной политики. Войны еще более обнаруживали всю несостоятельность русского «порядка».

Вот почему внешняя политика русского царизма, потерявшая вместе со своей неизменностью одно из своих главных преимуществ, теперь, в силу этого внутреннего противоречия, терпела на каждом шагу банкротство.

Первым, не только в европейской литературе, но и в русской, вскрыл всё эти противоречия Энгельс. Он уже в своей блестящей критике народнических предрассудков—в ответе Ткачеву [1])—указал на классовую сущность русского абсолютизма, на его зави-

---

[1]) «Soziales aus Russland», 1875. Перепечатано в сборнике «Internationale aus dem Volksstaat», 1894. Русский перевод В. Засулич: «Фр. Энгельс о России», Женева, 1894.

симость от определенных социально-экономических отношений. И когда это внутреннее экономическое развитие выдвинуло на сцену городской пролетариат, когда зародилась русская социал-демократия, Энгельс в статье, написанной специально для первого социал-демократического журнала на русском языке, дал свой блестящий очерк «Внешней политики русского царизма».

Он показал, что, несмотря на быстрое развитие России со времени Петра Великого, несмотря на рост ее влияния в Европе, она только при Екатерине II начала играть роль вершительницы судеб Европы. Он показал также, что бесспорные успехи внешней политики русского царизма основывались не столько на выдающихся способностях русских дипломатов, сколько на благоприятных для нее общих условиях европейского политического положения, которые она умела использовать и использовала бы еще лучше, если бы не Польша, эта «заноза в теле России». И, развивая мысль, высказанную им еще в 1859 г., он показал дальше, что внутреннее политическое развитие России все больше приближает день, когда русский народ примет участие в определении внешней политики России, и забота о собственных делах отнимет у русского царизма всякую охоту заниматься такими делами, как завоевание Константинополя, Индии и мирового господства.

Энгельс оказался хорошим пророком. Он верно определил сущность вопроса. Но, вместе с этим, старая схема внешней политики европейской демократии, которую в главных чертах усвоили себе Маркс и Энгельс,—здесь Западная Европа, там Азиатская Россия, здесь—революция, там—очаг европейской реакции, абсолютизм,—все больше теряла свой смысл. Традиционные представления были сильны, и только с трудом изменяла международная социал-демократия свои взгляды на целый ряд «вопросов», поставленных буржуазным обществом. Точно так же, как демократия, она оперировала, в области внешней политики, с окаменевшими понятиями революционных и реакционных рас и государств, не замечала исторического процесса, который менял социальный характер данного правительства и классовый состав того народа, который «заслужил» это правительство.

Как ни странно звучат для нас диатрибы Маркса против англо-русского рабства, в которое Европа опять впала после 1848 г., в них заключалось уже признание, что в Европе имеется еще другой очаг реакции, кроме русского абсолютизма: это — буржуазия, отрекшаяся от своей исторической миссии, это—европейский капитализм, который своими капиталами поддерживает русский абсолютизм.

И никогда еще этот факт не получал такого яркого выражения, как именно в 1905 г. История 1848 г. была поставлена на голову. Революция, начатая в 1848 г., надвигалась с Запада на Восток и остановилась у польской границы; теперь стучалась она в дверь Западной Европы. Царь, который в 1848 г. явился угрозой для демократии Запада, теперь сам был пленником русского пролетариата.

Энгельс опять оказался хорошим пророком.

«И в тот день, когда главная крепость абсолютизма сама перейдет в руки революции, исчезнет без следа самоуверенность и спокойствие реакционных правительств Европы. Все они тогда должны будут рассчитывать только на себя и скоро узнают, какую огромную разницу это представляет. И вполне возможно, что они еще были бы в состоянии вести свои армии в Россию, чтобы восстановить власть царя—какая ирония всемирной истории!»

И эта ирония воплотилась в действительность. В Петербурге в это время ходили упорные слухи,—и реакционная печать не только не отрицала, но с торжеством их повторяла,—что немецкий император концентрирует свои войска у польской границы.

И точно так же, как Маркс и Энгельс, как немецкий пролетариат со страстной тоской обращал свои взоры на Запад и ждал взрыва социальной революции в Англии, так и русские революционеры, так и русский пролетариат в своей геройской борьбе с абсолютизмом возлагали свои надежды на специальную революцию на Западе. Но помощи не являлось, и пролетариат изнемог в борьбе с абсолютизмом: истратив всю свою революционную энергию, накопленную многими годами, русский пролетариат был побежден.

Горе побежденным! Но, когда над свежими трупами борцов, под стук новых виселиц, воздвигаемых каждый день, дряблые филистеры и трезвенные политиканы, с холодным бесстрастием студня высчитывают пролетариату его ошибки и, как ворона, причитают: «революция умерла», то приходится сказать: пусть русский пролетариат согрешил, пусть он «делал ошибку за ошибкой, но его самой крупной ошибкой» было то, что его революция была национальной, в то время, как за абсолютизмом стоял интернациональный капитал.

Если революция 1848 г. потерпела поражение потому, что она разбилась о русский абсолютизм, потому, что за ней не последовало революции в Англии, то русская революция обречена была еще в большей степени на поражение, поскольку она оставалась национальной, поскольку в остальной Европе революция не двигалась с места. Если она не превращается в международную, то она «есть

и, поскольку она хочет быть окончательной, остается благим пожеланием».

Точно так же, как в 1848 г., пролетариат самого прогрессивного буржуазного государства Европы и теперь еще слишком слаб, чтобы помешать своей буржуазии в ее реакционной внешней политике. Как и тогда, русский царь афиширует свою «тесную» дружбу с Англией. И если тогда английская буржуазия не мешала русскому царю свирепствовать в Венгрии во-всю, то она теперь, рука об руку с Ляховым, в интересах русского абсолютизма в России и английского абсолютизма в Индии, убивает свободу Персии.

Ноябрь 1905.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС

О БАЛКАНСКОМ ВОПРОСЕ

I.

Взгляды Маркса на восточный вопрос обыкновенно отождествляются с теми взглядами, которые были высказаны Либкнехтом в его известной брошюре: «К восточному вопросу, или должна ли Европа стать казацкой?» Как немецкие, так и русские и южнославянские марксисты всегда думали, что Маркс был таким же туркофилом, как и пресловутый Давид Уркарт, что, вместе с последним и Либкнехтом, он был всегда приверженцем status quo на Балканском полуострове, что славянским народам, стонавшим под турецким игом, он отказывал в каком бы то ни было «праве на самоопределение» и смеялся над той «глупой сентиментальностью», которая видит «во всяком разбойнике, вступающем в конфликт с Турцией, представителя угнетенной национальности». Балканская политика Маркса, таким образом, отождествлялась с балканской политикой вульгарной демократии. Точно так же, как и последняя, она определялась только безграничной ненавистью к русской гегемонии на Балканском полуострове.

«За стремлениями к независимости балканских народов скрывается опасность русской гегемонии, и именно поэтому нужно бороться против национального движения в балканских государствах, пока не настанет время, когда на Босфоре водрузит свое знамя революционная европейская свобода, все равно — в каком национальном одеянии».

Так формулирует взгляды Маркса на восточный вопрос Макс Шиппель.

Бывший архирадикал, теперь почти окончательно ликвидировавший свою связь с марксизмом, убежден, что все свои доказательства Маркс «черпал из одного источника, из разоблачений Уркарта, теперь производящих впечатление болезненных, патологических фантазий». Маркс превращается в попугая, повторяющего без всякой критики все откровения Уркарта, и в этом отношении ничем не отличается от Лотара Бухера, который в пятидесятых го-

лах с одинаковым пылом обличал английский парламентаризм и Пальмерстона и действительно все свои аргументы заимствовал у эксцентричного английского публициста.

А, между тем, достаточно перелистать чартистские журналы пятидесятых годов, чтобы увидеть, что Марксу, даже в том случае, если бы он поставлен был в необходимость искать где-нибудь аргументов против внешней и внутренней политики Пальмерстона, во всяком случае, нечего было обращаться к сочинениям этого «реакционного утописта», как он сам называет Уркарта, для которого даже чартистское движение было делом — тех же русских интриг, а лидеры чартистов — игрушками в руках русских агентов. В блестящих статьях и речах Гарни и Джонса, этих «враждующих братьев» чартизма, он мог найти и беспощадную критику дешевого «либерализма» Пальмерстона, и попытки самостоятельно наметить основы балканской политики с точки зрения интересов пролетариата. Так, Эрнест Джонс самым резким образом критиковал теорию сохранения status quo на Балканском полуострове и важнейший фактор в деле политического возрождения угнетенных балканских национальностей видел в молодой Греции. И если Маркс был не вполне согласен с ним, то разногласие это относилось не к вопросу о сохранении status quo, которое для Уркарта составляло краеугольный камень всей его балканской политики. Ненависть к русскому деспотизму делала Маркса так же мало, как и Джонса, защитником турецкой «цивилизации», и он прекрасно понимал, что именно сохранение status quo на Балканском полуострове является главным препятствием для развития балканских народов, источником растущего влияния России, а вследствие этого—и причиной усиления этого главного врага европейской революции.

Более внимательное изучение статей Маркса о восточном вопросе, писанных им в эпоху крымской войны, лучше всего показывает, как основательно такое отождествление его взглядов со взглядами Уркарта. Статьи эти были собраны покойной Элеонорой Маркс еще в 1897 г., когда армянская резня в Константинополе, волнения на Крите и греко-турецкая война вновь поставили на очередь дня восточный вопрос. К сожалению, в это издание вкралось еще больше неточностей, чем в ее же издание статей Маркса по истории дипломатических сношений между Россией и Англией в XVIII столетии.

Подготовляя немецкое издание статей Маркса, собранных Элеонорой Маркс, я пришел к заключению, что некоторые из них не могли быть написаны ни им, ни Энгельсом, и что, с другой стороны, в этом сборнике имеются пробелы. Я счел, поэтому, необходимым

сравнить указанные статьи с оригиналом в «New-York Tribune». Мои предположения вполне оправдались.

Как известно, Маркс начал свое сотрудничество в «New-York Tribune» в 1851 г. статьями о «Революции и контр-революции в Германии». В 1852 г. он стал постоянным, хотя и не единственным, корреспондентом этой газеты из Лондона. Первая из этих корреспонденций напечатана была 21 августа 1852 г., а за ней последовал ряд других, в которых Маркс,—раз, а то и два в неделю,—давал обзор текущих событий не только в Англии, но и на всем континенте. Но хотя восточный вопрос уже в конце 1852 г. вступил в общую фазу, Маркс впервые упоминает о нем только в марте 1853 г., когда, вследствие экстраординарной миссии Меньшикова, события на Балканском полуострове приняли угрожающий характер. Именно в этой корреспонденции он дает обещание подробно рассмотреть восточный вопрос, этот «pons asinorum» европейской дипломатии.

Свое обещание Маркс выполнил в четырех статьях, которые были напечатаны в «New-York Tribune» в апреле 1853 г. (7, 12, 19 и 21). Из них только три перепечатаны в сборнике, изданном Элеонорой Маркс, а четвертая, составляющая необходимое дополнение и заключение первых трех, по какой-то оплошности опущена. А, между тем, именно, она в корне разрушает старую легенду о «туркофильстве» Маркса. Правда, она еще больше подчеркивает ненависть к непрошенным «цивилизаторам» в лице всяких «ташкентцев», но в этом отношении с Марксом были согласны все, кто еще в семидесятых годах разоблачал действительную подоплеку с такой помпой предпринятого похода «турок внутренних» против «турок внешних».

Прежде, чем мы дадим перевод затерявшийся на столбцах «New-York Tribune» статьи Маркса, мы считаем необходимым вкратце изложить содержание трех предыдущих статей, являющихся коллективной работой его и Энгельса.

II.

Как только ураган революции на время утихает, можно с уверенностью сказать, что снова всплывет на поверхность все тот же, упорно возвращающийся вопрос: вечный восточный вопрос. Так, когда пронеслась буря великой французской революции, и Наполеон, и Александр, после тильзитского мира, разделили между собою господство над всей континентальной Европой, Александр воспользовался временным миром, чтобы двинуть в Турцию армию и «дать выход» силам, которые изнутри разрывали уже на части это падающее государство. И опять, едва только революционное движе-

ние в Западной Европе было остановлено, на конгрессах в Лайбахе и Вероне, преемник Александра, Николай, совершил новое нападение на Турцию. Когда, несколько лет спустя, июльская революция и последовавшие за ней восстания в Польше, Италии, Бельгии завершили свой цикл, и Европа, вновь перестроенная в 1831 г., казалось, освободилась от всяких внутренних тревог, восточный вопрос в 1840 г. чуть не вызвал европейской войны. Так и теперь, когда близорукие пигмеи, стоящие у власти, гордятся тем, что счастливо избавили Европу от опасностей революции и анархии, он возникает опять, — этот неразрешимый вопрос, никогда не иссякающий источник затруднений: что нам делать с Турцией?

Турция — это больной пункт легитимистской Европы. Все бессилие легитимистских, монархических правительств со времени великой французской революции резюмируется в одном положении: охранение status quo. В этом всеобщем соглашении сохранить все так, как оно сложилось случайно или с грехом пополам скроено, заключается признание своей неспособности содействовать развитию цивилизации или прогрессу; в нем господствующие силы выдают сами себе свидетельство о бедности. Герои посредственности, как их называет Беранже, без исторических знаний, без способности понять совершающиеся вокруг них конфликты, без идей, без инициативы, они возводят в степень божества status quo, который они сами кое-как смастерили, с полным сознанием полной негодности этого дела рук своих.

Но Турция остается так же мало неизменной, как весь остальной мир; именно тогда, когда реакционерам удается восстановить в цивилизованных странах то, что они называют status quo, они, к своему удивлению, открывают, что тем временем status quo в Турции сильно изменился, что там возникли новые вопросы, новые отношения, новые интересы.

Сохранить status quo в Турции! С таким же успехом можно было бы попытаться сохранить труп околевшей лошади в том фазисе гниения, в котором он находится, прежде чем окончательно подвергнется разложению. Турция гниет и будет все больше гнить, пока будет сохраняться существующая система «европейского равновесия» и политика охранения status quo.

Дальше Маркс характеризует положение Турции и различных национальностей на Балканском полуострове накануне крымской войны. Он приходит к результатам, что турки в Европе образуют серьезное препятствие для развития фракийско-иллирийского полуострова. Как мало видел он в борьбе за независимость балканских народов опасность укрепления русской гегемонии, показыва-

ют следующие слова, верность которых подтвердила вся дальнейшая история:

«Если греко-славянское население когда-либо сделается самостоятельным в стране, где оно составляет три четверти всего населения, то несомненно, что в их среде разовьется антирусская прогрессивная партия — и в силу тех же условий, которые до сих пор неизбежно вызывали к жизни такую партию в каждой части Турции, достигшей хотя бы частичной независимости».

В следующей статье Маркс излагает причины, в силу которых Англия должна быть наиболее серьезным и неуступчивым противником всех попыток России аннектировать новые земли на Балканском полуострове. Англия не может допустить, чтобы Россия овладела Босфором и Константинополем. Такое событие принесло бы Англии колоссальный торговый и политический ущерб и, быть-может, нанесло бы смертельный удар ее торговому и политическому могуществу. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на торговые сношения Англии с Турцией.

«Арена, на которой разыгрывается торговая конкурренция между Россией и Англией, перенесена с Инда в Малую Азию, и русская торговля, которая и тогда осмеливалась проникать до пределов английской империи на Дальнем Востоке, теперь оттеснена до своей таможенной границы. Факт этот будет иметь очень большое значение при будущем решении восточного вопроса, и в связи с ним определится роль, которую сыграют Англия и Россия. Как и теперь, так и в будущем, они на Востоке всегда останутся врагами».

Вся быстро развивающаяся торговля на Черном море, по словам Маркса, находится в зависимости от доверия, которое оказывается стране, владеющей Дарданеллами и Босфором, этим ключом к Черному морю. И кто может ожидать, что Россия, раз овладев Константинополем, будет держать открытой ту дверь, через которую Англия проникла в ее торговую территорию?

Это коммерческое значение Дарданелл и Босфора превращает их также в военные позиции, имеющие первоклассное значение, еще более важное, чем Гибралтар и Гельсингэр в Зунде. Несколько искусно сделанных и хорошо вооруженных укреплений, которые Россия, несомненно, воздвигла бы сейчас же после взятия Константинополя, могли бы оказать сопротивление соединенному флоту всего мира. Но если бы Россия овладела Турцией, то могущество ее возросло бы в колоссальных размерах, и она бы приобрела перевес над всей остальной Европой. Такое событие принесло бы делу европейской революции непоправимый вред. Поддержать турецкую независимость или помешать русским планам

в том случае, если Оттоманская империя рухнет—вот важнейшая задача. Именно постольку интересы революционной демократии и Англии солидарны.

В третьей статье Маркс опять возвращается к теории status quo. К чему привело на практике приложение этой теории?

Да просто к тому, что, благодаря невежеству, инертности и трусости западно-европейских правительств, Россия в существенных пунктах проводила — медленно и упорно — свою политику. И когда это постоянное и успешное наступление России вызывало, наконец, в кабинетах западно-европейских держав неопределенное предчувствие надвигающейся опасности, то дипломатия открыла новую панацею: сохранение status quo в Турции составляет необходимое условие сохранения европейского мира. Либо русские вступают в Константинополь, либо нужно поддержать status quo, — иного выхода для европейской дипломатии и даже для европейской прессы не существует!

В виде иллюстрации Маркс приводит консервативную газету «Times» и либеральную «Daily News». Первая из них в то время держала еще сторону России и старалась доказать, что крушение Оттоманской империи далеко не будет иметь тех страшных последствий, которых опасались противники русской балканской политики. Наоборот, либеральная «Daily News» употребляла все усилия, чтобы доказать, какая опасность грозит со стороны России, и как необходимо охранять независимость и целость Турции. И Маркс дальше, самым ядовитым образом, осмеивает туркофильство «Daily News» и ее главного вдохновителя Давида Уркарта.

«Разве раздел Турции не является таким же преступлением, как и раздел Польши? Разве христиане не пользуются в Турции большей религиозной свободой, чем в Австрии и России? Разве Турция не является раем в сравнении с Россией и Австрией? Разве жизнь и собственность не находится там в полной безопасности? И разве торговля Англии с Турцией не больше торговли с Австрией и Россией, взятыми вместе, да к тому же еще с каждым годом растет?»

Все эти дифирамбы переходят на страницах «Daily News» в прямой апофеоз, который для обыкновенного читателя представляется совершенно непонятным.

«Но ключ к этому странному энтузиазму можно найти в сочинениях Давида Уркарта. Этот джентльмен, шотландец по происхождению, со средневековыми и патриархальными предрассудками, которые он впитал в себя с детства, и в то же время прошедший всю современную школу британской цивилизации, попал в

Турцию после того, как три года сражался против нее в рядах восставших греков, и влюбился в турок. Романтически настроенный горец почувствовал себя, точно у себя дома, в скалистых горах Пинда и Балкан. Все его сочинения о Турции, хотя они изобилуют ценными данными, резюмируются в следующих трех парадоксах, которые могут быть формулированы таким образом. Если бы Уркарт не был британским подданным, он предпочел бы быть турком; если бы он не был пресвитерианином, он выбрал бы только ислам; и, в третьих, Британия и Турция — вот те две страны во всем мире, где можно найти самоуправление и полную гражданскую и религиозную свободу».

Даже такой аргумент туркофилов, как развитие торговли при господстве турок, по мнению Маркса, не выдерживает критики. «Если бы завтра все турки были выгнаны из Европы, то торговля бы от этого ничуть не пострадала». Кому обязана цивилизация своими успехами во всех частях Европейской Турции? Не туркам, а греческим и славянским средним классам городов и торговых портов. Если бы турки не имели в своих руках монополии власти и войск, они скоро исчезли бы... Так или иначе, от них нужно избавиться. Но если думают, что это возможно только в том случае, если на их место посадить австрийцев или русских, это то же самое, что утверждать, будто современное политическое положение Европы навсегда останется неизменным. А кто осмелится это утверждать?

Именно в следующей четвертой статье, оставшейся до сих пор совершенно неизвестной, Маркс и дает свой ответ на вопрос, как устранить те препятствия, которые мешают развитию народов, населяющих Балканский полуостров.

Было бы странно, после всего вышеизложенного, утверждать, как это делают и некоторые русские биографы Маркса, что, в своих взглядах на восточный вопрос, он был верным «учеником» Уркарта. Следующая статья его, которую мы даем в полном переводе, покажет, какую роль отводил он южным славянам в борьбе с гегемонией России на Балканском полуострове.

III.

«Мы видели уже, как закоренелое невежество, старая рутина и традиционная неподвижность мысли отпугивают европейских «государственных мужей» от всякой попытки дать какой-нибудь определенный ответ на вопрос, что должна сделать с Турцией Европа. Эбердин и Пальмерстон, Меттерних и Гизо, не говоря уже о их республиканских и конституционных заместителях в

1848—1852 г.г., давно уже потеряли надежду на решение этого вопроса.

«А в это время Россия, не обращая никакого внимания на дипломатические ноты, на планы и интриги Франции и Англии, шаг за шагом, медленно, но неуклонно, подвигается вперед.

«И, хотя все партии, во всех европейских странах, прекрасно видят это непрерывное поступательное движение России, все же до сих пор ни один «государственный муж» не мог об'яснить это явление. Они видят результат, они видят его дальнейшие последствия, но они не замечают главной причины, хотя она очень проста.

«Как раз то самое средство, которое должно помешать успехам России на Балканском полуострове, и является главной движущей силой, которая толкает ее по направлению к Константинополю. Это — лишенная всякого смысла, никогда еще на практике не осуществленная, теория сохранения status quo.

«В чем состоит это status quo? Для христианских подданных оно означает увековечение турецкого гнета. Пока они находятся под турецким игом, они видят в главе греческой церкви, в повелителе шестидесяти миллионов православных, своего естественного покровителя и освободителя. Та самая дипломатическая система, которая была создана с целью задержать поступательное движение России, заставляет, наоборот, десять миллионов христиан в Европейской Турции обращаться за помощью к России.

«Что говорят нам исторические факты? Еще до Екатерины II Россия пользовалась всяким случаем, чтобы создать для себя выгодные условия в Молдавии и Валахии. Это удалось ей в такой степени, что, в силу адрианопольского договора 1829 г., она в придунайских княжествах получила больше прав, чем там имела сама Турция. Когда в 1804 г. вспыхнула сербская революция, Россия сейчас же приняла восставших под свое покровительство, и, оказав им поддержку в двух войнах, она обеспечила внутреннюю независимость Сербии. Кто решил исход борьбы во время греческого восстания? Не заговоры и бунты янинского паши, не сражение при Наварине, не французская армия в Морее, не лондонские конференции и протоколы, а Дибич, вступивший с русской армией в долину Марицы. И в то время, как Россия без всяких стеснений заменялась расчленением Турции, западно-европейские дипломаты не уставали читать проповеди на тему о сохранении status quo и о неприкосновенности Турции. Пока эта традиция останется лейтмотивом дипломатии западно-европейских держав, девять десятков всего населения Европейской Турции будут искать в России свою опору, своего освободителя, своего мессию.

«Предположим на время, что греко-славянский полуостров освободился от турецкого ига, что там существует правительство, лучше приспособленное к потребностям населения. Как сложилось бы в этом случае положение России?

«Известно, что в каждом государстве на Балканском полуострове, которое сумело вполне или отчасти сделаться независимым, сейчас же развивалась сильная антирусская партия. Если это было общим явлением еще в то время, когда вассальные государства считали Россию единственной защитницей против турецкого гнета, то с еще большей вероятностью можем мы ожидать этого, когда окончательно исчезнет страх перед турками.

«Не вспыхнет ли всеобщей войны, когда исчезнет турецкое владычество на Босфоре, когда различные национальности и религии на Балканском полуострове почувствуют себя свободными, когда настежь раскрыты будут двери махинациям и интригам, противоречивым вожделениям и интересам всех европейских великих держав? Такой вопрос задает себе трусливая рутина дипломатии.

«Конечно, нечего ожидать, что Пальмерстоны, Эбердины, Кларендоны и другие министры иностранных дел в состоянии сделать это. Одна мысль о чем-либо подобном повергает их в ужас. Но, кто, при изучении истории научился наблюдать вечную смену человеческих судеб, в которой остается постоянным только непостоянство, неизменным только изменение; кто следил за железным ходом истории, колеса которой безжалостно катят через обломки великих государств и без всякого сострадания раздавливают целые поколения; кто знает, что никакое демагогическое воззвание, никакая возмутительная прокламация не оказывают такого огромного революционного воздействия, как простые голые факты человеческой истории; кто в состоянии схватить революционизирующий характер современной эпохи, когда пар и ветер, электричество и печатный станок, артиллерия и золотые россыпи, соединившись вместе, в течение одного года производят больше изменений и революций, чем прежде производило целое столетие,—кто видит и понимает все это, тот не убоится поставить этот исторический вопрос только потому, что единственное верное решение его может повлечь за собой европейскую войну.

«Но правительства с их старомодной дипломатией никогда не сумеют справиться с этим затруднением. Как и решение многих других вопросов, так и решение восточного остается на долю европейской революции. В этом утверждении нет ничего невероятного. Со времени 1789 г. революция охватывает все более обширные области, границы ее становятся все шире и шире. Ее по-

следними пограничными пунктами были Варшава, Дебречин, Бухарест; крайними пунктами ближайшей революции будут Петербург и Константинополь. Это — два наиболее уязвимых места, где можно нанести удар русскому антиреволюционному колоссу.

«Составлять теперь точный план раздела Европейской Турции было бы только праздной фантазией. Можно было бы придумать чуть ли не двадцать таких схем, из которых каждая была бы так же осуществима, как и другая. Но мы не имеем никакой охоты заниматься праздными фантастическими проектами и предпочитаем сделать несколько общих выводов из вполне достоверных фактов. А с этой точки зрения, интересующий нас вопрос представляет две стороны.

«Во-первых, не подлежит никакому сомнению, что полуостров, называемый Европейской Турцией, представляет естественную наследственную область южно-славянской расы. Из двенадцати миллионов населения к ней принадлежит семь. Она владеет этой областью уже 1200 лет. Если не считать немногочисленной группы, которая, несмотря на славянское происхождение, усвоила греческий язык, ее главными конкурентами являются турецкие или арнаутские варвары, которые давно уже показали себя закоренелыми врагами всякого прогресса. Наоборот, южные славяне внутри страны являются исключительными носителями цивилизации. Они еще не образовали нации, но в Сербии они составляют здоровое и относительно цивилизованное ядро нации. Сербы имеют уже свою историю, свою литературу. Своею независимостью они обязаны одиннадцатилетней мужественной борьбе против значительно превосходившего их численностью врага. В последние двадцать лет они сделали большие культурные успехи, и христиане во Фракии, Болгарии, Македонии и Боснии смотрят на них, как на средоточие, вокруг которого все они соберутся во время предстоящей борьбы за независимость. Можно с уверенностью сказать, что, чем больше окрепнет Сербия и сербская национальность, тем дальше будет оттеснено на задний план прямое русское влияние на турецких славян. Ибо Сербия, чтобы сохранить свое положение независимого государства, должна была заимствовать у Западной Европы политические учреждения, школы, научные познания, промышленную технику. Именно этим об'ясняется и та аномалия, что, несмотря на покровительство России, Сербия со времени своего освобождения является конституционной монархией.

«Пусть кровное родство и общая религия создают общие связи между русскими и южными славянами,—все же интересы их разойдутся с того дня, когда последние освободятся от турецкого ига. Потребности торговли, возникающие из географического положения обеих стран, легко об'ясняют это явление. Россия, представляющая сплошную континентальную массу, производит непосредственным образом земледельческие продукты, но в будущем она будет производить и продукты промышленности. Греческо-славянский полуостров имеет, правда, относительно небольшие размеры, но его растянутые берега омываются тремя морями, из которых одно принадлежит ему целиком; он представляет, главным образом, торговую страну с преобладанием транзитной торговля, хотя имеет в своем распоряжении все средства для самостоятельного производства. Хозяйство России стремится к монополии, хозяйство южных славян — к расширению. Кроме того, они являются конкуррентами в Средней Азии; в то время, как Россия живейшим образом заинтересована в том, чтобы там сбывались только ее собственные продукты, южные славяне уже теперь не менее сильно заинтересованы в том, чтобы сбывать на восточном рынке продукты Запада. Мыслимо ли поэтому, чтобы между этими нациями царило согласие? Турки, южные славяне и греки уже имеют более общие интересы с Западной Европой, чем с Россией. А когда железные дороги, которые теперь идут от Остенде, Гавра и Гамбурга к Будапешту, будут продолжены до Белграда и Константинополя, то влияние западной цивилизации и западной торговли на юго-востоке Европы станет еще прочнее.

«С другой стороны, славяне Турции в особенности сильно страдают от гнета целого класса военных землевладельцев, которых они должны содержать. Эти военные гарнизоны соединяют все общественные функции, как военные, так и гражданские и судебные. А что иное представляет собою русская правительственная система всюду, где она не сплетена тесно с феодальными учреждениями, как не такую же военную оккупацию, где гражданские власти и судебная иерархия организованы на военный лад и где народ должен все это оплачивать? И кто думает, что такая система соответствует южно-славянскому характеру, пусть бросит взгляд на историю Сербии с 1804 г. Кара-Георгий, основатель сербской независимости, был покинут народом, и Милош Обренович, восстановитель независимой Сербии, был вытнан с позором из страны: оба они пытались ввести русский автократический режим с его необходимыми аксессуарами: взяточничеством, полувоенной

бюрократией и эксплоатацией со стороны всяких сатрапов или паш разного калибра.

«Только в этом может состоять окончательное решение вопроса. Как история, так и современные факты указывают на необходимость создания свободного независимого государства на развалинах Турецкой империи. Уже ближайший революционный взрыв может повлечь за собою давно подготовляющийся конфликт между русским абсолютизмом и европейской демократией. И Англия — какое бы правительство ни стояло у власти — должна занять определенное положение в этом конфликте. Она не может допустить, чтобы Россия овладела Константинополем. Она должна вступить в союз с врагами царя и способствовать образованию независимого славянского государства на месте старческой, сгнившей Высокой Порты».

Не все предсказания Маркса оправдались. В течение последних 50 лет произошли крупные перемены в области политических и экономических отношений, которые нельзя было предвидеть накануне крымской войны. Едва антагонизм между Францией и Англией, определявший политику последней на Балканском полуострове в XVIII и еще в первой половине XIX столетия, сменился антагонизмом между Англией и Россией, как уже в средине 90-х годов ясно стало, что главным соперником Англии на Балканском полуострове является не Россия, а Германия вместе с Австрией. Колоссальные успехи немецкой промышленности и торговли быстро свели к минимуму экономическое влияние России и в Европейской Турции, и в Азиатской. О южно-славянских государствах и говорить нечего. Мало того. Главным стражем независимости и целости Турции стала теперь не Англия, а Германия. После захвата Египта на очередь стала оккупация независимой Аравии, капиталистическое «возрождение» Месопотамии, необходимость «стать твердой ногой» на берегах Персидского залива. А во всех этих предприятиях Англия встречает сопротивление не только со стороны Турции, но также — и главным образом — со стороны Германии. Румыния, как и Австрия, давно уже превратились в аванпосты германского капитализма против российских притязаний на Балканский полуостров. То лаской, то угрозой Германия неуклонно выталкивает Россию с Ближнего Востока и толкает ее на Дальний — сегодня против Японии, завтра против Китая.

А среди южно-славянских государств, рядом с сербским, возникло новое, болгарское, которое оказалось не менее строптивым по адресу своих «освободителей», чем во время оно «неблагодарные» сербы.

За 17 октября 1905 г. последовало 24 июля 1908 г. в Константинополе. В этом отношении предсказание Маркса буквально оправдалось. Но status quo рухнул не только на Ближнем Востоке. На этот раз волна европейской революции докатилась не только до Константинополя: после первого приступа (5 августа 1906 г.), кончившегося неудачей, она захлеснула 13 июля 1909 г. также Тегеран. Теперь она докатилась к извечному воплощению status quo—к Пекину.

И никто не работает так усердно, чтобы проложить ей дорогу, как все те же охранители status quo. Все изменилось в течение последних 50 лет, но неизменными остаются старая рутина и традиционная неподвижность мысли европейских «государственных мужей»!

1913.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС

О ПОЛЬСКОМ ВОПРОСЕ

I.

(Введение).

Известно, какую выдающуюся роль во всех программах европейской демократии после июльской революции играл лозунг восстановления независимой Польши. Сочувствие к угнетенным полякам сочеталось с ненавистью к главнейшим участникам «священного союза», к русскому царизму, и в восстановлении Польши усматривали лучшее средство для ослабления «варварской России» и упрочения завоеваний предстоящей новой революции.

Как ни резко противопоставляет себя буржуазной демократии демократия пролетарская, как она выразилась в произведениях Маркса и Энгельса, все же она заимствовала из буржуазной политической программы, вместе с другими политическими требованиями, и требование восстановления независимой Польши. Отличие лишь в том, что оба основателя научного социализма старались подкрепить это требование новыми доводами, а также с самого начала стремились противодействовать иллюзиям польских революционеров.

Было бы, однако, ошибочно думать, что взгляды их на польский вопрос оставались неизменными в течение всего того времени, когда продолжалась их совместная теоретическая работа, т.-е. от 1844 г. до смерти Маркса (1883), и, если иметь в виду дальше взгляды одного Энгельса,—до смерти последнего (1895). Она так же изменялась, как и их позиция в других вопросах. Следует к тому же принять во внимание,—а об этом часто забывают,—что взгляды Маркса и Энгельса не всегда совпадали, что те взгляды, которые считались их общими взглядами, являлись результатом борьбы мнений между ними; далее, что во многих вопросах их мнения уже потому не всегда совпадали, что Маркс и Энгельс приходили к ним, исходя из различных — как научных, так и практических — предпосылок.

В дальнейшем я пытаюсь впервые собрать воедино мнения Маркса и Энгельса по польскому вопросу, и притом одинаково как их совместные выступления, так и те их заявления, которые они делали в том или ином случае в течение сорока лет каждый отдельно и из которых многие до сих пор оставались неизвестны. Я ставлю себе задачу чисто повествовательную. Я заранее отказываюсь от всякой критики даже тогда, когда взгляды Маркса и Энгельса прямо требуют ее. Целью моей работы является исключительно стремление представить по возможности исчерпывающий вопрос.

II.

После польского восстания 1830—31 г.г., сделавшего невозможным поход «священного союза» против революционной Франции, подобно тому, как восстание 1794 г. расстроило совместное выступление абсолютистских держав,—Польша вплоть до 1846 г. оставалась видимо совершенно спокойной. Несмотря на это, период этот был для революционной польской эмиграции временем внутренней борьбы и самокритики. Отдельные попытки вызвать в Польше новое восстание кончались неудачей. Но с каждым днем становилась все более глубокой пропасть между аристократической частью польской эмиграции, придававшей громадное значение помощи западно-европейских правительств, и демократической ее частью, стремившейся сблизиться с западно-европейской демократией [1]).

Сосредоточием польского движения являлась сперва Франция (Париж, Пуатье, Безансон). Впоследствии часть поляков перебралась, добровольно или будучи выслана французским правительством, в Лондон и Брюссель. В Брюсселе жил известный польский историк Иоахим Лелевель, которого застали там в 1845 г. Маркс и Энгельс [2]). В Лондоне мы находим Людвига Оборского, который в 40-х годах участвовал там во всех международных манифестациях и поддерживал тесные дружеские отношения как с чартистами, так и с членами Немецкого Коммунистического Рабочего Союза, в особенности с Карлом Шап-

---

[1]) Ср. «Emigracja polska od 1831 do 1863. Krótki rys historyczny». Lipsk, 1865; «Demokracia polska na emigracji, wyjątki z pism W. Heltmana», Lipsk, 1866; L. Gadan, «Emigracjá polska», Krakow, 1901.

[2]) «L. Lawaszkiewicz, «Notice sur la vie de Joachim Lelewel», Bruxelles, 1862. Письмо Лелевеля к Марксу напечатано в книге последнего «Herr Vogt», S. 188.

пером. В Портсмуте возникла также первая польская революционная организация («Народ Польский»), включившая в свою программу уничтожение частной собственности. Но гораздо большим влиянием пользовалось самое активное в то время польское революционное общество («Польское демократическое общество»), основанное еще в 1832 г. в противовес руководимой Чарторыйским аристократической части эмиграции. Главную причину неудачи польской революции польские демократы видели в эгоистических тенденциях аристократии. Они полагали, что спасение Польши не только в вооруженном восстании, но и в одновременной с ним радикальной и демократической революции. Они хотели поэтому апеллировать к народу, к крестьянству, и, в соответствии с этим, включили в свою программу требование освобождения крестьян и крестьянского землевладения от феодального гнета. В этом направлении общество при помощи своих агентов развило деятельную пропаганду во всех трех частях Польши [1]).

В 1845 г. под влиянием секций, работавших в Пруссии и Австрии, общество решилось подготовить новое восстание. План военных действий должен был выработать член правления генерал Мерославский. В декабре 1845 г. последний отправился в Познань и Краков. 24 янв. 1846 г. в Кракове было учреждено национальное правительство, которое затем выпустило 22 февраля манифест, обещавший крестьянам уравнение в правах, равно как свободное владение обрабатываемой ими в течение столетий землею [2]).

Как известно, восстание это кончилось неудачно. Мерославский уже 12 февраля 1846 г. был арестован в Познани. В русской Польше оно выразилось лишь в быстро подавленной вспышке в Седлеце. В Галиции сами крестьяне помогали подавлять восстание. Последний остаток старой независимой Польши, независимая республика Краков была присоединена к Австрии.

Но это восстание вновь пробудило в европейской демократии симпатии к несчастной Польше. Оно явилось прологом революционных движений, наполнивших весь 1847 год и закончившихся революцией 1848 г. Определенно социальный характер восстания,

---

[1]) Ср. B. Limanowski, «Historja ruchu spolecznego w XIX stuleciu», Lwow, 1890; W. Narkiewicz-Jodko i S. Dyksztein, «Polski sozyalizm utopijny na emigracji», Krakow, 1907; S. Szpotański, «Lud Polski», Lwow, 1907.

[2]) A. Piller, «Historya Powstania narodu polskiego w 1861 64», Paryż, 1867—71, том третий; Krajewski, «Tajne związki polityczne w Galicyi, 1833—1841», Lwow, 1903; B. Limanowski, «Historya demokracji polskiej w epoce, porazbiożowej», Zurych, 1901.

выгодно отличавший его от восстания 1830—31 гг., попытка апеллировать к самому народу, кончившаяся таким трагическим образом, завоевали теперь полякам новые симпатии и в рабочем классе. Можно сказать, что восстание Польши лишь со времени краковского восстания сделалось одним из основных принципов внешней политики рабочего класса в Англии, Франции и Германии. То, что раньше напоминало скорее симпатии к угнетенным грекам, что в сущности являлось стремлением немногих идеологов или ни к чему не обязывающим участием образованных слоев, — стало теперь общим требованием рабочего класса, начинавшего свою освободительную борьбу. Так восстановление Польши, наравне с борьбою итальянцев и венгерцев за свою национальную самостоятельность, стало одним из практических интересов международного демократического движения.

Это об'ясняет нам, почему с 1847 г. польский вопрос неизменно стоит в порядке дня каждого значительного международного собрания европейских демократов. Подобно уже упомянутому Л. Оборскому, который выступает в Лондоне членом международной организации «Fraternal Democrats», польские эмигранты в Брюсселе—Лелевель, Люблинер и др.—принимают участие в создании «Association démocratique», председателем которой являлся Жотран, а товарищами председателя — Маркс и Имбер (ноябрь 1847 г. [1]).

По поручению этого общества Маркс передал «Братским Демократам» в Лондоне сочувственный адрес, когда отправился с Энгельсом в Лондон для участия на конгрессе другого международного общества, всего лишь за несколько месяцев перед тем основанного «Союза Коммунистов». Маркс выполнил поручение в собрании, созванном 29 ноября 1847 г. обществом «Братских Демократов» в память польского восстания 1830 г.: в этом собрании он и Энгельс впервые говорили публично о польском вопросе и о его значении для европейского пролетариата [2]).

---

[1]) Ср. L. Bertrand, «Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique depuis 1830», Bruxelles, 1906, I, стр. 250—70; Jottrand, L. «Charles-Louis Spilthorn», Bruxelles, 1872.

[2]) Отчет об этом собрании дали «Немецк. Брюсс. Газета» от 9 и 12/XII и парижская «Реформа» от 5. XII. 1847.—Последний отчет перепечатан в издании Ш. Андлера «Комм. Манифеста» («Социал. Библиотека», № 8). Париж, 1901, стр. 76—79, а также вместе со второй статьей «Реформы», приписываемой Энгельсу, в «Документах Социализма» Бернштейна, I, 218—224.—Фр. Меринг, «Материалы для партийной истории», «Neue Zeit», XX, 2, 545—548, воспроизводит речи Маркса и Энгельса по тексту «Нем. Брюсс. Газ.» См. также E. Dolléans, «Le chartisme», Paris, 1913, I, 397—404.

В своей речи Маркс рассматривает польский вопрос, как часть общей освободительной борьбы народов, которую он ставит в связь с радикальным изменением отношений собственности, и выступает, как международный коммунист, ожидающий этого освобождения от социальной революции:

«Для того, чтобы народы могли действительно об'единиться, они должны обладать общими интересами. Но для того, чтобы их интересы стали общими, должны быть уничтожены современные отношения собственности, ибо современные отношения собственности обуславливают взаимную эксплоатацию народов: в уничтожении современных отношений собственности заинтересован лишь один рабочий класс. Да и он только один обладает средствами для выполнения этого. Победа пролетариата над буржуазией является вместе с тем победой над национальными и промышленными столкновениями, которые ныне враждебно противопоставляют один против другого различные народы. Победа пролетариата над буржуазией является поэтому одновременно и сигналом к освобождению всех угнетенных наций.

«Впрочем, старая Польша погибла, и мы, меньше кого бы то ни было, хотели бы ее восстановления. Но погибла не только старая Польша. Погибла старая Германия, старая Франция, старая Англия, погибло все старое общество. Но гибель старого общества не составляет утраты для тех, кому нечего терять в старом обществе, а таких громадное большинство во всех современных государствах. Напротив, они лишь выиграют от гибели старого общества, которая повлечет за собою возникновение нового общества, уже больше не основанного на классовых противоречиях.

«Из всех стран в Англии наиболее развились противоречия между пролетариатом и буржуазией. Победа английских пролетариев над английской буржуазией имеет поэтому решающее значение для победы всех угнетенных над их угнетателями. Польша в виду этого будет освобождена не в Польше, а в Англии. Вам, чартистам, поэтому незачем высказывать благочестивые пожелания об освобождении угнетенных наций. Разите своих собственных внутренних врагов, и вы тогда сможете питать гордое сознание, что поражаете при этом все старое общество».

Иначе выступает Энгельс, который, в отличие от Маркса, говорит в качестве немецкого демократа, желающего доказать, почему немецкая демократия особенно заинтересована в освобождении Польши. Во второй части своей речи он говорит в том же духе, что и Маркс:

«Позвольте мне, друзья мои, в виде исключения выступить сегодня в моем качестве немца. Мы, немецкие демократы, особенно заинтересованы в освобождении Польши. Немецкие монархи извлекают выгоду из раздела Польши, немецкие солдаты и по сегодня еще угнетают Галицию и Польшу. Мы, немцы, и прежде всего мы, немецкие демократы, должны позаботиться о том, чтобы смыть это пятно с нашей нации. Ни одна нация не может освободиться, продолжая угнетать другие нации. Освобождение Германии, таким образом, не может совершаться, пока не произойдет освобождения Польши от гнета немцев. И потому Польша и Германия имеют общий интерес, и потому польские и немецкие демократы могут сообща работать над освобождением обеих наций.

«Я держусь также того мнения, что первый решительный удар, который будет иметь своим последствием победу демократии, освобождение всех европейских стран, будет нанесен английскими чартистами; я провел в Англии много лет и в течение этого времени открыто примыкал к чартистскому движению. Но английские чартисты восстанут первые потому, что именно в Англии борьба между буржуазией и пролетариатом наиболее ожесточенная. А почему она наиболее ожесточенная? Потому, что в Англии, благодаря современной промышленности, благодаря машинам, все угнетенные классы слились в единый многочисленный класс, об'единенный общими интересами, в класс пролетариата; потому что в силу этого на противоположном полюсе об'единились в единый класс буржуазии все классы угнетателей. Это упростило борьбу, и поэтому ее можно будет кончить одним решительным и сильным ударом. Разве это не так? Аристократия не обладает уже в Англии никакой властью, буржуазия господствует одна, ведя на поводу аристократию. Но буржуазии противостоит вся народная масса, об'единенная в могучую фалангу, победа которой над господствующими капиталистами надвигается все ближе. И этим уничтожением противоположных интересов, которые раньше поддерживали розни различных групп рабочих, этим уравнением положения всех рабочих вы обязаны машинному производству; без машинного производства не было бы чартизма, и если даже оно временно ухудшило ваше положение, то все же именно благодаря этому оно делает нашу победу возможной. Но не только в Англии, во всех других странах оно оказало такое же воздействие на рабочих. В Бельгии и Америке, в Германии машинное производство уравняло положение всех рабочих и изо дня в день все более уравнивает его; во всех этих странах рабочие заинтересованы в одном и том же, а именно—в низвержении угнетающего их класса, бур-

жуазии. Это уравнение положения, это отождествление партийных интересов рабочих всех наций представляют собою результат машинного производства, которое поэтому остается величайшим историческим прогрессом.

«Что вытекает из этого для нас? В виду того, что положение рабочих всех стран одинаково, что одинаковы их интересы и одни и те же у них враги, они должны бороться совместно, должны об'единению буржуазии всех народов противопоставить об'единение рабочих всех народов».

Упомянутое собрание 29 ноября 1847 г. было, однако, не единственным, на котором Маркс и Энгельс выступали перед февральской революцией по польскому вопросу. Почти перед самой революцией они оба говорили в собрании, устроенном «Демократическим обществом» в Брюсселе во вторую годовщину краковского восстания, или, вернее, манифеста национального правительства. Факт этот до сих пор остается неизвестным всем вообще биографам Маркса и Энгельса, также и Луи Бертрану, который в своем названном выше сочинении посвящает много страниц «Демократическому обществу».

Собрание было организовано с помощью польских демократов Лелевеля и Люблинера. Ораторами выступали: бельгиец Сено, Маркс, Энгельс, Лелевель и рабочие Катс, Пеллеринг, Валлау. Речей последних не сохранилось, зато имеются все остальные [1]).

Речь Маркса построена теперь совсем иначе, чем произнесенная раньше в Лондоне. Он хочет выяснить своим слушателям значение краковского восстания. Он подчеркивает необходимую связь между политическим и социальным вопросами. Славный пример, данный краковским восстанием всей Европе, он видит в том, что оно связало дело национального освобождения с делом демократии и освобождения угнетенного класса. Именно поэтому освобождение не феодальной Польши, а демократической Польши становится делом чести всех европейских демократов. Энгельс, со своей стороны, доказывает, что неудача краковского восстания была победой демократической Польши над старой аристократической Польшей; что борьбе поляков против их угнетателей должна пред-

---

[1]) Обе речи полностью напечатаны в брошюре, ныне весьма редкой, по моим сведениям, имеющейся лишь в библиотеке имени Антона Менгера в институте общественных наук венского университета: «Célébration, à Bruxelles du deuxième anniversaire de la révolution polonaise du 22 février 1846. Discours prononcés par MM. A. S. Senault, Karl Marx, Lelewel, F. Engels et Louis Lubliner, avocat». Bruxelles. C. G. Vogler. 1848.

шествовать борьба между самими поляками. Поэтому он критикует восстание 1830 г., которое, по характеру своему, скорее было консервативным. Лишь один член правительства — Лелевель понимал, что сделать революцию популярной можно единственно при условии уничтожения привилегий аристократии и раскрепощения крестьян, равно как и изменения позорного положения евреев. Только краковское восстание превратило польское дело в дело всех народов, из сочувственной фразы превратило его в практический вопрос для всех демократов. Особенно должна радоваться Германия, так как в лице демократической Польши у нее появился верный союзник, имеющий те же интересы. Ведь, первый предпосылкой освобождения Германии и Польши является политическое революционизирование Германии, падение Пруссии и Австрии, оттеснение России за Днестр и Двину.

В духе этих речей Маркс и Энгельс заявляют также в появившемся тогда «Коммунистическом Манифесте»:

«Среди поляков коммунисты поддерживают партию, которая ставит аграрную революцию необходимым условием национального освобождения,—ту самую партию, которая вызвала краковское восстание 1846 г.».

III.

Лишь полное знакомство с обеими брюссельскими речами делает вполне понятной позицию Маркса и Энгельса в польском вопросе во время революции 1848 г.

Те же принципы отстаивают они, приводя только больше исторических доводов и в полемической форме, против представителей буржуазных партий во франкфуртском парламенте, в своих статьях в «Новой Рейнской Газете», которые Меринг собрал под общим заглавием «Прения по польскому вопросу во Франкфурте» [1]).

«Один французский историк сказал: «Существуют необходимые народы» («Il y a des peuples nécessaires»). К числу этих необходимых народов в XIX столетии принадлежит, безусловно, народ польский.

«Но национальное существование Польши ни для кого не является более необходимым, чем как раз для нас, немцев.

«На что в первую очередь опирается с 1815 г., даже отчасти со времени первой французской революции, власть реакции в Европе? На русско-прусско-австрийский «священный союз». А

[1]) Gesummelte Schriften von Marx und Engels, herausgegeben von F. Mehring». Band III, SS. 134—182.

что об'единяет этот «священный союз»? Раздел Польши, из которого извлекали выгоду все три союзника.

«Пропасть, которую эти три державы вырыли между различными частями Польши, служит связью, соединяющей их друг с другом, совместный грабеж сделал их солидарными друг с другом.

«С момента первого ограбления Польши, Германия попала в зависимость от России. Россия приказала Пруссии и Австрии оставаться абсолютными монархиями, и Пруссия с Австрией должны были повиноваться. И без того слабые и скромные усилия, в особенности, прусской буржуазии, завладеть властью потерпели полное крушение, в виду невозможности отделиться от России, в виду поддержки, которую Россия оказывала феодально-абсолютистскому классу в Пруссии.

«К этому присоединилось и то обстоятельство, что с самой первой попытки подавления со стороны союзников поляки не только повели вооруженную борьбу за свою независимость, но вместе с тем революционно выступили против своих внутренних общественных отношений.

«Раздел Польши совершился благодаря союзу высшей феодальной аристократии Польши с тремя участвующими в разделе державами. Он отнюдь не представлял собою прогресса, как это утверждает экспоэт г. Иордан, он являлся последним средством в руках высшей аристократии спастись от революции, он был от начала до конца реакционным.

«Следствием уже первого раздела явился вполне естественно союз остальных классов, т.-е. дворянства, буржуазии городов и отчасти крестьян, как против угнетателей Польши, так и против отечественной высшей аристократии. Конституция 1791 показывает, что поляки уже тогда вполне понимали, что их национальная независимость неразрывно связана с падением аристократии и с аграрной реформой внутри страны.

«Обширные земледельческие области между Балтийским и Черным морями могут избавиться от патриархально-феодального варварства лишь при посредстве аграрной революции, которая превратит крепостных или обязанных барщиной крестьян в свободных землевладельцев,—революции, совершенно аналогичной французской революции 1789 г. в деревне. Польская нация имеет ту заслугу, что первая провозгласила это среди всех соседних с нею земледельческих стран. Первой попыткой реформы явилась конституция 1791 г.; во время восстания 1830 года аграрная революция была выдвинута Лелевелем, как единственное средство спа-

сти страну, но слишком поздно была признана сеймом: во время восстаний 1847 и 1848 г.г. она была открыто провозглашена.

«С первого дня своего покорения поляки стали действовать революционно и этим заставили своих угнетателей сохранять патриархально-феодальные отношения не только в Польше, но и в прочих своих владениях. И, действительно, со времени краковского восстания 1846 г. борьба за независимость Польши делается вместе с тем борьбою аграрной демократии — единственной возможной в Восточной Европе — против патриархально-феодального абсолютизма.

«И поэтому до тех пор, пока мы помогаем угнетать Польшу, пока мы приковываем часть Польши к Германии, пока мы остаемся прикованными к России и русской политике, — до тех пор мы не сможем и у самих себя основательно покончить с патриархально-феодальным абсолютизмом.

«Но восстановление Польши и установление ее границ с Германией не только необходимы, это в то же время легче всего разрешимый вопрос из числа всех политических вопросов, возникших в Восточной Европе со времени революции. Борьба за свою независимость всех племен, пестро перемешанных южнее Карпат, отличается гораздо более сложным характером и требует много больше крови, осложнений и вызовет более упорную междоусобицу, чем польская борьба за независимость и установление границы между Германией и Польшей.

«Разумеется, речь идет не о создании призрачной Польши, а об образовании жизнеспособного государства. Польша должна получить, по крайней мере, границы 1772 г., должна сохранить не только бассейны, но и устья своих крупных рек и получить, по крайней мере, на Балтийском море обширную береговую полосу.

Критика польской аристократии здесь еще резче, чем в брюссельских речах. Только Польша крестьянской демократии, одновременно с восстаповлением национального существования совершающая аграрную революцию, только независимая Польша, владеющая балтийским побережьем и устьями польских рек, только такая Польша может представить собою непреодолимую преграду русскому царизму. И гарантия, неизбежность восстановления такой именно Польши заключается не в развитии и укреплении исторических традиций, а в том, что Польша сделалась революционной частью России, Австрии и Пруссии, что она являлась очагом европейской демократии уже тогда, когда Германия погрязала в самой плоской конституционной и бессодержательной идеологии.

И как могла Германия гарантировать все это Польше? Только в том случае, «если бы она после революции имела мужество в своих собственных интересах потребовать от России с оружием в руках возвращения Польши».

Эта революционная война Германии против России привела бы не только к освобождению Польши.

«Война с Россией была бы полным открытием и действительным разрывом со всем нашим позорным прошлым, была бы действительным освобождением и об'единением Германии, являлась бы утверждением демократии на развалинах феодализма и мимолетной мечты о господстве буржуазии. Война с Россией являлась бы единственным возможным средством спасти нашу честь и наши интересы в отношении к нашим ганзейским соседям, в особенности в отношении Польши. На эту войну не отважились, и неизбежное случилось: разбитая в Берлине солдатчина реакции подняла вновь голову в Познани под предлогом спасения германской чести и национальности, развернула знамя контр-революции и подавила наших союзников—польских революционеров. И ограбленная Германия короткое время выражала одобрение своим победоносным врагам. Был произведен новый раздел Польши, ему недоставало лишь санкции германского национального собрания».

IV.

Не подлежит никакому сомнению, что нельзя придавать одинаковое значение, как выражению политических взглядов, частным письмам, диктуемым преходящими настроениями или особыми условиями, и произведениями, с самого начала предназначенными для печати. Тем не менее, и такие частного характера заявления представляют собой, хотя бы с биографической точки зрения, значительный интерес. Я поэтому даю здесь сводку всего того, что содержится в переписке между Марксом и Энгельсом по польскому вопросу. Ведь эта переписка за 1851—1864 годы часто является единственным источником для уяснения взглядов Маркса и Энгельса по различным вопросам.

Так, Энгельс подробно говорит о Польше в письме к Марксу от 23 мая 1851 г.

«Чем более я задумываюсь над историческим развитием, тем яснее становится мне, что поляки составляют nation foutue, нацию, которая лишь до тех пор может быть использована, как средство, пока Россия сама не втянута в аграрную революцию. С этого момента у поляков не остается ни малейшего raison d'être. Поляки по всю свою историю не делали никогда ничего иного, кроме того,

что вытворяли храбрые, опрометчивые глупости. Нельзя указать ни на один такой момент, когда Польша, хотя бы лишь по отношению к России, с успехом представляла прогресс или совершила что-нибудь имеющее, хотя бы некоторое, историческое значение. Россия, напротив того, является действительно прогрессивной в отношении Востока. Русское владычество при всей его бездарности, при всей его славянской грязи, имеет цивилизующее значение для областей Черного и Каспийского морей и Центральной Азии, для Башкирии и татар; притом Россия впитала в себя гораздо больше элементов образования и, в особенности, промышленных элементов. чем Польша, по всей природе своей рыцарски-медвежья. Преимуществом является уже то, что русское дворянство фабрикует, торгуется, грабит, дает себя развращать и занимается всевозможными христианскими и еврейскими делишками, начиная с императора и князя Демидова и кончая паршивым боярином 14 класса, который зовется лишь «благородием». Польша никогда не могла ассимилировать инородные элементы. Немецкое население городов остается немецким. А как Россия умеет руссифицировать немцев и евреев, красноречивым примером этого служит любой немец из второго поколения, живущий в России. Даже евреи приобретают здесь славянскую внешность.

Разительным образчиком «бессмертия» Польши служат наполеоновские войны 1807 и 1812 г.г. Бессмертным оказалась только их беспредметная сварливость. К тому же, большая часть Польши. так называемая Западная Россия, т. е. Белосток, Гродно, Вильно. Смоленск, Минск, Могилев, Волынь и Подолия, после 1772 г. спокойно сносили, за небольшими исключениями, господство русских. ils n'ont pas bougé, если не считать тут и там горсти горожан и дворян. Четверть Польши говорит по-литовски, четверть — по-белорусски, небольшая часть — по-малорусски, а собственно польская часть на целую треть подверглась германизации.

«К счастью, мы в «Новой Рейнской Газете» не взяли на себя никаких других определенных обязательств по отношению к полякам, кроме неустранимого требования, — восстановления Польши в соответствующих границах, — и то при условии аграрной революции. Я уверен, что эта революция совершится полностью раньше в России, чем в Польше, в виду национального характера России и большего развития в ней буржуазных элементов. Что значат Варшава и Краков против Петербурга, Москвы, Одессы и т. д.!

«Вывод: отобрать у поляков на Западе все, что только можно, занять их крепости немцами под предлогом охраны, особенно Познань, дать им действовать, послать их в огонь, поглотить их стра-

ну, подкармливая их видами на Ригу и Одессу, а в том случае, если удастся расшевелить русских, заключить с ними союз и принудить поляков подчиниться. Каждая пядь земли, которую мы уступаем Польше на границе от Мемеля до Кракова, в военном отношении совершенно уничтожает эту и без того плачевно слабую границу и оставляет обнаженным все Прибалтийское побережье до самого Штеттина.

«Я, впрочем, убежден, что при предстоящей вспышке все польское восстание ограничится познанским и галицийским дворянством, плюс некоторое число случайных участников из королевства, и что претензии этих рыцарей, если только они не встретят поддержки со стороны французов, итальянцев, скандинавов и т. п. и не будут усилены, благодаря чехо-словацким неурядицам, потерпят неудачу, в силу жалкого характера своего выступления. Нация, которая выставляет самое большее 20—30 тыс. человек, не может сказать своего слова. А больше Польша, конечно, не выставит» [1]).

При сравнении этого выпада со статьями в «Новой Рейнской Газете» сразу бросается в глаза крупное различие. У весьма импульсивного Энгельса такую внезапную перемену позиции можно отчасти об'яснить еще тем, что польская эмиграция, в происходившей тогда борьбе между демократами и коммунистами, стала на сторону первых. Правда, он останавливается только на вопросе об уступках, какие «немцы» могут сделать полякам. В «Новой Рейнской Газете» Энгельс тоже рассматривает поляков, как преимущественно земледельческий народ, и к числу славянских народов, имеющих будущность, относит также русских.

Ответ Маркса нам неизвестен. Вероятно, друзья вскоре имели возможность обменяться в устной беседе мнениями по этому вопросу при свидании, о котором они списывались в это время. Во всяком случае, глава о польском вопросе в статьях, написанных в 1851 и 1852 г.г. для «Нью-Йоркской Трибуны», отличается меньшим энтузиазмом и категоричностью, чем статья в «Новой Рейнской Газете», которую Энгельс резюмирует для своей новой статьи.

«Так как революция 1848 г. тотчас же пробудила у всех угнетенных наций стремление к самостоятельному существованию и к обеспечению за собою права самим решать свои дела, то было вполне естественно, что поляки потребовали без всяких оговорок восстановления своей страны в границах прежней Польской

---

[1]) См. «Der Briefwechsel zwischen F. Engels und K. Marx, herausgegeben von A. Bebel und E. Bernstein», 1913, I, SS. 189—91.

республики 1772 г. Правда, эта граница уже в то время не являлась правильной в качестве разграничительной линии между немецкой и польской национальностями; из года в год она становилась все неправильнее, поскольку усиливалась германизация. Однако, немцы обнаружили такое воодушевление в пользу восстановления Польши, что должны были ожидать, что от них потребуют, как первого доказательства искренности их симпатий, отказа от своей добычи. Но, с другой стороны, нельзя было не поставить вопроса: неужели же надо уступать целые области, населенные, главным образом, немцами, большие города, совершенно немецкие, народу, который до сих пор не дал ни малейшего доказательства того, что он способен выйти из состояния феодализма, опирающегося на закрепощение сельского населения? Вопрос был достаточно запутан. Единственно возможное решение давала война с Россией. Она делала вопрос о проведении границ между различными революционными нациями второстепенным сравнительно с основным вопросом об установлении устойчивой границы против общего врага. Поляки проявили бы больше сговорчивости по вопросу о Западе, если бы получили обширные территории на Востоке: Рига и Митава, в конце концов, явились бы в их глазах не менее важными, чем Данциг и Эльбинг. Так как радикальная партия в Германии считала необходимой войну с Россией, чтобы поддержать движение на континенте, и исходила из того взгляда, что национальное возрождение, хотя бы одной части Польши, должно неизбежно привести к такой войне, она оказывала поддержку полякам; напротив того, правящая партия буржуазии с самого начала ясно видела, что национальная война против России должна повлечь за собой ее собственное падение, ибо поставит у кормила правления более деятельных и более решительных людей, а потому, с лицемерным энтузиазмом в пользу распространения германской национальности, об'явила прусскую Польшу, центр революционной польской агитации, интегральной составной частью будущего германского государства. Обещания, данные полякам в первые дни возбуждения, были позорно нарушены: польские отряды, сформированные с согласия правительства, были рассеяны и уничтожены прусской артиллерией, и уже в апреле 1848 г., всего через шесть недель после берлинской революции, польское движение было задушено, и вновь пробуждена старая национальная вражда между немцами и поляками. Эта величайшая и неоценимая услуга русскому самодержцу была сделана обоими либеральными купцами и министрами Кампгаузеном и Ганземаном. Следует еще заметить, что эта польская кампания

послужила первым шагом для того, чтобы вновь организовать и исполнить доверием к своим силам ту самую прусскую армию, которая затем прогнала от власти либеральную партию и подавила движение, над созданием которого так трудились господа Кампгаузен и Ганземан. Что посеешь, то пожнешь. Такова была участь всех выскочек 1848 и 1849 г.г. от Ледрю Роллена до Шангарнье и от Кампгаузена до Гайнау» [1]).

На польском вопросе Маркс останавливается в 1853 г. в статьях, посвященных политике Пальмерстона и появившихся почти одновременно в Нью-Йоркской Трибуне» и чартистской «Народной Газете» [2]). Но тут мы имеем лишь беспощадное и саркастическое выяснение всех противоречий и всего лицемерия, отличающих позицию Пальмерстона по отношению к Польше.

Но и позже у Маркса и Энгельса продолжали возникать сомнения в правильности их старых взглядов. Чтобы решить их, они продолжают основательно изучать польский вопрос. Об этом свидетельствуют несколько писем, относящихся к 1856 г. Так, 16 октября этого года Маркс пишет Энгельсу:

«Прилагаю при сем выдержку из книги Мерославского. Ты знаешь, что он не лишен остроумия (esprit), но в книге этой слишком много остроумия худого тона, именно много стиля amphigourique, который вымучивают из себя французы с тех пор, как сделались «глубокими» и перестали быть поверхностными вольтерьянцами. Много в ней и подогретого воодушевления, при помощи которого «непризнанные» национальности возвеличивают свое прошлое. Ненависть к России, еще больше—к Германии, к панславизму; в противовес последнему—свободная конфедерация славянских народов во главе с поляками, как народом-Архимедом. Решительно выдвигает социальную революцию в Польше, как основную предпосылку политической; но пытается доказать путем исторической дедукции, доказывающей как раз обратное, что

---

[1]) К. Маркс, «Революция и контр-революция в Германии». Нем. пер. К. Каутского. Штуттгарт, 1896, стр. 59—61. Англ. пер. дочери Маркса Элеоноры Маркс-Эвелинг под тем же заглавием, Лондон, 1896. Из переписки Маркса и Энгельса видно, что бо́льшая часть этих статей написана Энгельсом.

[2]) «Пальмерстон и Россия» в «Нью-Йоркской Трибуне» от 4/IX 1853, а также в «Народной Газете» от 5 и «Вольной Печати» от 17/XI 1853; во второй раз в лонд. изд. от 12/I 1856. Отдельный оттиск в «Политических Летучих Листках» Тэкера под назв. «Пальмерстон и Польша»; в 1899 перепечатано в сборнике «Жизнь лорда Пальмерстона» К. Маркса, под ред. дочери его Элеоноры Маркс-Эвелинг. Лондон, 1899 г. (стр. 22—35—оба раза изданы весьма неудовлетворительно).

структура старой аграрной общины (гмина — латинизированная русская община) правильна» [1]).

Хотя Маркс и выступает против тенденции польской эмиграции, в том числе и Мерославского, произвести «дипломатическую революцию под покровительством Луи Бонапарта и Пальмерстона», он остается верным прежнему взгляду. «Меня, впрочем, при изучении в последнее время польской истории заставил решительно высказаться за поляков, — пишет он Энгельсу 2 декабря 1856 г.,—тот исторический факт, что интенсивность и жизненность всех революций с 1789 г. почти точно определяются их отношением к Польше. Польша представляет собою их «внешний термометр». Это в деталях легко доказуемо по фактам французской истории. В нашей краткой немецкой революционной эпохе, а также в венгерской, это бросается в глаза» [2]).

В памфлете своем «Господин Фогт» Маркс подвергает уничтожающей критике руссофильские взгляды К а р л а Ф о г т а.

«Вместо освобождения польской национальности от русских, австрийцев и пуссаков, Фогт требует растворения и исчезновения всего прежнего польского государства в России. Finis Poloniae!»

Особенно ярко подчеркивает Маркс опасность, грозящую в таком случае Германии.

«Когда Россия по договорам 1815 г. аннектировала значительно бóльшую часть собственной Польши, она приобрела столь выдвинувшуюся на запад стратегическую позицию, таким клином вдвинулась не только между Австрией и Пруссией, но и между Вост. Пруссией и Силезией, что уже тогда прусские офицеры (напр., Гнейзенау) обращали внимание на неприемлемость такого соотношения границ с более сильным соседом. Но истинный смысл и значение раздела вскрылись впервые лишь тогда, когда подавление Польши в 1831 г. отдало эту область на милость русских. Необходимость держать Польшу в узде служила лишь поводом для возведения крепостей крупнейших размеров—под Варшавой, Модлиным, Ивангородом. Действительной целью при этом было полное стратегическое господство в бассейне Вислы, создание базы для нападения на север, юг и запад. Даже Гакстгаузен, восторженно мечтающий о православном царе и обо всем русском, видит в этом вполне определенную опасность и угрозу для Германии. Укреплен-

---

[1]) Переписка, II, 129. Книга эта — L. Mieroslawski, «La nationalité polonaise dans l'équilibre européen», Paris, 1856 г. Очень подробные выписки из нее найдены мною в бумагах Маркса, вместе с другими выдержками из книг по польской истории.

[2]) «Переписка», 111—116.

ная позиция России на Висле угрожает Германии больше, чем все французские крепости, вместе взятые, особенно с того момента, как прекратится национальное сопротивление Польши, и Россия получит возможность располагать военной силой Польши, как своей собственной наступательной силой» [1]).

В аргументации «Новой Рейнской Газеты» не было этого, так сказать, стратегического доказательства необходимости восстановления независимой Польши. Маркс полагал тогда, что «освобождение крепостных в духе русского правительства в сто раз повысит наступательную силу России», — взгляд, который он впоследствии изменил.

V.

Польское восстание 1863 г. пробудило в Марксе и Энгельсе новые революционные надежды. Немалую роль играло при этом воспоминание о краковском восстании, которое представлялось им предвестником революции 1848 г.

«Что скажешь ты о польской истории?—пишет Маркс Энгельсу 13 февраля 1863 г.—Пока что несомненно, что опять в Европе началась эра революции. И общее положение вещей хорошее. Но добродушные иллюзии и почти детский энтузиазм, с которым мы, перед февралем 1848 г., приветствовали революционную эпоху, исчезли бесследно. Старые товарищи, как Веерт и др., погибли, другие отпали или пропали, а нового поколения, по крайней мере, еще не видать. К тому же мы теперь знаем, какую роль играет в революциях глупость и как они эксплоатируются негодями. Впрочем «прусские» мечтатели о национальном освобождении для «Италии» и «Венгрии» уже теперь оказались в затруднительном положении. Пруссаки не станут отрекаться от своих симпатий. Надо надеяться, лава на этот раз потечет с Востока на Запад, а не наоборот, так что на нашу долю не выпадет «чести» французской инициативы» [2]).

В следующем письме Маркс предлагает Энгельсу выпустить от имени Лондонского Рабочего Общества манифест: «Ты должен написать военную часть, т. е. о военно-политической заинтересованности Германии в восстановлении Польши. Я напишу часть дипломатическую» [3]).

Энгельс, который думал, что если эти «бравые молодцы»-поляки продержатся еще до 15 марта, то восстание вспыхнет

---

[1]) См. Markx, «Herr Vogt», Лондон, 1860, стр. 78—79.

[2]) «Переписка», 111—116.

[3]) «Переписка», 111—117.

во всей России и что шансы на победу почти уже превышают возможность поражения» [1]), сейчас же одобряет план Маркса и предлагает следующий план брошюры: «1. Военное положение России в отношении к Западу и Югу; 2.—Тоже после раздела Польши на три части; 3.—Тоже после 1814 г.; 4. Положение России и Германии после восстановления Польши. (Тут надо будет сказать также о Прусской Польше, о разграничении одноязычных областей и о количественных соотношениях смешанного населения). Все вместе, самое большое, от трех до четырех листов. Заглавие: Германия и Польша. Политико-военные заметки в связи с польским восстанием 1863 г.» [2]).

События, однако, развивались гораздо быстрее, чем это ожидали друзья. Притом, назначение Лангевича диктатором Маркс признавал «подозрительным». В этом факте он мог усматривать победу аристократической части польской эмиграции. Подозрительными представлялись ему также отношения заграничного представительства польского национального правительства к английскому и французскому правительству. Наконец, ему стало ясно, что сопротивление Пруссии очень сильно. И он писал 24 марта 1863 г. Энгельсу:

«Политический вывод, к которому я пришел, таков. Финке и Бисмарк в действительности п р а в и л ь н о представляют прусский государственный принцип: «государство» Пруссия (весьма отличное от Германии творение) не может существовать без нынешней России и п р и самостоятельной Польше. Вся прусская история приводит к этому заключению, к которому давно уже пришли господа Гогенцоллерны, включая и Фридриха II. Это патриотическое сознание далеко превосходит ограниченный подданнический разум прусских либералов. Таким образом, поскольку существование Польши необходимо для Германии и невозможно рядом с Пруссией, поскольку это государство Пруссия должно быть уничтожено. Или польский вопрос служит лишь для доказательства того, что нельзя отстоять интересы Германии, пока существует гогенцоллериская вотчина» [3]).

Из задуманной брошюры ничего не вышло. В августе 1863 г. Маркс познакомился с полковником Лапинским, который, вместе с Бакуниным, предпринял экспедицию для помощи восставшим полякам, кончившуюся, однако, полным крахом. Как сообщает

---

[1]) Письмо от 17 II 1863, там же, 118.

[2]) Там же, 120.

[3]) «Переписка», 111—122.

Маркс Энгельсу 12 сент. 1863 г., в Лондоне Лапинский ставил себе задачей: —

«набрать немецкий легион, хотя бы лишь в 200 человек, чтобы выступить в Польше против русских с черно-краснозолотым знаменем, отчасти, чтобы «привести в отчаяние» парижан, отчасти—чтобы увидеть, возможно ли еще каким бы то ни было путем образумить немцев в Германии. Недостает только денег. Здесь будут сделаны попытки использовать для этой цели все немецкие организации и т. п.» [1]).

Между прочим, и лондонское немецкое рабочее образовательное общество приглашало немецких рабочих в особом воззвании к денежным сборам в пользу поляков. Принципиальное обоснование и выяснение значения польского вопроса для Германии явно указывают на авторство Маркса [2]).

От прежних заявлений воззвание отличается лишь тем, что, в связи с прениями в прусской палате депутатов по поводу конвенции Пруссии с Россией от 18 февр. 1863 г., дает описание позиции буржуазных партий в польском вопросе.

«Громко протестовать против этого правительства поляков немцами, являющегося вместе с тем предательством Германии и Европы, должен немецкий рабочий класс в этот ответственный момент перед поляками, перед заграницей и во имя своей собственной чести. Огненными буквами должен он написать на своем знамени восстановление Польши, после того, как буржуазный либерализм стер со своего знамени этот славный лозунг».

И воззвание ставит в пример немецким рабочим поведение английского рабочего класса, который массовыми митингами помешал господствующим классам осуществить вмешательство в пользу американских рабовладельцев [3]).

VI.

Если придавать особенное значение событиям, которые послужили в той или иной степени п о в о д о м для основания Международного Общества Рабочих, то при этом известную роль играло

---

[1]) Там же, 145—6.

[2]) Воззвание напечатано на голубоватой бумаге, без даты и без указания места напечатания. Оригинал, из документов Лесснера, находится теперь в Институте Маркса и Энгельса.

[3]) За рамки нашей работы выходит сравнение с резолюцией по польскому вопросу, проведенной Лассалем во Всеобщем Немецком Рабочем Союзе. Разумеется, воззванию Маркса недостает умеренности, которую хвалит в лассалевской резолюции Герман Онкен. (См. Oncken, Lassalle», II изд. Штуттгарт. 1912, стр. 403—4.

и польское восстание. Так, английские рабочие сошлись вместе в Лондоне на митинг в Ст. Джемс-Голле 22 июля 1863 г. с целью побудить свои правительства к энергичной интервенции в пользу Польши. Но, когда состоялось собрание 28 сент. 1864 г. в Ст. Мартинс-Голле, на котором возникло Международное Товарищество Рабочих, польское восстание было уже окончательно подавлено, а потому, составленный Марксом и опубликованный в ноябре 1864 г. временным центральным советом учредительный адрес ограничился лишь протестом против «бесстыдного одобрения, лицемерных симпатий или идиотского равнодушия», с которыми господствующие классы взирали на умерщвление героической Польши Россией. Положительных требований в польском вопросе адрес, не бывший, впрочем, программой, не выставлял.

Само собою разумеется, Маркс делал все, что было в его силах, чтобы побудить Международное Общество Рабочих включить в свою программу восстановление Польши. В течение двух лет, предшествовавших первому конгрессу Международного Общества Рабочих, он пользовался каждым поводом для обоснования и защиты этого требования. Так, в заседании временного центрального совета 25 ноября 1864 г. была принята следующая резолюция относительно Польши: «I. Борьба поляков за независимость велась в общих интересах народов Европы, а потому поражение их означает серьезный удар для дела цивилизации и прогресса человечества. 2. Польша имеет неотъемлемое право требовать от передовых наций Европы содействия всеми необходимыми средствами восстановлению ее национальной самостоятельности» [1]).

При этом, по предложению внесшего резолюцию Петера Фокса, было также постановлено опубликовать адрес польскому народу от имени британских членов временного центрального совета. В письме к Энгельсу от 10 дек. 1864 г., Маркс пишет по этому поводу следующее:

«Прошлый вторник происходило заседание комиссии, на котором Петер Фокс (его собственно зовут Петер Фокс Андре) представил нам свой адрес к полякам. (Подобного рода дела всегда обсуждаются сперва в подкомиссии до внесения в генеральный совет). Вещь написана неплохо. Фокс пытался чуждую ему вообще «классовую» точку зрения применить хотя бы в аптекарской дозе. Его настоящая специальность—иностранная политика, и он только в качестве пропагандиста атеизма имел дело с рабочими, как

---

[1]) Из рукописных протоколов центрального совета, которые я в ближайшее время опубликую.

таковыми [1])... Фокс, подобно другу своему Бизли (профессор политической экономии лондонского университета, он председательствовал в учредительном собрании в Ст. Мартинс-Голле) и другим «демократам», в противоположность тому, что они не без основания называют английской аристократической традицией, и продолжая то, что они признают английской демократической традицией с 1791 — 92 г.г., питают фанатическую любовь к Франции, которую они, поскольку дело касается иностранной политики, распространяют не только на Наполеона I, но даже на самого Бустрапа. Ладно. Господин Фокс не удовлетворился в своем адресе (а это, вообще, адрес не Международного общества в целом; он должен появиться в качестве адреса английской секции по польскому вопросу с санкции генерального совета) сообщением полякам того, что соответствует истине, а именно, что в отношении к ним у французского народа лучшие традиции, чем у англичан; он заключил свой адрес, утешая поляков, главным образом, возникшей у английского рабочего класса страстной дружбой к французским демократам. Этому я воспротивился и развил исторически неопровержимую картину постоянного предательства поляков французами начиная с Людовика XV до Бонапарта III... Одним словом, адрес Фокса был принят комиссией при условии, что хвост его изменят соответственно моим предложениям. Юнг, секретарь для Швейцарии (из Французской Швейцарии), заявил, что он, будучи в меньшинстве, предложит в центральном совете отвергнуть адрес, как вообще «буржуазный» [2]).

После продолжительных прений в заседаниях временного центрального совета 13 декабря 1864 и 3 января 1865 г.г. было постановлено, что «взгляды, изложенные в адресе по вопросу о французской иностранной политике по отношению к Польше, не соответствуют историческим фактам, а потому он должен быть изменен для согласования с исторической правдой». Дальнейшая судьба адреса мне неизвестна.

В заседании 18 января 1865 г. временный центральный совет принял депутацию в английской лиги в защиту Польши и представителей польского национального правительства, предложившей Международному Обществу Рабочих устройство общего митинга. Было постановлено: «Если польский комитет созовет митинг, Общество обязуется всеми средствами, имеющимися в его

---

[1]) Фокс был одним из самых деятельных членов генерального совета, после женевского конгресса был его главным секретарем. Он умер в мае 1869 г. в Вене, где он жил в качестве корреспондента английских газет.

[2]) См. «Переписка», III, стр. 204—5.

распоряжении, содействовать чествованию памяти славной, хотя и неуспешной революции 1863 года».

Но устройство этого митинга натолкнулось на затруднения. Маркс указывает на них в письме к Энгельсу от 25-го февраля 1865 г.

«Впрочем, уже другие парламентские деятели, как Тейлор и т. п. (господа, примыкающие к Мадзини), давали нам стороной знать, что момент для устройства польского митинга теперь является мало удобным. Я через совет ответил, что рабочий класс ведет свою собственную иностранную политику, отнюдь не считающуюся с тем, что признает своевременным буржуазия. Она находила своевременным подзадоривать поляков в начале нового восстания, продавать их своей дипломатией во время его развития и покинуть их, когда Россия подавила его. В самом деле, митинг имеет в первую очередь в виду денежную помощь. Неужели же должны помирать с голоду эмигранты (на этот раз в большинстве своем рабочие и крестьяне и поэтому совсем не получающие поддержки от кн. Замойского и К°) только потому, что английской буржуазии именно теперь кажется несвоевременным даже упоминать имя Польши» [1]).

Тем не менее, собрание 1 марта 1865 г. прошло очень хорошо. О нем сообщает еще неопубликованное письмо Маркса к Юнгу, которое вместе с тем бросает яркий свет на позицию Маркса в центральном совете [2]).

Но интерес к польскому вопросу ослабел не только в буржуазных кругах: он уменьшался также и среди части английского рабочего класса и, в особенности, среди французских и бельгийских рабочих. Во Франции и в Бельгии явление это об'ясняется все более усиливавшимся тогда влиянием прудонизма.

Если Прудон уже в 1861 г. высказывался против восстановления Польши [3]), то в декабре 1863 г. в сочинении «Перестали ли существовать договоры 1815 г. Акты будущего конгресса» он

---

[1]) См. «Переписка», 111, 236.

[2]) На этом собрании Фокс внес следующую резолюцию от имени Интернационала: «Нераздельная и независимая Польша представляет необходимое условие существования демократической Европы», а Эккариус, выяснив роль Пруссии, прибавил, что восстановление Польши и об'единение Германии невозможны без гибели прусской монархии.

[3]) «Что же касается восстановления государства, осужденного собственными королями, казненного в силу права оружия и согласно формам войны, то я предпочел бы, чтобы мы говорили о восстановлении Саксонии Витикинда, королевства Австразии или вестготов». (Прудон, «Война и Мир», Брюссель, 1861, II ч., стр. 448 и сл.

советует помириться с русским владычеством и энергично выступает против поддержки польского дела европейской демократией [1]). Если принять во внимание, что Прудон писал это в то самое время, когда Муравьев и Берг творили в Польше и Литве свое ужасное дело палачей, то психологически понятным будет приговор Маркса, что Прудон в своем последнем произведении против Польши «проявляет в честь царя достойный кретина цинизм» [2]).

Не так горячо, как Прудон, ту же мысль отстаивал в 1864 г. его ученик Гектор Дени в ряде статей, появившихся в наиболее передовом органе бельгийского рабочего движения [3]). Что его статьи не остались без влияния на бельгийских рабочих, в этом Маркс мог убедиться в сентябре 1865 г. на первой конференции Международного Общества Рабочих в Лондоне.

Центральный совет представил на конференцию проект порядка дня предстоящего конгресса. В нем значился также формулированный Марксом пункт: «Московское вторжение в Европу и восстановление независимой и нераздельной Польши». Страстным противником этого предложения оказался Цезарь де-Пап, бельгийский делегат. Французы держались нейтрально или были против. И среди англичан предложение нашло противников. Все же в конце концов оно было принято. Однако, было ясно, что на предстоящем конгрессе следует ожидать сильной оппозиции. Действительно, сейчас же после конференции Везинье открыл поход против центрального совета специально по вопросу о Польше. Маркс поэтому писал 3 января Энгельсу:

«Действительный нерв полемики — п о л ь с к и й в о п р о с. Все эти молодцы заражены прудоновски-герценовским москвитизмом. Я пошлю тебе прежние статьи оракула против Польши в «Народной Трибуне», и ты напишешь возражение для наших женевских изданий («немецкого») или для «Защитника Рабочего». Гос-

---

[1]) Брошюра эта перепечатана также в виде приложения в новом издании «О федеративном принципе и т. п.». См. стр. 286—314, глава «Польский вопрос», «Я утверждаю, что, чем дальше Россия будет итти по пути цивилизации и развития конституции, тем больше она будет освобождаться от своих завоевательных стремлений; что, чем больше будут просвещаться и обогащаться ее крестьяне, недавно освобожденные, чем больше они будут приучаться к ремеслам и приобретать оседлые нравы, тем меньше придется нам ее опасаться; в этом настоящий залог нашего спокойствия, действительный оплот Европы».

[2]) См. Маркс, «О П. Ж. Прудоне» («Социал-Демократ», Берлин, 5/II 1865, № 18).

[3]) «La Tribune du Peuple», двухнедельный журнал. Статьи: «Польша, польский вопрос и демократия», 5 и 26/III, 17/IV. «Заметка о национальности», 31/VI 1864.

пода русские нашли себе самоновейших союзников в прудонистской части «Молодой Франции» [1]).

В силу различных обстоятельств серия статей Энгельса,—оставшаяся, впрочем, незаконченной,—появилась не «Защитнике Рабочего», а в продолжении его—«Республика» [2]).

В первой статье Энгельс выясняет, что внешняя политика рабочих классов в начале самостоятельного рабочего движения может быть резюмирована в немногих словах: восстановление Польши. Далее он обращается против Прудона и его учеников и подробно доказывает, почему Россия, несмотря на соучастие Пруссии и Австрии, является все же главным виновником раздела Польши. Энгельс заканчивает формулировкой условий, при которых Россию, как нацию, можно отделять от царизма. Если русский рабочий класс примет политическую программу и последняя будет содержать в себе освобождение Польши, то «под обвинением» остается одно лишь правительство царя.

Во второй статье Энгельс полемизирует против утверждения, что требование восстановления Польши сводится к признанию бонапартистского «принципа национальностей». Ссылаясь на исторические факты, он доказывает, что, напротив, принцип этот является русским изобретением, и обосновывает разницу между принципом национальностей и старой демократической и рабочей точкой зрения, что «все крупные европейские нации имеют право на независимое и отдельное существование».

В третьей статье он рассматривает принцип национальностей в применении его к Польше. Он не оспаривает, что именно аристократия,—излюбленный аргумент прудонистов,—привела к погибели Польши [3]), но вместе с тем подчеркивает беспощадность, с которой Россия использовала это слабое место.

В записке, составленной Марксом, которую центральный совет представил женевскому конгрессу в сентябре 1866 г., он, со своей стороны, пытается выяснить значение польского вопроса и ответить на главные возражения противников.

---

[1]) См. «Переписка», III, 288.

[2]) С 10 февраля 1866 г. в распорядительном комитете этой газеты участвовали многие члены М. О. Р., в том числе и Маркс.

[3]) Собственно, Энгельс повторяет здесь те же мысли, какие он развивал уже в письме к Марксу 21 апр. 1863 г. «Должен сказать, что нужно быть ослом, чтобы воодушевляться в пользу поляков 1772 г. В большей части Европы дворянство тогда все же погибло, соблюдая приличия, иногда не без остроумия, хотя оно в большинстве своем было убеждено, что материализм состоит в том, чтобы есть, пить, спать, выигрывать в игре или заставлять платить себе за подлость; но никакое другое дворянство не умудрилось так глупо продать себя русским, как это сделали поляки». (См. «Переписка», III, 129).

«а) Почему, — говорится здесь, — поднимают этот вопрос рабочие Европы?—Прежде всего потому, что буржуазия, писатели и агитаторы вступили в заговор, чтобы заглушить его, хотя берут под свою защиту всевозможные национальности ее, даже Ирландию.—Откуда это недоброжелательство? Оно об'ясняется тем, что аристократия и буржуазия считают темную азиатскую силу, скрывающуюся на заднем плане, последним прибежищем поступательного движения рабочего класса. Эта сила может быть сделана вполне безвредной только в результате восстановления Польши на демократических основах.

«б) При современном изменившемся состоянии Средней Европы и специально Германии более, чем когда бы то ни было, необходимо иметь демократическую Польшу. От ее существования будет зависеть, явится ли Германия форпостом «священного союза» или союзником республиканской Франции. Рабочее движение будет постоянно прерываться, задерживаться и замедляться, пока не будет решен этот великий европейский вопрос.

«в) Специальной обязанностью немецкого рабочего класса является проявление в этом деле инициативы, потому что Германия была соучастницей в разделе Польши.

Мы пропускаем прения на женевском конгрессе. Несмотря на все усилия старого Беккера и делегатов центрального совета, им не удалось убедить большинство. Не было принято никакой резолюции, и конгресс высказал лишь пожелание, что «рост и распространение Международного Общества Рабочих сами по себе вызовут к жизни социал-демократическую Польшу».

Спустя несколько месяцев после женевского конгресса (23 января 1867 г.) генеральный совет устроил совместно с польским рабочим обществом публичное собрание для чествования годовщины восстания 1863 г. Председательствовал Юнг. Как обычно бывает на подобных митингах, резолюции предлагались и обосновывались различными ораторами, так что каждая резолюция выдвигала особый пункт, развитый в речи внесшего ее. Первая резолюция о значении и программе восстания была обоснована поляками Забицким и Бобчинским. Она гласила:

«Поляки, собравшиеся здесь для чествования годовщины своего восстания, заявляют, что остаются верными манифесту польского национального правительства от 22 января 1863 г. Манифест этот отменял все привилегии, делая крестьян свободными землевладельцами, об'являя всех жителей, без различия, свободными и равными перед законом. Они твердо убеждены, что это является единственным целесообразным средством для противо-

действия настойчивым попыткам московского царя разложить польское общество на отдельные группы различных классов, религий и рас; что это представляет собою единственный справедливый принцип для упрочения народного единства и для организации национальной силы, способной завоевать свободу и независимость Польши. Далее, они приглашают настоящее собрание провозгласить, что поляки в преследовании этих своих задач имеют право рассчитывать на сочувствие и содействие всех свободных и цивилизованных народов, в особенности же рабочих масс всего мира».

Вторая резолюция, внесенная Марксом и поддержанная Эккариусом, указывала на значение польского вопроса для Европы и утверждала, что «без независимости Польши не может быть утверждено в Европе никакой свободы».

Третью резолюцию, француза Бессона, и четвертую, англичанина Фокса, мы пропускаем.

Отчет о собрании в «Предвестнике» [1]) не приводит отдельных речей, но резюмирует их следующим образом:

«Все речи отличались краткостью и сжатостью. Подчеркивалось, главным образом, что Польша в течение столетий служила барьером между западной цивилизацией и восточным варварством, что Европа могла достичь современного уровня своей культуры только потому, что поляки стояли на страже ее и делали невозможным продвижение вперед варварства, что раздел Польши сломал этот барьер, утвердил русское варварство в самом сердце Европы в качестве союзника господствующих классов против угнетенных и что рабочий вопрос на Западе не может быть разрешен без восстановления плотины, оберегающей колыбель буржуазного общества выдвигаемой независимой Польшей против русского потока; что никто, кроме рабочего класса, не в состоянии выступать за восстановление Польши и что такое выступление является священным долгом рабочих».

Речь Маркса в защиту его резолюции была напечатана во французском журнале «Le Socialisme» в номере от 15 марта 1908 г., посвященном Марксу,—в переводе с английского оригинала, предоставленного редакции г-жей Лафарг [2]). Как Лафарги, так и редакция «Социализма» полагали, что Маркс произнес эту речь в 1862 г., потому, что он не упоминает в ней о поль-

[1]) «Vorbote», центр. орган секций немецкого языка М. О. Р., ред. Н. Ф. Беккера, 1867, стр. 29—30.

[2]) Его нет в переданных мне госпожою Лафарг бумагах ее отца.

ском восстании 1863 г., но говорит об освобождении крестьян 1861 г. Они при этом не приняли во внимание, как выше отмеченного разделения труда между различными ораторами, так и того обстоятельства, что в речи упоминаются еще другие факты, имевшие место лишь п о с л е 1862 г. Так, напр., речь начинается с указания на «последние указы, провозглашающие уничтожение Польши» [1]), т. е. на три указа, опубликованные 31 декабря 1866 г., в силу которых Польша в административном отношении совершенно сливалась с Россией. Этим также об'ясняется принятие четвертой резолюции, предложенной на этом же митинге П. Фоксом и поддержанной Дюпоном. Наше предположение подтверждается еще и саркастическим замечанием Маркса, в котором он совет биржевого органа (наверное, «Экономиста») спокойно принять новые указы об'ясняет тем, что таким путем будет лучше обеспечен незадолго до того предоставленный русскому царизму английским капиталом заем в 6 милл. ф. ст.—заем, заключенный действительно 4 ноября 1866 г. [2]—[3]).

Обосновывая предлагаемую им резолюцию, Маркс начинает с истории польской революции. Последняя доказывает, что только польское восстание спасло Европу от заговора, между Карлом X и Николаем I и новой противо-якобинской войны. Столь же хорошую службу сослужили поляки в 1848 — 49 году во время конфликта между революцией и цариэмом. Изменилось ли положение с тех пор? Исчезла ли русская опасность? Сделалась ли Поль-

---

[1]) «Недавнее уничтожение «Конгрессовой Польши» царем является вполне заслуженной насмешкой над теми великими державами Европы, которые высказались за договор 1815 г. путем тайного соглашения или в виду взаимного соревнования. Мы, защищающие интересы народов, не можем, напротив, сожалеть, что уничтожено противоречащее праву и мертворожденное соглашение 1815 г. Мы скорее довольны тем, что отныне польский вопрос сводится по необходимости к простой перспективе: или молча признавать полное исчезновение имени Польши с карты Европы, или же бороться за восстановление ее в национальных границах».

[2]) Так наз. второй 5% англо-голландский заем. См. «История русского министерства финансов, 1802—1892 гг.», Петербург, 1902, II, стр. 446—47.

[3]) Уже этих доказательств достаточно для установления правильной даты, когда произнесена была Марксом эта речь, и я поэтому пока ограничусь сказанным. Странно, что и польские ее издатели не обратили внимания на противоречие между содержанием и принятой ими датой. (Цитир. сборник, 147—152). Введение и примечание принадлежат С. Заверухе. Другой перевод появился в журнале «Социалистическая Мысль» в Кракове, май 1908, стр. 119—23. Анонимный переводчик не так категоричен и говорит лишь, что речь «вероятно» произнесена в 1862 г.

ша лишь сентиментальным воспоминанием? Нет, только ослепление господствующих классов Европы привело к этому. Русская политика осталась неизменной; ее средства, ее мотивы изменились, но отнюдь не ее цель, господство над миром. Уже Поццо ди Борго, способнейший русский дипломат новейшего времени, утверждал, что Польша может стать лучшим орудием этой русской политики, но также и крупнейшим препятствием, если не будет превращена в оружие царя. Но разве существует, кроме польского народа, другого фактора, могущего парализовать планы России?

Маркс указывает на успехи русской политики в Азии. Англо-французская мнимая война принесла России господство над Кавказом и на Черном море. Новые железные дороги концентрировали ее силы. Новые укрепления у Варшавы, Модлина, Ивангорода усилили ее наступательную силу. Панславистская пропаганда ослабила Австрию и Турцию. Уже 1848 г. показал, что это означает. И преследования Англией ирландцев приобрели России новых друзей по ту сторону Атлантического океана.

Европеец с континента станет возражать, что Россия, благодаря освобождению крестьян, превратилась в цивилизованную страну; что немецкая, недавно сосредоточившаяся в руках Пруссии, сила может послужить преградой против нее; что социальная революция положит конец «международным столкновениям». Англичанин, читающий один лишь «Times», подумает, что, в худшем случае, если Россия завоюет Константинополь, Англия одновременно с этим аннектирует Египет и таким путем обеспечит себе путь в Ост-Индию. Однако, освобождение крестьян лишь устранило все препятствия, которые дворянство ставило централизации; всякая попытка поднять умственный уровень крестьян подвергалась преследованиям; и какие бы ожидания ни возбуждало освобождение крестьян в будущем, пока что оно лишь усилило царизм.

Что касается Пруссии, она, несмотря ни на что, остается связанной с Россией, ибо без ее помощи никогда не смогла бы стать великой державой. Уже усилившийся антагонизм с Францией и Австрией делает необходимым для Пруссии союз с Россией. Кроме того, Россия является опорой гогенцоллернского абсолютизма. А социальная революция? Она не означает ничего другого, как классовую борьбу. Возможно, что борьба между рабочими и капиталистами будет не столь кровопролитной, как борьба между феодализмом и буржуазией во Франции и Англии. Во всяком случае, она заставит господствующие классы в сильной степени желать русской помощи. Иллюзия также, будто Россия удовлетворится

Константинополем, не говоря уже о том, что это возможно лишь против Франции.

Таким образом, перед Европой лишь одна альтернатива— или азиатское варварство, под предводительством Москвы, затопит Европу как лавина, или Европа должна освободить Польшу и таким путем оградить себя барьером из 20 милл. героев от Азии, пока не пробьет час ее социального возрождения.

Это—последнее, известное нам, выступление в пользу Польши, произведенное генеральным советом в Лондоне под влиянием и при участии Маркса. Что касается старого Интернационала, как целого, то после женевского контресса у него не было больше случая останавливаться на польском вопросе. В великом споре между Бакуниным и Марксом вопрос этот не играл никакой роли.

VII.

Участие польских революционеров в Парижской Коммуне вновь оживило старые симпатии к угнетенной Польше в рядах рабочего движения, в особенности во Франции и Германии. С другой стороны, и в России обнаружилось начало расхождения между «правительством» и «обществом», указывавшее на революционное движение в до сих пор неподвижной «стране варваров». Правда, движение это, поскольку оно находилось под руководством Бакунина, готовило Марксу и Энгельсу большие разочарования. Но в то же самое время страстный ненавистник царизма Маркс являлся в генеральном совете секретарем не только для Германии, но также и для России; а в 1872 г. появился в России первый перевод «Капитала» на европейской почве. Перед лицом этих фактов оба друга не могли уже, как это еще делал Энгельс в своих антлийских статьях, валить в одну кучу русское правительство и русский народ и провозглашать их обоих одинаково находящимися под обвинением.

Все это об'ясняет, почему мы уже в 1874 г. слышим в новом заявление Энгельса по польскому вопросу другую ноту. Поводом послужило воззвание лондонских польских эмигрантов (в том числе Врублевского, известного коммунара и позже секретаря для Польши в генеральном совете), появившееся в Лондоне в связи с посещением его царем Александром II.

Опасность, грозящая Европе от России,—пишет Энгельс [1]),—сильнее, чем когда бы то ни было.

---

[1]) См. F. Engels, «Die Flüchtlings-Literatur. Eine polnische Proklamations». «Volksstaat», от 2 июня 1874 г.; перепечатано в i«Internationles aus dem Volksstaat».

«Только благодаря тому, что в 1870 г. русская армия мешала Австрии выступить в пользу Франции. могла Пруссия победить Францию и создать прусско-германскую военную монархию. Во всех этих событиях мы видели на заднем плане русскую армию. И если—*поскольку внутреннее развитие России не примет скоро революционного характера*[1])—победа Германии над Францией столь же неизбежно вызовет войну между Россией и Германией, как победа Пруссии над Австрией при Садовой повлекла за собою германо-французскую войну,—то все же против всякого внутреннего движения в Пруссии всегда будет к услугам русская армия. Еще и поныне официальная Россия является очагом и приютом всей европейской реакции, ее армия—резерв всех остальных армий, занятых сдерживанием рабочего движения в Европе».

Далее следует об'яснение, почему именно немецкое рабочее движение заинтересовано в изменении этого невыносимого положения:

«Как раз немецкие рабочие в первую очередь подвергаются опасности от этой западной армии подавления, как в так наз. Германской империи, так и в Австрии. До тех пор, пока за австрийской и германской буржуазией и правительствами стоят русские, у всего германского рабочего движения оказывается сломанным острие, поэтому мы больше всех заинтересованы в том, чтобы снять со своей шеи русскую реакцию и русскую армию».

Особенно важен конец заявления Энгельса, который полностью гласит следующее:

«И в этой работе мы имеем лишь одного надежного, но зато надежного при всех обстоятельствах, союзника — *польский народ*. Польша еще в большей степени, чем Франция, поставлена своим историческим развитием и своим современным положением перед выбором—или быть революционной, или погибнуть. И в силу этого теряет всякое значение вся нелепая болтовня о преимущественно аристократическом характере польского движения. В польской эмиграции достаточно людей, имеющих аристократические замашки; но как только сама Польша приходит в движение, оно становится насквозь революционным, как это мы видим в 1846 и 1863 г.г. Движения эти были не только национальные, они вместе с тем были направлены непосредственно на освобождение крестьян и на передачу им собственности на землю. В 1870 г. главная масса польских эмигрантов во Франции отдала себя на службу

---

[1]) Курсив мой.

Коммуне; разве это было делом аристократов? Разве это не доказывало, что эти поляки стояли вполне на высоте современного движения? Что происходит с тех пор, как Бисмарк перенес в Польшу культуркампф и, под предлогом нанести этим удар панам, конфискует польские учебники, искореняет польский язык и делает решительно все, чтобы толкнуть поляков в об'ятия России? Польская аристократия все более и более сближается с Россией, чтобы под ее владычеством, по крайней мере, вновь об'единить Польшу; революционные массы отвечают на это предложением союза германской рабочей партии и борьбою в рядах Интернационала.

«Что Польшу нельзя убить, это доказал 1863 г., и доказывает это еще каждый день. Ее право требовать самостоятельного существования в семье европейских народов неопровержимо. Но ее восстановление необходимо, особенно для двух народов: для немцев и для самих русских.

«Народ, угнетающий других, не может освободить самого себя. Сила, в которой он нуждается для угнетения других, всегда в конце концов обращается против него самого. Пока русские солдаты стоят в Польше, русский народ не может освободить себя ни политически, ни в социальном отношении. Но при современном состоянии развития России, несомненно, что в тот день, когда Россия потеряет Польшу, в самой России движение будет достаточно сильно для того, чтобы свергнуть существующий порядок вещей. Независимость Польши и революция в России обусловливают одна другую. И независимость Польши и революция в России—при безграничном общественном, политическом и финансовом разложении и пропитывающей всю оффициальную Россию продажности—они гораздо ближе, чем это представляется по внешности,—означают для немецких рабочих предоставление буржуазии правительств, одним словом реакции в Германии своим собственным силам, с которыми мы тогда со временем справимся уже сами».

Различие между этой статьей Энгельса и его же статьями в 1866, а также мотивировкой в докладе Маркса на женевском конгрессе, бросается в глаза. Польский вопрос сделался теперь также русским вопросом, а не только немецким. Отлучение, которое в 1866 г. Маркс и Энгельс наложили на русский народ, теперь оказывается снятым. И аргументация Энгельса

сделалась не только общим достоянием всех русских революционеров 70-х годов, но и оставалась до самого последнего времени символом веры русского социал-демократического рабочего движения. Не по вопросу о восстановлении демократической и независимой Польши имелись еще разногласия, а лишь об исторических возможностях и условиях этого восстановления.

Еще далее идут Маркс и Энгельс в своем последнем общем заявлении по польскому вопросу в конце 1880 г. в связи с юбилейным чествованием восстания 1830 г., устроенным 29 ноября 1880 г. в Женеве редакцией польского социалистического журнала «Równość» («Равенство»). То было время, когда руководимое «Народною Волей» революционное движение в России было гораздо сильнее польского и «своей самоотверженностью и героизмом довело самодержавие до того, что оно должно было уже задумываться над возможностью и условиями капитуляции».

Заявление подписано Марксом, Энгельсом, Лафаргом, Лесснером, как бывшими членами генерального совета старого Интернационала [1]). Он дает сжатый исторический очерк роли поляков во всех освободительных войнах и революциях со времени войны за независимость Америки в XVIII столетии. «Таким образом лозунг: «да здравствует Польша» всегда означал: смерть священному союзу, смерть военному деспотизму России, Пруссии и Австрии, смерть монгольскому господству над современным обществом».

После июльской революции и завоевания политической власти во Франции и Англии буржуазией начинает развиваться рабочее движение. В Англии господствующие классы оказываются вынужденными прибегнуть к военной силе против чартистов, первой боевой организации рабочего класса.

«Одновременно с этим в последнем убежище независимой Польши, в Кракове, вспыхивает в 1846 г. первая политическая революция, провозглашающая социалистические тенденции. С тех пор Польша утрачивает обманчивые симпатии имущей Европы. В 1847 г. тайно собирается в Лондоне первый международный с'езд пролетариата, публикующий «Коммунистический Манифест» с новым революционным лозунгом: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На этом конгрессе имела своих представителей и

---

[1]) Напечатано в «Материалах междунар. собрания в 50-летнюю годовщину восстания 1830 г. при редакции «Равенства в Женеве». Женева, изд. и ред. «Равенства», 1881, стр. 30—32. Другой перевод приводит Лимановский.

Польша, и резолюция конгресса была одобрена знаменитым Лелевелем и его единомышленниками в Брюсселе [1]). В 1848 и 1849 г.г. революционные армии—немецкие, французские, венгерские, итальянские—кишели поляками, которые отличались в качестве рядовых солдат и военачальников. Хотя социалистические движения этого времени были потоплены в крови июньских дней, однако, революция 1848 г.,—это нельзя забывать,—охватив своим пламенем всю Европу, на короткое время сделала из нее единую общину и этим подготовила почву для Международного Общества Рабочих. Польское восстание 1863 г., вызвавшее общий протест английских и французских рабочих против международных злоупотреблений их правительств, послужило исходным пунктом Интернационала, который был основан при участии польских эмигрантов. Наконец, среди польских эмигрантов Парижская Коммуна нашла своих доблестных защитников, а после подавления Коммуны достаточно было быть поляком, чтобы получить смертный приговор от версальских военных судов.

«Таким образом, поляки и за пределами своего отечества играли большую роль в освободительной борьбе пролетариата—они являлись по преимуществу ее международными воинами.

«Ныне, когда борьба эта развивается среди самого польского народа, она должна быть поддержана пропагандой, революционной печатью, она должна слиться со стремлениями наших русских братьев. Это лишний повод повторить старый возглас: «Да здравствует Польша!»

Это об'единение польских и русских революционеров совершилось вскоре вслед за этим. В 1884 г. польская революционная организация «Пролетариат» (наиболее выдающимися членами которой были Варынский и Куницкий) заключила с «Народной Волей» формальный союз для свержения царского режима.

Маркс умер еще до окончательного поражения «Народной Воли», Энгельс прожил еще достаточно долго, чтобы не только следить за развитием молодого русского социал-демократического движения, но и энергично помогать ему. Для первого русского социал-демократического журнала «Социал-Демократ» он дал свою работу об «Иностранной политике русского царизма», появившуюся позднее в «Neue Zeit» (VIII, 145, 154; 193/2033). В этой работе Энгельс подробно выяснил русским социал-демократам, почему западно-европейские рабочие партии так сильно заинтересо-

---

[1]) Вероятно, «ошибка памяти». Маркс и Энгельс смешали собрание «Братских Демократов» с с'ездом «Союза Коммунистов».

ваны в победе русской революционной партии. Восстановление Польши остается, как и прежде, программным пунктом внешней политики европейского пролетариата; во внутренней борьбе против царизма польский пролетариат выступает теперь лишь союзником русского, который ведет эту борьбу в самых уязвимых пунктах царской власти, в Петербурге и Москве, в собственной России.

В 1892 г. Энгельс написал предисловие к польскому изданию «Коммун. Манифеста». Заслуживает внимания указание на развитие промышленности в Польше, создающей в порождаемом ею многочисленном пролетариате новую гарантию грядущего возрождения. После того, как польское дворянство оказалось бессильным, а польская буржуазия проявляет полное безразличие к этому вопросу, освобождение Польши может быть завоевано только польским пролетариатом.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие 5

I. Материалы для биографии Маркса и Энгельса.

К. Маркс и Ф. Энгельс в их переписке до революции 1848 года.

Вступление 17

I. От классической немецкой философии к коммунизму (1844—1845) 26

II. Маркс и Энгельс в Брюсселе. — Размежевание с „истинными социалистами".—Основание Союза Коммунистов (1846—1847) . 73

1. Юношеские работы Энгельса 97

2. Страничка из жизни Маркса 107

3. К. Маркс и „Нью-Йоркская Трибуна" 117

4. К. Маркс и венская „Пресса" 157

5. „Исповедь" Карла Маркса 175

II. Карл Маркс и Ф. Энгельс в эпоху Первого Интернационала.

1. Анархистский товар под флагом марксизма (Маркс и Бакунин в шестидесятых годах) 197

2. История без кавычек (Ответ Мерингу) 281

3. К. Маркс и Ф. Энгельс, как шовинисты (новое открытие Ю. Гарденина) 291

4. Вальян и Маркс 325

III. Из истории марксизма в России.

1. По поводу одной легенды (Герцен против Маркса) 335

2. Карл Маркс и русские люди сороковых годов 351

3. Две правды. Народничество и марксизм 431

4. Карл Маркс и РКП. По поводу двадцатипятилетия партии 475

Стр.

IV. Взгляды Маркса и Энгельса на внешнюю политику.

1. Англо-русские отношения в оценке К. Маркса . 485

Предисловие 487

I. Контр-революционная роль Англии и России 1848—1849 г.г. 489

II. Маркс о русско-английских отношениях 503

III. Историческое развитие России в изображении К. Маркса. 512

IV. Татарское иго и русское самодержавие 525

V. Европеизация России под влиянием английской торговли 535

VI. Значение русской торговли для Англии 544

VII. Северная война 549

VIII. Англо-русский союз в XVIII столетии . 571

IX. Внешняя политика России и революции . 583

2. Маркс и Энгельс о балканском вопросе 589

3. Маркс и Энгельс о польском вопросе . 605